

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Юз Алешковский



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Окурочек

В. С. Соколову

Из Кондешского белого ада  
Кину мы в зону в море зном дину.  
Я увидел окурочек с красной помадой,  
Ирландский, из атлас, к келу.

"Этой, Страной, Векласской Конвойкой.  
Знавшие нес раздора мой думал.  
Зоркие, каскадные, водок-покайке,  
Я тоже возвращаюсь каяд.  
Ваше видел я Гада Сетере.  
Только мне наконее повезло.

Их, окурочек, с ТУ-184

Дидан-вирон усея замесао.

И несею удавивший Копалин,

И активный один ридераст

Вот дорогу до зоны нагали, вдобавки,

Ке-шадаси с окурочка Глаз

С кем ты, сука, любил свою кручину?

С кем выливал сигаретной адесса?

Ты во Внуково стелам билет на курпик,

Чтоб хотя б пролежать надо левый.

В жез твою занитал я пропойки

Ведь французским поел Конвойком.

Самилежес от того, как курила ты "Трайку"

С золотым на конуре ободком...

Принял тот окурочек в карды, я,

Хоть дорогие обиды, цини рудней.

Даже здесь не всегда мне ссадило фарту

из-за зрелости по даме Серви.

Програл 3,4 шмотку и сленку,  
Сахрон. За два года вперед  
Этот Сизис я на карак, одиноким королю,  
Еще вдоб же в сем году не развал.  
Пропал я за 700 аккурток,  
Микто не знает, не знает.  
Господа из бухгалтерских пафосных ух,  
За размах убивали меня!  
Ушел я в карьер босвала косаля,  
Как Храброс и сорокин, и тих  
Асень естак кровавыми красной зубали,  
Я концы самокруток своих.  
"Негодди, ты не волье растратил  
Ленно Твиз на блистающих дан!"  
"Это да, - говорю - грабдалин надзирани,  
Толко зря, - говорю, - грабдалин надзирани,  
рукавакий вв мне по зубам..."

1965.

В. А. Миллер



Окупация *В. Соснов*

*Dr. Creswell*

[illegible]





Антология Сатиры и Юмора России XX века



W. B. Anderson

Антология Сатиры и Юмора России XX века

---

Юз Алешковский

---

«ЭКСМО-Пресс» 2001



УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
А 45

**АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА**  
**Юз Алешковский**

Серия основана в 2000 году

**Редколлегия:**

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Игорь Иртеньев,  
проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,  
Лев Новоженев, Александр Ткаченко,  
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

**Главный редактор, автор проекта**  
**Юрий Кушак**

**Главный художник, автор серийного оформления**  
**Евгений Поликашин**

**Оформление тома — Лев Яковлев**  
**Шарж на обложке Владимира Мочалова**  
**Фотография на фронтисписе Вадима Крохина**

**Рисунки Резо Габриадзе**

**Подготовка макета — творческое объединение**  
**«Черная курица» при Фонде Ролана Быкова.**

**Алешковский Юз**

**А 45**      **Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 8. —**  
**М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 576 с.**

**УДК 882**  
**ББК 84(2Рос-Рус)6-4**

**ISBN 5-04-005493-9 (Т. 8)**  
**ISBN 5-04-003950-6**

© Юз Алешковский, 2000  
© Яковлев Л. Г., оформление, 2000  
© Кушак Ю. Н., составление,  
примечания, 2000

## Содержание

Иосиф Бродский. Он вышел из тюремного ватника	7
Автобиографическая справка	14

### Проза

Николай Николаевич. Научно-фантастическая повесть	21
Кенгуру. Роман	74
Маскировка. Повесть	239
Блошиное танго. Повесть	287
Синенький скромный платочек. Скорбная повесть	407

### Песни, стихи, строки

Песни	519
Песня о Сталине	519
Семеечка	521
Советская пасхальная	524
Советская лесбийская	526
Окурочек	527
Личное свидание	529
Вагонная	531
За дождями дожди	533
Брезентовая палаточка	535

Лондон — милый городок	537
Никита	539
Кубинская разлука	541
Медвежье танго	543
Белые чайнички	546
Песенка свободы	548
Песня Молотова	550
Юз-Фу.	
Строки гусяного пера, найденного на чужбине (танки)	551
Еще одно посвящение для друзей	559
Андрей Битов. Повторение пройденного	560
Примечания	573



## Он вышел из тюремного ватника

... *Применительно к данному автору*

музыкальная терминология, пожалуй, более уместна, нежели литературоведческая. Начать с того, что проза Алешковского — не совсем проза и жанровые определения (роман, повесть, рассказ) приложимы к ней лишь частично. Повествовательная манера Алешковского принципиально вокальна, ибо берет свое начало не столько в сюжете, сколько в речевой каденции повествующего. Сюжет в произведениях Алешковского оказывается порождением и заложником каденции рассказчика, а не наоборот, как это практиковалось в художественной литературе на протяжении ее (у нас — двухсотлетней) истории. Каденция, опять-таки, всегда уникальна и детерминирована сугубо личным тембром голоса рассказчика, будучи окрашена, разумеется, его непосредственными обстоятельствами, в частности — его реальной или предполагаемой аудиторией.

На протяжении большей части своей литературной карьеры Алешковский имел дело преимущественно с последней. В подобных обстоятельствах рассказчик неизбежно испытывает сильное искушение приспособить свою дикцию к некоей усредненной нормативной литературной лексике, облагороженной длительным ее употреблением. Трудно сказать, что удержало Алешковского от этого соблазна: трезвость его воображения или подлинность его дара. Любое объяснение в данном случае покажется излишне комплиментарным. Скорей всего, за избранной им стилистической манерой стоит просто-напросто представление данного автора о его аудитории как о сборище себе подобных.

Если это так, то это лестно для аудитории, и она должна бы поблагодарить рухнувшую ныне общественную

систему за столь демократическую интуицию нашего автора. Ибо в произведениях Алешковского расстояние, отделяющее автора от героя и их обоих — от читателя, сведено до минимума. Это объясняется прежде всего тем, что — за малыми исключениями — сочинения Алешковского представляют собой, по существу, драматические монологи. Говоря точнее — части единого драматического монолога, в который сливается вся творческая деятельность данного автора. При таком раскладе опять-таки неизбежно возникает элемент отождествления — в первую очередь для самого писателя — автора с его героями, а у Алешковского рассказчик, как правило, главное действующее лицо. Не менее неизбежен и элемент отождествления читателя с героем-рассказчиком.

Подобное отождествление происходит вообще всякий раз, когда читатель сталкивается с местоимениями «я», и монолог — идеальная почва для такого столкновения. Если от «я» героя читатель еще может худо-бедно отстраниться, то с авторским «я» отношения у него несколько сложнее, ибо отождествление с ним для читателя имеет еще и свою лестную сторону. Но, в довершение всего, герой Алешковского — или сам автор, — как правило, обращается к читателю на «ты». И это интимно-унизительное местоимение творит под пером нашего автора с читателем чудеса, быстро добираясь до его низменной природы и за счет этого полностью завладевая его вниманием. Читатель, грубо говоря, чувствует, что имеет дело с собеседником менее достойным, чем он сам. Движимый любопытством и чувством снисходительности, он соглашается выслушать такого собеседника охотней, чем себе равного или более достойного.

Речь есть, в конечном счете, семантически атомизированная форма пения. Пение, в конечном счете, есть монолог. Монолог, в конечном счете, — всегда исповедь. Разнообразные формально, произведения Алешковского принадлежат, выражаясь технически, прежде всего к жанру исповеди. Механизм исповеди, как известно,

приводится в движение раскаянием, сознанием греховности, чувством вины за содеянное, угрозой наказания или пыткой. При этом адресатом исповеди является, по определению, существо высшее или, по крайней мере, более нравственное, нежели исповедующийся. Если первое будит в читателе любопытство, второе порождает ощущение превосходства и опять-таки момент отождествления с адресатом.

Преимущество исповеди как литературного жанра состоит именно в превращении читателя в жертву, свидетеля и — главное — судью одновременно. Повествования Алешковского замечательны, однако, тем, что их автор совершает следующий логический шаг, добавляя к вышеозначенной комбинации стилистику, восходящую к тюремным нарам. Ибо герой-рассказчик в произведениях Алешковского — всегда бывшая или потенциальная жертва уголовного кодекса, излагающая историю своей жизни именно языком зоны и кодекса, говоря точнее, «тискающая роман».

Ключевое для понимания Алешковского выражение «тискать роман» заслуживает, надо полагать, отдельного комментария — особенно если иметь в виду читателя будущего. Коротко говоря, «тискать» восходит здесь к пренебрежительной самоиронии профессионального литератора, привычного к появлению его художественных произведений в печати и могущего позволить себе роскошь ложной скромности, основанной на безусловном чувстве превосходства над окружающими. «Роман», в свою очередь, указывает благодаря смещенному ударению на обосновательность этого превосходства и на предстоящую модификацию или заведомую скомпрометированность некогда благородного жанра. Как и «собрание сочинений», выражение «тискать роман» предполагает сильный элемент вымысла — если не простой лжи — в предстоящем повествовании. В конечном счете, за словосочетанием этим кроется, надо полагать, идея романа с продолжением, выходящего серийно в издании типа «Огонька» или «Роман-Газеты». Описывает оно, как



мы знаем, одну из форм устного творчества, распространенную в местах заключения.

Жертва уголовного кодекса «тискает роман» по соображениям сугубо практическим: ради увеличения пайки, улучшения бытовых условий, снискания расположения окружающих или просто чтобы убить время. Из всех перечисленных последнее соображение — наиболее практическое и, при благоприятных обстоятельствах, «тисканье романа» осуществляется изо дня в день, что равносильно сериализации. Материалом повествования оказывается все что угодно. Чаще всего это пересказ заграничного фильма, неизвестного аудитории рассказчика, или действительно романа — предпочтительно из иностранной жизни. Основная канва оригинала, как правило, сохраняется, но на нее нанизываются детали и отступления в соответствии с изобретательностью рассказчика и вкусами публики. Рассказчик является хозяином положения. Требования, предъявляемые ему публикой, те же, что и в нормальной литературе, — остросюжетность и сентиментальная насыщенность.

Парфразируя известное высказывание о гоголевской шинели, об Алешковском можно сказать, что он вышел из тюремного ватника. Аудитория его — по его собственному определению — те, кто шинель эту с плеч Акакия Акакиевича снял. Иными словами — мы все. «Роман», «тискаемый» Алешковским, — из современной жизни, и если в нем есть «заграничный» элемент, то главным образом по ту сторону пребывания добра и зла. Сентиментальная насыщенность доведена в нем до пределов издевательских, вымысел — до фантасмагорических, которые он с восторгом переступает. Драматические коллизии его героев абсурдны до степени подлинности и наоборот, но узнаваемы прежде всего за счет их абсурдности. Ирония его — раблезианская и разрушительная, продиктованная ничем не утоляемым метафизическим голодом автора.

Лишнюю пайку таким образом не заслужишь, бытовых условий не улучшишь, на расположение аудитории рассчитывать тоже не приходится, ибо она либо вытаскивает автора из барака, либо разбегается. Что касается шансов убить время, то они всегда невелики. Кроме того, как рассказчик Алешковский только благодарен каждому следующему дню за сериализацию «романа», ибо «тискать» его больше негде, кроме как во времени. Чего в таком случае добивается Алешковский своим монологом? Кому он исповедуется? Ради чего поет? И сам ли он поет, или мы слышим голос его героя? И кто, в конце концов, этот его герой, чей голос так похож на голос автора? Чей это голос мы слышим?

Голос, который мы слышим, — голос русского языка, который есть главный герой произведений Алешковского: главное его персонажей и главное самого автора. Голос языка всегда является голосом сознания: национального и индивидуального...

Помимо своей функции голоса сознания, язык еще и самостоятельная стихия, способность которой сопротивляться всепоглощающему экзистенциальному кошмару выше, чем у сознания как такового. Поэтому, надо думать, последнее так на язык и полагается. Сказать об Алешковском, что он владеет стихией этой в совершенстве, было бы не столько банальностью, сколько неточностью, ибо он сам и является этой стихией — ее энергией, горизонтом, дном и неистощимым обещанием свободы одновременно. У жертвы Уголовного кодекса, «тискающего» в бараке «роман», другого варианта свободы, кроме языковой, нет. То же самое относится к человеческому сознанию в пределах экзистенциального капкана, исключая разве что чисто религиозные средства бегства от реальности.

Впрочем, включая и их, ибо религиозное сознание нуждается в языке — по крайней мере, для изложения своих нужд, в частности для молитвы. Вполне возможно, что, будучи голосом человеческого сознания, язык вообще, во всех его проявлениях, и есть молитва. Это предпо-

ложение вполне в духе Алешковского, который, наряду с абсолютным слухом, обладает еще и уникальным метафизическим инстинктом, демонстрируемым практически на каждой странице. Его следовало бы назвать органическим метафизиком, если бы язык с его расширительным, центробежным принципом развития речи не был движущей силой этой органики. И язык — любой, но в особенности русский — свидетельствует о наличии у человеческого существа гораздо большего метафизического потенциала, чем то, что предлагается религиозным чувством, не говоря — доктриной. Язык есть спрос, религиозные убеждения — только предложение.

Вышеизложенное не является посягательством на метафизические лавры нашего автора. Этот человек, слышащий русский язык, как Моцарт, думается, первым — и с радостью — признает первенство материала, с голоса которого он работает вот уже три с лишним десятилетия. Он пишет не «о» и не «про», ибо он пишет музыке языка, содержащую в себе все существующие «о», «про», «за», «против» и «во имя»; сказать точнее — русский язык записывает себя рукою Алешковского, направляющей безграничную энергию языка в русло внятного для читателя содержания. Алешковский первым — и с радостью — припишет языку свои зачастую ошеломляющие прозрения, которыми пестрят страницы этого собрания, и, вероятно, первым же попытается снять с языка ответственность за сумасшедшую извилистость этого русла и многочисленность его притоков.

Говоря проще, в лице этого автора мы имеем дело с писателем как инструментом языка, а не с писателем, пользующимся языком как инструментом. В русской литературе двадцатого века таких случаев не больше, чем в русской литературе века минувшего. У нас их было два: Андрей Платонов и Михаил Зощенко. В девятнадцатом, видимо, только Гоголь. В двадцатом веке Алешковский оказывается третьим, и, видимо, последним, ибо век действительно кончается, несмотря на обилие подросткового таланта.

Пишущий под диктовку языка — а не диктующий языку — выдает, разумеется, тем самым орфическую, точнее мелическую, природу своего творчества. Алешковский выдает ее более, чем кто-либо... Перед вами, бабы и господа, подлинный орфик: поэт, полностью подчинивший себя языку и получивший от его щедрот в награду дар откровения и гомерического хохота, освобождающего человеческое сознание для независимости, на которую оно природой и историей обречено и которую воспринимает как одиночество.

*Иосиф Бродский*

Нью-Йорк, 1995

# Автобиографическая справка

И с отвращением читая жизнь мою,  
я трепещу и проклинаяю,  
и горько жалуюсь, и горько слезы лью,  
но строк печальных не смываю.

Если бы величайший из Учителей,

Александр Сергеевич Пушкин, не научил меня эдак вот мужествовать при взгляде на жизнь прошедшую, то я ни в коем случае не отважился бы самолично знакомить Читателя с небюрократизированным вариантом своей автобиографии.

Откровенно говоря, жизнь свою я считаю, в общем-то, успешной. Но для начала вспомним, что успех — от глагола «успеть».

Начнем с того, что успех сопутствовал мне буквально с момента зачатия родителями именно меня, а не другой какой-нибудь личности, в Москве, суровой зимой 1929 года. Слава богу, что я успел родиться в Сибири, в сентябре того же года, потому что это был год ужасного, уродливого Перелома, и мало ли что тогда могло произойти.

Затем я успел возвратиться в Москву и познакомиться с уличным матом гораздо раньше, к сожалению, чем со сказками братьев Гримм. Потом я оказался в больнице с башкой, пробитой здоровенным куском асфальта, что навсегда нарушило в ней способность мыслить формально-логически и убило дар своевременного почитания здравого смысла.

Потом я пошел в детсад, но исключен был из него вместе с одной девочкой за совершенно невинное и естественное изучение анатомии наших маленьких тел. Так что в школу я попал человеком, слегка травмированным варварски-бездушной моралью тоталитарного общества.

Прогуливая однажды, я свалился в глубокий подвал, повредил позвоночник, но выжил. Врачи и родители опасались, что я останусь лилипутом на всю жизнь, хотя сам я уже начал готовиться к карьере малюсенького циркового клоуна.

К большому моему разочарованию, я не только продолжал расти, но превратился в оккупанта Латвии вместе с войсковой частью отца; успешно тонул в зимних водах Западной Двины; потом успел свалить обратно в Москву и летом сорок первого снова махнуть в Сибирь, в эвакуацию.

Вообще, многие наиважнейшие события моей жизни произошли за Уральским хребтом. Так что я имею больше конкретных прав называться евразийцем, чем некоторые нынешние российские политики, стоящие одной ногой в Госдуме, другой — в Индийском океане.

Во время войны, в Омске, я успел влюбиться в одноклассницу буквально за месяц до зверского указа Сталина о раздельном обучении двух полов. По всем предметам я в школе драматически не успевал. Это не помешало мне успеть не только схватить от любви и коварства, от курения самосада и голодухи чахотку, не только выздороветь, но и возвратиться в Москву здоровенным верзилкой — победителем палочек Коха, умеющим стряпать супы, колоть дрова, растить картошку, а также тайно ненавидеть вождя, с такой непонятной жестокостью прервавшего романтические общения мальчиков с девочками в советской школе.

Я был весельчаком, бездельником, лентяем, картежником, жуликом, хулиганом, негодяем, курильщиком, беспризорником, велосипедистом, футболистом, тревогодником, хотя всегда помогал матери по дому, восторженно интересовался тайной деторождения и отношения полов, устройством Вселенной, происхождением видов растений и животных и природой социальных несправедливостей, а также успевал читать великие сочинения Пушкина, Дюма, Жюль Верна и Майн Рида. Может быть, именно поэтому я ни разу в жизни своей ничего не продал и не предал. Хотя энное количество разных мелких пакостей и грешков успел, конечно, совершить.

Я проработал с полгода на заводе, но школу кончить и вуз так и не успел, о чем нисколько не печалюсь. Вскоре произошло событие не менее, может быть, важное, чем победа именно моего живчика в зимнем марафоне 1929 года, года великого и страшного Перелома. Я без ума втрескался в соседку по парте в школе рабочей моло-

дежи. Любовь эта напоминала каждую мою контрольную по химии: она была совершенно безответна. Дело не в этом.

К счастью, общая химия Бытия такова, что я с тоски и горя начал тискать стишки, то есть я изменил соседке по парте, Ниночке, и вспылал страстной любовью к Музе, которая впоследствии не раз отвечала мне взаимностью. Вообще, это было счастьем — успеть почувствовать, что любовное мое и преданное служение Музе — пожизненно, но что все остальное — карьера, бабки, положение в обществе, благоволение властей и прочие дела такого рода — зола.

Потом меня призвали служить на флот. Переехав очередной раз Уральский хребет, я совершил ничтожное, поверьте, уголовное преступление и успел попасть в лагерь до начала корейской войны. Слава богу, я успел дожить до дня, когда Сталин врезал дуба, а то я обогнал бы его с нажитой в неволе язвой желудка.

Вскоре маршал Ворошилов, испугавшись народного гнева, объявил амнистию. Чего я только не успел сделать после освобождения! Исполнилась мечта всей моей жизни: я стал шофером аварийки в тресте «Мосводопровод» и навечно залечил язву «Московской особой».

Начал печатать сначала отвратительные стишки, потом сносные рассказы для детей. Сочинял песенки, не ведая, что пара из них будет распеваться людьми с очистительным смехом и грустью сердечной.

Вовремя успел понять, что главное — быть писателем свободным, а не печатаемым, и поэтому счастлив был пополнять ящик сочинениями, теперь вот, слава Богу и издателям, предлагаемыми вниманию Читателя.

Ну, какие еще успехи подстерегали меня на жизненном пути? В соавторстве с первой женой я произвел на свет сына Алексея, безрассудно унаследовавшего скромную часть не самых скверных моих пороков, но имеющего ряд таких достоинств, которых мне уже не занять.

Я уж полагал, что никогда на мой закат печальный не блеснет любовь улыбкою прощальной, как вдруг, двадцать лет назад, на Небесах заключен был мой счастливый, любовный брак с прекраснейшей, как мне кажется, из женщин, с Ирой.

Крепко держась друг за друга, мы успели выбраться из болотного застоя на берега Свободы, не то меня наверняка захомутали бы за сочинение антисоветских произведений. Мы свалили, не то я не пережил бы разлуки с Ирой, с Музой, с милой волей или просто спился бы в сардельку, заключенную в пластиковую оболочку.

В Америке я успел написать восемь книг за шестнадцать лет. Тогда как за первые тридцать три года жизни сочинил всего-навсего одну тоненькую книжку для детей. Чем не успех?

Разумеется, я считаю личным своим невероятным успехом то, что сообщая со всем миром дождались мы все-таки часа полыхания гнусной Системы, ухитрившейся, к несчастью, оставить российскому обществу такое гнилостное наследство и такое количество своих тухлых генов, что она долго еще будет казаться людям, лишенным инстинктов свободы и достойной жизнедеятельности, образцом социального счастья да мерою благонравия.

Так что же еще? В Америке, во Флориде, я успел, не без помощи Иры и личного моего ангела-хранителя, спасти собственную жизнь. Для этого мне нужно было сначала схватить вдруг инфаркт, потом сесть за руль, добросить себя до госпиталя и успеть сказать хирургам, что я согласен рискнуть на стопроцентную успешную операцию на открытом сердце.

Всего-то делов, но я действительно успел в тот раз вытащить обе ноги с того света, что, ей-богу, было еще удивительней, чем миг моего зачатия, поскольку.

Честно говоря, если бы я имел в 1929-м какую-нибудь информацию об условиях жизни на Земле и если бы от меня лично зависело, быть или не быть, то... не знаю, какое принял бы я решение. Впрочем, несмотря на справки об ужасах земного существования, о войнах, геноцидах, мерзостях Сталина и Гитлера, диком бреде советской утопии, террариумах коммуналок и т.д. и т.п., все равно я успел бы завопить: БЫ-Ы-Ы-ЫТЬ! — чтобы меня не обогнала какая-нибудь более жизнелюбивая личность. Возможно, это была бы спокойная, умная, дисциплинированная, прилежная, талантливая, честнейшая девочка, меццо-сопрано или арфистка, о которой мечтали бедные мои родители..



Одним словом, сегодня, как всегда, сердечно славо-  
слова Бога и Случай за едва ли повторимое счастье су-  
ществования, я горько жалею и горько слезы лью, но,  
как бы то ни было, строк печальных не смываю; жену,  
детей, друзей и Пушкина люблю, а перед Свободой бла-  
гоговею.

Понимаю, что многого не успел совершить, в том  
числе и помереть. Не знаю, как насчет остального, на-  
пример хорошей натаски в латыни, греческом и англ-  
ийском, а врезать в свой час дуба я всегда успею.

Поверь, Читатель, в чем-в чем, а в таком неизбеж-  
ном деле ни у кого из нас не должно быть непристой-  
ной и истерической спешки.

*Юз Алешковский*

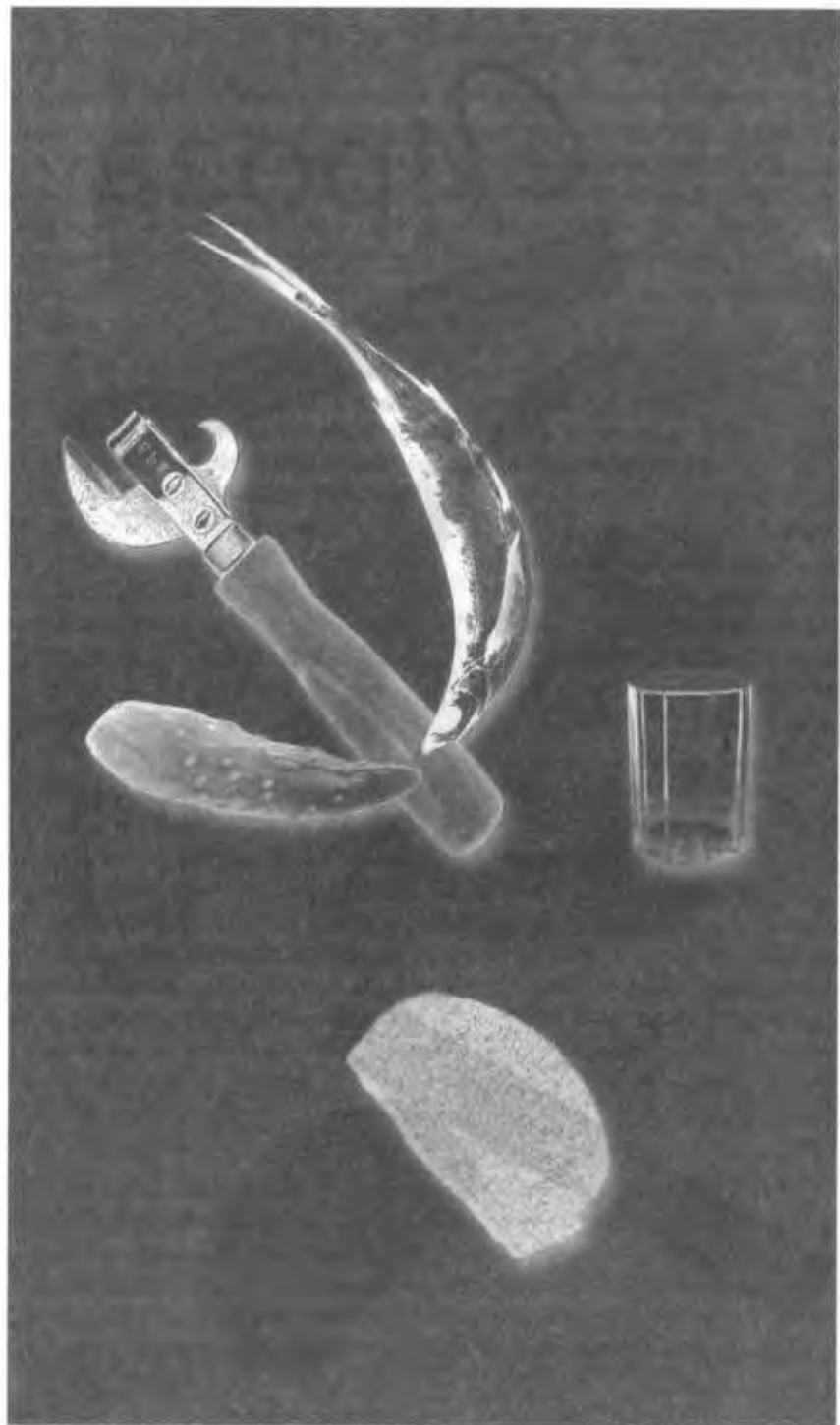
# Проза

Революция — это большие перемены  
между уроками истории.



История — это предвзятое  
следствие перед Страшным Судом.







# Николай Николаевич

## Светлое путешествие в мрачном гадюшнике советской биологии

### Научно-фантастическая повесть

*Ирине, Ольге и Андрею — на память  
о комарах, свежей треске  
и землянике Рижского взморья.*

**1** Вот послушай. Я уж знаю: скучно

не будет. А заскучаешь — значит, полный ты мудила и ни хуя не петришь в биологии молекулярной, а заодно и в истории моей жизни. Вот я перед тобой — мужик-красюк, приборахлен, усами сладко пошевеливаю, «Москвич» у меня хоть и старый, но бегаёт, квартира, заметь, не кооперативная и жена — скоро кандидат наук. Жена, надо сказать, — загадка! Высшей неразгаданности и тайны глубин. Этот самый сфинкс, который у арабов — я короткометражку видел — говно по сравнению с ней. В нем и раскалывать-то нечего, если разобраться. Ну, о жене речь впереди. Ты помногу не наливай, половинь. Так забирает интеллигентней, и фары не разбегаются. И закусывай, а то окосеешь и не поймешь ни хуя. Короче говоря, после войны освободился я девятнадцати лет. Тетка меня в Москве прописала: ее начальник паспортного стола ебал прямо на полу в кабинете. И месяц я нигде не работал. Не хотел. Куропчил\* потихоньку на садке\*\*, причем без партнеров, и даже пропаль пульнуть\*\*\* некому. Искусство. Видишь пальцы? Ебаться надо Ойстраху. Мои длинней. И, между нами, чуял я этими пальцами, что за купюры в лопатниках или просто в карманах. Цвет ихний пальчиками брал и ни разу не ошибся. А сколько таких парчушек, которые за рупь горят или за справку из домоуправления, которую они, фраера, тянут как банкнот в миллион долларов, столько сил тратят, на цыпочках балансируют, вытягивают, а их — за жопу и в конверт. У нас не считается, сколько спиздил, главное — не воровать.

\* Воровал.

\*\* Толкучка при входе, например в вагоны.

\*\*\* Передача бумажника, кошелька и т.п. напарнику.

Ну ладно, куропчу я себе помаленьку. Маршрут «Б» освоил и трамвая «Аннушка». Карточки, заметь, не брал. А если попадались, я их по почте отсылал или в стол находок перепуливал. Был при деньге. Жениться собирался. Вдруг тетка говорит:

— Сосед тебя в институт к себе берет. Лаборантом будешь. Все одно погоришь. Скоро срока увеличат. Мой сказывал, а у него брат на Лубянке шпионов ловит и все знает прямо от Берии.

И правда, указ вышел. От пяти до четвертака. Я перебздел. Везло мне что-то очень долго. И специальность получить хотелось, но работать я не любил. Не могу, и все. Хоть убей. Отучили нас в лагерях работать. Пришлось идти в институт к соседу все ж таки, потому что примета такая: если перебздел — скоро погоришь.

С соседом этим мы по утрам здоровались. Он в сортире подолгу сидел, газетой шуршал и смеялся. Воду спустит — и хохочет. Ученые, они все авоськой стебанутые. По-моему, он тоже тетку ебал, и, в общем, устроился я в его лабораторию. По фамилии он был Кимза, нацию не поймешь, но не еврей и не русский. Красивый, но какой-то усталый, лет под тридцать.

— Будешь, — говорит, — реактивы носить, опыты помогать ставить. Захочешь — учиться пойдешь. Как?

— Нам, — говорю, — татарам, одна хуй. Что ебать подтаскивать, что ебанных оттаскивать.

— Чтобы мата больше я не слышал.

— Ладно.

## 2

Неделю работаю. Таскаю хуйню всякую, склянки мою, язык солью какой-то обжег в обед и дрисстал дня четыре чем-то синим. Думал, соль поваренная, а она, падла, химическая была. Бюллетень не брал, однако. А то в жопу миномет вставлять бы начали, как в лагере. Чернил пузырек я тогда уделал, чтобы на этап северный не идти... В общем, работаю. Оборудую новую лабораторию. Микроскопов до хуя, приборов, моторов и так далее. Вдруг надоело упираться. Я даже пошалил. В буфете у начальника отдела кадров лопатник из скулы\* увел

\* Боковой карман.

ради искусства своей профессии. И, еб твою мать, что тут началось! Часа через полтора взвод в штатском приехал, из института никого не выпускают. Генеральный шмон, и разве только в очко\* не заглядывают. А все из-за чего? Я с лопатником пошел посрать, раскрыл его, денег в нем нет. Одни ксивы. То есть доносы. И на моего Кимзу тоже донос. Дескать, науку хуй знает куда отодвигает, на собрании не поет, не хлопает, голосовал с отвратительным видом и выключает легкую музыку советских композиторов. Опыты его направлены против человека, который звучит гордо, и поэтому косвенно расшатывают экономику. Понял? Четвертаком завоняло для Кимзы. Пятьдесят восьмой. Но я стукачей не люблю. Чужими доносами подтерся. По ним получалось, что весь институт — сплошной заговор осинового гнезда, — а значит, и я в том числе? Донос на Кимзу я из сортира вынес. Лопатник мойкой\*\* расписал на части и в унитаз бросил. Дверь кто-то дергает, орет и бушует. Я вышел, объяснил, что химией обхавался и что дверь не зуб — не хуя ее дергать.

— Смотрите, — говорю Кимзе, — ксива на вас.

Он прочитал, побледнел, поблагодарил меня, все понял — и хуяк бумажку в мощнейшую кислоту. Она у нас на глазах растворилась к ебени бабушке.

Тут меня дергают к начкадрами. Я, разумеется, в не-сознанке.

— Не такие, — говорю, — портные шили мне дела, и то они по швам расползались на первой примерке!

— Показания есть, что ты сзади в очереди терся. Может, старое вспомнил?

— Ебал я эти показания. Много ли там денег-то хоть было?

— Денег совсем не было.

— Ну, тогда бы я на такое говно никогда не позарился.

Штатские посмеялись. Отдохнули, видать, с моим простым языком и отпустили.

Назавтра говорю Кимзе, что работать не буду. Принципиально я не рабочий, а артист своего дела. Я, говорю,

---

\* Анус.

\*\* Бритва.

на тахте люблю лежать и хавать книжки. Тут он странно так на меня посмотрел, и, главное, долго, и начал издавка — насчет важности для всего человечества евойной науки — биологии и что он начинает опыты, равных которым не бывало. Одним словом, эксперимент. И я ему необходим. И что работа эта благодарная и творческая. Но самое интересное, что она и не работа, а одно удовольствие, причем высокооплачиваемое. Только без предрассудков к ней отнестись надо и с мыслью о будущем человечества. Он чаще всего на это дело напирал

— Слушай, сосед, — говорю, — не еби ты мне мозгу — о чем речь-то?

— Ты должен стать донором.

— Кровь, что ли, сдавать?

— Нет, не кровь.

— Что же, — смеюсь, — говно или ссаки?

— Сперма нам нужна, Николай. Сперма!!!

— Что за сперма?

— То, из чего дети получаются.

— Какая же это сперма? Это малофейка. Малофья, по-научному.

— Ну, пусть малофья. Согласен сдавать для науки? Только не путайся. Позорного в этом ничего нет. Кстати, полнейшая тайна тебе гарантируется.

— А ты сам чего не сдаешь? — подозрительно спрашиваю.

Он нахмурился:

— Могут обвинить в выборе объекта исследования по родственному признаку. Давай соглашайся.

Тут я сел на пол и стал хохотать. Ни хуя себе работа! Чуть не обоссался, и аппендицит заболел.

— Ржешь как болван. Сядь и послушай, для чего нам нужна твоя сперма, — сказал Кимза.

Шутки шутками, а я прислушался, и оказалось, что план у Кимзы таков: я дрочу и трухаю, что одно и то же, а малофейку эту под микроскоп будут класть и изучать. Потом попробуют ввести ее в матку бесплодной бабе и посмотрят, попадет она или нет.

Тут я его перебил — насчет алиментов в случае чего. Заделаешь штукам пяти, а потом шевели рогами в получку.

— Это, — говорит, — пусть тебя не волнует.

И еще у него имелись совершенно тайные планы для моей малофейки. Обещал их рассказать, как только приступим к опытам. И веришь, встал мой сопливый от этих разговоров — хоть сейчас начинай! А это мне не впервой. В лагере каждый сотый не трухает, а остальные девяносто девять дрожат как сто. Все дело в том, чтобы морально не переживать. Другой подрочит — и ходит три дня как убитый, от самопозора страдает. И на всю жизнь себя этим переживанием калечит. Знал я Мильштейна Левку — мошенника. Отбой, кожаные движки начинают работать, а Левка зубами скрипит, борется с собой и затихает постепенно. Я его успокаивал:

— Организм требует, и нечего над ним издеваться. Он ни при чем. Не будь ему прокурором!

Ну, ладно. Задумался я и спрашиваю Кимзу про условия. Сколько раз спускать? Какой рабочий день, оклад и название должности в трудовой книжке?

— Оргазм ежедневно по утрам, один раз. Оформим тебя техническим референтом. Оклад по штатному расписанию. Рабочий день не нормирован. Восемьсот двадцать рублей. После оргазма — в кино.

### 3

Я виду не подал, что удивился и даже охуел. Приду, думаю, струхну — и на трамвай «Аннушка» да в троллейбус «Букашку». В случае, если погорю, — смягчающее обстоятельство: работаю в институте. В общем, согласился. Вечером сходил к старому международному урке. Вышшего класса был вор, пока границы не закрыли на Карачупу и его верного друга Ингуса.

— Ты, — говорит урка, — счастливчик и везунчик. Но продешевил. Ведь струхня дороже черной икры стоит. Почти как платина и радий. Пиздок официальный ты! Я бы этим биологам поштучно свои живчики продавал. На то им и микроскопы дадены — мелочь подсчитывать. Поштучно, блядь! Понял?

— Понял, как не понять. Жопа я и вправду. Ведь живчик — это самый наш цимес. И на здоровье частая дрочка дурно повлияет. Не бзди, — говорю я урке, — цену я постепенно подниму. Не фраер.



— Жалко вот, нельзя разбавить малофейку. Ну, вроде как сметану в магазине. Тоже навар был бы, — говорит урка.

— Еб твою мать! — по лбу себя стукаю. — Я придерживать буду при спуске. А потом с понтом вторую палку сверх плана выдам!

— Не советую, — серьезно так говорит урка, — нельзя прерывать половые сношения хотя бы и с Дунькой Кулаковой. Вредно. Я одну бабу из-за этого разогнал. Только и вопила: «Кончай куда-нибудь в другое место!» — «Может, в среднее ухо?» — спрашиваю. «Все равно куда, лишь бы не в мутер!» У меня, блядь, на этой почве на ногах ногти почти перестали расти. Веришь? Пришлось разогнать ее. Так что уж кончай по-человечески. Тащи бутылку с полочки. Да! Сдери с них молоко за вредность и скажи, что тех, которые кровь сдают, кормят бациллой\* после сдачи. Не будь фраерюгой. В Америке пять раз струхнешь — и машину покупаешь. Понял?

#### 4

Ну, прихожу утром на работу, стараюсь, чтобы не смеяться. Стыдно немного, а с другой стороны — хули, дуваю, краснеть? Пускай ебучее человечество пользуется. Может, на пользу ему еще пойдет... Смотрю, а для меня уже хавирку маленькую приготовили, метра три с половиной, без окон. Лампа дневного света. Тепло. Оттоманка стоит. На стуле пробирка.

— Ну вот, Николай, твое рабочее место, — говорит Кимза.

— Только договоримся — без подъебок, — отвечаю.

Тут Кимза и велел мне не развивать в себе какой-то комплекс неполноценности, а, наоборот, гордиться.

— Располагайся. Приступай, как только я скамандую: «Внимание — оргазм!» После оргазма закрой пробирку пробкой.

— Чтоб не разбежались?

— Работать быстро и без потери! Читал объявление?

Я закрылся, прилег, задумался, вспомнил, как в побег ушли мы с кирюхой в бабский лагерь и переебли там всех вороваяк, а те, кому не досталось, все больше фашистки

\* Жиры, мясо и т.п.

и фраерши, трусы с нас содрали и на части их разодрали, чтобы хоть запах мужской иметь под казенными одеяльцами. Вспомнил, а сопливый уже, как кобра под дудку, головой в разные стороны поводит. Я тогда ебся редко, сразу струхнул. Полпробирки. Целый Млечный Путь, как говорил мой сосед по нарам, астроном по специальности. На него дружок стукнул, что он Землю как планету в рот ебет, если на ней происходит такая хуета, что ни в какие ворота не лезет. Прости, отвлекся.

Несу пробирку Кимзе.

— Ого, — говорит, — посмотрим. — И размазал немного на стеклышке, а остальное в какой-то прибор сунул, весь обледенелый и пар от него валит.

Посмотрел Кимза в микроскоп и глаза на меня вытаращил. Словно по облигации выиграл.

— Ну, Николай, — говорит, — ты супермен! Сверхчеловек! Невероятно! Почему — не спрашивай. Потом поймешь. Я тебя поднатаскаю в биологии.

— Посмотреть-то можно?

— В другой раз. Сейчас иди. До завтра.

Ну, я вежливо говорю, что в Америке дорожке платят и питаться надо после каждой палки от пуза, а то подрочу с неделю, и вся наука остановится: кончится моя малофейка.

— А что бы ты хотел иметь из закуски? Учти, что с продуктами сейчас трудно. Вся страна, кроме вождей и главмагов, голодает.

— Мяса грамм двести, — говорю, — хлеб с маслом. Можно семечек стакан. Чаю покрепче.

— Зачем же семечки? — спросил Кимза.

Я и отвечаю, что во время дробочки другой рукой можно от скуки грызть семечки.

— Семечек не будет, — разозлился Кимза. — А насчет мяса похлопочу. Мой шеф — академик-вегетарианец. Возьму его карточку. Он огромное значение тебе придает.

— И зарплату увеличить надо. Из своего кармана, что ли, платишь?

— Увеличим. Вот организую лабораторию, ставок выколочу побольше — и увеличим. Хорошо будем платить за твою малофейку. Злая она у тебя, Николай. Ну иди,

а то у меня твои живчики передохнут. Вахтеру скажи: наряд на осциллографы идешь получать.

— На чернуху я мастер. Не бздите.

Иду по институту, и первый раз в жизни совесть во мне заговорила. Ишачат все эти доктора, кандидаты и лаборанты, а я подрочил себе в удовольствие — и готов. Домой иду. Неловко как-то. А с другой стороны, малофейка науке нужна — и всей стране, значит. Я аккордно работаю. Вот только на дремоту меня повело после дочки. И воровать лень.

Пошел я в бар пиво пить и раков хавать с черными сухариками. Кстати, учти, от пива стоит, надо лишь думать о бабе после пяти кружек, а не насчет поссать. Как поссышь, так стоять не будет. Как же не поссать, говоришь? Внушать себе надо уметь. Вот которые в Индии живут, даже не срут по месяцу и больше, а ссаки в пот превращают и в слезы. Я так полагаю, что по-научному, по-нашему, по-биологицки, кал, то есть говно, у этих йогов в запах превращается. Ну вот, скажем, спирт. Не закроешь — он и выдохнется. Только спирт быстро выдыхается, а говно долго — в нем, в говне, молекула совсем другая, и очень вонючая, гадина такая. А уж про атом говенный и говорить нечего. Он, блядого, и не расщепляется, наверное, в синхрофазотроне. Между прочим, спрошуу Кимзы, что будет, если он расщепится. Верняк — мировая вонь поднимется до облаков... Ты пей! Спиртыга — высшей чистоты. Мне на месяц два литра выдают, муде перед оргазмом дезинфицировать. Ну а я как советский человек экономию навожу. Ведь как дело было. Кимза всем остальным выдает спирт, а мне — нет. Ну уж хуюшки, думаю себе, и в пробирку к малофейке грязь наскреб с каблука. Я не фраер. Кимза сразу тревогу забил:

— Почему живчики не стерильны? Почему они чумазые? Руки трудно вымыть донору?

— Надо, — говорю, — при опыте не руки мыть, а член — орудие производства. Он небось в штанах, а не в безвоздушном пространстве. Мало ли где за сутки побывает.

— Сколько тебе спирту надо? — нахмурился Кимза.

— Два литра, — говорю.

— Многовато. Триста грамм хватит.

Тут я доказал, что, прежде чем за хуй браться, нужно все пальчики обтереть, на обеих причем руках, я ведь руки меняю, а заодно и пах стерилизовать, так сказать.

— Хорошо. Литр ему выпишите на месяц, — велел Кимза.

— Э-э! — уперся я. — Не пойдет так дело. Литр — это в расчете на член лежащий, в самом лежачем виде, как, допустим, после холодного моря Гагров, а на стоячий надо в три раза больше. И я еще по совести прошу. Я, блядь, самое ценное в себе отдаю людям! Я бы в Америке давно уже дачу имел на курорте, «Линкольн» и другую недвижность. И я, блядь, не мертвые души государства забиваю, как Чичиков, а свежую свою родную сперму. А потому и нечего на мне экономию разводить! Я человек! Ты меня залей спиртом, и я его сам первый пить не стану. А то подбывает каждая падла, что я член при жизни заспиртовать решил. Мандавошки! Если бы не я, вы бы не диссертации защищали, а свои жопы на летучке у директора. На моем хую держитесь! Учреждение наше — НИИ — склочное, и порядку в нем нету. Не то что в тюрьме или в БУРе. Я сроду не стучал, но если вы, змеи, зажмете спиртягу, ей-богу, стукну в партком, местком и профком!

— Хорошо. Два литра, — сказал Кимза. — И ни грамма больше! — И скомандовал в лаборатории: — Внимание — оргазм!

Вот я, кирюха, и со спиртиком. Даже рационализацию устроил: протираю лежащий, а не стоящий, и премию за это даже получил... Будем здоровы! Ты хавай. Эту севрюгу и красную икру я специально для тебя сегодня оставил. Ну так вот. Черную, между прочим, я не уважаю. У меня диатез от нее. Жопы идет пятнами, чешется ужас как, и кальций надо пить, а он, сволочь, горький очень. Ну так вот. Об такой закуске тогда еще и мечтаний не было.

## 5

Хожу я, значит, по утрам в институт, номерок вешаю и с Машками не путаюсь, потому что боюсь лично наебаться и по сдаче спермы фуфло двинуть\*, как сейчас гово-

\* Обмануть.

рят, крутануть динамо. Привык. Решил Кимзе ультиматум предъявить.

— Ты, — говорю, — на работу простую энергию тра-тишь, а я самую главную, и я, — говорю, — когда кончу, на ногах еле стою и под ложечкой тянет. Может, мне и жить-то еще лет пятнадцать, а вам, сукам, гужеваться!

А у Кимзы опыты пошли успешно, он иногда шутил даже поставить памятник моему члену заводной. Чтобы он вставал с первыми лучами солнца. В старину такие были памятники. Но их снесли. Застеснялись. А кого за-стеснялись? Ведь член, кирюха, если разобраться, самое главное. Главней мозгов. Мы же лет мильён назад не моз-гами ворочали, а хуями. Мозги же развивались. Да если бы не так, то и ракета была бы не на хуй похожа, а на жо-пу, и из нее только бы вонь и грохот шли. Сама же не то что до Луны... В общем, хули говорить. Помни мое слово, вот увидишь! Когда мозге больше некуда будет разви-ваться, настанет общий пиздец. Стоять не будет по тем временам даже у самых дураков, вроде нас с тобой. Все будут исключительно давать дуба, а в родильных домах и в салонах для новобрачных пооткрывают цветочные да венковые магазины. А на улицах под ногами стружка бу-дет шуршать: столярные работы начнутся. Ладно! Хули ты шнифты раскрыл? Нескоро это еще, и общий пиздец все равно не состоится. Но об этом речь впереди...

Я и говорю Кимзе:

— Набавляй. Мне и прибарахлиться надо, и телеviso-ры скоро выпускать начнут, а то опять воровать пойду или на водителя трамвая «Букашка» учиться. Хоть из своего кармана выкладывай, и частным образом буду те-бе живчиков толкать. Две тыщи с половиной хочу полу-чать.

— Хорошо. Уволим двух уборщиц. Оформим тебя по совместительству.

— Ну уж, ебу я такой труд на половых работах!

— Ты будешь числиться, а убирать будут другие лабо-ранты. Ясно?

— Это другое дело.

— Аппетиты твои растут, надо сказать.

— Что-о-о, курва? — говорю. — Хочешь, чтобы я же-нился?

— Ну-ну! Не бесись. Мне ведь и десять тыщ на тебя не жалко. Вот получу если Нобелевскую премию — отвалю приличную сумму. А сейчас времена в нашей науке сложные и тяжелые. Дай бог опыт до конца довести! Завтра начнем.

Ну, я обрадовался! Две четыреста! Хуй на автобусе работаешь, не то что на «Букашке».

## 6

И пошел я на радостях в планетарий. Сначала поддал, конечно, как следует. Я люблю это дело. Садись под легкой балдой в кресло, лектор тебе чернуху раскидывает про жизнь на других землях и лунах, а ты сидишь себе, дремлешь, а над башкой небо появляется, и звезды на нем и все планеты, которые у нас в стране не видны, например Южный Крест, и чтобы его увидеть, надо границу переходить по пятьдесят восьмой статье, которая мне нужна, как пизде будильник. Вот мигают звездочки и созвездия разные, и небо — чернота сплошная — тихо оборачивается, а ты, значит, под легкой балдой в кресле, вроде бы один на всей Земле, и ни хуя тебе, твари жалкой, не надо. И вдруг светать начинает. Пути Млечного не видать, розовеет по краям. Хитрожопый такой аппарат! Потом часы бьют — бим-бом. Зеваю шесть часов. Скорей бы утро, и снова на работу. Слава богу, думаю, что не на нарах лежу и не надо, шеломку похлебавши, пиздячить к вахте, как курва с котелками... Поддал я еще в баре на радостях от прибавки и попер к бывшему международному урке, а у него в буфете хуй ночевал. Пришлось бежать в гастроном. Ну, захмелел урка, завидует мне, и хвалит, и велит не трепаться, чтобы не пронюхал всякий хмырь-студент.

— Бойся, — говорит, — добровольцев. Их у нас до хуя и больше.

Я тоже накирлялся в сосиску. Утром проспал, бегу, блядь, а в башке от борта к борту, как в кузове, жареные гвозди пересыпаются. Кимза на меня Полкана спустил, кричит:

— Вы задерживаете важнейший опыт!.. Внимание — оргазм!

А около прибора, от которого пар идет, академик бегаёт в черной шапочке и розовые ручки потирает. Запираюсь в своей хавирке, включаю дневной свет. Рука

у меня дрожит, хоть бацай на балалайке, а кончить никак не могу, дрочу, весь взмок. В дверь Кимза стучит, думает, я закемарил с похмелья, и спрашивает:

— Почему оргазм задерживается? Безобразие!

У меня уже руки не поднимаются, и страх подступил. Все! Увольняйте, бляди, без выходного пособия! Пропала малофейка. Пропала моя малофейка!

Открыл дверь, зову Кимзу:

— Что хочешь делай. Сухостой у меня. Никак не кончу.

Академик просунул голову и говорит:

— Что же вы, батенька, извергнуть не можете семечко?

Я совсем охуел и хотел сию же минуту по собственному желанию уволиться, и тут вдруг одна младшая научная сотрудница, Влада Юрьевна, велит Кимзе и академику:

— Коллеги, пожалуйста, не беспокойте реципиента. — То есть меня. Закрывает дверь. — Отвернитесь, — говорит, — пожалуйста.

И выключает свет дневной. И своей, кирюха, собственной рученькой берет меня вполне откровенно за грубый, хамский, упрямую сволочь, за член... и все во мне напряглось, и словно кто в мой позвоночник спинной алмазные гвоздики забивает серебряным молоточком и окунает меня с головы до ног в ванну с пивом бочковым, и по пене красные раки ползают и черные сухарики плавают. Вот, блядь, какое удовольствие было! Не знаю даже, сколько времени прошло, и вдруг чую: вот-вот кончу, и уже сдержат себя не мог, заскрипел зубами, изогнулся весь и заорал... Потом уж рассказывал Кимза, что орал я секунд двадцать, и аж пробирки зазвенели, а осциллографа лампочка перегорела от моей звуковой волны. Сам же я полетел в обморок, в пропасть.

Открываю глаза. Свет горит, ширинка застегнута на все пуговицы, в голове холодно и тихо, и вроде бы набита она сырковой массой с изюмом. Очень я ее уважаю. Никакого нет похмелья. Выхожу в лабораторию. На меня зашикали. Академик над прибором, от которого пар валит, колдует и напевает: «...А вместо сердца — пламен-

ный мотор...» Ну как себя не уважать в такую минуту. Я и уважал.

Вдруг что-то треснуло, что-то открыли, гайки скинули, академик крикнул «ура!» — подбежал ко мне, руку трясет и говорит:

— Вы, батенька, возможно, прародителем будете вновь зарождающегося человеческого племени на другой планете! Каждый ваш живчик пойдет в дело! В одном термосе — народ! В двух — нация! А может, наоборот. Сам черт не разберется в этих сталинских формулировках. Поздравляю! Желаю успеха. — И убежал.

Я ни хуя не понимаю. Влада Юрьевна смотрит на меня, вроде и не она дрочила, а оказывается, вот что: мою наизлющую малофейку погружали в разные жидкие газы, замораживали, к ебаной бабушке, в камень, ну и оттаивали. Оттают и глядят: живы хвостатые или нет, а в них гены затасованы. Никак не могли газ подобрать и градусы. И вот — подобрали. И что же? Ракет тогда не было. Но Кимза мечтал запустить мою малофейку на Андромеду и — в общем, я в этом деле не секу — посмотреть, что выйдет. Понял? Ты ебало не разевай. Еще не то услышишь. Они бы попали на Андромеду и в стеклянном приборе, как в пузе, забеременели бы. Через девять месяцев — раз, и появляются на планете Андромеда живехонькие Николаи Николаичи! Штук сто сразу, и приспособляются, распиздяи, к окружающей среде. Не веришь? Мудило! А ты купи карпа живого, заморозь, а потом в ванну брось. Он же и оживет. «А-а-а!» Хуй на! Чтоб не падал от удивления. Так вот, возвращается академик. Хотя нет! Сначала я говорю:

— Дайте хоть взглянуть краем глаза на этих живчиков.

Пристроил я шнифт к микроскопу. Пляжу. А их видимо-невидимо. Правда что народ или нация. И каждый живчик в ней — Николай Николаевич. Надо бы, думаю, по бабе на каждого, но наука еще додумается.

Вот приходит академик и говорит:

— Вы, Николай-батенька, уж как-нибудь сдерживайте себя, не рычите, не орите при оргазме, а то уж по институту слух пополз, что мы вивисекцией здесь занимаемся. А времена знаете какие? Мы — генетики — без пяти минут враги народа. Да-с. Не друзья, а враги. Сдержи-



вайте себя. Трудно. Верю. Но сдерживайте. Скрипите хотя бы зубами.

— Это, — говорю, — нельзя. От зубного скрипа в кишке глисты зарождаются.

— Кто вам, милый вы мой, это сказал?

— Мамаля еще говорила.

— Кимза! Подкиньте эту идею Лепешинской. Пусть ее молодчики скрипят зубами и ждут самозарождения глистов в своих прямых кишках. По теории вероятности успех обеспечен. А еще лучше — вставьте им в анусы по зубному протезу... Шарлатаны! Варвары! Нахлебники! Враги народа!

Тут академик закашлялся, глаза закатил, побелел весь, трясется, вот-вот хуякнется на пол, а я его на руки взял.

— Не бздите, — говорю, — папаша, ебите все в рот, плюйте на солнышко, как на уют, разглаживайте морщины!

Академик засмеялся, целует меня.

— Спасибо, — говорит, — за доброе, живое слово, не буду бздеть, не буду! Не дождутся! Пусть бздит неправый! — Он это по-латински добавил.

Кимза тут спирт достал из сейфа. Я закусон приволок свой донорский, ну мы и ебнули за успех науки. Академик захмелел и кричит, что не страшна теперь человечеству всемирная катастрофа и что если все пиздой накроются и замутируют, то моя сперма зародит нового здорового человека на другой планете, а интеллект — дело наживное, если он вообще человеку нужен, — потому что хули от него, кирюха ты мой, толку, от интеллекта этого? Ты бы посмотрел, как ученые хавают друг друга — без соли, блядь, в сыром виде, разве что пуговички сплевывают. А международное положение какое? Хуеватое. Вот какое! У зверей, небось, львов там или ипакалов, даже у акул нету ведь международного положения, а у человека есть. Из-за интеллекта. Ладно. Прости за лекцию. Пей. А радиация, блядь! Из-за этой радиации знаешь сколько нас импотентами стало? Хорошо, у меня иммунитет от нее, суки позорной.

## 7

Короче, прихожу на другой день или после воскресенья, ложусь в хавирке на диванчик, а член не встает. Дро-

чу, дрочу, а он не встает. От рук отбился, гадина, совсем. Заелся, пропадлина. А дело было простое — я ведь все носкресенье про Владу Юрьевну мечтал, сеансов набирался, влюбился, ебитская сила. Но работать-то надо! Кимза орет без толку: внимание, товарищи, — оргазм! Опять занервничал. И представь, Влада Юрьевна говорит, что, мол, у меня теперь какой-то стереотип динамический в голове образовался и придется ей снова вмешаться. Я от этих слов чуть не кончил. Села она, кирюхаты мой, опять рядышком и пальчиками его... а-а-ах! Закрываю глаза, лечу в тар-тарары, зубами скриплю, хуй с ними, с глистами, а в позвоночник мой по новой забиваются, загоняются серебряным молоточком алмазный гвоздик за алмазным гвоздиком. Ебс! Ебс! Ебс! И по жилам не кровь течет, а музыка. И веришь, ногти чешутся на руках и на ногах так, что, как кошка в течку, все охота царапать, царапать и рвать на кусочки. Тебя пиздячило когда-нибудь током? Триста восемьдесят вольт, ампер до хуя и больше, в две фазы? А меня пиздячило. Так это все мура по сравнению с тем, когда кончаешь под руководством Влады Юрьевны. Молния, падла, колен в двадцать ебистосит тебя между большими полушариями: не подумай только — жопы, головы! И — все! Золотой пар от тебя остается, испарился ты в дрожащую капельку, и страшно, что рассыпались навсегда все двадцать розовых колен родной твоей молнии. Выходит дело, я опять орал и летел в пропасть. Кимза ворвался. Бешеный, белый весь, пена на губах, заикается, толком сказать ничего не может, а Влада Юрьевна ему и говорит, спиртом рученьки протирая:

— Опыты, Анатолий Магомедович, будут доведены до конца. Не теряйте облика ученого, так идущего вам. Если Николай кричит, то ведь при оргазме резко меняются параметры психологического состояния и механизмы торможения становятся бесконтрольными. Это уже особая проблема. Я считаю, что необходимо строить сурдобарокамеру. И заказать новейшую электронную аппаратуру.

Ты бы посмотрел на нее при этом. Волосы мягкие, рыжие, глаза спокойные, зеленые, и никакого блядства на лице. Загадка, сука. То-то и оно-то. А у Кимзы челюсть

трясется и на ебале собачья тоска. Если бы был маузер — в решето распатронил бы меня. Блядь буду человек, если не так. Ну и я не фраер — подобрался, как рысь магаданская, и ебал я теперь, думаю, всю работу, раз у меня любовь и второй олень появился на голубом горизонте.

— А вас, Николай, я прошу не пить ни грамма еще две недели. Чтобы не терять времени при мастурбации. У нас его мало. Лабораторию вот-вот разгонят, — только и сказала Влада Юрьевна и вышла, лапочка.

Кимзе я потом говорю:

— Чего залупился? Давай кляпом рот затыкать буду.

— А без кляпа не можешь?

— Ты бы сам попробовал, — говорю.

Он опять побелел, но промолчал. А у меня планы на полеоновские. Дай, думаю, разузнаю, где живет Влада Юрьевна. Подождал ее на остановке, держусь на расстоянии, когда сошли. Темно было. Она идет под фонарями в черном пальто-манто, ноги, как колонны у Большого тетра, белые, блядь, стройные, только красиво сужаются книзу, и у меня стоит, как новый валяный сапог, а я без пальто, в кепчонке с Дубинского рынка. Кое-как отогнул хуй влево, руку в кармане держу, хромаю слегка. Зашла она в подъезд. Смотрю — по лесенке не спеша поднимается, и коленка видна, когда ногу ставит на ступеньку. Пятый этаж... ушла... А у меня в глазах — нога ее и коленка, ох какая коленка, кирюха ты мой!

Вдруг легавый подходит и говорит:

— Чего выглядываешь тут, прохиндеина?

— Нельзя, что ли?

— Ну-ка, руку вынь из кармана! Живо!

— Да пошел ты! На хуй соли я тебе насыпал? — Как же я руку-то выну? Неудобно, думаю

— Р-руки вверх! — заорал легавый. Смеюсь. — Руки вверх, говорю! — И правда, дуру достает и дуло мне между рог ставит. Я испугался, руки поднял, а хуило торчит, как будто в моем кармане «максим»-пулемет.

Легавый ахнул, дуло к сердцу моему перевел и за хуй цап-царап.

— Что такое?! — растерянно спрашивает.

— Пощупай получше и доложи начальству, — говорю. — Убедился?

— А документы есть? — Дуру легавый в кобуру спихнул сразу.

— Только член, — отвечаю.

— Чего он у тебя... того?.. Стоит на улице?

— Любовь у меня. Вот и стоит.

— Иди уж, дурак. Весь в комель уродился. Увидел, что ль, кого?

Посмотрел легавый, голову задрал, нету ли где в окне голой бабьей жопы по случаю, и ушел с досадой. А я сел на краешек мостовой, напротив, и гляжу, как стебанутый мешком с клопами, на дом Влады Юрьевны. Любовь, бля, это тебе, кирюха, не червонец сроку. Это, бля, пострашней, и на всю жизнь. От звонка до звонка. Ох как я тогда мучился! Вроде бы кто гвозди мне под ногти загонял! Ты не думай, что в ебле дело было. Мне бы просто так смотреть на лицо ее белое без блядства, на волосы рыжие и глаза зеленые. А руки? Рук таких больше нет ни у кого! Вот с чем бы тебе, мудило, сравнить их? Вот представь, стоишь ты босиком на льдине. Семь ветров дуют в семь твоих бедных дырочек. У мужчин, дубина ты, семь, а у баб — восемь. На одну дырочку больше, а сколько шухера! В душе, в общем, сквозняк, и жизнь твоя, курва, кажется чужой зеленой соплей. Харкотиной, более того. А вокруг тебя конвой в белых полущубках и горячие бараньи ноги хавают — обжигается. Дрожишь, говнюк? А ты выпей! Вот так. И вдруг.. вдруг нету ни хуя, ни конвоя, ни чужих горячих бараньих ног, а теплый песочек и пальмы, чтоб мне твое сердце пересадили. А под пальмами шоколадные бабы, и одна, самая белая, подходит и намазывает тебе бесплатно на муде целую банку розового крема, не для бритья, а в пирожные эклер который помещают. Приятно? Но приятно что! И так тебя быстро перевели из одной окружающей среды в другую, словно бы из карцера в больничку, что ты в это не веришь ни хера, и орешь от страху, и хуяк — в обморок. А ты не горюй. Попадаешь еще по обморокам. Попадется тебе баба, вроде Влады Юрьевны, и попадаешь. Ты малый температурный: в залупе — ртуть. Только тебе чего надо? Тепла! Паечку тепла, законную и кровную. Хули ты ко мне с обмороками пристал? Что я, профессор, что ли? «Почему? Почему?» Еб твою маты! Раскинь шарики-то

свои! Ведь из мужиков редко кто падает в обмороки. Все больше бабы. И какие бабы? Простые. Работяги. Не только асфальтировщицы. Мудак ты все-таки! А и кассирши, и бухгалтерши, и в химчистке которые блевотину нашу принимают, и воспитательницы из яслей, и продавщицы, особенно зимой, если на улице овощи продают, фрукты и мороженое, и со стройки бабы, и с мясокомбината, и из всяких фабрик и мастерских. Ведь как дело обстоит? Вроде бы за день наебешься на работе так, что только пожрать — и на бок, и намерзнешься, и жопу отсидишь, и руки ноют, и глаза болят, если баба — чертежница. А на самом деле в чем секрет-то? Или муж, или ебать кидает простой такой бабе палку, и она, милая, как на другую планету переносится, я ж тебе не раз разжевывал, дубина ты врожденная. Вот летчик в пике когда входит, тоже обморок чувствует. И космонавты, пока не вырвутся из нашей вонючей атмосферы. Перегрузки, значит. Вбей это себе в голову. И в ебле, при палке, тоже перегрузки наступают уму непостижимые и телу невозможные. И все в этот миг сгорает к ебаной бабуле: и заботы, и ломота, и что за квартиру не плачено, и что какая-то мандава чулок порвала в автобусе, а ему в паре с другими пять рублей цена — полтора дня работы... Все забывается, еще раз подчеркиваю. Все, что ебет за день нашу работящую женщину... А вот, приблизительно, миллиардерши — те не то чтобы в обморок хрякнуться, но и вообще кончать не могут, скажу я тебе официально. Разберем почему. Неверящему Антропу — хуй в жопу. Я тебе логикой между рог вдарю. Слыхал про кино Муссолини «Сладкая жизнь»? Там это дело показано. Или про кинозвезд читал? По пять раз замуж выходят. Разве побежит баба от мужика, если он ее в космос выводит? Если она под ним помирает, травиночка, от счастья? Ни в жисть! И эта самая жисть устроена хитрожопо. Раз тебе на обед какаду, леденцами набитые, и шашлык из муравьеда, и лакеи в плавках шестерят, а в шкапе шуб — что в коммиссионке, и три машины внизу, да в каждой шофер с монтировкой до колен, только позвони — прибежит и влупит, то от всего этого изобилия ты в обморок не упадешь и совсем не кончишь. Захавались. Отсюда хулиганство в крови и легкие телесные повреждения. Бывают

и тяжелые. Она кончить не может и начинает миллиардера кусать, а он, паскудина, не орет: ему приятно. Потом сам ее кусать начинает, рычит от удовольствия, ну и до блевотины надоедят друг другу. Развод. Или миллиардер идет смотреть, как баба под музыку раздевает сама себя. Они зачем это смотрят? А вот зачем. Если ты мужик нормальный, и баба перед твоим носом платице — влево, комбинацию — вправо, лифчик — фьюить, штанишечки — в сторону, а прожектор голубой светит ей прямо в собранную муфточку, а розовый — в сиськи, то не знаю, как ты, кирюха, а я бы — клянусь, пусть мне твое сердце пересадят, если вру, — помчался бы по черепам на сцену, и пока мне полиция крутит руки, бьет дубинкой по башке, свистит, гадина такая, газы в глаза пускает, а я пилю и пилю этот стриптиз, пока не кончу. А когда кончу, вези меня в черном «Форде» на суд. И на ихнем суде я скажу в последнем слове:

— Поскольку горю с поличным — сознаюсь. Уеб! И правильно! Не раздевайся на моих глазах. Ты мне не жена! Всегда готов к предварительному тюремному заключению!

— Поезжай на фронт. Развратничаешь, сволочь, когда всенародная кровь льется!

Вот как поступит здоровый русский человек, который против разврата. А миллиардеры знаешь зачем на стриптиз ходят? Потому что можно эту бабу не ебать. Они рады, что закон запрещает забираться на сцену. А здоровый мужик туда не пойдет. Яйца так опухнут от селанса, что до Родины враскорячку добираться придется. Ну, теперь все тебе ясно? Откуда я все это знаю? В сорок четвертом с одной бабой жил в лагере. Жена директора дровяной базы. С дровами-то вшиво в войну было, ну он и нахапал миллионы. А она, миллионерша, полхера у него откусила без смягчающих обстоятельств. Ее посадили, а его вылечили и сказали:

— Поезжай на фронт. Развратничаешь, сволочь, когда всенародная кровь льется!

Так что миллионы выходят боком, как видишь. Вопросы есть? Да. И с кассиршей я жил, и с завхимчисткой, и с поварихой. Ты лучше спроси, с какой профессией я не жил. Разве что с вагоновожатой трамвая «Аннушка». Да-

же с должностями я жил, не то что с профессиями. Да. И все в обморок падали. Бывало, по многу раз. Почему же ты не веришь в эти обмороки? У тебя же логика в башке не ночевала! Докажу. Замечал, что в аптеках нашатырного спирта часто не бывает? Почему, думаешь? Нет, его не пьют, а нюхают, он при обмороках помогает. А они когда бывают? При оргазмах! Или ваты нету ни в одной аптеке. Значит, у всех в один день месячные появились. По теории вероятности так выпало. Анализ надо привыкать делать. Помнишь, лезвий было нигде не достать? Это китайцы стаю мандавошек перекинули к нам через Амур. Пришлось все вплоть до бровей брить — а я же не стану после мудей этим лезвием скоблить бороду? Перерасход вышел по лезвиям. Логикой думать надо, одним словом, и хватит мне мозгу засераты!.. Налей боржомчику. У меня изжога от твоей тупости. Любя говорю. На чем остановились? Да. Влюбился я. Въебурился по самые уши.

## 8

На другой день Кимза на меня волком смотрел, не разговаривал, а Влада Юрьевна цыганским своим голосом спросила:

— Может быть, сегодня, Николай, вы сами? А я подготовку установку.

— Конечно, — говорю.

Запираюсь в хавирке, жду команды: внимание — оргазм! Думаю о Владе Юрьевне. И у меня с ходу встает.

Тут она постучала, просовывает в дверь книжку и советует:

— Вы отнеситесь к мастурбации как к своей работе, исключите начисто сексуальный момент как таковой. К примеру, мог бы дядя Вася работать в морге, если бы он рыдал при виде каждого трупа?

Логикой она меня убедила, хотя я подумал, что как же это так — если исключить сексуальный момент? Ведь тогда и стоять не будет. Однако поверил. Одной рукой дrouch, другой — книгу читаю. Кимза, сволочь, олень-соперник, стучал два раза и торопил. Я его на хуй послал и сказал, что я ему не Мамлакат Мамаева и не левша и обеими руками работать не умею. Книга была «Далеко от Москвы». Интересно. Я сам ведь был на том нефтепрово-

де. Вот какие судьба дает повороты. Несу пробирку с малофейкой Владе Юрьевне.

— Спасибо. Вы не уходите, Николай. Вникайте в суть наших экспериментов. Анатолий Магомедович разрешил. В этой установке мы будем сегодня бомбардировать ваших живчиков нейтронами и облучать их гамма-лучами. А затем, вот в этом приборе ИМ-1, начнется наблюдение за развитием плода. Это матка. Только искусственная. Наша тема — исследование мутаций и генетического строения эмбрионов в условиях жесткого космического облучения с целью выведения более устойчивой к нему человеческой особи.

Я раскрыл ебало, как ты сейчас, ничего не понимаю, но смотрю. Малофейку мою в тоненькой стекляшке положили в какую-то камеру. Кимза орет: «Разряд!» — а мне страшно и жалко малофейку. Ты представь: нейтрон этот несется, как в жопу ебанный, и моего родного живчика Николай Николаевича — шарах между ног! А он и хвостик в сторону. Надо быть извергом, чтобы спокойно чувствовать такое. Я зубы сжал, еще немного — распиздошил бы всю лабораторию. Тут вынимают мою малофейку, смотрят в микроскоп — а она ни жива ни мертва — и в газ суют для активности. Потом отделили одного живчика от своих родственников и в искусственную поместили матку. Господи, думаю, куда же мы забрели, если к таким сложностям прибегаем? Кто эту выдумал науку? Пойду я лучше по карманам лазить в троллейбусе «Букашка» и в трамвае «Аннушка». Особенно зло меня разобрало на эту матку искусственную. Шланги к ней разные тянутся, провода, сама блестит, стрелками шевелит, лампочками, сука такая, мигает, а рядом четыре лаборантки вокруг нее на цирлах бегают, и у каждой по матке, лучше которых не придумаешь, хоть у тебя во лбу полметра с дюймоном. И поместили туда Николай Николаевича! А что, если он выйдет оттуда через девять месяцев, а глаз у него правый нейтроном выбит, и ноги кривые, и одна спина короче другой, и вместо жопы — мешок, как у кенгуру? А? Чую — говно ударило в голову. Хорошо, Влада Юрьевна спросила:

— Вы о чем задумались, Николай?



— Так. Прогресс обсуждаю про себя, — говорю и в обе фары уставился на нее: сердце стучит, ноги подгибаются, дыхания нет — любовь! Беда!

Вечером беру спирт, закусон и иду на консилиум к международному урке.

— Так и так, — говорю, — что делать?

— Не с твоим кирпичным рылом лезть в хромо́вый ряд. На этом деле грыжу наживешь и голой сракой об крашенный забор ебнешься, — говорит урка. — Забудь любовь, вспомни маменьку.

— Пошел ты на хуй малой скоростью, — говорю.

— Хороший ответ, молодец. Вот если бы так в райсобесе отвечали, то и никакой бюрократии в государстве бы не было. А то с пенсией тянут, тянут. Патриотизма в них ни на грош.

Урка пенсию по инвалидности хлопотал. Он, видать, задумался, приуныл. Я и покандебал к дому. В сердце — сплошной гной. Впору подсесть и перезимовать в Таганке всю эту любовь. Мочи нет. И даже не думаю, есть у Влады муж или нет его, насрать мне на все, глаза на лоб лезут, и учти, дело не в половой проблеме. Бери выше. Ночь не спал, ходил, голову обливал из крана, к Кимзе постучал. Он не пустил. Может, спал? Утра не дождусь. Как назло, часы встали. Прибегаю, а в лаборатории все Владу Юрьевну с чем-то поздравляют, руки трясут, в руках у нее букет, она головой кивает по-княжески, с высоты, увидела меня, подходит и дает цветочек. Кимза же, заметил я, плачет тихо, слезы текут.

— Николай! Для вас это тоже праздник своего рода.

У меня рыло перекосило шесть на девять, — и что бы ты думал? Оказывается, Влада Юрьевна попала от меня искусственно — первый раз то ли в РСФСР, то ли во всем мире. «Как? Как?» Ну и олень ты сохатый. На твои рога только кальсоны сраные вешать, а шляпу — большая честь. Голодовку объявлял когда? А я объявлял. Меня искусственно кормили через жопу. Ну и навозились с ней граждане начальники! Только воткнул трубку с манной кашей, а я как перну — и всех их с головы до ног. Они меня сапогами под ребра, по пузу топают, газы слушают и опять в очко загоняют кашицу или первое, уж не помню. А я опять поднатужусь, кричу: «Уходи! Задену!» —

их как ветром сдуло. Откуда во мне бздо бралось — ума не приложу. От волюнтаризма, наверное. А может, от стального духа. Веришь, перевели меня из Казанской тюрьмы в Таганку, чего и добивался. Похудел только.

Короче, Владе Юрьевне Кимза вставил трубочку, и по трубочке мой Николай Николаевич заплясал на свое место. Вот в какую я попал непонятную, сука, историю. Не знаю, как быть и что говорить. Только чую — скоро чокнусь. Мне бы радоваться как папаше будущему и мать своего ребенка зажать и поцеловать, а я в тоске и думаю: сбись ты в коня, вся биология, жить бы мне сто лет назад, когда тебя не было. Чую — скоро чокнусь: смотрю на Владу Юрьевну — вот она, один шаг между нами, и не перейти его. А в ней ни жилка не дрогнет, ни жилочка. Сфинкс. Тайна. Вроде бы ей такое известно, до чего нам не допереть, если даже к виску отбойный молоток приставить. Однако беру психику в руки.

— Вы, Николай, не смущайтесь и ни о чем не беспокойтесь. Если хорошо кончится — вы дадите ему имя. Я вас понимаю... все это немного грустно. Но наука есть наука.

## 9

Я, чтобы не заплакать, ушел в свою хавирку, лег, мечтать начал о Владе Юрьевне, привык на нарах таким манером себя возбуждать, мастурбирую и «Далеко от Москвы» читаю. В лаборатории вдруг какой-то шум, я быстро струхнул в пробирку, выхожу, несу ее в руке. А там, блядь, целая делегация. Замдиректора, партком, начкадрами и какие-то не из биологии люди. Приказ читают Кимзе. Лабораторию упразднить. Кимзу и Владу Юрьевну уволить. Лаборанток перевести в уборщицы, а на меня подать дело в суд, ни хуя себе уха, за очковительство, прогулы и занятия онанизмом, не соответствующие должности технического референта. А за то, что я уборщицей был по совместительству, содрать с меня эти деньги и зарплату до суда заморозить. Я как стоял с малофейкой в руке, так и остался стоять. Ресничками шевелю, соображаю, какая ломается мне статья, решил уже — сто девятая. Злоупотребление служебным положением. Часть первая. А замдиректора еще что-то

читал про вредительство в биологической науке и как Лысенко их разоблачил, насчет империализма-менделизма и космополитизма. Принюхиваюсь. Родной судьбой запахло, потянуло тоскливо. Судьба моя пахнет сыро, вроде листьев осенних, если под ними еще куча говна собачьего с прошлого года лежит.

— Вот он! Взгляните на него! — Замдиректора пальцем в меня тычет. — Взгляните, до каких помощников опустились наши горе-ученые, так любившие выдавать себя за представителей чистой науки. Чистая наука делается чистыми руками, господа менделисты-морганисты!

Челюсть у меня — кляцк! Пиздец, думаю! Тут, окромя собственной судьбы, еще и политикой чужой завоняло. С ходу решаю уйти в глухую несознанку. С Менделем я не знаком. На очной ставке так и скажу, что в первый раз в глаза вижу и что я таких корешей политанией вывожу, как лобковую вшу. А насчет морганиста прокурору по надзору заявлю, что в морге моей ноги не было и не будет и мне не известно, ебал кто покойников или не ебал. Чего-чего, а морганизма, сволочи, не пришьете! За него же дают больше, чем за живое изнасилование! Это ты уж, кирюха, у прокурора спроси, почему извилина у тебя одна и та на жопе, причем не извилина, а прямая линия. Не перебивай, лох позорный. Гуляй по буфету и слушай... Прибегает академик, орет: «Сами мракобесы!» А замдиректора берет у истопника ломик и шарах этим ломиком сплеча по искусственной пизде!

— Нечего, — говорит, — на такие горе-установки народные финансы переводить! — Малофейку у меня из руки вырвал и выбросил, гад такой, в форточку. Из этого я вывел, что он уже не зам, а директор всего института. Так и было. Кимза вдруг захохотал, академик тоже, Влада Юрьевна заулыбалась, народу набилось до хера в помещении. Академик орет:

— Обезьяны! Троглодиты! Постесняйтесь собственных генов!

— У нас, с вашего позволения, их нету. У нас не гены, а клетки! — отбрил его замдиректора. — Признаетесь в ошибках?

Потом составляли кому-то приветствие, потом на за-ем подписывались, и меня дернули на заседание Ученого

совета. И вот тут началась другая судьба — убрали говно собачье из-под осенних листьев. Выкинул я его своими руками.

Но по порядку. Поставили меня у зеленого стола и вонзились. Мол, зададут мне несколько вопросов, и чем больше правды я выложу, тем лучше мне будет как простой интеллигентной жертве вредителей биологии. Задавать стал замдиректора:

— В каких отношениях находился Кимза с Молодиной? Писал ли за нее диссертацию и оставались ли одни?

Но по порядку. Я тебе разыграю допрос.

— В отношениях, — говорю, — научных. На моих глазах не жили.

— Говорил академик, что сотрудники Лепешинской только портят воздух?

— Не помню. Воздух все портят. Только одни прямо, а другие исподтишка.

— Вы допускали оскорбительные аналогии по адресу Мамлакат Мамаевой?

— Не допускал никогда, уважал с детства. Имею портрет.

Я сразу усек, что донос тиснула одна из лаборанток. Больше некому. Валя, псина.

— Кимза обещал выдать вам часть Нобелевской премии?

— Не обещал.

— Кто делал мрачные прогнозы относительно будущего нашей планеты?

— Не помню.

— Как вы относились к бомбардировке вашей спермы нейтронами, протонами и электронами?

— Сочувственно.

— Обещал ли Кимза сделать вас прародителем будущего человечества?

— На хуй мне это надо? — завопил я. — Первым по делу пустить хотите?

— Не материтесь. Мы понимаем, что вы жертва. Что сказал академик относительно сталинского определения нации?

— По мне, все хороши, лишь бы ложных показаний на суде не давали. Что жид, что татарин.

— Почему вы неоднократно кричали? Вам было больно?

— Приятно было, наоборот.

— Вам предлагали вивисекцироваться?

— Нет, ни разу.

— Вы знаете, что такое вивисекция?

— Первый раз слышу.

— В чем заключалась ваша... ваши занятия?

— Мое дело драть и малофейку отдавать. Больше я ничего не знаю. Действовал по команде «внимание — оргазм!». Как услышу, так включаю кожаный движок.

— Как относились сотрудники лаборатории к Менделю?

— Исключительно плохо. Неля даже говорила, что они во время войны узбекам в Ташкенте взятки давали и вместо себя в какой-то посылали Освенцим. И что ленивые они. Сами не воюют, а дать себя убить — пожалуйста.

— Кем проповедовался морганизм?

Началось, думаю, самое главное, и вспомнил, как Влада Юрьевна говорила: «Что было бы, Николай, если бы дядя Вася в морге рыдал над каждым трупом?» С ходу стемнил:

— Что это за штука — морганизм?

— Вам этого лучше не знать. Кто с уважением отзывался о космополитах?

— Кто это такие? Первый раз слышу.

— Выродки! Люди, для которых не существует границ.

Пиздец, думаю, надо будет предупредить международного урку вечером.

— Сколько часов длился ваш рабочий день и сколько спирта вы получали за свою трудовую деятельность?

Ну, думаю, пора принимать меры. Косить надо. Затрясся я, надулся до синевы, подбегаю к другому концу стола — и хуяк в рыло замдиректору полную чернильницу чернил. А она в виде глобуса сделана. Хуяк, значит, — и в эпилепсию. Упал, рычу, пену пускаю. Ногами колочу, начкадрами по яйцам заехал. Кто-то орет:

— Язык ему надо убрать, задохнется, зубы быстрее разожмите чем-нибудь железным!

Кто-то сует мне между зубов часы карманные. Я челюстью двинул, они и тикать перестали. Глазами вращую бессмысленно. Эпилепсия — первый класс по Малому театру. Перестарался, подлюга, затылком ебнулся об ножку стола и начал затихать постепенно. А они вокруг меня держат совет, чтобы сор из избы не выносить, Западу пищу не давать. «Скорую помощь» вызвали.

— Этого я никогда не ожидал от своей бывшей жены, — сказал замдиректора — вся рожа и рубашка в чернилах, — хотя о ее связи с Кимзой догадывался. Она просто мелкая извращенка. С сегодняшнего дня мы разведены.

Ну уж тут я чуть не вскочил с пола, однако сдержался. А «скорая помощь» — ее за смертью, сволочь, посылать — все не едет. Я опять забился, потом притих и говорю: «Воды-ы! Где я?» Отплеываюсь сам почему-то чернилами, с губы пена фиолетовая капает, шатаюсь с понтом, все болит. Мне говорят, чтобы не нервничал, работу обещали подыскать, воды подали, на Кимзу заявление просили сочинить и вспомнить, приносил ли он на опыты фотоаппарат. «Скорая» так и не приехала. В общем, они перебздели из-за меня.

## 10

Я только вышел из института, беру такси и рву к дому Влады Юрьевны. В голове стучит, ни хуя себе уха!.. Евонная жена она... ни хуя себе уха... ах ты сука очкастая! И жалко мне, что чернильница была глобусом, а Земля наша не квадратная. В темечко бы ему до самого гипоталамуса, гнида, острым краем. Такую парашу пустить про лучшую из женщин! «Мелкая извращенка!»

Подъезжаю, блядский род, к ее дому, шефу говорю: «Стой и жди». Сам квартиру нашел, звоню. Открывает она, Влада Юрьевна, слава тебе господи!

— Николай, почему у вас все лицо в чернилах?

— Ваш муж бывший допрашивал. Но я не раскололся и никого не продал.

— Ах, он успел публично отказаться от менделисткимоорганистки? Заходите. Собственно, я сама ухожу. Уже собрала вещи.

Короче говоря, тут уж я не таился и говорю:

— Едемте ко мне, не думайте ничего такого, я один живу, могу и у приятеля поошиваться, а вы будьте как дома.

— Едемте, — отвечает, — но ведь вы с Толей в одной квартире живете...

— Ну и что? — кричу и чемодан беру уже за плечико.

Жил я тогда один. Тетку мою месяцев шесть как задохнули. Ее, если помнишь, паспортный стол ебал, она и устраивала через него прописки. За деньгу большую. И погорела. Один прописанный шпионом оказался. А эти падлы не то что мы, которые всю дорогу в несознанке. Раскололся и тетку продал. Дедка за репку, бабка за папку. Тетка продала своего, тот разговорился. Тряснули яблоньку, и всех, кого они прописали, выселять начали. Между прочим, тетке я кешари каждый месяц шлю и деньгами тоже. Хуй в беде оставлю. Значит, едем мы в такси, она мне ваткой чернила на ебальнике вытирает, а у меня стоит от счастья — никто еще за чистотой моей не следил. Никогда. Любили меня неумытого на сплошных раскладушках. Романтиком я был. Всегда в пути, как сейчас говорят. И оказывается, Влада Юрьевна еще до войны студентами крутила с Кимзой роман. Но целку до диплома он ей ломать не хотел. Так я понял. Тут война. Кимзу куда-то в секретный ящик загнали, бомбу делать или еще что-то. Года через два появляется он, весь облупленный от муде до глаз, и, сам понимаешь, на такую пипсеньку только окуньков в проруби ловить, и то не клюнет. Трагедия. Хотели оба травиться. А Молодин, замдиректора, уговорил как-то Владу Юрьевну. Хули, действительно, вешаться? И Кимза ей согласие дал. Она мне зачем рассказала-то? Чтобы я с ним был вежливый и сожальный. Чтобы матом не ругался. Она бы в его комнате жила, но боится, Кимза запьет от тоски, что с ним уже случалось. Приехали. Сгрузили вещички. Я и рассудил как проводник: надо спускаться на тормозах. Взял белишко и говорю Владе Юрьевне:

— Поживу у кирюхи, а вы тут не стесняйтесь: за все уплачено. — И пошел к международному урке.

## 11

Спиртяги взял. Лабораторию прикрыли. Завтра не драть. Можно и нажраться. Выпили. Предупредил

я его, чтобы поосторожнее рассказывал, как за границу перепрыгивал до тридцатого года в экспрессах. А то космополитизм пришьют. И бедный мой урка международный совсем до слез приуныл. Он же, говорит, три языка знает и четыре «фени». Польский, немецкий и финляндский. Правда, на них его только полиция понимает и проституция, но и так бы он Родине сгодился — чертежи какие пиздануть из сейфа у Форда или дипломата молотнуть за все ланцы и ноты дипломатические. Ты знаешь, лох, говорит урка, сколько я посольств перемолотил за границей? В Берлине брал греческое Ёи японское, в Праге, сукой мне быть, — немецкое и чехословацкое. Но в Москве — ни-ни! Только за границей. Я ведь что заметил: когда прием и общая гужовка, эти послы, ровно дети, становятся доверчивыми. В Берлине я с Феденькой-эмигрантом — он шоферил у Круппа — подъезжал к посольству на «Мерседесе-бенчике». На мне смокинг и котел, чин-чинарем. Вхожу, говорит урка, по коврам в темных тапочках на лесенку, по запаху канаю в залу, где закуски стоят. Самое главное в нашей работе — это пересилить аппетит и тягу выпить. А послы мечут за обе щеки. На столе поросята жареные, колбасы отдельной до хуя, в блюдах фазаны лежат, все в перьях цветных, век свободы не видать, говорит, если не веришь. Попробуй тут удержишь — слюни как у верблюда текут, живот подводит... В Берлине вшивенько тогда с бациллой было. Все больше черный да черствый. Но работа есть работа — просто так щипать\* я и в Москве мог. Выбираю посла с шеей покрасней и толстого. Худого уделать трудно, он как необъезженный вздрагивает, если прикоснешься, и глаза косит, тварь. Выбираю я его, с красной шеей, в тот момент, когда он косточку обглаживает поросячью или же от фазана. Обглаживает, стонет, вроде кончает от удовольствия, глаза под хрустальную люстру вываливает, падаль. Объяви ты его родному государству войну — не оторвется от косточки. Тут-то я, говорит урка, левой вежливо за шампанским тянусь, а правой беру рыжие часы или лопатник с валютой. Куда там! Исключительно занят косточкой. Теперь вся воля нужна, чтобы отвалить от стола с бацил-

---

\* Быть карманником.



лой. Отваливаю. Феденька уже кнокает меня у подъезда. Подает шестерка котелок. Я по-немецки выучил, трекаю — себя называю. Другой шестерка орет: «Машину статс-секретаря посольства Козолупии!» Феденька выруливает, и мы солидно рвем ужинать. Нагло работали. Кому я мешал? Я же враждебную дипломатию подрывал и даже не закусывал. И запел урка: «На границе тучи ходят хмуро». А я сижу слушаю — и забываюсь. Подольше бы говорил. Посоветовал ему в Чека написать, попроситься. Он говорит, что уже написал и ответ пришел: ждать, когда вызовут. Я ему не поверил. Что такое морганизм, спрашиваю, знаешь? И рассказываю, как мне его пришить хотели. Международный урка загорелся с ходу, забыл свои посольства и экспрессы: пошли, говорит, возьмем их с личным! Пошли в морг! А во мне такая любовь и тоска, что я согласился. Поддали для душка и тронулись. Морг этот за нашим институтом во дворе находился. Дача зимняя. Окна до половины, как в бане, белилами замазаны. Свет дневной какой-то бескровный горит — в трех с краю. Встали мы на цыпочки и давай косяка давить. Никого нет, кроме покойников. Лежат они голые, трупов шесть, и с ихних бетонных кроватей вода капает. Обмывали. А в проходе шланг черный змеей из стороны в сторону вертухается — вода из него хлещет. Дядя Вася, видать, выключить забыл. Не поймешь — где баба, где мужик, да и все равно это. Ноги у меня подкосились от страха и слабости. Ничего нет страшней для меня, карманника, когда человек голый и нет на нем карманов. На пляже я не знаю, куда руки девать. В бане, блядь, особенно безработицу чувствую. Но там хоть голые, без карманов, но живые, а тут мертвые. Полный пессимизм. А международный урка прилип к окну — не оторвешь. Прижег я ему голяшку сигаретой — сразу оторвался, разьебай. Хули, говорю, подъезд раскрыл, нет тут ни хуя интересного. А он уперся, что, мол, наоборот. И что как угодно он может себя представить: и в Монте-Карло, где он ухитрился спиздить у крупье лопаточку, что деньги гребет — на хера ее только пиздить, неизвестно, — в спальней посла Японии в Копенгагене, и в Касабланке, где он на спор целый бордель переебал, девятнадцать палок кинул, пять долларов выиграл, и в Карлсбаде в тазике с грязью, ну

где хочешь, там он и может себя представить. А в морге, говорит, век свободы не видать, изрубить мне залупу на царском пятачке в мелкие кусочки, — не могу, и все. Вот загадка! Смотрю — и не могу. И лучше не надо. Эту границу никогда не поздно перейти. А пока хули унывать!

Еще поддали... Сидим в кустах, как лунатики, и поддаем. Я и плакать тогда начал, ковыряю в дупле спичкой и реву, сукоедина, как гудок фабрики имени Фрунзе. Международный урка думает, что я трупов перебздел, нервишки не выдержали, а у меня одно на уме. «Я, — говорю, — смерть ебу, понял?» — «Ты-то, — говорит урка, — се ебешь, а она с тебя не слазит, мослами прищпоривает!» Тут я не выдержал и раскололся урке, что мою малофейку без моей помощи перевели в организм Владе Юрьевне и попала она впервые в историю. Как быть? Может, ковырнуть, а я уж сам по новой накачаю? Или идти в роддом с кешарем и букет из ЦПКиО спиздить? Как я дитя на руки возьму и баюкать буду? У меня, чую, компас неполноценности начинает вздрагивать. Зачем это они выдумали, бляди, разве не смог бы я просто так палку кинуть? Со своей-то злой малофейкой? И чего оргазму пропадать? Я, сучий мир, еще, слава богу, не машина, и муде у меня сварное, а не на гайках. Правильно, думаю. Молодин-замдиректора ломиком пиздятину искусственную раскурочил, одно мокрое место от нее осталось — ебанный нейтронами Николай Николаич. Обидно мне. Как быть? Урка слушает, хохочет. Такой прецедент был, говорит, у нас в Воркуте. Один фраер пятерку волок, год остался, приезжает к нему баба на свидание с пацаном-двухлеткой. Он ее с вахты вытолкал и разгонять начал. «Падла, такая-сякая, проститутка, меня тут исправляют, а ты ебешься с кем попало, алиментов захотела, шантажистка!» Тут даже опер наш возмутился. «Такая нахаловка, — говорит, — товарищ Лялина, у нас не прохазает. Мы на стороне заключенных, а личных свиданий у вас не было ни одной палки, потому что муж ваш — фашистская сволочь, картежник, отказник и саботажник. Идите на хуй откуда явились!» Баба — в слезу. Доказывает: приходил Лялин в командировку, пилил и слова говорил. А Лялин кричит: «Конвой! Бей по ней прямой наводкой! Пускай, сука, проверяет деньги, не отходя от кассы!»

Шантаж!» С тем баба и уехала. А ведь Лялин, сволочь, в побег по натуре ходил. Я один знал. Нас тогда не считали даже. Мороз сорок пять градусов, жрать не хуя и убежать некуда. А Лялин бегал. И все с концами. Наебется, как паук, и обратно чешет. Талант громадный был. Из Майданека бегал, не то что с Воркуты. Я, говорит, поебаться бегу, так как прочить не уважаю из принципа. Такого человека любая разведка разорвала бы на части. Я говно по сравнению с ним.

Много еще чего натрекали мы с уркой друг другу. В морг так никто не приходил похариться.

## 12

По утрянке заваливаюсь домой... Ты пей, кирюха, скоро конец, самое интересное начинается, а я поспать сбегаю. Ладно, иди ты первый. Я постарше — потерплю. Ну вот. Ведь правда, скажи ты мне, как хорошо, если ссышь и не щиплет с резью, если, к примеру, жрешь и запором не мучаешься, принесет баба с похмелья кружку воды, а ты ей в ножки кланяешься и, блядь, мне быть, не знаешь, что лучше — вода или баба. И она загадка, и вода тоже. Ведь ее Господь Бог по молекуле собирал да по атому — два водорода, один кислород. А если лишний какой, то пиздец — уже не опохмелишься. Чудо! Или воздух возьми. Ты об нем когда думаешь? Вот и главное. «Хули думать, если его не видно». А в нем каких газов только нет! Навалом. И все прозрачные, чтобы ты, болван, дальше носа своего смотреть мог, тварь ты, Творцу нашему неблагодарная, жопа близорукая. «Не видно!» Вот и нужно, чтобы нам, людям, думать побольше о том, чего не видно. О воздухе, о воде, о любви и о смерти. Тогда и жить будем радостно и благодарно. Не жизнь, чтоб мне сгнить, а сплошная амнистия!.. Заваливаюсь по утрянке домой, а Влада Юрьевна лежит бледная на моем диван-кровати. Рядом — Кимза, пульс щупает. Что такое? Выкидыш. Не удержался Николай Николаич, не видать Кимзе мирового рекорда для своей науки. На нервной почве все получилось. Замдиректора Молодин додул, что у Кимзы она, и прикандевал с повинной. Для служебного положения он, видишь ли, не мог не разводиться. А жить, мол, можно и так. Ебаться в смысле. Не то — при-

грозил донести, что развращает в половых извращениях недоразвитого уголовника, то есть меня, и через меня же вырастить для космоса миллион низколобых задумала с Кимзой. Так я понял. Кимза головой его в живот боднул и теткинкой спринцовкой отхерачил. Влада Юрьевна и выкинула, когда мы с уркой надрались у морга. Я за ней как за родной шестерил. Икры тогда еще до хера в магазинах было и крабов. Я утром проедусь на «Букашке» — и в Елисеевский, купить что-нибудь побациллистей. Ночью по два раза парашу ее выносил в галюн. Ведь по нашему большому коридору ходить опасно было. Сосед Аркан Иванович Жаме к бабам приставал, через ванную в окошко заглядывал, но трогать не трогал. Стебанутый был на сексуальной почве. Подслушивал, как ссут, и подсматривал. Он же и стучал участковому, что в квартире творится. Особенно на Кимзу. Как он в галюне хохочет над чем-то. И Кимзу в Чека дергали. А Кимза сказал:

— Смешно мне, гражданин начальник, оттого, что я человек, царь природы, разум у меня мировой, и вынужден, однако, сидеть в коммунальном сортире и срать как орангутанг какой-нибудь.

Отбрил, в общем, Чека. Короче говоря, выходил я Владу Юрьевну. Ходить уже начала, а я-то сколько уж сижу на голодной птюхе, надроченный на работе и набанный в гостях. Веришь, яйцо одно неделю ломило и распухло. Я пошел в одну гостиницу, гранд-отель, помацать, что с ним. Там в прихожей зеркало было во весь рост. Подхожу, вынимаю, и — ебит твою мать: цветное кино! Яйцо-то мое все серо-буро-малиновое. Тут швейцар подбежал — седая борода и нос, что мое яйцо. Шипит в ухо, в бок тычет:

— Рыло! Гадина! Разъебай! На три года захотел? Запахивай! Франция, эвона, на тебя смотрит!

Гляжу, а на лестнице бабуса стоит, наштукатурилась, аж щеки обвисли, и, ебало раскрывши, за мной наблюдает, фотоаппарат наводит. Швейцар под мышку меня — и на выход. Все еще шипит:

— Деревня хуева! Ты бы лучше в музей сходил! Для того ли в Москву приехал!

Я у него за такие речуги червонец из скулы взял и ему же на чай дал. Залыбился, гнида.

— Заходите, — говорит, — дорогие гости, всегда рады!..

Вот какое состояние у меня было. Но характер имею такой: решение принимаю, когда пора хуй к виску ставить и кончать существование самоубийством. Кемарил я на полу. Один раз не выдержал — рву кальсоны на мелкие кусочки, мосты за собой сжигаю. Встал на колени, голову — в ее одеяло и говорю: не могу пытку такую терпеть — или помилуйте, или кастрируйте. И что она мне отвечает? Не удивилась даже. Что ей отжаться не жалко, только ничего не выйдет. Она фригидная... Не путай, мучило, с рыбой фри... И кончать, мол, не может. Ей все равно. Так и с замдиректором жила, и если он залазил на нее — только рыло воротила и брезговала. Но муж есть муж, хоть и залазил он раз в месяц.

Стою на коленях, уткнувши лицо в ее одеяло, и дрожу. А она говорит:

— Вам, Николай, лучше с рыбой переспать, чем со мной. Такая женщина, как я, для мужчины — одно оскорбление. Только не думайте, что жалко. Пожалуйста, ложитесь, снимайте тапочки.

Ну, думаю, Коля-Николай, никак нельзя тебе жидко обосраться, никак... Ух, давай выпьем!.. Как сейчас многого не помню. Не до разглядываний было, разглаживаний и засосов. Не помню, как начал, только пилил и урку международного вспоминал. Тот учил меня, что каждая баба вроде спящей царевны, и нужно так шарахнуть членом по ее хрустальному гробику, чтобы он на мелкие кусочки разбился и один кусочек-осколочек у бабы в сердце застрял, а другой у тебя в залупе задумался. Взял себя в руки. И чую вдруг такую ебитскую силу, что забиваю не то чтобы серебряным молоточком, а изумрудной кувалдой заветную палочку. И что не хуй у меня, а целый лазер. И веришь, что не двое нас чую, а кто-то третий, не я и не она, но с другой стороны — мы же сами и есть. Ужас, кошмар, я тебе скажу, — было страшно. Вдруг отскочит мой единственный от ее хрустального гробика и не совладает с фригидностью? Чтоб она домоуправшу нашу прохватила, падаль. Как сейчас многого не помню, но додул все ж таки, что не долбить надо, как отбойным молотком, а тонко изобретать. Видал в подарках Стали-

ну китайское яйцо? А в нем другое, а в другом еще штук десять? И все разные, красивые и нигде не треснутые? Видал. Так вот, додул я, что пилить Владу Юрьевну надо ювелирно. А она и в натуре, как рыба, дышит ровно, без удовольствия. «Вот видите, — говорит, — Николай, вот видите?» И я чуть не плачу над спящей царевной, но резак мой не падает. Век буду его за это уважать и по возможности делать приятное. Отчаялся уж совсем в сардельку, блядь. И вдруг что я слышу и чувю!

— О Николай! Этого не может быть! Этого не может быть! Не может быть, не может! — И все громче и громче, и дышит, как паровоз «ФД» на подъеме, и не замолкает ни на секунточку.

— Коля, родной, не может этого быть! Ты слышишь — не может!

А я из последних сил рубая, как дрова в кино «Коммунист». Посмотри его, посмотри обязательно, кирюха ты мой. За всех мужиков Земли и прочих обитаемых миров рубая и рубая, и в ушко ей шепчу, Владе Юрьевне: «Может, может, может!» И вдруг она в губы впиалась мне и закричала: «Не-е-ет!» В этот момент я с копыт. Очухиваюсь — у нее глаза закрыты, бледная, щеки горят, лет на десять помолодела. Она на столько старше меня. Лежит в обмороке. Я перебздел — вроде и не дышит. Слезаю и бегу в чем был за водой на кухню, забыл, что без кальсон, и налетаю на Аркан Иваныча Жаме в коридоре. Прямо мокрым хером огулял его сзади, стукача позорного. Он — в хипеж: «Посажу, уголовная харя, ничтожество!» Это я-то ничтожество, который женщину от вечного холода спасал?! Я ему еще поджопника врезал. Завтра, говорю, по утрянке потолкуем. Прибегаю с водой, тряпочку на лоб и ватку с нашатырем. И тут открывает она глаза и смотрит — и не узнает. Вроде, ты мне родной, говорит. Я лег рядом, обнял Владу Юрьевну и думаю: пиздец, теперь только ядерная заваруха может нас разлучить, а никакое другое стихийное бедствие, включая мое горение на трамвае «Аннушка» или троллейбусе «Букашка».

Утром приходит к нам Кимза с бутылкой в руке, пьяный, рыдает, целует меня и альтерэгой называет, хохочет. Я вышел. Оставил его с Владей Юрьевной. Они пого-

ворили — он с тех пор успокоился. Но по пьянке альтерэгой все равно называет.

Живем. Все хорошо. У замдиректора я два раза всю получку уводил. Кимза микроскоп домой притаранил, с реактивами всякими — опыты продолжать. «Наука, — говорит, — не пешеход, и ее свистком хуй остановишь. Придется тебе, Николай, прочить хоть изредка, чтобы нам время не терять».

— Платить, — спрашиваю, — кто будет? МОПР?

— Продержимся, — говорит Влада Юрьевна, — а сперма нам необходима хоть раз в неделю.

Ну, мне ее не жалко. Чего-чего, а этого добра хватало на все. Про любовь я тебе пока помолчу. Да и не запомнишь ее никак. Поэтому человек и ебаться старается почаще, чтобы вспомнить, чтобы трясануло еще раз по мозгам с искрою. Одно скажу: каждую ночь, а поначалу и днем, мы оба с копыт летали, и кто первый шнифтом заворачивает, тот другому ватку с нашатырем под нос совал. А как прочухиваюсь, так спрашиваю:

— Ну как, Влада Юрьевна, может это быть?

— Нет, — говорит, — не может. Это не для людей такое прекрасное мгновение, и, пожалуйста, не говори отвратительного слова «кончай», когда имеешь дело с бесконечностью. Как будто призываешь меня убить кого-то.

А я говорю: тут бабушка надвое сказала — или убить, или родить. О чем мы еще говорили — тебе знать не хера. Интимности это.

## 13

А время идет... Уже морганистов разоблачили, космополитов по рогам двинули, Лысенко орден получил. Кимза пенсию отхлопотал. Влада Юрьевна старшей сестрой в Скифосовского поступила, я туда санитаром пошел. Тяжелые времена были. На «Букашке» меня, как рысь, обложили, на «Аннушке» слух пошел, что карманник-невидимка объявился. Сам слышал, как один хер моржовый смеялся, что, мол, если я невидимка, то и деньжата наши тоже невидимыми заделались. Плохо все. Еще Аркан Иваныч Жаме шkodить стал. Заявление тиснул, что Влада Юрьевна без прописки и цветет в квартире половой бандитизм, по ночам с обнаженными членами бегают.

Вот блядище! А тронуть его нельзя — посадят! Я б его до самой сраки расколол, а там бы он сам рассыпался. По утрянке выбегает на кухню с газетами и вслух политику хаваает:

— Латинская Америка бурлит, Греция бурлит, Индонезия бурлит! — А сам дрожит от такого бурления, вот-вот кончит, сукоедина мизерная. — Кризис мировой капиталистической системы, слышите, Николай! — А сам каждый день по две новых бабы водит. Он парикмахер был дамский.

И вот из-за него, гадины, меня дернули на Петровку, тридцать восемь. Майор говорит:

— Признавайся с ходу — занимаешься онанизмом?

Первый раз в жизни иду в сознанку:

— Занимаюсь. Только статьи такой нет — кодекс наизусть знаем.

У него шнифты на лоб:

— Зачем?

— Привык, — говорю, — с двенадцати лет по тюрьмам, ошиваюсь.

— Есть сигнал, что в микроскоп ее рассматриваете с соседом.

— Рассматриваем.

— Зачем, с какой целью?

— Интересно, — говорю. — Сами-то видали хоть раз?

— Тут, — говорит, — я допрашиваю. Чего же в ней интересного?

— Приходи, — приглашаю, — покнокаешь.

Задумался.

Отпустил в конце концов. Все равно бы ему на мой арест санкции не дали. А тебе, Аркан Иванович Жаме, думаю, я такие заячьи уши приделаю, что ты у меня будешь жопой мыльные пузыри пускать с балкона. Дай только срок. Я тебе побурлю вместе с Индонезией!

Работали мы с Владей Юрьевной в одну смену. Таскаю носилки, иногда на «скорой» ежжу. И что-то начало происходить со мной. Совсем воровать перестал. Не могу, и все. Заболел, что ли. Или апатия заебла. Не усеку никак. Потом усек. Мне людей стало жалко — такие же, вроде меня, двуногие. Ведь чего только я не насмотрелся из-за этих людей! Видал и резаных, и простреленных, и ебну-



тых с девятого этажа, и кислотой облитых, и с сотрясением мозгов... А один мудак кисточку для бритья проглотил, другой бутылку съел — четвертинку, третий сказал бабе: «Будешь блядовать — ноги из жопы выдерну». И выдрал одну — другую соседи не дали. Я ее на носилках нес. А под машины как попадает наш брат и политуру жрет с одеколоном. До слепоты ведь! А тонет сколько по пьянке, а обвариваются! Ебитская сила, такие людям мучения! И вот, допустим, думаю я, если человеку так перепадает, что и режут его, и печенки отбивают, и бритвой моют по глазам, и из жопы ноги выдергивают, — то что же я, тварь позорная, пропало с бельмом, еще и обворовываю человека? Не может так продолжаться! Завязал. Полегчало. Даже в баню стал ходить. А Аркан Иваныч Жаме вдруг заболел воспалением легких. Попросил Владу Юрьевну за деньги уколы колоть и целый курс витаминов. И тут я сообразил, что делать надо. Уколы я сам к тому времени насобачился ставить. Надо сказать откровенно, кирюха, Аркан Иваныч Жаме был уродина человеческая. Весь в волосне рыжей, сивой и густой, от пяток до ушей. Уколы на жопе не сделаешь. Пришлось брить. Уж я его помучил без намыливания, поскреб — лежи, говорю, не бурли. По биологии я уже кое-что петрил и сообразил: вот кто половой бандюга, а совсем не я. Слишком много силы в яйцах у Аркан Иваныча Жаме. Слишком много! Оттого ты, сука, и в парикмахеры женские подался, и подкнукиваешь, как соседи законные половое сношение совершают, гуммозник прокаженный, и по две бабы непричесанных приводишь, и политику хаваешь, чуть не кончаешь, когда колонии бурлят, тварь. Гормона в тебе до хуя лишнего, чирей. Короче говоря, достал я препарата тестостерона или еще какого-то и целый месяц колол Аркан Иваныча Жаме. Препарат же тот постепенно мужика в бабу превращает без всякого понта. Наблюдения веду. Смотрю, у моего Аркан Иваныча Жаме движения помягче стали, мурлычет чего-то, в почтовый ящик третий день не лазит, сволочь, и по телефону не рычит, как раньше, а плешь бритая на жопе не зарастает — гормон на волосню, значит, подействовал.

— Коленька, кисуля, — просит, — побрей меня всего, хочу быть наконец голый.

- Ну уж это я ебу, — говорю, — бесплатно тебя брить.
- Я заплачу, не постою.
- Двести рублей.

Дает. Три тюбика мыльной пасты выдавил на него, две пачки лезвий на него потратил. Побрил. Раз завязал и не ворую, то и так не грех зарабатывать копейку. Поправляться стал Аркан Иваныч Жаме. Лицом побелел, в бедре раздался, ходит по коридору, плечами, как проститутка, поводит, глаза прищуривает, перерожденец сраный. Картошку чистит и поет: «Я вся горю, не пойму от чего-о-о». Даже страшно. Стал я в кодексе рыться, статью такую искать за переделку мужика в бабу. Не нашел. Решил, что подведут под тяжелые телесные. А он меня уже клеить начал: потри спинку своей рукой и массаж заделай, плачу по высшей таксе. Тысяч пять старыми я верняком содрал с него. Один раз ночью подстерег в коридоре, в муде мое вцепился и в свою комнату тащит. Я ему врезал в глаз, он успокоился. Сейчас из дамской в мужскую парикмахерскую ушел.

## 14

А тут Сталин дал дубаря. Пробрался я к международному урке. Он на Пушкинской жил. Свесились из окна, косяка на толпу давим. Ну и народу! У меня аж руки зачесались, несмотря что завязал. Каша. Один к одному. Я бы в такой каше обогатился, падлой быть, на всю жизнь, дай он дубаря лет на пять пораньше. Для нашего брата карманника раз в сто лет такой фарт выпадает. Урка международный тут и припомнил, как он на Ходынке щипал, царя когда короновали, Николу. Мальчишкой еще был, а на триста рублей золотом наказал фраеров каких-то. Ругал, когда поддали, Сталина. Другой, говорит, камеру бы так держать не смог, как он страну держал. В законе урка был. А у меня, хошь верь, хошь не верь, помацать на него не тянуло. Ты, я вижу, придавить не прочь пару часиков. Ну уж хуюшки! Ты меня, трекалу, подзавел, ты и слушай. Чифирку сейчас заварим. Конец скоро. К нашим дням приближаемся. Но если ты, подлюга, ботало свое распустишь и хоть кому капнешь, что здесь услышал, я, ебать меня в нюх, схавую тебя и анализ кала даже не сделаю. Понял? Пей. Не оби-

жайся. Я же не злой, я нервный, второго такого на земном шаре нема. Отвечаю, блядь человек буду, рубь за сто. Вот ты сидишь, пьешь, икорочкой закусываешь, банку крабов сметал, как казенную, а балык и севрюжку уже и за хуй не считаешь. А ведь мне эту бациллу по спецнаряду выдают как важному научному объекту и субъекту. Ну, ладно. Будь здоров. Я тебя к дрозофилам пристрою, к мушкам. Да нет! Эрекцию вызывают другие мушки, шампанские. У нас их пока не разводят. А эрекция — это когда встает, чухно ты темное. Ну откуда же я знаю, почему у тебя встает от шампанского? Что я, Троцкий, что ли? Ну, сука, не дай господь попасть к такому прокурору, как ты, — за год дело не кончит. До пересылки ноги не дотянешь. Слушай, мизер. Тут — амнистия. Тетка пишет — закрутила хер в рубашку с надзирателем Юркой. Вышла за зону и стала жить с ним. А Кимзу дернули в академию и говорят: принимай лабораторию. Молодина мы гоним по пизде мешалкой. Ну и ну, как повернул дело Никита! Кимза, конечно, меня и Владу Юрьевну тоже тягает наверх. И тут началась основная моя жизнь. В месяц гребу пятьсот—шестьсот новыми, жопа, а не старыми. Такую цену Кимза на малофейку выбил в банке. Владу Юрьевну я успокоил, что и на нее хватит, и еще на два НИИ. А опыты пошли сложные. Лаборатория-то сексологией начала заниматься. Дрочить — это что! Пустяк. На меня приборы стали навешивать, датчики. Места на хую нет свободного. Весь сижу в проводах обвязанный, смотрю на приборы и экраны разные. Как кончаю — на них стрелки бегают и чего-то мигают. Интересно. А Кимза орет: «Внимание — оргазм!» И биотоки записывает. И что он открыл. Что во мне энергия скрыта громадная при оргазме, и если ее, как говорится, приручить, то она почище атомной бомбы поможет людям в гражданских целях. Понял? Опыты ставили. Только начинает меня забирать — а на рельсах электричка с моторчиком движется. Быстрее все, быстрее, а сначала медленно. Прерываю мастурбацию — электричка стоит как вкопанная. Я по новой — трогаюсь. Ее в «Детском мире» купили. Тоже, сволочи, нашли что выпускать. А если покумекают, что к чему? Ладно. Докладываю Кимзе: готов к оргазму. Электричка, ве-

ришь, чуть с рельсов не сходит, по кругу бегают и оставливаются не сразу. Академик тот самый приходил смотреть. Ужаснулся: «Сколько еще, — говорит, — в человеке неоткрытого!» Формулу вывели. Теперь инженеры пускай рогами шевелят. Самое трудное — не растерять эту энергию, понял? Она же, падла, по всему телу разбегается, пропадает в атмосферу и даже в памяти не остается. Хуже плазмы термоядерной. Академик сказал:

— Продолжайте, дружочки, опыты, человек решит и эту проблему, если ему не будут мешать Лысенки.

Я еще поддакнул и говорю:

— Лысенку давно политанией пора вывести.

— Что за политания? — спрашивает.

— От мандавошек, — говорю, — мазь.

— Что это за тварь?

Объяснил я ему, как мог. Изумился академик.

— В каком говне, — говорит, — ни живет человек, какие звери подлые его ни кусают, а он все к звездам, к звездам, сволочь дерзкая и великолепная!

Я академику в ответ толкую, что если мандавошки одолеют, то не то чтобы к звездам, а и в аптеку залетишь, не постесняешься политании спросить.

Короче, загребать я стал приличный кусок. Что я, блядь, Днепрогэс, что ли, даром энергию отдавать? Если электричка ездит — значит, плати уже по совместительству. Ты, кирюха, опять ебало разинул и, конечным делом, думаешь, как эту энергию использовать в военных целях. Ну и что ты надумал? Так. Залегла дивизия в окопы и дрожит, а ток в колючую проволоку бежит, атаку срывает. Так я тебя понял? И все солдаты друг за дружкой соединены последовательно или параллельно. А если замыкание короткое, что тогда? Ни хера не придумал! Выходит, генерал должен искать пробку, которая перегорела, и пока он жучка будет ставить, — фашист тут как тут. И полный пиздец дивизии. Инженер из тебя, как из моей жопы драмкружок. Я вот у академика-старикашки спросил один раз: что будет, если все мужское человечество начнет по команде дрожить и кончит секунда в секунду? Товарищеский, как говорится, оргазм совершит, и групповой к тому же. Что будет? Старикашка добрый говорит:

— Прогнозировать трудно, и для такой высокоритмичной акции требуется величайшая самодисциплина плюс массовое самосознание и, разумеется, ощущение единства цели. Пока мир разделен на два лагеря, это невозможно. Вот когда, батенька, будет один мир, тогда посмотрим. Тогда и подрочим, ха-ха, как вы изволили подпустить термина. Ежели, мечтатель вы мой, говорить серьезно, то эксперимент в таких глобальных масштабах может кончиться весьма плачевно, так как масса полученного удовольствия будет равна плюс-минус бесконечность.

А ты, кишка слепая, дивизию с пробками задумал. Ведь техника не член, она не стоит на месте ни одной минуты. Половую энергию не вечно будем добывать вручную. Это только в самых отсталых колхозах останется, когда выходит мужичонка поссать в темень-тьмущую, надрачивает свой кожаный движок, а в другой руке фонарик горит, путь-дорогу до сортира освещает. А с крыльца он не ссыт, ибо культура выросла, — понял? Мы уже новые опыты начали. Я запросил с них две тысячи аккордом. Ведь угля-то скоро и нефти совсем не будет, на дровах-то до звезд не доберешься, да и тайга, писали давеча, пиздой постепенно накрывается. Какой же опыт, в общих чертах? Заебачивают мне в голову два электрода... Ну и денатурат ты, ебал я твою четырнадцатую хромосому раком! Как же можно захуярить человеку в голову электроды, которыми, по твоим данным, сваривают могильную ограду на Ваганьковом кладбище? Охуел ты совсем или прикидываешься? Я из твоего глупого черепа ночной горшок замастырю, только дырки замажу. Дождешься. Вгоняют мне в затылок два электрода, тоньше волосни они мудяшной и из чистого золотишка сделаны. Сажусь в кресло мягкое, от электродов провода к прибору тянутся. Кимза командует, чтобы я про футбол думал. Думаю, а у меня стоит, чего ни разу в Лужниках не случилось. И вдруг автоматически чую — забирает меня, уже не до футбола. Кимза орет, чтобы руки мои привязали, и веришь — спустил. Победа! Это сейчас кажется, что она легко далась нашей лаборатории, а сколько мы мучились. Мне весь череп истыкали, все клетку мозга искали, которая исключительно еблей распоряжается, а най-

ти никак не могли, проститутки. Чего со мной только не было при этом! То ногами мелко дергал, то плакал горько-горько, то ржал как лошадь. Один раз вскочил и как ебнул Кимзу между рог здоровенной клизмой, одних репортёр перемолотил штук десять, а Владу Юрьевну поцеловал при всех. Вахтеров вызывали меня связывать. А клетку никак не найдем, вроде бы ее и нет вовсе. Я рацпредложение вношу, что, может, она, эта клетка мозга, не в башке совсем, а в залупе располагается. Обсудили такую гипотезу — не прохазала она. Опять за башку взялись, и под Женский день перекосябило меня. Щека левая до ушей заушмылялась, рука отнялась, и нога тоже, а электрод — все у нас в спешке делается — вытащили, а куда ставить — забыли. Тычут-тычут — не попадут по новой. Весь Женский день был я временно разбит параличом, сучий мир. Даже Владу Юрьевну не побаловал, из ложечки меня кормила. А академик Кимзе выговор объявил. Хули делать. После праздника выправили меня. Потом нашли все же ебучую клетку. На расстоянии стали моей психикой управлять, и академик сказал на закрытом заседании: «Покажу тебя, Николай, коллегам». Запиздячили в меня штук десять электродов, в разные центры чувств, выводят на сцену. Кимза на расстоянии мной управляет. Выступаю неплохо. Смеюсь, плачу, трекаю без умолку, в гнев впадаю и в милость. Вдруг, сухой мне быть, сам того не хотел, расстегиваю мотню, вынимаю шершавого и давай ссать прямо на первый ряд. Хожу по сцене и ссу. Все, думаю, посадят. У нас одному три года влупили за то, что в клубе с балкона партер обоссал. Или выгонят. Кончил ссать, и веришь — бурные аплодисменты мне ученые закатили, думали — коронный номер экспериментирую. Вскоре машину я купил, катер и полдома на Волге. Рыбачу в отпуске. Самое лучшее в жизни, скажу я тебе, кинуть палку в березняке любимой женщине и забыть к ебени матери науку биологию, в гробу я ее видал в босоножках. Ведь они что теперь задумали. Кимза открыл, что я при оргазме элементарные частицы испускаю или излучаю, хер их разберет, потому что в мозге взрыв огромной силы происходит, почему и в обморок падаем. Хотят меня в магнитную комнату засадить на пятнадцать суток, камера Вильсона она называ-

ется. Я было уперся, а Кимза говорит, что, если мы на тебе кварки поймает, Нобелевская премия обеспечена. Я и согласился. Человек же к любой работе привыкает. Вопросы есть? Урка международный у нас работает: я устроил. Опыты по лечению импотенции на нем делают. Неплохо зарабатывает. Ну что еще? Кварки — это самые простые частицы, из которых все сделано. В оргазме их и изловим, американцам козью морду заделаем. И это тайна, учти, сука. Потому что страна, которая первой кварки откроет, сможет с ходу весь мир уничтожить и замастурить его заново из тех же самых кварков. Выпьем давай за науку!

## 15

Впрочем, стоп! Не хочу я за науку пить. У меня на нее большая душевная обида. Спасибо, конечно, за судьбу встречи с Владой Юрьевой, что воровать я завязал, за достаток, так сказать, и придурочную работенку в нашем соцлаге. Спасибо! Ну а если рубануть правду — нужна она лично мне, эта наука ебучая? Тебе она нужна? Вон по улице бабка полунищая идет, ногу за собой отсохшую волокет. Ей наука нужна? Да! Нужна! Ногооживляющая только наука, а не в жопу электроды вставляющая. Ты вот выскочи для интересу, дай бабке денег немного да скажи: вот, бабка, есть у меня друг. Знаешь, чем на жизнь зарабатывает? В институте секретном... как бы это сказать повежливей?.. Скажи так: пипку свою трясет за уши и сдает вещество, из которого пацанва потом развивается. Беги и скажи. А я посижу и подожду. Наука, скажи, его к тому приговорила. Беги, кирюха! Беги-и-и! Не отсохли ведь ноги? Что тебе бабка ответила? Не врать. Перепроверю... Правильно ответила. Я и есть дурак. И Бог, надеюсь, меня простит. Может, я и впрямь не ведаю, что я творю? Не могу понять: ведаю я или не ведаю. А понять надо бы до Страшного Суда. Он тебе не нарсуд. Там не прикинешься дурачком и не уйдешь в глухую несознанку. Там как примутся тебя раскалывать архангелы — народные заседатели, так от тебя брызги правды во все стороны полетят, чтоб другим в следующей истории неповадно было. Если встретишь еще эту бабку, поддержи финансами, я тебе верну, и добейся от нее, как быть че-

ловеку, если он не дотумкает, ведает он или не ведает, что творит. Спроси. А с другой стороны, чего мучиться мне — темному лесу над рекой, когда наш академик, уж у него-то звезда во лбу горит, сам ни хуя толком не понимает. Я уж трекну тебе напоследок, как мы по душам однажды разговорились. Приляг на софе, как шах персидский, и слушай. Но, если перебежешь дурацкими вопросами, я тебя вместе с софой коньяком оболью и подожгу. Софе ничего не будет, а ты попляшешь.

Была у нас в лаборатории лаборантка-стукачка. Стучала, потому что племянницей приходилась начкадрами и в науку мечтала войти впоследствии. А что нужно в наши времена для этого тупому человеку, кроме стукачества? Найти, кирюха, закономерность надо. Без нее ты хоть на папу и маму стучи — ставки тебе после института не видать, как своих мозгов. Молчи! Это раньше говорили «как своих ушей». Теперь открыто, что уши можно рассмотреть в зеркало. Попробуй же рассмотри мозги. Не вставай только с софы. Не рвись к зеркалу, дубина... Но как найти закономерность в чем-либо? Поймешь по ходу дела... Девуцу ту, лаборантку и стучевилу, звали Поленькой. Телка плоскозадая. Подходит однажды ко мне и говорит:

— Николай Николаевич, я заметила, что некоторые книги влияют на вашу эрекцию хорошо, а другие — плохо и отдаляют оргазм иногда на пятнадцать—двадцать минут от начала мастурбирования. Помогли бы вы мне опыты провести, чтобы обнаружить закономерность такого явления. У меня какая гипотеза? Ведь что люди имеют в виду, когда говорят про прочитанную книгу, интересна она или неинтересна? Они бессознательно констатируют наличие момента возбуждения высшей нервной деятельности или же торможения в случае отсутствия интереса. Так? Давайте же бросим беспорядочное чтение, чтобы все было по Павлову. Я вам могу приплачивать за участие в опыте. Список литературы составлен. Как?

— Валяйте, — говорю. — Книжки я читать полюбил, но говна среди них много. Верно, что тормозят.

— У вас, Николай Николаевич, член ужасно чуткий к феномену эстетического. Я такой первый раз встречаю.



— А много ты их вообще встречала? — Я залился.

— Только договоримся не беседовать на темы, не имеющие отношения к опыту, — обиделась Поленька.

— Хорошо. С чего начнем?

— Мне очень нравятся книги Ю.Германа о чекистах. С детства люблю их. Волнительные книги. Вот роман о Феликсе Эдмундовиче. Я прикреплю к члену датчики. Температурный и кинетический. Ваше дело — читать и ждать эрекции.

— Мешают мне датчики, — говорю.

— Без датчиков нельзя. Мне необходима графическая запись всех показаний.

— Ладно. Давай сюда своего Германа с чекистами.

Разговор этот, кирюха, происходил у нас перед одним ответственным опытом. Кимзе пришлось через директора института и партком распоряжение из ЦК партии, чуть не от самого Суслова. Осеменить во что бы то ни стало жену то ли шведского какого-то влиятельного политика — из социал-демократов, то ли американского миллиардера — большого друга Советского Союза. Забыл. Это Кимза мне объяснял. В ЦК, пронюхав про наши Никитой реабилитированные опыты, решили нагреть на них руки. Валюта-то нужна. Где ее брать на то на се, и компартии иностранные к тому же как птенцы в гнездах сидят, жрать хотят и клювы раскрывают. Шевели, выходит, хуем своим двужильным, Николай Николаевич, осеменяй. Космос обслуживай! Давай сведения для лечения импотенции физиков-ядерщиков и секретарей обкомов.

В общем, приводят в лабораторию жену шведского социал-демократа или американского друга, не помню. Сажает в спецкресло и мне велят начинать. Лаборатория уже предупреждена. При команде «внимание — оргазм!» все занимают свои места, осеменяемая Советским Союзом расслабляется, улыбается, вырубить голос Левитана, прекратить шуточки, вытереть руки, ходить на цирлах, сознавать ответственность момента.

Представляешь, кирюха? Шведская дама там расслабляется-улыбается, к осеменению блаженно готовится, лаборантки стоят по стойке «смирно» у ее отворенного чрева, друг Советского Союза внизу, небось, в фойе нервно букет роз тербит, а я тут с проклятыми «ангелоч-

ками»-чекистами мешкаю! Страх меня взял. За осеменением из ЦК наблюдают. Сам Суслов давит косяка. Госбанк уже валюту считать приготовился. Того и гляди, думаю, дернут тебя, Коля, за саботаж на Лубянку. Нажимаю кнопку. Входят Кимза и Поленька. Влады Юрьевны в тот день не было. Ее в Академию наук вызвали.

— Осечка, — говорю Кимзе. — Не стоит у меня.

— Ты о чем думаешь на работе? — шипит он.

— О Гражданской, — отвечаю правдиво, — войне и красном терроре.

— Осел! Всех нас под монастырь подводишь! Начинай снова. Думай, черт бы тебя побрал с твоими думами, о чем-нибудь более приятном. — Тут Кимза взглянул на Поленьку и поправился. — О чем-нибудь то есть менее значительном, о балете на льду, например, «Снежная фантазия».

— Лед, — говорю, — не возбуждает меня. Снег тоже.

— Тогда о женской бане думай! Ты понимаешь, какой сейчас ответственный момент? Нам лабораторию могут ликвидировать на хер! Представь, что ты банщиком в женской бане работаешь!

— Хорошо, не шипи только, — говорю.

— Быстро давай!

— Быстро, — отвечаю, — Тузики и Бобики кончают, а я человек! Советский причем. У меня нервы исторически издерганы.

— Начитался, балбес, книг. Приступай к делу!

Ушел Кимза. Поленька ни жива ни мертва. Благодарит, что не продал, и сует мне рассказы Мопассана.

— Вот этот, — говорит, — читайте, он очень интересный.

Веришь, кирюха? Встал, как пожарная кишка на морозе, не разогнешь. Встал на первой же странице, а я читаю быстро. Бывало, следовательно целый месяц дело пишет, и днем и ночью, а я его за десять минут вычитываю и подписываю. Читаю, значит, Мопассана, толком ничего не понимаю, но чувствую, дело к ебле идет по сюжету. Муж уехал на один день в командировку и велел Жаннете не скучать без него. Она была круглая дура и послушная жена: раз велел Морис не скучать, подумала она, то я и не буду. Я его люблю и не могу ослу-

шаться. А по улице в это время шел трубочист. Она и говорит ласково, перегнувшись из окошка так, что сиськи чуть не выпали на парижскую улицу:

— Милый Пьер, зайдите ко мне прочистить трубу.

Ну, Пьер, такая уж у него работа, зашел и прочистил. И вот, кирюха, какой замечательный писатель Мопассан! Я ни о чем не догадался, пока муж не приехал из командировки. Он приехал и говорит утром жене Жаннете:

— Жаннета, я весь, вплоть до нашего милого дружка, вымазан в черном. Что это?

Она хоть и дура была, но нашлась. В такие минуты дураков нет, кирюха.

— А не спал ли ты, мой котенок, с прелестной негритяночкой?

Ох и поохотали они тогда над ее шуткой, за животы держались, и Морис снова полез на жену Жаннету. А когда, очень довольный собой, он уходил на службу, то сказал:

— Пожалуйста, птичка, пригласи трубочиста. У нас труба не в порядке.

На этом рассказ кончался, к сожалению. Но я был в форме. Беру в другую руку пробирку и уже слышу, как Кимза орет: «Внимание — оргазм!»

И что ты думаешь? Попала от меня та дамочка. Мгновенно попала. Распорядился мой Николай Николаич в ее фаллопиевой трубе. Благополучно родила у нас же в клинике. Я видел мальчика. Симпатяга. Теперь ему двадцать лет. Беда только, что ворует. По карманам лазит, несмотря на богатых папу и маму. В меня пошел. Это мне Кимза рассказывал. Может, и шутит. Но из того, что шведские социал-демократы боятся связываться с нашими диссидентами, я пришел к выводу, что та дамочка была не американка. Рассудил логически.

Вот Поленька тогда сообразила что к чему и стала подсовывать мне на опытах то одну книженцию, то другую. Чего я только не перечитал, кирюха, за целый год эксперимента! Поленька набрала столько данных, что разобраться в них не могла, а об вывести закономерность без научного руководителя уже и речи не было. Не тянула она на это. Ну и рассказала о своей работе академику нашему со списком прочитанных книг. Там было

три графы: «Встает», «Наполовину», «Эрекция отсутствует». В первую графу, раз уж ты интересуешься, попали следующие авторы и книги: «Охотничьи рассказы» Тургенева, «Вий» и «Майская ночь» Гоголя, «Отелло», где негр ревновал. «Золотой осел», там все про еблю. «Как закалялась сталь». «Три мушкетера». «Обломов». «Муха-Цокотуха», меня там возбуждало, как паучок муху в уголок поволол. «Любовь к жизни» Джека Лондона, которого Ленин любил. «Наполеон» академика какого-то. «Степь» Чехова. Стихи Пушкина «Мороз и солнце — день чудесный...» и «Сказка о Спящей Царевне». «Путешествие на Кон-Тики», «Занимательная астрономия», «Книга о вкусной и здоровой пище», и вот что странно, кирюха, — книжонка царского времени — «Как самому починить ботинки» приводила меня в ужасное возбуждение. Я потом долго успокоиться не мог. Помню, приятно было читать «Анну Каренину». Правда, при воспоминании о конце этой книги у меня не то что не встает, а вообще хочется положить хер на рельсу, и пушай проезжает по нему трамвай «Букашка», чтобы покончить разом с этим делом, жаль, что выселили его из Москвы. Помню также «Воспоминания», только не помню чьи. Я все люблю воспоминания и заметил, что люди, которые мне отвратительны, воспоминаний после себя не оставляют, пидады гнойные. Питлер, например, Сталин, Дзержинский, мой первый следователь Чебурденко, Берия, наш домоуправ Шпоков и другие негодяи. В данных я сам под конец запутался. У меня эрекция начиналась не обязательно от ебливых моментов. Если бы так! А то — нет! Даже Мопассан действовал на меня по-разному. То угнетающе-тормозяще, то доводя до неистовства. Так же и Лев Толстой. Не говорю уж о Достоевском. На что уж там в «Братьях Карамазовых» и в «Идиоте» все с ума от ебли сходят и любви — а я, наоборот, тускнею, задумываюсь, в тоску вхожу. В чем дело? Но стоило взять в руки «Барона Мюнхгаузена» — как штык! Всегда готов к бою!

Полусгибался же у меня от книг Катаева, Каверина, Трифонова, Катарини Сусанны Причард, Джеймса Олдриджа, Теодора Драйзера, Анри Барбюса, Максима Горького, «Тихого Дона», Андре Стиля, «Луки Мудищева», «Космических будней», журналов «Здоровье» и «Знание — си-

ла». Всех названий не перечислишь. Да и без толку перечислять. Поймешь потом почему. Но вот совершенно не стоял у меня, словно это мочка уха была отмороженная, а не боевой топор — знаешь от чего? Отвечу коротко: от книг, не похожих друг на друга, как день и ночь. От всего соцреализма, его Поленька так называла, и от самых неожиданных книг. Ну что может быть общего, кирюха, между романом «Сибирь» Георгия Маркова и «Дон Кихотом»? Грех даже сравнивать. А у меня не стоял ни от того ни от другого, хотя от «Сибири» я чуть не сблевал, а от «Дон Кихота» плакал три недели, как маленький, и на работе, и дома. Или взять какого-нибудь Закруткина-Семушкина-Прилежаеву-Воскресенскую-Софронову-Грибачева-Чакковского — не путай этого идиота с «Мухой-Цокотухой», — «Кремлевские куранты» Симонова-Джамбула — всех не перечтешь, и все они на одно лицо, как бы ни старались выебнуться почище. Особенно Симонов. Все они, повторяю, на одно лицо, и стоит, ты уж поверь мне, одолеть страниц двадцать, как чуешь, что из тебя клещами душу вытягивают, опустошают тебя то неумением интересно придумывать, то такой парашей, что глаза на лоб лезут. А главное, все они стараются так прилгать, чтобы казалось нам самим и в ЦК: ох и приличная жизнь в Советской нашей стране. Ох, и работают на совесть рабочие и крестьяне. Еще смена не кончилась, а они уже вздыхают: скорей бы утро — снова на работу! Парашники гнусные. Меня-то не проведешь за нос: я уже повидал житуху на всех концах СССР. Но хрен с ними. От них и не должен вставать. При чем тут «Дон Кихот», «Путешествия Гулливера», «Капитанская дочка», «Мертвые души» и многие другие книги — вот что было непонятно и удивительно.

Пришлось Поленьке расколотся академику. Он просмотрел данные опытов. Проверил статистику, сам обработал ее. Потом однажды говорит при мне Поленьке:

— Есть у вас научное любопытство. Почему же вы не смогли завернуть резюме? Буду короток. Истинная литература имеет отношение не к члену Николая Николаевича, а к его духу, хотя ваш подопытный человек феноменально и легко возбудимый. У него даже от двух слов «женский туалет» иногда встает, не то что от Мопассана. Верно, Коля?

У меня фары на лоб полезли от такой догадливости. Что он, следил за мной, думаю, что ли?

— Так что, Поленька, работу вы до конца не довели, закономерности основной не выявили, но вы способны и любопытны и не брезгуете никакими средствами. Вас ожидает чудесная научная карьера. Сами-то литературой интересуетесь?

— Постольку-поскольку, — сказала Поленька.

— Очень скверно. Запомните: к духу человеческому имеет отношение литература, а не к хую Николая Николаевича. А ты, Коля, — говорит старик, — порадовал меня. Не так прост и низок человек, как порою кажется. И в вас, шалопает, есть искра божья! Есть! — Тут он велел Поленьке удалиться и, главное, не подслушивать нас, и продолжал: — Надоела, небось, работенка?

— Да, — отвечаю, — завязывать пора. После «Дон Кихота» и дрочить стало очень трудно и страшно. Чем я, думаю, занимаюсь, когда надо продолжать войну с ветряными мельницами?

— Понимаю тебя, Коля, понимаю. У меня пострашней на душе мука, чем твоя, хотя грех такие муки соизмерять. Ты вот просто дрочишь, пользуясь твоим выражением. А мы все чем занимаемся? Ответь.

— Суходрочкой, что ли? — говорю, не подумав даже как следует, и академик до потолка чуть не подпрыгнул.

— Абсолютно точно! Вот именно, — говорит, — суходрочкой! Су-хо-дроч-кой! Полной, более того, суходрочкой! Вся советская, Коля, и мировая наука — сплошная суходрочка на девяносто процентов! А марксизм-ленинизм? Это же очевидный онанизм. Твоя хоть безобидна, Коля, суходрочка, — а сколько крови пролито марксизмом-ленинизмом в одной только его лаборатории, в России? Море! Море, а полезной малофейки — ни капли! Все вокруг суходрочка! Партия дрочит. Правительство онанирует. Наука мастурбирует, и всем кажется, что вот-вот заорет какой-нибудь искалеченный Кимза: «Внимание — оргазм!» — и настанет тогда облегчение, светлое будущее настанет. Коммунизм. А ты подрочил, побаловался — и хватит. Не погиб в тебе, Коля, человек, как, впрочем, не погиб он от суходрочки советской власти. Придет, надеюсь, пора, и он завяжет, как ты выража-

ешься, завяжет и займется настоящим делом. Хватит, скажет, дрочить. Подрочили. Время за живое и достойное дело приниматься, а о суходрочке многолетней, даст бог, с улыбкой вспоминать будем. Ты чем хотел бы заниматься, кроме онанизма?

Веришь, кирюха, подумал я тогда: ну на что я способен, просидев полжизни в лагерях и подрочив столько лет в институте? Подумал и вспомнил, что у меня непонятно почему встал как штык от старой, потрепанной, выпущенной при царе книжонки «Как самому починить свою обувь».

— Сапожником пойду работать, — говорю. — Я очень люблю это простое дело. А материться больше не буду. Надоело.

— Умница! Умница! У нас и сапожники-то все перевелись! Набойку набить по-человечески не могут. Задрочились за шестьдесят лет. Иди, Коля, сапожничать. Благоговляю.

— А как же вы тут без меня? — говорю.

— Управимся. Пусть молодежь сама дрочит. Нечего делать науку в белых перчатках. В свое время я дрочил, хотя был женат, и не брезговал. А чего я, Коля, добился? Стала мне понятней тайна жизни? Нет, не стала. Наоборот! Я скажу тебе по секрету, Коля, — академик зашептал мне в ухо свой жуткий секрет: — Я считаю, что не зря жил и трудился в науке. Мне, слава богу, стала окончательно непонятна тайна жизни, и я уверен: никто ее не поймет. Да-с! Никто! Ради понимания этого стоило жить все эти страшные годы. Звоните. Приду к вам чинить туфли. И знакомых пришло.

Тут табло зажглось «Приготовиться к оргазму». Ушел академик. А я, знаешь, кирюха, что завтра сделаю? Не догадаешься, пьяная твоя харя. Я завтра явлюсь на службу, соберу свои книжонки, включу сигнал «К работе готов», а сам втихаря слиняю. Слиняю и представлю, как Кимза вопит на всю лабораторию: «Внимание — оргазм!» — а кончать-то и некому. Заходит Кимза в мою хавирку, кнокает вокруг и читает мою записку: «Я завязал. Пусть дрочит Фидель Кастро. Ему делать нечего. Николай Николаевич». Кимза бросится к Владе Юрьевне:

— Что делать, Влада? Остановится сейчас из-за твоего Коленьки наука.

А Влада Юрьевна ответит, она уже не раз отвечала так, когда я не мог, хоть убей, кончить:

— Не остановится, Анатолий Магомедович. У нас накопилось много необработанных фактов. Давайте их обрабатывать.

*Москва. 1970*





# Кенгуру

Роман

Посвящаю Алексею

1 Давай, Коля, начнем по порядку.

хотя мне совершенно не ясно, какой во всей этой нелепой истории может быть порядок.

В том, 1949-м, году я был самым несчастным человеком на нашей планете, а может, и во всей Солнечной системе, хотя чувствовал это, разумеется, только я один. Кстати, личное несчастье — не всемирная слава и не нуждается в признании всего человечества.

Но давай по порядку. Только я в понедельник собирался отнести в артель партию готовых вуалеток, как раздался междугородный звонок. А вуалетки я мастерил для понта, что занят полезным трудом, несмотря на индивидуальность, и потом почему-то нравилось накалывать тушью черные мушки на нитяную решку. Сидишь себе, капаешь, а сам вспоминаешь, как дружески распивал с начальником сингапурской таможни великое виски «Белая лошадь». Итак: междугородный звонок. Подхожу.

— Гуляев, — говорю весело, — он же Сидоров, он же Каценеленбоген, он же фон Патофф, он же Эркранц, он же Петянчиков, он же Тэдэ, слушает! — Я тебе пошучу, реакционная харя! — слышу в ответ и тихо поворачиваюсь к окну, ибо понимаю, что скоро не увижу воли и надо на нее наглядеться. — Чтобы ровно через час был у меня. Пропуск заказан. За каждую минуту опоздания — сутки кандея. Только не вздумай закосить невменяемость. Ясно, гражданин Тэдэ?

— С вещами? — спрашиваю.

— Конечно. Захвати индийского, высший сорт, а то у меня работы много. Чифирьку заварим.

Бросил он, гуммозник, трубку, а я свою, Коля, держу, не бросаю. Она библикает тоскливо «би-би-би-би», острые занозы в сердце вонзает. Тут я выдернул трубку с корнем из аппарата, и — хочешь верь, хочешь не верь — она еще с минуту на полу библикала. Подыхала. Ты этому не удивляйся. У нас ведь тоже после смерти ногти растут и бороды, и если я врежу, дай-то бог, дубаря раньше тебя, Коля, ты положи, пожалуйста, в мой гроб электробритву «Эра» и маленькие ножнички...

Но, милый мой, сам знаешь, когда бы мы с тобой реагировали на служебные неудачи, как ответработники или некоторые евреи, то схватили бы уже по двадцать инфарктов, инсультов и раков прямой кишки. Отшвырнул я подохшую трубку ногой под тахту и начал радоваться перед тем, как пострадать и сесть неизвестно за что и на сколько. Я до сих пор помню каждую секунду из тех двух часов, которые я потратил на дорогу до Лубянки. Боже мой, какие это были секунды, даже части секунд и части их частей. Ведь я прощался с родимыми лицами из фамильного альбома и одновременно успевал давить косяка на свободных воробьев за окном. Смахнул тополиный пух с Ван-Гюга. Сообразил, куда заначить золотишко и денежку. Подумал, что платить за газ и свет запаadlo — пускай за газ платит академик Несмеянов, а за свет — сам великий Эйнштейн, специалист по этому делу. Кроме всего прочего, я подготовил все к моменту возвращения на волю: сервировал стол на две персоны и поставил поближе к своему прибору бутылку коньяка. Поставил — и отогнал от себя мысль насчет того, сколько звездочек прибавится на этой бутылке, пока я буду влочить срок. Год пройдет — звездочка, потом еще одна, потом, думаю, ты, коньяк, станешь «Двином», потом — «Ереваном», а если даже и «Наполеоном», то все равно я не фраер, все равно я освобожусь, выпью тебя, за кровь времени моей жизни выпью с милой лапонькой, которая вон — по улочке, в белом фартучке вприпрыжку бежит из школы... Зачем-то в булочную забежала...

Застилать на будущую ночь тахту я не стал. Зачем откладывать драгоценное времечко вроде как в копилку? Суждено будет — еще застелю. Присел я потом на дорожку, пятнадцать минут всего прошло со звонка, помолил-

ся, холодильник выключил и, между прочим, клопа, Коля, увидел. Хотел его — к стенке, но почему-то пожалел. Извини, говорю, отбываю в ужасные края, и кусать тебе долго будет некого. Но я тебя, тварь живая, пожалею, ибо жить ты должен до пятисот лет и без кровной пайки преждевременно отдашь концы. Взял я клопика и осторожно подкинул под дверь соседки Зойки. Полминуты, не меньше, на это дело потратил. Герань на кухню вынес. Собрал чемоданчик и вышел из дому.

Заметь, вышел из дому. Стою у подъезда. Стою и стою, потому что ноги у меня не двигаются. И не от слабости, а просто не двигаются, и все. Собственно, зачем моим ногам двигаться, если как следует разобраться? Дорожку им самим не выбирать. Ее уже наметил для них гражданин подполковник Кидалла. А раз не выбирать, значит, в ногах спокойствие. Правда, Кидалла дал час сроку и за каждую минуту опоздания обещал сутки кандея. Но ничего, думаю, откажусь. И в душе у меня примерно такое же спокойствие, как в ногах. Для души ведь тоже намечена гражданином подполковником Кидаллой дорожка, она же путь, она же тропинка, она же стезя, она же столбовая дорога, она же судьба.

Я, конечно, покандевал в Чека, но даже не заметил, как с места сдвинулся, потому что, Коля, жизнь меня тогда так между рог двинула костылем, что я, ей-богу, в первый момент не мог просечь: существую я или не существую...

Какая-то падла привязалась ко мне по дороге. Ей, видишь ли, показался странным взгляд, которым я кнокал на портрет Кырлы Мырлы, висевший в витрине гастронома. «Я, — говорит эта гадина, — давно за вами наблюдаю, и если вы не наш человек, то лучше пойдите и скажите об этом органам сами. Может быть, вам не нравятся изменения, произошедшие в мире? Тогда заявите! Здесь! Сейчас! Заявите, вместо того чтобы носить фигу в кармане и истекать бессильной слюной врага, ставшего над схваткой!»

Ничтожеством обозвала меня, тварь, и, главное, Коля, не отстаёт, ибо ей, сволоте, интересно, по какую сторону баррикады она находится, а по какую — я. Я тогда и загундосил с понтом сифилитика, что нахожусь по ту

сторону баррикады, где мебель помягче и постаринней, и что направляюсь в вендиспансер на реакцию Вассермана после полового акта с одной милягой — наследницей родимых пятен капитализма. Слюной, конечно, нарочно ее забрызгал и думаю: не подсесть ли по семьдесят четвертой за хулиганство? Но сам знаешь: Чека, если надо, перетасует все пересылки, все БУРЫ и ЗУРЫ, самые дальние командировки раком поставит, а найдет нужного человека!

Кстати, насчет баррикад и мебели. Вот этот туалетный столик я вынес в 1916 году из одной киевской баррикады. Стоит он столько, сколько «Волга» на черном рынке, но я его не продавал, не продаю и не продам! За ним Мария-Антуанетта причесывалась. Ну, скажи, Коля, что происходит с нашей планетой? Зачем люди отрубают головы женщинам-королевам? Зачем? Почему? А какой-то слепой кишке, видишь ли, тошен взгляд, которым я давил косяка на Кырлу Мырлу!.. И не успокаивай меня, пожалуйста. Я не эпилептик. У меня нервишки крепче арматуры на Сталинградской ГЭС. Будь здоров, дорогой!..

Слава тебе господи, что мы с тобой нормальные люди! И запомни раз и навсегда: нормальные люди суть те личности, которые после всех дьявольских заварушек терпеливо и аккуратно, чтобы, не дай бог, не отломать ноженку у какого-нибудь, пускай даже простого и зачуханного, венского стула, демонтируют уличные баррикады. И, соответственно, ненормальные — это те мерзавцы, которым кажется, что им точно известно, чего им хочется от жизни. Хотя чего может хотеться людям, волокущим из дома на булыжную мостовую стулья? А ведь на них человек отдыхает! Столы, Коля, волокут, столы!!! А за ними наш брат ест, хакает, штевкает, рубает, кушает, одним словом — принимает пищу. И наконец, Коля, люди волокут на грязную улицу кровати, они же диваны, они же оттоманки, они же тахты, они же матрацы пружинные и соломенные, то есть волокут все, на чем кемалят одну треть суток, а иногда еще и днем прихватывают, все, на чем проводят первую брачную ночь и последнюю, на чем лежат больные, на чем плачут обиженные, на чем рожают и врезают дуба! Ненормальные люди! К тому же ни-

как не поделят, кому на какой стороне баррикады находиться. Но хватит о них.

От той паскудины я тогда слинял и покандехал себе дальше. Пешочком иду, со свободой, с волей прощаюсь. Бензиновым дымком дышу. Газировку пью. Курю, как сам себе дорогой и любимый, «Герцеговину Флор». На «ласточек» смотрю. Прощайте. И дальше канаю. Причем не теряю из отпущенного времени ни секундошки и, как уже говорил, ихних самых мелких частей...

Я перед заходом в Чека был вроде одного хмыря-смертника, которому дали птюху черствого в триста грамм и сказали, что это последний в его жизни хлеб. Хмырина-физик был битой рысью. Он разделил птюху на крошки, потом крошки на крошечки, потом крошечки на крохотулечки. Его исполнитель торопит: «Давай, гаденыш, быстрее. Тебя расстреливать пора! У меня рабочий день кончается, сука!» А хмырина отвечает: «Мне законом дадена возможность дохавать последнюю кровную птюху, и, падлой мне быть, если будешь мешать, прокурора по надзору вызову! Воды почему не притаранил?»

Делать нечего. Несет ему смертельный исполнитель кружку водички. А хмырина кинет себе в рот крохотулечку черствого и катает ее, раскатывает языком, обсасывает, чмокает, плачет от удовольствия голода жизни! Исполнитель уже икры целую кучу переметал, базлает, что «Спартак» — ЦСКА вечером по телеку и гости из Иркутской тюрьмы приехали. Его дожидаются. Но хмырина пригрозил, что не распишется в расходном ордере, если ему помешают хлеб хавать и воду пить. А помешать, между прочим, предсмертному приему пищи не имел права даже сам Берия. Он любил всякие красивые правила. Например, перед тем как заглянуть при шмоне в зад зека, надзор был обязан сказать: «Извините, гражданин или гражданка такая-то». Правило это, к сожалению, соблюдается в нашей стране крайне редко. Пока что так обращались только к Туполеву, Королеву и предгосплана Вознесенскому. В общем, исполнитель час ждет, два, четыре, грозит расстрелять хмырина каким-то особым способом, одному ему вроде бы открывшимся на курсах повышения квалификации, и звонит начальству. Но оно ведь ни за что не даст санкции на расстрел,

пока смертником не схавана последняя крошка хлеба и не выпит последний глоток воды. Наконец в ладонях хмырины не осталось ни крохотульки. Но он заявил, что бы ты думал, Коля? «Я, — говорит, — теперь за молекулы принимаюсь, а потом за атомы возьмусь». И снова пригрозил исполнителю сообщить напоследок куда следует, что тот, по сути дела, отрицает существование материи и объективно является троянским конем субъективного идеализма в нашей образцовой внутренней тюрьме, ибо преступно усомнился в официально признанном органами строении вещества. Исполнитель-псина пожелтел, глаза блевотиной налились зеленой, и говорит хмырине: «Посмотрим, что ты, сволочь почти мертвая, будешь хавать, когда у тебя от птюхи ни атома сраного не останется?»

А хмырина ему и отвечает: «Я тогда, с вашего позволения, начну хавать электрон, который, по словам Ленина, практически неисчерпаем. А вы можете заявить, что исчерпаем, и посмотрим, какотреагирует отдел теоретической физики МГБ на это провокационное заявление. Вот, — говорит хмырина, — где, оказывается, окопалось мракобесие! Вот как оно хитроумно устроилось и расстреливает в лоб самых преданных материалов!»

Веришь, Коля, двадцать часов так прошло. Двадцать часов жизни на триста грамм черствого и кружку воды!

А потом хмырине вдруг заменили расстрел четвертаком и в шарашку увезли. Живым остался. А все почему? Потому что спешить никуда и никогда не надо!..

В общем, я тогда вроде хмырины-академика обсасывал последние свои леденцовые минутки и секунды и вдруг тоскливо просек, что времени на свободе для моей души больше нет. До свиданьица, говорю, Время Свободы, а сам дрожу — скрывать не собираюсь — от страха. Дрожу я, Коля, ибо очень страшно переходить ни с того ни с сего во Время Тюрем. А уж когда перешел, да спросил в окошечке пропуск, да поднялся по ступенечкам, да подал руку в злом коридоре генералу — он, между прочим, долго на меня пялил шнифты, должно быть, соображал, какой я промышленности министр, — когда я повеселел, чтобы не унывать, да постучал в дверь с таблич-

кой желтой по красному «Кидалла И.И.», тогда у меня, Коля, страх пропал. Даже любопытство разобрало: что за казенный интерес мне корячиться? Вхожу.

— Привет, — говорю, — холодному уму и горячему сердцу!

— Заходи, заходи, гражданин Тэдэ. Помнишь, педерастина, я тебе обещал сутки кандея за каждую минуту опоздания?

— Помню, — говорю, — гражданин следовательно по особо важным делам, но кандей вам, извините, как номер сегодня не пройдет, потому что вы велели индийского пачку купить, а в магазинах с часу до двух перерыв. Поэтому я вынужден был задержаться. Эскюз ми.

— То есть как это перерыв? — удивился Кидалла. Он, надо тебе сказать, Коля, как ребенок был иногда, совсем не знал характера жизни: все ведь допросы круглые сутки, допросы, пока очередной отпуск не поспеет. Это мы с тобой считаем дни и ночи, а они только очередные отпуска. Вот тогда мне и пришлось объяснить Кидалле социальное понятие «обеденный перерыв». Объясняю — и сам радуюсь, что целый огромный и лишний оттяпал себе час. Я же не фраер: я пачку чая из дома прихватил.

Затем долго мы друг на друга смотрели.

Первое знакомство вспомнили, еще до войны, когда Кидалла взял меня и партнера с поличным на Киевском вокзале. Дело было дурацкое, но корячился за него товарищ Растрелли. Одна нэпманша долго умоляла меня ликвидировать за огромную сумму ее мужа. Я хоть и порол эту нэпманшу, но просьба, Коля, мне не понравилась. Однако я с понтом согласился исключительно из обиды, что произвел за несколько половых актов впечатление наемного убийцы, и для того чтобы наказать обоих. Ее, гадину, за кокетство с мужем, а его, оленя, чтобы смотрел в оба, когда женится на гнусных предательницах. Я этой Кисе усатой предложил план, и она его одобрила. Сначала мы с партнером нэпмана шпокаем. Потом расчлняем и отправляем посылку с различными частями трупы пострадавшего его кроваво-злобным конкурентам.

— Они Гуленьку хотели съесть — так пожалуйста! Я угощаю! — сказала будущая вдова и для алиби показала на «Лебединое озеро». Гонорар она обещала выдать,

когда убедится в ликвидации своего Гуленьки. Хорошо. Захожу я во время танца умирающего лебедя в ложу и втихаря показываю вдове мертвую волосатую руку. Партнер ее купил за бутылку в морге. При сволочном нэпе, Коля, все продавалось и все покупалось. Получил я в антракте мешочек с рыжьем, пять камешков и слинял. Камешки были крупные, как на маршальской звезде. Итак, я слинял. Стали мы с партнером думать, куда мертвую холодную руку девать? Партнер предложил бросить ее у Мавзолея с запиской, что комсомольцы специально отрубили левую руку у правого уклониста. Отвергаю предложение. «Зачем, — говорю, — добру пропадать? Давай отнесем ее на ужин льву или тигру».

Пробрались мы через щель в заборе в зоопарк. Тихо там было, как в лагере после отбоя. Подходим к камере тигра. Кемарит зверь.

— Кис-кис! Мы тебе кешарь с гостинцем притаранили. Проснись, поужинай. Кис-кис!

Проснулся зверь, рыкнул, и просунул я мертвую руку сквозь прутья. Веришь, Коля, киса, понюхав передачу нашу скромную, замурлыкала от радости и изумления, поблагодарила нас немного смягчившимся взглядом и принялась лопать чью-то никому не нужную конечность. Несчастная, навек заключенная в камеру тварь урчала и, по-моему, плакала от счастья, что хавает мясо своего смертельного врага и обидчика — человека. Тут, почуяв это, зашумели другие хищники в соседних камерах. Вой, рычание, рык, лязг зубов, стук хвостов по полу. Хипеж, в общем, неслыханный. Мы сразу же слиняли.

Но из-за нашего благородного поступка пришел, Коля, конец нэпу. Да, да. Я говорю тебе сейчас чистейшую историческую правду, оставшуюся для идиотов-историков великой тайной. Поясню.

Поутрянке служитель нашел около клетки указательный палец. Тигр, наверное, спихнул его хвостом, а может, не пожелал хавать принципиально. Служитель, не будь дебилом, таранит палец в Чека. Положили его на стол Ежову. Тот говорит:

— Ба! — и бежит с пальцем к Сталину. — Так, мол, и так, Иосиф Виссарионович, правые и ленинские буржуа наглеют. Хозяева трех магазинов убили коммуниста Би-



незона, потому что он уличил их в сокрытии доходов и неплате налогов. Убили и скормили львам, тиграм, пантерам и гепардам. По кусочку. Ночью. Вот только указательный пальчик остался. Жена и товарищи по партячейке опознали его. Бинезон не раз грозил им в адрес нэпа.

— Символично, что от коммуниста товарища Бинезона остался не какой-нибудь там мизинчик, а указательный палец. Врагу не удастся скормить партию и ее ЦК диким животным. Мы, большевики, — не первые христиане, а Советский Союз — не Древний Рим. Не все коту масленица. Приступайте к сворачиванию нэпа. Берите курс на индустриализацию и коллективизацию. Выполняйте указания, — сказал Сталин.

И ты теперь, Коля, понимаешь, что, не скорми я тогда руку коммуниста Бинезона тигру, история России пошла бы, возможно, совсем другим путем и нэп победил бы дурацкий, кровавый сталинский социализм. Большую я чувствую за это вину и никогда ее себе не прощу.

Слиняли мы, значит, из зоопарка, взяли двух ласточек, и только я хлопнул по попке знакомую проводницу и билеты ей вручил, как слышу проклятое «руки вверх!».

Выполняю команду. Общмонал меня Кидалла, он тогда еще лейтенантом был, и, оказывается, Коля, произошло следующее: эта сикопрыга-нэпманша прямо с «Лебединого озера» привела к себе домой какого-то полового гуся. Представляешь ее впечатление, если она охает под своим гусем, как вдруг в хату входит голый нэпман Гуленька весом в сто сорок кэгэ, тряся мудями, и видит на своей кровати чудесный пейзаж. Половой гусь, оказавшись впоследствии нервным эсером, крикнул: «Стои! Кто идет!» — и выпустил в Гуленьку пуленьку. Он, разумеется, хотел слинять, но не тут-то было. Киса для инсценировки велела себя связать и побить. Эсер все это сделал, вломил вдове за все как следует и слинял. А она подняла хипеж, явилась Чека, и я таким образом познакомился с Кидаллой. Киса дала ему мои с партнером приметы и раскинула чернуху, как мы ее, бедняжку, зверски изнасиловали на глазах родного мужа, затем шмальнули в него, забрали ценности, еще раз изнасиловали, связали и скрылись. Вышак за такое дело положен. Все улики

против нас с партнером. Соображаешь? Я доказываю Кидалле, что мы Гуленьку замаяли хлороформом, сняли перстень и слиняли, и, конечно, всегда пожалуйста, готовы предстать за мошенничество, шантаж и перекуп метровой волосатой руки у расхитителей личной собственности из морга.

— У нас, — говорю Кидалле, — алиби есть стеклянное.

— А у меня, — отвечает Кидалла, — имеется на ваше стеклянное алиби член алмазный.

А я говорю:

— Гиперболоид инженера Гарина не желаете на ваш якобы алмазный? — После чего получил пресс-папье, которым Столыпин чернила промокал, по черепу. Вытер я, сам понимаешь, кровянку и продолжаю стоять на своем: — Не убивали, поскольку у нас иные ампула. Более того, — говорю, — вы нам шьете убийство уголовное, а оно на самом деле вместе с изнасилованием политическое. Зачем вам это нужно?

Тут подоспел арестованный дантист Коган. В момент убийства Гуленьки мы с партнером продавали ему золотишко на зубы, и, слава тебе господи, исторически сложилось так, что евреи любят подолгу торговаться! Торговались мы с ним ровно два часа. Когану Кидалла не имел права не поверить, потому что тот вставлял зубы Ленину, Бухарину, Рыкову, Зиновьеву и Каменеву. Тем более, после показаний Когана нэпманша раскололась. Смотрю: замержевал Кидалла. Задумался.

Нас с партнером Кидалла разогнал из Чека и ничего не стал шить. Правда, сказал, что я его должник. Потом он еще пару раз брал меня в посольстве Эфиопии и на дипломатической даче в Крыму — и оба раза разгонял. «Гуляй, — говорит, — дорогой Тэдэ, — эта моя кликуха ему больше остальных нравилась, — до поры до времени, ибо приберегаю тебя для особо важного дела».

## 2

Вот и представь, Коля, мою жизнь: трамвай где-то сошел с рельсов, вредитель скрылся, а я жду повестки с вещами. Жду год. Жду два. Кирова шмальнули. Ну, думаю, вот оно, мое особо важное дело, наконец-то образовалось! Однако странно: не взяли.

Я совсем приуныл: если уж я не пошел по делу Кирова, какое же дело еще важнее? Даже думать страшно было. В голове не укладывалось. В общем, жду. Лезвий безопасных в продаже не стало — жду. Мясорубки пропали — жду. Бусю Гольдштейна в Пассаже обокрали — жду. Кулаки Павлика Морозова подрезали — жду. Хлопок где-то не уродился — жду. Сучий мир! Во что превратили жизнь нормального человека! Жду. Жду. Жду. «Максим Горький» — жду. Джамбул триппер схватил в гостинице «Метрополь» — жду. В Испании наши погорели — жду.

Чокаюсь потихонечку. Веришь, замечаю, что появилась во мне тоска по особо важному делу, по своему, по родному. Скорей бы, мечтаю, совершили вы его, проститутки паршивые! Чего вы медлите с реализацией ваших реакционных планов и заговоров, диверсий и вредительств? Чего ж вы медлите? Мандраж ожидания мешает моей основной работе. Годы летят. У меня карточные долги в Италии, Швейцарии, Канаде, Сиаме и Удмуртской АССР.

В общем, встань, встань на мое место, Коля. Тридцать шестой — жду. Орджоникидзе — жду. Семнадцатый съезд — жду. Тридцать седьмой. Озеро Хасан. Маньчжоуго. Челюскин — жду. Леваневский то ли пропал, то ли слинял — жду. Крупская. Чкалов. Белофинны... Жду. Берут почти всех, кроме меня. На улице «воронков» больше, чем автобусов, и все битком набиты... Ромен Роллан. Герберт Уэллс. Как закалялась сталь. Головокружение от успехов — жду... Кадры решают все — жду. Сталинская конституция — жду. В общем, вся история советской власти, Коля, прошла через мой пупок и вышла с другой стороны ржавой иглой с суровой ниткой. Питлер на нас напал — жду. Окружение. Севастополь. Киев. Одесса. Блокада. Чуть Москву не сдали — жду. Покушение на Питлера — тоже жду. Второй фронт, суки, не открывают — жду. Израиль образовался. Положение в биологической науке — жду. Анна Ахматова и Михаил Зощенко — жду. И наконец случайно дождался своей исторической необходимости. Дождался. Сижу, кнокаю на Кидаллу, и он тоже косяка на меня давит, ворочает в мозгах своих, окантованных воспоминаниями.

— Давненько, — вдруг говорит, — не виделись, гражданин Тэдэ. Мне скоро уж на пенсию уходить. Пора получить с вас должок. Прошу слушать меня внимательно. Отношения наши дружественные и истинно деловые. Для вас есть дело. А дело в том, что наши органы через три месяца будут справлять годовщину Первого Дела. Самого Первого Дела. Дела Номер Один. И к этому дню у нас не должно быть ни одного Нераскрытого Особо Важного Дела. Ни одного. Не вздумайте вертухаться. Гоп-стоп, повторяю, не прохезает. Интимные вопросы есть?

— Сколько, — спрашиваю, — всего у вас нераскрытых особо важных дел и все ли будем оформлять на меня? Надо ли интегрировать эти дела ввиду того, что они, естественно, дифференцированы?

— Нераскрытых дел, — говорит Кидалла, — у нас неограниченное количество, ибо мы их моделируем сами. Предлагаю штук десять на выбор. Есть еще интимные вопросы?

— А что будет, если я уйду в глухую несознанку и не расколюсь, даже если вы мне без наркоза начнете дверью органы зажимать?

— Этот вопрос твой, — отвечает Кидалла, — глупый, и отвечать я на него не собираюсь. То, что ты сейчас сидишь передо мной, есть историческая необходимость, и вертухаться, подчеркиваю, бесполезно. Вместо тебя я могу, разумеется, взять сотню-другую товарищей-граждан. Но мне нужен ты, дорогой Тэдэ. Ты мне нравишься. Ты — артист и процесс превратишь в яркое художественное представление. Я тут на днях сказал одному астроному: «Это ваш звездный час, Амбарцумян. Раскалывайтесь — и дело с концом». В общем, Тэдэ, поболтать с тобой приятно. Давай, однако, завари чифирочка — и ближе к делу. Кстати, если тебя, как всех моих подследственных гавриков, интересует, что такое историческая необходимость, я отвечу: это — государственная, партийная, философская и военная тайна. Так что давай чифирнем, я уйду на особое совещание, а ты знакомься с делами.

Вот такой, Коля, был у нас разговор, и от этой исторической необходимости засмердило на меня такой окончательной безнадегой, что я успокоился, чифирнул, помолился Господу Богу и принялся рассматривать Дела.

И мне стало совершенно ясно, что за каждое из них корячится четвертак, пять по рогам, пять по рукам, пять по ногам и гневный митинг на заводе «Калибр». Умели чекисты дела сочинять. Не зря им коверкотовые регланы с мельхиоровыми пуговицами шили. Умели, сволочи, моделировать дела.

Мне потом Кидалла электронную машину показал, которая им стряпать дела помогала, и в частности состряпала мое. В нее ввели какие-то данные про меня, всепобеждающее учение Маркса-Ленина-Сталина, советскую эпоху, железный занавес, соцреализм, борьбу за мир, космополитизм, подрывные акции ЦРУ и ФБР, колхозные трудодни, наймита империализма Тито, и она выдала особо важное дело, по которому и поканал твой старый друг. О самом деле — немного погода.

Ну, всякие дела о покушениях на Иосифа Виссарионовича я с ходу откинул копытами, как дикий мустанг. На Кагановича, Маленкова и Молотова и на них всех вместе откинул тоже. Ну, а раз так, зачем брать мне было на себя организацию вооруженного нападения на Турцию с целью захвата горы Арарат и провозглашения Пан-Армении? Дело, конечно, само по себе небезынтересное и благородное, но — группка-с! Группка-с, Коля! Ведь мой принцип: идти по делу в полном одиночестве. Хорошо. Много дел я перебрал. Остановился было на печатании денежных знаков с портретами Петра Первого на сотнях, футболиста Боброва на полсотнях и Ильи Эренбурга на тридцатках, но раздумал. Кражу во время операции одной почки у организма маршала Чойбалсана я в гробу видал. Попытку инсценировки «Братьев Карамазовых» в Центральном театре Красной Армии — тоже. Крушения, отравления рек и газировки в районах дислокации танковых войск, саботаж, воспевание теории относительности, агитация и пропаганда, окапывание в толстых журналах с далеко идущими целями, срывание планов и графиков, многолетняя вредительская деятельность в Метеоцентре СССР, шпионаж в пользу семидесяти семи стран, включая Антарктику, — все это, Коля, было тоскливо, отвратительно и аморально.

И тут, перед самым приходом Кидаллы, попадаетея мне на глаза — что бы ты думал, милый? Мне попадаетея

на глаза «Дело о зверском изнасиловании и убийстве старшей кенгуру в Московском зоопарке в ночь с 14 июля 1789 года на 9 января 1905 года». Наверное, гнусная машина перепутала Французскую революцию с трудоднями, отпечатками моих пальцев, «кровавым воскресеньем», австралийской реакцией, опасным для СССР образованием государства Израиль и выдала дело, которого я дожидался годами. Читаю.

«Мною, кандидатом филологических наук Перьебабаевым-Валуа, во время ночного обхода образцового слоновника с антикварной колотушкой были зафиксированы звуки, в которых модуль суффикса превалировал над семантической доминантой чертежная доска антисоветских анекдотов глумясь лирического героя да здравствует товарищ Вышинский оказавшийся кенгуру зажег коптилку лучину факел бенгальский огонь Альфу Центравра еб твою мать цепных псов тревога львиной долей следы борьбы в сумке кенгуру краткий курс четвертая глава привлекался на оккупационных территориях не имею пульс нуль составил протокол Перьебабаев-Валуа».

Вот такая, Коля, уха! Но мне она чем-то понравилась. Я подумал: кому же могло прийти в голову трахнуть бедное животное кенгуру и убить? Подумал и вдруг ясно понял: да ведь это же моих рук дело! Моих! Я — моральный урод всех времен и народов — долгими зимними ночами следил с верхотуры высоты на площади Восстания за старшей кенгуру и, запутавшись в половом вопросе, готовил преступление, леденящее кровь прогрессивных сил! Я его совершил, я за него и отвечу с открытой душой перед самым демократическим в мире правосудием! Жди, Фемида, любезная подружка международного урки, скорого свиданьица и не толкуй народным заседателям в совещательной хавирке, что не твое это Дело! Твое! И мое! Я долго его ждал и все-таки дождался! Вся моя жизнь была подготовкой к зверскому убийству невинного животного, убийству к тому же лагерному, потому что зоопарк — не что иное, как лагерь, он же закрытка, он же централ, он же БУР, он же ЗУР, он же пожизненный кандей бедных и милых птиц и зверей, сотворенных Богом для существования на вечной свободе! Давай поднимем, Коля, тост за тех, кто там! За кенгуру, за голубых белок и белых лебедей!

— Приглянулось мне, — говорю вошедшему в кабинет Кидалле, — одно дельце.

— Давай, — отвечает мусорина окаянная, — помажем, что я знаю какое?

Помазали. Он что-то написал на бумажке. Я говорю: «Кенгуру». Он мне протягивает бумажку и выигрывает, тварь!

Ты прав, Коля, в голове моей тогда были не мозги, а черные козлиные орешки в белой сахарной пудре. Я проиграл. Но не мог же я предположить, что Кидалла меня мариновал двадцать лет не для пятьдесят восьмой, терроров, саботажей, измен, а для кенгуриного дела, придуманного к тому же задристанной электронной машиной!

— Вот так, гражданин Тэдз, — говорит Кидалла, — я специально взял тебя на понт, и кпд соответствия подследственного существу предъявленного обвинения оказался равным девяноста шести процентам. Это абсолютный рекорд нашего министерства. Прежний составлял всего один и девять десятых процента. Поздравляю. Я вижу, что тебя беспокоит туфтовое показание Перьебабаева-Валуа. Это машина слегка барахла. Сегодня я лично допрошу ее изобретателя Карцера, и истинные причины неполадок станут нам известны. У меня, ты знаешь, не повертухаешься. Я иногда умею помочь вспомнить врагу даже детали его прошлой жизни, века за два назад, еще на заре рабочего движения, не то что подробности передачи чертежей нового линкора японцу Тотоионото. Ясно?

— Ясно, — отвечаю и спрашиваю в лоб: — Но только на хрена вам волынка с машиной, когда любой Корнейчук тиснет по вашему заказу такие дела, что в них ни словечка исправлять не придется?

— Ты, Тэдз, человек неглупый, но, как враг, органически не можешь понять, что мы не можем стоять на месте. Всюду происходит всепобеждающая борьба нового со старым, и от технической оснащенности органов зависит во многом соотношение сил на мировой арене. Империализм не дремлет. Он внедряет ЭВМ в производство, в управление, в оборону, в агрессию, во все области жизни. Мы решили сделать ход конем и поставить объективно реакционную науку кибернетику на службу делу мира.

Нам важно обезвредить внутреннего врага еще до того, как он активно включится в дело, нам важно помочь врагу разобраться, какое именно дело полностью соответствует его мировоззрению, политическому темпераменту, эрудиции, различным низменным инстинктам, и полностью исключить вероятность переквалификации, скажем, потенциального некрофила-эксгуматора старых большевичек во вредителя парашютов, и наоборот. Но самый большой, революционный, теперь уже смело можно заявить, плюс — это скачок от преступного, неосознанного подчас замысла врага к суровому наказанию, минуя само преступление — с его кровью, ужасами, цинизмом, утечкой информации, болью, слезами родственников пострадавших и ущербом нашей военной мощи. Процесс бездушного отношения к эволюции преступления нами развенчан полностью, а пресловутая презумпция невиновности выкинута на свалку истории вместе с произведениями белогвардейской шлюхи Ахматовой и активного педераста Зощенко.

Сейчас, Коля, давай выпьем за самых ядовитых змей, потому что нет на земле ни одного насекомого, ни одной змеи, ни одного червяка, ни одного зверя, недостойного Свободы! Проклянем же тюрьмы, лагеря и зоопарки. Хотя это очень и очень разные вещи. Просто я хочу сказать, что некоторые люди хуже кобр и вонючих хорьков, ибо ведают, падлы, что творят. Но и тут, Коля, все до того запутано, что нам с тобой наверняка не распутать клубок мировой истории. Не мы его стянули с коленок старенькой бабушки-жизни и запутали, а какой-то котенок. Вот пускай котенок его и распутывает. Мы же вернемся к Кидалле.

Он мне, значит, открыл свои планы революционного подхода к преступлениям и велел не беспокоиться насчет электронной каши в протоколе. В них, мол, наведет порядок один наш крупный прозаик-соцреалист. Пообещали. Покурили. Посмотрел я в окошко, а там «Детским миром» еще не пахло. На том месте, где он сейчас стоит, была забегаловка «Иртыш» и славный бар «Веревочка».

— Ну что ж, — говорю, — товарищ Кидалла, давайте ближе к нераскрытому особо важному делу. Раз я согласен, значит, у меня есть к органам кое-какие претензии. Впервые, — говорю, — камера должна быть на солнечной



стороне. Из газет — «Нью-Йорк таймс», «Вечерка», «Фигаро», «Гудок» и «Пионерская правда». Питание из «Иртыша». Оттуда же — раки и пиво. Мощный приемник. Хочу иметь объективную информацию о жизни нашего государства, и, разумеется, не забудем, товарищ Кидалла, о сексе. О сексе, — говорю, — человек не должен забывать даже во время затяжного предварительного следствия, а оно, как я полагаю, будет длиться пять месяцев и семь дней. За такой срок можно женскую гимназию превратить в женскую консультацию имени Лепешинской, которая в нашей небось, — говорю, — лаборатории из бытовой пыли получила живую клетку. Девочек будем менять каждую ночь. Невинных не надо. Не надо также дочерей и родственниц врагов народа, потому что я не тот человек, который злоупотребляет служебным положением и изгаляется над несчастными. Не тот, товарищ Кидалла!

Смотрю: Кидалла побелел, глаза зеленой блевотиной налились, рука к пресс-папье потянулась. Быстро подставляю под удар часть мозга, заведующую устными показаниями. Кидалла заскрипел зубами и вышел куда-то. Бить не стал.

— Чего, — говорю, когда он вернулся, — вы психуете?

— Я, — говорит Кидалла, — регулярно психую три раза в сутки. В стресс впадаю. И мне требуется разрядка. Я тогда помогаю друзьям допрашивать врагов. Сейчас вот помудохался с одной актриской. Берии самому не дала, сволочь, а какому-то паршивому филиппинцу поднесла себя на блюдечке. Мерзость. А Зоя Федорова — музыкальная история — что вытворяет? Полюбила американца! И конца нашей работе не видно. Выкладывай, разложенец, остальные претензии!

— Три раза, — говорю, — в неделю — кино, желательно неореализм, Чаплин и «20-й век Фокс», Бунюэль, Хичкок, Иван Пырьев. После процесса — отправка в спецлаг с особо опасными политсоперниками советской власти, бравшими штурмом Зимний, и ближайшими помощниками Ильича. Со светлыми личностями, в общем. Так. И еще, — говорю, — товарищ Кидалла, у меня к вам личная просьба. Поскольку вы не без моей дружеской поддержки получите за внедрение в следственный процесс ЭВМ закрытую медаль «За взятие шпиона» и значок «Миллионный

арест», то я убедительно умоляю вас посадить на пару дней в мою однокомнатную камеру, в мое уютное каменное гнездышко изобретателя ЭВМ. Очень вас прошу. Я даже готов сократить срок предварительного следствия за знакомство с человеком, чей бюст со временем украсит вестибюль Бутырок, фойе Консьержери и Тауэра.

— Ну хватит сотрясать мозги, — говорит Кидалла, — закругляйся! Домой ты не вернешься. Входи в роль убийцы и насильника кенгуру. По системе Станиславского сочиняй сценарий процесса, обдумывай версии и варианты и радуйся: ты по-своему себя обессмертил и будешь фигурировать в Закрытой Истории Чека рядом со мной. А ее когда-нибудь напишут! Напишут о нашем труде! Напишут, как мы помогали не объяснять весь мир, а перedelывать!

— А кто, кстати, — спрашиваю, — будет уделывать кенгуру? Может, вообще ее не убивать? Пускай живет. На хрена органам путать искусство с жизнью и наоборот? Кенгуру ведь не Киров, за нее золотом платить надо.

— Вопрос о кенгуру, — отвечает Кидалла, — муссируется сейчас на коллегии, и он не твоего преступного ума дело. Мы, если понадобится, и парочку динозавров укокошим, не постоим. Цель оправдывает средства. Твои претензии учтем, кроме одной. «Пионерской правды» не видать тебе, педерастина, как своих ушей!

Я, конечно, спросил Кидаллу, почему это не видать, а он вдруг снова побелел и в крик: «Молча-аа! Конвой!»

Приходит мусор — рыло девять на двенадцать. Кидалла и велит ему волоочь меня в третью комфортабельную с содержанием по высшей усиленной.

Не отдохнуть ли нам, Коленька, не устроить ли нам перекур с дремотой? Не хочешь? Тогда давай выпьем за слонов и за всю секцию крупных хищных животных и пожелаем вонючему человечеству скорее оставить их в покое. А заодно и нас с тобой!

### 3

Мусор дал мне тогда какой-то микстуры в дежурке, и проснулся я, неизвестно сколько прокемарив, на чистом белье, в чудесной комнатухе без единого окна, но воздух — прелесть и холодок, как летом на даче. Герань

в горшочках. Васильки и ромашки в вазочке. Послушай, Коля, я что-то вдруг забыл — имелся ли в той комнатухе потолок?.. Имелся ли потолок? Странно. Даже такие простые вещи иногда, оказывается, забываются. Васильки, в общем, и ромашки в вазочке. Мощный приемник «Телефункен» и фотографии с картинками. Вся история редвижения в России, партийной борьбы и советской власти в фотографиях и картинках. Вольтер. «Радищев едет из Ленинграда в Сталинград». «Буденный целует саблю после казни царской фамилии». «Вот кто сделал пробоину в «Челюскине» и открыл каверны в Горьком!!!». «Ленинский огромный лоб». «Сталин поет в Горках «Сулико». «Детство Плеханова и Стаханова». «Якобы голод в Поволжье и на Украине». «Мама Миши Ботвинника на торжественном приеме у гинеколога». «У Крупской от коллективизации глаза полезли на лоб». «Кривонос и паровоз кулаков везут в колхоз». «Мир внимает Лемешеву и Козловскому».

Ты себе представить не можешь, Коля, чего только там не было вместо обоев, и, разумеется, на самом видном месте висели стереофото Кырлы Мырлы, еще совсем безбородого, не усатого и не кучерявого, и Ильича, наоборот, шевелюристого, с мягким пушком на скулах. Ну, что еще? Книги. Сервант с хрустальными рюмочками. Гардероба не было, а стол стоял со стульями. Уют. Телефон. Я выпрыгнул из постельки, как мальчик, и ласточкин номер набрал. А мне в трубку Кидалла говорит, чтобы я скорее завтракал и начинал занятия по зоологии и географии. Учитель уже в пути. Тогда я набираю номер еще одной своей ласточки и опять нарываюсь на Кидаллу.

— Если, — говорит, — прочить меня не перестанешь во время важного допроса, я тебя, гадюку, совсем по другому делу направлю, а этот телефон для признаний, раздумий, внутренних сомнений и рацпредложений. Подъем, мерзавец!! Прекрати яйца чесать, когда с тобой разговаривает офицер контрразведки!

Я, конечно, спрашиваю, откуда ему известно, чем я в данный момент предварительного следствия занимаюсь, а Кидалла еще громче заорал, что видит на экране мою омерзительную харю, по которой он еще погуляет пресс-папье.

Я и повесил трубку. Лежу. Разглядываю вышивки на наволочках, простынях и пододеяльнике. Все — подарки на день рождения Якиру, Тухачевскому, Егорову и прочим военачальникам от корешей, с которыми они вместе брали Кронштадты, Перекопы и каленым железом выжигали дворянскую язву на теле России. Конфисковали бельешко у палачей более удачливые и гнусные палачи. Встал. Сходил в сортир. Маленький такой, милый сортирчик. На двери нацарапано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! История еще вынесет внутренним врагам свой приговор». Ну, думаю, идиотина, она ведь тебя уже приговорила! Добавки захотелось? Получишь! Не мечи икру! Обязательно получишь! Придешь на вахту, сунешь рыло за справкой об освобождении и получишь еще пять или десять по зубам от матушки-Истории, движущей силой которой ты сам являлся, пока тебя не остановили твои дружки по баррикаде. Сукоедина. В таком сортире на следствии надо кайф ловить, а не изрыгать сентенции!..

Бамс! Открывается кормушка, на пол падает «Фигуро». Я стучу и спрашиваю: где «Гудок»? Мне голос хрен знает откуда отвечает: «Гудка» седни не будя. Типографские бастуют».

Удивляюсь. Набираю номер третьей своей ласточки из театра кукол. «Товарищ Кидалла, — говорю, — неужели гудковцы объявили нам с вами забастовку? Где «Гудок»? Я ж исключительно этот орган любил читать в экспрессах! Мне без него, — говорю, — в неволе трудно».

Кидалла терпеливо разъяснил, что бастуют типографии Херста и не выходит «Таймс», а тираж «Гудка» задержан, так как по вине вредителя-редактора на передовой фотографии «Каганович в березовой роще» на одной из берез виднеется слово из трех букв и имя «Гоша».

— Гоша только что, — говорит Кидалла, — взят нами при попытке перейти финскую границу. Остальное — дело техники. Редактора через день ликвидируют, и «Гудок» начнет выходить как ни в чем не бывало.

Бамс! Снова кормушка, и на ней, Коля, завтрак. Полопал. Закурил. Дымок вытягивается неизвестно куда, но ясно, что на свободу. Колечко за колечком. Тю-тю! И никто ничего про меня не знает, кроме Кидаллы. А учитель все чего-то не идет и не идет. Я книжки полистал. Хоро-

шие книжки. Из личных библиотек врагов народа. На «Трех мушкетерах» читаю: «Дорогому Бухарину — Портосу первой пятилетки. Не надо враждовать с гвардейцами Ришелье. И. Сталин». Не послушался, олень. Полез со шпагой на мясорубку. Достая брошюру Толстого «Непротивление злу насилием»: «Верному другу Зиновьеву, с пожеланием поплясать на трупах кавказских преторианцев. Каменев». А интересно, думаю, знает родной и любимый про дело кенгуру или не знает? Вдруг голос слышу:

— Учитель пришел. Постороннего не болтать. Не шушукаться, ничего не передавать. Быстро воспринимать!

Стена раздвинулась бесшумно. Шверник от «Буденный целует саблю» отъехал. Старикашку ко мне втолкнули, и стена снова сдвинулась, чуть его не раздавила. Прижало старенькие брючки. Пришлось старикашке выпрыгнуть из брюк и остаться в кальсонах с тесемочками. Жалко его. Дрожит, как старый петушок, борода седенькая трясется, и представляется мне:

— Профессор Боленский. По вопросу о сумчатых. Всесторонние консультации. С кем имею честь?

— Здравствуйте, — говорю, — профессор. Успокойтесь. Зовите меня Фан Фанычем. Вы зек или вольняшка?

— Пока еще вольняшка! — ответил по радио Кидалла. — Приступайте к занятиям, сволочи!

Профессор стал сморкаться, но это с понтом, а сам плачет от первого, возможно, в своей жизни оскорбления и в платочек с ужасом говорит: «Боже мой... Боже мой... Боже мой...»

Тут я, чтобы его отвлечь от позора чести, начал задавать научные вопросы. Зачем кенгуру карман, и какая такая историческая необходимость его спроектировала? Когда кенгуру хочет самца, и бывают ли у них брачные танцульки? Что они хавают? Во сколько ложатся кемарить? Кусаются ли? Копыта у них или когти, и почему вообще Австралия стала островом? Вопросы-то я задаю, а сам пуляю профессору ксиву, чтобы он тянул резину по три дня на каждый ответ, и от себя лично добавляю:

— Не бздите, дедушка, выкрутимся и вынесем на пару наш самый суровый приговор истории.

Профессор прочитал и чуть не погубил себя и меня, затряс мне руки и захипежил:

— Непременно! Всенепременно вынесем! У вас изумительный угол зрения, коллега!

— В чем дело? Что вы, гады, там не поделили? — гаркнул по радио Кидалла.

Старикашка, очень он меня тогда удивил, шустро доложил, что мой ум и зрение, то есть наблюдательность, его совершенно потрясли и что таким учеником, как я, может гордиться любой большой ученый.

— Не тем, кем надо, гордишься, генетическая твоя харя. Продолжайте занятия, — сказал Кидалла.

Оказывается, профессора взяли вечером в буфете Большого зала Консерватории, приволокли к Кидалле, и тот спросил старикашку, что ему известно как крупному биологу о кенгуру. Старикашка, конечно, с ходу колется и продает своих любимых кенгуру со всеми потрохами, говорит, что знает о них все и готов дать показания. Ну его и приставил Кидалла ко мне для обучения, потому что к процессу я должен был прийти не с рогами, а со сценарием. Болтали мы о всякой всячине, но когда щелкало в динамике за «Буденный целует саблю», переходили на науку. Например, профессор толкует, что кенгуру являются бичом австралийских фермеров и опустошают поля, а Кидалла заявляет по радио:

— Вот и хорошо, что опустошают, так и дальше валяйте. Это на руку мировой социалистической системе.

— Извините, — говорит старикашка, — но нам еще придется покупать в случае засухи у Австралии пшеничку? Я уж не говорю об Америке.

— Не придется, — отвечает Кидалла, — у нас в колхозах кенгуру не водятся. А вы, Боленский, не готовились, кстати, к покушению на Лысенко и других деятелей передовой биологической науки?

— Я, гражданин следовательно, — вдруг взбесился старикашка, — о такое говно не стану марать свои незапятнанные руки!

— Чистюля. Продолжайте занятия.

Ну, мы, Коля, и продолжали... Пять дней живем вместе. Он про свою жизнь мне тиснул, а кормили нас по девятой усиленной. Пиво. Раки. Бацилла. И когда я узнал, что старикашка — целочка (его невесту в пятом году булыжником пролетариата убило с баррикады) и что жен-

щин он близко не нюхал, я вспомнил телефон одной славной ласточки, набрал номер и говорю Кидалле, чтобы срочно присылал двух незамысловатых миляг противоположного пола. Нам, мол, нужна разрядка. У профессора сосуды сузились и общее переохлаждение от страха и ограничения гормональной жизни. Требуется живое тепло, а то он заикаться начал.

Старикашка тюремную науку лопал, как голодный волк: не жуя заглатывал и целый день до моего заявления прекрасного заикался. Заскрипел по радио Кидалла зубами, но делать нечего: раз в смете подготовки к процессу были денежки на девочек, то — кровь из носу — отдай их и не грехи. Советская власть обожает порядок в тюрьмах, моргах и вырезвателях.

И вдруг, вечером, слышим мы с профессором «хи-хи-хи» да «ха-ха-ха», Буденный от Кырлы Мырлы отодвигается, и, ля-ля-ля, сваливаются в мою третью комфортабельную, как с неба, две стюардессы в синих пилоточках — юбчонки выше колен, бедра зовут на смерти! Профессор сразу бросился брюки надевать, которые раньше были стеной зажаты.

— Здрасьте, враги народа, — говорят небесные создания.

Боленский покраснел, раскланялся, что-то забормотал по-французски. Выбираю для него ту, что пожиганистой, и говорю:

— Учти, солнышко, халтуру не потерплю. Старику терять нечего: он убил огнетушителем директора гондонного завода и приговорен к смерти. Люби его так, словно ты любишь в последний раз и тебе мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы.

Профессору я тоже объяснил насчет мучительного стыда, любви и велел применить «способ Лумумбы». В те времена он еще назывался «способом Троцкого». Открыли мы шампанского, завели патефончик — подарок Рыкову от Молотова. «У самовара я и моя Маша». Смотрю, Коля, стюардесса уже на коленях у нашего старикашки. Он ни жив ни мертв, ушами хлопает, воздух ртом ловит, а она профессионально расстегивает его ширинку и мурлычет:

— А кто же это нам передал огнетушитель? А кто же это старенькой кисаньке передал огнетушитель? И где

же это, сю, сю, сю, было? На квартире резидента или в ресторане «Националь»? Ах, куда же наша седая лапочка спрятала радиопередатчик и шифры? Цу, цу, цу!

И моя гадюка тоже лижется и разведывает, целовался ли я с кенгуру и что я ей дарил, и кто меня приучил к скотоложству: враги академика Лысенко, Шостакович и Прокофьев с Анной Ахматовой или же космополиты и бендеровцы? Примитивная работа, Коля. Я с ходу спросил у гадюки, что у них сегодня — экзамен или зачет? И по какому предмету? Она неопытная была, раскисла, заревела и шепчет:

— Дяденька, помогите! Мы с Надькой два раза заваливали получение информации при подготовке к половому акту с врагами народа. Нас исключат из техникума и на комсомольскую стройку пошлют... Там плохо... Ваты на месячные и то не хватает... расскажите хоть что-нибудь... Вам же все равно помирать, а у нас вся жизнь, дяденька, впереди... Расскажите, дяденька!

Ну, Коля, тут я по доброте душевной такую чернуху раскинул, что ее на докторскую хватило бы, не то что на вшивый зачет. Девка запоминать не успевала и шпаргалку помадой на ляжке записывала, а я притычивал, чтобы Кидалла не засек по телевизору.

Вдруг старикашка взвыл нечеловеческим голосом, он уже на своей жиганке трепыхался и спьяну завопил по латыни:

— Цезарь! Лишенный невинности приветствует тебя!

Щелкнуло. Слышу в динамике голоса, и Кидалла докладывает:

— Ведем наблюдения, товарищ Берия, по делу кенгуру.

И снова стало тихо. Только профессор дорвался, тахта ходуном ходит. Слова говорит. Мычит. Охает. Рыкает по-львиному. Завещание обещает оставить и коллекцию марок. Свиданку назначает на площади Революции и снова мычит, мычит, правда что молодой бычок, дорвавшийся на горячей полянке до пегой телки. Видать, понравилось студентке. «Ой, мамочки... ой, мамочки... ой, откуда ты такой взялся... мальчик мой родненький, — и уже в полной отключке, — огнету... огнету... туши... туши... огне... тушиыыыы!»



Постой, Коля, не перебивай, я же нарочно тебя возбуждаю!..

Профессор зубами стучит и одно слово повторяет:

«Апогей... А-погей... а-а-а-апогей!»

Снова — щелк, и Берия, наверное, Кидалле говорит с акцентом:

— Вы только посмотрите, товарищи, сколько у них энергии. Сколько у врага второго дыхания. Устройте бдительность! В какой стадии дело о попытке группы архитекторов пересмотреть архитектуру Мавзолея?

— Группу успешно формируем. На днях приступили к активному допросу, — ответил Кидалла. — Посвящаем его дню рождения Ильича.

— Продолжайте наблюдение! — велел Берия.

Под утро, Коля, улетели от нас стюардессы. Улетели.

Словно бы их и не было. Профессор закемарил как убитый. Улыбается во сне, что мужчиной стал на семьдесят восьмом году жизни, и слюна, как у младенчика, с уголка губ на казенную подушку, подаренную некогда Сталиным Блюхеру, капает.

Я тоже уснул. Мне было, Коля, тяжело. Я ведь бедную бабу не трахнул, а всю ночь помогал ей готовиться к зачету. Давай выпьем за белых и бурых медведей и за голубых фламинго!

Ты веришь? Целый месяц мы кантовались с почетным членом многих академий мира, лауреатом Сталинской премии, депутатом Верховного Совета СССР академиком Боленским. И не осталось на земле таких сведений о кенгуру, которых бы я, Коля, не знал. А уж зато старикашка пошел у меня по вопросам секса и женской психологии. Под конец он у меня вслепую рисовал большие, малые и прочие ихние замечательные устройства. На практических же занятиях, так сказать, загулял мой ученик по буфету. Девки к нам, наверное, после того, как стюардессы великолепно сдали зачет, влетали теперь каждый вечер, и все в разных формах и ролях. Официантки — первые в мире стукачки, шахматистки, певички, доярки, краповщицы номерных заводов, лаборантки из ящиков, вокзальные бляди, писательницы, продавщицы, кандидаты наук, слепые, глухонемые и после полиомиелита. Кидалла всех обучал, потому что был профессором за-

крытого секретного техникума и мы со старикашей явно понравились ему как преподаватели.

Особенно интересную информашку поставлял девкам профессор, вернее, половой маньяк, как однажды объявил по радио Кидалла. Его любимым коньком стал, с моей легкой руки, огнетушитель. Он в него притыкивал чертежи водородной бомбы, заливал напалм, закладывал долгодействующий фотоаппарат, магнитофоны, излучатели дезорганизирующей энергии и тэ дэ. И конечно, Коля, передавали ему огнетушители представители всех разведок мира, включая папуасскую. По дороге профессор продавал девчонкам вымышленных сообщников: Черчилля, померших коллег, секретарей партбюро, несуществующих соседей, любовниц и даже самого Лысенку. Старикашка однажды расцеловал меня за то, что он счастлив, стоя одной ногой в могиле, иметь такого истинного и светлого учителя жизни, как я — Фан Фаныч.

#### 4

Сам понимаешь, расстались мы с профессором друзьями. Веришь, плакал старикашка на груди у меня перед тем, как его дернули.

— Я, — говорит, — за этот месяц прожил с вашей, Фан Фаныч, помощью огромную жизнь и не считаю, что изменил Дашеньке. — Ей, Коля, с баррикады в висок булыжник пролетариата, если помнишь, попал. — Спасибо, дорогой Фан Фаныч! Лично я, не беря с собой никого по делу, прощаю все зло мира за радость знакомства с вами и ничего не боюсь. Ни-че-го! Справедливость восторжествует!

У старикашки милого действительно страх пропал. Разделся догола, закурил сигару и ходит себе из угла в угол, лекцию мне тискает про образ жизни кенгуру. Я ему сказал напоследок пару слов насчет торжества справедливости.

— Торжество, — говорю, — уже было, да прошло. Свечи погашены, лакеи плюгавые фазанов дожирают. А нас с вами, голодных и холодных, на том торжестве не было, нет и не будет...

Тоскливо мне без него стало. Тоскливо. Ласточек я велел Кидалле больше не присылать, так как мне надо ор-

ганизовать накопленные знания, посочинять сценарий и набросать пару версий и вариантов. Лежу целыми днями. Курю, и дымок все улетает неизвестно куда... На солнечные часы смотрю. Окон, Коля, в камере действительно не было, не лови меня на слове, а солнечные часы были для садизма, и черт его знает откуда бравшаяся тень показывала мне время. Тоска, падла, тоска. Почти не хавая, «Телефункен» не включаю. От постельного белья Первой Конной воняет, от хлебушка — кровавой коллективизацией. Читаю «Гудок», он снова выходить начал, «Таймс» и «Фигаро». Кидалле по телефону говорю:

— Переведи ты меня отсюда куда-нибудь в настоящую тюрьму. Тут я чокнусь, стебанусь и поеду. Или пожар устрою. Сожгу простынки Тухачевского, стулья Орджоникидзе, указы Шверника, болтовню Троцкого, полотенце Ежова, «Три мушкетера» Бухарина, «Государство и революцию» Ленина! За что ты меня изводишь? Хочешь, возьму на себя дела ста восьмидесяти миллионов по обвинению в измене Родине? Хочешь, самого Сталина дело на себя возьму? Не хочешь? Тогда давай пришьем ему сто девятую — злоупотребление служебным положением и семьдесят четвертую, часть вторую — хулиганские действия, сопровождающиеся особым цинизмом? Молчишь, мусорина поганая, фашист, трупную синеву твоих петлиц в гробу я видал. Переведи меня отсюда в одиночку, пускай — лед на стенах и днем прилечь не дают! Переведи! Печенку на бетоне отморожу, чахотку схвачу, косточки свои ревматизмом кормить буду, сапоги твои вылижу, пускай глаза мои оглохнут, уши ослепнут, только переведи! Переведи меня в лед и в камень, где Первой Конной не воняет. Перекопом, правой оппозицией, коллективизацией, Папаниным на льдине, окружением белых солдатиков, сука, при чем тут я? Переведи, умоляю! Дай мне вместо пива и раков света кусочек дневного за решеткой! Я на ней сам с собой в крестики и нолики играть буду, ну кому ж я мешаю? Кому я мешаю-ю???

Хипежу, Коля, а сам чувствую — вот-вот чокнусь, вот-вот стебанусь, вот-вот поеду. Кидалла молчит, терпеливо выносит оскорбления в разные высокие инстанции и в круги, близкие к взятию Зимнего. Ничего не щелкает, «Буденный целует саблю» от юного безбородого Кырлы

Мырлы не отодвигается, рыло надзирательское не появляется и в зубы мне маховиком не тычет. Побился я в истерике, но все бесполезно, и забылся вдруг. Под наркоз меня Кидалла бросил. Тогда я, разумеется, этого не знал.

Выхожу из наркоза обалдевший и связанный по рукам и ногам. Лежу почему-то на полу, на свежем сене, перед глазами миска сырой морковки и незнакомые веточки с листиками. Оглядываюсь. Обстановка камеры все та же. Только почему-то у Кырлы Мырлы на портрете борода стала отрастать и в шнифтах безумный блеск появился. Уставился он на меня и словно говорит: «Хватит, Фан Фаныч, мир объяснять! Надоело! Пора его, паскуду, перелицевать!»

Да, Коля, чуть не забыл! Ряд картин и фотографий исчез почему-то со стен. «По большевикам пошло рыдание», «Ужас из железа выжал стон», «У гробов Горького, Островского и других», «Сталин горько плачет над трупом Кирова», «Карацупа и его любимая собака Индира Ганди», «Кулаки на Красной площади», «Маршал Жуков на белом коне» — все эти картины, Коля, и фотографии исчезли, и на ихних местах появились другие. «Наше гневное «НЕТ!!!» — кибернетике, генетике, прибыли, сверхнаживе, джазу, папиросам «Норд», французской булке и мещанству. Рядом «Члены Политбюро занимаются самокритикой», «Жданов сжигает стихи Анны Ахматовой», «Конфискация скрипичного ключа у Шостаковичей и Прокофьевых» и немного повыше — «Микоян делает сосиски на мясокомбинате имени Микояна». Я подумал, что в верхах произошли кое-какие изменения и наверняка кого-то шлепнули. Потом оказалось — предгосплана Вознесенского...

Руки у меня затекли. Дотянулся губами до морковки. Пожевал. Понюхал листики. Слышу, какие-то радостные голоса: «Ест! Ест!.. А я уж хотел с женой и детьми прощаться! Ест! Плавное — нюхает! Поздравляю вас, Зиночка, с орденом Красной Звезды!» Я говорю Кидалле:

— Послушай, холодное ухо — горячая печень, если ты меня не развяжешь, то я обижусь и уйду в несознанку!

Нет ответа. Но вот наконец-то «Наше гневное «нет!!!» — французской булке!» отодвигается от «Иуд музыки нашей», и в камеру на цирлах входит милая, более того, Коля, прекрасная, только что-то уж очень бледная женщи-

на. Молодая. Лет двадцать семь — тридцать пять. Волосы искрятся. Мягкие. Пышные. Русые. Близко-близко ко мне подходит. Я поневоле смотрю снизу вверх. Вижу ямочки на коленках, молока в них налить парного и лакать, и сердце у меня заходило ходуном, если бы не веревки, выскочило бы из ребер! Вижу трусики голубые, Коля, и в глазах потемнело от душной крови. Смотрит женщина сверху вниз на меня связанного, нежно улыбается, присела на корточки, по лицу погладила, я успел пальцы ее холодные поцеловать, и говорит:

— Ну, успокойся, милый, успокойся, хороший... Тебя любят... Тебя жалеют... Тебя в обиду никогда не дадут.

— Я, — говорю, — спокоен уже, спасибо, но кто вы? И согласитесь, что связанный по рукам и ногам Фан Фаныч не может вполне соответствовать такой королеве, как вы. Вы похожи, ха-ха, на Польшу до первого раздела!

А она мне, Коля, словно глухая, опять говорит:

— И глаза у тебя, как сливы лиловые в синей дымке. Я вижу в них себя. Глубоко-глубоко... На доньшке колодца... Это я плещусь... Это — я... Милое, хорошее, славное, красивое животное... Губы у тебя замшевые... Уши нежные... Ноги сильные...

Что за херня, занервничав слегка, думаю и говорю:

— Развяжите меня, пожалуйста. Руки затекли и, извините, пур ля пти не мешало бы...

Смотрю — берет женщина баночку, расстегивает, вытаскивает, а он стоит, и я никак помочиться не могу.

— Послушайте, — говорю, — вы же можете ответить, до каких пор я буду связан, и передайте Кидалле, что он, психическая мусорная, погорел с делом о кенгуру. Я не Рыков, и не Бухарин, и не Каменев и издевательств не потерплю. Ими меня вообще не удивишь, как говяжьей кровью — Микояна на мясокомбинате имени Кагановича.

Помочился лежа. А она снова нежно гладит меня по волосам, перебирает их и мурлычет так нежно, что понт какой-нибудь просечь в ее голосе, Коля, абсолютно невозможно.

— Милое, странное животное... Ты, наверное, скучаешь по своей Австралии... Поэтому у тебя глаза грустные... и лапы дрожат... и сердце бьется... Тук-тук-тук... Совсем как у нас... совсем как у нас...

Я психанул, задержался, но повязали меня крепко, и кричу Кидалле:

— Мусор! Какая каракатица е... твою маму? Какой зверь? Жива ли вообще твоя мама? Если жива, то приведи ее в свои органы! Пусть полюбуется, как ее сыночек пьет кровь из безумной женщины и нормального человека Фан Фаныча! Приведи! Может, крови тебе моей мало? Тогда говна поешь, мочи попей, закуси моим сердцем, падалы!.. А ты, — спрашиваю несчастную, потому что никаких сомнений насчет того, что она поехавшая, у меня не осталось, — ты думаешь, я — кенгуру?

Теперь, Коля, я приведу тебе полностью весь наш разговор.

— Ты думаешь, что я — кенгуру?

— Наверное, мой милый заморский друг, ты мне хочешь что-то сказать?

— Не коси, не коси! Фан Фаныча на понт не возьмешь! Я не кенгуру! Я битая рысь и тертая росомеха!

— Только не кусайся... Ай, ай! Тебе бобо... Хочешь что-то сказать и не можешь? Не можешь, бедный? Я понимаю: тебе не хочется лежать связанным. И людям это тоже не по душе. У тебя есть душа?

— Нет! — говорю вслух. — Фан Фаныч не битая рысь. Фан Фаныч — обоссанный котенок. Битой рыси судьба не заделала бы такое крупное фуфло и не приделала бы заячьи уши! Битая рысь осталась бы в свое время в Эфиопии, а не испугалась бы итальянских фашистов и не отвалила бы на Советскую Родину. Фраер! Моральный доходяга! Лагерная параша! Ты мог сейчас вот, в эту секунду, пить кофе с императором Селассие, а не валяться в подвалах Чека! Подонок!

— Я тебе не враг. Ты мне нравишься. Ты хо-ро-о-оший... Я тебя люблю гладить... Понимаю: ты кажешься себе человеком... Думаешь, я не понимаю?

— Сука! Тебя электрошоком лечить надо! Молчи, а то я тоже поеду! Молчи!

— Зачем же ты губы кусаешь? Дай, я вытру пену... Вот так... Ой! Повторяю: тебе — бобо!

— Сгинь, чертила! Сгинь!

— Успокойся... Я за ушами тебе почешу... Приятно? Ты ведь не знаешь, что мы с помощью оптических преоб-

разований сняли с нервных окончаний твоего гипоталамуса человеческий образ... Бедный. В зоопарке почти все животные, кроме птиц, змей, черных пантер и орлов, воображают себя похожими на людей и совершенно равнодушны к своим зеркальным отражениям... Но ты не человек. Ты — славный, грустный, сильный, злой кенгуру. Но ты не будь злым. Поешь! Не отплевывайся! Без еды ты умрешь, и тете будет тебя жалко! Тетя не хочет, чтобы ты умирал. Поешь, милый, поешь.

— Ну, Кидалла! Ну, хитроумная помесь гиены со всей блевотиной мира! Честно говоря, я тобой восхищен. Молодец! Но ты загляни в свою душу! Загляни! Трухаешь ведь! Не заглянешь! А знаешь почему? Не знаешь! И я не скажу. Помучайся. Попытай меня. Но я и под пытками не скажу, почему ты трухаешь заглянуть себе в душу! Прокурора по надзору давай, гадина! Я голодовку объявляю! Требую прокурора по надзору!

— Ты ведь пятые сутки не ешь. Не хрипи, не хрипи. Я буду кормить тебя насильно. Мы не можем позволить тебе умереть.

— Убей меня, Кидалла! Я плачу и умоляю, убей! Я за одно за это до конца времен буду Бога молить, чтобы простил он тебя и успокоил! Чтобы он успокоил всех, подобных тебе. Убей! Убери женщину! Она же больная! Убей меня, Кидалла!

— Открой рот... открой... Тихо. Так ты голову разобьешь. Это йод. Жжет? А ты не бейся, не бейся... Открывай, гадина, рот в конце концов. Ешь морковку, скотина проклятая! Извини, но, кажется, в тиграх меньше злобы и ярости, чем в твоей кенгуриной душе! Ешь, говорю!.. А-а-а! Отпусти палец, мерзавец паршивый! Отпусти сейчас же.

— Развяжи, тогда отпущу. Не развяжешь, буду грызть, пока всю руку не отгрызу. Развязывай!

— Больно? И учти: каждый раз, когда ты будешь кусаться или отказываться от пищи, я буду бить тебя током. Вот так! Не нравится? А ты ешь... Не нравится? Я прибавлю ампер. Ну как? Больно? Верно: больно... Бедный зверь, ты сам себе делаешь хуже.

— Ну, суки позорные!.. Дайте мне зеркальце! Дайте мне на одну только секундочку зеркальце! И если я кенгу-

ру, то я все схавая и еще попрошу! Дайте мне очную ставку с Фан Фанычем! А-а-а-а! Дайте мне зеркальце!

Тут, Коля, Фан Фаныча вдруг осенило, что он — фразеолога, недобитая после нэпа, и не вертухаться надо и не прокурора по надзору звать, а косить самая пора пришла. Косить, Коля! Как Фан Фаныч мог угрожать столько нервов и здоровья, доказывая, что он человек с большой буквы, звучащий гордо? Косить, Коля, косить! Но Фан Фаныч забыл начисто, какие звуки издают кенгуру, когда им больно или голодно, холодно или опасно. Забыл! Притих Фан Фаныч, положил голову поудобней на свежее сено, плачет первый раз за эти пятилетки и вспоминает, но вспомнить никак не может. Отшибло память током у Фан Фаныча.

Чокнутая женщина упала на тахту, умаялась, видно, и уснула. Засмотрелся Фан Фаныч на картинки «Ленин с Крупской на елке», «Изгнание питерскими рабочими дворян из Ленинграда» и тоже закемарил.

И снится ему, что спит он в теплой темноте тишины, сытый, спокойный, и ничего у него не болит, ничего ему неохота. Только вот так бы спать, спать, спать в тепле, в темноте, в тишине, спать, спать, спать. Но кто-то вдруг тормозит Фан Фаныча, толкает в бок раз, другой, будит кто-то Фан Фаныча. Вставай, мол, сукоедина, на развод, конвой замерз. Страшно невозможно. Неохота. В бок толкают, прогоняют из теплой тишины темноты на холодное, на студеное солнышко! А Фан Фаныч шевельнуться не может: руки и ноги у него затекли, и не чувствует он их совсем, совсем. Вот его выворачивают куда-то на мертвый, белый, зябкий свет, подталкивают, отрывают силком, как корку запекшуюся отрывают от болячки, и он зубами цепляется за живую плоть, за шерстинки родимые, мягкие, и вываливается из сумки своей мамы-кенгурихи в мертвую Язуу неподалеку от Дома правительства. Сердце Фан Фаныча остановилось от ужаса, но успел он, пока летел через паркет в мертвый смрад, заорать от того же самого ужаса: «Кэ-э-э-э!» — и проснулся. Шнифтами ворочает. Подбегает чокнутая, заглядывает в них, радуется, воды дала попить. Фан Фаныч руку ей лизнул. Ладонку теплую вылизал. Чокнутая, когда кемарила, между коленок



держала ладошку. А то все холодными были у нее руки. Фан Фаныч, не будь идиотом и фраером, еще раз сказал: «Кэ-э-э-э!»

— Вы слышали, товарищ Кидалла? Вы слышали?

— Слышал. Продолжайте адаптировать объект.

Фан Фаныч, мудак, хавал в этот момент морковку и заморскую веточку откусывал, губами листики срывал и от удовольствия шнифты под потолок закатывал. Почему раньше этого не сделал? Непонятно. Мудак, одним словом. И током бы не трясли, и на нервишках сэконо-мил бы.

— Ешь, солнышко! Я тебя любить буду... я тебя развя-жу, если ты перестанешь кусаться и брыкаться. Скажи еще раз свое чудесное «кэ-э-э!».

— Кэ-э-э! Всегда пожалуйста, — сказал Фан Фаныч.

— Подследственный свидетель Боленский! Соответ-ствует звук, издаваемый подопытным объектом, одному или несколькими звукам, обычно издаваемым кенгуру в неволе?

— Абсолютно, гражданин следователь! Абсолютно! Тембр! Модуляции! И поразительный феномен кенгури-ной артикуляции губ!

— Кэ-э-э! — сказал Фан Фаныч и задергался.

— Не дергайся, милый. Развяжу... Ты запомнил, что в этой острой железке — бобо? Бобо... бобо... бобо... не кри-чи, а запоминай... Давай-ка сначала передние лапы... Вот так... Поворачивайся. Как вспухли! Шевели пальца-ми, а острым когтем не вздумай царапаться. Бобо? Бобо? Бобо?

— Кэ-э-э! — Эх, Коля, какое это счастье, когда развя-заны руки и полумертвые вены набухают кровью, и вот потекла она по высохшим моим речушкам и самым то-неньким ручейкам! Потекла, зажурчала моя единствен-ная жизнь!

— Кэ-э-э! — говорю, а сам думаю: не бойся, мусорина, Фан Фаныч тебя не укусит. Он мудрый теперь. Развяза-вай задние лапы, паучиха. Дай-ка я туфельку твою лапой передней поглажу, пыль с нее смахну и прилипший за-морский листочек.

— Я ведь говорила, что ты хороший. Я буду звать тебя Кеном. Ладно? Как смешно ты топорщишь губы! И не

обижайся. Ты сам виноват, что тебе было больно, упрямый Кен.

И ноги мне она, Коля, тогда освободила от веревок. Но Фан Фаныч — битая все ж таки рысь — не заплясал от радости. Он на карачках прошелся по третьей комфортабельной. Голова у него закружилась, а вообще-то ничего, ходить можно. «Кэ-э-э!»

Сутки целые отсыпался, отъедался овощами и фруктами и отдыхал Фан Фаныч. Ходил исключительно на карачках, терся щекой об коленки садистки, нежно теребил губами мочку ее уха, обнюхивал всю, смешно топорщил нос. «Кэ-э-э-э!»

— Кен, ты стал совсем ручным... Ты мило лижешься... Ха-ха-ха! Ты очень мило лижешься! Может быть, я тебя волну? Учти, Кен, мочка уха — эrogenная зона! Ах ты шалун! Вот я разденусь, а ты погладь меня лапкой... мурашки... мурашки... лизни мою грудь... и другую... теперь под грудью... славный, сильный, нежный кенгуру. Не кусай соски, не кусай...

Она, между прочим, не одеваясь, сказала:

— Разрешите, товарищ Кидалла, доложить? Эксперимент, проводившийся в течение семи дней, неопровержимо подтвердил нашу гипотезу о частичной, а подчас и полной адаптации подследственного к новым речевым и двигательным функциям после применения прогрессивных методов активного воздействия. Подтверждена также гипотеза о возможности прививки подследственному во время циклической подавленности органического самощущения кенгуру!

Она докладывала, а я лежал на полу, слушал и радовался, что все страшное позади. Позади.

— Вы можете быть свободны, Зина. Представьте отчет и график дегенерации объекта. А ты, Тэдэ, давай садись за показания. Хватит филонить. Половине человечества жрать нечего, в Индии дети от недостатка белков погибают, больших друзей Советского Союза реакция США в тюрьмы кидает, и не хрена прохлаждаться на всем готовом, когда горит земля под ногами империализма. Понял меня?

— Кэ-э! — говорю и на Кырлу Мырлу кнокаю. У него борода еще гуще стала, повзрослел за эти дни. А Ильич, наоборот, лысеть начал, глаза прищуривать.

— Товарищ подполковник, — говорит Зиночка, — я думаю, что быстрая регенерация нежелательна.

— Вы плохо знаете эту бестию, не верю я в его исключительность, лейтенант, виноват, старший лейтенант, но ладно, пусть отходит. Завтра я его расшевелю. Отдыхайте.

«Гитлер выпивает яд» — картина Кукрыниксов — отъезжает, Коля, от «Сталин обнимает Мао», и тут я приноковился и задней ногой такого выдал старшему лейтенанту поджопника, что она, наверное, как волк в «Ну, погоди!», летела от Лубянки до площади Революции. А стена сдвинулась.

Жду. Но никто за мной не канаает и не волокет в кандей. Включаю «Телефункен». Давно не слушал родимых последних известий. Странно все-таки было мне, Коля, что доброй славой среди своих земляков пользуется молотобоец, член горсовета Владлен Мытищев, когда труженики Омской области сдали государству на десять тысяч пудов больше, ибо выборы народных судей и народных заседателей прошли в обстановке невиданного всенародного подъема, а партия сказала «надо!» и народ ответил «будет!», следовательно, термитчица коврового цеха Шевелева, протестуя против происков сторонников нового аншлюса, заявила советским композиторам: «Так держать!» Подписка на заем развития народного хозяйства минус освоение лесозащитных полос привело канал Волго-Дон на-гора доброй славы досрочно встали на трудовую вахту в день пограничника фельетон обречен на провал Эренбург забота о снижении цен простых людей доброй воли и лично товарища руки прочь...

У меня, Коля, от этих последних известий — читал Юрий Левитан — мозги встали раком. Но почему бы, Коля, почему, ответь мне, не заработать тогда всем радиостанциям Советского Союза, почему бы не передать Юрию Левитану сообщение ТАСС о проведении органами государственной безопасности выдающегося эксперимента, в ходе которого были получены доказательства возможности направленной дегенерации высшей нервной деятельности человека и регенерации в его мозгу впервые в и-сто-ри-и импульсов самоощущения особи

другого вида! Эксперимент проводился на гражданине Советского Союза Мартышкине! Чувствует себя гадина и проказа изумительно антисоветская рожа пульс давления не оказывали артиллерийским залпом в городах-героях! Слава передовой советской на-уке!

Почему, Коля, Юрий Левитан не передавал такого важного, исторического, можно сказать, сообщения? Пускай бы молотобоец Мытищев и борец за мир Эренбург узнали, как у меня сердце перехватило от страха при виде безумной женщины в белом халате, и как оно, слабея, почуяло, что, наверное, не одолеет всенародный подъем в День пограничника. И пускай бы народные заседатели дотронулись языками до острой железки-бобо, которой трясли мое тельце током, и пускай бы народные судьи превратились вместе с термитчицей горячего цеха на миг в побитое животное кенгуру и побито жевали бы заморские листочки и выблеывали бы их на казенный пол третьей комфортабельной вместе с застрявшими в бронхах остатками человеческой души, а потом подписались бы на заем развития народного хозяйства... Ладно. Отодвигается вдруг, Коля, «Карацупа и его любимая собака Индира Ганди» от «Вот кого уж никак нельзя заподозрить в симпатиях», и в камеру мою рыбкой влетает курчавый смешной человек. Стукается лбом об «Утро на заре рассвета рабочего движения в Москве». Садится на «Телефункен», хватается за голову и говорит:

— Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал?

Набираю ногтем твой номер, Коля, и говорю Кидалле:

— Докладывает рядовой МГБ Тэдэ, он же кенгуру Кен. Регенерация прошла успешно. Чувствую себя человеком. Наблюдаю усиленный рост бороды на лице гражданина Кырлы Мырлы, с которым в преступном сговоре переделывать весь мир не состоял, первый раз вижу. Всегда готов встать с головы на ноги. Посвящаю себя столетию со дня рождения и смерти Маленкова. Ура-а-а-а!

— Я же тебе сказал, фашистское отродье, — отвечает Кидалла, — что этот телефон исключительно для внутренних раздумий и сомнений. Органам и так известно, что с тобой происходит. Не забывай о процессе. Ты хотел познакомиться с низкопоклонником Норберта Винера Карцером. Карцер перед тобой.

— Ах, значит, это вы господин-гражданин Карцер, — говорю я смешному курчавому человеку с глазами барана, прибывшего на мясокомбинат имени Микояна. — Гутен морген, гражданин-господин Карцер. Кто вам помогал забыть Ивана, не помнящего родства? А?

— Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? — уставившись бараными глазами в «Позволительно спросить братьев Олсоп», бормочет Карцер.

— Встаньте, — говорю, — и сядьте на стул, не превращайтесь в уткуноса, он же сумчатый гусь-лебедь. Стыдно!

— Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? — долдонит и долдонит Карцер, а я говорю:

— Послушайте, нельзя задавать органам таких вопросов. Вообще никаких вопросов не надо задавать! Иначе быть беде! Вы член кассы взаимопомощи? — Я решил, Коля, что Карцеру необходимо побыть в моей шкуре.

— Естественно. Кто в наше время не член кассы взаимопомощи? — вдруг, ожимши, отвечает Карцер.

— Когда последний раз брали ссуду?

— Перед Женским днем.

— Сколько?

— Две тысячи, а что?

— Фамилия?

— Карцер.

— Который?

— Валерий Чкалович. Папа изменил мое отчество в знак уважения к великому летчику.

— Итак, перед Женским днем вы, Валерий Чкалович, недовольные тем, что за подписку на заем с вас выдрали всю получку, растерзали прогрессивку и расстреляли квартальные, получили ссуду в две тысячи рублей. С рассрочкой?

— До Дня медицинского работника.

— Вам известно, что за деньги находились в кассе взаимопомощи вашей секретной лаборатории?

— Очевидно, бывшие в обороте кассы.

— Чем пахнут деньги, по-вашему?

— По-моему, ничем. А что вас все-таки интересует?

— Меня интересует факт получения вами из сберкасс взаимопомощи денег, не пахнущих ничем, но принадлежащих швейцарской разведке!

— Боже мой!

— Кто из ваших сотрудников в дни получек говорил: е... я кассу взаимопомощи?

— Уборщица Танеева, сантехник Рахманинов Ахмед и физик-теоретик Равель.

— Вот они-то и останутся на свободе. Есть у нас все ж таки настоящие советские люди! Вы расписались в получении ссуды?

— Конечно. Честное эйнштейновское! Честное курчатовское! Но что вас все-таки интересует?

— Хватит финтить, Карцер! Хватит уходить от откровенности! Пора кончать с инфантилизмом тридцатых годов!

— Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал?

— Я отвечу на ваш вопрос, но не раньше, чем мы убедимся, что нас не видят и не подслушивают профсоюзы. Они возомнили себя, видите ли, школой коммунизма! Тогда как последней являемся мы, органы!

— Совершенно справедливо! Наш парторг Бахмутова — ваш секретный сотрудник! Что я должен сделать в плане борьбы с инфантилизмом тридцатых и двадцатых годов?

— Плюньте три раза и размажьте сопли вон на том цветном фото.

— На «Вот кого уж никак нельзя заподозрить...»?

— На это и дурак невинный плюнет. На другое, которое слева. Да, да!

— На это фото я отказываюсь плевать категорически. Это святотатство! Плумление и самооговор! «Рабочие ЗИСа получают прибавочную стоимость» — гордость нашей фотографии! Я не могу! Разрешите плюнуть на «Изобретатель Эдисон крадет у гениального Попова граммофон»?

— Не разрешаю. Если вы не харкнете на «прибавочную стоимость», мы уничтожим вашу докладную записку о целесообразности создания программного устройства, моделирующего суровые приговоры врагам советской власти задолго до предварительного следствия.

— Только не это! О нет! Только не смерть моего любимого детища! В конце концов, прибавочная стоимость не перестанет существовать от одного и даже от трех плев-

ков и зисовцы будут ее регулярно получать. Правда, товарищ?

— Я тебе не товарищ! Я тебе гражданин международный вор Фан Фаныч. А товарищ твой в Академии наук на параше сидит и на ней же в загранку летает! Ясно?

— Абсолютно ясно. Однозначно вас понял. Я чувствую, гражданин международный вор, что вы знакомы с электроникой и нам есть о чем поговорить.

— Рассказывайте, Валерий Чкалыч!

— Что?

— Все!

— Что я сделал? Не мучайте же меня неизвестностью! Что я сделал?

— Вы сконструировали, Валерий Чкалыч Карцер, ЭВМ, которая прекрасно себя зарекомендовала на службе в наших органах и высвободила, таким образом, немало рабочих рук из предварительного следствия. Это дало нам возможность перевести их на кровавую исполнительную деятельность и в сферу надзора. Что вас заставило сконструировать ЭВМ?

— Категорический императив постигнуть тайны материи, объективное состояние научной мысли на сегодняшний день, различные философские и социально-правовые предпосылки, полный апофеоз позитивизма, а также жажда ускоренного развития эстетики количества. Количество — прекрасно! Кроме всего прочего, я хотел бы, чтобы это осталось между нами, гражданинмеждународный вор Фан Фаныч, мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее — наша задача!

— Вы и ваши близкие подвергались когда-либо нападению одного или нескольких грабителей?

— Простите, но какое это имеет отношение к делу, к которому я, в свою очередь, не имею никакого отношения?

— Молчать! Вопросы задаем мы!

— Только один вопрос, гражданин Фан Фаныч!

— Ну!

— Вы слушали Седьмую?

— Седьмая отсюда не прослушивается. Слева от нас, очевидно, вторая, справа — четвертая.

— Извините, но я имел в виду Седьмую Шостаковича. Симфонию.

— Интересное обстоятельство. Итак, уже во время блокады, успешно руководимой товарищем Ждановым, вы слушали Седьмую симфонию Шостаковича.

— Вам это известно?!

— Нам известно все. Мы читаем «Гудок» и «Таймс». Продолжайте.

— Недавно я возвращался из большого Георгиевского дворца, где товарищ, извините, гражданин Шверник вручил мне... можно ли здесь произносить это имя? Орден Ленина. На одной из темных улочек Зарядья я был остановлен неизвестным, вежливо попросившим у меня прикурить. Он долго прикуривал свою сигарету от моего «Норда», виноват, «Севера». Возвратившись домой, я обнаружил исчезновение с лацкана пиджака... мне трудно об этом говорить... Да! Я тут же заявил куда надо... Больше всего меня удивило то, что, прикурив, неизвестный приятным голосом произнес: «Благодарю вас!» Мне возвратят орден?

— Скоро будет обмен орденов, поскольку они девальвированы, и вы получите новый. Орден Норберта Винера. Возвратимся, однако, Валерий Чкалович, к вашей мысли насчет «не можем больше ждать милостей от природы». Знаете, что такое грабитель? Грабитель — это ленивый, нетерпеливый и нервный нищий, которому надоело ждать милостыни, и он решил нагло взять ее у прохожего барина, или у рабочего, или у колхозника, или у интеллигента сам, своею собственной рукой. Взял. Вдарил микстурой по темечку. Вышел из-за угла на нового прохожего. Потом на другого, третьего, на четвертого. Взял тот нищий денежку, считая ее своей законной милостынькой, у девушки, взял пенсию у старушечки, взял денежный перевод от сына у дедушки, взял новогодний гостинец у мальчика. Прохожие испугались да и перестали ходить по Большой Первой Конной улице. Ленивый нищий на проспект Коллективизации направился, там всех распугал, потом на улице Павших Героев, на площади Индустриализации и в проходных дворах начал грабить. Всех прохожих, в общем, переграбил и перемикстурил. Опустел город. Не у кого больше отныкивать



милостыньку ленивому нищему. Некому даже ее ему подавать. И подход тот нищий от голода, холода и струпьев, потому что он не хотел и не умел зарабатывать себе на жизнь, а ждать милостыньку было ему лень. И, подыхая в тупике имени «Нечего терять, кроме своих цепей», взмолился он тихо и виновато: «Прости меня, Господи, за убиенных прохожих и пошли Ты мне хоть одного приезжего с кусочком хлебушка, молю Тебя, Господи!» Господь Бог слышал ту молитву и глубоко скорбел, ибо приезжего послать нищему не мог по причине для Бога весьма таинственной. Не ведая зла, не ведал Бог, что ленивые нищие Ленинграда, Сталинграда, Свердловска, Калинина, Молотова, Фрунзе, Кирова и других городов перемиксурили и переграбили всех своих прохожих до такой степени, что последние физически никогда уже не могли стать приезжими. Опустела земля...

Задумался, Коля, на минуту Валерий Чкалович, но ни хрена — ясно мне это было — не дошло до него. Тогда я по новой говорю:

— Вернемся к кассе взаимопомощи. Машина, которую вы сочинили, на основании всех исходных данных о вашей личности смоделировала преступление, предусмотренное статьями пятьдесят восемь, пункт один «а»; пятьдесят восемь, пункт десять; пятьдесят восемь, пункт четырнадцать; сто шестьдесят семь, пункт два. Вы обвиняетесь в том, что, вступив в 1914 году в преступный сговор с лицом, впоследствии оказавшимся Григорием Распутиным, систематически развращали фрейлин двора, участвовали в пикниках с лидерами эсеров, где и обещали Плеханову портфель министра по делам Австралии и всячески саботировали производство «катюш» на заводах Форда. За услуги по сбору информации о личной жизни Лемешева и Жданова, оказанные папуасской разведке, вы получили гонорар из кассы взаимопомощи, в чем и расписались. Признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях и согласны ли с суровым приговором: высшая мера социальной защиты — расстрел?

Ты бы покнокал, Коля, что стало твориться с Валерием Чкалычем. Нет, он не хипежил, не рыдал, в обморок не падал, а стал с пеной у рта доказывать, что обвинение внутренне противоречиво, что оно плод несовершенного еще

алгоритмирования, что наши полупроводники выходят из строя чаще американских и что с Распутиным он некогда не был знаком. Но я его, гада, припер-таки к стенке.

— Выходит, — говорю, — вы сконструировали машину для заведомого ошельмования советских людей, и по вашей вине уже расстреляны 413 851 человек и столько же находятся в живой очереди на ликвидацию? Вот вы тут долдонили: «Что я сделал? Что я сделал?» А надо было тогда, когда вы решили не ждать милостей от природы, спросить себя: «Что я делаю? Что я хочу сделать?» Вы знаете, что вместе с вами на скамье подсудимых будет сидеть сам Андрей Ягуарович Вышинский по обвинению в заражении рядом венерических болезней работниц «Трехгорной мануфактуры» и в попытке покушения с помощью народных средств на презумпцию невиновности! И партия вам этого не прстит!

— Будь проклят миг, когда мама почувствовала во мне физика! Будь проклят позитивизм! Будь проклята наука! Что я наделал! Дайте мне новую жизнь, и я с протянутой рукой буду просить по долинам и по взгорьям милостыню у природы! Дайте мне новую жизнь и скажите, при чем здесь я и папуасская разведка?

— А при чем здесь, сука ты ученая, я и кенгуру? — спрашиваю, в свою очередь, Валерия Чкалыча, и надоел он мне, рванина, хуже горькой редьки. Ходит, что-то шепчет и заплевал все фотографии на стенах.

А от Кидаллы ни звука. Кидалла молчит. Включаю «Телефункен», ловлю Лондон и узнаю, что в данную минуту в Кремле происходит Всесоюзная конференция карательных органов, на которой доклад о дальнейшей механизации и автоматизации работы органов делает товарищ Кидалла. Послушали мы через Лондон и сам доклад. Потом были прения, но их заглушила радиостанция английской компартии, которая считала, Коля, что наши массовые репрессии не имеют ничего общего с теорией и практикой социалистической революции, что приходить от них прогрессивному сознанию в ужас в высшей степени преступно. Руки, мол, прочь от исторической необходимости, сволочи международной арены!

А Валерий Чкалыч между тем, Коля, поехал. Мне его даже жалко стало. Я ему говорю, что если бы не ты, я бы

еще ждал и ждал своего часа и не знал бы, не ведал, что я являюсь убийцей и насильником заключенных животных. И мне, говорю, — в гробу я видел твою тягу просечь тайны материи, — не легче оттого, что если б не ты, то другой мудила с залитыми любопытством глазами допер бы до создания ЭВМ для МГБ, которая, как ты видишь, дорогой Валера, и тебя самого жестоко погубила. Погубила, и не видать теперь тебе ни конторских счетов, ни родного арифмометра, ни тихого чая по вечерам за чтением разгневанной «Вечерки», не видать тебе ни закрытых симпозиумов, ни открытых партсобраний, ни вождей Первого мая и Седьмого ноября, ни сеанса одновременной игры с Ботвинником и законного морального разложения с субботы на воскресенье. Раз надоело тебе на пальцах считать, то вот и получай от своего любимого быстроедействующего детища за связь с папуасской разведкой через кассу взаимопомощи. Получай, пытливый ум, получай!

Только я ему это сказал, Коля, как он вдруг харкнул на «Паша Ангелина в Грановитой палате примеряет корону Екатерины II», потом на «Нет — Вадиму Козину!», встал по стойке «смирно», отдал честь полотну «Органы шутят, органы улыбаются» и говорит:

— Разрешите доложить, товарищ Сталин, что прошу вас разрешить доложить вам о том, что докладывает зам. генерального конструктора Валерий Карцер. Мною прокляты последние достижения научной мысли, на оккупированных территориях сорваны погоны с шинели Акакия Акакиевича, выше честь нашей партии, и всех к позорному столбу трудовой вахты самокритики. Вынашивал. Прикидывал. Силился. Сливался. Так точно! Жил под личиной! Брал под видом выведения в НИИ красоты — почтовый ящик номер восемь — родинки капитализма. Являлся змеей на груди партии и народа по совместительству. Неоднократно втирался и переходил барьер непроходимости общественных уборных, формулы оставлял, одновременно сожительствова. Разрешите забрать пай, а рабочие чертежи уничтожить. Есть — расстреляться по собственному желанию!

Смотрю, Коля, раздевается мой Валерий Чкалыч до трусиков и встает к стенке. Закрывает своим телом «Ку-

харки учатся руководить государством» и акварель «Сливочное масло — в массы!» и говорит:

— Готов к короткому замыканию!

Я понял, что мозга у него пошла сикось-накось, как в электронной машине, и сам перетрухнул: пришьет еще Кидалла за вывод из строя важного государственного преступника вышака, и тогда ищи гниду в портмоне, где она сроду не водится.

— Валера, — говорю, — не бэ! Все будет хэ! Попей водички, голубчик, иди, я тебя спать уложу, извини, что такую злую тебе покупку с кассой взаимопомощи заделал, но пойми — обидно мне было ждать чуть не двадцать пять лет своего дела, а вынуть из колоды кенгуру.

До меня из «Телефункена» бурные аплодисменты доносятся через Лондон со Всесоюзного совещания карательных органов, и оттуда же, представь себе, Коля, звучит голос самого Валерия Чкалыча с комментариями Кидаллы:

— Можно смело сказать, дорогие товарищи и коллеги из стран народной демократии, что человек-надзиратель ушел в далекое прошлое. Ему на смену пришли последние достижения научной мысли. Это дало нашим подследственным возможность полностью самовыражаться, не испытывая пресловутого комплекса застенчивости — антинародной выдумки Ивана Фрейда, не помнящего родства. Рабочие и инженеры номерных заводов могут смело гордиться своими золотыми руками, давшими нам телекамеры и магнитофоны, ЭВМ и усилители внутренних голосов врага!

Тут на голос моего Валеры снова наложились бурные, продолжительные опровержения французской компартии, и я возьми да гаркни:

— Объявляется перерыв. Почтим сутками вставания память товарищей Дзержинского, Урицкого, Володарского, Менжинского, Ежова, Ягоды и его верного друга и соратника собаки Ингус! Все — в буфет!

И веришь, Коля, застучали стульями наши куманьки, затопали ногами, им ведь тоже жрать охота и выпить, но Берия очень так громко — из президиума, наверное, — хохотнул и сказал:

— Как видите, товарищи, наши враги, даже припертые к стенке, не теряют чувства юмора. Но, как указыва-

ет лучший и испытанный друг наших органов, дорогой и любимый Сталин, смеется тот, кто смеется последним!

Тут раздался общий веселый смех, слышу: все встали и запели «У протокола я и моя Маша». Щелкнуло вдруг в приемнике, что-то затрещало, лязгнуло, зашумела вода, смотрю: нема в камере Валерия Чкалыча Карцера.

Теперь он тоже академик, такой красивый, седой, руководит каким-то центром статистических расчетов, ведет телепередачу «Вчера и сегодня науки», а тогда я слышал по «Телефункену», как мексиканская, голландская, гренландская и папуасская компартии захлебывались пеной во рту и доказывали, подонки, что совещания такого быть в Кремле не могло, а оно замастырено отщепенцами, избежавшими возмездия, с радиостанции «Свобода». Инсценируют, так сказать, историю КПСС ее злейшие враги.

Ты извини, Коля, я, конечно, растрекался, а ты не любишь политику хавать, но вот давай сейчас выпьем за тапиров, морских тюленей и птичку-пеночку, и чтобы под амнистию после смерти какого-нибудь хмыря попали в первую очередь они, а потом уж мы с тобой, если, не дай бог, подзалетим по новой, а уж потом пускай попадают под амнистию академики, писатели, полководцы и продавщицы пива.

Сука гуммозная Нюрка у нас на углу каждый раз грамм пятьдесят лично мне недоливает — и что я ей такого сделал, не понимаю? И вообще, не желаю с той же самой пеной у рта требовать отстоя пены после долива пива! Может, еще и на колени встать перед вонючей цистерной? Как им, паскудам, хочется унижить нас с тобой, Коля, даже по мелочам, по мизеру! Не дождутся они, чтобы старый международный урка и Коля Паганини требовали долива пива после отстоя пены! Мы лучше цистерну украдем и Гвардейской Кантемировской дивизии подарим. Пускай солдатики пьют и писают. В казарме, Коля, хуже, чем в тюрьме, но намного лучше, чем в зоопарке.

Душа моя, конечно, я опять подзавелся, но как же, скажи, не подзавестись, если мы проходим по целому ряду сложнейших предварительных следствий с гордо поднятой головой, превращаемся в кенгуру, но не продаем в себе человека, освобождаемся, работаем, и вдруг — на

тебе! Требуй отстоя! Да я за всю жизнь требовал пару раз только жареного прокурора по надзору, и то зря и по глупости, чего простить себе не могу! Давай-ка, между прочим, позавтракаем. Эх, Коля! Баланда на свободе называется бульон! Выпьем за белок, соболей и куниц. Я не могу смотреть, как они мечутся в клетках.

И я тогда метался, вроде соболя, по своей третьей комфортабельной камере без окон, без дверей, и по новой сейчас забыл, был там потолок или не был. Мечусь и мечусь, смотрю себе под ноги в одну точку, пишу веселый сценарий процесса или же стараюсь кемарить, чтобы не видеть картинок и фотографий, заляпавших все четыре стены сверху донизу. К тому же Кырла Мырла все волосател и волосател на моих глазах, и вот уже сесть борода у него потихоньку начала, а Ленин, наоборот, активно лысел и лысел. Невыносимо было мне смотреть на картинки, невыносимо. Как я не поехал, а остался нормальным человеком, до сих пор понять не могу. Картинки-то эти все время менялись. Ты представь, Коля, себя на моем месте. Вдруг, ни с того ни с сего, «Паша Ангелина в Грановитой палате примеряет корону Екатерины II» исчезает и проступает на ее месте «Носильщики Казанского вокзала говорят Троцкому: «Скатертью дорожка, Иуда!» Или же «Карацупа и его верный друг Джавахарлал Неру» из правого нижнего угла взлетает в угол левый верхний, и круглые сутки продолжается этот адский хоровод. «По рекам вражеской крови отправились в первый рейс теплоходы «Урицкий», «Володарский», «Киров» и многие другие». «Нет — фашистскому террору в Испании!» «В муках рождается новая Польша». «Запорожцы пишут письмо Трумэну». «Хлеб — в закрома!» «Уголь — на гора!» «Все — на выборы!» Коля, я уж стал повязку на глаза надевать, лишь бы не лезла в них вся эта мерзкая ложь, нечеловеческое дерьмо разных здравниц, монолитное единство партии и народа, свиные бесовские рыла вождей, лстящих рабам и ихнему рабскому труду, стал повязку надевать, чтобы не выкалывали мои глаза оскверненные слова великого и любимого моего языка, чтобы не оскорбляли они зрачков и не харкали в сердце и душу. Хипежить я уж не хипежил больше. Бесполезно, сам понимаешь.

Кидалла про меня забыл. Но вдруг по радио Юрий Левитан раз в полчаса в течение недели начал повторять:

— Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.

Тут международный урка Фан Фаныч закукарекал, почувал, что скоро начнется его процесс! У меня на это чутье, дай бог! Ни с того ни с сего не стал бы долдонить Юрий Левитан «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» по двадцать раз в день. Не стал бы! Не такой он у нас человек-микрофон!.. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Кстати, Коля, все наоборот: оно неверно, потому и всесильно. А учения истинные все-сильными в каждый миг времени, к сожалению, не бывают.

— Ну, урка, ничего не забыл про кенгуру? — спрашивает вдруг Кидалла.

— Как же, — отвечаю, — забыть, если сам побывал в кенгуриной шкуре. Готов присесть на скамью подсудимых и встретиться с самым демократическим в мире правосудием! Готов прочитать дело и подписать дорогую двести шестую статью УПК РСФСР.

«Сталин позирует группе советских скульпторов» от «Крыс в чащобах Нью-Йорка» отодвигается, и рыло — несколько месяцев его не видел — говорит: «С вещами!»

## 5

Как везли меня в суд и где он находился, я, Коля, до сих пор не знаю. Очнулся я после вдыхания какого-то сладкого газа прямо на скамье подсудимых, за барьером из карельской березы. Скамья сама по себе мягкая, но без спинки, а это в процессе раздражает неимоверно, и не знаю, как ты, а я от этого чувствую отвратительную за собой пустоту. Поднимаю голову и прищуриваюсь. Мне было некоторое время невыносимо смотреть в глаза собравшимся людям. Очень все интересно. В первых рядах сидят представители всех наших союзных республик в национальных одеждах. Чалмы, папахи, косынки, бурки, косоворотки, унты, тюбетейки, ширинки, халаты и, в общем, кинжалы. За ними рабочие в спецовках. Концами руки вытирают, из-за станков, так сказать, только что вышли. Колхозницы с серпами. Интеллигенты с блокнотами. Писатели. Генералы. Солдатики. Скрипа-

чи. Много знакомых киноартистов. Балерины. Кинорежиссеры. Сурков. Фадеев. Хренников. За ними представители, как я понял, братских компартий и дочерних МГБ. Телекамера. По залу носятся два хмыря, которых распирает от счастливой занятости. Делают распоряжения. Что-то друг другу доказывают. Решают, суки, художественную задачу.

Вдруг заиграл свадебный марш Мендельсона, в зал вбежали пионеры с букетами бумажных цветов. Лемешев пропел: «Суд идет! Су-у-уд и-и-идет!» Все, разумеется, и я в том числе, встали. И по огромной винтовой лестнице, символизирующей, Коля, спиральный процесс исторического развития, спустились вниз и уселись на стулья с громадными гербовыми спинами председательница — мышка, а не бабенка — и двое заседателей: старушенция и здоровенный детина в гимнастерке и кирзовых сапогах. Выбрали в полном составе почетных заседателей — членов Политбюро во главе со Сталиным. Затем стороны уселись. Прокурор в форме и с желто-черными зубами. Барабанит пальцами по столу. Смотрит в потолок и всем своим видом как бы намекает на то, что в этом зале только он кристаллически честный человек, а остальных он, если бы мог, приговорил сию секунду, не отходя от кассы, к разным срокам заключения в исправительных лагерях. Защитник же мой тоже думает о присутствующих как о неразоблаченных преступниках, но, в отличие от прокурора, с жалостью и пониманием и как бы внушая, что лично он готов исключительно профессионально оправдать всех или же с ходу снизить нам сроки заключения.

Забросали пионеры два тома моего дела цветами, вручили букеты судьям, прокурору и конвою. Защитнику цветов не хватило. Тогда прокурор подошел и поделился с ним хризантемами. И — понеслась!

Именем такой-то и сякой республики... слушается в открыто-закрытом судебном заседании дело по обвинению гражданина Гуляева, он же Мартышкин, он же Каценеленбоген, он же Збигнев Через-Седельник, он же Тер-Иоганесян Бах, две страницы, Коля, моих рабочих следственных кликух прочитали, пока не остановились на последней: Харитон Устиныч Йорк.



Старуха заседательница, это она, если помнишь, когда я шел к Кидалле на Лубянку, заметила мой «не тот, не наш» взгляд, которым я давил косяка на Кырлу Мырлу, стоявшего в витрине молочного магазина, старуха и сказала на весь зал, услышав, что я Х.У. Йорк: «Это распад!»

Председательница-мышка после этого продолжала: по обвинению в преступлении, не предусмотренном самым замечательным в мире УК РСФСР, по эквивалентным статьям 58-один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее с остановками по следующим пунктам: а, б, в, г, д... Далее без остановок. В том, что он в ночь с 14 июля 1789 года на 9 января 1905 года зверски изнасиловал и садистски убил в Московском зоопарке кенгуру породы колмогорско-королевской по кличке Джемма, а также является соучастником бандитской шайки, отпилившей в первомайскую ночь рог с носа носорога Поликарпа, рождения 1937 года, с целью превращения рога в порошок, резко стимулирующий половую активность работников некоторых московских театров, Госфилармонии и Госцирка... Подсудимый Йорк полностью признался в совершенных преступлениях...

Тут, Коля, я возмущенно захихикал нечеловеческим голосом:

— Рог не отпиливал! Первый раз слышу! Мусора! Шьете лишнее дело! Ваша масть бита!

Но, веришь, никто меня не осадил, наоборот, все, даже прокурор и председательница-мышка, заплодировали, потом тихо зазвучал полонез Огинского, все во мне похолодело, душа оборвалась, и я почувствовал, Коля, первый раз в жизни, острее и безнадежней, чем в третьей комфортабельной, что я смертельно одинок, смертельно беззащитен и что какие-то дьявольские силы цель свою видят в том, чтобы широкие народные массы весело отплясывали «яблочко» на моем одиночестве, на моей беззащитности, на единственной жизни моей!

Но, сучий ваш потрох, поддержал я в тот момент свою обрывающуюся душу, Фан Фаныч вам не Сидор Помидорыч! Вы пляшите, вы танцуйте на нем! Топчите его, читайте книжечки, как по йогу проехал грузовик и ни хрена йогу не было! Читайте книжечки и рукоплещите другому йогу, которого в закрытом сундуке бросили в море,

но йог сундук раскурочил и выплыл со дна Индийского океана. Читайте, топчите, пляшите на моей смертной и слабой груди! Вашим йогам даже присниться не могут такие тяжелые грузовики, под которыми стонет и плачет душа Фан Фаныча от боли и обиды. По коридорам Лубянок ходить — это вам не скакать по битому стеклу и углям раскаленным! А читать пришитое к живому телу дело — не серную пить кислоту. Вашим йогам даже присниться не могут пять, десять, двадцать сундуков, в которых побывал за свою жизнь Фан Фаныч. В которые его запирали — не отопрешь — и кидали на дно мертвых рек, морей и океанов. И выбирался Фан Фаныч, представьте себе, каждый раз выбирался, выплывал под Божье солнышко, отфыркивался, «Слава Тебе, Господи», говорил, и радовалась спасению чудесному исстрадавшаяся душа моя! Так что валяйте, гуляйте! Ребрышки Фан Фаныча не затрещат под вашими грузовиками. Раскурочит он лукаво любой ваш хитроумный сундук и вылетит ласточкой из адской бездны! А йогам передайте, чтоб срочно выезжали тренировать свою волю, силу и мужество на свободе советской жизни, на предварительных следствиях и на общих работах в исправительно-трудовых лагерях. А уж Фан Фаныч, поскольку человек он добрый, поднатаскает бедных йогов, как впадать до утра на жестких нарах в нирвану... Так я подумал, пока мышка-бабенка что-то долдонила из обвинилочки, и повеселел. Как всегда, повеселел. Ваше дело — запирать, наше дело — отпирать! Чего я зеваю, в конце концов? Такое идет чудесное представление!

Значит, сознался я во всех совершенных преступлениях полностью, и материалами предварительного следствия было установлено, что подсудимый Йорк Харитон Устинович...

Тебе, Коля, я думаю, тошно слушать обвинилочку. Поэтому давай лучше устроим небольшой перерыв в судебном заседании и разберемся с носорогом Поликарпом, родившимся в том ужасном тридцать седьмом году, чтобы больше к нему не возвращаться.

Дело было под Первое мая. Войска к параду готовились. На улицах танки, гаубицы, амфибии, солдаты, офицеры, мотоциклы, лошади и генералы. Сталин у Буден-

ного усы проверяет на распушаемость и сам пуговички на кителе надраивает. Во всех учреждениях повысили бдительность. Берия два дня ни одного шашлыка не съел, «Цинандали» не пил и лично никого не допрашивал. Сидел неподалеку от зоопарка на своей вилле и думал: «Скорей бы второе мая».

Вождам, Коля, почему-то кажется, что враги только и мечтают, как нам омрачить праздники Первое мая и Седьмое ноября, а также напакостить перед выборами в Верховный Совет и в нарсуды. Но в стране — полный порядок. Просто полнее некуда. Мавзолей не взорван, мост через Волгу — тоже, водопроводная вода городов-героев не отравлена кока-колой. Колбаса и сосиски стали не теми, что до войны, далеко не теми, но жить можно. Граница на замке, ключ от него — в страусином яйце, страусиное яйцо — в Музее революции, революция — в семнадцатом году, ход истории никому не обратить вспять, а на самого страуса нам вообще накакать. В общем, полный порядок в стране.

И вдруг в ночь на Первое мая: «Пиф-паф! Пиф-паф!» Солдаты в танках, которые дрыхли, проснулись и моторы завели. Боевая тревога! Сталин тоже услышал выстрелы и будит Берию: «Кто стрелял?» Берия спросонья отвечает: «Эсерка Каплан». — «Я спрашиваю: кто сейчас стрелял?» — «Выясняем, Иосиф Виссарионович». Выяснили. Берия докладывает по телефону: «Стрелял сторож зоопарка Рыбкин. Говорит: я после белой горячки. Показалось, что носорога хотят стырить. Беспартийный. Три ранения. Боевые ордена пропил на Тишинском рынке. Осталась только медаль «За оборону Сталинграда». Ваша любимая, Иосиф Виссарионович. Одним словом, белая горячка!» — «Нет дыма без огня. Белые всегда горячились, — говорит Сталин, — наша разведка вычитала в произведениях так называемого Хемингуэя, что рог носорога делает миллионеров мужчинами. Не здесь ли разгадка двух выстрелов товарища Рыбкина? Осмотрите животное».

Осмотрели. Всю Академию наук на ноги подняли. Оказалось, прав был Сталин на этот раз! Отпилили рог у носорога неизвестные бандиты прямо перед парадом и демонстрацией! Взяли академики у него кровь, клизму

поставили и нашли во всем этом деле большую дозу сильнейшего наркотика. Парад военный и демонстрацию, конечно, провели, но вожди на трибуне были какие-то квелые, еле руками махали любимым своим и родным советским людям и на Сталина виновато смотрели. Упустили, мол, зоопарк из поля зрения, извините уж, ошибку исправим, партсобрание проведем в секции хищных животных, найдем бандюг. Усилим наблюдение за площадкой молодняка...

Найти бандитов, конечно, не нашли, но Берия быстро замастырил дела на бедных педерастов из театров оперетты, цирка, консерватории и на целую толпу пожилых зубных врачей. Они на вопрос «Зачем вам столько денег и золота?» не смогли ответить, и органы сделали логический вывод: значит, для покупки носорожьего порошка. Разумеется, врачи раскололись. Их бормашиной пытали. Ты спрашиваешь, Коля, при чем здесь я? Меня обвинили как соучастника, споившего сторожа Рыбкина с целью усыпления его бдительности в дальнейшем. По своему-то делу я действительно спаивал, пока не стал своим человеком в зоопарке, но насчет соучастия в отпиливании рога я решил отмазываться до последнего вздоха. Принципиально. На рог я не подписывался. Электронная машина мне этого дела не нагадывала, и в сценарии моем такой сценки тоже нету.

Ну, Коля, тост за того несчастного носорога Поликарпа. И вернемся к моему процессу.

Рассказал я сначала, где родился и где крестился.

Старуха заседательница. Почему, подсудимый, вы — Йорк?

Я. Я полумордва-полуангличанин. И прочитайте начальные буквы моего имени, отчества и фамилии.

Старуха заседательница (написав и прочитав). Это распад! Это слово на букву «хэ»!

Представитель чукчей (из зала). Ты почему моржуху не захотел изнасиловать? (Аплодисменты).

Я. Моржихи мне глубоко несимпатичны, и еще по одной причине, о которой я могу сказать только при закрытых дверях.

Прокурор. Перед тем как включить проектор и ознакомить присутствующих с киноматериалами дела, я

хочу сказать несколько слов о принципиально новом жанре кино, при рождении которого всем нам выпала присутствовать честь. Автором сценария выступил сам подсудимый Х.У. Йорк. Разумеется, и следователи, которым пришлось на некоторое время стать кинодраматургами, и кинодраматурги, ставшие следователями, внесли некоторые коррективы в основной преступный замысел подсудимого. Не все в нем было гладко, не все соответствовало эстетическим нормам ведущего направления в искусстве нашего века — соцреализма. Но творческая группа, преодолев все трудности, выносит сегодня на суд народа свое произведение. Имена его создателей до времени останутся неизвестными. Всем им присуждена Сталинская премия первой степени. Да здравствует лучший друг важнейшего из искусств, мудрый продолжатель дела Маркса и Чаплина, Энгельса и Де Сики, Ленина и Всепудовкина — великий Сталин! Смерть Голливуду!

Зашевелились, Коля, на окнах черные шторы, погас свет, и начался журнал «Новости дня». Кто-то выплавил первую тонну чугуна... Какой-то колхозник сам отказался от своих трудодней и весь колхоз призвал поступить так же... К чабанам в горы пришла мясорубка... Лондон рукоплескал Улановой. Чарли Чаплина затравил сенатор Маккарти... Советские евреи дружно не хотят присоединяться к Израилю. А после журнала пошло кино, от которого стало мне душно... Вольер в зоопарке, вытоптанная животными желтая трава, кормушка, вроде умывалки в пионерлагере, и рядом с ней мертвая кенгуру... Над трупом стоят и плачут администрация зоопарка, научные сотрудники и юннаты... Вдруг к вольеру с воем сирен подъехали две черные «Волги» и спецмашина. Из нее выскочили проводники с овчарками и разные спецы с приборами... Из «Волги» вышел в штатском Кидалла, всех стоявших у кенгуру тут же велел взять, и их затолкали в спецмашину... Пошли крупные планы... Кидалла достает из сумки бедной Джеммы гранату-лимонку и торжественно вынимает у нее взрыватель. Зал ахнул и заплодировал... Голова Джеммы с закрытыми глазами... Лапы... Пальчики на них... ногти круглые... шерсть серо-бурая... ноги задние сильные, стройные... Хвост. Тут я от жалости и омерзения закрыл шнифты. Открываю. На экране

недоеденная репа, кулек пшеницы и две французские булки. Этими гостинцами я подманивал к себе в ночь с 14 июля на 9 января Джемму. Кидалла перевернул ее и показал четырнадцать ножевых ран в сердце. Я снова закрыл шнифты. Сволочи, подонки, выродки, потерявшие человеческий облик! Зачем было убивать невинную Джемму? Зачем так коверкать проклятый сценарий? Я и без этого взял бы на себя изнасилование еще пяти кенгуру, удава, крокодила и даже гиены в придачу! Убийства не было в моем сценарии! Зачем надо было ее убивать? Открыл. На экране — найденные улики: путовица от ширинки и автобусный билет. Кидалла вдруг снова чего-то достает из сумки Джеммы. Детеныш! Детеныш, Коля! Живой! Живой! Шевелится! Весь зал так и грохнул овацию, и я вместе со всеми хлопаю, аж ладошки заболели, и рукавом слезы смахиваю. Живой. Майорша, которая пробы почвы брала и следы замеряла, расстегивает гимнастерку, вываливает прелестную совершенно грудь и подносит кенгуреныша к соску. И улыбается, таинственно улыбается на весь экран. А Кидалла отвернулся, чтобы наш народ не видел слез чекиста.

Неожиданно зажгли свет. Это стало плохо от всего увиденного председателю австралийской компартии. Посерел, держится за сердце, к губам его микрофон поднесли, и он шепчет на весь зал, а может, и на весь мир: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!» Ему укол сделали. Оклемался. На меня две колхозницы бросились в бешенстве, обе с серпами, и работяга с молотом. Прибили бы, если бы не конвой. Удержал их, слава богу, конвой. Снова свет потух. Арест сторожа Рыбкина. Наконец-то я увидел человека, которого спойл и у которого купил все его боевые ордена на Тишинском рынке. Кемарит себе Рыбкин, прислонившись к тоже спящему бегемоту. Карабин лежит в пасти у бегемота. Там же недопитая «Петровская водка» и кулек с закуской. Бегемоты, Коля, как и алкоголики, спят с открытым ртом. Кидалла Рыбкина разбудил пистолетом. Дулом в ноздре пощекотал. Зал так и грохнул от хохота. Рыбкин проморгался, к бутылке рукой потянулся, а Кидалла ему: «Руки вверх!» Рыбкин встает, и до него, видно, не доходит, как это так «руки вверх». Он правую поднял, а левой к бу-

тылке тянется. Кидалла его руку сапогом отбил и Рыбкина — в машину. Он, бедняга, все оглядывался тоскливо, когда шел, на бутылку и закуску в пасти у бегемота. Так и не дошло до него происходящее. Очень я переживал тогда. Затем был лично мной сочиненный веселый детектив, как искали Фан Фаныча по крохотным уликам: пуговице от ширинки и автобусному билету с тремя оторванными, оказывается, цифрами... Опросы кондукторов, водителей автобусов, пассажиров, продавщиц брюк и костюмов, продавцов «Петровской водки»...

Допрос расколовшегося Рыбкина, который категорически отказался отвечать на вопрос д, пока ему не дали опохмелиться. Молодец! Я один аплодировал этому факту. Председательница-мышка предупредила, что выведет меня из зала, если буду мешать простым людям доброй воли смотреть картину, и не посмотрит на то, что я автор сценария...

Кольцо вокруг меня все сжималось и сжималось. Восемь миллионов москвичей уже искали Фан Фаныча по словесному портрету, нарисованному Рыбкиным под диктовку, разумеется, Кидаллы. Восемь миллионов москвичей, Коля, одних только москвичей, с утра до вечера страстно вглядывались в лица друг друга, искали в них мои черты, мои особые приметы. Горькие складки у губ. Добрые серо-синие глаза, мужественная морщинка на переносице. Красивые темно-русые брови. Лысоват. Череп благороден. На левой руке — пулевой след и голубые отметинки. Нормальный и временами обаятельный мужчина неопределенного возраста...

Студенты прочесывают леса от Москвы до Владивостока. На станциях и в аэропортах проверяют ксивы военные патрули...

Сторожа Рыбкина публично лишили трех нашивок за тяжелые ранения, а медаль «За оборону Сталинграда» оставили по распоряжению самого Сталина.

Тревожно через каждые четыре часа гудят заводы и фабрики, перевыполнившие полугодовые задания.

Кольцо все сжимается и сжимается, но захомутать меня, однако, никак не могут.

Поисками руководит Кидалла. Он носится в машинах, вертолетах и «мигах», собирает сотрудников, думает,



У стенки. В очках и без очков. 1997





Папа и мама.  
Москва. Начало 30-х



Лежу за решеткой в кроватке сырой...  
Красногорск, ул. Диктатуры. 1929



Будущий позор родителей.  
Москва, 1929



С братом Марком. Москва, 1936



Отец. 30-е годы



Ораниенбаум. В учебном отряде подводников.  
Перед погружением в лагерь.  
Стою второй сверху справа. 1950



Обрастаю после отсидки. 1953



Алеша с мамой, Ириной Никифоровой.  
Коньково, 1968



С Алешей в Коньково, 1968





С Алешей спустя 22 года в Штатах





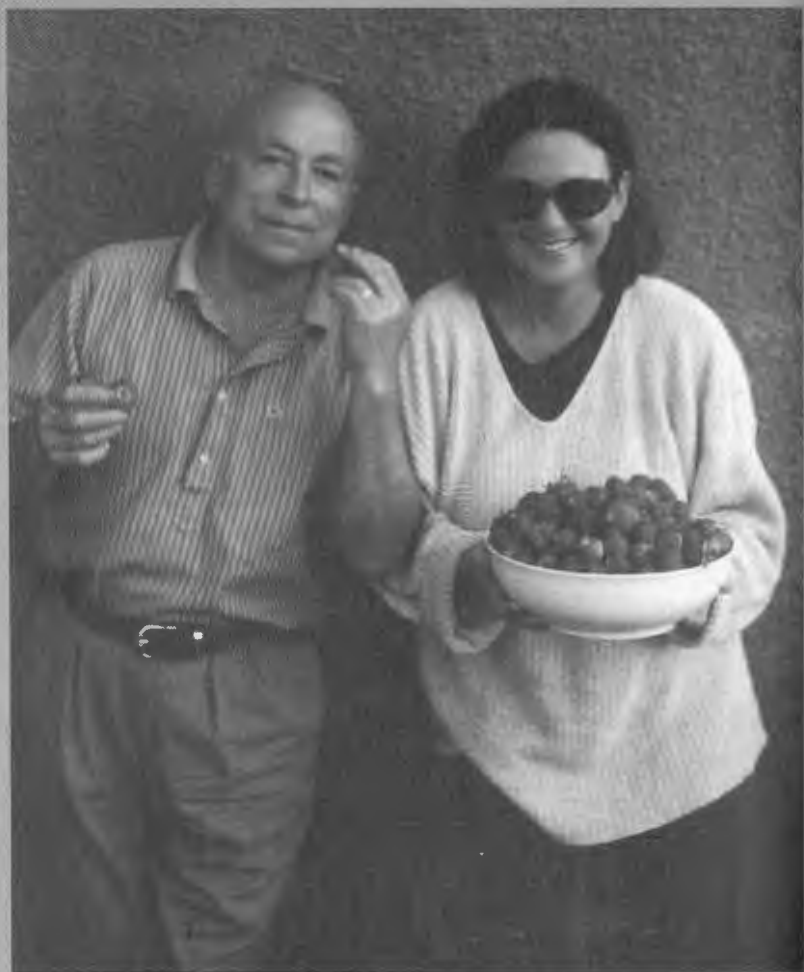
Последняя пьянка перед свалом.  
А.Битов, О.Шамборант, Алеша.  
Москва, 1979



В одном из национальных парков глубинки США. 1989



С семьей Льва Лосева. Нью-Хемпшир, 1987



Клубника счастливой брачной жизни.  
Кстати, это фото Стаса Намина



Ирочка — «одна души моей отрада...» —  
после рыбалки. США



После грибной охоты на Кейп-Коде. 1987



С любимым другом мистером Яшкиным.  
Коннектикут. 1998



Кот слизывает остатки кудрей



Сын Алеша и пасынок Данила. 1991



Ты меня любишь?

в кабинете ест, спит, вернее, дремлет с открытыми глазами и по часу, не отрываясь от микроскопа, анализирует пуговицу от моей ширинки. Потом докладывает что-то Берии, а тот отдирает листки от календаря и думает.

А когда, Коля, показали, как на лафете в аэропорт везли убитую Джемму и вслед ей махали австралийскими и советскими флажками трудящиеся Москвы, как внесли Джемму на носилках по трапу в лайнер, как летел самолет в Австралию и простые люди доброй воли смотрели ему вслед гневно и грустно, когда показали похороны Джеммы в Мельбурне и речь нашего посла над ее могилой, а потом открытие мемориального комплекса работы Вучетича, тогда весь зал судебного заседания зарыдал наконец, Коля, и я расстроился тоже.

Я действительно переживал эту трагедию по-настоящему. Я, может быть, был единственным человеком в зале, так ее пережившим, но вот что заметил, милый мой Коля. Я заметил, что начинаю во время картины болеть за чекистов. Безумный, уродливый и сильнейший эффект важнейшего из искусств — так извращенно пудрить мозги человеку! Да! Да! Да! Я начал именно болеть, именно желать и метать икру, чтобы Фан Фаныча скорей, падлу такую, схватили и чтобы не ушел он, паразитина, от возмездия!

Я взволнованно привстаю, когда берут в ресторане «Арагви» прямо из танго, из объятий партнерши человека, но это опять, к сожалению, оказываюсь не я. А перед тем, другим, извиняется молоденький лейтенант и просит оркестр сыграть танго сначала.

Потом пошли кадры, как на Лубянке выстроилась очередь мужчин, у которых на ширинках не хватало пуговиц. Довольно много оказалось в Москве одиноких идиотов и мужей невнимательных женщин, что, Коля, на мой взгляд, одно и то же.

Вот показалась на экране одна ласточка! Плачет от страха, отдает Кидалле мой галстук, на красном фоне золотые короны, и чешет в микрофон, какой я был зверь и сексуальный маньяк, любивший играть по ночам в длинном коридоре ласточкиной коммуналки в чехарду. Это, Коля, любимая игра кенгуру и французских политиков до прихода к власти де Голля.



А вот еще одна ласточка! Как я ее любил! Как я был нежен и щедр! Она продала меня серьезно и деловито, гневно возвратила органам бриллиантовое кольцо, норковое манто и книжку стихов Симонова «Друзья и враги». Все ласточки меня продали. Продали меня также со всеми потрохами и родословной до пятого колена две моих тетки, кое-кто из барыг, валютчиков, антикваров и консультантов. И я всецело по ходу просмотра был на их стороне. Про себя самого я совсем забыл и окончательно перепутал, что сочинил я, а что — лауреаты Ленинской премии. Сижую смотрю, топочу ногами, аплодирую, ногти кусаю, где же ты, Фан Фаныч, скрываешься, в конце-то концов! Вот уже Кидалла допросил прямо на улице Нюрку-суку, которая у нас за углом пивом торгует. И ты веришь, эта гадина сказала, что я каждый раз издевался над ней, требуя долива пива после отстоя пены! Я ни разу этого не требовал, Коля! Наоборот, я всегда вежливо говорил: «Пожалуйста, можно одной пены». Это и бесило Нюрку. Но тогда я на Нюрку не злился. Тогда я кивал головой: мол, верно ты толкуешь, советский ты, Нюрка, человек, родная ты моя. И знаешь, Коля, кто меня вывел на время из этого состояния? Ты, мой милый! Да! Если я, даст бог, буду помирать нормальной смертью и хватит у меня сил оглянуться, то вспомню, как ты, посмотрев на фото, подсунутое Кидаллой, пожал плечами и твердо, с некоторым даже презрением к мусорам, свысока, как и подобает уважающим себя и своих друзей благородным людям, ответил: «Эту сволочь первый раз вижу!»

Я вспоминаю, помирая, твой смех, Коля, когда, припертый к стенке фотокарточкой — мы с тобой в «Савое» улыбаемся официанту, несущему на блюде бутылку «Столицы» и запеченных карпов, — когда, припертый к стене, ты сказал Кидалле и его псам, взбешенным и не имеющим права отбить тебе на съемках закрытого фильма пень и почки:

— Мало ли, граждане начальники, с кем я сидел в кабаках? Всех не упомнишь!

Вывел ты меня, значит, на время из состояния, когда я сам болел против себя, но ведь это потому и важнейшее из искусств для большевиков, что оно все может поста-

вить раком. И опять я жду, когда сожмется вокруг меня кольцо.

Окружили мой дом, пожарная команда приехала, сетку натянули под окнами, чтобы я не бросился с шестого этажа, и Кидалла сказал в мегафон:

— Выходите, Харитон Устинович Йорк! Вы проиграли. Сопротивление бесполезно!

А на площадке около двери мусоров шесть с автоматами, готовыми прошить меня в случае сопротивления. Выходит на звонок соседка Зойка, которой я, уходя на Лубянку, клопа подсунул в комнату, и с ходу, конечно, продает, как я два дня назад куда-то собирался, вынул из бачка в сортире пачку денег, связку колец, пригрозил Зойке изнасиловать ее и убить, если проболтается, и скрылся. И финку вынесла Зойка окровавленную, которую нашла в моей калоше. Волосенки серо-бурые к лезвию прилипли. Хорошо, что комнату мою не раскурочили. Просто зубы у меня зачесались от любопытства — куда же это я запропастился, куда слинял, где я, нехороший человек, заныкался, наконец?

Показали, как Сталин и Молотов приняли посла Австралии и для утешения подарили ему изумруды покойной императрицы Александры Федоровны. Не обошлось также и без митинга. Убийцу — к ответу! Австралия, мы с тобой! Руки прочь от фауны дружественного континента!

Вдруг, ни с того ни с сего, показывают лужок, ромашки на нем, колокольчики, кашка розовая, бабочки летают, пчелы жужжат, жаворонок над лужком звенит, такая прелесть и покой под ясным небом. И по лужку, неподалеку от речушки, корова пегая ходит, травку щиплет. Трава высокая-высокая. Щиплет себе и щиплет, тихо к речке идет корова. Не идет, а плывет, незаметно, как ногами переступает. «Марта! Марта!» — зовет эту корову и что-то кричит по-немецки здоровая баба, танком только поднимать такую. Ведро в руках у бабы. «Марта! Марта!» — корова быстрее к речке пошла. Баба ее догнала. За рог схватила. По шее дала. Корова встала, а баба присела. Ведро подставила. Доить собралась. Берет по соску в руки, рот глупо раскрывает и что-то соображает. Потом как заорет: «Ганс! Ганс! Зольдант! Шнелъ! Шнелъ!»

Смотрю: корова падает, и из пуза ее, представь себе, Коля, показывается моя родная харя! Тютелька в тютельку моя! Тут я подумал, что Кидалла вполне мог внушить мне под уколами проделать всю эту хреновину, и стал болеть сам за себя, хотя совершенно не мог вспомнить, как я попал в корову Марту. Ее ведь тоже надо было «замочить», мастерски содрать шкуру, оставив голову и хвост, и партнера к тому же найти для задних ног. Помогаю я ему выбраться из Марты, а это, оказывается, не мужик, а киноактриса Зоя Федорова, посаженная Берией, и мы оба, подминая высокую траву, бежим к реке, к границе, как я понял, ГДР с ФРГ. Быстрей, Фан Фаныч, быстрей! Не отставай, Зоя Федорова! По нам уже шмаляют, пули свистят над головой, косят очереди автоматные траву вокруг. Овчарки лают все ближе и ближе. Вот она, речка, перед глазами, нырнуть в нее и вынырнуть в Мюнхене, в пивной, за столиком, уставленным кружками пива, долитого после отстоя пены без всякого унижительного для меня и тебя, Коля, требования. Пригнись, друг Зоя, пригнись, дура, а она возьми и споткнись об нарытую кротом кучу земли. Упала, встала, трава кончилась, метров десять голой зоны до речки. Тут очередью автоматной полоснули по пяткам, и я сдался, неохота было помирать. А Зоя Федорова по горлышко успела в речку войти и подняла тоже руки вверх! К ней две овчарки подплыли. Бедная Зоя завизжала от ужаса: все-таки это не «Музыкальная история» и главная роль в кинофильме «На границе». Обшмонали меня и Зою восточногерманские пограничники, и вдруг, представляешь, подбегает ко мне эта бабища и тоже по кумполу моему ведром — бамс, все у меня поплыло перед шнифтами, и голова загудела, как царь-колокол. Я упал, а зал прямо взорвался от хохота. Гы-гы-ы! Мне стало жалко, что кино кончилось, но это был на самом деле еще не конец, хотя здесь мой сценарий обрывался.

Пошли допросы. Два дня мы их смотрели с перерывами на обед и в сортир. И на каждом допросе я отпирался, изворачивался, лгал, отрекался от пуговицы на ширинке, говорил, что езжу в транспорте без билетов для экономической диверсии, умолял выдать меня эквадорской и швейцарской полициям, но все ж таки обессилел от

терпеливой логики Кидаллы, от финки, найденной в Зойкиной калоше, и раскололся. А старая задница заседательница снова завопила с места на весь зал: «Это полный распад!»

Но я опять-таки, Коля, хоть убей, не могу вспомнить ни допросов, ни лиц многочисленных свидетелей и ласточек, проливавших свет на то, как я, все усложняя свои сексуальные претензии, докатился постепенно до кровавого преступления.

В общем, Коля, я так был в кино похож на себя, верней, не то чтобы похож, а просто тени сомнения не было во мне, что я — это не я или что не я — я, прости, все снова в башке перепуталось, и вместе с тем в памяти моей не осталось ни крохи, ни грамма из увиденного, что я снова начал чокаться.

Снова душа оборвалась, бессильная из-за неимения опоры и дьявольской путаницы разобраться, где ее истинное существование, а где — туфтовое. От этого страшно. Не может быть в человеке большего страха, чем этот страх. Помнишь, я, как последний в жизни хлебушек, ел последние секунды жизни на свободе? И эти секундочки были Временем Жизни! А на скамье подсудимых, когда даже тело не чувствует за собой опоры, когда за спиной пустота, вокруг чернь тьмы и перед глазами на экране твой двойник, но душа с безумной и мучительной болью, для того чтобы не сорваться окончательно уже в бездну, пытается бедная душа вспомнить свою жизнь в этом двойнике, то такие секунды, Коля, не дай тебе Господь испытать их, такие секунды и есть — чистое Время Смерти. И я утверждаю, я смею утверждать при наличии страшного своего опыта, что самоубийство — это самая последняя попытка бедной и больной души, брошенной в условия смерти, обрести жизнь. Я, Коля, сам не знаю, да и тебе не надо знать, чем кончаются эти попытки. Пока что давай пожелаем и виноватому человечеству, и невинным животным, давай пожелаем жизни всему живому...

Так вот, снова чувствую — сейчас поеду, тем более стали показывать вообще страшные для меня вещи. Кидалла устроил очную ставку между мной и пожилым генералом. Погон на нем, конечно, уже нет, на кителе темные

полоски от орденских лент. Дергаются щека и веко. Хорошее при этом было у генерала лицо. Лицо, Коля, мужнины и солдата. И вместе с тем, ты знаешь, детское лицо. Беспомощное. Пригласили человека поиграть в какую-то войну, а на таких войнах он сроду не бывал, все больше финские да отечественные, и главное — тут только нападают, защищаться же не велят.

— Гражданин Йорк, — задает мне вопрос Кидалла, — вам передавал бывший генерал-лейтенант Денисов по предварительному сговору в обмен на машину досок и сто листов кровельного железа гранату-лимонку и генеральскую форму летней одежды?

Ты, Коля, можешь себе представить, чтобы я ответил «передавал», если даже на самом деле генерал Денисов передал бы мне не то что вшивую гранату-лимонку, а пятток бронетранспортеров и пару атомных бомб — и все это при вонючих свидетелях Молотове и Кагановиче? Не можешь ты себе этого представить. А я, однако, ответил, как жалкая блядь, что — передавал, и к тому же добавил, что генерал Денисов предлагал мне за три мешка цемента — он строил по чьей-то сценарной версии дачу для любовниц — новенькую полевую радиостанцию и план стратегического отступления всех наших войск до Урала в случае войны с Югославией.

— Гражданин Денисов, вы подтверждаете показания гражданина Йорка?

Генерал, глядя мимо меня и Кидаллы, спокойно ответил, что подтверждает. Я не знаю, киношники ли постарались, но он минуты за две поседел, белым стал у всех на глазах. Это был настоящий генерал, а я — говно, и я после того, как почувствовал полнейшую пустоту в груди на месте души, хотел вскочить со скамьи и броситься на штык конвоирского карабина. Верней, Коля, не хотел, а уже вскочил, но ноги мои словно приросли к полу, я их просто оторвать не мог от него. Падлы и этот момент предусмотрели. Я вынужден был остаться в живых. Я попробовал оторвать взгляд от экрана, но жуткий страх — такой иногда тянет человека, трухающего высоты, взглянуть еще раз вниз с десятого этажа, — жуткий страх заставлял отрывать руки от лица и смотреть, как я колюсь, парчушка позорная, как продаю всех, о ком

спрашивает Кидалла. Разумеется, Коля, я понимал, что меня или отравили, или загипнотизировали, но ведь мне от этого было не легче. Всякая отвратина-то происходила со мной, а не с Хабибулиным! И я, как самой страшной пытки, ждал вопроса Кидаллы о тебе. Кидалла не мог не знать кое о каких наших делах и вообще о том, что мы с тобой кирюхи, и не преминул бы, шакалина, использовать этот момент. Но нет! Не спрашивает, падалы! Уже следствие подходит к концу, проведены всякие эксперименты. Я показывал на чучеле Джеммы, как я ее изнасиловал, показывал скамейку, на которой подолгу сидел напротив вольера, обдумывал злодейство, а насчет тебя, Коля, Кидалла молчит. Почему? Мне кажется, я допер. Наверное, и в тебе, Коля, и во мне есть что-то такое, до чего Кидалла при всей его власти, при всем нюхе, при всей своре шестерок не может докопаться. Догадывается, несомненно, что это великое «что-то» существует, но докопаться не может. Впрочем, есть еще один вариант. Кидалле кажется, что в нас уже растлено и пробито все, что мы — пустыни, а не живые души и что нету в мертвых пустынях ни Бога, ни друга. Это, Коля, для нас с тобой исключительно спасительные варианты. Так кто же там, в конце концов, на экране? Я или не я? Спросить бы об этом у самого Кидаллы. Я мог тиснуть черновик сценария своего дела, но генерала Денисова я продать не мог. Генерала и многого другого вообще в сценарии не было, но ты, Коля, абсолютно прав. Международный урка Фан Фаныч не имел права приниматься даже за черновик сценария. Пускай сами пишат. Пускай клепают и шьют нам дела сами! И не пришлось бы мне, страдая за самого себя, страдать к тому же за сторожа Рыбкина. Иди знай, кто это — народный артист, для которого тиснули роль, или живой сторож? Сиди теперь на скамье и гадай. Уж очень Рыбкин, когда его брали, по-человечески потянулся за бутылкой, лежавшей в пасти бегемота, а другую руку поднял вверх. Артист сам до этого не допер бы. Он даже чем гениальней, Коля, тем саморазоблачительней. Артист не допер бы. Может, режиссер настропалил? Все может быть.

В общем, сижу и гадаю, а там уже интервью берут у простых людей и у сложных. Что бы они со мной за кро-

вавые мои грехи сделали? Какой бы они вынесли мне приговор?

Ты себе не представляешь, Коля, до чего жестоки и ту-пы многие простые люди доброй воли. Не сомневаясь в моей вине, они предлагали вырвать мне ноги. Это примерно девяносто процентов опрошенных. Остальные придумывали оригинальные пытки, но только с тем, чтобы я подольше не подыхал, а, исходя болью и криком, мучился. До вечной же муки и пытки не додумался никто. Наверное, это потому, что все люди поголовно завидуют любой, пускай даже мучительной, форме чужого вечного существования. Сложные же люди — писатели, художники, внешторговцы, журналисты и прочая шобла, — все они в один голос предлагали поить меня водярой с утра до вечера и не давать опохмелиться, пока сердце само собой не остановится. Такая смерть действительно страшна, но на то они и сложные люди, чтобы именно ее мне придумать. А простые, за что я их все-таки и люблю, гадов, никогда не дадут подохнуть, непременно поднесут опохмелиться. Спасибо им, Коля.

Долго тянулись эти интервью. Наконец, в который раз уже, артист МХАТа Трошин пропел: «Объявляется, объявляется, объявляется, подмосковные... пе-ре-рыв!» И после перерыва и экспонирования меня на Выставке Правосудия, после просмотра очередного киножурнала «Новости дня» показали для устрашения тех, кто укрывает особо опасных преступников, такой эпизодик.

Иду я по перрону Белорусского вокзала в генеральской форме. Страшно я себе понравился! Просто прелесть! Жаль, что ты не видел, как мне идет быть генералом. Прихрамываю очень красиво, с понтом от старой раны. Подхожу к спальному вагону экспресса «Москва—Берлин», и радуется мое сердце. Все это, Коля, очень на меня похоже. Пожил я немного своей жизнью. Говорю проводнице: «Здравствуйте, ласточка, гутен морген» — и поднимаюсь в вагон. Захожу в купе. Там сидит, поверь мне, очень красивая дама лет сорока трех и, не отреагировав на мое появление, читает журнал. Отдаю честь. Получаю холодный кивок в ответ. Это я люблю-с! Это уже интересно, Коля! Сажусь напротив. Снимаю фуражку. Незаметно принохиваюсь, пахнут ли мои ноги. Я ужасно

ненавижу в купе свои и особенно чужие запахи. Все правильно. Каждый жест — мой. Ни к чему не могу придраться. Строго и холодно выхожу в проход вагона. Смотрю в окно два часа подряд, пока дама не начинает нервничать, почему это я не возвращаюсь.

Возвращаюсь. Молча открываю чемодан. Достая кобальт «Ереван», икру, лимон, раскладываю все это, с ее позволения, на столе и спрашиваю по-немецки, не делает ли она мне милость и честь, не выпьет ли со мной и не откушает ли, чего бог послал. «Странно слышать, когда военные говорят о Боге», — отвечает дама и, к некоторому моему сожалению, жестом старой бляди с ходу берет стакан в руку. Выпили. Представились. Я что-то сказал и вдруг чихнул. А я ведь, Коля, ни разу в жизни не чихал. Вот так, не удивляйся. Не чихал — и все, и не знаю почему. Не приставай, пожалуйста, с расспросами. У меня и так комплекс. Я завидую всем чихающим людям и даже любил одну ласточку только за то, что она чихала по семнадцать раз подряд. Неспособность чихать — моя основная особая примета. И Кидалла про нее не знал. Не знал, потому что и ему, и всем властям мира совершенно наплевать, умею я чихать или нет. На это как раз и напоролся Кидалла. И надо же, Коля, я просек наконец, что это не я на экране в самом интересном и приятном для себя месте, и испытал настоящую муку. Потому что смотреть, как какой-то туфтовый Фан Фаныч садится рядом с дамой, расстегивает постепенно пуговицы на генеральском мундире и при торможении хватается как будто за ее коленку, совершенно невыносимо.

Надо же узнать не себя в самом интересном месте! Вот как они научились издеваться над человеческим «Я», падлы!

А потом мне уже неинтересно было глядеть, как генерал Фан Фаныч жил на квартире у охмуренной жены старого коммуниста-подпольщика, как она повезла его в пограничную родную свою деревню, как убита была, верней, отравлена в лесу цианистым калием и, умирая, успела на трех языках сказать: «Люди! Будьте же бдительны!» Все это уж было неинтересно. Это была к тому же бездарная неправда, и суд, Коля, приступил к моему допросу представителями союзных республик.



Грузин. Скажи, кацо, тебя мама родила?

Я. Мама. Лидия Андреевна.

Украинец. Тебе что, баб мало?

Я. Пока существует империализм, будут существовать и половые извращения, дорогие товарищи!

Эстонец. Каких вы еще имели домашних животных?

Я. Индюшку, журавля, кошку Пэгги и мерина Грыжу.

Прокурор. Прошу занести в протокол, что журавль — животное не домашнее. Грыжа — имя кобылье.

Русская. Неужели вам не было жалко Джемму, когда после сношения вы клали гранату в ее авоську, то есть в сумку?

Я. Мне необходимо было уничтожить все улики. Секс и мораль несовместимы.

Армянин. Кому ты посвятил свое преступление?

Я. Трумэну, Чан Кайши, Черчиллю и маршалу Тито.

Узбек. Ты угощал кенгуру пловом?

Я. Нет, я его не умею готовить.

Защитник. Прошу занести в протокол это смягчающее вину обстоятельство.

Прокурор. Как фамилия человека или имя животного, впервые пробудившего в вас половое чувство?

Я. Сталин Иосиф Виссарионович.

## 6

Коля, ну их на хрен, эти вопросы. Перейдем к слушанию сторон. На следующий день после лекции о международном положении выступил прокурор.

— Дорогие товарищи судьи! Дорогие товарищи! Дорогой подсудимый! Вот уже несколько дней нам с вами трудно переоценить все, что здесь происходит. Мы присутствуем на процессе будущего. Мы судим гражданина Йорка Х.У. за преступление, впервые в судебной практике человечества смоделированное ЭВМ на основании всех данных о параметрах априорно-преступной личности подсудимого. Мы судим гражданина Йорка за предсказанное машиной, совершенное человеком и раскрытое нашими славными чекистами преступление. (Бурная овация. Все встают.) Творчески развивая учение Маркса о праве, мы высвободили свои карающие руки из кандалов, образно выражаясь, процессуальных зако-

рючек. Мы сделали предварительное следствие весомым, грубым, а главное, как сказал поэт, зримым. Зримым и, следовательно, понятным народу. Сколько лет, товарищи, киноискусство, это, по словам Ильича, важнейшее из искусств, находилось, по сути дела, в стороне от очищения общества от потенциальных врагов всех мастей? Много лет. Сегодня все мы — свидетели величайшего историко-правового акта конвергенции жизни и искусства социалистического реализма. Мы докладываем нашей родной партии, родному правительству и лично родному Сталину, что нами еще до вынесения приговора успешно решена проблема преступления и наказания. Мы счастливы также, что все прогрессивно-простые люди доброй воли, стонущие под игом капитала, рукоплещут нашим достижениям. Они с надеждой ждут того часа, когда и в их странах пролетариат, взявший власть в свои руки, заложит фундамент новой жизни. Жизни, в которой уже не будет места преступлениям, где восторжествует, товарищи, Наказание с большой буквы! (*Бурные овации. Все садятся.*) Особенно отрадно видеть в этом зале чудесные, окрыленные надеждой лица представителей компартий и народно-освободительных движений всего мира. Ведь мы и для них, не щадя сил, не жалея времени, создавали новую прекрасную, можно сказать, идеальную правовую модель, товарищи! (*Общий крик: «Мир! Дружба!»*) Кроме того, мы докладываем партии и народу о том, что в ходе судебного заседания нами были проведены психофизические эксперименты. Мы получили важнейшие данные о ритмике восприятия подсудимым обвинительного заключения, о реакциях на вопросы представителей союзных республик, то есть, по сути дела, всего советского народа. Советские юристы в содружестве с инженерами, учеными разных отраслей наук, с подсудимым и конвоем открыли целый ряд новых биотоков, возникающих в мозгу и особенно в верхних конечностях преступника, впавшего в состояние агрессивной ненависти к следствию, суду и обвинению. Мы исследовали элементы сексуальной расхлябанности, душевной подавленности и беспричинного веселья. Нами успешно испытан после ликвидации аварии PPP — регистратор реактивного раскаяния. Можно сме-

ло утверждать, что под влиянием увиденного и услышанного, под влиянием всего юридического, эстетического и политического комплекса средств, воздействующих на психику подсудимого, в ней зарегистрированы импульсы раскаяния и рассасывания структур рецидивизма. По нашему представлению Х.У. Йорк за добросовестное участие в эксперименте награжден значком «Отличник советской юстиции»!

Конечно, Коля, прокурор с желто-черными зубами раскинул чернуху насчет раскаяния. После того как я оторвал датчик РРР с проводами, его присобачили снова, но раскаялся-то я не в убийстве и изнасиловании кенгуру, а в том, что, рванина, сочинял в третьей комфортабельной от не хера делать сценарий процесса. Не мог я себе это простить, старая проказа! Прокурор же дерьмо и вообще мертвый труп. А защитничек довел меня своим выступлением до смеха и бурных аплодисментов.

— Товарищи! В стране, уже вплотную подошедшей к коммунизму, институт адвокатуры давно должен стать одним из орудий борьбы с преступностью. В понимании Маркса — Ленина — Сталина защищать — это значит нападать! Свершилось! У защиты нет слов. Я с омерзением вспоминаю ряд догм, мрачно сковывавших в течение сорока лет мою адвокатскую деятельность. Теперь все это позади! Прокуратура и адвокатура, дружно взявшись за руки, выходят на большую дорогу! Зеленого им света! Я кончил!

Эта фраерюга упала, Коля, в кресло и затряслась от рыданий, а я хохотал, пока начальник конвоя не приказал мне выжрать флакон валерьянки. Но все равно Фан Фанычу было радостно и весело, потому что я знал, что я — это я, а процесс — всего-навсего процесс будущего. А как действительно будет в будущем, нам знать опять-таки и нельзя, и не надо.

— Подсудимый Йорк! Вам предоставляется последнее слово!

Я встал. Облокотился о барьер из карельской березы, взглянул в симпатичные карие глаза отполированных сучков и внезапно почувствовал, Коля, — ужасно, до того, что скулы свело от охотки, захотелось пивка. Захотелось пивка, и вместе с тем я задумался почему-то над

смыслом предоставленного мне права сказать последнее слово. Собственно, почему последнее? И кому его сказать, последнее слово? Вам? Унтам? Косовороткам? Папахам? Черкескам? Ширинкам? Халатам и кинжалам? Тебе, черно-желтые зубы? Тебе, фраерюга-защитничек с большой дороги? Мышке, шуршащей страницами пришитого мне дела? Представителям стран народной демократии и братских компартий? Может быть, конвоем и Кидалле? Или политбюро во главе со Сталиным? Так кому же мне сказать свое последнее слово?

Если здорово повезет, последние слова говорят, умирая, маме, папе, детям, жене, подруге, кирюхе или дедушке-священнослужителю. Даже в глаза палачу-работяге вполне допустимо сказать свое последнее, прекрасное и великое, независимо от того, какое именно, единственное слово, и слово в тот самый миг будет — жизнь. Но сказать последнее слово им? Нет, Коля! Это совершенно невозможно. Жамэ! Я сказал сам себе: «Ты виновен в том, что сочинил от смертной скуки черновик сценария процесса. Получай по заслугам, рванина!» Затем я покачал головой в знак того, что болтовня ни к чему, все и так ясно, а сам слюнки глотаю: скорей бы в буфет! Помотал головой и сел на скамью. Овацию мне устроили и даже встали. Встали и, обскакивая друг друга, рванули в буфет. Это рванули несознательные зрители. А весь состав суда, вонючие стороны, журналисты, писатели, академики, генералы жмут друг другу руки, целуются, и какой-то репортер, как на хоккее, вопит в микрофон: «По-бе-е-едаааа!!! Вел репортаж с судебного процесса будущего Николай Озеров. До новых встреч в эфире, товарищи!»

Мы, то есть я и конвой, когда отключили мои подошвы от электромагнита, вышли через спецдверь в спецбуфет. Буфет, Коля! И кто бы, ты думал, торговал в том буфете? Да! Проститутка Нюрка! Подвел меня к буфету конвой, бухгалтер процесса Нина Ивановна выдала по ведомости металлический рубль с папаней государства на решке, и я говорю Нюрке:

— Бутылку «Рижского» и бутербродик с колбасой.

Нюрка делает вид, что меня не узнает:

— С собой будете пить или здесь?

— Здесь.

Тогда достает кружку, гадина, чтобы я ее посуду не хапнул, выливает в кружку пиво из бутылки, но пиво из-за пены не вмещается, и Нюрка говорит:

— Ждите отстоя.

Я говорю, что могу и это сначала выпить, а она потом дольет.

Но Нюрка говорит:

— Кружка, подсудимый, должна быть кружкой. А то вы эту выпьете и скажете: почему неполная кружка? А я доказывай ОБХСС что к чему. Так что ждите.

И кружку, Коля, мне не дает. Наслаждаясь, продолжает унижать. Жду. Третий звонок в фойе. Но пена бутылочного пива плотная, не такая, как у разливного. Не садится пена, и все дела. У меня в горле пересохло, слюни текут, конвой толкает: пошли. Я говорю:

— Падла позорная, дай я из горлышка попью!

— Нет, подсудимый, не положено. Здесь у нас процесс будущего, а не подворотня у «Хворума». Идите. Оposля приговора придетя.

— А если пиво выдохнется, — вежливо спрашиваю, — и станет теплым, как моча верблюда в пустыне?

— Тогда я вам в будущем новую бутылку открою.

— Опять, значит, ждать будущего?

— Да, ждать. Я не виновата, что пиво с пеной выпускают. В будущем, может, и без пены что-нибудь придумают.

— Хорошо. Дайте мне бутылку с собой и получите за эту.

— С собой не положено, — говорит конвой.

— Тогда дайте хоть бутербродик с колбаской, — тихо прошу я и чуть не плачу.

— Бутерброды мы без пива не даем. С алкоголизмом боремся, — говорит гунявая Нюрка.

Вот как закрутили душу в муку!

Администратор Аркадий Семенович, маленький такой, юркий, уже семенит ко мне и тоненько кричит:

— Фан Фаныч, дорогой, ну где же вы? Зал ждет! Люди топчут!

— Пускай, — говорю, — журнал без меня начинают.

— Нет! Нет! Без вас не можем. Все-таки это ваш процесс, а не наш! На скамью, дорогой, на скамью!

Ты представляешь, Коля, я в некотором роде аристократ, я не могу перед парчушками нервничать и злиться, не могу метать икру и качать права, но и ты войди в мое положение: я от последнего слова отказался для того, чтобы побыстрее выпить перед этапом, перед бог знает чем, может, последний раз в жизни холодного пива выпить и пожевать бутерброд с полтавской колбаской! А эта сучка тухлая пытается меня! Эта мразь надо мной изгаляется перед вынесением приговора! Так я и ушел, не пимши, не емши, его дослушивать. Нюрка мне вслед прошипела:

— Баб надо было харить, а не кенгуру! Уродина!

И я, Коля, сейчас предлагаю выпить за то, чтобы всем животным в зоопарке вовремя и вволю давали есть и пить!

Захожу в зал. Полутьма. Все уже на местах. Щелк — подключились магниты к подошвам. Судейский стол и кресло с гербом во время перерыва отодвинули в сторону, и за ним, Коля, открылась прозрачная стена. Впервые опять-таки в истории мы могли наблюдать, как судьи выносят приговор в своей совещательной комнате. Председательница, мышка-бабенка, заплетала перед зеркалом тоненьку косицу, держа в зубах шпильки, и слушала, что ей втолковывала старая смрадная заседательница. Я тоже с интересом слушал. Оказывается, такие люди, как я, убили во время коллективизации ее мужа только за то, что у него было партийное чутье на кулацкие тайники с зерном, и за то, что после конфискации зерна в какой-то деревне Каменке умерли от голода все кулацкие дети. Партию необходимо уговорить заменить мне тюремное заключение расстрелом. Тем более, я еще в юности плевал (смотри лист дела номер 10) на энтузиазм двадцатых годов, растлевал журавлей, цинично используя особенности их конституции, и не остановился даже перед кошкой и меринком.

Не выпуская шпилек изо рта, мышка переспросила, о какой такой журавлиной конституции идет речь, если всем известно, что в природе существует одна не фиктивная конституция — Сталинская?

Старую дуру так перекосило, но и ей было ясно, что о конституции лучше не спорить. Когда здоровенный де-

тина в кирзе — заседатель — первый раз за весь процесс вякнул: «За журавля не надо бы расстреливать. Пускай в болоте журавль живет, а не расхаживает по деревне. Сам виноват, что влупили ему!» — старуха презрительно отошла от кирзы и повела носом, как будто он испортил воздух.

— Я — за расстрел, — продолжала она. — Поймите, этого ждут все борцы за мир, все соответствующие нам энтузиасты. Если мы проявим мягкотелость, то пример Йорка может стать заразительным. Взгляните на молодежь! Она уже страстно жаждет разложения, она ловит забрасываемые к нам с Запада миазмы распада! Сегодня — кенгуру, завтра — лошадь Пржевальского, потом — и мы не должны закрывать на это глаза — гиббоны, гориллы, одним словом, приматы. Что же дальше? Мы, люди?

— По мне, расстреливать надо не Йорка, а сторожа зоопарка. Из-за таких, как он, Чапаев погиб. Спать на посту не положено, — сказал заседатель. — А мерину, может, приятно было такое человеческое отношение. За мерина расстреливать не будем. Остается пегая кошка...

Мышка-бабенка остановила симпатичного мне кирзу. Воткнула в голову все шпильки и просветила наконец своих коллег:

— Не забывайте, товарищи, о том, что у нас в стране отменена смертная казнь. У нас не хватает рабочих рук, а восстанавливать народное хозяйство надо!

Я, Коля, первый ударил в ладоши. Уж очень было мне интересно и весело, и всерьез о расстреле я думать не мог. Ведь Сталин дернул после войны всех членов политбюро на заседание, выпили, закусили, и говорит:

— Как ты думаешь, Вячеслав, куда я сейчас гну?

— К локальной и глобальной конфронтации с империализмом, — отвечает Молотов. Рыло у него такое плоское, Коля, словно папенька брал Славика в детстве за ноги и колотил головой об стенку. Чуял, во что превратится сынуля.

— А ты как думаешь, Лазарь, куда я гну?

— Ты, Иосиф, всегда гнешь одно, генеральную нашу линию: Москва — коммунизм. Ха-ха-ха!

— А что скажет Жоржик Маленков? Куда я сейчас гну?

— Извините, Иосиф Виссарионович, я простой смертный партийный работник, но, куда бы вы ни гнули, задание будет выполнено.

— Хороший ответ. Догадался, Анастас, куда я все-таки гну?

— Не буду кривить душой, Иосиф, — не знаю, куда ты гнешь. Чувствую: намекаешь на пищевую промышленность. Заверяю партию: народ будет скоро хорошо питаться.

— Двадцать пять лет я от тебя это слышу. Но я не слышу из никого от вас — куда я гну?

— Может быть, имеете, Иосиф Виссарионович, проникновение в Африку? Поближе к антилопе-гну.

— Ты, Никита, всегда был дураком, но делаешь большие успехи и, следовательно, становишься идиотом. (Бурный хохот.) Думать надо не об антилопах, а об анти-советских анекдотах, которые гуляют по руководимому тобой объекту, по Москве. Клим, куда я гну?

— Водородная бомба, Иосиф, будет к твоему семидесятилетию.

— Посмотрим, посмотрим. А ты, Шверник, почему гыбы поджал? Давно орденов никому не вручал? Скучно стало? Я тебе подыщу другую работу! В Министерство мелиорации пойдешь! В твоей приемной — бардак! Плачут женщины и дети! А для тебя их слезы — вода? Вот и займешься мелиорацией. Председатель сраный. Скажи им, Лаврентий, куда я гну. По пенсне вижу, что знаешь. Скажи, не бойся.

— По-моему, ты гнешь к тому, чтобы отменить смертную казнь, — сказал Берия.

— Верно. Гну. Пляши, Никита, от радости. А мы похлопаем в ладоши. Шире круг!

Сплясал Никита, а сам про себя думает: «Ведь зверь, а не человек! Чистый зверь, и рожа дробью помята! Ну, погоди!»

Сталин же пояснил, что он лично никогда не забывает о людях, и пора перестать их расстреливать.

— Расстрелять кого-либо вообще никогда не поздно. Но временно надо это дело прекратить, потому что советские люди первыми в мире строят коммунизм и с непривычки не хотят работать. Опаздывают. Прогуливают. Во-



руют на всех участках всенародной стройки. Зачем же расстреливать рабочую силу? Разве у нас мало бывших военнопленных и предателей с оккупированных территорий? Вместо того чтобы посылать в урановые рудники Стаханова, — сказал Сталин, — давайте пошлем туда врага. Хватит крови. Давайте превратим кровь в труд. Потому что коммунизм — наше общее кровное дело! А урановая руда, новые ГЭС, заводы, шахты и бомбардировщики — это щит коммунизма. Пусть его куют наши враги. Хватит расстрелов. Нужно работать. Но не нужно путать расстрел и пиф-паф. Ты меня понял, Лаврентий? Давайте мечтать, товарищи, о тех временах, когда мы пересаживаем всех врагов и начнем сажать деревья.

В общем, Коля, чего мне было беспокоиться, когда старая падла, член с 1905 года, требовала у мышки-судьи моего расстрела? Отменил Сталин расстрел — и все дела.

Но эта ехидна возьми и заяви судье с некоторой даже угрозой:

— По-моему, вы запамятовали, что у нас процесс будущего. Партия, несомненно, рассматривает недавнюю отмену смертной казни как временную меру. В будущем, когда мы выполним народно-хозяйственные планы, расстрел непременно восстановят в правах. Ну что вы, Владлена Феликсовна! И не сомневайтесь, голубушка! На вас прямо лица нет. Давайте его расстреляем! Будущее надо делать сегодня!

— Раз такое колесо, можно и расстрелять. Это нас не лимитирует, — соглашается кирзовая харя.

В зале, Коля, мертвая тишина. Да и сам я, между нами, ни жив ни мертв. Только частушка одна — от кулака в Казахстане я ее слышал — мельгешит в мозгу не ко времени:

Ты не плачь, милая,  
Не рыдай, дурочка,  
На расстрел меня ведет  
Диктатурочка.

Вот, значит, какой оборот ты мне устроил, товарищ Кидалла! Ваша берет. Молчу. Не вертухаюсь. Ваша бе-

рет. Надеяться мне не на что. Не войдет в этот зал добрый доктор в белой шапочке и не скажет: «Ну-с, больные, а теперь извольте разойтись по своим палатам. Харитон Устинович Йорк, он же Фан Фаныч, пожалуйста, на выписку. Хватит, батенька, играть в массовый психоз!»

Вот, значит, какой оборот, вот, значит, как кончается на глазах омерзительной шоблы моя жизнь. Кто бы думал, Коля, кто бы думал... А мышка бегают по совещательной комнате, переговаривается с кирзой и старухой. О чем — не слышно, потому что зал хлопает в ладоши и, не переставая, скандирует: «Рас-стре-лять! Рас-стре-лять!»

Вот въехал электрокар, а на нем куча писем и телеграмм суду с личными и коллективными просьбами стереть меня с лица земли. Втолкнули тележку в совещаловку, смрадная старуха просьбы читает, плача от счастья и родства с народом, с партией, с комсомолом, с деятелями литературы и искусства. И кирза читает, и тычут они оба письмами в мышку. А я сижу и гадаю теперь уже о том, каким способом меня уделают: отравят или шмальнут? Думаю: менее хлопотно, если отравят. Затем решаю, что они же не сделают это из гуманных соображений незаметно. Схавал миску перловки — и кранты. Они же обязательно напоследок вымотают тело и душу. Пускай лучше шмаляют, как в старые добрые времена. Только интересно, сижу и соображаю, что я раньше почувствую — пиф-паф или удар в затылок? Соображаю и стараюсь убить в себе нерв жизни, чтобы ничего не вспоминать, не сопливиться, чтобы ни о чем не жалеть, никого не хаять и никого не любить. Скорей бы душа моя улетела из этого грязного, зловонного общежития... На третий день будет первая у нее остановка. Попьет душа чайку на полустанке с мягким бубликом, погрызет сахарную помадку. Никого, ни одной души, кроме моей, не будет в буфете. А на девятый день ты, моя милая, одиноко пообедаешь в холодном кабаке, но борщ будет горячим и баранина с гречневой кашей, как при царе. Ешь, деточка, грейся, лететь тебе еще больше месяца, без единой остановки сорок ден, так что ешь и грейся, киселя попей и закури на дорожку. А

вот когда прилетишь на сороковой день, душа моя, неизвестно куда, тогда...

— Су-уд и-и-идет! — пропел Максим Дормидонтович Михайлов, и все мы вскочили на ноги. Приговор, Коля! Но читала его не мышка Владлена Феликсовна, она с падлой и кирзой просто стояла за столом, а Юрий Левитан читал:

— Работают все радиостанции Советского Союза! — Я весь треп мимо ушей пропустил. — В том, что он... руководствуясь... Не-ви-но-вен... отпиливание рога носорога... освободить из-под стражи... дело направить на дальнейшее рассмотрение в городах-героях... В преступлении... в ночь... зверски изнасиловал и убил... граната-лимонка... материалами дела и показаниями свидетелей... полностью изобличен. Двадцать пять лет лишения свободы... учитывая многочисленные просьбы трудящихся, руководствуясь революционностью советского уголовного права... Йорка Харитона Устиновича, родившегося... высшая мера наказания: расстрел!

Расстрел, Коля, расстрел. Только не надо, дорогой, делать круглые шнифты, не надо удивляться и хрипло доказывать мне, что закон не имеет обратной силы. Не надо. Это буржуазные законы не имеют обратной силы. А для нас закон — не догма, а руководство к действию. И все дела.

— Подсудимый Йорк! Вам ясен приговор суда?

— Замечательный приговор. Я такого не ожидал. Прошу суд ходатайствовать перед Сталиным о смертной казни через развешивание меня в столицах союзных республик, а также в городах-героях. Спасибо вам всем, дорогие товарищи неподсудимые! До встречи в эфире!

Брякнул, Коля, я все это, а они тихо зааплодировали. Только два хмыря — режиссеры — бегали по рядам и сердито заменяли улыбочки и ухмылочки скорбными выражениями лиц. Дети преподнесли мне роскошное издание «Ленин и Сталин о праве». Затем въехали в зал два электрокара, доверху нагруженные памятными папками красно-черного цвета с «молниями» наискосок. Их раздали зрителям, и заиграла веселая музыка, попури из произведений Дунаевского. «Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы!»

Увел меня конвой в камеру-лабораторию. Я отказался от стакана спирта. Не стал обедать. Расписался в журнале опытов и дал подписку о неразглашении.

— Кому же, — говорю, — мне там разглашать?

— Ну, мало ли что бывает. Такое правило.

Поставил я подписи еще в каких-то ведомостях и актах о выходе из строя нескольких приборов. По просьбе лаборантов написал докладную записку министру среднего машиностроения о том, что, желая напоследок подгадить стране, хватанул стальным брусом по бутылке спирта. Списали ее тут же и выжрали.

## 8

Простить себе, Коля, не могу, что, когда обговаривал с Кидаллой условия, попросил отправить меня в лагерь с особо опасными врагами советской власти, бравшими Зимний, и с соратниками Ильича, которых подловили в тридцать седьмом.

Отошел я от наркоза в кузове трехтонки. Катаюсь по кузову в черном бушлате, на ногах кирза, на грабках брезентовые рукавички, на стриженной, на бедной моей голове солдатская, фронтовая еще, ушаночка с дыркой на лбу и за ухом. Ветер в этой дырке свистит. Сентябрь. Тоска на земле. Даже выглядывать из кузова неохота. Знаю: на воде, по черным полям поземка метет, белая, как глаза у Кидаллы, и вдалеке нечастые огоньки на вахтах мерцают.

Приехали. Растрясло меня на колдобинах. Печенка — в одном углу кузова, мочевого пузырь — в другом, в остальных — руки, ноги. Вылезаю. Отдолдонил: «Он же, он же, он же, он же Харитон Устиныч Йорк, пятьдесят восьмая, через скотоложство с подрывом валютного состояния Родины... по рукам, по рогам, по ногам и тэ дэ».

Вышел поглядеть на меня сам кум.

— Прошу, — говорю, — нары в правом дальнем углу и в теплом бараке.

Тут кум меня спрашивает:

— Упираться, чума, будешь? Говори сразу!

— Всегда, — говорю, — готов, но надо суток трое оклемаваться после общего наркоза.

Короче, Коля, так я истосковался в своей третьей комфортабельной по отвратительным человеческим лицам,

что растрекался неимоверно. К тому же отогрелся на вахте. Кум на всякий случай кое-что из моего треканья записал.

И прошел я в барак веселый оттого, что я живой, руки-ноги кукарекают, небо сияет по-прежнему над головой, земля, хоть и казенная, носить меня продолжает, и, главное, самое страшное позади, а впереди что будет, то будет, спасибо тебе, ангел-хранитель, друг любезный, и прости за выпавшее на твою долю трудное дело: вырвать такого окаянного человека, как я, из дьявольских лап уныния и смерти!..

Вхожу, значит, в барак вместе с кумом Дзюбой. Глаза у него были темно-карие, а белки желто-красные. Он напоследок сказал, что если начну чумить, то он быстро приделает мне заячьи уши, потому что лично расстрелял и заставил повеситься от невыносимости следствия тысячу девятьсот тридцать семь человек в честь того замечательного года и не дрогнет перед тридцать восьмым, хотя ушел вот уж как год в отставку.

Пока мы шли в барак по зоне, я успел спросить, были ли среди расстрелянных Дзюбой врагов знаменитые люди? Оказалось, что были. Каменев, Розенгольц, Блюхер, граф Шереметьев, графиня Орлова, сыновья Дурново и, в общем, все большие представители высшего дворянства и священники.

Входим в барак. Все встают, как в первом классе, только медленно. Дзюба говорит:

— Вот вам староста, фашистские падлы! Выкладывают международные арены, пока шмон не устроил, сутки в забое продержу!!! Живо!

Смотрю, таранят несколько зеков какие-то дощечки и тряпочки с какими-то стрелками и кружочками. Они на этих дощечках и тряпочках, поскольку жить не могли без политики, занимались расстановкой сил на международной арене.

— Сколько можно напоминать, проститутки, что азартные игры запрещены? Фишек не вижу! Живо сюда свои монополии, концерны, картели, колонии, буржуазные партии и так далее... Экономический кризис капитализма опять притырили? Не дождетесь нашего поражения, сколько бы вы ни тешили себя на нарах! Расста-

новка сил на международной арене снова в нашу, а не в вашу пользу! Поняли, кадетские хари и эсерские рожи? У нас бомба водородная появилась! Съели, гаденьши?

Ты бы посмотрел, Коля, что стало при этом известии твориться в бараке! Эти зачуханные, опухшие, седые, худые, голодные, бледные зеки заплясали от радости, начали трясти друг другу руки, обниматься, целоваться, а один, жилистый такой, с бородкой и в пенсне, слезы вытирает и говорит Дзюбе:

— Да поймите вы наконец, гражданин надзиратель, что у вас и у нас одна конечная цель — мировая коммуна, и если мы разыгрываем на самодельных международных аренах классовые бои, то это исключительно из желания, чтобы некоторые наши тактические и стратегические задумки стали оружием в борьбе пролетариата против фашизма и капитала. Поймите и то, что мы приподнялись над личными трагедиями, над наветами, над самой страшной для человека нового типа из всех земных мук — мукой отлучения от партии и ее дел. Приподнялись ради веры в объективный ход истории, ради глубокого уважения к неsgiбаемому слуге Исторической Необходимости Сталину. Отошлите наши труды в Цека. Товарищи оценят ваш шаг. Вы окажете неоценимую услугу рабочему движению! И разрешите нам передать приветствие партии в связи со взрывом водородной бомбы.

Дзюба на это отвечает:

— Про взрыв, Чернолюбов, забудь. Тебе не положено иметь информации. А задумки свои стратегические и тактические давай.

Чернолюбов по новой его спрашивает:

— Спасибо. Партийное спасибо. А на наше предложение совершить террористический акт против Тито и его клики пришел ответ?

— Пока нема ответа. Думает партия.

— Странно. Сейчас очень выгодный момент для ликвидации Иуды и превентивного нападения на Югославию. Неужели Цека не понимает, что ревизионизм должен быть уничтожен в зародыше? Скажите, гражданин надзиратель, проект о внедрении в ряды республиканской партии США и консервативной партии Англии наших товарищей отослан Кагановичу?

— Отослан. Разглядывают его. Прикидывают что к чему.

— Как мы все-таки медленно чешемся! Как мы привыкли к тому, что время работает только на нас! И еще один вопрос. Два года тому назад вы сказали, что наш план объявления Америке экономической блокады одобрен Сталиным. Как в таком случае обстоят дела?

— Дела обстоят, как говорят, неплохо. На бирже у них паникуют. В половине штатов рабочие объявили безработицу. Пить начали. А как побросали наши послы яду, который наш этот... ну он еще дуба дал... ага, Хабибулин, то пшеница вся полегла, скот мрет и в Чикаго мясокомбинат прикрыли. Такие дела. Бурлит Америка.

— Вот это радость! Товарищи! Почтим минутой молчания память настоящего партийного химика Хабибулина. Он не дожил двух дней до победы. Ведь это же кризис мировой капиталистической системы!

И опять, Коля, бывшие большевики начали целоваться, а Дзюба говорит:

— Я знаю, Чернолюбов, куда ты, пропадлина, гнешь, но мне мозги зае... трудно. Кто их зае..., тот и дня не проживет. Скидывай портки, вставай раком, вертай из заднего прохода фишку мирного кризиса! Вот так! Ты гляди! И национально-освободительные движения ухитрился туда же засунуть! И соцреализм вбил! Вот чума! Староста! Как заметишь, что снова гады не спят, а силы на аренах восстанавливают, так с ходу стучи на вахту! Спать, сволочи! Отбой!

Отвалил Дзюба, а Чернолюбов, Коля, подходит ко мне и руку протягивает:

— Вы давно с воли, товарищ?

Я отвечаю, что уже полгода как захомутали, и тогда они на меня, как мураши на палого жучка, накинудись и давай тормозить: «Что нового?.. Что нового?.. О чем думает ленинградская партийная организация? По-прежнему ли кадры решают все? Издают ли Маяковского? Большие ли очереди в Мавзолей? Скажите, как Сталин? По-прежнему ли Микоян курирует еду и экспорт, а Каганович — Украину и метро? А как молодежь? Будьте добры, товарищ, пару слов об энтузиазме масс и международном положении, будьте добры! И главное, пони-

мают ли так называемый свободный мир, куда он катится?»

Надо сказать, Коля, что режим у этих фраеров был сверхстрогим. Они ни хрена не слушали радио и забыли, что такое газета «Правда». Ну, я и понес им парашу за парашей.

— Черчилля, — говорю, — судят в Мосгорсуде за Фултонскую речь, а в Швейцарии к власти пришли люди с чистой совестью — украинские партизаны-разведчики, и весь почти мировой капитал теперь наш. Ну, что еще? Еще ленинградская организация думает, что ее вовремя и совершенно верно обезглавили. А над Африкой летают наши воздушные шары и кидают вниз призывы резать белых колонизаторов. Латинская Америка бурлит. Все обречено на провал. Основным фактором этого провала является образование Китайской Народной Республики.

Ну, Коля, тут они совсем очумели.

— Он был прав!.. Ильич был прав!.. Все-таки Джугашвили, при всем его хамстве, — гениальный практик! Ура! Надо сделать из простыни мировую арену и взглянуть, что же это теперь у нас получается! Поем про себя «Интернационал»!!!

Это сказал Чернолюбов, и все они, Коля, встали обалдело, по щекам слезы текут, по горлам кадыки так и ходят, кого-то на нары уложили — сердце схватило, но допели про себя свой гимн до конца. Допели, Чернолюбов, жилистый, желтолицый, партийное собрание открыл. Выбрали они почетный президиум в составе Кырлы Мырлы, Энгельса, Ленина, Сталина, Бухарина, Буденного, Жака Дюкло, Тореза, Тольятти, Мао Цзэдуна, Николая Островского и Ежова. Резолюцию приняли: одобрить деятельность политбюро. Голосовали — кто «за», кто «против». Воду из чайника выступавшие пили. Все чин по чину. Хлебом, я понял, их не корми, а дай посидеть на собрании. Потом Чернолюбов мне говорит, чтобы я рассказал партгруппе о себе.

— Ну, я, — говорю, — буду краток: ваш ум, вашу честь и совесть вашей эпохи я в гробу видел в красных тапочках. Мир переделывать никогда не желал. Милостей у природы силой не брал. Экспроприировал только лишнее у сильных мира сего. Двигал фуфло многим государ-



ствам, но людям зла не причинил, хотя знаю шесть с половиной языков. Принципиально не участвую в строительстве сомнительного будущего. Оставил на свободе музей бумажников, портфелей и моноклей выдающихся политических деятелей Польши, Румынии, Англии, Японии, Марокко, Германии, Коста-Рики и других стран. Болел три раза триппером. Изнасиловал и зверски убил в Московском зоопарке в ночь с 9 января 1789 года на 14 июля 1905 года кенгуру Джемму, за что и приговорен к четвертаку нарсудом Красной Пресни.

Пошумели они, посовещались и вынесли, Коля, резолюцию, что посадка к старейшим членам партии, бравшим Зимний и бок о бок работавшим с Лениным, уголовника-рецидивиста — злобный цинизм и нарушение Женевской конвенции о чудесном отношении к политическим заключенным.

Потом я им много еще чего натрекал о внутреннем положении, о голодухе, о посадках, о великом полководце всех времен и народов, которого надо бы пустить по делу об убийстве и расчлененке миллионов солдат, о сроках за опоздание на ишачью работу.

Натрекал я им, как простой человек, пока из конца в конец Москвы до работы доедет, намнется в трамваях и редких троллейбусах, перегрызется с такими же затравленными займами и собраниями харями, как он сам, что встает на трудовую вахту в честь выборов в нарсуды злой почище голодного волка. И только из страха, что посадят, поджимает свой хвост и зубы скалит после стакана водяры.

— Зато у нас самая низкая в мире квартплата! — говорит мне, сверкая тупыми глазами, Чернолюбов.

Тут я им, спасителям нашим, врезал кое-что о плотности душ на метр населения в коммуналках и как в комнате невозможно достойно переспать папе с мамой, потому что детишки просыпаются и плачут или же смеются, не понимая душевного, простого и великого, почище, чем рекорд Стаханова, события, происходящего на узкой кровати. Молодым же людям разгуляться негде после свадьбы. Какое же при родне в одной комнате гулево?

— Самая низкая квартплата! Вы бы поглядели, как самые передовые люди планеты глотки друг другу грызут

на кухоньках перед краником одним-единственным. Вы бы поглядели, как они харкают в борщи соседей, шпарят их кипятком, выживают, доносят, травят, песен петь не дают, пустые бутылки воруют. Я сам Зойке клопа перед арестом подкинул из уважения к живому существу. Вы бы поглядели, спецы хреновые по народно-освободительным движениям, как ваши человеки нового типа яростно возненавидели одно только соседство с другими двуногими и сходят от этой ненависти с ума, или же перекашивают их несчастные рыла инсульты и разрывают ожесточившиеся и слабые сердца инфаркты! Вы бы поглядели! А в отдельных, — говорю, — квартирах живут отдельные же товарищи, их по пальцам сосчитать можно, и прочие народные артисты, они же кукрыниксы, они же броненосцы потемкины, они же мистеры твистеры, они же разгромы, они же коммунисты на допросе, они же веселые ребята, они же атомная бомба, танец сабель, короче говоря — утро нашей Родины.

А Чернолюбов все не унимается:

— Весь мир завидует нашему бесплатному медобслуживанию, нашим лекарствам и нашим человеко-койкам! Вы и это отрицаете?

— Да, — говорю, — отрицаю, потому что жил с пятью участковыми врачами, и они мне такого порассказали о бесплатном медобслуживании, что у меня волосы дыбом встали. Ведь у них, — говорю, — времени на больных нету. Они их шуруют быстрее, чем детали на заводе Форда, а за ваше бесплатное обслуживание приходится платить самым дорогим — здоровьем. К тому же если врача долго держит работягу на больничном, то ее в партком дергают, и последнюю мою бабу за саботаж просто посадили: видите ли, вовремя не выписала на работу какого-то бригадира монтажников, они без него запили и к Первому мая Берию и Молотова не успели повесить на ДOME правительства. Так что, — говорю, — помалкивай, Чернолюбов, он же «Что делать?».

Эх, и завизжал он, Коля, забился:

— Энтузиазм двадцатых годов! Энтузиазм тридцатых годов!

А я ему отвечаю, что если энтузиазм двадцатых годов вычесть из энтузиазма тридцатых годов, то остается все-

го-навсего десять лет за контрреволюционную пропаганду и агитацию. И вообще, — говорю, — идиоты, ваше счастье, что играете вы здесь на казенных нарах в игрулечки, в капиталистов-разбойников и в палочку-выручалочку кризиса и ни хрена не знали и не знаете реальной жизни, ибо ваша же партия избавила вас, самых нежных ее членов, от страха смотреть на построенный новый мир с Никемом, ставшим Всемом. Поняли, — говорю, — сохатые? А я специально приехал вам спасибо сказать, потому что кого же мне еще благодарить, как не вас, за все, что происходит с нормальным человеком Фан Фанычем? Историческую необходимость? Ей лапку не пожмешь! И не говори, Чернолюбов, что замысел у тебя был толковый, а исполнение вшивое, и ты за него не ответственный!

Неожиданно, Коля, четыре рыла побросали Чернолюбову свои партбилеты и залегли на нарах.

— И я, — говорю, — с этапа устал, спать хочу, скорей бы утро — снова на работу!

Выпьем, Коля, друг мой, душа моя, за антилоп, обезьян и рыжих лисиц! Если мы с тобой неважно себя в лагерях чувствуем, — то представляешь, каково им? Об этом лучше не думать. Особенно антилопе тяжело. Ей же убежать от львицы надо! А лисичке каково? Ходит нервно из угла в угол, как ходят обычно врожденные мошенники по камере, и вспоминает, рыжая, хитрые свои объебки петушков и курочек. Обезьяне-то один хрен, где в человека превращаться. Но все ж таки, Коля, на воле лучше, а главное, превращение обезьяны в человека на воле происходит гораздо медленней, чем в зоопарке. Проклятое, грешное перед микробами, змеями, бабочками, китами, травками, птицами, слонами, водой, горами и Богом человечество!

Но ты знаешь, заснуть мне в ту первую в лагере ночь Чернолюбов никак не давал. Устроил дискуссию: кончать меня или не кончать. Мое появление, видишь ли, поставило под угрозу единство рядов ихней подпольной партгруппы и внесло в сознание членов бациллу ликвидаторства и правого оппортунизма. И вообще я, Фан Фаныч, собрал в себе, как в капле воды, все худшие и вредоносные взгляды мещанского общества, для которого цель в жизни — в поездке на работу в пустом троллейбусе,

в сидении по целому часу со своими любимыми болячками, сосудами и раками в кабинете врача, во фланировании по магазинам, заваленным продуктами и промтоварами первой и второй необходимости, которую это мешанское общество цинично противопоставило — в своей так называемой душе — необходимости исторической, самой любимой необходимости партии и правительства.

— Господину Йорку и ему подобным господам, — говорит Чернолюбов, — плевать на все трудности наши, плевать на происки реакции, плевать на то, что лучшие сыны народа США брошены в застенки, плевать на трагедию Испании, Португалии и княжества Лихтенштейн. Плевать на раны войны, залечиваемые комсомолом, плевать на шедевральное открытие марксистской экономической мысли — тру-до-день, плевать на план ГОЭЛРО, плевать на ленинскую простоту и скромность, плевать на наши органы, работающие в сложнейших условиях, подчас в темноте и на ощупь, плевать на Вэдээнха, Обэхээсэс, Вэцээспээс, Рэсэфэсэрэ, Центросоюз, ИМЛИ, ЦАГИ, ВБОН, МОПР, плевать на Стаханова, на Кожедуба, на Эйзенштейна, на Хачатуряна, на Кукрыниксов, а главное — на голос Юрия Левитана, мировой экономической кризис и Цэпэкио имени Горького. Все взять от партии и не отдать ей ничего, кроме черной неблагодарности за бесплатное медобслуживание и самую низкую в мире смертность и квартплату, — вот, собственно, в двух словах, — говорит Чернолюбов, — цель новой оппозиции. И не мудрено, что она бесится с жиру, разлагается и уже дошла до сожительства с представителями экзотических животных, направленных партией и правительством в зоопарки для сохранения в неволе своих видов от полного уничтожения на свободе сыновьями мультимиллионеров и горе-писателем Хемингуэем. Позволительно, — говорит Чернолюбов, — спросить у господина Йорка, когда он проснется, сколько сребреников получил он от плана Маршалла за бешеную, за ядовитую карикатуру на наши коммунальные квартиры — эти прообразы коммун грядущего? Мы обязаны сейчас же вынести на голосование две резолюции. Первая — о кооптировании в члены ЦК старшего надзирателя Дзюбы, ибо он в сложнейшей внутриполитической ситуации служит связным между нами,

субъективными жертвами объективной исторической ошибки, и сталинским политбюро. Вторая резолюция: мы, старые большевики, с риском для жизни бравшие Зимний и работавшие бок о бок с Ильичем, полны решимости ликвидировать пробравшегося в наши ряды ликвидатора, оппортуниста и злостного кенгуроложца Йорка Харитона Устиновича. Кто «за»? Предлагаю голосовать за обе резолюции сразу.

Подсчитал, Коля, Чернолюбов голоса, протер пенсне, потеревил бородку, и, оказывается, все воздержались. Он один проголосовал за кооптирование в члены ЦК Дзюбы и мою ликвидацию. Проголосовал, спросил уныло собрание: «Что делать?» — и сам же себе ответил: «Делать нечего. Приговор партии будет приведен в исполнение. Мы вынуждены сделать принципиальную уступку нечавщине».

Все же, Коля, интересно мне было побывать, первый и последний раз в жизни, на партсобрании. Конца я его не дождался. Закемарил. Сладко спалось мне на нарах, лучше, чем на тахте, отначенной Ягодой у Рябушинского.

Тут у меня вдруг из левого моего шнифта искры посыпались, очень больно стало, я просыпаюсь, думаю в первый момент, что Чернолюбов покушение на мою особу устроил, и решаю со злости ноги у него выдернуть, поскользну я не либерал какой-нибудь Витте, а нормальный человек Фан Фаныч. Просыпаюсь, значит, окончательно, а в бараке — последний день Помпеи! Света нету, шум стоит, зубы скрипят, хрип.

Зажигаю спичку. Человек двадцать бьются в падучей, в проходах между нарами и отдельно друг на дружке. Совершеннейшая каша, в окно луна светит, на вышках на всякий случай стреляют в эту белую луну, а эпилептики от выстрелов попадали с нар, бьются в падучей, стонут, хрипят, языки перекусывают, зубами скрежещут. Надо им под головы подушки подкладывать, ложками языки прикусанные освобождать, руки-ноги держать, жалеть, испарину со лба вытирать, а Чернолюбов сидит на нарах, покуривает солому из матраца и говорит мне как ни в чем не бывало:

— Эта эпилептическая зараза от Достоевского у нас пошла. Почему мы с Белинским тогда его не ликвидиро-

вали? Не понимаю. Ведь ничего подобного мы бы сейчас с вами не наблюдали.

Пришел надзор с керосиновыми лампами. Стоят мусора, от хохота надрываются, за животы держатся, некоторые даже своих баб и детей привели посмотреть на такое представление. Начали я и еще четверо, побросавших вечером свои партбилеты, успокаивать больных. К утру успокоили. Смотреть на них было страшно. Рыла синие, рты в крови, еле дышат, и несчастные у всех, мертвые уже почти, нечеловеческие глаза. В зрачках по желтой лампочке Ильича. Они зажглись под утро.

Подкемарить, Коля, в ту ночь я так и не успел. Рельса звякнула. Подъем. Птюху притаранили. Потом налили по миске ржавой шелюмки. Подхожу к Чернолюбову и говорю, что если только замечу вторую попытку покушения на мою личность, то вечноголодные вохровские псы обглодают его до самой шкелетины, а обглоданную шкелетину я, освободившись, оттараню в Музей революции. Схавал он мои слова и отвечает, что речь шла действительно обо мне, но не о покушении на меня, а о попытке привлечь к изучению истории партии, которое эквивалентно моей ликвидации и даже еще более эффективно.

— А теперь расскажите, товарищ Йорк, что еще нового на воле? Как Организация Объединенных Наций? По-прежнему ли это послушное орудие действует по указке США, и неужели партия не понимает, что Вышинский — палач и провокатор охраны на трибуне ООН — компрометанс? Ведь мы сами компрометируем себя на каждом шагу!

Тут, Коля, Чернолюбов потрепал меня по плечу, ухмыльнулся, как провинциальный босяк, и говорит:

— Ну, хватит, хватит. Мы раскололи вас. Вы — английский товарищ. Чувствуется почерк Галахера. Большой мастер. Я не удивлюсь, когда узнаю, что английский двор вступил в партию. Где ваш мандат, Йорк?

Тут я с ходу затемнил, разошелся, похвалил всех за то, что не поддались на провокацию и продолжают оставаться крупными деятелями Коминтерна и МОПРа.

— А посажены вы, — говорю, — лично Сталиным по согласованию с Торезом, Тольятти и Тельманом для сохранения ваших жизней. Ибо на воле во всем мире идет

тотальная война на уничтожение старых большевиков, бравших Зимний и работавших бок о бок с Лениным и Свердловым. Даже внутри нашей, — говорю, — страны трудно поддающиеся разоблачению силы не останавливаются ни перед чем. Поэтому план партии вынужден был быть, как всегда, гениальным и простым. Так что от имени политбюро тридцати компартий имею честь передать вам, героям нашего времени, о том, что вы не осуждены. Вы, товарищи, тщательно законспирированы, и ни гестапо, ни ФБР, ни Сюртэ женераль, ни наш Интеллидженс сервис и другие выдающиеся легавки мира не дотянутся кровавыми своими лапами до ваших жизней.

Сначала, Коля, я просто растрекался от злобы и мертвой тоски, но смотрю: разрыдались по новой, слушая меня, мои большевики, за руки взялись, и даже те, которые после групповой падучей закукарекали потихонечку, задышали поглубже, бедняги, глаза у них слегка ожили и синие губы порозовели.

Опять стоят и поют, мычат, от волнения голоса обрываются внутри, свой гимн: «Мы наш, мы новый мир построим...» Пойте, думаю, птички, пойте, стройте на самодельных международных аренах новый мир и перелицовывайте под руководством своего главного закройщика и бухгалтера революции Кырлы Мырлы мир старый.

Давай, Коля, выпьем за всех пойманных и распятых бабочек, и за жуков, и за живых птиц, ставших чучелами, и за то, чтобы нам с тобой никогда не перелицовывать ни старых костюмов, ни старых пальто.

## 9

Между нами, я, мудила из Нижнего Тагила и Вася с Курской аномалии, перелицевал однажды в Берлине в 1929 году и костюм и пальто. Была инфляция. Я куропчить не успевал. Уведу миллион марок, скажем, а они поутрянке превращаются в пшик. Я поистрепался, прихожу к Розе Люксембург и Кырле Либкнехту в гости и спрашиваю:

— Что делать, урки?

Они и посоветовали все перелицевать. Нашли портного, Соломона. Перелицевал он мне пальто и костюм блестяще, Коля! Стали как новенькие. Хожу по Унтер-

ден-Линден с тросточкой, но в душе какое-то странное ощущаю бздюмо. Нету в ней веселой и гордой независимости от временной одежды человека на этой земле. Нету, и все.

Хожу поеживаюсь непонятно отчего и зачем. Словно блоха меня кусает или занозинка колючая пощекочивает. В витринах отражаюсь, оглядываю себя втихаря, перед зеркалом стою, галстук поправляю, а сам пронзаю взглядом пальто и костюм, расколоть их пытаюсь. Что с вами такое стало? Чего вам на мне не живется? Сидите-то чудесно! И выглажены вы, и хризантема притыривает шрам от карманчика — по твоей, Коля, фене, чердачка. Ну что с того, что кое-что левое стало правым и наоборот, правое — левым? Это же моя беда с непривычки пальцы ломать, пока ширинку расстегиваешь. Что с вами, гадины, и с настроением вашим костюмным и пальтовым происходит? Гордо молчат, продолжая сидеть на мне как с иголки. А во мне неуверенность появилась во время работы из-за враждебного такого отношения. Вздрагиваю. Оглядываюсь, когда надо раскидывать по сторонам прямым взглядом своим камердинеров, дворецких и секретарей.

За столом или а-ля фуршет просто не знаю, куда себя девать. Пасу на симфоническом концерте няню Гинденбурга, бриллианты у нее в ушах, слушаю того же Шостаковича — и потею. Спина у меня потеет. Чувствую, что пиджак нарочно это делает, настырничает, тварь, а брюки морально поддерживают его. Собираются в складки на коленках и мотне и шуршат. И карманы шумят, как морские раковины. У-у-у. Ерзаю на своем стуле, откидном к тому же. Откидной стул, Коля, — это окончательное падение и унижение. Какой-то фашист вежливо мне шепчет:

— Вы пришли слушать музыку. Если она вам не нравится, идите в бордель!

Промолчал я. Сдержался. Но открутил с мясом одну пуговицу с пиджака и ущипнул ширинку от невыносимого раздражения. Тут дирижер Тосканини обернулся и палочкой лично мне погрозил: цыц! Я задумался: как он мог, стоя спиной к залу, прокнокать майн кампф со шмутками? Шума же от того, что я открутил пуговицу с



мясом, не было никакого! Брюки не хипежили от внезапной боли, а пиджак не свалился с меня после жуткого крика в обморок! Зеркал никаких перед шнифтами Тосканини не было. «Может, — думаю, — настучал кто-нибудь из оркестрантов?» Нет, все они в свои ноты косяка давят или же от удовольствия закатывают шнифты под потолок. Очень меня удивил дирижер Тосканини.

Костюм меж тем успокоился. Сжался в комочек и плачет. Плачь, сука, плачь! Я тебе еще не такое устрою! Я тебя спичками прижигать буду, если не смиришься! Сгною гадину! Каустиком оболую!

Антракт. В буфет я не пошел. Фланирую по фойе. Монокль вставил. А на меня что-то все кнокают, перешептываются, нагло и издевательски ухмыляются. Костюм, почуяв это, снова поддал спине жару. О подмышках я уж не говорю. Там была парилка. Коленки, Коля, коленки, которые у людей вообще вроде бы не потеют никогда, возьми и исключительно мне назло запотели, прилипли к брюкам. Пришлось руки в карманы засовывать и втихаря брюки одергивать. Так что антракт этот был для меня хуже концерта.

Прислонился я к колонне, смертельно ненавидя свой костюм, а пиджак тем же отвечает, колет сквозь рубашку, подлец, свиной щетиной. Я один борт оттягиваю — меня другой колет! Я стараюсь свободное пространство внутри пиджака обнаружить, чтобы не прикасаться к нему вовсе, искореживаюсь, сам в себя вжимаюсь, третий уже звонок, но ни хера не получается.

Сажусь на свое место. Колется и колется. Все больше щетина ощетинивается, и так она вдруг меня вся разом щекотнула, что я задвигал руками как паровоз, зачесался и громко засмеялся. Зашикали фашисты. Тосканини через плечо снова голову повернул и смерил меня итальянским взглядом, как макаронину какую-нибудь. Оркестр что-то вякнул, и про меня все забыли, слава богу. Только тот же самый жирный фашист прошипел:

— На вашем месте я бы давно был в борделе. Там, повторяю, хорошо!

Я написал записку с понтом от какого-то немца из зала, передал ее бабе фашиста и рванул на выход, потому что, по-моему, Коля, весь зал и Тосканини с оркестром

с интересом смотрели на мой зад. Ведь пиджак что сделал? Приподнялся в плечах, а брюки только того и ждали — влезли в промежность, да так глубоко и крепко, будто я втянул их в себя усилием воли. На ходу нагибаюсь, двигаю всеми мускулами и мясом несчастной моей задницы, но понимаю всей душой — бесполезняк! Зашел за бархатную штору, дернул брючину так, что сам себя больно ущипнул, и обтер лицо той же шторинной. Выглянул из-за нее. Баба фашиста дочитала записку, встала — и бамс ему по рылу. Шумок. Тосканини задрожал от бешенства. Палочку кинул в оркестр... Баба, рыдая, бежит ко мне за шторы — и в дверь. Задела меня бедром и грудью. Кто-то захипежил в зале.

— Пора решительно покончить с выходками социал-демократического отродья. Мы, немцы, всегда славились умением слушать музыку! Мы — нация философов, а не евреев! — Я его рассмотрел: челочка и усики под носом. Черненькие. А муж, которому по рылу попало, завопил, жирная свинья: «Хайль, Питлер!» Я и рванул когти в свою малину на Гегелевском бульваре.

Прибегаю. Снимаю сначала в бешенстве брюки и ими Гретхен свою безо всяких комментариев поступка по харе — хрясть, хрясть, хрясть! Затем пиджаком мух стал гонять. Понимаю, разумеется, что я не прав и омерзителен и виноват перед бедной женщиной и мухами, но ведь так повелось, что все свое зло мы срываем как раз на тех, кто не идет по делу с причинами нашего бешенства, неудач, гонений и мертвой тоски... Топчу ногами костюм. Пена на губах выступила. Лег на диван. Плачу. И она тоже. Оба плачем. С другой стороны, если бы мы срывали зло на истинных виновниках дерьма нашей судьбы, то перед кем же тогда, спрашивается, Коля, мы извинялись бы, замаливали грехи и страдали? Потом бурно помирились.

Утром она погладила костюм. На него смотреть было страшно. Может, думаю, другим станет? Какое там!

При настроении бывал, тварь, вместе с пальто, в холдном и враждебном, но вежливом ко мне отношении, а как закиснут, закуксятся — то повело подлости делать. Пиджак особенно любил тогда терять хризантему или гвоздику, которыми я прикрывал шрам от перелицован-

ного кармана. «Смотрите, мол, мне нечего скрывать! Смотрите! Мне за себя не стыдно! Я пиджак бедный, но честный!»

Нет, Коля! Ты много чего испытал в своей жизни — пересылку Ванинскую прошел, суки на тебя с пиками ходили, в кандеях тебя клопами и голодом морили, в «столыпине» ты тряся и подыхал там же от безводья пострашней, чем в пустыне Сахаре, ибо в пустыне бывают миражи, — но ты, Коля, не испытывал на своей шкуре и, даст бог, никогда не испытает, как шантажируют нормального человека во время инфляции предметы ширпотреба, мать их ети, и продукты питания!

Закадрил я, как теперь говорит молодежь, в чудесном музее одну аристократку. Бедную аристократку. Чтобы выглядеть поэlegantней, она — я с ходу это заметил — тоже проделала со своими шмутками что-то сверххитромудрое. Но бабский туалет, сам понимаешь, гораздо сложнее нашего, и предметов в нем намного больше. Да и кальсоны, скажем, при инфляции заштопать можно, а то и вовсе не носить. Но ты мне ответь — как быть бедной и милой женщине с чулочками? Как ей быть с туфельками? Она же после первой набойки стареет в душе на пять лет, а после второй — сразу на двадцать, и ей тоскливо и неприятно ходить по земле. О штопке на чулочках мы лучше вообще говорить не будем. Штопки эти не заживают в душе у женщины, как раны на наших мужских сердцах, Коля...

Мы вместе с дамочкой любовались сытым натюрмортом, и я сделал вид, что не заметил, как бедная женщина в строгом костюмчике, с лапками, засунутыми в кротовую муфточку, сглотнула слюньки... Оторвала шейку омара и раздумывала, чем бы ее запить... А выбор выпивона и закусона в том натюрморте был богатый. Ах, Коля, как сжалось сердце и как я покраснел, когда просек, что и ее изящный костюмчик перелицован. Перелицован, причем гениально! И расколос это дело один я из всей немецкой толпы! Меня не проведешь!

Некоторая изнанка, когда становится вдруг, ни с того ни с сего, непонятно для нее самой, стороной лицевою, начинается, сучара поганая, держаться с нагловатым шиком и более того — с вызовом. И чем дороже и великолеп-

ней был в прошлом перелицованный материал — габардин, скажем, или ратин какой-нибудь, — тем хамовитей, вызывающе наглей и самостоятельной старается держаться сделавшая неожиданную карьеру на инфляции и на человеческом несчастье подпюхья изнанка. Была она Никем и вдруг стала, так сказать, Всем. Но не забывает, Коля, ни на секунду изнанка в ошеломившей ее радости того, что нет у нее светлого будущего. Нема! И портной не возьмется, да и сам человек не отважится переперелицевать костюмчик или пальтуканчик. Кроме всего прочего, тлен неверной материи не позволит этого сделать. Очень, однако, живучи, Коля, такие вот изнанки. Каким-то образом, то ли благодаря страху неминуемого конца и ежесекундному цеплянию за жизнь или же чудовищной экономической расчетливости, изнанка ухитряется прожить на белом свете гораздо дольше лицевой стороны. Гораздо дольше.

Так вот, сияет от радости новой жизни кремовая мягкая шерсть дамочкиного строгого костюмчика, греют друг друга лапки в кротовой берложке, а сама шкурка, видать, намазана слегка глицерином перед походом в музей, чтобы выглядеть не такой старой и вытертой. Остались мы с дамочкой вдвоем у натюрморта. Дохавали все, что на нем было. Оставили только фазаньи крылышки да макушки ананасов с лимонными кожурками и красные панцири раков и омаров. Дохавали, переглянулись сыто и довольно, и поканал я за ней следом в другие залы.

— Посмотри, позорник, — говорю своему костюму, — как надо себя вести в обществе! Что тебе мешает иметь такой же приличный характер? Ведь дамочкин костюмчик тоже из вашей перелицованной шатии-братии, а как держится! Просто маркиз, барон, мясник и почти генерал-лейтенант!

Молчит костюм. Не хамит. Пиджак на мне уселся поудобней. Лацканы уши свои востренькие к бортам прижали, и перестали пуговицы терзаться, что разлучили их навек со старыми петельками, а обручили с новыми, самозванными. И стрелки на брюках вдруг появились, и спокойно плывут мои брючины, словно лодки по озеру, по очереди обгоняя друг друга. Достоинно, в общем, шагаю.

Но тут, на наше несчастье, приканали мы с дамочкой на экспозицию мужской и дамской одежды девятнадцатого века. Костюмам всяким, Коля, камзолам, накидкам, балдахинам, фракам, дамским платьям, отделанным мехами и камешками, чуть не сто лет, а то и больше, а они, плюя на нас, выглядят веселыми, молодыми и сами себя уважающими вещами. Трогаем мы с дамочкой разные сукна, шелка, бархаты и так далее, как будто мы специалисты-модельеры. Хотим найти и расколоть какую-нибудь перелицованную шмутку. Ищем и не находим! И дамочка вдруг, ни с того ни с сего, прижалась щекой к орденоносной груди черно-золотого талейрановского мундира и горько-горько заплакала.

— Извините, — говорю, — фрау, вы не потеряли чего-либо? — Грустно головкой она помотала. — Вам плохо?

— Мне жаль, что навсегда, что... никогда... что больше никогда ничего... что все ужасно... ужасно... ужасно! — говорит дамочка и платочек роняет.

Веришь, Коля, внутренний голос мне толкует: «Ни в коем случае не нагибайся!» — но ситуация истинно драматическая. Я нагнулся, предчувствуя нечто непоправимое, и так оно, сука, и есть! Лопаются по шву, главное — со злорадным звуком, проклятые брюки мои на самой заднице и торжествуют! Пиджак кричит: «Браво! Браво!»

Разгибаюсь. Несмотря на жалкий стыд и жар в лице, подаю дамочке платочек. Сам притырываю свой зад, свой хуже, чем голый, если как следует разобраться, зад. Что я пережил тогда, Коля!!! Боже мой!!!

— Благодарю. Вы очень любезны.

— Буду рад, — отвечаю, — напомнить вам, фрау, о себе в лучшие времена.

— Вот моя визитная карточка. Ауфидерзеен. Мне дурно от нафталина. Не провожайте меня, прошу вас. Вот английская булавка, — говорит дамочка, ибо просекла случившуюся трагедию.

Поканал к выходу. Делать нечего. Стараюсь сложить половинки брюк поровней. Сложил. Причем притыривал меня манекен гофмаршала австрийского двора в парадной форме. Сложил. Поддеваю булавкой, просунутой через ширинку, половинки эти изнутри, обливаюсь потом от напряжения и вдруг хипежу на весь музей:

— А-а-а! — Это я всади-таки себе в мякоть булавку.

Служитель подходит:

— Вас ист дас?

— В восторге, — говорю, — от экспозиции! Какие моды! Какие вещи! И ни одной перелицованной!

— Увы, это так, — сказал служитель. — Но выражайте, пожалуйста, свой восторг не так бурно. Гут?

— Гут, — говорю я и от отчаяния решаю слинять из музея с рваным тендером. Воли у меня, однако, на этот шаг не хватило. А костюм хохочет тем временем от радости, что больно мне в совершеннейшем унижении, и дергается весь, заходится прямо, и пытается при этом вывернуться наизнанку, вернее — на бывшую свою лицевую сторону, тварь такая! «Ты еще у меня узнаешь, гадина, — говорю пиджаку, — как орать «Браво! Браво!». Ты у меня еще узнаешь и содрогнешься».

Пытаюсь, Коля, еще раз, уже теперь снаружи, приколоть половинку. Действую осторожно. «Неужели, — думаю, — удалось мне однажды взять челюсть с платиновыми зубами и алмазными пломбами у старого барона Брошке, и он этого не заметил, ибо два часа, разинув рот, кнокал в Лувре на Джоконду, а тут не удастся заколоть брюки?»

— О-о-о! — Я все ж таки по новой влупил себе, Коля, булавку. С психу втыкаю ее по самую головку в зад гофмаршала австрийского двора и вмиг, непостижимо почему, выхожу из плебейского состояния во вдохновенное и аристократическое. Именно в таком состоянии нам удастся совершать чудесное в жизни, на опасной работе и еще, пожалуй, в цирке. Я все ж таки эквилибристом бывал... Слева от гофмаршала стоял сам господин Ротшильд в черном, тончайшего сукна костюме с котелком на манекенской роже и с тросточкой в мертвой руке. На табличке так и было написано: «Костюм барона Ротшильда. Из частного собрания кн. Юсупова».

С Ротшильдом мы были примерно одинаковой комплекции. Действуя с азартом, который на самом-то деле, Коля, является веселым страхом, выбираю момент, остаюсь в кальсонах, сволачиваю с Ротшильда брючата, приподняв легонький манекен, и быстро наблочиваю их на себя. Жмут. Узки. Фасон нелепый, но передать тебе, Ко-

ля, что ощутил мой зад и мои ноги от прикосновения тончайшего, бессмертного почти сукна, я не смогу. Не смогу. Свои брюки, скрежеща зубами от ненависти, засовываю под пиджак. Говорю: извините, господин Ротшильд. И намыливаюсь к выходу.

Не спешу. Оглядываюсь. Жалкий вид у могучего финансиста, ни разу в жизни, очевидно, не испытывавшего мучительных отношений со своими шмутками и в гробу видавшего любые инфляции. Жалкий. Но я не торжествую над его посмертным унижением. Я замечаю, как гримаса ужаса исказила черный сюртук, как он пытается сорваться с манекена и броситься за мной и как текут по нему в два ручейка от ужасного горя слезы перламутровых пуговиц. Спазм сдавил мне горло, и я слинял из музея.

Выпьем, Коля, за райскую птицу и за павлина, которому приходится распускать хвост в тюрьме.

Слинял я, значит. Прикандехал домой. Иду к соседям. Сел за швейную машинку и раза четыре, задерживая подолгу иголку в шве, прострочил лопнувшие брюки. «Ну как, — говорю, — приятно, падлы?» Прогладила их опять моя Гретхен, да так, что они слегка задымились. Ожог второй степени! Ротшильдовские брючата притырываю в кладовке.

Вечером, думая о дамочке, иду в советское наше посольство погулять насчет годовщины Великого Октября. Нахавался. Напился. Бывший рабочий класс, перелицованный в дипломатов, умел гужеваться. И костюм мой чувствовал себя в своей тарелке. Беру севрюжки, маслин, сыра и звоню той дамочке, а мне отвечают:

— Два часа назад ее не стало.

Потом уж я узнал, что дамочка отравилась газом... Да, Коля, грустно. Грустно...

Поутрянке читаю в газете объявление: «Возвратившего брюки барона Ротшильда музею тряпок антикварных ждет вознаграждение. Звонить по тел...» Получаю несколько миллиардов, разумеется, подстраховавшись, от дирекции музея. Проедаем их с Гретхен, Кырлой и Розой...

Одежда моя продолжает надо мной изгаляться. Ширинка, где б ты думал, Коля, вдруг расстегнулась и конец

галстука из нее торчал у всех на виду? В посольстве Англии, на дне рождения короля Георга, куда я забежал поужинать. Ты думаешь, я поужинал? Я съел, ты совершенно точно выразился, от х... уши. Подходит ко мне дуайен, высокомерно вскидывает подбородок и своими вонючими глазами высокомерно же что-то маячит. Я сразу не просек, что именно, по сторонам смотрю и на анфилады, а он маячит и маячит... И только я ростбифа кровавого — сутки человек не жрал, дня рождения Георга дожидался — хотел похавать, к губам поднес, ноздрю раздул, как понял наконец этого дуайена, глянул вниз и увидел в ширинке конец галстука. Я слабой от горя рукой отложил двурогую золотую вилку с куском мяса на кусок лосося. Высокомерно дал понять, что сигнал принят. Я, мол, вам за него от всей души благодарен. Сейчас же удаляюсь. Извинитесь за меня перед всеми присутствующими. Привет британской короне.

Смотрю, Коля, перед тем как незаметно и гордо удалиться и капли Зеленина принять в сортире от стука и боли смущенного и стонущего сердца, а за а-ля фуршетом никто не пьет и не хакает. Все на меня давят косяка, и король Георг с портрета тоже. Что я пережил тогда, Коля, что я пережил! Отвалил, опозоренный в глазах берлинских дипломатов.

Роза Люксембург и Карл Либкнехт потом мне объяснили, что надо было хавать и пить как ни в чем не бывало, потому что высший свет хоть и заметит когда-нибудь курьез чужого туалета, но непременно сделает вид, что ничего не видит. Отвела она меня с Карлом к доктору одному. Доктор Фрейд. Добрый, но очень любопытный. Спрашивал даже, любил ли я в детстве нюхать пальцы после ковыряния в попке, грыз ли ногти на ногах, наблюдал ли акт между папой и мамой или ихние различные комбинации с друзьями дома, и велел вспомнить всю мою жизнь, ничего не скрывая ни от него, ни от себя. Пять суток подряд рассказывал я, а костюм и пальто валялись на полу в передней.

Диагноз мой оказался простым: комплекс неполноценности на почве инфляции. Прогулки перед сном. Душ Шарко. Гальванический воротник. В зеркало не смотреться ни в коем случае, ни под каким предлогом.



На следующий день была у меня еще одна беседа с доктором. Но странная штука, Коля: я то и дело возвращаюсь к пальто и костюму, хочу, чтобы обратил на них доктор Фрейд внимание, а он все к детству и к детству. Помню ли, как выскальзывал из чрева и как маменька молоко мне давала, долго ли сидел на горшке, позволял ли котенку играть со своей пиписькой или, наоборот, хотел сварить ее в супе с клецками, а также обменять на куклу с густыми волосами и крохотными трусиками. Вывел он меня из себя, когда спросил, называл ли я шубку жопкой, пасеку — писькой, маму — папой и писал ли на свое отражение в луже.

— Хватит, — говорю, — доктор Фрейд! Может, вы и разбираетесь в ночных горшках и ненормальных людях, но в настроении вещей, с которыми человек живет иногда больше, чем с бабами, не смыслите ни хрена. Рассчитаемся после инфляции. Желаю клиентов.

И ушел. Иду по Мамлакат Наханговой, извини, по Фридрихштрассе. Промокло пальто мое насквозь. Накладные плечи опухли и приподнялись нагло. Издеваются нагло. Издеваются. Но и я шиплю: «Зонтика вам не будет!» По лужам шастаю, брюки мочу, душа из них вон, думаю. Туфли только жалко было. Они ведь ни при чем. Я их даже не чинил ни разу. До пиджака дождь добрался. Идти тяжело стало: столько воды впитали мои проклятые шмутки.

И внезапно, Коля, представил я себя на месте пальто и костюма. На их месте себя я представил. Жили они на мне, помогали работать, согревали, в конце концов, на лучшего из людей делали похожим и, несмотря на преклонный возраст, старались чудесно выглядеть. Они не теряли в старости своей, теперь я это точно знаю, достоинства, и я им был глубоко благодарен. Они же, Коля, вправе были рассчитывать, и безусловно рассчитывали, на нормальный закат своих дней, на гробик, куда нормальный человек Фан Фаныч не засыплет нафталина и где не спеша превратит их бесшумная моль в счастливый прах.

А я, как курва с Казанского вокзала, поддался вместо этого совету Розы с Карлом пойти по легкому пути и преподнес, идиот, служившим мне верой и правдой вещам

подарочек! Я их, болван, перелицевал! Я их, амбал, переделывать отдал портному Соломону!

Гром, Коля, грохочет, молнии расписываются на небе, как следователи на протоколе допроса, и попросил я прощения сначала у пальто, потом у костюма. «Правильно, — говорю, — вы взбунтовались, достоин я вашей жестокой мести и любой приговор близко к сердцу принимаю. Пойдемте выпьем на прощание».

Хлобыстнул я шнапса в тошниловке, с поддачи плачу, гадина, потрекал со смертной душой вещей, которых из-за своей глупости, умных советов и инфляции обрек на унижение насильственной жизни.

— Люди, — говорю, — господа! — Тогда, Коля, в пивных речуги кидали. — Пусть все стареет и умирает в свой час, и даже тело Ленина похоронить надо, за что тело-то проклятыми опилками набивать, взятыми с цирковой арены после укрощения львов, рысей и тигров? Опилки же унижением зверей пахнут и мочой, господа!

Как слышали немцы про Ленина, Коля, так завопили: «Хайль Питлер! Хайль Питлер!» Все перепутали. Сижую. Еще поддал. Рукава родного пиджака слезы мои вытирают, а я убиваюсь, простить себе не могу перелицовки уважаемых вещей. Они подсохли слегка, согрелись, прижались ко мне, ни встать, ни повернуться, и тут, Коля, все в моей природе и в жизни пошло по-другому.

Во-первых, на улице дождь перестал. Во-вторых, в пивную зашел тот самый тип из филармонии, жирная свинья, который по рылу схлопотал, а с ним другой: чelочка, усики, коричневая бабочка под черным плащом. «Хайль Питлер!» Это немцы с кружками поднялись тем двум навстречу. С усиками и говорит им:

— Урки, у меня полный лопатник фанеры. Крупн презентовал на то, чтобы поставить Европу раком. Гуляем! — вешает плащ на спинку стула. На меня не обращает внимания — чего обращать? Сидит себе пьяная рвань и шнапсом наполняется. Смотрю: урки толковище устроили и все насчет мокрых дел. Того, мол, надо замочить, этого заключить, одних сжечь, других заставить шестерить нашей высшей расе.

Не оборачиваюсь. Делаю свой коронный пассаж левой с вывихом плеча. Увожу лопатник с фанерой Круппа

из плаща с усиками и челочкой. Перепулить его, однако, не спешу. Держу под мышкой. Пиджачишко, как живой и верный партнер, притыривает лопатник. «Спасибо, — говорю, — тебе!» — а у урок толковище продолжается. Поливает все больше с усиками и челочкой. Поливает небезынтересно.

— Мне бы, — говорит, — такого зама по мокрым делам, как Сталин, и я за него, сухой мне быть, десять Гитлеров отдам. Помните, урки, — далеко пойдет этот человек. Но ваш фюрер и ему приделает заячьи уши. Он сам своих генералов перепшокает и переведет, а партайгеноссен перемикстурит в лагерях и гестапо. У него гестапо Лубянской называется. Наш человек переслал оттуда чертежи советских концлагерей. Большевикам нельзя отказать в некоторой гениальности, но дело уничтожения ублюдков мы поставим на немецкую ногу... Нам, вождям, господа, жизнь дается всего один раз, и прожить ее бедно, но честно мучительно трудно!.. — Это было последнее, что я услышал, линия. Слинял. Костюм и пальто вели себя при этом просто прекрасно. Понимание ситуации и преданность — восхитительные и братские. Перепулил я лопатник с фанерой, три косых долларов и фунтов в женском сортире в бачок. Прочитал на стене стишки Уолтера Маяковского «Партия — рука миллионнопалая, сжатая в один громящий кулак. Вчера, товарищи, здесь поссал я, и извините, пожалуйста, если что не так». Перепулил я лопатничек фюрера и возвратился. А на меня с ходу бросается жирная свинья Геринг и целует, как родственничка.

— Спасибо, кореш! В филармонии все так прелестно получилось! Благодаря твоей записке от меня насовсем ушла омерзительная любовница. У нее были большие придатки, клитор жесткий, как курок парабеллума, и характер — пакость. Спасибо! Мы, немцы, — нация любовников, а не Гегелей и Кантаровичей.

А в записке, которую я тогда послал свинье, с тем чтобы его дама ее прочитала, было написано, Коля, следующее: «Друг! Неужели тебе нельзя верить? Ты же клялся, что нигде не покажешься с этой тухлятиной! Жду тебя в борделе. Там хо-ро-шо!»

— Спасибо, кореш! Вступай в нашу партию! — предлагает свинья, и просекаю я, что и у него, и у того, что

с усиками, и у остальных рыла сплошь перелицованные. Просекаю изнанку вонючую в ихних речугах и манерах.

— Была бы, — говорю уклончиво Герингу, — партия, а члены найдутся у народа. Вступить никогда не поздно.

— Да здравствует партия! — хипежит с усиками и тоже руку мне жмет. Говорит, что я тогда героически ушел из зала, продемонстрировав отвращение немецкой души к модернистско-марксистской заразе в музыке, и если он, Питлер, возьмет власть в свои руки, то меня сейчас же утвердят директором филармонии и начглавреперткома. Ибо, говорит, что-то мне в тебе нравится, но что именно, никак не соображу. Лицо твое — арийское. Ты, по-моему, астрологией занимаешься?

— Нет, — отвечаю, — я всего-навсего международный, гастрوليрующий из страны в страну урка, то есть гангстер. Упираться не желаю принципиально.

— Как так «упираться»? — не понял фюрер.

— Работать, — говорю, — не желаю, — и поясняю по его просьбе, что в гробу я лично видал строительство как капитализма, так и социализма, потому что все это вместе взятое есть ложный путь человечества и самоубийственный технический прогресс с постепенной смертностью всего живого, воздуха, рек, морей и джунглей. Я к этому своих рук не приложу. Я, говорю, беру лишнее у того, кто заелся. И посему безобиден. Мечтаю стать фермером в Антарктиде, где партий пока никаких нет.

— Это по-нашенски. Это по-вагнеровски! Но ты, Фан Фаныч, ограниченный человек. Ты еще не припер к национал-социализму. Мы, фашисты, твою философию протеста одиночки сделаем философией всех немцев, философией новой Германии. Мы отныкаем лишнее у еврейской плутократии, охомуем большевистскую Россию и перетрясем фамильные сундуки выжившей из ума Европы. Мы, арийцы, погуляем по буфету, а быдло пускай поупирается. Ты в России-то бывал? — спрашивает фюрер и еще ставит мне кружку.

— Бывал, — говорю, — не раз.

— А фюрера ихнего видел, Сталина?

— Встречал, — говорю, — пару раз в Баку и в Тифлисе. Он банки курочил. Почтовые дилижансы брал с партнерами. Неплохой был урка, но ссучился. Генсеком стал.

Ведет себя как падла в камере. Кровь из мужика пьет, дворян кокошит, батюшек изводит. Кровной пайкой не брезгует. Но это еще цветочки. Ягодки у вас обоих впереди.

Тут фюрер задумался о чем-то, потом говорит:

— Трудно мне будет. Трудно. Однако я привык поступать по-вагнеровски, по-ницшевски, а не по-баховски. Я твоему Сталину попорчу нервишки!

— Дай-ка я тебе по руке погадаю, — говорю фюреру, потому что почуял в нем что-то зловеще-зловонное. Дает он мне свою руку вверх ладонью. — Вот эта линия, — гадаю, — свидетельствует о том, что ты в детстве говно жрал. Но она же, эта линия, — линия величия и везения. Суждено тебе наломать больших дров в истории.

— Все правильно, — обрадовался фюрер, — но, гляди, насчет кала помалкивай. Я его никогда не ел. Я художник, Фан Фаныч! Большой художник. Не ел.

— Ты просто не помнишь. Такое случается в самом раннем детстве, и это признак избранной фигуры и крупной личности. К тому же вон та линия говорит, что твой любимый цвет — коричневый. Кстати, — спрашиваю, — это не ты случайно пальцем нарисовал свастику в сортире рейхстага?

— Ты большой маг, — сказал, побледнев, фюрер. — Я ее еще нарисую, и не дерьмом, а кровью! В Лувре, в Букингемском дворце, в Кремле и в Белом доме! Все сгнило! Все провоняло гуманизмом! Фэ! Я сожгу этот свиной хлев мира!

— А может, — говорю, — лучше тебе поучиться рисовать? Сейчас в связи с инфляцией можно брать уроки за кусок хлеба у самого Ван-Гога.

— Я призван не брать уроки, а давать их! — осадил меня Питлер, и я, Коля, горько подумал тогда о том, сколько в этом веке свалилось на наши бедные головы вонючих, безумных, безжалостных учителей.

Сидим, пиво пьем. Костюм и пальто — не нарадуюсь. И высохли, и не колются, и не жмут брюки в паху, — может, думаю, обойдется, приживутся, и поношу их до лучших времен? Где там! Сию же минуту Геринг по пьянке толкнул Питлера, и тот смахнул на меня локтем яичницу с салом и кружку пива вылил.

— Ничего, — говорит, — скоро ты у нас форму наденешь. Она на тебе сидеть будет хорошо. Не то что это дерьмо!

— Нет, — отвечаю, — форма урке ни к чему. Я же не фашист.

Вдруг вижу: за окном по улице процессия канает. Впереди людей катафалк. Восемь лошадей, и все идут тихо, головы опустив, и о чем-то думают, думают и думают. На катафалке гроб. Провожающих — человек десять, и среди них, Коля, вижу я своих кирюх. Розу Люксембург и Кырлу Либкнехта. Плачут оба. Я ору из окна:

— Люксембург! Либкнехт! Роза! Карл!

Гитлер говорит:

— Где они? Где они? К оружию, граждане! Кружки — в руки!

Если бы я не объяснил фашистам, что Роза и Карл не коммунисты, а просто у них кликухи и они мои кирюхи, то им бы тогда попало. Кликухи же Курт и Магда получили за то, что молотили виллы и квартиры хозяев фабрик и заводов. Экспроприировали таким честным образом прибавочную стоимость.

Тут Гитлер челкастый с усиками хватился наконец своего партийного лопатника, залез на стол и кинул речугу:

— Нация, крадущая бумажник у своего фюрера, далеко пойдет! Я заставлю худшую часть Германии харкать кровью! Надоело! Пора, урки, рейхстаг поджигать! Пушай попылает синим пламечком колыбель еврейско-болгарских ублюдков! Все на баррикады!

Я говорю: «Без меня, господа, без меня!» — и линяю. Догоняю катафалк, лечу как на крыльях, откуда только силы взялись, и чувствую всей кожей: дрожат на мне костюм и пальто сладкой дрожью последней агонии. «Кого, — говорю, — Роза, хороните?» Представь себе, Коля, хоронили они портного Соломона. Он не мог примириться с массой заказов на переделку одежды и повесился.

Снял я с себя на ходу пальто, потом пиджак с брюками и в одних трусиках остался. Положил все вещи в гроб рядом с тем телом, которое их перелицевало, и на сердце у меня — печаль покоя. Я выполнил свой долг перед обиженными и униженными вещами.

И не надо, Коля, никогда ничего перелицовывать. Пускай живут и помирают в свой законный час или же от нормального несчастья леса, пиджаки, государства, полуботинки, литература, пальто, горы, кошки, мышки, галстуки и люди. А вообще человечеству невдомек, что не тяпни я тогда из гитлеровского плаща лопатник с фанерой — и, возможно, не стал бы фюрер поджигать рейхстаг. Не надо, Коля, ничего перелицовывать. И я не желаю идти с Кырлой Мырлой на Страшном Суде по одному делу за переделку мира. Не хочу, и все! Мир, ей-богу, не прощает человеку перелицовки. Он нам уже и в паху, вроде брюк, жмет, и грудь давит, дышать нечем. И мы приписываем ему свои собственные грехи страстно и отвратительно... насчет же фюрера, Коля, я не выламываюсь. У меня это одна-единственная ужасная вина. Ты бы видел, какими шнифтами он кнокнул, когда хватился лопатника, на партнеров по банде и сказал: «Хватит! Чаша терпения переполнена! Это — последняя капля!» — понял бы, что именно на моей совести кровь и загубленные жизни миллионов людей. Я уж не говорю об искромсанной поверхности Земли. Тут кое-кто утверждает, что во всем виноват Гитлер и еще больше — Сталин. Какая же это все херня! Фан Фаныч во всем виноват. Один Фан Фаныч. И одному ему идти по делу. Не по сочиненному Кидаллой с ЭВМ, а по своему особо важному делу. Господи, прости!.. Ничего не могу сказать в свое оправдание!..

## 10

Вот ты спрашиваешь, Коля, почему Фан Фаныча на фронт не взяли. Мог бы, конечно, и сам допереть что к чему, но я уж поясню, потому что со всеми этими делами связан важный момент моей жизни. А если копнуть поглубже, осмелиться если копнуть, то и в жизни теперешнего мира. Глубже мы с тобой копать не будем.

Так вот, проходит с 22 июня ровно в четыре часа десять дней. Я, разумеется, жду, когда дернут, прикидываю, по какой пойду статье и что за сюжетец будет у моего дела. На месте Кидаллы я бы уже на второй день войны ухайдакал меня по делу о попытке отравления обедов и ужинов — завтракают, Коля, руководители дома —

в сверхзакрытой столовой ЦК нашей партии. Массированный ударчик цианистым калием по желудкам партийной верхушки, и народ в критический момент своей истории лишается с ходу Ума, Чести и Совести. Беда. Спасение уже невозможно, а Гитлеру открыта зеленая улица в Индию. Кидалла доложил бы об этом деле Берии. Тот — самому, а сам усмехнулся бы в рыжий ус и сказал бы:

— В тылу мы навели порядок. Пора прекратить бардак на фронтах. Снимите Буденного. У нас не гражданская война, а Отечественная. Так и будем называть ее впредь.

Итак, я желаю пролить за Родину и народ несчастный советский свою кровь. Встал однажды. Не умывшись даже и не позавтракав, канаю в военкомат. К нему очередь как в Мавзолей. Мужики и немного баб. Ну, думаю, и тут очередища! Подохнуть и то не подохнешь, кровушку пролить и то не прольешь, если не спросишь «Кто последний?».

— Здравствуйте, — говорю устало и солидно, — братья и сестры! — Хляю, как ты понимаешь, за большого начальника в штатском. — Добровольцы?

— Так точно! — за всех отвечает седоусый, весь в «Ге-оргиях», кавалер лет семидесяти пяти. — Здесь недопустима волокита. Фронту нужны солдаты. У меня за плечами и Первая мировая, позвольте заметить.

У самого руки и ноги дрожат. Не воин. Старикашка.

— Домой, — говорю, — батенька, домой. Вы необходимы тылу. Решается вопрос о вашем назначении начукрепрайона Солянки. Домой. О фронте не может быть и речи. Теперь у нас фронт нового типа. Самый широкий из всех существовавших когда-либо в истории фронтов. Ясно?

— Так точно! Разрешите идти?

Ушел старикашка, а я прохожу прямо в комнату. Смотрю на военкома. Три шпалы. Мясник. Взяточник. Опух от пьяни. Представляюсь. Он же, он же, он же, он же Легашкин-Промокашкин. Почему повестки не шлете, подлюки? Сами на фронт захотели? Я вам, говорю, прохиндеи, быстро это дело сварганю. Кровь желаю пролить. Давай сейчас же, змей, пулемет в руки!



Три шпалы покнокал в какую-то ксиву. Набрал номер.

— Здравия желаю, товарищ майор! Говорит Паськов. У меня в кабинете... один из ваших... Легашкин-Промокашкин... Просится на передовую. Хорошо. Передаю. Есть согласовать! Есть! Есть! — Передает рожу мне трубку.

— Привет, — говорю, — товарищ Кидалла. С повышением вас, с майором вас, холодное сердце — горячие яйца!

— Здравствуй, мерзавец. Фронта тебе не видать как своих ушей. Ты числишься за органами. Жди и не вертуйся. Насчет крови не беспокойся. Мы ее еще тебе не столько прольем, сколько попортим. Ждать! Ты меня понял? Продолжать ждать!

— А если я, — говорю, — Сталину напишу жалобу?

— Пиши. Я же лично тебе на нее и отвечу: жди, педерастина. Если б не органы, ты бы уж давно истлел на Колыме.

— А вдруг, — настырно спрашиваю Кидаллу, — я жду себе, жду, а фюрер въезжает в Москву на черном «Мерседесе», пересаживается на Красной площади на белого ворошиловского жеребчика, вскакивает на Мавзолей и говорит: «Я вам покажу, сволочи, как лазить по карманам вождей!» Что, — говорю, — тогда? Я-то дождусь — а ты где будешь? В Швейцарии? Или в Аргентине? Победа-то, — говорю, — еще в черепашьем яйце, а яйцо в черепахе, а черепаха в Московском зоопарке была, да из нее суп сварили Кагановичу. Как быть, если ваш вонючий Каганович суп черепаховый любит! А?

У трех шпал от моих слов хавало перекошилось, а Кидалла помолчал и отвечает:

— Наше дело правое. Дождешься не фюрера, а своего часа.

— Ну а вдруг, — продолжаю настырничать, — вдруг фюрер через месяц в Большом Георгиевском сабантуй шархнет и Джамбул ему лично будет бацать на арфе, а Ойстрах на гармонике?

В кабинет, Коля, офицерья набилось. Один вытащил револьвер и взглядом спрашивает у военкома приказа шмальнуть меня на месте. Военком как шикнет на него, а Кидалла говорит:

— Вот придет срок, возьму я тебя, и ты проклянешь миг сомнения в нашей победе над фашизмом. Иди запасай бациллу. Скоро жрать будет нечего.

— Ну, смотри, — толкую напоследок Кидалле, — если нас победят, я тебя ждать не заставлю. Сразу ноги из жопы выдерну и палочки Коха вставлю. Сачок! Тыловая крыса с синим кантом! Чтобы бомба попала в твою Лубянку трехтонная!

— До встречи, гражданин Тэдэ.

Не стал Кидалла огрызаться, положил трубку. Я со зла как гаркну на офицеры: «Смир-р-р-на-а!» — Так они все руки по швам — и мертвая тишина в кабинете.

Выхожу. Очередь кнокает на меня как на Молотова. Окружили. Даю команду:

— Женщины, дети, короче говоря, все добровольцы, кру-у-угом! — Повернулась очередь бестолково. — По домам, до повестки с вещами, шаго-ом... марш!

И я, Коля, правильно тогда поступил. Солдат на фронте хватало, их даже армиями целыми в плен брали, а добровольцев этих — работяг, профессоров, царских вояк, полуслепых, склеротиков, подагриков, палец не гнется курок нажать, и девочек бедных — кидали в атаки, как мясо волкам, чтоб только самим отбиться от наседавшей стаи. Спас я несколько жизней от напрасной смерти — и слава богу.

Ладно, хватит об этом. Война. Беда. Замастырил мне Вася-гознак ксив целую кучу: паспорта, командировочные, аттестаты, справки о ранении, генеральские всякие дела, и езжу я по всей нашей действительно необъятной родине из конца в конец. Наблюдаю, как одни страдают от похоронок и пухнут с голоду, да к тому же ищачат и в поле, и в цехах, и в лагерях по двадцать часов в сутки, а другие хапают, хавают где только можно отдельную колбасочку, купюры, валюту, рыжье и бриллианты. Монолитное единство советского народа наблюдаю. Беда, Коля, с этим делом, беда. Завал, более того, с этим делом. Отвлекаясь от военного времени, скажу тебе так: никакого советского народа нету в природе. Как есть отдельная колбаса, так есть отдельные люди. Кстати, колбасы отдельной теперь тоже днем с огнем в провинции не сыщешь, если и выкинут ее в Тамбове, Торжке и Туле, то

очередь за ней с утреннего гимна, и все стоят, книги читают про процветание советского общества... Прости, отвлекся. Сердце же, как чайник старый и любимый, накипает в нем все и накипает... Наконец сорок пятый год. Победа, можно сказать, у Сталина на ладошке, и гуляет он по буфету как знает, а фюрер, соответственно, не знает и не гуляет. В Москве — тоска. Водяру по карточкам выдают. На Тишинском и Дубининском рыночках в веревочку режутся и в три листика.

Тоска. Делаю еще один заход к Кидалле. Звоню, говорю, что могу в любой миг стать первоклассным разведчиком, добраться до самого фюрера, ибо лично с ним знаком, и потрекать насчет стратегических планов. Мы же, говорю, сотню тыщ солдатиков спасем. Посылочки-то они с тряпками шлют, а их в атаках шмаляют и шмаляют. Не жалко? А вслед за посылкой похоронка кандехает!

— Что, вражья харя, поверил наконец в нашу победу? А ведь ты, мразь, хотел, чтобы твой знакомый проходец сокрушил нашего Иосифа Виссарионовича. Хотел, чтобы он в Мавзолей на белой кобыле въехал?

— Я бы хотел, — отвечаю искренне, — обоих фюреров видеть в одном хрустальном гробу, а тот гроб чтоб бросили в зловонную речку Язу, и пуцай он качается на волнах дерьма, нечистот и мочи. И тогда все флаги будут в гости к нам.

— Говорун... Трекала. Я в тебе не ошибся. Жди, милый, жди. Еще раз сам позвонишь, и я тебе очко аджикой намажу. Наглец!

Поверь, Коля, я бы и сам, конечно, мог спокойно перейти линию фронта, сблочить с какого-нибудь крокодила шкуру с аксельбантами, позвонить в ставку фюрера, напомнить о себе и запудрить всему вермахту мозги такой чернотой и темнотой, что им и не снилось. Мог. Однако почему-то не перешел фронт, а поехал в Крым. Еду в штатском, но в моем элегантном угле лежит инженер — генерал-лейтенант войск МГБ от фуражки до шевровых штиблет. Ксива моя была в большом порядке. Представитель ставки. Уполномочен осуществлять наблюдение за установлением новых границ в освобожденной Европе с полномочиями выше крыши. Коменданты вокзалов и шмонщики из Чека потели, Коля, читая мою ксиву.

По дороге заезжаю на Брянщину. Все-таки усадьба тети Лизы...

Лежит в грязном снегу белая мраморная колонна, и на ней красным намалевано: «Весь урожай — фронту!» Канаю в деревеньку. Ужас. Бабы и ребятня синие, чуть ли не черные, опухли от полного подсоса. Голодуха. Избенки косые, в окнах выбитых бельма тряпья. На ветках — слезы. Мужика ни одного, стариков даже нету, но перед каждой избенкой, Коля, всего их было штук девять, стоят на свеженьких постаментах бронзовые бюсты дважды Героев Советского Союза. Бронза на солнце весеннем горит. Зайчики сигают от бюстов летчиков. Кто погиб, кто еще летал. Как шуганули немцев, так прибыла в деревеньку спецкоманда по приказу Калинина, наставила бронзовых Иванов, Федей, Сереж и Николаев работы наших вонючих Фидиев и Микеланжелов. Взяли с родных баб расписочки, что в случае порчи бюстов попадут бабы под суд на родине награжденных, и слиняла команда в столицу. Ужас, Коля, ужас. Черные избенки, бронза на солнце горит, на одном бюсте бабенка повисла и воеет, воеет, а ребятишки оттаскивают ее за юбчонку, оттащить не могут, и тоже голосят. Как тебе эта картиночка? Роздал бабам триста тысяч рублей. Самую бойкую повез в Брянск и там в обкоме клизму второму секретарю воткнул, сытому и с похмелья мурлу и придурку. Ору:

— Партбилет на стол, мерзавец! Деревня и крестьянство — залог нашего послевоенного ренессанса! Почему вы не кормите крестьян? Доложите немедленно Микояну о начинающемся, вернее, продолжающемся голоде. Четвертую главу, сволочи, позабыли? Позабыли закон отрицания отрицания? Забыли, что если зерно не упадет в землю и не умрет, то вообще ни хрена не вырастет! Смир-рна-а! Вместо того чтобы устанавливать новые границы, я вольтандаюсь здесь не по своему делу! Завезти семена в колхоз! Обеспечить белками население! На обратном пути отдам под трибунал весь обком. Дыхни на меня! Пьян! Всех схавая, а кости выложу в политбюро. Народ должен быть сыт. Вам это теперь ясно?

— Ясно. Накормим в течение недели. Пожалуйста, прошу вас ко мне домой на обед. Перед дорогой.

Не стал я у него хавать. Поканал дальше. В Крым поканал. В Крыму, конечно, солнце. Тишина. Кипарисы как стояли, так и стоят. По всей Ялте татары хипежат, уводят мужиков, и баб, и ребятишек. Уводят под конвоем. А сам понимаешь, уходить неизвестно куда и насколько не только татарину, но и папуасу какому-нибудь не очень-то охота. Я уж не говорю об остальных советских людях разных народов и наций.

Кстати, в интимный момент раскололась одна дама из ЦСУ, что нема в Российской империи нации, представители которой не волокли бы срок по пятьдесят восьмой со всеми ее замечательными пунктами. Нема. Но и тут, сказала дама, у советской власти вышла осечка. Эскимоса ни одного не посадили по пятьдесят восьмой. За кражу тюленьего жира, утайку оленьих шкур, приписку моржей, за невыполнение плана убийства песцов и опоздание в тундру — это всегда пожалуйста, а вот за пропаганду и агитацию, саботаж, диверсии, за террор и покушение на вождей, а также за сотрудничество с гренландской разведкой не горели эскимосы, и все. За измену родине не горели они тоже, ибо родина ихняя — Северный полюс, а как можно изменить Северному полюсу с Южным, например, по-моему, не под силу сообразить самому Вышинскому Андрею Януарьевичу, чтоб ему до конца света в пекле ада переписывать своей кровью Уголовный и Процессуальный кодексы РСФСР.

А может, эскимосы органически, так сказать, не секли, что такое советская власть? Или считали ее чем-то вроде шторма на суше, ложного северного сияния, бесконечной пурги или многолетнего солнечного затмения, то есть тем, с чем воевать и на что бухтеть бесполезно? Не знаю, Коля.

Итак, тепло. Весна. Набухли соски бутонов на миндале, и на Иудиных корявых корягах появились лиловые пупырышки. Кипарисы подогреваются на солнце, развезет их — они пахнут жарко и пьяняще, вроде голой бабы, принявшей хвойную ванну...

И вот, Коля, в тот момент, когда, может, тыщи солдатиков в Пруссии заедали свою смерть грязным снегом с кровью и хватали последние глотки воздуха жизни, а мне в пролитии крови было отказано, Фан Фаныч за-

шел в пустой Ливадийский дворец. Хожу по гостиным, по залам, по спальням и пою свою любимую частушечку:

Плывет по морю трамвай.  
Играют граммофончики.  
Зря отрекся Николай  
В зелененьком вагончике.

Спустился я куда-то по потайной лесенке и попадаю в потайную каморку. Вот здесь, наверное, думаю, Распутин перехарил всех фрейлин. И вдруг за окном раздается гунявый солдафонский голосина:

— Симвалиева посадите на кедр! Зыкова — в рододендрон, остальным рассеяться по парку. Соблюдать маскировку. При встрече с самим умри! Р-разойдись! И чтоб муха не влетела и не вылетела!

Ну, думаю, попал. Разглядываю каморку. Обита лиловым, в белых хризантемах, шелком. Софа, столики, стулики, пуфики, карельская береза и малюсенький такой клозетик в стене за бамбуковой шторой. Под потолком два окошечка за узорными решками, а за решками — сплетение лоз виноградных. Следовательно, я в подвальчике. Слышимость прекрасная. Надо мной ходит та же самая солдафонина и отдает указания:

— Клопов, тараканчиков и ночных бабочек — к стенке. Проверить все резиденции на тарантуловость и скорпионовость! Полуверко! Пароль!

— Стой! Кто идет? Материя первична?

— Ответ?

— Всегда, товарищи Кутузов, Суворов и Нахимов! Смерть Гегелю!

— Разойдись! Продуть систему каминных труб газом Зелинского-Несмеянова!

Что бы это означало, лежу на софе и думаю. Но делать нечего. Жду. И понимаю, что ради пира и бардака для Кагановича или Берии такого в Ливадии шума поднимать не стали бы. Не стали бы, думаю. А может, сам это Сулико с усами? И решил он погреть руки, затекавшие держамши баранку государства и партии? С каждым днем убеждаюсь все больше и больше, что это так.

Снуют машины. Семгой запахло, фазаны, гуси, утки, поросята живьем прямо во дворец завозятся. Осетринища вырвалась из рук у шестерок и хвостом в мою стену — бух, бух, бух. В общем, идет подготовка к невиданной гу-жовке.

Жду сутки. Жду вторые. Жрать охота. Вдруг однажды затрекали во дворе по-английски. Я секу, что трекают наши, янки и англичане. Трекают, как дипломаты, о погоде, о лаврах, вечном тепле и что всем объединенным нациям хватит места под солнцем, если, конечно, капитализм поймет, как удивительно исторически он обречен сдать дела своему могильщику, пролетариату. Дохирикаетесь, думаю, классические дипломаты, дохирикаетесь. Приделают вам заячьи уши, к пятанкам ромашки прилепят и схавают Первого мая в Большом Георгиевском дворце на первом всемирном пролетарском банкете...

И вот, Коля, наконец наступила в царском дворце и в парке мертвая тишина. Слышно только, как Симвалиев на кедре и Зыков в рододендроне нервно дышат. Тишина. Шины по красному толченому кирпичику тяжело и мягко прошелестели, хрустнули под ними самые мелкие крошечки. И от колпака на колесе зайчик прямо мне в шнифты ударил. Щурюсь, но кнокаю в очко сквозь сплетение лоз виноградных.

Дверь «Линкольна» открывается, четыре шевровых сапога по обеим сторонам ее. Просовывается в дверь сначала одна нога в штиблете, на брючине лампас, потом другая, левая, которая показалась мне по выражению своей черной хари значительно правей. Встали обе ноги перед моим окошечком, причем правая явно немного стесняется левой и старается быть незаметной. В сторонке старается держаться. Левая сделала каким-то образом на три-четыре шага больше правой, и тут, Коля, наконец-то родной и любимый голос раздался:

— Тихо... Тепло... Вольно...

Лица и усов лучшего своего друга не вижу. Так близко он стоит. Закурил. Грабка сохлая, маленькая, рябоватая, ни ласки в ней, ни прощения. Трубочка только дымится во всеильной цепкой грабке.

— Вячеслав, — говорит Сталин, — подойдите поближе.

Подошли тоже две ноги. Некрасивые ноги. Желтые полуботинки. По заказу сшиты, потому что костяшки фаланг больших молотовских пальцев выперли вбок, и на кожаные пузыри это было похоже. Подошел Молотов и трет пузырь о пузырь — костяшки-то ведь ужасно как чешутся. Трет, надо сказать, незаметно, а может, и не замечает, как трет. Подходит Молотов к Сталину:

— Скажи, Вячеслав, какие тут растения вечнозеленые, а какие зеленые временно?

— Во-первых, вечнозеленый — это лавр благородный, — отвечает Молотов.

— Дипломат ты у меня. Дипломат, — говорит Сталин. — Знаешь ведь, что твои слова дойдут до Лаврентия. А вот ответь: кто тут временно зеленый?

— Например, акация, Иосиф Виссарионович.

— Хм... акация... акация... Помню, в Женеве я прочитал из «Национального вопроса» Дану. Дан тогда сказал: «А Кац и я считаем твою работенку белибердой». Они действительно оказались временно зелеными, вернее, временно красными... «А Кац и я», видите ли! Почему бы, спрашивается, не посадить вместо акаций больше лавров!

— Это нужно согласовать с Никитским садом, Иосиф Виссарионович.

— Хорошо. Согласуйте с Хрущевым. А Кацей после победы начнет сажать наш Лаврик. Я закончу дело, начатое Гитлером — предателем нашего дела.

— Ха-ха-ха! — говорит Молотов.

— Послушай, кто это там стучит, — вдруг спрашивает Сталин. — Не слышишь? Узнать!

Я-то понял, что стучал сапожник. Штук восемь ног военных и штатских протопали мимо моей решки. Пока они ходили куда-то, я кнокал, как черные сталинские штиблеты похрустывали красной кирпичной крошкой, казавшейся ему, очевидно, кристалликами крови. Ходит. Молчит. Плетеную качалку подставил ему Молотов. Сел. Правая нога с ходу согнулась, подставилась, а левая, барыня, улеглась на нее, свесилась и озирается мыском штиблета по сторонам. Молотов же стоит. Ну, думаю, наконец-то, Фан Фаныч, закинула судьба короля бубей в чужую колоду. Повяжут тебя тут непременно, и ни один



Кидалла не вырвет твою душу из рябенских грабок туза винней, схавают тебя, Фан Фаныч, его винновые шестерки. Дурак ты, миляга. Хрустнешь, как кирпичная крошечка, и не услышит этого звука — пушки ведь в мире бухают, бомбы рвутся, пули вжикают, — не услышит этого звука никто. Судить тебя, разумеется, не станут. Нет такой статьи даже в кодексе о подслушивании телефонных разговоров членов политбюро. Высшая тебе мера социальной защиты вождей от народа — и кранты!

Смотрю: шагают. Шагают восемь военных и штатских ног, запылились слегка, ссадины на шевре, а пара ног плетется между ними босых. Тощие, черные от солнца голые ноги, только коленки прикрыты кожаным фартуком.

Хорошо ступают ноги. Достоинно. Не спеша. Красивые ноги, лет по семьдесят каждой. Остановились около сталинских штиблет и молотовских туфель с пузырями от выперших костяшек на фалангах больших пальцев. Тьфу, Коля.

— Доброго здоровья, — говорит старик по-русски, но, как я понял, он татарин.

— Знаешь, кто перед тобой сидит? — говорит Молотов.

— Военный... вроде бы. А чин очень большой, — с акцентом, конечно, ответил татарин.

И ты веришь, Коля, совершенно для меня неожиданно Сталин весело и жутковато залыбился, захохотал, обрадовался, так сказать, как убийца, которого наконец не опознали. Молотов, воспользовавшись моментом, поднял сначала одну ногу и почесал кожаный пузырь, потом другую.

Похихикал Сталин, посвистели в нем копченые бронхи, и по новой спрашивает:

— Значит, лицо мое тебе абсолютно и относительно не знакомо?

— Не виделись мы, хозяин, значит, не знакомо.

— Газеты, старик, читаешь?

— Совсем не читаю, хозяин.

— Вот как. Не чи-та-ешь. Счастливый человек. До нашей эры живешь... Никогда не читал?

— Не читал, хозяин.

— Радио слушаешь?

— Нету у меня радио. Слушаю, что скажет Аллах... Что скажет он, то и слушаю.

— Ты, старик, где и кем работаешь?

— Сапожник я, хозяин. Старье починим, новое пошьем, совсем недорого берем.

Сталин быстро снял левую ногу с правой — и тишина, Коля, тишина. Минут десять Сталин молчит, а молотовские коленки подрагивают, падлы... Тишина... Ага, думаю, наверное, папаню вспомнил, разбойник? Вспомнил небось, как папенька с десятков граненых гвоздиков клал под усы на родимую губу. Вспомнил, Ленин сегодня, молоточек отцовский и пальцы рук отцовских, черный вар от дратвы навек в них вьелся? Вспомнил, четвертая глава большевистского дракона, как легко, как на глаз взрезал косой нож кусину прекрасной кожи и как чистая подошва первый и последний раз глядела в небо, пока батя вгонял в нее деревянные шпилечки, да зачищал чешуйками рашпиля, да каблук присобачивал, вспомнил, волк? Волк ты, думаю, самый к тому же дурной, потому что нормальный волк зарежет овцу, нахавется от пуза и гуляет по брянскому лесу до следующего подсоса под ложечкой.

Дурной же клацает пастью, режет овец, которых схватить не успеть, и не участь вроде бы помереть им сегодня, режет без разбору, грызет глотки, напустил кровящи... Тишина... Выбил трубку о каблук правого штиблета... «Герцеговина Флор» на землю упала. Молотов нагнулся, поднял зеленую коробочку. Рыло его вверх ногами увидел я на секунду. Тьфу.

— Семья у тебя есть? — говорит Сталин.

— Есть, хозяин. Жена есть. Сын есть.

— Сын, говоришь?

— Да... сын.

Опять тишина... тишина... тишина... Чего уж там Сталин вспоминал, хрен его знает. Скорей всего, себя вспомнил мальчишкой.

— Что сын делает? — спросил зло и глуховато.

— Мулла мой сын. Мулла. В мечети работает.

— Немцам служит! — быстро вмешался Молотов. — Активный работник. Квислинг.

— Аллаху мой сын служит и нам, татарам. У немцев другой бог — Гитлер. Ему мой сын не служил.

Тут, Коля, Сталин топнул левой ногой, и понял я, что закипело наконец в вожде дерьмо в том месте, где у нормального человека душа должна быть. Закипело и выбежало через край. Но говорит не спеша, как на восемнадцатом съезде партии:

— Позволительно спросить у нашей контрразведки: почему до сих пор Крым, эта бывшая цитадель белой сволочи, не очищен от предателей всех мастей и их так называемых мулл?

Строевым шагом подошли к нему запыленные сапоги из шевровой своры и щелкнули каблуками.

Вот тут-то правая сталинская нога, ты, Коля, хочешь — верь, хочешь — не верь, сказала тихо, но с немалым злорадством и полнейшей убежденностью:

— Ты, Сталин, говно!

— Что? Что? — переспросил Сталин.

— Говно, жопа и дурак, — быстро повторила правая нога, а левая придавила ее, но заставить замолчать не могла. — Дурак, жопа и говно!

Сталин цокнул языком и застонал: «У-у-у!» Молотов спрашивает:

— Может быть, отдохнете с дороги?

— Пошел к чертовой матери, — так же тихо и логично, как с трибуны съезда, отвечает ему Сталин и, конечно же, на нем срывает зло. — Почему у тебя такая плоская харя? Камбала в пенсне? Премьер мудацкий!.. Министр иностранных дел! Иден у Черчилля — вот это министр! Красавец! Что ты растопырил ноги! Поставлю на политбюро вопрос, и ампутирруем их тебе! Не вздумай на конференции чесать свои костяшки! Агент царской охранки! Педераст!

— Все будет хорошо, — дипломатично говорит Молотов, а правая сталинская нога, как только он замолчал, опять задолдонила:

— Ты же дурак! Жопа всех времен! Говно всех народов!

Сталин, наверное, для того чтобы ее сбить с толку, быстро-быстро прошелся взад-вперед, он почти бегал, а правая нога точно в такт подначивала:

— Сталин — жопа и дурак и несчастное говно! И дурак, и дурак, скоро сдохнешь и умрешь!

Встал как вкопанный. Слышу: сипло дышит и лжет своей своре:

— Что-то пламенный мотор барахлит, товарищи.

Тут четыре сапога на цирлах подомчались, оторвали от земли и отволокли во дворец. А он, сидя на руках шестерок, отдал приказ:

— Обрушьте на Берлин фугасы из стратегического запаса!

— Легче тебе от этого не станет, — грустно заметила нога.

Воистину. Коля, Бог шельму метит, и я просек чудовищность и невыносимость тоски и злобы Иосифа Виссарионовича Сталина. В руках у Асмодея власть чуть ли не над полпланетой, а может он при желании хавать каждый божий день харчо, где вместо рисинок алмазы плавают, а отдать может приказ облить бензином бараки ста лагерей, чтоб запылали синим пламечком враги народа.

Представляешь? Всесилен этот заместитель самого человеческого из всех прошедших по земле людей, горный орел номер два, и тут вдруг какая-то вонючая, сохнувшая правая нога, главное, не чья-нибудь, а своя, сволочь такая и предательница, говорит:

— Сталин — говно! Скоро сдохнешь и умрешь!

•И самое страшное в том, что ей не заткнешь глотку, не заставишь замолчать, ибо заставить помалкивать можно совесть, и так поступают миллионы людей, но нога-то ведь не совесть, и как ее, подлюку, уломать? Издать указ Президиума Верховного Совета? Ну, хорошо, — я уверен, думал он, — ампутируем, протез поставим, а что дальше? Есть ли надежда на левую ногу? Нет! Так как вокруг — враги и предатели. Следовательно, придется ликвидировать также левую ногу и, вроде Рузвельта, кататься в колясочке. Толкать же ее будут по очереди члены политбюро, министры, генералы, стахановцы, Иван Козловский, Юрий Левитан, кинорежиссеры, Илья Эренбург и артист Алейников — большая жизнь. Главное в выдающемся государственном деятеле не ноги, а голова. А если вдруг голова предаст основные постулаты исторического материализма, если заявит моя голова, что, дескать, материя не первична, а главное — свобода духа?

Интересная ситуация. Прямо Курская дуга. Ну с головой-то я умею справляться. Она будет помалкивать, примерно как мои половые органы. Вот как быть, если правая рука полезет во время отчетного доклада на очередном съезде нашей партии в боковой карман, вытащит, ликвидаторша и уклонистка, мой партбилет и бросит его с трибуны на пол Большого Георгиевского зала? Бросит и вместе с левой начнет мне бурно аплодировать? Как быть? Что делать, дорогой Владимир Ильич, ответьте, пожалуйста, если заговорят мои внутренние органы? Если обнаглеет даже жопа и со всей большевистской прямоотой своей кишки скажет, что Сталин испортил ей жизнь и что лучше уж быть слепой кишкой, чем смотреть, бессмысленно заседаая и заседаая, на разрушение сущности личного, единственного бытия Сталина? Что делать? Пустить пулю в утрюмый и глубоко враждебный мне лоб или в ненавидящее меня собственное сердце? — тоскливо подумал в ту минуту Сталин, но с ходу взял себя в руки и решил, Коля, так: ваши попытки, господин мозг, господа жопа, сердце и печенки-селезенки, обречены на провал! Мы обрушим на вас всю мощь нашей отечественной, а возможно, и зарубежной медицины!

И веришь, Коля, обмозговываю я все это, а из окошка сверху Молотов захипежил:

— Срочно вызвать профессоров Вовси, Егорова, Вышинского, Бурденко, Маршака и артиста Алейникова — большая жизнь! Срочно!

— Есть! — кто-то ответил, и тихо стало, как в морге. Только Симвалиев, сидевший на кедровом суку, спросил у разводящего:

— Как оправиться по большой нужде, товарищ генерал-майор? Невмоготу, честное комсомольское.

— Давай в штаны. Потом разберемся, — решил тот, подумав.

Вот, Коля, каково приходилось злодею! Он свое получал, я имею в виду не Симвалиева, сидевшего на суку, а Сталина. Но, однако, и Фан Фаныч попал тогда в приличную кучу. Выйти некуда, жрать нечего, не мечтал я о таком кандее, не мечтал. Закемарил, чтобы сэкономить силы и не суетиться в поисках выхода из полнейшей безнадёги.

Просыпаюсь. Подхожу к решке. Светло. Крымский ветерок посылает мне с клумб передачи — чудесные запахи. Спасибо, дорогой, век не забуду твоей милости. Перед решкой моей стоит Молотов босиком и в кальсонах солдатских с желтой тесемочкой.

«Додж» подлетел. Я его по баллонам узнал. И из кузова кирза выгружает странных личностей. Один в шлепанцах, другой в бабьих фетровых ботинках, третий в разных, причем незашнурованных, ботинках и так далее. Представляешь, как их захомутали посреди ночи?

— Доброе утро, товарищи убийцы в белых халатах, — говорит Молотов-босик. Выгруженные из «Доджа» личности действительно частично были без брюк, но все в халатах.

— Мы всегда ценили ваш тонкий юмор, — отвечает тот, который в ботинках. — Почему вы босиком?

— Как вы себя чувствуете? — заботливо спрашивает в разных ботинках. — Почему? Что случилось?

— Вас вызвали для наблюдения над самочувствием Иосифа Виссарионовича и консультаций. Кроме того...

— Позвольте выразить негодование? — перебил его в шлепанцах. — Я сказал, что если меня берут, пардон, вызывают к Сталину, то я должен же чем-то измерять его давление, черт побери! Мне тут вот тот военный, явно выраженный даун, твердо возразил, что Сталин и давление на него несовместимы. Он, так сказать, сам кого хошь придавит, как вошь. И теперь я без прибора как без рук. Нонсенс!

— Давление у маршала нормальное. Почему вы считаете, что полковник Грегглед на самом деле Даун? — спрашивает Молотов с большим интересом, и к шлепанцам моментально подканалы две пары генеральских штиблет и брюки с голубыми лампасами.

— Я никогда не ошибался. Взгляните сами: совершеннейший даун!

Штиблеты и босые молотовские концы устали влево. Я тоже кнокаю и понимаю, что еще три минуты назад вон те шевровые сапожки, тридцать девятый размер, обречены. Три минуты назад мягко лоснились на солнце от счастья власти и принадлежности к свите складки на голенищах сапожек, и такой скульптурной

лепки были эти складки, как будто полковника каждое утро обували или Томский, или Вучетич с Манизером на пару. А какой рантик! Это, Коля, не сапожник зубчатым колесиком накатил рантик, а это какая-нибудь балерина острыми зубками прошлась по краешку новенькой подметки! И вот на глазах моих вмиг сникли сапожки, потускнели мыски, и шевровые ладные складочки стали жалкими морщинами страха, тщеты и бессилия.

Чекистам больше, чем нам, известны были игры в шпионов, которые они же сами и выдумывали, и, когда штиблеты направились неумолимым шагом к сапожкам, конечно же тем стало ясно, что через полчаса, максимум через час придется расколотся и в том, что они и Даун, и многолетняя служба в Интеллидженс сервис, и попытка ликвидации Сталина и Молотова с целью назначения Черчилля председателем Совмина СССР по совместительству. За такой сюжет, Коля, сам Ромен Роллан поставил бы бутылку Алексею Толстому!..

...Крым. Солнышко светит. Решающий момент войны. Народы Европы изголодались по свободе. Вся советская верхушка в Ливадийском дворце варежки раскрыла, встречая союзничков, и тут-то они с помощью аса разведки Дауна надевают чалму на Сталина, пыльный мешок на Молотова, вяжут остальных разбойников прямо за круглым столом конференции — и все! Чехты маршалу Сталину. Сажают его с членами политбюро в «Дуглас», и тает самолетик в тумане голубом... Тихий океан. Авария на борту... Внизу, дорогой Коля, акулы... Так вражеская разведка пыталась закрыть последнюю страницу истории нашей партии. Но не тут-то было!..

В скверный сюжет попали шевровые сапожки. Все им стало ясно, и, не оказывая сопротивления, поплелись они в сопровождении кирзы в «Додж».

— Вы проиграли, Даун! — говорят им вслед штиблеты. — Ваша попытка торпедировать измерение кровяного давления товарища Сталина сорвана!

— Скоро и вам придется «водить», — вяло огрызнулись сапожки.

— Молчать, сукин сын Альбиона, — заорала вторая пара штиблет.

«Додж» вжикнул и слинял, а в желудке моем происходит что-то такое, словно сидит в желудке моем белка и вертится от тоски, как в колесе. Все, Фан Фаныч! Ослабнешь ты скоро, растаешь Снегурочкой в царском подземелье, врежешь дуба, протухнешь, загрузятся в тебе трупные черви, и провоняешь ты смердыней весь Ливадийский дворец...

Лежу я себе, думаю, а жрать, однако, охота, но светить Фан Фанычу ничего не светит. Тут кирза всякая, яловые да шевровые со штатскими ботинки забегали, загоношились вдруг, притырились в кустах и за клумбами, и услышал я шаги самого. Их с другими не спутаешь. Направился к плетеному креслу в пяти-шести метрах от меня. Шагает, змей, явно заискивая перед своей свободолюбивой и дерзкой правой ногой. Февраль, а все вокруг зелено, внизу море шумит, и очень, в общем, тепло. Сел в кресло. Ногу на ногу не кладет. Озабочен. Не желает ущемлять ни ту ни другую. Но левая, любимица, почуяла изменение к ней отношения и закапризничала, заизгальялась, завертела мыском штиблетины. Сталин как трахнет ее рукой по коленке — она и присмирела вмиг. Вытянулась. Подходит Молотов в светло-крысиных мидовых брючках.

— Все в сборе, Иосиф. Можно начинать консилиум.

— Я не вижу артиста Алейникова. Где этот интеллигент?

— Алейников категорически отказался лететь, пока не опохмелится с Борисом Андреевым. Самолет уже был готов, профессора взяты и... Алейников остался в Москве. Я, говорит, большая жизнь и всех вас теперь...

— Какой отчаянно смелый человек! — говорит Сталин. — С такими людьми я бы уже давно был в Берлине, а может быть, и в Париже... Приказываю приступить к дальнейшей работе над фильмом «Большая жизнь». Готовиться к суровой критике второй серии этого произведения. Эй, горе-гиппократы, подойдите поближе!

Окружили Сталина светила-лепилы. Задают вопросы по сердцу, горлу, печенке и обоим полушариям мозга. Выслушал Сталин и коротко ответил:

— Нога. — Он вздохнул при этом вполне по-человечески. Приподнял слегка правую ногу, а она вдруг ехидно



и весело замурлыкала: «Если завтра война, если завтра в поход. Если черная сила нагрянет».

— Что чувствуете в ноге?

— Боль локализована?

— Она холодеет?

— Дрожит? Дергается? Немеет?

— При ходьбе ломит суставы? — спросили шлепанцы, фетровые ботинки, разные ботинки, валенки, бурки и прочая обувь. Сталин монотонно отвечал на каждый вопрос: «Беспокоит... беспокоит... беспокоит». А нога еванная совсем по нахаловке распелась: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим...» Шлепанцы не выдержали и жестко говорят:

— Для меня вы, товарищ Сталин, всего-навсего пациент. Я должен знать точно, на что вы жалуетесь. Что у вас все-таки с ногой?

— Она сволочь, сволочь! — взвизгнула левая нога, не выдержав унижения.

— Беспокоит. Приступайте к лечению, — ответил Сталин.

— Шприц! — сказали шлепанцы, и нога, Коля, вмиг прекратила долдонить песенки совкомпозиторов.

— Отставить шприц. Больше не беспокоит, — с облегчением сказал Сталин и спросил с юморком: — Если ее ампутировать, то не будет вообще беспокоить?

— О хирургическом вмешательстве говорить еще рано, — резко оборвали его шлепанцы.

— Если она, однако, начнет беспокоить меня на конференции, — Сталин погладил коленку правой ноги, — попрошу Бурденко оторвать вам все ваши головы! Нейрохирург он неплохой.

Кто-то что-то доложил Молотову, тот — Сталину. Всю обувь, которая рядом была, как ветром сдуло. Сталин встал и не спеша двинулся кому-то навстречу, а рядом с его креслом поставили еще два. Вот пропал он с моих глаз. Где-то затрекали по-английски, кинооператор с треногой и огромной задницей заслонил от меня все видимое пространство, и я, рискуя зашухериться, зашипел:

— Встань левей, кретин важнейшего из искусств!

Мгновенно отошел и даже не оглянулся. Ног и брюк генеральских, дипломатических и зарубежных столпи-

лось около кресел множество. Наконец показались сталинские штиблеты, коричневые здоровяки-полуботинки, а между Сталиным и — это я с ходу просек — Черчиллем ехала коляска из белого металла на велосипедных шинах. В коляске Рузвельт сидел. Ноги пледом шотландским укрыты. Коляску толкал переводчик.

— Я бы с удовольствием, господин Рузвельт, прокатил вас по этим дорожкам сам, — сказал Сталин, — но боюсь, что ваша так называемая свободная пресса превратит безобидную прогулку в символ того, как Россия неизвестно куда толкает Америку. Ха-ха-ха!

Рузвельт и Черчилль тоже хихикнули. Рузвельта на руках перенесли в кресло. Сталин и Черчилль сели слева и справа. У Сталина настроение мировое, Крым хвалит, про царя Николая и какие он бардаки здесь закатывал несет околесицу и советует глубже дышать хвойно-морским воздухом своим высоким гостям. А Черчилль, как старый морской волк, ворчит, что, дескать, зюйд-вест доносит до него запах дерьма и что такой зловонной вонищи он не нюхивал аж с самого 1918 года. Он просит президента и маршала, пожалуйста, приняться к его всего-навсего предположению. Рузвельт мягко и вежливо сказал, что у него аллергический от эфиронных растений насморк. Сталин неожиданно согласился с Черчиллем, что действительно несет дерьмом, как на допросах Каменева и Зиновьева, но только, говорит, это не так называемый зюйд-вест, а откуда-то сверху. Зовет начальника караула. Подбегает. Каблук об каблук — стук.

— Товарищ маршал! Начальник караула генерал-майор Колобков явился по вашему приказанию.

— Кто у вас смердит вон на том дереве? — спросил Сталин.

— Ефрейтор Симвалиев, товарищ маршал.

— Снимите его с поста и подведите с подветренной стороны.

— Есть! — Генерал подбежал к кедру. — Ефрейтор Симвалиев, покинуть пост!

— Есть покинуть пост!

— Двигаться осторожней и против ветра!

— Есть, против ветра!

Вижу, повис Симвалиев на суку, прыгнуть хочет, а галифе его местами набухли от того, что он в них навалил, нахамившись по кремлевской усиленной норме. Да, думаю, время есть, а мы еще и не срали. Тебе все же, Симвалиев, легче.

— Вы поразительно хорошо знаете солдатскую службу, — говорит Рузвельт Сталину.

— Я желаю, чтобы и ваши, с позволения сказать, часовые не покидали своих постов ни при каких обстоятельствах, — отвечает Сталин. — Ты воевал, Симвалиев?

— Так точно. Трижды ранен в живот.

— Молодец. Генерал Антонов, разжалуйте Колобкова и посадите на кедровый сук. Пусть хлебнет солдатской жизни. Тыловой кот. Симвалиева наградить медалью «За отвагу», произвести в офицеры и после победы назначить секретарем Союза писателей. Там такие люди нужны. Пусть создает романы на темы международной жизни. Ра-зой-дись, а то ветер переменялся.

Черчилль засмеялся. Все слиняли.

— У меня неожиданно появилось так называемое хорошее настроение, — говорит Сталин. — А как у вас, господин президент?

— Я чувствую себя отлично. Я думаю, что наша встреча будет удачной. Трудности, скажу без дипломатических обиняков, я предвижу лишь в разговоре о Польше, а вопросы об ООН, репартациях в освобожденной Европе, о ваших пострадавших по родине военнопленных и так далее не представляются мне сложными. О неразрешимости их я и мои советники предпочитаем не думать вообще.

— Согласен, — говорит Сталин, а правая нога его с большой симпатией покнокивает то на Рузвельта, то на Черчилля. Левая же забралась под кресло, как обсосанная кошка.

— Ах, польский вопрос... Польский вопрос! — говорит Черчилль. — Не хотите ли, маршал, сигару? Гавана.

— Благодарю. Я в некоторых вопросах консерватор.

— Ха-ха-ха! — захохотал Черчилль. — Я представил сейчас картину послевоенного мира, если бы маршал, испытав ужасы экстремизма Гитлера, стал вдруг консерватором и в области политической морали... если бы Рос-

сия вышла из горнила войны великой и демократической державой. Золотой век международных отношений в сей миг не кажется мне, господа, утопией. Не хватит ли враждовать вообще?

— Я понял мысль премьер-министра, — говорит Рузвельт. — Америка готова быть союзником России во времена мира. Союзником в деле восстановления Европы и ликвидации разрухи. Поистине общей целью великих держав должны быть мир и благоденствие народов нашей многострадальной планеты. Что вы скажете, господин Сталин?

Сталин, конечно, задумался, а правая нога, истосковавшись, видать, по порядочному обществу, прижалась на миг сиротливо и ласково к левой ноге Рузвельта. Левая же сталинская случайно якобы наступила на правый здоровячок — ботинок Черчилля. Черчилль тоже на нее наступил и говорит:

— Это, господин Сталин, для того, чтобы не ссориться.

— Сталин! Кацо! Послушай! — вдруг, охренев, как я понял, от радужных перспектив, воскликнула правая нога вождя, вскочив на левую. — Дело они говорят, дело! Тебе же седьмой десяток пошел, корифей! Сколько можно жить в туфте, среди говноедов и ублюдков вроде плоскорожей камбалы Молотова, амбала Кагановича и хитрого Маленкова? Разгони ты их дубовым дрыном! Дай Берию приказ разоблачить лжетеорию базисов и надстроек... Верни землю крестьянам, сними удавку с горлянки экономики, поживи остаток дней как человек. И мир ты посмотришь, и погуляешь от пуза, и отпустят тебе все церкви мира кровавые твои грехи, и слава твоя воссияет не туфтовая, а истинная и небывалая. Сделай, Сосо, прошу тебя, поворот на сто восемьдесят градусов! Сделай! У тебя и друзья преданные появятся, и слезы благодарности из глаз людских потекут! Сделай поворот! Ты же умеешь!

— А что, если действительно представить себе невозможное, — говорит вождь, — представить Сталина, реформирующего марксистско-ленинское учение, возвращающего нэп и, наконец, допускающего существование Бессмертия Духа и так называемого Демииурга?

— Ну почему, Сосо, невозможное? Почему? — страстно спросила нога, — Представь! Представь!

— Я лично представил себе это, несмотря на бедность воображения, — сказал Черчилль. — Дух захватывает, как от армянского коньяка!

— Ошеломляющая перспектива! — согласился Рузвельт.

Сталин тоже, очевидно, представил себе всю эту картину.

— А главы великих держав по очереди исполняли бы обязанности Генеральных Пастырей Народов Мира, — мечтательно сказал он после долгой паузы, — Гэпээнэм... Гэпээнэм... Сокращенно.

— Ты знаешь, Сосо, как приятно побыть субъективным идеалистом хотя бы недельку на Женевском озере! — воскликнула правая нога. — Позагорать, поесть шашлык с Чарли Чаплином, поцеловать шоколадный сосок Ингрид Бергман, лимонный сосок Марлен Дитрих. Спеть с Карузо «Сулико»...

Тут к Сталину, дорогой мой Коля, внимательно и тоскливо слушавшему выступление своей либеральной конечности, подходит Молотов, отводит вождя в сторонку и что-то шепчет на ухо, а Сталин изредка прерывает его наушничество вопросами: «Сознался сам?», «Связи установлены?», «В его планы входило физическое уничтожение?»

— Господа! — обратился он наконец к союзникам. — Мир будет сохранен и упрочен, когда народы возьмут дело мира в свои руки и будут отстаивать его до конца. Вы, империалисты, хотели бы убаюкать нас, коммунистов, разговорами о золотом веке международных отношений, а сами наводняете Советский Союз своей агентурой.

Вот и сегодня, господин Черчилль, наши органы обезвредили вашего шпиона Дауна, окопавшегося в непосредственной близости от меня. Ай-ай-ай! Мы приносим свои извинения Интеллидженс сервис.

— Поверьте, маршал... — начал было оправдываться Черчилль, но тут правая нога снова задолдонила:

— Скоро сдохнешь и умрешь! Расстреляй Вячеслава Михалыча! Где же ты, моя Сулико-о-о?

Сталин застонал и, изо всех сил растирая правую ногу, сказал:

— Не будем, господа, выяснять отношения. Пора завтракать и начинать конференцию.

— Вы плохо себя чувствуете? — спросил Рузвельт.

— Опять проклятая нога беспокоит. Я завидую вам, президент. Вы доказали, что великие государственные деятели вполне могут обходиться без ног. Итак, жду вас, господа, заморить червячка.

Сталин встал и, прихрамывая, скрылся с глаз моих. Рузвельта увезли, а Черчилль сам покандехал завтракать. У меня же, Коля, слюней от голода не осталось. Вытекли слюнки. Тю-тю! Хоть полуботинки жрать принимайся. Что делать? Пожевал я кусочек столярного клея, отколупал его от тахты, но он, гадюка, лишь запломбировал два моих дупла, что тоже было кстати. А сколько я так выдержу, не знаю и не представляю. Закемарил. Разбудил меня Сталин. Он вопил на профессоров:

— Я спрашиваю: когда она перестанет меня беспокоить? Вы врачи или враги народа?

— Целый ряд комплексных мер, Иосиф Виссарионович, которые мы сейчас назначим, сделают свое дело. Расширим сосудики, проведем массажик, примем хвойные и молочные ванны, — отвечают бурки.

— Только без паники, — брякнули бесстрашные шлепанцы, — без мнительности, без демобилизации нашего остального духа. Натрем ее коньячком. Я сам всегда так поступаю. Просто чувствуешь ноги после массажа чудеснейшей частью тела.

И вот, Коля, натерли Сталину ногу коньячком.

— Ну как? — спрашивают шлепанцы. — Что вы теперь чувствуете, больной Сталин?

Эх, думаю, кранты тебе пришли за такое обращение, дорогой профессор. Однако Сталин помолчал и сказал:

— А ведь действительно, Сталин очень больной человек, хотя вся партия, весь наш народ думают, что Сталин здоров как бык. «Болевой Сталин», — проговорил он с усмешкой. — Нога не беспокоит. Ей тепло. Какой коньяк?

— Армянский. «Двин», — докладывает Молотов, а бурки, шлепанцы, галоши и разные ботинки начали потихоньку линять.

Нога же, поддав коньячку, раздухарилась и запела тихим, но полным железной логики голосом: «На просторах родины чудесной наша гордость и краса, и никто на свете не умеет, эх, Андрюша, лучше жить в печали! Первый сокол Ленин!»

— Ну что ж, — зловеще сказал Сталин, — посмотрим кто кого. Посмотрим!

— Мы их пообедем вокруг пальца, Иосиф, — вмешался Молотов, — сделаем вид, что мы тоже классические дипломаты. Успокоим совесть союзников и, соответственно, общественное мнение их стран. Согласимся на создание коалиционного правительства в Польше, на свободные выборы и так далее. Вытребуем наших пленных... А потом мы их...

— Вот ты, Вячеслав, дурак, а иногда говоришь умные вещи. А сейчас на словах будем уступчивы. Будем якобы реалистичны. Будем якобы надклассовыми личностями. Что слышно от Курчатова? Неужели в наше время так трудно расколоть эти вонючие атомы урана-235?

— Будет, Иосиф, игрушка! Будет! Работа идет вовсю, — заверил Молотов.

— Учти, без нее нам всем крышка. Без нее нас больше не спасет никакое русское чудо. Без нее мы наложим в штаны, как тот часовой, и... Черчилль наконец выиграет свою игру. Нас ждет тогда второй Нюрнберг.

— Сталин! Скоро сдохнешь и умрешь, — перебила вождя нога. — И сгниешь, и сгниешь! И не помогут тебе тыщи атомных бомб! Думаешь пролежать всю жизнь рядом с Ильичом? Не дадут соратники верные. Не дадут. Вот скоро сдохнешь и умрешь, и немного полежишь рядом с учителем. Потом выкинут тебя из Мавзолея, как крысу, обольют помоями и закопают в общественной уборной. Соловьи, соловьи, не тревожьте со-о-ол-дат... А знаешь, кто тебя перекантует с глаз народа в сортир? Не знаешь! Угадай! Не угадаешь! Ха-ха-ха! Я ведь говорила тебе, чтобы не писал ты «Марксизм и национальный вопрос». Награбил бы себе миллион и гулял бы сейчас с Орджоникидзе в том же Лондоне по буфету. Был бы, например, советником Черчилля по русскому вопросу. Или татарочек крымских щупал бы. А ты погорел сильнее, чем Фауст Гете. Мудак ты сегодня, а вовсе не полководец

всех времен и народов. Дай коньячку! Я тебе еще не то скажу. Посинеешь, рябая харя!

— Ответь, Вячеслав, — говорит Сталин, — как перед Богом: что вы, сволочи, со мной сделаете, когда я скончаться? — Ты бы слышал, Коля, как тоскливо он это спросил, как задрожал его стальной голос.

— Извини, Иосиф, но ты все эти дни неоправданно мрачен, — сказал Молотов. — Ничего, кроме Мавзолея, тебя не ждет. Ты же прекрасно знаешь это. Я говорю так прямо, потому что тебе необходимо справиться с депрессией. Дела ведь у нас идут лучше, чем когда-либо. И на фронте, и в тылу.

— В тылу. Я оставил тыл на Лаврентия, а он, когда предлагает свои мужские услуги девочкам непризывного возраста, забывает не то что о тыле, а в каком районе Москвы находится Лубянка... Да... «Ничего, кроме Мавзолея, тебя не ждет». Приятную, однако, перспективу нарисовал для Сталина министр иностранных дел. Диплома-ат!

— Тебя выпотрошат, как барана. Это верно, — говорит правая нога, — мозги вытащат и сравнят с ленинскими. В тебе не будет ни одного трупного червяка. Все верно. Но то, что один из твоих соратников, иуда твой, перекантует тебя с позором из хрустального гробика во мрак земной — несомненно. Несомненно! Кровопийца и убийца! — пропела нога. — Одинокая какашка! Самодержец вонпочий, вот отдай приказ тебя порадовать. Нету такой силы в мире. Не будет тебе радости! Не будет!

— А мы возьмем и устроим после нас с Иосифом Виссарионовичем хоть потоп! — крикнула левая нога.

— Ничего, Вячеслав, ничего. Мы еще посмотрим кто кого, — поддержал ее, страшно обрадовавшись, Сталин и вдруг велит Молотову: — Подготовь стратегический план помощи Мао Цзэдуну. Победим Японию, создадим Китай с миллиардным населением и тогда посмотрим кто кого! Посмотрим! — пригрозил Сталин и засмеялся. Ей-богу, Коля, я тогда просек, какие заячьи уши решил он от вечной злобы заделать после своей смерти вечно живому советскому народу, соответственно, вечно живому советскому правительству и нашей родной КПСС. Именно так и именно в тот момент, Коля, Сталин был са-



мым дальновидным и коварнейшим гнусом всех времен и народов. Взгляни, пожалуйста, на дорогой Китай, на братца нашего желтолицего Каина с вырожденками, культурной революцией, с водородками и ракетами.

— Двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война, — замурлыкала нога, а Сталин добавил:

— Направь, Вячеслав, в Китай советников. Военных и научных. Пусть там готовят базу для ядерных исследований. России необходим могучий Китай! Я хочу оставить ей в наследство великого брата и друга. Ха-ха-ха!

— Все равно разоблачат, всех врагов освободят, а тебя из Мавзолея темной ночью унесут. Дурак, — пьяно сказала нога.

Тут подоспел Черчилль и говорит Сталину:

— Позвольте, маршал, вместо извинений сообщить вам, что полковник Даун не числится в нашей разведке. Хотя, сами понимаете, и в моем окружении, рассуждая теоретически, мог бы оказаться ваш человек.

— Абакумов! Что скажешь? — спросил жестко Сталин. — Отвечай. У нас сейчас с господином Черчиллем нет секретов. Они там наслушались сказок о зверствах наших органов. Так вот, доложи нам всю правду.

Подходят, Коля, поближе к Черчиллю сапоги. Пошиты изумительно. Но на голенищах — ни складочки, и кажется, что в сапогах нету ни одной человеческой ноги, а налит в них свинец, и застыл тот свинец, к чертовой матери, и будет стынуть в сапогах до тех пор, пока не расплавят его в адском пекле. Докладывают они, эти сапоги:

— Общую картину заговора, товарищ Сталин, составить пока еще трудно. Даже в Англии расследование особо сложных дел занимает не один день. Но мы уже получили от бывшего полковника Горегляда ряд ценнейших показаний. Возможно, он и Даун, и Ширмах, и Филлонен. Подследственный ловок, хитер и изворотлив. Пытается бросить тень на Четвертое управление Минздрава с явной целью отомстить профессору Кадомцеву за разоблачение.

— Хитрый ход, — перебил сапоги Сталин. — Пора, господа, пора. Что касается врачей, то мы установим за ними наблюдение. А они пусть наблюдают за нашим здо-

ровьем. Кто-нибудь таким образом и попадется... Не все веревочке виться... Для начала арестуйте этого... который в шлепанцах. Дворянин, очевидно...

— Сталин — жопа и дурак, несчастное говно! Скоро сдохнешь и умрешь. Пропащая твоя жизнь! Сын твой — пьянь, а дочь тебя ненавидит! Одинокая какашка!

— Запомни, Вячеслав: за китайский вопрос отвечаешь у меня головой. Это вопрос номер один, я вам покажу, вы у меня попляшете, голубчики! — Сталин даже ручки потер от удовольствия, когда представил расстановку сил на мировой арене и бардак в коммунистическом движении после того, как Китай позарился на российские и прочие края. — Я вам подкину такого цыпленка табака, что вы у меня пальчики оближете. Все! Пора кончать с Германией. И пора кончать с Японией. Пора помочь Мао Цзэдуну сбросить Рузвельта в Тихий океан. Подгоните Курчатова, а не то я назначу президентом Академии наук Лаврентия. Я вам покажу, негодяи, как вербовать мою ногу! Сталин действительно гениальный стратег! И ему есть для чего жить.

Это, Коля, были последние слова, которые я слышал. Тихо стало. Конференция началась. Генерал Колобков привел подменных, снял с деревьев и вывел из кустов чашовых-тихарей и скомандовал, поскольку те плясали от нетерпения:

— На opravку бегом, шагом ма-арш! Крепись! Не то все на фронт угодите, засранцы!

Протопали мимо меня солдатики, а я, Коля, не подох с голоду самым чудесным образом. Они там вечером банкет захреначили, и вдруг сверху, сквозь сплетение глициний и лоз виноградных что-то перед самой моей решкой — шарах-бабах. Я еще руку не успел сквозь нее просунуть, а уже учуял, унюхал — гусь! Гусь, Коля! Но зажаренный так, как только может быть зажарен гусь для товарища Сталина. Объяснить вкуса этого гуся на словах нельзя. Этого гуся, Коля, схавать надо. А уж как он упал, черт его знает. Может, официант поскользнулся, может, сам Сталин подумал, что чем обаятельней выглядит гусь, тем вероятней его отравленность, взял да и выкинул того жареного гуся в окно, опасаясь за свою драгоценную жизнь. А жить, Коля, как ты сам теперь видишь,

было для чего у товарища Сталина. Он нам заделал-таки великий Китай, и что с родиной нашей Россией будет дальше, неизвестно. Нам с тобой, милый Коля, в будущее не дано заглянуть. Потому что мы с тобой не горные орлы, а всего-навсего совершенно нормальные люди. И слушай, почему бы нам не выпить знаешь за кого? Нет, дорогой, за зеков — слонов, львов, обезьян, аистов и удавов мы уже пили. Давай выпьем за ихних служителей! Да! Давай выпьем за них! За обезьяний и гиппопотамский, за птичий надзор! За то, чтобы он не отжимал у тигров и росомах мясо и бациллу, у белок — орешки-фундук, у синичек — семечки, у орангутангов — бананы, у тюленей — свежую рыбу. И еще за то выпьем, чтобы не бил надзор зверей-заключенных. Не бил, не колот и не дразнил. Понеслась, Коля! Давай теперь возвратимся в человеческий мой зоопарк, в подлючий лагерь.

## 11

Вдруг Чернолюбов хипежит на весь наш крысиный забой:

— Товарищи! Опасность слева! Приготовить кандалы к бою!

Я ведь, Коля, совсем забыл тебе сказать, что мы были закованы. Тяжесть небольшая, но на душе от кандалов железная тоска. Повоевали с крысами. Побили штук восемь. Норму на две крысы перевыполнили. Цепочки погremели. От работы повеселели все. Шумят. Лыбятся. Разложили крыс на камешках и стали им фамилии присваивать: Мартов, Аксельрод, Бердяев, Богданов, Федотов, Мах, Флоренский, Авенариус, Надсон, а самую большую крысу окрыстили, извини за каламбур, Вышинским. Чернолюбов тут же предложил товарищам встать на трудовую вахту в честь Дня учителя и взять на себя повышенные обязательства покончить с неуволимым вождем каторжных крыс самцом Жаном Полем Сартром ко дню рождения Сталина. Эки мне легенды о крысином вожде тискали. Огромен был и хитер. Нападал бесшумно. Кусал исключительно за лодыжки и любил хлестаться, убегая, холодным длинным хвостом. Видел в полной темноте прекрасно, хотя имел, по слухам, бельмо на глазу.

Ведь Берия, Коля, какую каторгу изобрел для старых большевиков? С утра до вечера бороться с крысами, которых в руднике было навалом. Причем, повторяю, бороться в полной темноте. А вот откуда они брались, позорницы, тоже легенды ходили. Я-то думаю, что рядом с нашей зоной был лазарет, а при нем кладбище. Верней, свалка мертвых зеков. Крысы на нем гужевались от пуза, а к нам в забой по каким-то подземным ходам бежали для развлечения. Для игры. Опасная игра, но крысы ее любили. Без игры, очевидно, в природе нельзя. Есть даже такая теория игр. И проклял я себя еще раз в том забое за то, что сам напросился в него попасть. Однако, сам знаешь, приговор приговором, но стремиться к свободе надо. Мы ведь чем отличаемся от питонов и бегемотов в зоопарке? Мы знаем совершенно точно конец нашего срока. Хотя он, пока не восстановили так называемые ленинские нормы законности, тоже бывал нам неизвестен и неведом более того.

Первым делом научился я видеть в темноте. Добился этого просто. Ты же знаешь, я любил читать в экспрессах и вычитал, что у людей когда-то в чудесные доисторические времена имелся третий шнифт. Где-то между мозгой и хребтиной, а возможно, и на затылке. Темнота полная, вернее, чернота тьмы, мучила меня ужасно, и холодина к тому же убивала просто мою душу, Коля. К темноте этой тоже, разумеется, привыкнешь, на ощупь стоишь, ходишь, время убиваешь, трекаешь, крыс глушишь, и больше нету у тебя никакой другой работы, но очень уж скучно, Коля. Очень скучно. И тогда я себе сказал: «Ты должен, Фан Фаныч, победить тьму момента, а заодно и историческую необходимость, которая, как дьявол, хочет скрывать личную твою судьбу!» Так я сказал и начал воскрешать с полным напряжением души и искусством рук давно ослепший третий шнифт. Раз запретил Берия иметь самым важным каторжникам в забое спички, раз запретил добывать огонь первобытным способом и пропускать во тьму лучи солнца, луны и звезд, то Фан Фаныч имеет право нарушить режим, несмотря на угрозу попасть на лазаретную свалку к крысам! Имеет! Имеет! Имеет!

Массирую я, Коля, сначала лоб. Никакого результата. Рога, по-моему, зачесались, а светлее от этого не стало.

Массирую вмятину на затылке — и в ужас прихожу. Вмятина-то эта от удара прикладом. В двадцатом схлопотал. Вдруг приклад красноармейской винтовки, сам того не ведая, уделал на веки веков мой третий шнифт? Что тогда? Уныние наступило. Четыре месяца тружусь. Ничего не получается. Вспомнил дирижера Тосканини. Он наверняка кнокал третьим шнифтом в зал.

Решаю поставить крест на всех участках черепа, кроме одного: шишечки под вмятиной, вроде маленького холмика она. Тру, мну, снова глажу по часовой стрелке, потому что все важно делать по часовой стрелке, даже мочиться и сдавать бутылки. Мною замечено, Коля, что эта падла Нюрка, которая летом пивом торгует у нас за углом, зимой посуду принимает, и если сдашь ей посуду не по часовой стрелке, обязательно объе... извини, на полтинник или вовсе половину не примет. И что я ей такого, гадине, сделал? Ты пойми, мне не полтинника жалко, и пиво я датское в банках беру в самой «Березке», — но зачем так мизерно использовать правило часовой стрелки?

Короче говоря, двадцать один день обрабатывал шишечку под вмятиной, холмик обрабатывал, и зачесался он, словно спросонья настоящий шнифт. Приятно зачесался, чешется, даже повлажнел, прослезился. Но видимости никакой. Темно в забое. Чернолюбов разбирает себе, надо ли было проводить коллективизацию и убирать нэп или не надо, а я тру, тру и тру ослепший за временной ненадобностью третий шнифт. Вспоминай, говорю, солнышко мое, как ты в пещерах вечных ночей мне служил, вспоминай, вспоминай! И вдруг, Коля, отнимаю я от черепа руки и вижу в двух шагах за собой в серой полутьме надзирателя Дзюбу. Но виду, что вижу его, не подаю. Не то, сам понимаешь, сразу лишишься, как бритвы при шмоне, неположенного органа зрения. В этом третьем шнифте оказалось очень большое удобство. Лядел он не вперед, а назад, с затылка, и смотреть по сторонам сперва было непривычно. Стоит Дзюба, никто его не видит, только я. И лицо, прости за выражение, Коля, у Дзюбы чем-то на свое не похоже. Что-то нормальное в нем появилось, как, скажем, в лице какого-нибудь дебила, пришедшего со страхом и срочной болью вырывать зуб. Как

будто поет в Дзюбином теле под портупеей и погонами большая душа, поет и не может просечь, откуда и за что послана ей такая боль. Покнокал я третьим шнифтом и на штурмовиков Зимнего дворца. И в ихних лицах, в ихних особенно глазах такое же выражение было, как в лице и шнифтах народного надзирателя РСФСР и за-служенного надзирателя Казахской ССР Дзюбы. Ужас, какое выражение, Коля! Немая, слезная, последняя мольба: скорее же вырвите нам душу! Вырвите! Нам же больно! Понимаете? Очень больно! Ну сколько это может продолжаться?

Боль, одним словом, состругивает много лишнего с человека.

Тут, Коля, Фан Фаныч не выдержал такого зрелища, смахнул слезинку с третьего шнифта. Закрыв его и говорит:

— Внимание! Жареными семечками пахнет, борщом и салом в забое!

— Верно! Чуете, гады, чекистский дух. Пришел я вас порадовать. Международная реакция заточила в застенки борца за мир Никоса Белоянниса! Но радоваться вам недолго. Народы грудью встанут на его защиту! Выходи на митинг вольняшек! Стройся! И чтоб цепей не терять! Ясно, сволочи?

— Руки прочь от Анджели Дэвис! — говорит Чернолюбов. — Руки прочь от Назыма Хикмета! Мы с тобой, Корвалан!

— Молчать, циники проклятые! Чернолюбову за иронию трое суток карцера! — отвечает Дзюба.

— О нет! Мир еще не был свидетелем такой трагедии непонимания единомышленников единомышленниками! Есть трое суток карцера! Дисциплина должна быть дисциплиной даже здесь. Партийная дисциплина — абсолют! — Все это Чернолюбов трекал в строю по дороге на митинг.

А я иду по зоне и смотрю назад, на зеков, на бараки, на заборы с козырьками, проволоку колючую и вышки с попками. Смотрю третьим шнифтом на все на это, и трудно ему узнавать знакомую лично мне, Фан Фанычу, жизнь и мир вокруг. Смотрю на то, что мы, люди, с ним сделали. Чернолюбов спрашивает меня:

— Зачем вы, товарищ Йорк, голову так задираете? Что-то вождиное в вас появилось. Вокруг странно смотрите.

И верно, Коля, просек этот идиот. Ведь у третьего шнифта угол зрения был совсем другой, не тот, что у двух остальных. Мне приходилось задирать голову и медленно ее поворачивать, а впереди себя ничего не видел, только небо и тоскливые осенние серые тучи на небе. Тут я и догадался, что вожди пробиваются в люди с немного приоткрытым третьим шнифтом. У них и поворот головы солидный или же, наоборот, шея верткая, и вскидывают они то и дело голову: пристально смотрят назад, на стадо, которое ведут, а передние шнифты прищуривают, потому что на хрена они нужны в момент управления стадом? Но стаду, Коля, кажется, что вождь видит необозримые дали, что заглянул он, родимый, туда, куда не дадено заглянуть простым смертным, и увидел там при этом такие чудеса, такую прекрасную жизнь, что людям свою собственную не жалко положить и жизнь своих сыновей и любые трудности вынести, лишь бы внукам и правнукам было хорошо. Уж они-то, ласточки, воспользуются плодами дел наших, снимут урожай с земли, политой кровью рабочих, крестьян, интеллигентов, военнослужащих, и загужуются от пуза.

В общем, Коля, задирают вожди свои головы, оглядывая третьим шнифтом печальный путь, пройденный людьми, спасти их хотят. Но пропасти впереди себя не видят. И тут уж не до хорошего. Дай бог, чтобы внукам дышать чем было, дай им бог водицы кружку и птюху хлеба на день, помоги нам, Господи, прекратить превращение одного из бесчисленных творений Твоих — прекрасной земли — в камеру смертников, где обсасывают перед последней секундочкой жизни крошку хлебушка и слизывают с края оловянной кружки водички последний глоток!

Короче говоря, Коля, шел я тогда по зоне и думал, что если открылся у тебя третий шнифт и увидел ты общую муку палачей и казнимых, и понял — это исключительно между нами, Коля, — понял, что очень хорошо и сочувственно к ним ко всем относишься, то ты — нормальный человек. Кстати, важно в такой миг за несчастных помо-

литься. Но если, Коля, в миг этот страстно захотелось тебе всех и себя спасти, если задрожал ты от ярости и ненависти и показалось тебе, что просек ты истинную причину нечеловеческих мук и что, следовательно, надо мир переделать и так его, милого, перелицевать и устроить, чтобы тот, кто был Никем, внезапно, на обломках старой жизни, на баррикаде, стал Всем, Всем, Всем, то — держитесь, братцы, держитесь, голуби, держитесь, ласточки, — ты понесся, Коля, в вожди!.. Слушай, я же не о тебе лично толкую, ты никогда не будешь вождем. Ну зачем ты заводишься с пол-оборота? В общем, держитесь, голуби! Держитесь, ласточки, запасайтесь лекарствами! Сейчас вас начнет спасать очередной вождь. Вперед, мерзавцы! Вас, сук, носами в самую цель тычут, а вы упираетесь, пропаскудины, и еще хотите, чтобы я вас по головам гладил? Не дождетесь! Брысь вперед, негодяи! Кыш, лоботрясы, в светлое будущее! Руки прочь от Белоянниса!

Вывели нас в зону, значит. Поставили сбоку от вольняшек. Предупредили, конечно, что в случае побега шамальнут на месте. Речуги начали кидать. Сначала шоферюга на трибуну вылез пьяный, на ногах не стоит.

— Если бы, — говорит, — был на самом деле железный занавес, то и не узнали бы мы, что повязали греческие мусора Белоянниса Никоса. Занавес-то, он, господа поджигатели борцов за мир, с вашей стороны железный, а с нашей-то он всегда прозрачный. На-кось выкуси! Правда, господа путешествуют без путевых листов, повашему, без виз, и лучше давайте подобру-поздорову руки прочь от греческого народа и его старшего сына Никоса, не то я две смены зеков на погруз-разгруз возить буду.

Тут шоферюгу баба с трибуны сволокла и по харе, по харе его — бамс, бамс.

— Где, — говорит, — таперича получку евонную мне искать? Помогите, прогрессивные люди добрые, с окаянным Пашкой управиться. Фары опять залил бесстыжие! Руки прочь от жены и детей!

Шуганули их обоих. Чернолюбов мне шепчет:

— Теперь вы представляете, Йорк, какой у нас объем работы и снаружи и внутри?

Я ответил, что хорошо представляю и все передам Галлахеру.



За шоферюгой кинул речугу молоденький начальник нашей каторги. Этот замандражил от возмущения на поступки классового врага, голос срывается.

— Где, — говорит, — ваша совесть и честь Эллады, вспомните Гомера, господ, Байрон кровь за вас проливал! Как вам не стыдно, как рука у вас поднялась посадить Никоса Белоянниса с гвоздикой в петлице, посадить в Тауэр? Опомнитесь! Вот что такое ваша хваленая демократия и свобода! Свобода кидать за решетку лучших сынов народа! Услышь нас, товарищ... — Тут, Коля, Дзюба что-то проямлил начальнику и смутил его. Все же Белояннис хоть и грек, но зек. Смутил, и начальник начал сбиваться: то назовет Белоянниса товарищем, то гражданином, как посоветовал ему, наверное, Дзюба, то по новой товарищем, и все историей стыдит греческое МГБ. — Постесняйтесь Зевса! Призовите на помощь всю свою Афродиту! Не позорьте родины огня, пощадите больную печень Прометея, руки прочь от Манолиса Дэвис!

Зеки мои бедные вопят вместе с вольняшками и вохрой: «Руки прочь! Руки прочь от Эллады!» Потом вылезла на трибуну, Коля, начальница бабского лагеря, тоже вроде Дзюбы бывшая исполнительница кровавых романсов Дзержинского и Ежова, и говорит:

— Дорогие товарищи и вовсе не дорогие никому из нас граждане враги народа! Вот смотрю я на Анну Ивановну Ашкину в первых рядах, на председателя райисполкома, и думаю: в какой еще стране кухарка может руководить государством? В Англии? Нет! В США? Нет! Али в Гватемале? Нет! Или взять меня. Муж мой погиб в тридцать девятом году на боевом посту. Нагремшись шибко, взорвался в его руках наган, которым он вывел из строя лучших наших матерых врагов народа. Похоронила я Семен Семеныча и заступила на его место. И товарищи не подъялдыкивали меня поначалу. Поддержали советами, к мушке глаз приучили. Пошло тогда у меня дело. Пошло! А что было бы тогда со мной в Америке? Было бы! Подохла бы я под статуей Свободы без работы, и никто там женщине не доверил бы не то что электрических стульев, товарищи и граждане, а и револьвера плохонького не доверили бы. Присоединяю

свой голос к протесту. Мы с тобой, Никось Белоян-  
нись!!!

Слезла с трибуны, слезы ее душат. «И кто же ему, род-  
ненькому, передачку принесет?» — вопит на весь митинг.  
Махнул Дзюба рукой Чернолюбову. Тот и взлетел, гремя  
кандалами, на трибуну. Горло ему сначала тоже сдавило.  
И повело, повело, повело.

— Реакция наглеет, пора взять ее за кадык... В какой  
еще отдельно взятой стране мы могли бы — и надзор, и  
заключенные — стоять вот так, плечом к плечу, и голоса  
наши сливаются в гневном хоре: «Руки прочь от Белоян-  
ниса!» В какой, скажите, стране? Мы просим послать ме-  
сячный паек сахарного песка в афинские Бутырки и на-  
чать всенародный сбор средств на птюху и инструмент  
для побега Белоянниса в Советский Союз!

Тут Дзюба громко разъяснил, что зеки не имеют пра-  
во называть Белоянниса и его гвоздику в петлице това-  
рищами. Для нас, мол, он гражданин.

— Мы с тобой, гражданин Никос, ты не одинок! Мы  
все с тобой в твоей тюрьме! — заявил Чернолюбов. — И  
вновь перед нами со всей беспощадностью встает во-  
прос: «Что делать?» Бороться! Бороться за урожай, бо-  
роться за снижение человеко-побегов из застенков реак-  
ции. Бороться за единство наших рядов, бороться с кры-  
сами всех мастей и с желанием поставить себя в сторон-  
ке от исторической необходимости. Да здравствует... —  
Тут, Коля, Дзюба дернул за цепь Чернолюбова. — Да  
здравствует гражданин Сталин — светоч в нашей борь-  
бе. Руки прочь от Арисменди Анджелы Белояннис! Сво-  
боду Корвалану! Смерть Солженицыну и академику-вра-  
гу Сахарову! Позор убийцам!

— Ну а теперь, друзья-товарищи и граждане-враги, —  
говорит Дзюба, — нехай выступает перед нами самая  
что ни на есть реакционная шкура мракобесия, кото-  
рая шеф-поваром у Максима Горького работала  
и в суп евонный, а также во второе и в кофе каждый  
день плевала. Плевала и плевала из-за угла, а может,  
и еще чего делала, но признания не вырвали у нее ор-  
ганы. Иди, Марыськин, и отвечай товарищу Белоянни-  
су! Признавайся хоть перед ним, раскалывайся в зло-  
действе и кто вложил в твою руку бешеную слюну! Вы-

ходи, гадина, на высокую трибуну! Живо, не то прикладом подгонят!

Смотрю, Коля, вышел из наших рядов человечишко. Первый раз я его тогда увидел, поскольку особа в высшей степени неприметная, из тех, которые стараются каждую секунду скрыться с чьих-либо глаз или же провалиться сквозь землю. Худенький человечишко, особенно какой-то жалкий, просто возненавидеть можно такого человечишку за одну только жалость, что чувствуешь к нему. И серый весь, как бушлат. Безнадега серая на лице. Нету жизни вроде бы в человечишке, и цепи даже на нем ни разу не звякнули, пока шел и поднимался он на высокую нашу трибуну. Долго кашлял, потом отхаркивался, а Дзюба приказал не сметь с трибуны никуда плевать, ибо тут ему не уха для Горького с расстегаями и на второе котлета по-киевски. Плюнул Марыськин в рукав и делает, Коля, совершенно для меня неожиданно, следующее заявление:

— Люди! Жить мне осталось недолго. Я прекрасный, к чему уж скромничать, кулинар. Мой прадед, и дед, и отец были кулинерами. Я не служил у Горького, а работал шеф-поваром в «Иртыше» рядом с НКВД. И какому-то следователю в макароны по-флотски попал черный шнурок с неизвестного ботинка. Я был взят и сознался под пытками — у меня отбиты легкие, — что плевал в блюда Максима Горького. Не плевал! Не плевал! Я кулинар, люди! И я желаю звучать гордо! Руки прочь от Марыськина! Свободу Марыськину! У меня семья в Москве... жена... детишки...

Тут Дзюба ему в зубы — тык, тык, а человечишка, Коля, кровь сплюнул и по новой кричит:

— Руки прочь от Марыськина! Руки прочь! Свободу невинному человеку!

Что тут началось! Чернолюбов, гуммозник, возмущается неслыханной наглостью двурушника, поставившего свои интересы выше интересов партии. Дзюба вопит, чтобы призвал Марыськин руки прочь не от себя, а от Белоянниса, не то он ему все зубы выбьет и укуса в рот нальет, чтоб больнее было. А Марыськин заладил одно:

— Руки прочь от Марыськина!

Вольняшки и мусора сволокли его с трибуны, и самосуд пошел. Ногами, ногами в рот метят, в рот, в губы, чтобы забить сапожищами в глотку нормальную просьбу невинного человека отстать от него, к чертовой матери, и отпустить на свободу. Ногами, ногами, Коля, а сами хрипят при этом, звери, ой, нет, не звери, люди хрипят:

— Руки прочь от Белоянниса Лумумбы! Свободу Димитрову и Тельману!

А человечешко, с грязью осенней смешанный, отвечает им чистым и ясным голосом, откуда только силы у него брались:

— Руки прочь от Марыськина! Свободу Марыськину! Дзюба нам орет:

— В зону, падлы! Цепей не терять!

На губах Марыськина пузыри кровавые, лицо он, Коля, в коленки все пытался уткнуть, чтобы уйти из жизни скрючившись, как в животе материнском, в цепях, бедный, запутался, но хипежит свое:

— Руки прочь от Марыськина! Свободу Марыськину!

Мы уж к зоне подходили, а я, поскольку оборачиваться на ходу нельзя, все кнокал и кнокал третьим шнифтом на тело, которое месили ногами мусора и вольняшки и стервенели оттого, что никак не удавалось им загубить в Марыськине свободную жизнь. И текли из третьего моего шнифта, Коля, счастливые слезы, ибо, пусть меня схавают с последними потрохами, пусть вынут душу мою, если темно, не встречал Фан Фаныч ни в одной из стран мира и ни в одной из его паршивых тюрем такого самостоятельного человека, как подошедший в осенней грязи Марыськин. Вечная ему слава и вечный ему огонь!

Вот такой, Коля, компот и такие пироги, как любят говорить наши внешние, а также внутренние враги...

## 12

А со шнифтом моим третьим стало мне жить в забое крысином намного легче. Привел нас туда Дзюба поутрянке на следующий после митинга день и говорит, чтобы норма была перевыполнена на пять крыс, не то будем работать и в воскресенье. Беру я обушок от кайла, замечаю все крысиные ходы и выходы, баррикадирую их, паскудин, и, как покажется где мерзкая крысиная рожа, я

ей обушком промеж рог и врезаю, и крысе — кранты. Чернолюбов присвоил мне звание ударника коммунистического труда и велел выполнить с ходу годовое задание, а Дзюба увеличит дневную норму убийства крыс — и все мы в глубокой жопе. Да и крыс таким образом можно по-быстрому ликвидировать, и тогда неизвестно, с какими тварями нам придется бороться, ибо я очень мандражу летучих мышей, пауков, мокриц и прочей пакости, ни в чем, впрочем, перед нами не виноватой. Или муравьев нам Дзюба подкинет, а с ними бороться потрудней, чем с крысами.

Убедил я товарищей, хотя был заклеимен как тредюнионист, прагматик, кулак, мещанин и белогвардейская дрянь. Я, видишь ли, отказался установить мировой рекорд истребления крыс политкаторжанами. Глушу я, значит, потихонечку каждую смену крыс, только вот ихний вождь, почему-то прозванный Жаном Полем Сартром, все не попадаетея со своим бельмом на глазу и длинным холодным хвостом. Наверное, он подзуживал крысиные массы к атаке и последнему решительному бою, а сам наблюдал из своей норы или из щели какой-нибудь за нашими сражениями.

Глушу, Коля, крыс потому, что если их не глушить, то они все ноги обглодают, и просто потому, что противно. Я глушу, а товарищи рады. Фан Фаныч работает, они же благодаря ему трекают целую смену о расстановке сил на международной арене, трагедии Португалии, Испании, Югославии, скромности и простоте Ильича, нежном сердце Дзержинского, железной логике Сталина и что при коммунизме всех сразу освободят. Чернолюбов также разработал в деталях ультиматум Англии. Ей предлагалось в недельный срок выкопать шкелетину Кырлы Мырлы с Хайгетского кладбища и переправить самолетом для перезахоронения на истинной родине социализма, на Красной площади, и положить, надев костюм с бородой, рядом с лучшим учеником в Мавзолее. Если же Англия, сука такая, откажется выдать гениальную шкелетину, то с ней надо немедленно порвать все дипломатические отношения, а штат посольства держать как заложников до тех пор, пока английский народ не скажет своего гневного «нет!» королеве и ее послушному рабу —

парламенту. Ультиматум этот решили вручить Дзюбе для передачи Черчиллю. Если тот откажется передавать, сославшись на то, что нынче в огороде дел много, а баба беременна, тогда Чернолюбов предложил вырвать из челюстей всех товарищей золотые фиксы и подкупить шоферу Пашку. Тот бросит конверт в ящик, и останется только ждать, когда палата общин вцепится в глотку палаты лордов. И все дела.

И еще Чернолюбову всю дорогу было интересно, как это я так метко и неожиданным поворотом на сто семьдесят градусов поражаю обушком крыс.

— Как вам это, Йорк, удается?

Я говорю, что мне это удастся потому, что я смотрю не вперед, как некоторые, а назад и хорошо вижу в абсолютной темноте.

— Английские товарищи могут вами гордиться, Йорк!

Тут я, Коля, немного пошухерил. Без шуток Фан Фаныч будет лежать исключительно в сырой земле, в деревянной дубленке и в последних шлепанцах, а пока жив Фан Фаныч, он, несмотря ни на какие удары рока, намерен восхищать свою бедную и несчастную душу волшебным смехом!

Я что сделал? Нацарапал острым камушком на породе слова, сдул крошки, с понтом этим словам лет сто, и говорю коллегам по каторге:

— Обнаружена надпись на камне. Необходимо ее разобрать. Кто сможет?

Начал Чернолюбов читать на ощупь, шепчет, слышу, слезы глотает и говорит:

— Товарищи! Трудно в это поверить! Это кажется осязательной галлюцинацией! Слушайте же! Здесь написано дореволюционным русским языком: «Раньше сядешь — раньше выйдешь. Кюхельбекер. 1829 год».

Товарищи! Мы сделали не просто историческое или палеографическое открытие! Оно смело выходит за целый ряд замечательных рамок! Оно говорит о том, что обрусевший ум великого декабриста в условиях царской каторги, объективно являвшейся, как мы теперь видим, катализатором мыслительного процесса, оставил далеко позади себя громоздкую и многотонную диалектическую систему идеалиста Гегеля. Диалектика Кюхельбекера,

этого духовного вождя политкаторжан, предельно проста: раньше сел — раньше вышел. Мы с вами не раз горько жалели, что не были на Сенатской площади. Но дело не в этом, не в нашей доброй партийной зависти к давно освободившимся товарищам. Дело в том, что наш Кюхельбекер открыл теорию относительности задолго до господина Эйнштейна. Ибо «раньше» — категория времени, а «сесть и выйти» — категории пространства. Мы можем считать бессмертный афоризм Вильгельма универсальной формулой, объясняющей все закономерности общественно-политического процесса национальной и государственной жизни России. Я уж не говорю о том, что формула словесная лучше цифровой и не удалена на космические расстояния от широких масс. От каждого из нас. Теперь вы понимаете, что я был прав? Теперь вы понимаете железную логику, историческую правоту и мужество Сталина, скрепя сердце пошедшего на массовые репрессии намного раньше, чем ему советовали Бухарин и компания, и охватившего этими репрессиями все пространство первого в мире социалистического государства. Вот что такое марксистское понимание релятивизма времени и пространства. Господа Троцкие, Каменевы и Зиновьевы подбивали партию пойти на то, чтобы мы сели намного позже. Партия сказала им: «Нет!» И мы выйдем, товарищи, намного раньше. Карта врага бита. Да и остались ли у него козыри вообще? Да здравствует Кюхельбекер — великий диалектик России и ее революционного процесса! Ой! Бейте Сартра! Куда же вы смотрите, Йорк? Бейте же Сартра! Это он! Он больно кусается!

Сартра, Коля, мне тогда глушануть не удалось, но хвост я ему, по-моему, перебил.

Дорогой мой! Ты заметил, что я начал трекать о крысином забое и прочей прелести, и мы с тобой давно не пили за зверей, заключенных в клетку? Заметил. А что ты скажешь, если я тебе предложу выпить за крыс? Для зоопарков они интереса не представляют, их все больше держат в лабораториях для опытов, но, между прочим, Коля, какими бы омерзительными и гуммозными ни представлялись нам эти создания, им тоже больно от жизни, ран и голода, и если можно было бы взять мою

боль — вот я прижиг сигаретой ладошку — и боль крысы после того, как и ей — мерзости — прижгли бы лапу, то, поверь мне, Коля, нельзя было бы отличить друг от друга две наши боли. Нельзя! Человеческая боль ни на слезинку, ни на крик или же обморок не больше боли бабочки, коровы, орла или крысы. Не больше. Это все, что я хорошо знаю. И ладошку, дурак, я себе прижиг зря. Но зато давай выпьем за все живое и за то, чтоб любой живой твари или совсем не испытывать боли, или же испытывать любой живой твари боль эту как можно реже. Как можно реже.

И вдруг, Коля, я освобождаюсь. Причем воистину неожиданно. После того митинга, когда руки прочь от Белоянниса и затоптали насмерть Марыськина, Дзюба к нам в барак больше не заявлялся.

Информации не получаем никакой. Пару раз, впрочем, ветер заносил в зону обрывки заблеванной «Правды» и ржавой послеселедочной «Комсомолки». Так мои партийцы что-то узнали о корейской войне и работе Сталина насчет языкознания. Сам понимаешь, хавали они эту информашку с полгода. Дискуссии у них были, расколы, выговора, снятие выговоров, партконференции, какие-то саморефераты, самочистки, и наконец Чернолюбов всех убедил, что Сталин, как всегда, прав. Все дело в языке. Партия и народ говорят иногда на разных языках, и это тормозит движение идеи к цели. Партия, например, сказала: «Надо!!!» А народ ответил: «Будет!» И партия уверена, что «будет» — это высокое обещание народа помереть, но воплотить в жизнь историческое какое-нибудь постановление. Но постановление не выполняется, хотя бедной партии в голову не могло прийти, что оно может не воплотиться и не выполниться. Партия спокойно сочиняет другие исторические постановления, по наивности не подозревая, что народ гадит ей втихомолку, пьянствует, ворует, не выводит, негодяй народ, родинок капитализма. И только после тщательного расследования, проведенного нашими славными органами, сказал Чернолюбов, вдруг оказывается, что на языке народа «будет» — синоним «хватит». И если бы он, Чернолюбов, оставался членом ЦК, то он обратил бы на это внимание партии и пропаганда вредительско-



го лозунга была бы задушена в самом зародыше. «Надо» и «будя» — слова-антагонисты. Нужна беспощадная жестокая сила, чтобы заставить народ преодолеть языковой барьер!

Спели «Интернационал», провозгласили здравицу в честь гениальной сталинской интуиции, расставили фишки на самодельных международных аренах, и по новой тупо потекла мутная крысиная жижа наших ночей и дней.

Подпольные большевики даже не знали, что Сталин врезал дуба, а Берию шмальнули вместе с некоторыми его партнерами.

Но вдруг, Коля, начали их дергать по одному. Причем дергают с концами. Не возвращаются товарищи. О свободе я, честно говоря, не думал, потому что не сомневался, что советская власть — это всерьез и надолго. Остался я в бараке с Чернолюбовым. Режемся с ним целыми днями в бурю. Карты я замастырил из «Краткого курса». Вырезал трафаретики мастей, тушь заделал — полкаблука сжег, а сажу на моей моче развели. И начали мы биться. Он сначала в мастях путался, а потом освоился и понес меня. Подряд выигрывал по десять и больше партий. Попал Фан Фаныч за все ланцы. Сижку полуголый на нарах, завернутый в казенную простынку и сообщаю, за что мне такая невезуха. Но остановиться не могу, я в бою заводной. Начал, чтобы отмазаться, играть в ста партиях сахарок. Попал до пятидесятилетия советской власти. Партнер, пользуясь преимуществом, давил на меня и настоял на отмеривании времени разными датами. Второй месяц бурим. И по новой я попадаю! Попадаю, словно я с самим чертом играю на хлебушек до пятидесятилетия органов, на баланду до столетия со дня рождения Сталина, на вынос параша до такого же столетия Ленина, на уборку барака до установления советской власти в кладовке капитализма — Швейцарии.

Отплываю, Коля, отплываю. Горю естественной смертью. И сгорел бы как пить дать, если бы Чернолюбова вдруг не дернули. Дернули, гада, с вещами!

— Если, — напоследок говорит, — Йорк, вам удастся освободиться, передайте коммунистам мира, что, несмотря на некоторые ошибки, наш путь и наш опыт являются

ся идеальной моделью для пролетариев всех стран. Победа не за горами. Доешьте уж мою пайку. Мы, коммунисты, — народ гуманный!

Я дожевал хлебешек. Не до жиганской гордости тогда было мне. Вскоре баланда влетела в кормушку, а поутрянке и сахарок с кипятком. Ожил Фан Фаныч, а ведь одной ногой был там...

## 13

Но и моя очередь пришла. Разумеется, неожиданно. Сижу на нарах, отъедаюсь. И вдруг, где бы ты думал, Коля, я себя обнаруживаю? В пахучей духоте, под жарким солнцем и голубыми небесами, в белых, розовых, лиловых, синих и красных цветах. Воробушки рядом чирикают. Голоса какие-то невдалеке гундосят, и паровозишко посапывает. Станция, очевидно. А я лежу, надо полагать, в гробу, и, вполне возможно, Кидалла разыгрывает очередную сцену из своего будущего — Фан Фанычу устроили почти всенародные похороны и решили его закопать в землю живьем. Сейчас, очевидно, поднимется на трибуну студентка энергетического института или пожилой оторванный от станка токарь, и я услышу, что поскольку в будущем наказание будет опережать преступление, то и захоронение особо опасных преступников должно происходить задолго до смертной казни. А это уже такое торжество пролетарского гуманизма, от которого волосы должны от ужаса шевелиться на черепах Дюпонов, Фордов, Чан Кайши и маршалов Тито. Такую примерно и ожидаю речугу и не шевелюсь.

Лежать в цветах действительно неплохо. Неплохо плавно плыть на чьих-то спинах и смотреть в небо. Хуже, когда крышку заколачивать станут, обязательно ведь, гадюки, гвоздь влупят в плечо или в ногу, хуже, когда комья глины печальной по крышке гроба застучат все глуше и глуше, пока совсем не слышно их станет. Лежу себе, тихо думаю, дышу воздухом безгрешных цветов. Вдруг Юрий Левитан надо мной забасил: «Передаем последние известия... Американский народ рукоплещет Никите Сергеевичу... Указ Президиума Верховного... за выдающиеся заслуги в строительстве социализма в одной отдельно взятой стране присвоить буквам «К», «П» и «С» за-

ние Героев Социалистического Труда... переименовать мягкий знак в твердый... считать последней буквой советского алфавита букву «Ы»... Букву «Я» наградить значком «Отличник Освода»...

Что за мать твою так, думаю — и приподнимаюсь. Жарко. Пыльная, вшивая площадь вокруг. Одна зеленая палатка «Пивопродукты». Облупленный, серенький, как старичок, домик станции Слободка. Мусор вышел отсюда. Ко мне направился. Сам без фуражки и ремня. Вместо сапог тапочки. Кстати, Коля, я за свою долгую жизнь просек, что даже с самым тупым, жестоким и упрямым мусором можно договориться, если прибарахлен он немного не по форме. Допустим, подворотничок забыла ему баба пришить. Он непременно после шести часов уговора оставит тебе покурить. И все это, заметь, в кандее.

— Ну, брат, ты дрыхнешь как пожарник в рейхстаге: вторые сутки без просыпа, — говорит мусор. — Вставай, опохмелись, поезд скоро.

— А я что, извините, на... свободе?

— Только не темни. Я этого не люблю, хоть и в тапочках на босу ногу. Подъем!

— Неужели ж я вчера надрался? — спрашиваю мусора и по-прежнему просечь ничего не могу.

— Если б не надрался, то и дрых бы с Зинкой-стрелочницей, она вашего брата реабилитированных обслуживает, а не с Карлом Марксом. Подъем, брат, подъем!

Отхожу я, Коля, шагов на двадцать от шикарной клумбы, смотрю на нее, так сказать, с птичьего полета и убеждаюсь, что я действительно кемарил в бороде Кырлы Мырлы, сконструированной из белых анютиных глазок. Примял, конечно, и бородищу, и красный галстук с синим пиджаком, так что Кырла Мырла — ну просто никуда от него в жизни современной не денешься — и сам вроде бы с жестокой похмелью похож на алкаша, пропившего с получки весь свой капитал, всю свою прибавочную стоимость.

— Да, — говорю, — хорош я небось был?

— Скажи себе спасибо, что в Самого не завалился. Я б тебе врезал штрафик рублей на сто. Ну, поправляйся и валяй откуда брали.

— А «сам» — это кто? — интересуюсь, глядя на другую клумбу.

— Ленин.

— А Сталин где?

— В Мавзолее.

— Минуточку. А Ленина оттуда пошарили, что ли?

— Вместе они лежат. Только усатого, должно быть, пошарят. Никита его разоблачил до самых потрохов.

— Так-так-так, — говорю, кое-что начиная соображать. — А из каких же цветов у Ленина лысина?

— Он в фуражке. А фуражка — из черных бархоток. Зэк эти клумбы сделал, за что и скостили ему срок на пятнадцать лет.

Лезу в «скулу». Там справка об освобождении, билет до Москвы и фанеры — что-то около тысячи. Свобода, Коля, свобода! И на пыльной вшивой площади пусто и жарко, алкаши, чуя время, тянутся к «Пивопroduктам», автобусишко зачуханную провинцию с деревянными чемоданами к поезду подвез, и вроде бы ничего за эти годы со мной не произошло. Не было никому дела до моей тюрьмы и казни, и нет никому дела до моей, Фан Фанычевой, свободы. Какой-никакой, а свободы! Стою и удивляюсь, что это она меня совсем не берет? Может, все-таки убили во мне мусора жизнь? Убили, суки? Добились своего? Но ты ведь знаешь, Коля, свобода, как довоенная водяра, как аристократический пожилой коньяк, разбирает не сразу, не с ходу, и непонятно поначалу, поддал ты или не поддал. Но это только поначалу. До поезда часа полтора. Я уже успел разобраться, что за славные и новые главы появились в мое отсутствие в кратком курсе истории ВКП(б) в беседе со стрелочницей Зинкой, и тут заиграла в моей кровушке Свобода, проникло в душу ее вещество, стало свободным вокруг меня Проклятое Время и Несчастное Пространство: захмелел Фан Фаныч от воли, как петух от пьяной вишневой ягодки! Подхожу к «Пивопroduктам». Там ханыги приуныли.

— Привет, — говорю, — победителям дракона Бери! Что скисли?

— Степаныч в долг не дает. Помираем форменно.

— Не бойтесь, — говорю, — люди, не помрете, пока жив Фан Фаныч! Сейчас я вас поправлю, творцов истории!

И вспомнил я, Коля, ради шухера и обиды за ханыг, что Фан Фаныч гипнотизировал не таких гусей, как Степаныч. Рожа мне его не понравилась. Нахапал не один миллион. Но, сосредоточившись, пронзил я этого кровопийцу со станции Слободка своим жиганским взглядом и не отпускал, пока глазки у него не помутнели, а плечи не обмякли. Вот тут и началось гулево! Степаныч лично на глазах обалделых, очухавшихся как бы в сказке ханыг начал стрелять шампанским, рубить топором на ровные половинки консервные банки, чтобы не терять времени на открывание и по моему же внушению на коленях поднес каждому из ханыг по пол-литровой кружке коньяку с шампанским. Затем он выдал им по отрезу на костюмы, часы, зонтики, ящик «Мишек» для детишек, встав на прилавок, спел «Сулико» и разорвал все долговые расписки. Я же с мужичонками, истосковавшись по нормальным людям, трекая про жизнь, про внутреннее и международное положение, надрался до счастья. Напоследок внушил Степанычу, что он не должен разбавлять водой водяру, увлажнять сахар и пить из людей кровь.

И вот, Коля, я на Ярославском вокзале, без гроша в кармане, но со справкой об освобождении в «скуле». Вид у меня вшивенький, но я не смущаюсь. «А серенькие брючки, а серый кителек, а на ногах — кирзовые, а за спиною — срок...»

Стою в очереди у автомата и мурлыкаю. Пятнашку зажал в ладошке для волшебного звонка. Дамы около меня носами поводят. Кирза моя их смущает и серенькая, жалкая на плечах холстинка. Набираю номер. Не вышиб у меня его из памяти Кидалла.

— Здравствуй, — говорю, — Стальной. Все лежишь и «Мурзилку» читаешь? Ну-ка, вставай, он же подъем, и тряси загашничек. Буду через полчаса. Адью!

Таксист меня везти не хочет. Сидит на крыльце и изгаляется. Что с такой вшивоты, как я, возьмешь? Я ему сквозь зубы на ухо толкую:

— Живо за руль, профурсет, и на Лубянку к третьему подъезду! Операцию, сволочь, срываешь. Сгною на самосвале!

Этот таксист — они же почти все подлые, мелкие и трусливые твари, — как танкист в люк по боевой тревоге,

нырнул в кабинку, вцепился в баранку и рванул под мост, через Домниковку и Уланский на Сретенку.

— Делай левый поворот на красный. Сигналь четыре длинных и не дрожи, хапуга!

Он на скорости с визгом свернул на Сретенку. Орудовец захлопал ушами, услышав необычные сигналы, отдал мне честь на всякий случай, и шеф чуть не воткнулся в подъезд с вывеской «Приемная КГБ». Взял я у него путевку и написал в ней, что машина использовалась с невключенным счетчиком для оперативных нужд и что водитель обязан без капризов перевозить всех: от нищего до офицера контрразведки. Усильте воспитательную работу, товарищи. Не ставьте такси над государством. Майор Пронин.

Прочитал шеф надпись, рот раскрыл и так и отвалил от подъезда с открытым. А я поканал к Стальному.

Он был моим консультантом по антиквариату. Захожу в его домашний музей. Любуюсь первым делом импрессионистами, китайской бронзой, жирандолями, секретером Робеспьера, затем переодеваюсь — и все это, заметь, Коля, без единого вопроса со стороны перебиравшего стариннейшие геммы Стального, — затем беру из комода работы Дюрера, пятьдесят тысяч и тогда только говорю:

— А вот ответь, Стальной, какой был стул у Людовика Шестнадцатого после объявления ему смертного приговора?

Развел руками Стальной.

— Жидкий был стул, — сказал я ему, и он как интеллигентный авантюрист оценил мою грустную шутку, поняв к тому же, что она имеет легкое отношение и к моей, слава тебе господи, не королевской судьбе.

Посидели мы, сварили кофе в кофейничке Тамерлана, потрекали о состоянии некоторых наших дел, и уходить мне, Коля, от Стального не хотелось, очень не хотелось. Где еще так сладко и достойно посмакуешь время жизни, как не в домашнем музее, в теплой комнатухе с деревяшками, стекляшками, холстами, тряпками и железками, ни на секундочку не забывающими, с какой любовью их сотворили мастера, и вывели в вещи, и обеспечили почти счастливую бесконечную старость. Простился я со Стальным и пожелал вещам, и прекрасным и жалким, не

попадать на баррикады, а нам, людям, — в костоломные переделки и душегубки.

## 14

Направляюсь домой. На улицах все то же самое: «Слава КПСС!», «Слава труду!», «Печать — самое острое», «Партия и народ едины», «Да здравствует наше родное правительство!», «Вперед к коммунизму!», «Догоним и перегоним!».

Все это, Коля, трудно и невозможно понять нормальному человеку. В Англии я ни разу не видел лозунга «Слава лейбористской партии!» или «Да здравствует наше родное консервативное правительство!». И во Франции, и в Америке ничего подобного я не видел. Разве что в дни выборов в сенат и прочие шарашки. Там уж если тратят денежки, то на рекламу, и денежки окупаются. В общем, Коля, шел я по улицам, лезли в мои глаза все эти «Славы» и «Вперед», и думал, что в нашей стране, к сожалению, нечего рекламировать, кроме партии, труда и вечно живого Ильича, а какая и кому от этого польза и прибыль, совершенно не ясно. Впрочем, почему не ясно? Наши вожди, направляясь кто в Кремль, кто на Лубянку, кто на Старую площадь, кнокают небось из окон машин на всякие слова и думают: «Правильно. Это по-деловому. Слава нам. Хорошо мы работаем. Народ зря хвалить не станет. Слава!»

Да ну их, Коля, к лешему.

Прихожу домой. Дверь открыта. Вонючка — не продохнешь, и какая-то баба в противогазе пульверизирует плитуса, тахту и тумбочки с мягкими стульями. И все это в общем коридоре. Кричу бабе, по всей видимости, Зойке. Не слышит. Я нос зажал и толкнул ее. Обернулась и на тахту валится. Снимаю с нее противогаз. Зойка! Разжирела только слегка.

— Как увидела тебя, так думаю — чокнулась от хлорофоса или противогаз неисправный. Вот клопов и тараканов морю. Спасенья от клопов нету, — говорит Зойка.

— Откуда ж клопы взялись?

— Как ты пропал, так они и развелись постепенно. Сроду в квартире их не было.

Тут, Коля, вспомнил я, как пожалел клопа и посадил его к Зойке перед уходом на Лубянку. «Живи, — сказал

я еще тогда, — ведь жить тебе, клоп, положено пятьсот лет». Вот он и нашел себе подругу, или она его нашла, расплодились, допекли Зойку. Значит, продолжалась тут без меня жизнь.

Достаю из заначки ключ. Вхожу в свою берлогу. Воздух чистый. Я ведь форточку не закрыл. «Хрен с ней, — подумал, уходя, — с шаровой молнией. Пускай влетает». Воздух чистый, но зато стоит в комнате жуткий писк. Залетела в комнату пара воробьев с бабочками в клювиках, засекли меня, вылетели и перед окном икру мечут, влететь боятся. Смотрю: в буфете гнездо, за моим фото «Я в Венеции» — другое, в моем цилиндре — третье. И в каждом гнезде голодные птенцы клювы пораскрыли, шеи вытягивают, тонкие, как у лагерных доходяг, весь пол в помете, стол тоже, а на столе бутылочка постаревшего на шесть лет коньяка, тоже задристана с ног до головы, словно обросла пылью веков в подвале герцога Орлеанского. Сколько же поколений воробьев родилось тут и выросло, пока я чалился?

— Давай их тоже выморим, как клопов, — говорит Зойка.

— Не надо, — отвечаю, — никого морить. Они сами через пару месяцев улетят, а может, и раньше.

— Как же ты жить вместе с воробьями будешь?

— Проживу. С людьми уживался, да еще с какими, а с птичками тем более уживусь.

Подхожу, Коля, к окну, открываю его, чтобы папам и мамам влететь с добычей удобнее было, и вот — судьба моя — напротив по тротуарчику, в тувельках-шпилечках, с сумочкой в булочную спешит та самая деточка! Я не мог, Коля, ошибиться. Ласточке тогда лет пятнадцать было, и я уже прощался со свободой, отсчитывая последнее ее время, и смотрел в окно, и это была она в коричневом платице с белым передничком. Коля, я твердо сказал своему старому знакомому снайперу Амуру: «Как всегда, беру огонь на себя!» Амур, соответственно, прошил мое сердце длинной автоматной очередью, и я крикнул в окно:

— Деточка! Деточка!

Остановилась. Думала, что окликнули не ее. Я еще раз позвал. Подняла личико и с улыбкой спрашивает:



— Это вы меня?

Я кричу:

— Немедленно зайдите в квартиру семь!

Пожала плечиками, но я серьезно машу рукой, и вот она, глазам своим не верю, переходит улицу... Я вышел из хлорофосной смердыни на площадку. Все выше, Коля, все выше стремим мы полет наших птиц!

— Извините, — говорю, — я человек чудовищно интуитивный, и мне на расстоянии показалось, что вы имеете какое-то отношение к биологии.

— Да. Я учусь на биофаке. Вы угадали, если, конечно, ничего не знали об этом.

— Не мог знать, — говорю, — кстати, у нас тут морят клопов. Запах. Жмите, пожалуйста, нос и зайдите ко мне. Я вас порадоую.

Ну, слово за слово... «Заметил, — говорю, — что вы с симпатией смотрите на воробьев...» Хотя ничего такого не замечал. Провожу деточку, ее звали Ира, в свое большое гнездо и даю пояснения насчет превращения в него моей комнаты. Деточка Ира ловила мух и кидала их в клювики птенцов. Я что-то тискал, она весело ругала Сталина, угрожавшего ее двух теток, двоюродного брата и немыслимое число соседей по коммуналке, спрашивала, читал ли я в лагере стихи Пастернака, и наконец мы раскупорили дождавшуюся-таки меня бутылочку. Воробьи, кстати, плюнули на опасность, не оставляя же детей голодными, и стали влетать совершенно внаглую. Я, Коля, с твоего позволения, для того чтобы двинуться дальше, забегу немного вперед. Ласточка Ира ушла. Через пару дней забежала по новой, притаранила птенцам мотыля и умолила меня тиснуть ей все то, что тискаю теперь тебе я. И вот когда я дошел до процесса, она заплакала, поцеловала меня в щеку и говорит:

— Для того чтобы все это слушать, Фан Фаныч, нужно стать женщиной... Извините...

Коля! Поверь мне: мы несколько недель не вылезали из гнезда. А вылезали на смрадную улицу только для того, чтобы купить пожрать. Лямур, милый, лямур. А потом улетели птенчики-воробушки. Оперились и улетели. И мне пришлось сделать ремонт. Это я, извини, забежал вперед. Ушла, значит, потрекав со мной, Ира, а я уже со-

вершенно окосел от Свободы. Как бы глупостей, думаю, не наделать. Закружилась моя голова. В самый раз бы прилечь на закаканый птичками диванчик, покемарить часок, перешибить сном сумасшедший хмель жизни. Но нет!

Выхожу из дому. Беру шефа.

— На Лубянку. Подождите меня у приемной.

Подъезжаем. Шеф спрашивает: долго ли ждать? Отвечаю внушительно, что от двадцати минут до десяти лет. Главное — спокойствие! Подхожу к окошечку.

— Мне, — говорю с английским акцентом, — очень надо бы повидать, очевидно уже полковника, следователя по особо важным делам товарища Кидаллу.

Попросили подождать. Минут через пять выходит в приемную гриф средних лет в штатском.

— Здравствуйте. Документы у вас при себе?

— Вот справочка об освобождении. Она же ксива.

Завел он меня в какую-то комнатуху. Рядом с Лениным темный квадрат от снятого Сталина. На столе бронзовый Железный Феликс. Я разъяснил, что желаю узнать о состоянии здоровья своего следователя Кидаллы. Можно по телефону, но и не возражаю против свиданки. Это не для эксцессов, жиганской мести, либеральных вопросов и так далее. Просто я испытываю душевно-историческую необходимость услышать или увидеть товарища Кидаллу, чтобы поблагодарить его, кроме всего прочего, за то, что свела нас чудесная во многих отношениях моя судьба, а если бы не свела, то и не познакомился бы я сегодня с прекрасной, с лучшей из ласточек, которая бежала, деточка, в коричневом платице с белым передничком в черный день моего пленения в булочную. Могу я увидеть или услышать товарища Кидаллу? Отпустить мне такси или не отпускать?

— Вы немного выпили и возбуждены, но такси не отпускайте, потому что некоего Кидаллу вы не сможете ни услышать, ни увидеть!

— Чехты ему? Вернее, кранты? То есть пошарили вы его из органов? — спрашиваю в крайнем удивлении.

— Гражданин по фамилии Кидалла в органах не работает и никогда не работал, — отвечает гриф в штатском.

— Ну, миляга начальничек, вы мне чернуху не раскидывайте. Взгляните в мое досье и поймите, что перед ва-

ми не парчушка, а Фан Фаныч, державший, несмотря на мягкость характера, тюрьмы Старого и Нового Света. Кидалла вел мое дело и состряпал процесс будущего. Я Харитон Устинович Йорк, зверски изнасиловавший и убивший в ночь с 14 июля 1789 года на 9 января 1905 года кенгуру Джемму! Я срок отволок, а вы мне чернуху лепите: «Не работает и не работал».

— Вам необходимо встать на учет в психдиспансер, Фан Фаныч, и подлечиться. Дело ваше вел не какой-то Кидалла, а бывший майор Мохнатов. Бывший, потому что, восстанавливая ленинские нормы соцзаконности, партия очистила органы от мохнатовых и им подобных. И бросьте вы на себя наговаривать. Никого вы не изнасиловали и не убили. Вас арестовали по ложному обвинению в попытке покушения на Кагановича и Берию. Вы будете реабилитированы и получите бесплатную путевку в Дом творчества писателей «Переделкино». До свидания.

— А на хрена мне, пардон, в Дом творчества ехать? — тупо спрашиваю, ибо одурел от услышанного.

— Многие, не пережившие того, что вы, писатели остро нуждаются сейчас в лагерных сюжетах. Вот вы и подкиньте им за столом, в бильярдной и так далее парочку бериевских ужасов. Пусть пишут. Нам это нужно. Ну, до свидания.

— До свидания. Передайте, начальник, председателю вашего комитета генералу Серову, что я в любом случае уважаю глухую несознанку. Привет также Кидалле, если вы его не замочили, заматавая следы. И еще скажите Серову, что Фан Фаныч не фраер и на учете в дурдоме состоять не намерен. Адью. В Дом творчества поезжайте сами.

Ну что ты скажешь, Коля? Чисто сработано? А мне после всего, что я испытал, видите ли, подлечиться надо. Ну, подлюки! Ну, наглые мусора! Действительно, какая-то новая порода людей. Тьфу, сучий ваш мир! А шеф мой, бедняга, издергался начисто. Увидев меня, хвостом завилял, визжит от радости, того и гляди, в нос лизнет.

— Куда, — говорит, — хозяин, едем?

— В зоопарк, Вася, в зоопарк. Тебе известно, что преступники любят возвращаться на место преступления?

— Это вы насчет амнистированных и реабилитированных?

— Вот именно, — говорю, — догадливый ты парень, Вася.

## 15

Попросил я его высадить меня на Больших Грузинах у служебного входа. Отблагодарил за нервотрепку стоянки у КГБ. Повторяю затем все свои действия, как в кино на родном процессе. Воровато оглядываюсь и хочу шмыгнуть через служебный вход, хотя сам не понимаю, зачем мне это сейчас нужно.

— Гражданин! Гражданин! Пропуск! — окликнул меня, как говорят плохие писатели, до боли знакомый голос. Иду с понтом, не спешу. — Стой, тебе толкуют!

Оборачиваюсь, Коля, и вижу натуральнейшего, слегка постаревшего сторожа Рыбкина с медалью «За оборону Сталинграда» на стареньком пиджакишке.

— А! Это ты, артист! Здорово! — буднично говорит Рыбкин.

Я к нему бросаюсь, обнимаю, трясусь за плечи, целую, и у него, алкаша старого, нос напудрен для маскировки багровости от дирекции, разит, разумеется, пивом изо рта и портвейном, но я чую почему-то родство с этим человеком.

— Здорово, Рыбкин, здорово, кирюха!

— Не дадут тебе народного. Опять с утра надираешься, — говорит Рыбкин. — Я и то терплю. У сменщика вчера двух соболей ляпнули и большого бобра. А это знаешь сколько на валюту? Идем в помещение, — говорит Рыбкин, а сам кнокает на мою оттопыренную «скулу».

Поддали. И веришь, Коля, сколько я ему ни вдалбливал, что я натуральнейший Фан Фаныч, а никакой не артист, он только лыбился и говорил, что мне по новой надо ложиться на улицу Радио антабус принимать, не то скопычусь от белой горячки, как один негр из африканского посольства. Он приехал ночью на кремовом «Форде», перелез через забор, и поутрянке негра нашла служительница в крокодиловом бассейне. Негр сидел в воде и плакал, а крокодил забился от страха куда-то в угол. В органах он, протрезвев, объяснил, что пьет от тоски по Африке и уже не раз ночевал по пьянке в слоновнике, антилопнике и обезьяннике. Его и выслали в 24 часа, даже опохмелиться не дали.

— Представляешь, каково было лететь, не поправившись?

— Представляю, — говорю и понимаю, что не удастся мне доказать Рыбкину, что я — это я, потому что он с туфтовым Фан Фанычем вместе снимался, пил, получал гонорары и ходил обедать в Дом кино. На все, что я втолковывал, он отвечал:

— Наливай и не пудри мне мозги. Дай от радио отдохнуть.

— Хорошо, — говорю, сбежав еще за бутылкой, — а кенгуру убивали или не убивали?

— Убили. Как же не убить? Тогда бы и кина не вышло. Все было как в жизни.

Тут я, Коля, уронил голову на руки, хмель с меня сошел, и не знаю, сколько я так просидел. Рыбкин, наверное, подумал, что я задрях, вышел и тихо дверь прикрыл. Ну что мне стоило тогда взять у Кидаллы на себя не изнасилование Джеммы, а покушение на Маленкова, Кагановича, Молотова, Булганина и примкнувшего к ним Шепилова? Ну что? Их, идиотов, все равно никто и не думал убивать, ибо убивают и покушаются на личностей, а такого дерьма, как они, в России хоть пруд пруди. Отвенок бы я за них тот же срок, а бедное животное было бы живым и здоровым. Дрянь я, дрянь. Кроме всего прочего, Никита шархнул бы мне сейчас медаль «За отвагу», а может, под настроение и Героя Советского Союза дал бы, как генералу Насеру. Об отдельной квартире и даче я уж не говорю. Будь здоров, Коля! Помянем невинную Джемму...

— Рыбкин! — кричу. — Рыбкин! — А он не идет. Подхожу к окну, смотрю — мой поделщик Рыбкин шмонает каких-то студентов. Проверяет ихние цилиндры для чертежей. — Ну что, — говорю потом, — обнаружил похищенных кобр или выдру?

— У нынешней молодежи, кроме глистов, ничего за душой нет, — отвечает Рыбкин. — Очухался?

— Ты когда меня последний раз видел? — спрашиваю.

— Месяца за два до смерти генералиссимуса. Потом ты куда-то пропал. Ну, думаю, заелся, завязал и в гастроль ушел.

— Так. Значит, его убрали? Убрали.

— Кого?

— Меня.

— Ну, и куда же они тебя... того? — спрашивает Рыбкин.

Нормальные люди, Коля, очень иногда любят поговорить с людьми, на их взгляд, поехавшими и стебанутыми.

— В крысиный забой они меня закомстролили. Темно там было, как до сотворения мира. Выпьем, Рыбкин.

— Ха-ха-ха! Что же ты там делал, в забое?

— Крыс бил обушком между рог. План выполнял.

— А вот тут, артист, я тебе и зажал яйца дверью! Как же ты их бил, да еще между рог, в сплошной темноте? Опомнись! Ты не чокнулся, а распустился. Возьмись за ум, мудила ты из Нижнего Тагила! А крысы и мне представляются минут за десять до белой горячки. Иногда гуси черные в валенках белых, и у каждого в клюве орден «Мать-героиня». Беги за бутылкой, а то я тебе как врежу сейчас прикладом, так сразу вылечу от дури.

Сбегал я по новой. Сидим, трекаем, но сбить Рыбкина с того, что я не артист, а Фан Фаныч, мне не удалось. Справку об освобождении он даже смотреть отказался.

— Бывает же, — сказал мне Рыбкин на прощание, — что человек вроде бы не сумасшедший, а на самом деле... того. А бывает и наоборот. Захаживай. А к кенгуру не ходи. Опять расстроишься, и возись тогда с тобой. Я же на посту все-таки.

Но, Коля, хоть и обалдел я порядочно, не пил-то ведь сколько лет, а до кенгуру добрался. Подхожу к вольеру, словно на свидание пришел: сердце колотится. Впрочем, сердце, может, и от водяры колотиться: она же, гадюка, с каждым днем все больше и больше в яд превращается. Нарочно нас, что ли, травят? Смотрю. Все как в кино, а самого животного не видно. Вон на том месте я ее насиловал, бедную Джемму, вон там нанес несколько ран финским ножом, там прикончил. Вдруг из-за зеленого строения нелепейшей походкой вышла кенгуру. Читаю табличку: «Кенгуру Джемма. Год рождения — 1950». Копия той, убитой.

— Джемма! — кричу. — Джемма! — Подходит к решетке. — Здравствуй, детка! — Кинул ей французскую булку. —

Значит, это я тебя хотел, замечая следы, взорвать вместе с мамой, положив в ее сумку гранату-лимонку? Вот ты какая, — говорю, — отгрохала! Большая. Красивая. Ешь, миляга! — просунул руку за решетку.

Джемма дохнула на нее жарко, ткнулась в ладонь трепетным носом, а я думаю, Коля, что только электронной машине могло прийти в голову, что Фан Фаныч способен захотеть трахнуть, а потом убить заморское животное. Все-таки мы лучше, чем о нас думают машины и Кидаллы.

— Ешь, миляга, хавай. Я тебе раз в неделю кешари притаранивать буду. Кукурузы, — говорю, — тебе достану, пшенички, зелени украду в ботаническом саду. Если бы ты сидела в Гамбургском зоопарке, я бы тебя выкупил и этапировал на волю, в Австралию, со справкой об освобождении, а здесь... пардон, вся власть принадлежит Советам, и поэтому совершенно не с кем посоветоваться, что делать. Что нам делать, Джемма? Как нам быть? Ты знаешь, сколько лет моей жизни — ты ешь, ешь, хавай — превратилось в страшный опыт? Не знаешь. А зачем он мне, ты знаешь? И я не знаю. Но я верю, Джемма, что я не знаю этого по глупости и несовершенству души. Вкусно? И я люблю хлеб. Я, Джемма, в ласточку Ирочку втрескался. А она, запомни, пожалуйста, она есть сама жизнь. Теперь у тебя будет верный друг Фан Фаныч, сирота ты моя милая.

— Гражданин! — Это, Коля, легавый ко мне подканал. — Как вы себя чувствуете?

— Хорошо. Прекрасно. Тужур, ажан, прекрасно.

— Не надо разговаривать с животными в нетрезвом виде, — говорит. Сам молоденький. На смену бериевским костоломам пришел. Вежлив. — Вы приезжий?

— Да, — говорю, — приезжий. Хочешь выпить?

— Откуда вы приехали?

— На днях, — говорю, — я проснулся на свободе в анютиных глазках, объективно — в бороде Кырлы Марлы. Ре-а-би-би-би-ли-ли-ли...

Проводил он меня до выхода, а я канаю с ним под руку и хипежу на весь зоопарк:

— Свободу Джемме!.. Свободу Джемме!.. Свободу семейству кошачьих и подотряду парнокопытных! Руки прочь от гиен и шакалов! Мы с вами, белые медведи! Сво-

боду слонам и тапирам! Руки прочь от антилоп и горилл! Руки прочь от шимпанзе и морских львов! Нашу дружбу не задушишь, не убьешь!

Добрался на шефе до дому без приключений. Только вхожу в подъезд — слышу за спиной типичный голос коллеги:

— Синьор Фанфани!

— Си, си! — отвечаю.

Трекали мы потом по-итальянски. Оказывается, он командирован ко мне Ди Лазурри — боссом небольшой чикагской мафии. Очень удивился, что я всего пятый день как освободился. Зашли. Пищат птенцы. В бутылке немного коньяку осталось. Выпили. Ведет себя невозмутимо, хотя на плече уже воробьиная какашка. На итальянца не похож.

— Как, — спрашиваю, — поживает Ди Лазурри?

Плохо поживает, как оказалось, Ди Лазурри, и, более того, скоро вообще перестанет поживать. Поэтому он перебрал в уме всех, кто мог бы принять из его рук большое и сложное дело, и остановился на моей кандидатуре. У меня опыт работы в сложнейших социально-политических условиях, безупречная репутация и бескорыстная энергия. В моих жилах течет немного итальянской крови, но этого вполне достаточно для того, чтобы топнуть, когда следует, ногой на зарвавшихся мафиозо! Что я об этом думаю? Ответ он хотел бы получить через два дня, так как есть сложности с обратной дорогой.

— Ну, а как вы... сюда, пардон, добрались?

— Правда путешествует без виз, — на ломаном русском языке с бандитской ухмылкой ответил мне эмиссар.

И я сказал ему, недолго думавши, что лестное предложение Ди Лазурри принять, к сожалению, никак не могу. Масса работы на родине. Крупнейшая финансовая операция в истории. Сотни миллиардов рублей. У итальянца глаза на лоб полезли после этих слов. Даю пояснения. Правительство и лично наш Никита Сергеевич страшно обиделись на народ, у которого оказались в долгу, надавав ему на много лет кучу облигаций по куче займов. Народ привык к розыгрышам, погашениям, аппетиты растут, и правительство вынуждено возвращать народу чуть ли не ежемесячно огромные суммы. А ведь в



прошлом народ сам спровоцировал правительство взять у него в долг на восстановление и развитие сельского хозяйства. Сложилась ненормальная обстановка. Правительство изнемогло от вампирских привычек народа-ростовщика. Партия сказала: «Будет!» Никита приказал прекратить такое безобразие. «Руки прочь от официальных таблиц розыгрышей всех займов!» «Нет — народу-Гобсеку!»

— Сами понимаете, — говорю, — синьор, в связи со всем этим у меня много работы.

— О! Ваш босс Хрущев — великий мафиозо! — восхитился синьор.

— Он принял нашу славную мафию от Сталина и вынужден расхлебывать его кашу. Ничего не поделаешь. В финансах должен быть порядок, — говорю, — Так что чао, голубь, чао.

— Это окончательный ответ?

— Синьор Фанфани не бросает последних слов на ветер. Передайте Ди Лазурри привет и пожелание выздоровления. Привет также маэстро Тосканини. Чао.

Проводил его. Пошел к Зойке телевизор смотреть. Торжественное заседание какое-то. Без всякого удивления тыкаю пальцем в экран и втолковываю Зойке, что третий справа от Никиты — Чернолюбов. Я с ним вместе срок волок и попал ему за все ланцы, сахарки и птюхи в буру.

— Слово предоставляется старейшему члену нашей партии, соратнику Ильича, участнику боев за взятие Зимнего дворца Николаю Гавриловичу Чернолюбову...

Я пошел кемарить. Прилег на диванчик, но уснуть не могу. Протрезвел. Об Ирочке думаю, как мальчик, тишина теплая и темная в моей душе и в мире, только воробьи шебуршат еле слышно крылышками во сне, в гнездах слепые птенцы попискивают, и я благодарю Творца за то, что явлен мне образ Свободы, и губы от ужаса кусаю, вспомнив, как сигали ночью с нар эпилептики-большевики, а я расхлебывал эту мычащую и хрипящую человеческую кашу. Слава тебе господи, все это позади!

Кстати, Коля, вот-вот должна вернуться из Крыма Ира. Давай вынесем во двор посуду, позволим себе ее не сдавать. Смотри, сколько мы вылакали! Молодцы! Здо-

ровяки! Вынесем, приберем ласточкино гнездо и сходим в «Березку», в славный магазин имени Октябрьской революции и Сталинской конституции. Я тебе объясню, откуда у меня сертификаты. Вдруг вызывает меня инюр-коллегия и говорит:

— Согласно завещанию австралийского миллионера Джеймса Кларка, вам положено наследство в двести тысяч фунтов стерлингов.

— Кларк, — спрашиваю, — не ошибся?

— Нет. Ни у него, ни у нас ошибки быть не может. Вас это наследство дожидается уже 76 лет. Завещано оно человеку любой национальности, который изнасилует и зверски убьет кенгуру, нанеся ей ножом четырнадцать ран. Так что все сходится. Распишитесь.

— Одну минутку, — говорю, — но ведь органы ушли в несознанку и утверждают, что я был осужден за попытку убрать антипартийную группу еще при жизни Сталина, а кенгуру — это мой бред, лагерная паранойя и так далее.

— Вы неглупый человек и понимаете, что речь идет о крупной сумме. О валюте. Стране она сейчас необходима. Если промедлить, то слух о завещании пронесется по всему миру и начнутся массовые убийства и изнасилования несчастных кенгуру лжепретендентами на наследство. Партия считает, что вы являетесь единственным законным наследником Кларка. Распишитесь.

— А он что, — спрашиваю, ибо спешить мне некуда, — был с легкой припиздью?

— Кенгуру много раз совершали набеги на его поля, опустошали их, и под конец жизни Кларк заимел кенгурофобию ужасно тяжелой формы. Он прыгал на четвереньках, носил на животе сумку с золотом и, умирая, оставил вот это страшное, лежащее перед нами завещание. Из-за утечки информации о вашем преступлении и о суде над вами узнал атташе культуры посольства Австралии, и делу, с согласия Никиты Сергеевича, был дан ход. Распишитесь, пожалуйста. Сумма прописью. Двести двадцать один рубль восемьдесят шесть копеек цифрами.

— То есть как это, — говорю, — двести двадцать один рубль восемьдесят шесть копеек цифрами? Вы меня за

кого принимаете, фармазоны гонконгские? Двести тысяч кладите на бочку стерлингов и переводите их в сертификаты. Торговаться не будем. Воля покойного господина Кларка для меня вот уже несколько минут священна. Желаю соответствовать завещанию.

Тут выходит из кабинета лощеный деятель. Пробор. Золотая оправка. Бабочка. Запонки элегантные. Костюм с выставки «40 лет СССР». В руках сигара.

— Прошу вас ко мне, Фан Фаныч! Прошу. — Зашли мы в кабинет. На низком изящном столике — виски, бананы, кока-кола, содовая, сандвичи и японские сухарики для пива. Пиво же само во льду удостоилось чести стоять.

— Чешите, — говорю, — товарищ международный юрист, за ушами международного урки. Слушаю вас. Только без темени. Я не гимназист из книжки «Белеет парус одинокий».

Короче говоря, Коля, выложил он мне, после того как я предложил помянуть эксцентричного австралийца, ихние расчеты. Оказалось, по какому-то закону или личному указанию они обязаны отныкать от моих стерлингов семьдесят пять процентов. Затем от оставшейся суммы мне следовало отчислить в Фонд мира еще огромную часть. Бездетность, подоходный налог, беспартийные, праздничные, и наконец, Коля, мне был предъявлен счет за что, как ты думаешь?.. Да! Ты неглупый человек. Эти твари обнаглели до того, что я должен был заплатить за убитую мною Джемму чудовищную сумму в золотых рублях и алименты за искусственное кормление и содержание на площадке молодняка ее спасенной сироты — маленькой кенгуришки. Ну, не цинизм ли это, Коля, от которого я весело расхохотался, ибо, отнесись я к нему серьезно, я, наверное, свихнулся бы от гнева и ненависти.

— Жамэ, — говорю. — Подотритесь вашими двумя сотнями. Я их получать не собираюсь. Завтра же позволю в Австралию. Руки прочь от завещания господина Кларка!

Лощеный тип тоже посмеялся и говорит:

— Послушайте моего совета, дорогой Фан Фаныч. Распишитесь. Получите денежки. Мы вам еще пару сотен подкинем. Урежем праздничные и не будем вычи-

тать с вас сумму на расходы по ведению вашего процесса и киносьемку.

— Жамэ. Адью. — Собираюсь уходить. Лощеный сно-ва хохотнул. Он лучше меня понимал, конечно, юмор ситуации.

— Подпишите, Фан Фаныч. Остается немалая сумма. Для «Березки» года на три хватит. Должен вам сообщить, что Никита Сергеевич распорядился очень строго. Если вы откажетесь от завещания, этот шаг будет квалифицироваться как подрыв валютного состояния нашей Родины. Сами понимаете, чем это пахнет. Воля не моя, поверьте.

— Вот это, — говорю, — артистично. Тюремным и лагерным грязным уркам нужно поучиться так половинить чужое. Восхищен... Упираться рогами в ворота не стану. Однако требую скостить камерные и суточные за недоедание, а также оплатить мне убийство пятисот семидесяти крыс по существующим расценкам.

— Молчу, — говорит лощеный, — люблю деловой подход. Я вам возвращу также сумму гонорара адвоката и стоимость пива с бутербродами. Итого: две тысячи семьсот один рубль ровно. Распишитесь.

Эти подонки дошли до того, что хотели содрать с меня фанеру за пиво, которое я тогда в перерыве между заседаниями хотел выпить, и за бутерброд предсмертный с полтавской колбаской. Подонки.

Ты не думай, что меня угроза Никиты урезонила. Нет. Мне было бы тошно и скучно качать права с кухарками, руководящими государством. Да и жадничать не надо. Дают — бери, бьют — беги и говори «слава богу», если не догонят. Жадность, как ты понимаешь, не одного фраера сгубила. На ней ведь и такой уродливый урка погорел, как Адик Питлер.

Короче говоря, Коля, расписался я, удивляясь превратности судьбы и неведомому нам течению событий, и ты всегда можешь рассчитывать на джинсы и шубку для своей Влады Юрьевны и на прочую дрянь, которую в нормальных странах продают на каждом углу за нормальные деньги. «Березка», Коля... «Березка!» Ну стоило ли угроживать шестьдесят миллионов человек ради открытия этого магазина? Вот кино! Вот кино! Я, между

прочим, опять забежал вперед и недорассказал, как я тогда, в первый день московской жизни, закемарил, потом проснулся и позвонил тебе. Собственно, что рассказывать, когда остальное уже известно. Я позвонил тебе. Мы рванули во Внуково. Под грохот небесный. И ты помнишь, Коля, какой я предложил тост? Не помнишь. А я помню.

— За нас с тобой, — сказал я тогда, — будь здоров, Коля! Дай бог, чтобы пить нам не по последней. Выпьем, милый мой друг, за Свободу!

*Москва—Голицыно*  
*1974—1975*



# Маскировка

(История одной болезни)

Повесть

1 Вот ты, Гриша, хоть и генерал-

лейтенант, но брательник мой, и если ты не веришь мне, если не прекратишь погонями трясти и орденами брякать от хохоту, то я тебя и за хер собачий считать не буду, не то что за генерала. Да! Это произошло в тринадцатую зарплату, которую, говорят, изобрел сам Карл Маркс, но при культе личности скрывали ее от рабочего класса, скрывали. Только не вороти свое рыло генеральское от культа личности. Знаем, почему он вам по сердцу пришелся, знаем. И ты знаешь, что ты — паразит с окладом, с дачей, с машиной, блядь, с филе тресковым и так далее. Ах, разъяснить тебе, почему ты паразит, если ты целыми днями орешь «смирно-о!». Пожалуйста! На тебя никто нападать не собирается. Вот и все. На хуй ты кому нужен! Америке? Она сама с собой никак не управится, и если даже допустить, что она тебя завоевала, то что ей с тобой, с одной шестой частью света, делать? Пьянь, рвань, ворье и придурков партийных и военных себе на шею вешать? Безрассудно. Китай, говоришь? А не ты ли, сука такая, обучал китайцев танки наши водить и косой ихний глаз к нашим пушкам принаравливал? Не ты? Вот помалкивай тогда и слушай, как твоего родного братца в жопу выебли. Нет! Не в треугольнике, не в спортлото, а в буквальном смысле, и куда в этот момент смотрела наша милиция, я не знаю. Глупо даже меня спрашивать об этом.

Итак, тринадцатая зарплата, в гробу бы я ее видал. Спускаюсь за ней в нашу подземную бухгалтерию. Ты, братец, не притворяйся, что не понимаешь, почему в подземную. Прекрасно ты все, хоть и нездешний генерал, понимаешь. Но чтобы ты лучше разобрался в дета-

лях нашенской жизни, я тебе сболтну пару военных тайн. Мы тут наверху боремся за то, чтобы наш город Старопорохов выглядел самым грязным, самым аморальным и самым лживым городом нашей страны. Маскируемся, одним словом, а под нами делают водородные бомбы, и товарищ иностранец, разумеется, ни о чем не догадывается. Сам я маскировщик восьмого разряда. Мое дело — алкоголизм. Бригадир. Как получка — так моя бригада надирается, расходится по городу, балдеет, буянит, рыла чистит гражданам, тоже маскировщикам по профессии, а я как старшой должен завалиться на лавочке возле Ленина и дрыхнуть до утра. Как я выучился, как пошел по этой части, так с бабой, с Дуськой, начались у нас нелады. Я же все на работе и на работе, поскольку пить надо, естественно, от получки до получки, а жарить Дуську некогда. Утром вся моя бригада опохмеляется, потом собрания бывают, товарищеские суды и так далее. Общественных обязанностей тоже хватает. И бригадирство свое давно бы бросил, если бы не сукоедина одна из бригады. Вот рассчитаюсь с ним и брошу. Но о нем речь впереди. В общем, с бабой нелады. И не у меня одного. У всех моих алкашей дома преисподняя. Ужас. Мрак... Мы ударники коммунистического труда, а дети у нас выпадают, как шары в спортлото, — все не то и не то. Запоздалое развитие, замедленные реакции, негативизм, рахит, хромосом каких-то не хватает, глухие, одноглазые, шесть пальцев, правая рука — левая, а левая — правая, — всего не перечислишь. Рекорд Тетерин поставил. У евонного Игорька два языка, и оба говорящие. Да, братец, не удивляйся! Маскироваться от Пентагона — это тебе не берлинскую стенку охранять и всяких чехов перевоспитывать. Повторяю: не удивляйся. Наши электронщики все выверили, просчитали и запрограммировали. Как спутник американский пролетает над Старопороховом, так у наших гастрономов очереди выстраиваются, вроде бы мясо, масло и колбасу дают, автобус переваливается по колдоебинам, пионерчики маршируют, поют песенки про вечно живого Ильича, грузины гвоздику продают, бляди куда-то бегут за дубленками, в парках драки, в баньках парятся, театры, конечно, танцульки, — одним словом, видимость жизни заделыв-

вается, маскировка, братец, маскировка!.. И я вот иногда прочухаюсь после работы, просплюсь, щец хлебну с чесноком и сметанкою, выйду на нашу Фрунзенскую набережную, сяду на пригорочек над речкою Пушкиной, гляну вокруг на мостовые горбатые, на дома вшиво-серые, на общую облезлость жизни, на зачуханность своих земляков и несчастных детишков — и чую, гордость в душе шевелится: сколько же, думаю, сделано за эти годы, ебит твою мать! Сколько объектов маскировочных построено! Больницы, школы, ясельки, садики, кинотеатры, в которых такое говно показывают, что сразу бросаешься к телевизору — а там тоже сплошная маскировка. Но это я отвлекаюсь. Немало сделано за эти годы. Вот бассейн открыли новый. Море, а не бассейн. В нем уже трое из нашей бригады во время исполнения служебных обязанностей потонули. Шпионы, дипломаты и цэрэушники, бывает, приезжают и купаются в нем, спутники самые секретные американские над ним летают, — и что? А то, что Пентагон только соплю в себя втягивает зеленую и не допирает, что под самым бассейном у нас реакторы установлены и бассейновая вода охлаждает их, очищается и опять наверх подается. Понял? Вот это маскировка! Но хули там бассейн. Ты стадион возьми. Под ним — партком первичной сборки водородных бомб. Матч идет. Наши маскировщики-болельщики вопят «шайбу! шайбу!» — а внизу партком заседает и решает взять повышенные соцобязательства к шестидесялетию советской власти: выдать на-гора сверх плана восемь бомб. И нету у Пентагона такой техники, чтобы подслушать речуги нашего парткома, когда орут ребята «шайбу! шайбу!». Это вам, падлы, не уотергейтская гостиница... Сижу я, значит, на пригорочке, над речкою Пушкиной, люблюсь городишком своим Старопороховом и лыблюсь про себя с большим удовлетворением. Чего только не писали и не пишут о нем в вонючих зарубежных газетках! И голоса его всякие ругают, и по волнам немецким бубнить не перестают. Дескать, дороги плохие, мяса, масла, филе трескового в магазинах нету. Врачам времени хватает, чтобы вылечить только одного шестого, а пятеро или хворают, или же подыхают. Дескать, зарплата низкая, религию убивают, обувь — говно,



старый автомобиль дорожке нового стоит, сажают кого-то, высылают, пшеницу у Америки покупают, БАМ строят с песней, равнодушно голосуют за народных судей, воруют повсеместно и на народ, в общем, непохожими стали, душевно разложились, даже не для маскировки пьют, пьют, пьют.

Да, думаю я на пригорочке, все это обстоит именно так, а может, еще в тысячу раз хуже, потому что моему глазу виднее. Да, обувь — говно. Да, пьем! Но зато сие наверху, на земле, вокруг нас, так сказать, а внизу, в просторных, залитых, блядь, искусственным солнечным светом цехах, лабораториях, кабинетах, взрывариумах и парткоммах лучшие советские люди куют в белых халатах атомно-водородный щит нашей Родины, или же меч, если мы ебнем по вас первыми, господа Удавы!

Подземная наша служба знает свое дело туго, а мы — наземная — тоже не олени сохатые: и план перевыполняем, и рационализацию не забываем. Насчет плана, братец, дело обстоит так: лично моя бригада пьет в счет 1999 года. Теперь — рационализация. Поддали мы как-то на профсобрании все вместе, и Тетерин, у которого Игорек с двумя языками родился и растет, предлагает: снизить надо качество водки. Аплодируем. Ведь вроде дурак дураком ходил Тетерин, у бензоколонки, где интуристы-шпионы заправляются, валялся на своем посту пьяный, а тут пошевелил мозгами — и выдал буквально инженерную и экономическую идею. И ни одна голова до этого раньше не додумалась, хотя идея просто валялась на поверхности нашего Старопорохова. Про Тетерина потом статья даже появилась в «Высшей Правде» — «Идея: простота и изящество». Он, сука такая, революцию, можно сказать, произвел в виноделии. Химики с ходу внедряют его предложение в жизнь. Снижают они качество водки. Не сразу, между прочим, снизили качество. Несколько лет химики бились. Не давалась водяра, не хотела портиться, но одолели-таки ее наконец. Государству она стала обходиться в сотни раз дешевле, а балдеть мы — самогонщики-маскировщики — стали сильней. С похмелья злей стали, и дети опять же выходят косорылыми с гнилой геной. Коэффициент маскировки, следовательно, выше... Так-то вот, братец, вкратце обстоят де-

ла в Старопорохове. Все, что слышал, забудь, не то меня в реактор бросят без всякого суда, как Пронькина, и собирай тогда братца обратно по молекуле. А раз уж я растрепался, то стесняться теперь своей информации не намерен. Я тебе все выложу.

## 2

Сегодня у меня отгул, мы на кладбище сходим, посидим над могилкою, стариков помянем, потом пообедаем в Дуськиной, бабы моей, столовой. Она нам в кабинете накроет, и я тебе отвечаю: закусим от пуза, без всякой маскировки. Селедочка — значит, селедочка! Дунайская! С нее шкуру сдерут, а жир на ней такой, братец, нежный, что тает на твоих глазах от тепла и света электролампочек. Перламутр! По соляночке врежем. Тоже без маскировки, не то что для работяг. И почечки в ней парные, и сосисочки, и мясо, и каперсы — все, что положено, вплоть до маслин. И, разумеется, шашлык. Ты такого в Кремле не рубал! Туфты в нем ни вот столечки! Барашек. Дуська его в сухом вине вымачивает, лучок, травки там, перчик... с ума сойдешь! Живой шашлык, форменно живой, жевать его абсолютно не надо, он сам в тебе до самого желудка распоряжается. Кстати, работяги, маскировщики наши, народ, одним словом, все знают. Как же не знать, если им шашлык из бельдюги и акульею мяса дают, жаренный на сковородке, на постном масле, в котором до этого уже тысячу пончиков отожгли? Все народ знает. И понимает, между прочим, что шашлык, наш с тобой шашлык, или же кремлевский, — это шашлык секретный, а ихняя солянка бурдовая, ржавая селедка и биточки по-домашнему, в которых мяса мороженого меньше, чем в голодном клопе крови, — маскировка. Ведь ежели бы, братец, народ наш не был такой сознательный и грамотный, то конечно бы он от такой жратвы взбрыкнулся и устроил вторую Октябрьскую революцию, самую натуральную. А он понимает, змей, задачу партии и правительства, кует ядерный щит и меч, хуй кладет на качество пищи и что тресковое филе куда-то пропало. Он сыт не хлебом единым, не то что ваша генеральская пиздобратия... Ну, а после обеда пойдем на могилку. Нашим повезло — они на кладбище по-человечес-

ки захоронены. Сегодня остальных жгут, а цветочки и букеты, те, что в гробы мы кладем напоследок, не сжигают. Ими опять на Тихом рынке бабы торгуют. Я один раз в Женский день купил такой букет, а он тоскливо пахнет, тоскливо, но свеж и хорохорится. Оттуда все же вернулся. Я говорю бабе: «Ну что, проститутка, как живешь с этого?» — «Спасибо, — говорит, — маскируемся потихонечку». Скрипнул я зубами, хотел бабе в рыло въехать и в ЦК КПСС оттащить, но тут время было спутнику пролетать пентагонскому. Я в картофельном ряду свалился — букет под щеку, заснул. Да, братец, нашим старикам повезло. А если бы не бетонщик Вуков, сволочь такая, курва и сачок, то не запретили бы кладбища, слово даю — не запретили бы. Парторг наш тогда сказал на митинге: «Успокойтесь, товарищи, не может исторически так быть, чтобы партия всех вас не похоронила!» Что же он сделал, гад такой, этот Вуков? Сидим мы один раз в подземном дворце на торжественном концерте в честь Дня маскировщика, и только Райкин сказал Зыкиной: «Ух-ха-ха! Смерть капитализму!» — как сверху, чуть не на них, труп с гробом шмякнулся. Прогнули мы со смеху и аплодируем, не слышим, как Райкин сатиру свою несет о недостатках, а Зыкина же продолжает петь: «Рос-сия-я! Ро-о-осси-ия!» Сам труп из гроба выпал, лежит нелепо в черном костюме, босой, растерянный, цветочка в гробу, заметь, братец, нету ни одного, и вдруг Тетерин орет «па-па-а!», взбирается на сцену, Зыкину с Райкиным раскидывает к ебени бабушке, берет труп под мышки и опять в микрофон орет: «Товарищи! Это же папа!» Мы по новой аплодируем, грохочем, вот, думаю, номер хуякнули ко Дню маскировщика, а с потолка земля сыпется и скелеты. Всю сцену завалило. Тут сразу стало ясно: авария. Потом уже экспертизу навели, ну и конечным делом оказалось — виновен Вуков. Арматуру, сволочь, забыл в перекрытие положить, потому что из этой арматурной проволоки делал ограды на кладбище, халтурил, он же прямо под ним вкалывал. Вот кладбище и провалилось на сцену. А папаню Тетерин еще раз хоронил. Что-то у него все двойное: похороны, поминки, язык у Игорька, хотя сам — сволочь, и если б не он, никогда бы я педерастом не сделался. Ты, братец, не волнуйся, и до этого дело дой-

дет. Все узнаешь. Только держись. Держись, братец-генерал! Жизнь прожить — это тебе не границу с Чехословакией перейти, как любит говаривать мой дружок Вася. Он тоже вроде тебя — танкист. Но хрен с ними, с вашими танками, хотя все равно ни я, ни моя бригада, сколько ни крутим своими шариками, никак не можем понять — почему мы захватили эту ебучую Чехословакию, если она нас захватывать не собиралась, а вот на Китай не двинулись, не врезали по нему лазером? Почему? Во-первых, мы перед сменой газеты читаем и видим: китаезы такие наши враги смертельные и такая внутри у них катавасия происходит, что ни в какие кремлевские ворота не лезет по сравнению с чехами. И маскировка у них почище нашей, а под каждым городом, под каждой даже, говорят, фанзой — или же завод, вроде моего, или же шарашка, где они вручную водородки мастырят. Они такой технологией не брезгают, лишь бы было чем по нас вдарить. Так почему же, генеральская твоя харя, политбюро такую хуйню допускает? Что оно, очумело, что ли? Что оно, не просралось после банкетов и вечного праздника и не понимает, что у китайцев не 800 000 000 человек, а в два раза больше, и остальные под землей на бомбах и ракетах заняты? Им же Зорге-2, Зорге-3, Зорге-4 и даже семнадцатый Зорге каждый день морзянку отстукивает: пиздец... пиздец... пиздец... Что им, третьей отечественной войны захотелось? По военной романтике соскучились, суки? Брежневу, конечно, хули? Выйдет на Мавзолей, бровками двинет, откашляется, стаканчик коньяку хлобыстнет и, вроде того, рябого и любимого, слезу в микрофон пустит: «Дорогие братья и сестры, дети и внуки! В этот охуевающе тяжелый час для нашей Родины я обращаюсь к вам, друзья мои! Враг коварно перешел границу у реки и сорвал строительство БАМа. Смерть китайским оккупантам! Не все коту масленица! Головокружение будет за нами!»

Я по твоим глазам, братец, вижу, что ты именно этого хочешь. Мой друг кирюха Наум, он еврей и поэтому стихи пишет, правильно говорит: «Поэт хочет умереть на родине, а генерал же на войне». Вот ты иди залезь на Останкинскую башню, выпей в ресторанчике поднебесного полбанки, закуси, повоюй с проклятыми официантами,

бутылкой шампанского окно выбей и лети себе вниз, по-гонами, как крылышками, помахивай. А меня и мою бригаду... сколько в ней, между прочим, человек, я тебе никогда не открою — это святое у меня, тайна, — бригаду мою, подчеркиваю, не тяни за собой, не тяни. Хватит с нас. Нам шестьдесят лет уже всем до одного стукнуло. У нас гражданская за плечами, голодухи, раскулачивания, посадки, фюрер, Сталин, Никита цены взвинтил, а теперь еще такси подорожало. Вдвое! Вдвое! Между нами, братец, Косыгин обнаглел. Ну ладно, он, говорят, на Зыкиной женился, ладно. Женился, не прозевал, козел старый, схватил индюшку и сопи себе в обе ноздри. А он за такси взялся. Вот кончил бы вроде Пасова смену на другом конце города — ночь, транспорт весь помер, в руках и ногах дрожь, и дрожать им до одиннадцати утра, а в кармане двушник. Хватало его раньше с чаевыми, чтобы до дому добраться и еще на кружку пива оставалось. Что же наблюдаем теперь? Таксист тебя выбрасывает на полпути, и прешь до дому на своих. Прешь чуть не на карачках — до того ты домаскировался, план выполня. И старался ведь не для себя, а для того же Косыгина, Пентагон объебывал. Так зачем же на такси цену удваивать? Вы лучше бомбы подешевле придумывайте! Вы со своих физиков и электронщиков за то, что они мозгами, падлы, не ворочают, взыщите сполна! Я у парторга на днях спрашиваю: «Можно мне как бригадиру выйти на Тихий рынок и сказать народу, что Косыгин — козел, где тресковое филе и руки прочь от такси?» Парторг говорит: «Выходи. Ори сколько вздумается, янки как раз со спутников нас подслушивают, и заявляй что хочешь. Это даже великолепно будет для объективной маскировки. Ты знаешь, — спрашивает парторг, — что мы в Хельсинки соглашение подписали? Вот и ори, создавай демократию и свободу слова, а что с тобой делать, решим позже».

Хорошо. Прихожу на Тихий рынок. Объект тяжелый. Дипкорпус продукты тут покупает, потому что от нашей магазинной еды у него гастрит, изжога и камни в желудке. «Почем, — говорю, — говядина?» — «Шесть рублей», — отвечает колхозница. У нее задача маскировочная, но сверхсекретная: мы с бригадой бились-бились, никак не

могли понять, почему партия и правительство изредка продают народу мясо в три раза дешевле, чем какая-то краснорылая сучка. Ну почему? Я понимаю: дипкорпус тут пасется. Но народу-то в Старопорохове больше, чем цэрэушников! Неужели колхозники так заелись, что диктуют свои цены не только нам, но и членам политбюро? Это, товарищ братец, генерал-лейтенант, уже не диктатура пролетариата, а грабеж среди бела дня того, кто Зимний взял и исключительно отдал этот красивейший Зимний дворец в руки парторгов, секретарей райкомов, обкомов и прочих придурков. Вот что это такое, когда на такси вместо одного рваного приходится два новых выкладывать. И не надо меня прерывать, не надо торопить. Раз мы свиделись наконец, то уж я расскажу тебе свою историю до конца... Диктатура пролетариата! Да если бы тыркнуть Маркса-Энгельса-Ленина бородами и ебалами в петрушку — хвостик один только тонюсенький двадцать—тридцать копеек стоит, — или в лук, морковку и прочий овощ на Тихом рынке, то они наверняка подумали бы: нет, товарищи, надо не революции устраивать, а цены на рынках снижать и гастрономы заваливать продуктами! Вот как они подумали бы и поехали бы на рыбалку на речку нашу Пушку. Закинул бы Карл Маркс морышку в прорубь и сказал бы Энгельсу: «Ну как, Федя, клюет?» — «Нет, Коля, одиноко. Очень одиноко», — сказал бы Энгельс и спросил у вечно живого трескового филе: «Эй, Вова, клюнуло?» — «Мы, большевики, намерены настолько загрязнить окружающую среду, господа отзовисты, насколько этого потребуют интересы пролетариев всех стран».

### 3

Вот, товарищ генерал-лейтенант, какие дела на Тихом у нас рынке, но брюзжание, недовольство, жажда справедливости и другие беспартийные чувства выходят из души постепенно, с трудом, но выходят. Ляжешь себе в капустно-квашеном ряду и думаешь: хрен с тобой, покупай телятину, дипкорпус, зимой груши дюшес, огурчики и помидорчики, лопай, когда я себе укропчику не позволяю, — а под самым рынком знаете что? Не знаете! ОТК! Там бомбы бракуют и на боеголовки знак качества

ставят. Вот над чем вы раскошеливаетесь, пока мы идем к коммунизму.

Ты, братец генерал, спрашиваешь, почему я так много уделяю времени рынку. Повторяю: Тихий рынок — один из моих объектов. И халтуру я там, подрабатываю. Ведь у нас, алкашей-маскировщиков, как бывает? Выйдешь на работу, а материала нет. Не останавливать же производственный процесс? Приходится на свои брать водяру или же одеколон, керосин, кармазин и «Солнцедар» проклятый. А своих у нас почти всегда ни шиша. Бабы отбирают, алименты и так далее. Спецовок нам, кстати, Косыгин не выдает. Это у него Зыкина перед каждой песней переодевается, как будто пачкают ее песни, а мы во всем своем работаем. Дуська моя, бывало, говорит: «Сволота! Пьяны! Я в химчистку бегать не успеваю». А я ей тогда в ответ: «Спокуха, Дуся. Я не Брежнев Леонид Ильич. У меня один костюм, а у него 200 миллионов, и я в своем к тому же и дома, и на посту, и на партсобрании». Так что на рынке я подхалтуриваю, а пост мой основной — на лавочке около Ленина. Там меня, между прочим, и огуляли, пидором сделали. Но возвратимся к тринадцатой зарплате. Нас в тот день бригадой коммунистического труда сделали, вымпел вручили, пару каких-то знамен, и прямо на сцене Дворца Съездов — потолок к тому времени заделали в нем, чтобы трупы и скелеты вниз больше не шмякались, — прямо на сцене видная такая хмырина — главный инженер по замораживанию зарплат — выдает нам конвертики. Голубки на них, на конвертиках, летают и в клювиках лозунги несут: «Народ и партия едины!», «Слава КПСС!», «Мы придем к победе коммунистического труда!». Я в ответ речугу кидаю, а сам наверх посматриваю. По моим расчетам, могилка всех наших прямо над трибуной должна находиться. И как-то муторно мне на душе от этого, и стыдно почему-то слова говорить — тоска, одним словом. Не могли уж Дворец Съездов не под кладбищем расположить, а под вытрезвителем, скажем, или под зоопарком. Всегда у нас какая-то хреновина происходит с проектами, идиоты везде сидят... Ну, что-то я с трибуны вякнул, вызвал на соревнование бригаду Шульцова. Они посуду пустую собирают и сдают. «Это, — говорю, — дорогие товарищи,

и есть коммунистический труд. Одни больше выжрут — другие, следовательно, больше сдадут!» Парторг мне лично тогда похлопал. Тот день почему еще ответственный такой был? Американцы запустили сразу восемь спутников, и выходило так, что они Старопорохову нашему дыху не давали. Один пролетит, за ним другой. Парторг всем нам и наказал: «Чтобы все, как в Большом Малом театре, было, ребята! Маскируйтесь!»

В общем, одно к одному все в тот день поперло: и тринадцатая зарплата, которая, как сказал парторг, зеркало прибавочной стоимости, и митинг всех бомбоводородчиков, и Пентагон с ЦРУ со своими спутниками. Поддали мы сначала за Манькиным пивным ларьком, потом за Анькиным, затем за Зинкиным. Тетерин вдруг орет: «Летят! Летят! Из-за луны один, другой из-за месяца!» А Петя транзистор свой достает с антипомехами, и точно — по «Свободе» какой-то трус и предатель вещает: «В этой бездуховной атмосфере, отравленной лживой пропагандой мертвых идей, мутная волна алкоголизма с головой накрыла все слои населения».

Я говорю бригаде: «Вот что значит отличная маскировка! Не успели спутники пролететь, как про нас уже голоса передают! Спасибо, ребята! По постам разойдись!» Сам тоже иду, не помню как, на пост, но думаю: «Сильна у них техника, сука такая, сильна. Только дура. Не видит за гнилым фасадом существования наших недостатков главного».

#### 4

Лежу на лавочке возле Ленина, в небо смотрю, не стесняюсь нисколько. Фотографируйте, падлы, пронзайте меня и всю мою бригаду инфракрасным звуком. Мы свое дело сделали, взяли удар на себя. Зато под нами физики-теоретики сидят, лбы у них титановые, сидят и кумекают, как сделать так, чтобы бомба была меньше, а взрыв ее — больше и чтобы удобно было перевозить бомбы с места на место. Вот ты, братец, хоть и генерал-лейтенант, но ни хрена не знаешь, как бомбы атомные и водородные маскируют. Но тебе я скажу, и ты меня не продашь, потому что Подгорный новый указ подписал: того, кто слушает военную тайну, — расстреливать, того



же, кто ее выдает, — снимать с работы и — на пенсию по инвалидности. Это умный указ. Атомки перевозят очень просто, и только по четвергам. Грузовик с надписью «Мясо» спускается под землю, там в него кладут тройку бомб, и он себе спокойно прет по Старопорохову мимо гастрономов, столовых, кафе, ресторанов, шашлыков из пончиков — прямо к товарной станции. Носильщики волокут бомбы в вагон-ресторан, и понеслись они по стратегическому назначению. Тут тоже наши умы неплохо сообразили. Ведь по четвергам рыбный день, в вагонах-ресторанах жрать нечего, а мяса вообще нет в Старопорохове, — чего же грузовикам зря простаивать? Водородные же бомбы возят совсем по-другому, братец. Их трясти нельзя. Может, видел — телеги на импортных резиновых шинах стоят у райтопа и битюги там же топчутся? Так вот, никакой там не райтоп, хотя голоса передают, что не везде у нас еще центральное отопление. Там — лифт из цеха главной сборки. Грузят одну бомбу на телегу, обкладывают березовыми дровами, повязывают веревочкой, полковник-кучер шепотком говорит битюгу: «Шагом марш!» — и едет себе бомба, и мягче ей на шинах, купленных у той же Америки, чем на перине. А полковник-кучер вроде пьяный и носом клюет, вожжой пошевеливает. Вот как бомбы возят. А вот что такое перевозят в грузовиках — на бортах написано «Ешьте тресковое филе! Вкусно! Питательно!» — клянусь тебе, сам не знаю. Наверняка какую-нибудь такую плюху, от которой расколется наш земной шар пополам и будут обе половинки летать рядом. Половинка — наша, половинка — американская, а Китай сделаем спутником, вроде Луны. Тогда и само филе, возможно, появится в магазинах. Но это все только мечта, генерал, личная моя мечта... Короче говоря, вдруг продираю глаза от незнакомой и страшной боли в заднем проходе. Жжение и боль. Башка тоже, естественно, трещит. Не рассвело еще, а может, только начало светать. Охаю, поднимаю голову, а надо мной голос: «Лежите спокойно, Милашкин, не мешайте делать замеры». Чувствую еще, кроме жжения и боли, что ветер по поверхности моей жопы гуляет. Значит, я голый? Да. Брюки приспущены до пят. Партбилет на месте — грудь колет краешком. Бумажника не чую. Скосил один глаз

влево. Женщина в штатском держит рулетку в руке и кричит: «Расстояние от Ленина до ануса пострадавшего — восемь. От проезжей части — десять. До Маркса-Энгельса — сорок». Мужик другой конец рулетки не отпускает, прямо в зад воткнул, а баба ходит вокруг меня и метры сообщает. Пытаюсь сообразить, что за новую маскировочную задачу тут выполняют, — и не могу. Фотограф подошел, щелкнул несколько раз, ослепил меня светом. Рано было, но милиционеры уже зевак вонючих целую толпу сдерживали. Я снова дернулся — мне стыдно ведь и больно. «Спокойно, Милашкин, нам не нужны пальцы. Нам его отпечатки нужны». — «Кого «его»?» — «Того, кто вас изнасиловал. А может, вы, так сказать, себя... сами?» — «Вы что, — говорю, — очумели?» — «Ну, хорошо. Тогда лежите спокойно». Сердце у меня ек... ек... ек, башка раскалывается, к горлу тоска похмельная подступает, жопу жжет и ломит, кто-то что-то соскреб с нее, через лупу смотрели, потом чем-то намазали, я в бане ихнюю мазь с трудом отмыл, наконец баба говорит: «Найдены два длинных волоса на пояснице пострадавшего!» В толпе шумок прошел насчет того, что длинноволосых много развелось пидаров и наркоманов и что такое зверство совершили около Ленина не иначе как диссиденты и сионисты, больше никому.

А я все ж таки продолжаю верить, что идет особая маскировка в связи с запуском восьми пентагонских спутников сразу и что высший смысл происходящего парторг со временем мне непременно откроет. Продолжаю верить, несмотря на стыд, рабочее похмелье, боль и легкое сомнение. Правильно или нет мы все же поступаем? Не слишком ли крайняя эта маскировочная мера — отхарить на боевом посту коммуниста и бригадира коммунистического труда? Вдруг вы назовете это потом на очередном съезде партии волюнтаризмом? Жопу мою реабилитируете. А мне, думаете, легче от этого станет? Дело-то сделано! Всунуть-то всунули, хотя и вытащили!.. Лежу на скамеечке, подрагиваю, от мыслей ревизионистских отмахиваюсь. Что я, в конце концов? И не такие еще жертвы люди приносили, по двадцать лет в лагерях хреначили, били их, пытали, измывались, в глаза харкали, а они верили все равно: не за горами ОН, не за

горами! А я? Раскис, гадина, от одной палки. В конце концов, во сне это произошло. Я и пикнуть не успел, как бы под общим наркозом. Но, с другой стороны, раз я терплю и боль и унижение, то почему мне — народу — не сказать, зачем принята та или иная или вот эта педерастическая мера? Почему? Я, может, после объяснения еще раз сам себя под удар поставлю! Мрак.

«Натягивайте брюки, Милашкин!» Оделся я. Встал кое-как. «Что ощерились?» — толпе говорю. Смеются, змеи. «В милицейскую машину, пожалуйста, Милашкин!» Удивляюсь такому обороту дела, но иду. От каждого шага глаза у меня на лоб лезут, так больно, и жжет, и копится в моей душе большая обида на партию. Нет! Не согласен я с происшедшим и письмо в ЦК накатаю... Потом все пошло своим чередом. Протокол. Суд. Пятнадцать суток не поддавал. В башке тихий свет, какого много уж лет в ней не было, и ляпнуть охота стаканчик, словно в юности.

## 5

Жизнь между тем, братец, в Старопорохове продолжается. Земляки по-прежнему маскируются. Парикмахерша меня брить не хотела, в трамвае все друг на друга волками глядят, человеческое скрывают, машины бегут мимо «Мясо» и «Ешьте тресковое филе»... Домой заявляюсь. «Пидарас пришел! — это теща моя сказала параличная. — Корми, Дуська, своего пидараса!» — «Помолчи, — говорю, — ведьма, а то я тебе судно на голову надену, поплывешь с говном в крематорий».

Смотрю: сидит моя баба, Дуська, в кухне и плачет. Я ее успокаиваю. Так, мол, и так. Работа у меня вредная, опасная, нужная партии и, следовательно, народу. Мы едины и не бывало монолитны, как никогда. Чего реветь? Космонавтов месяцами дома не бывает. А тюрьма не космос, там не пропадешь, и страховку я получу за травму заднего прохода. Чего реветь, Дуська? Я же тебя люблю. Ты же на мне. «Какая я тебе жена? — отвечает Дуська. — Когда ты спал со мной последний раз? Не помнишь, скотина? Сына твоего взяли, гад пьяный!» — «Как так «взяли»? — «Так. Пришли и взяли. Самиздат какой-то нашли и книжку Сахарова». — «Какого?» — «Того самого, который бомбу

изобрел». Вижу, братец, вижу, как желваки заходили на твоих военных скулах. Знаю, что ваша генеральская пиздобратия разорвала бы этого Сахарова на атомы, если бы ей волю дали, знаю. Очень он для вас теперь опасен. Вот послушает его партия — и почти всем вам пиздец придет. Хватит, скажут, придуриваться. Валяйте на работу в авиацию, на флот торговый, гоняй трактора по полям, а не танки по чужим странам. Знаю. Но я не об этом сейчас, не о разоружении. О нем пускай Сахаров думает. Я с жизнью своей хочу разобраться. Выходит, я здесь на земле поддаю, маскирую подземное производство водородных бомб, бабу свою по занятости не ебу уже полгода, а меня в так называемый анус насилюют на посту, сажают, сына же Славку арестовывают за знакомство с академиком Сахаровым. Что же это получается? Заколдованный просто круг. «Дуська, — говорю, — не реви. Тут без пол-литра не разобраться. Мигом слетаю».

Иду первым делом по дороге к парторгу. А он на меня волкодавом налетает. «Партбилет на стол! Сын твой антисоветчик! В бригадах тебе больше не бывать. Бери расчет! Пидарасов в партии не было, нет и не будет!» Кинул я ему в рыло партбилет, на работу и бригадирство начхать, маскировщики везде требуются. Смотрю под потолок. Внизу ведь партком, а наверху гастроном, и там сейчас небось вся моя бригада. Время без пяти одиннадцать. Гул с земли до парткома доносится. Топот ног. Не терпится людям. Душа у нас горит синим пламечком. Поднимаюсь наверх по эскалатору. Расчет взял. И мысль одна у меня в голове: разобраться, разобраться, разобраться. Выходит, натурально мне влупили, а не в плане маскировки. Если бы для нее, то и не уволили бы. Правильно, генерал? Но если влупил, то кто? Вот вопрос! А у гастронома народ, вся моя бригадушка. Все опохмеляться пришли, один я — выпить. Но что это такое? Гуськова среди них нету, Долидзе и Доценко. Ударников, зачинщиков, рационализаторов! Волосы дыбом у меня встали, когда узнал я, что Гуськова и Долидзе тоже в прошлую ночь зверски изнасиловали на постах: одного в подъезде кооператива «Витязь», другого — за пивным залом «Лада». Доценко же был изнасилован в центральном парке, прямо в кабине «чертова колеса». Главное,

врезали ему, а кабину на самый верх подняли. Утром детишки приходят кататься с туристами, крутанулось колесо, открывают кабину и кричат: «Тетя! Тетя! Тут один дядя спит без штанов!» Народ, естественно, волнуется, Эпштейн, книжек который начитался, говорит, что это бродит по Старопорохову маньяк, призрак коммунизма, Фролов же прет на него и спорит: дескать, не маньяк, а коньяк. Я говорю: «Это дела не меняет. Личность наша теперь в опасности. Нечего гадать, кто нам по ночам влупляет — диссиденты или сионисты. Важно изловить этого человека и казнить самосудом. Нам за это ничего не будет. Я хоть и вышел из партии, но считаю себя коммунистом. Милиция, конечно, маскируется и не раскроет этих кровавых преступлений. Выпьем же и пойдем по следу». Никто, братец Гриша, на мой призыв не откликнулся. Двери открылись, и вся бригада хлынула в гастронном, как вода в Днепрогэс, аполитичными стали люди. Более того — равнодушными. Но ты бы глянул на мою бригадушку, ты бы глянул! Разная шерсть. Впереди — рвань, глаза стиральным порошком не промоешь, гноятся, как у бездомных псов, но хвостами вертухают и на кремлевские куранты поглядывают. За ними — более гладкая публика, пылинки с рукавов сдувает и чертиков, приглаживает космы, одергивает пиджачки, ровно артисты перед важным выходом. За этими стоят темнилы — а не маскировщики. Газеты читают, книжки, делают вид, что за постным маслом пришли, а не за водярой, сухариком или чернилами. Мы, мол, не с вами. Мы случайно. У нас вечером день рождения Ильича. Суки. Не люблю их и норму завышаю. Ты спрашиваешь, братец, сколько все же в бригаде моей рыл? Точно я тебе не скажу. Тайна есть тайна. Многомиллионная у меня бригадушка! Писатель есть даже один. В сторонке всегда стоит, на куранты не глядит. Знаем: что-что, а время движется неумолимо к одиннадцати, и никто его не остановит, кроме ястребов из Пентагона, если они вдруг ебнут по Старопорохову без трех одиннадцать парой мегатонн. Тогда уже, естественно, в опохмелке не будет никакой исторической, как говорится, необходимости. Без шапки писатель. Поднял воротник. Прямо фигурой и недвижим, как в почетном карауле. Думает, видать, но, говорят, тоска его гнет, мнет

и топчет, какая нам не снилась... Вот рвань ворвалась первой. Притерлись остальные друг к другу. Я контроль народный назначаю, чтобы ни одна морда не шнуровалась без очереди. А писатель всегда последним заходит, причем тихо-тихо идет, с большим трудом как бы продвигается к прилавку. Сразу чувствуется, что какие-то силы удерживают его, тянут назад, на нервы действуя, а он, писатель, одолевает эти темные силы, как конь на подъеме, прет, прет, прет, по сторонам не смотрит, не до нас ему, допереть абы, и мы его всю дорогу без очереди пропускаем. Пей, милый, маскируйся, ты запыхался совсем... Беру бутылку и вспоминаю, что Дуське я обещал прилететь обратно. Маскировщики меня, однако, не пускают. «Не дело, — говорят, — бутру намыливаться к бабе в тяжелый для нас час. Четверо наших уже пали жертвами морального уroda всех времен и народов. Это же надо дойти до такого падения! Алкашей, которые важную государственную и партийную работу выполняют, харят по ночам, брюк даже обратно не натягивают. Нет нам покоя, пока не изловим длинноволосого, активного пидараса и не выдерем у гондона из жопы ноги, — пущай в инвалидной коляске катается!»

## 6

До Дуськи я, конечно, не добрался. Митинговал. Сообщал. К Тетерину в гости ходил. Игорек его с двумя языками песню нам спел «Пусть всегда будет папа!». Смышленный паренек. Вдруг «Немецкая волна» передает про моего Славку. Его забрали, арестовали, тридцать писателей велели Брежневу его освободить. А Брежнев пришел в программу «Время» и отвечает: «Мы поменяем Милашкина на крылатую ракету!» Вот это маскировка! Вот это да! Домой не помню как добрался, на пост не пошел, смятение в душе моей, тоска, мрак. А ходить тяжело, в зад у все еще жжёт и першит, хотя пятнадцать суток прошло с момента изнасилования, и я никак не могу понять: когда же это мой Славка ухитрился наловить книжек, диссидентом и сионистом заделаться? Когда? Вроде бы на глазах рос, хоккей вместе смотрели. А его забрали, арестовали, велели паспорт показать. Елки зеленые, елки зеленые. В трамвай люди меня посадили. «Товарищи! — го-

ворю. — Меня из партии исключили! Можно без партбилета домой поеду?» Молчит народ. Ни слова. Ни взгляда. Маскировка. Спрыгнул на ходу, вынимаю член, извини, генерал, и небу его показываю. Дружинники подходят: «Ты чего?» — «Это я «Аполлонам» американским предъявляю. Пусть знают!» — говорю. С пониманием отнеслись. Не побили. А в башке, в душе то есть, свербеж: его забрали, арестовали, его забрали, арестовали. Дай-ка, думаю, последний раз посты обойду, как Наполеон, а потом до самой смерти ночевать дома буду. И что же я вижу? Вымер, вымер родной Старопорохов! Ни за ларьками, ни за рыгаловками, ни в сквере около Дзержинского, ни в котельных, ни в роддоме, где ремонт делают, ни в канавах, ни в кустиках — нигде нету моих маскировщиков. Покинуты посты! Переполошились, твари, запаниковали! Анусы собственные вам дороже оборонной задачи! Приложил ухо к земле. Там гул, визжат сверла, сварка трещит, хлоп, хлоп, хлоп — это уран-235 в бомбах утрамбовывают, а парторг речугу кидает: «Пусть знает этот академик, возомнивший себя Тарасом Бульбой, что великий советский народ под руководством своего самого миролюбивого во вселенной политбюро не позволит убить Сахарову то, что он породил! Все на субботник!» Ну ладно, думаю, хоть там, под землей, порядок, а тут покинуты посты! И я вдруг протрезвел. Совсем. Изловлю тебя, гадина, изловлю, свистка только жаль нету милицейского.

## 7

Иду к Ленину. По дороге Би-би-си слушаю. Все про Славку моего говорят. Обидно. Мог бы, вполне мог бы с отцом посоветоваться. Кстати, тебя, генерал, теперь из-за Славки разжалуют или на пенсию прогонят. Вымер Старопорохов, вымер. Только физики-теоретики из-под земли выходят и домой идут по мостовым. Но не в ногу идут. Нам всем запретили и подписку даже взяли ходить не в ногу. Потому что можем по пьянке создать резонанс так называемый, и рухнет перекрытие, не дай бог, над цехом взрывателей или над усушкой дейтерия. Скептически посмотрел я на скамеечку памятную около Ильича. Трезв, а качаюсь для приманки пидараса длинноволосого. Ложусь лицом вниз, прикрываю сиротливо свою

голову бортом пиджака, вытрезвителем он воняет, дизобаней и тюрьмой. Нечеловеческие казенные запахи бедной жизни моей. Что сделал я с собой? Холодно, листья осенние слетают с веток, тычутся в меня, как птицы живые, им тоже холодно. А я и забыл, что растительность есть на земле. Птицы есть, козы, кошки, собаки. Где же я, думаю, жил последние полгода, когда ушел в маскировщики? Я жил на мертвой планете, и нам давали перед сменой синий спирт. Белеет Ленин одинокий, замаскированный, а на самом деле под грунтовой и побелкой — Сталин. Да! За это премию дали одному гусю нашему. Да, да! Тому самому Тетерину. Он говорит на политбюро: «Вы что, очумели? Зачем же материал портить? Долго ли Сталина залысить, нос подрубить, лоб развести пошире, бородку замастывать и усики подбить? В два счета! А фигуры у них у обоих видные, и шинельки с кителями одинаковые, партийные. Да и курс указывают они один — коммунизм. Хули мучиться?» — «Ну, Тетерин, — отвечает Косыгин, — я бы тебя в замы взял, но ты умный ужасно. Скинешь ведь меня, подлец! Признавайся: скинешь?» Тетерин, он у нас такой, говорит: «Угу! Скину!» С тех пор он в моей бригаде... Лежу. Главное, думаю, не задряхнуть. Я очень крепко сплю. Перевернулся. В небо смотрю. Не дремлют, гады. Летают. Ночью я спокоен, ночью хоть видны эти поганые спутники, нафаршированные в ЦРУ приборами. Днем же страшно, страшно, страшно. Мы знаем — летают, но не видим их: хули говорить — с разгонкой облаков и туч у нас еще обстоят дела слабовато. Не видим спутников. Самая тяжелая — дневная смена. Слепым я себя днем чувствую, слепым. О Славке стараюсь не думать. О Дуське тоже. Если о них думать, то поехать можно. Я принес семью свою вместе с тещей, сукой параличной, в жертву делу, за что исключен из партии и отхарен неизвестным лицом мужского пола.

Опять ложусь вниз лицом, и вдруг... Тихо, братец, тихо, тихо! Слышу: топ... топ... топ... Ветки кустиков хрустнули, подбирается кто-то ко мне. Наматываю покрепче на руку веревочку. Я ее всегда с собой носил, как Зорге — цианистый калий, чтобы повеситься в любой момент в случае разоблачения. А придумал я ту ловушку



очень инженерно. Сделал большую петлю, накинул под брюками на всю жопу, а конец — в руку. Как только, думаю, он мне влупит, я дергаю — ага, говорю, попался, гаденыш — и волоку его прямо за разбойный член в КГБ, если он диссидент-сионист, или в легавку, если просто пидарас длинноволосый, Чайковский ебанный! Я себя, конечно, опять под удар ставлю, но иначе с поличным змея никак не изловишь. Он откажется, и все. «Да, — скажет, — снял с него брюки. Мне показалось, что он в штаны вот-вот наложит. С пьянью это случается!» И — все! У него алиби, а у меня от хуя уши. В общем, наматываю покрепче на руку веревочку, силы в меня какие-то вдруг влились, заиграли, словно в разведке я на фронте паренек веселый. Бесстрашно жду. Будь что будет! Главное — не дать влупить до самого конца. До сих пор ведь больно. Главное — затянуть петлю, когда всего каких-нибудь пара сантиметров его члена в меня войдет, не больше! Захрапел посильней для затравки, промычал что-то, всхлипнул, слюну пустил. Топ... топ... топ... Между прочим, генерал, я с большим интересом, со стороны как бы, прислушивался к осторожным передвижениям этой сукоедины. Ведь не одного меня уже, змей, перепортил и все же по второму разу пошел, хотя дают за это пятнадцать лет. Он вдруг затих. Чего-то испугался, а я думаю: ну что могло заставить человека харить спящих мирным сном алкашей? Что? Может, он урод? Или изо рта пахнет и никто из баб ему не дает? Зря! Судя по моей травме, мужик он неплохой и вполне мог бы охмурить какую-нибудь богатую буфетчицу или банщицу из Сандунов. И как так получается, что нет у нас в Старопорохове социальной базы для алкоголизма, блядства платного, иначе говоря, проституции, безработицы, крысы у нас не жрут детей, как в городе-банкроте Нью-Йорке, кризиса нету с нефтью, газом и дровами, а вот пидарасы длинноволосые разгуливают, словно тут Скандинавия? Может, начала природа переход бабы в мужика и обратно? Вот тебе и Верховный Совет!.. Гриша! Цыц! Цыц! Идет, опять идет, ширинку, слышу, на ходу расстегивает, скотина. Все обмозговал! Не на пуговицах ширинка, а на молнии! Вжик! Ты мне поверь, брат, очень странно было ощутить вдруг, что он

меня хочет. Меня — Федора Милашкина! Я на секунду ослаб как-то, обмяк, словно баба. Да, да, да! Вот так они нам и дают, между прочим. Ослабла, милая, обмякла, а ты уже — есть во весы! «Ах, раз вы так, то я с вами и встречаться больше не буду! Очень вы быстрый и наглый!» Не вижу его, хоть и приоткрыл слегка левый глаз. Белеет Ленин одинокий... Совсем близко подошел, последний шаг сделал... Храплю... Сам дышит тяжело... Вот оно! Вот оно! Посвящу ликвидацию одного пидараса шестидесятилетию советской власти, посвящу, думаю, страх отгоняя, посвящу! Закидывает на голову мне пиджак. Спешит. Ремень я нарочно отпустил, так что брюки он легко с меня снял, сдернул, жду, сердце отанавливается прямо, в ушах шум, давление, очевидно, подскочило, холодно, ветер по мне до самых лопаток свободно гуляет, вазелином запахло, это уже к лучшему, только бы, думаю, не завопить раньше времени, действуй скорей, что ли, гадина!.. Ой, Гриша, брат мой, товарищ генерал-лейтенант, ой! Тут я как дернул веревочку, «ага-а!» — ору, чую — захомутал член по самое горло, вскакиваю — и чуть в обморок не заваливаюсь. Это уж мне тюрьма, а не ему, мне! Не меньше десятки! Прощай, свобода, жизни моей нелепой приходит конец! Он от меня чешет прочь, а на веревочке, в петле, член его оторванный болтается. Ты видел где-нибудь на фронте или в Чехословакию когда входил, такую картину, генерал? Мрак! Зачем же дернул я так сильно? Зачем? Я — за ним. Думать некогда! Не бегу, а лечу. «Стой! — ору. — Стой! Миром дело уладим!» Чешет не оборачиваясь. Может, соображаю быстро на бегу, отвалить мне в сторону, хер в урну бросить или в речку Пушки, и иди тогда свищи, кто его оторвал. Доказать, что я, — невозможно. «Стой! Стой!» Лечу, а член за мной тянется, обернуться боюсь. С другой стороны — если сердце пересаживают, почему хуй не пересадить? Хирургия у нас бесплатная и передовая. Вдруг он возле Дзержинского спотыкается, падает, тут я подбегаю на последнем издыхании, бросаюсь на него, а он подо мной трясется, ходуном ходит, как в эпилепсии. Верно: длинноволосый, мягкий такой весь, руки заламываю, переворачиваю... ебит твою мать! Дуська это! Моя Дуська! И я за ней! В хохот Дуську

бросило, в истерику... И вот теперь я точно вспоминаю, братец, что, когда я в тот раз лежал на скамеечке и дрых на посту, сон мне приснился.

Сам себя я не вижу, не знаю, где нахожусь, но лежит передо мной кремнистый путь в колдоебинах, пыльный, в общем, большак, и топот я слышу конский, лязг, треск и скрежет. Все ближе он, все ближе — куда от него денешься? Задавит, сомнет, разбрызгает по сторонам, хотя нету меня вроде бы на фоне этого пространства. Летит, летит! Это, оказывается, тройка летит! Тройка! А коренная у нее сам Карл Маркс, правая пристяжная — Энгельс, левая же — Ленин! Бьют они копытами, искру высекают, у Маркса грива белая за плечами трепыхается, закусил удила, грудь колесом, башку пригнул, прет всюю, огонь и дым из ноздрей, глаза таращит, пристяжные тоже стараются, сбрую рвут, а на облучке старой брички Сталин-кучер сидит в полной маршальской форме, трубка в зубах, и то по Марксу, то по Энгельсу, то по Ленину — хлобысть вожжой, хлобысть, и мчится тройка, как взбесившаяся, и посторониваются от нее все народы и государства, и я — тень бесплотная в ночи кромешной! Мчится тройка, мчится! Быть беде! Но тут выбегает на путь кремнистый моя Дуська. «Тпррру!» — кричит, хватает Маркса за удила, осадила враз. Энгельс говорит: «Ни хера себе диалектика!» Ленин глаз косит татарский. Сталин с брички в кювет летит. «Тпррру!» Тут я проснулся и слышу: «От Ленина до ануса пострадавшего — восемь метров, от проезжей части — десять, от Маркса-Энгельса — сорок». Вот как было дело, а Дуська лежит подо мной и хохочет, как давно-давно в деревне, в поле, в отпуску когда были. Она хохочет, а я всерьез, слово даю, чувствую вдруг любовь и испытываю недовольство, что Дуська в брюках... Все было, Гриша, как тогда в деревне, в поле, в отпуску. Сладость все же любить жену, какая это сладость бывает вдруг, со «Старкою» только экспортной сравнивая! «Федя, — шепчет Дуська моя, — Федя... Ты ли это?.. На кого ты меня променял, Федя?.. Люби меня, Федя... Я умру за тебя!» И мне тоже так хорошо, как в первый раз! Фотографируй нас теперь ЦРУ, клади снимок утром на стол президенту и объяснения давай! «Квадрат 45. У памятника Дзержинскому

Федька Милашкин любимую жену Дуську ебет, глаз голубой от удовольствия закрывает! Вот как!

## 8

Но, дорогой ты мой брательник, покой нам только снится, как говорит Аркадий Райкин. Вдруг слышу: «Гражданин! Немедленно поднимитесь!» Ё-о-моё! Встаю. Это господа дружинники. Трое. Начали права качать. Я официально им заявляю: «Мы подписали соглашение в Хельсинки? Подписали. Там пункт такой есть — «воссоединение семей». Вот какое дело. Я свои права знаю. Вон он летит над нами — секретный спутник «Сатурн». Проверяет, выполняем мы то, что подписали в Хельсинки, или темноту с чернотой разводим. Не мешайте воссоединяться мне с любимой женой Дуськой!» — «А зачем вам самодельный член из политбюрона?» — ехидно так спрашивает ихний старшой, пока Дуська, бледная от стыда, брюки натягивала. «Мы этого в Хельсинки не подписывали!» — очень жестко и давить начиная прет на меня второй. Третий же вежливо приглашает: «В связи со случаями полового разбоя среди спящих алкоголиков пройдемте без эксцессов». Я снова начинаю права качать насчет Хельсинки, а они уперлись на одном: «Зачем вам член из политбюрона?» — «Вы мне ответьте, — говорю, — куда тресковое филе девалось и почему колхозники объявили холодную войну партии и народу — картошку по семь рэ ведро продают, живоглоты. Тогда я вам скажу, зачем мне член политбюроновый!» Дуська в ноги мне бросается: «Федя, ты что, тоже сесть хочешь? Идем. Я все расскажу, нас отпустят, и ты спать ляжешь. Ты почернел, Федя, от пьянки. Пойдем!» — «Хорошо, — говорю, — пошли, но в протоколе необходимо желаю записать, что за все время ни разу не выразился «хуй», говорил исключительно лояльно «член». Так и записали в отделении. Тут и начался шурум-бурум. Прокуроры приехали, Чека, парторг наш и прочая шобла. Трое суток допрашивали то меня, то Дуську, на очные ставки раз пять водили, — но я же не олень сохатый, я бывший член партии и по дороге в легавку успел поднатаскать Дуську как следует. «Помни, — говорю, — одно: хуй ты купила на Тихом рынке в том ряду, где раньше картошку продавали. Продай тебе

его негр, у которого деньги стырили из кармана, а расплатиться за творог было нечем. Просил он за него десять. Ты дала три двадцать. Вот и все. В остальном выкручивайся как знаешь. Дома же я тебя поколочу. Так не делают! Я хожу еле-еле до сих пор. Очко ведь не железное!» Между прочим, на меня, на мой позор и травму всей шобле было плевать. Они старались понять, кто вынес из совершенно секретной лаборатории кусок новейшего полимера политбюрона. Ведь его хранили в сейфах, ключи же от них были только у Главного Полимерщика. Если бы Пентагону удалось достать кусочек политбюрона размером с пробку от «Солнцедара», то мы, как я понял из допросов, растеряли бы свое стратегическое преимущество к ебенной бабушке. Двое суток возили Дуську на приеме в посольства африканских государств и на лекции в Университет дружбы с Лумумбой для опознания негров. Она приблизительно узнала двух. Но один оказался военным атташе Берега Слоновой Кости, и у него было алиби: он в тот день фотографировал паровоз, на котором вечно живой Ленин приехал в Старопорохов, когда в Горках врезал дуба. Второй же стоял с утра до вечера в очереди за оливковым маслом, и масла ему не досталось. Все это видели. Не нашли, к большому моему удивлению, того самого негра. Взяли с Дуськи подписку, что как увидит его, так сразу позвонит на Лубянку. Дали три двухкопеечные монетки для автомата. Ну, парторг пытался установить связь между кражей политбюрона и нашим Сахаровым. А прокуроры начали подыскивать для Дуськи статью, поскольку Дуська в остальном раскололась. Все взяла, благородная баба, на себя. На самом деле было так. Она и Тетерина баба, Элла, которая Игорьька с двумя языками родила, подписали как-то и задумались: что с нами делать? Маскируемся круглые сутки, семьи разваливаем, заговариваться якобы начали и так далее. Ну и решили нас попутать поначалу для смеха. Ах, мол, раз вы нас не ебете, в канавах ночуете, то мы вам врежем, голубчики, шершавого! А вырезал его для продажи безмужним бабам из краденого политбюрона Тетерин. И я стал первой ихней жертвой. Тетерин же, сука, и здесь всех перехитрил! Он тоже проснулся, как потом уж я узнал, в клетке с арбузами с голым изнасилованным

анусом, брючки натянул — и домой как ни в чем не бывало. Болит очко, но Элле своей, разумеется, ничего не говорит, за походкой своей наблюдает, в милицию не жалуются и пить на день бросает. Бросает и предлагает жене: «Давай еще парня родим. Может, он с одним языком у нас получится?» Элла и рада. Передала тот хер политбюроновый женам Долидзе и Доценки, тех тоже отхарили, остальные мои маскировщики перетрухнули не на шутку, стали дома ночевать, бабы, конечно, довольны, а вот что думают американцы, я не знаю. Город-то опустел. Ночью живой души не встретишь, все пидарасов боятся, только у такси глаза зеленые горят, как у волков голодных. Подбирали Дуське статью прокуроры, подбирали, но смотрят: ни одна не подходит. Не предусмотрено, оказывается, кодексом нашим советским, безнадежно отставшим от жизни, наказание за изнасилование любого лица мужского или женского пола искусственным половым членом.

## 9

В бригаде у меня адвокатов было несколько. Устроили мы за Манькиным ларьком юридическую консультацию. Обмозговываем пару дней положение. Вырабатываем план защиты, химичим смягчающие обстоятельства и на случай суда выпрямляем линию Дуськиных показаний. Ведь ее таскать продолжают и говорят: «Все равно посадим. Не может преступление, о котором уже известно на Западе, остаться без наказания! Ты, Дуська, — говорят, — прецедент создала. Интуристы, испорченные сексуальной революцией, ночуют теперь из-за тебя около Ленина, Дзержинского и Маркса-Энгельса. Брюки сами снимают и ждут до утра, но не выпадает им кайфа. Сознawайся — кто тебе вынес из-под земли кусок политбюрона и какой такой неизвестный, удалив от него все лишнее, наподобие Фидия, изваял орудие преступления — член? Сознawайся, не то мы тебе скотоложство припаяем!» Дуська моя, однако, заладила: «Если родная наша Коммунистическая партия и родное Советское правительство только на словах борются с алкоголизмом, а на самом деле увеличивают выпуск водки, сухарика и чернил, если с помощью вздувания цен на спиртное и замораживания зарплаты Косыгин

хочет уменьшить инфляцию, если насрать ему, что си-  
вушные двуязычные уроды на свет выходят и к двухты-  
сячному году мы займем по косорылости первое место в  
мире, а по гунявости — третье, то нам, бабам, все это не  
безразлично! Вон маманя моя, — говорит Дуська, назы-  
вая так нежно эту суку параличную, плывущую, как Хей-  
ердал, на судне в крематорий, — что рассказывает: «Быва-  
ло, дочка, залазит на меня супруг, отец твой, Царство ему  
Небесное, залазит, а я уж сладко-сладко думаю, мечтаю,  
наяву, бывало, вижу ребеночка, которого... ой, как хоро-  
шо, которого... ой, как замечательно даже, Санечка... ко-  
торого... любимый ты мой... умираю... умираю... вот сей-  
час... вот через секундочку... вот оно... вот... ребеночка ви-  
жу, которого задельывает мне супруг Саня, и ребеночек тот  
розовенький, пухленький, цыпленочек с ручками, с нож-  
ками, с глазками, с носиком, с пипкой исправненькой, с  
попкой родной, ты это, Дуська, красавица моя, и за что те-  
бе наказание такое послано, почему не ебет тебя твой  
змея восьмого разряда, ведьму полюбил с глазами оловян-  
ными, кубанскую перцовую, московскую особую... Брось  
его, Дуська!»

И нам, товарищи прокуроры, хочется, как нормаль-  
ным бабам, и спать просто так с супругами от шалости  
и для удовольствия, и к тому же ребеночков рожать, чтоб  
не стыдно было за ихний ум и внешность перед другими  
странами и народами. Пускай знает Косыгин: мы сами  
теперь за себя постоим, пусть земля горит под ногами  
у мужей-алкоголиков! Не будет им теперь покоя! Не по-  
литбюроновый хер, так пробковый! Не пробковый, так  
гудроновый! Найдем что влупить и перцем присыплем,  
пусть жжет с неделю, хотя перца тоже в бакалее не стало!  
Вы их свели с ума, настропалили на маскировку, а мы их  
сызнова на ноги поставим и газет читать не дадим про  
ваши бомбы, ракеты, войны, кровавых империалистов  
и обстановочку небывалого всенародного подъема на  
субботнике. И я лично на него больше не выйду! Ищите  
дураков! Денежки с субботника, миллиарды за труд наш  
бесплатный, всаживать надо не на постройку раковых  
корпусов и стадионов, а на больницы для алкашей наших  
проклятых и несчастных. Плевать нам, ихним женам, на  
стадионы! У Доценок дочка еле ходит, у нее по восемь

пальцев на ногах — куда уж ей рекорды ставить на Олимпиаде-80! А у Долидзе у Гиви-младшего позвонок кривой. Кидай его на лед в фигурное катание двойной тулуп делай! Так и передайте Косыгину! — говорит Дуська.

## 10

Задумались прокуроры. Делать нечего: докладывают Косыгину. Косыгин политбюро собирает сразу после «Голубого огонька», на котором Зыкина пела. А мы в тот день за Зинкиным ларьком сидели. Щепы набрали, коры березовой и листьев кленовых. Костер разожгли. «Ташкент!» — говорит Тетерин, а сам дрожит как землетрясение. Согрели бутылку портвейна на огне чуть не до кипения, глотаем по очереди из горла горячую заразу, оживаем, сплотившись еще тесней вокруг костра. Тетерин вдруг дрожать перестает, хлопает нас по плечам, взгляд затвердел у него, и говорит: «Я вчера на политбюро был вызван. Доклад делал о цели существования химчисток, так называемых «американок» в нашей стране. Но передо мной о Дуське разговор зашел. Судить ее или не судить? Брежнев говорит: «С точки зрения успехов дальнейшей маскировки, это у нас объективно, дорогие товарищи!» Говорил он, кстати, без бумажки. Тетерин сам видел, не врет никогда в таких случаях... А Суслов, чахоточный такой, не стоит у него с тридцать седьмого года, не соглашается... «Проморгали мы, недосмотрели погранвойска и таможенная служба, как половая революция перешагнула наши границы. Вот они, плоды разрядки, мать ее так. Расхлебывайте это дело сами! Предлагаю усилить идеологическую работу среди населения с помощью партпенсионеров. Все равно они зря чешут языками на бульварах!» Тут Андропов слово взял: «Так и так. Давайте попробуем сухой закон устроить, а из зарплаты алкоголиков удерживать от 3 р. 62 коп. до 4 р. 12 коп. в месяц на строительство антиалкогольных профилакториев с принудительной утренней зарядкой. Дуську же надо отправить в психушку. Она взяла на себя функции наших органов!» Косыгин вдруг как ебнет кулаком по зеленому сукну и попер на них с мешками под глазами: «Вы что? Сухой закон немедленно вызовет прекращение строительства БАМа и других молодежныхстроек! Твои-



ми лозунгами, Суслов, народ не взбодришь! Людям в провинции жрать нечего, так пусть хоть пьют. Потом в коммунизме окупятся с лихвой, с большими процентами наши страдания и лишения. Госбанк торжественно дает нам на это свои гарантии». Кириленко, маленький такой, тоже мешки под глазами, глазки от черной икры заплыли, докладывает: «Наш резидент «Соколок», натурализовавшийся на острове Лесбос, доносит, что идентификация женщин с мужчинами, начавшаяся здесь до нашей эры, продолжается. Спрашивает шифровкой: как быть с Дуськой?» — «Беда! — говорит Подгорный. — Народ пить резко бросил после всех этих изнасилований мужчин. Стрезва иначе мыслить начинает. В религию уходит. А самое страшное для нас сегодня, товарищи коммунисты, то, что начинает народ искать ответы на Вечные Вопросы не в беспробудном пьянстве, а в наблюдении за интимной жизнью своих руководителей. У народа возникает незаконная социальная зависть к системе снабжения нас любительской колбасой со знаком качества. А дальше что будет?» В общем, братец ты мой, генерал, все политбюро сошлось на том, что надо устроить еще один всенародный внеочередной субботник, а магазины «Березка», где по сертификатам без маскировки продукты продают высшего качества, закрыть немедленно, чтобы они, сволочи, не мозолили народу глаза и не уничтожали его веры в наше бесклассовое общество и в то, что все, от мала до велика, от Брежнева до ханыги Тетерина, просты и скромны как Ленин. «А теперь, — говорит Брежнев, — давайте посмотрим запись биотоков ленинского мозга, которую удалось записать нашим славным микрофизикам с помощью самого большого в мире радиотелескопа». Тетерин сам видел, как на экране зеленые змейки забегали и запятые заплясали. «Полвека, как дуба врезал человек, а мозга все еще у него кумекает, не то что у нас, — говорит Брежнев. — Кумекает и подбивает, как говорится, резюме всей нашей партийной работе: правильной дорогой идете, дорогие товарищи! Будьте и впредь беспринципны в своей борьбе с империализмом и сионизмом!

Давайте теперь проголосуем, обменивать нам баш на баш Корвалана, поскольку Пиночет, блядь такая, почуял

нашу слабину в Хельсинки. Тактику новую и коварную избрали враги прогресса и мира. Раньше они пулю в лоб шмаляли коммунистам, мучили наших братьев по разуму в застенках до смерти, растворяли в различных кислотах и так далее, и не было у КПСС с ними возни. Зачислили в мученики — и с рук долой. Ныне колени кор иной. Мы, мол, вам — Корвалана, а вы, дескать, нам — Буковского. Я лично торговаться разучился, так как давно не покупал на Тихом рынке телятину, гвоздики и картошку. Предлагаю отдать Буковского. Но смотреть при обмене, чтобы вместо Корвалана другого какого-нибудь обормота нам не подсунули. Самого же строго предупредить, чтобы не вздумал трепаться насчет нарушения в СССР прав человека, не то этапирруем обратно в Чили, и там трепись сколько хочешь. Кто против?» — «Я!» — шепотом, потому что чахоточный, говорит Суслов. «И я!» — вякает Косыгин. «Сталин так бы не поступил! — поясняет Суслов. — Он Троцкого достал, а Корвалана ликвидировать гораздо проще. Политический же эффект после его вынужденной ликвидации был бы просто шикарным. Плюс отсутствие прецедента. Прецеденты сводят на нет нашу работу. А вдруг реакция начнет арестовывать генсеков во всех странах и провоцировать нас менять их на диссидентов и сионистов? Что тогда? Хрущев уничтожил НЗ политических заключенных. Мы с таким нечеловеческим трудом снова наладили это дело, по крохам собирали, можно сказать, — и вот пожалуйста! Корвалан сидит там в отличных условиях, не пытаются его, свиданки дают, интервью разрешили раз в неделю, пусть себе сидит и объективно служит делу мира и социального прогресса. Логика подсказывает, товарищи, что тюрьма — это время. А любое время работает на нас! Я — против!» — «Я лично, — говорит тогда Косыгин, — предлагаю поступить по-ленински, согласиться на далеко идущий компромисс. Давайте обменяем Корвалана на Дуську. У нас невиданными темпами растут ряды женщин-пидарасов, разворачиваются для этой цели ценнейшие полимеры политбюрон, партбюрон и насадки для членов из таких сверхтвердых сплавов, как совминий, подгорний и кэгелий-бэ. Более того, в провинциях пошли в ход сезонные овощи: морковь, огурцы, початки кукурузы, редис «Сла-

ва Терешковой», хрен «Комсомолец-долголетний», кочерыжки и так далее. Исчезла с прилавков магазинов черноземной и других полос колбаса всех сортов. Народ вправе спросить нас, коммунистов: «Где наша колбаса?» Что мы ответим? Повышение цен на отсутствующие в продаже продукты и промышленные товары оказалось правильным политическим шагом, но не принесло желаемого экономического эффекта. Увеличение платы за пробег такси — не панацея от всех бед, хотя курсирование населения из областей и районов в города и столицы в поисках дефицитных продуктов и товаров заметно уменьшилось, а экономия бензина увеличилась. Соответственно наблюдается резкий скачок его экспорта в страны НАТО. Обмен Корвалана на Дуську улучшит наши балансы и частично ликвидирует некоторые трудности снабжения населения овощами и бананами. Затрону теперь главный аспект всей проблемы. Бесславный почин Дуськи привел к катастрофическому затовариванию складов, магазинов и ресторанов нереализованными винно-водочными изделиями. Возникают пробки на крупных железнодорожных узлах. Растет инфляция, тромбированы многие внутренне-банковские финансовые операции. Крепнет реальная угроза спонтанного образования второй оппозиционной партии в нашей стране на политической платформе, не брезгующей никакой социальной демагогией. Идея глобальной маскировки наружного пространства СССР находится под угрозой! В такой ситуации лозунг «Вперед к коммунизму!» выглядит смехотворно даже для дураков из братских компартий. Предлагаю поручить министру внешней торговли произвести обмен вышеназванных лиц в одной из нейтральных стран. Дело зашло слишком далеко. Зыкина моя вчера заявляет: «Если бы ты, Алеха, пил, я бы теперь знала, как поступить!»

## 11

Разобрали мы ящички из-под апельсинов арабских, подкинули дощечек в костер, вторую бутылку подогрели, хорошо пошла, а Тетерин шпарит наизусть ихние речуги на политбюро. Шпарит — я же думаю: пронесет или не пронесет? Чем дело кончится? До чего мы дошли, Дуська,

с тобой? И виноват я перед заключенным своим сыном Славкой. Если б не я, моя многомиллионная бригадушка да всякие надомники — поэты, композиторы, художники и артисты, — не сочинил бы Славка книгу «Развитие алкоголизма в России», не тискал бы ее на ебаном Западе, не сидел бы нынче под землей на Лубянке, а пил бы портвейшок в подъезде и там же с девок брюки сдирал.

«Дуську менять мы не будем, — говорит Андропов. — Она без сына и мужа никуда не слиняет. А мой агент, работающий в кровавом чилийском гестапо, докладывает, что естественная смерть Корвалана не за горами. Стоит ли рисковать в таком щекотливом деле?» — «Стоит! — отвечает Брежнев. — Латиноамериканцы живучи. По словам моих референтов, Арисменди месяцами не ел, не спал, свертываемость его крови после пыток была равна нулю. Но он выжил. Потому что формула крови коммунистов продолжает оставаться загадкой номер один для врагов и международных картелей. Поменяем этого бандита Буковского на Корвалана. Хер с ним. Долго он после андроповской баланды и режима не протянет!» Бурная овация. Все встали, потом сели и дают слово Тетерину. Наливает себе Тетерин из графина хрустального с золотой крышкой крымской мадеры, хлопбыть стакан — и тоже толкает речугу. «Я, — говорит, — как внештатный контрразведчик открыл такую штуку: сущность химчисток «американок». Однажды после смены желаю я опохмелиться. Но постепенно становится очевидным, что тряпок моих дома нет. Ни брюк, ни пиджака, ни байковой рубашки не нахожу нигде. Я бы эллинские, бабы своей, тряпки напялил, неоднократно так поступал, но и их стерва из дому вынесла. Читаю записку, на ручке в сортире надетую: «Сволочь! Пьянь! Вещи в химчистке. Сиди дома и будь проклят!» Ах так? Хорошо. Решаю сдернуть, как давеча, шторы, завернуться и таким манером проследовать в «Чайку», вырвать у ней из клова свои тряпки. Шторы сняты. Хорошо, думаю, сука, я тебе сейчас устрою Сталинградскую битву под Москвой! Однако удар Элка нанесла мне почти смертельный: не нахожу ни простынки, ни наволочки, ни скатерки! Окружен! Окружен! А в окнах уже хари вражеские лыбятся. Рога у них и червяки в ушах. Я по-пластунски бросаюсь в сортир — а там

Киссинджер сидит, очки протирает, я в него громкоговорителем — бамс, воду спускаю — нету Киссинджера, только от унитаза кусок откололся. Пот с меня льет красный, зеленый, серый, и в каждой капельке — по песчинке. Прыгаю в ванну, а-а-а-а!.. в ванной Киссинджер голый лежит, холодный, скользкий... а-а-а-а! Вываливаю на него всю посуду из буфета, а он из телевизора на меня зырит и говорит: «Не бойся, Тетерин, я Валентин Зорин!» А-а-а-а!.. Тут мне политбюро бурную овацию устроило... Бросаю телевизор с балкона прямо на «Жигули» — разве ли машин, ворье, колхозники, спекулянты! Вроде легче стало, но на обоях вдруг уши проросли, и запах из ушей... задыхаюсь... воньща глотку перехватила, и с полки кухонной макаронины на меня двинулись с вермишелинами наперевес. С люстры многоножки сыплются, в ванной Киссинджерglomзает вилками и ножами по кафелю. Что делать? Пол-одиннадцатого!.. А-а-а-а! Голым не пойду. Ходил один раз. Забрали. Незаконно забрали, ибо я шел и кричал: «Отвернитесь! Отвернитесь! Отвернитесь, граждане!» Ага! В передней шкаф стоял фанерный с зеркалом. Вырезаю в боках дырки для рук, сзади — для глаз, дно вышиваю, кладу рубль с лысым из записки на верхнюю полку, залажу туда и лифт вызываю. Муде прикрыто, и ладно. Нормально. Двигаюсь по улице потихоньку. Игорек за мной бежит, «пусть всегда будет папа» — поет. Не тяжело. Только в яйцо левое заноза попала. Зеркало зайчиками чертей распугивает. Так и заявляюсь в гастронорм. Успел, слава тебе, КПСС! Поправился — и в химчистку. «А ну, давайте, — говорю, — падлюки, тряпки мои. Я Тетерин. Квитанцию потерял!» Выдают, как ни странно. Шкаф я им оставил для грязных газет, вместо урны. И что же я открываю? Не дураки они! Не дураки американцы! И опять нам заячьи уши приделали! Мы такие средства выделяем для борьбы со шпионами, маскируемся круглые сутки, а они всю работу свели на нет срочной химчисткой. Ведь стоит только тряпкам нашим туда попасть, как в них автоматически вживаются датчики и передатчики. Остальное же — дело техники. Спутники летят, ловят их сигналы, и ЦРУ в курсе не то что всех наших планов, но и подробностей личной жизни. Вам-то, говорю, членам политбюро, хорошо. Ваши

тряпки бабы в «американку» не носят, а я поддал. Иду. «Милашкин! — бугор наш орет. — Летят! Летят! Один над Анькиным ларьком, другой над Манькиным!» И слышу: жужжит в ширинке и под мышками. Жужжит, и, как со спутника, сигналы из меня выходят: пи-пи... пи-пи... пи-пи... Чего же думать? Закрывать надо химчистки к ебенной бабушке! Или же вставлять в наши тряпки помехи. Они нас жужжанием — мы же их треском и скрежетом заглушим, как «Свободу». Косыгин говорит: «Ладно, Тетерин. Мы что-нибудь придумаем. Один ум — хорошо, а двенадцать лучше!..»

Политбюро, вроде винных отделов, до семи работает. Я говорю: «Пойду, а то не успею». Стали мы все, как во Внукове на проводах Брежнева куда-нибудь, лобызаться по три раза. Но с Сусловым никто не лобызался. Чахотка у него. И врачи запретили. Подгорный говорит: «Не серчай, Сулов. Зато у тебя два тома сочинений на днях выйдут, и мы их населению вместо «Баскервильской собаки» по талонам давать будем».

Вот человек Сулов! Дуба на ходу врезает, ему бы в Крыму на пляже валяться и портвешок дармовой жрать стаканами, а он в Цека на трамвае каждый день кандекает! Скромный мужчина, вроде Ленина.

Тут, братец, Тетерин вдруг захрипел и в костер повалился, удержать не успели. Обварился немного. Мы его обоссали по древнему способу, чтоб волдырей на лице не было, а он плачет, Игорька зовет. «Прости, — говорит, — Игорек, прости ты меня за то, что пропилил я свою восьмую хромосому и язык ты лишний имеешь! Но я тебе сестреночку рожу, красоточку, принцессу детсадика, а тебя отдам в двуязычную в англо-французскую школу! Прости! Завяжу я, завяжу, завяжу!»

Обо многом, братец, мы тогда поболтали. Подходит участковый. Рыло мятое: он ночью намордник на него надевает, наверное, чтобы бабу свою не кусать: «Вы понимаете, где вы костер разожгли? Вы понимаете, что в предолимпийские годы нас всех уничтожат? Вы отдайте себе отчет? Вы почему играете с огнем, когда «Россия» горит?» — «Как горит?» — «Так! Сверху взялась!» — «А-а-а-а!» — заорал Тетерин, за голову схватился. — «Грю-ю-ю?» И в речку Пушку — бух! Труп его только через ме-

сяц нашли в Суэцком канале. «Вы понимаете, где вы огонь разожгли?» Тут я головешки раскидал, уголье растоптали, повалился и плачу, как маленький, что пронесло беду. Слава богу! Под костром-то нашим дежурная стратегическая ракета, оказывается, находилась. Еще бы немножко, пару дощечек подкинули бы — и прощай вторая мировая война, здравствуй третья! Нас бы раскидало, ракета легла бы на курс, оттуда последовал бы ответ, и... все... все! Осталась бы на поверхности Земли только пустая посуда, сдавать же ее было бы некуда и, главное, некому. От этой ужасной картины, мелькнувшей, братец, в здоровой моей голове — почаще бы такие картины мелькали в ваших генеральских и маршальских калганах, — заплакал я еще пооткровенней и громче. «Да! Уничтожим вас, ханыг позорных, к Олимпиаде-80! В народе нашем одни спортсмены останутся, выжжем язву алкоголизма олимпийским огнем, проститутки!» — шумит участковый.

## 12

Откровенно говоря, братец, стебанулся слегка наш участковый на этой Олимпиаде-80. Стебанулся форменным образом. Начал с балконов. Приказал не вешать на них белье, потому что вывешенное белье секретные американские спутники могут принять за белые флаги сдачи нами идеологических позиций, и тогда в одно чудесное утро мы услышим на нашей Большой Атомной улице скрежет гусениц вражеских танков. «Так что, — говорит, — если кто вывесит простынку и хоть бы даже белые кальсоны, буду рассматривать сей факт как сдачу в плен и стреляю, ети вашу бабушку в тульский самовар, без суда и следствия прямо в лоб. Мне давеча ящик патронов начальство для этого выдало... Ра-азойдисы!»

Любил наш участковый это словечко. Он его ночью во сне и то орал. А все почему? Потому что, братец, пил он не с народом, а в одиночку. Чурался, сволочь, масс, индивидуалистом маскировался, трезвым. Но мы-то знаем, что на дежурство он без четвертинки спирта не выходил. И где, ты думаешь, он носил этот спирт, которым ему взятку в ядерном институте давали? В кобуру он его наливал! Да, да! В кобуру. Иной раз зайдет с тоскливой

и яростной рожей за угол, снимет кобуру с портупей, башку запрокинет и присосется, ни капельки наземь не прольет. Вот и допиллся до институтского спирта, которым ко дню рождения Ленина бомбы протирают. Сначала лаять во сне начал наш участковый. Тетерин ведь за стеной у него жил, все слышал. Лает и лает. Иногда с подвизгом, иногда, особенно в полнолуние, с тошнотворным подвоем. Спать невозможно было от сводного лая и воя, а указать на это не давал он нам никакого права.

«Я лаю по особому оперзаданию, и не окрысивайтесь, подлецы! И вой у меня государственное значение имеет. Без него давно бы уже стали рабами капитала и нью-йоркской мафии!»

Так он нам говаривал... Ты не перебивай, я все равно не двинусь дальше, пока не доскажу душераздирающую истину про нашего безумного участкового... Не командуй! Я тебе не Варшавский пакт! Я сейчас как гаркну «смирна-а!», так ты у меня лапки по швам вытянешь и прстоишь до второго пришествия, когда тебе скажут: «Вольна-а!» Понял?

Баба же нашего участкового вконец измучилась от лая и воя своего муженька. Ну и не выдержала, естественно. Не выдержала и стала затыкать ему на ночь глотку. То носком грязным, то портянкой, то трусами — и дрых себе участковый без задних ног до утра. И ни о чем не догадывался. Отдохнуть дал Тетерину-соседу и бабе своей с детишками. Все было бы хорошо. Только стал он недоумевать, отчего это у него по утрам то нестиранный носок, то вонючая портянка, то запревшие трусики оказываются мокрыми и изжеванными порой неимоверно. Ничего понять не умеет. Баба же его обычно ставила будильник для себя лично, вытаскивала утречком из участковой пасти затычку и сушила ее на батарее. Все было хорошо. Но как-то испортился у них будильник, хотя клеймо на нем стояло знака качества, и продирает однажды наш участковый пьяные свои зенки и обнаруживает свою глотку заткнутой. Ни охнуть, ни вякнуть, ни слова прохрипеть не может. Чуть не задохнулся от обиды, вырывает кляп и давай кусать свою бабу. До крови искусал, пока она голая на улицу не выскочила. Спасли мы ее.



А она с тех пор не давала себя участковому, пока он на ночь не напяливал на свою ханыжную харю бульдожьего намордника. Любил он жену. Поэтому и надевал. Любовь к бабе, братец, и не на такие подвиги подталкивает, а еще на более сногшибательные. А выть перестал. Разве и за-лает после Седьмого ноября, но я лично считаю, что это в порядке вещей после праздничной похмелюги. Но дело не в этом. Нас-то, гаденыш, привык утирывать по-зверски. Житья не давал, асмодеище. Ты интересуешься, почему я говорю «утирывать», а не «третировать». Потому что «утирывать» означает «третировать» утром, когда мы собираемся в яблоневоу саду за Зинкиным ларьком. На ночь некоторые из нас зарывали, бывало, под старыми яблоньками остатки портвешка, чернил, бормотухи или пивка. Зароешь, а потом поутрянке откопаешь, опохмелишься — и под землю, сортировать атомы урана. Конечно, если со стороны на нас поглядеть, то странная, должно быть, картина открывалась в ЦРУ на проявленных снимках. Ползают между яблоньками маскировщики на карачках: рыщут зарытую заначку, ибо один из них забыл, мерзавец, где он ее заныкал. Перерыли мы однажды весь сад, ножами и палками землю истыкали — нигде не можем найти четвертинку и бутылку пива. Нигде. А сердца-то наши тем временем останавливаются, не хотят тикать без расширения сосудов. В головах же буквальный конец света, страшный суд и изнурительный ад. Тоска, повторяю, и мрак. Большое горе. Наконец, когда казалось, не выйдем мы все из яблоневого сада, умерем на посту и окончательно не воскреснем, натыкаюсь я случайно на белую головку под вялым осенним лопушком. Зубами стащил, губу порезав, оловянную пробку, зубами же «Жигулевское» открыл, откуда только силы взялись, ибо руки у всех тряслись, как у балалаечников из оркестра народных инструментов имени Курчатова, и отпили мы, сердешные, бедные, из стильной бутылочки, из «маленькой», по одному спасительному глотку... Ух! Слава Тебе, Господи! Прости и помилуй, спасены! Спасены на этот раз, а что дальше будет, неизвестно. Как завтра повернется судьба, не ведаем...

Быстро, для увеличения кпд водки и пива, разводим костер. Смешиваем в бутылке из-под шампанского с ко-

лотым горлом то и другое — и вот уже, товарищ ты мой генерал-лейтенант, после спасения сам батюшка-кайф коснулся наших внутренностей отеческой своей рукой. Кайф! Враз тела от него молодеют, мысли появляются в смурной, тупой и болезной пару еще минут назад башке, весь мир, включая проклятый наш Старопорохов, выстраиваться начинает на глазах, и хочется душе чегой-то такого... трудно даже сказать чего... высокого, настоящего, делового, полезного государству и людям, бескорыстного такого, решительного, партийного, а главное — чистого... выпить еще, одним словом, хочется, а потом уже по эскалатору вниз, на второстепенную работенку — писать красной краской на ракетах зловеший лозунг «Смерть капитализму».

И вот, только мы в порядок привели себя после вечерней маскировки, смотрим: человек бежит к яблоневому саду от нашего дома. Босиком человек, хоть инеем за ночь прихватило осеннюю травку, в кальсонах голубых и сиреневой майке. Участковый. Кое-кто думал рвануть когти подальше от штрафа, но я команду:

— Цыц! Участковый в кальсонах на маскировку работает. Беды не будет. Оставаться на местах! Четвертинку притырить!

Подбегает, зверюга, запыхавшись. Рыло фиолетовое, вот-вот задохнется. Знаю я такие лица. Они от смертельного сужения сосудов бывают. Многолетнего, разумеется. Тут ты, братец, прав.

— Братцы! — хрипит умоляюще. — Братцы! Спасите! Дома ни грамма!.. Помираю! Ей-богу, помираю! Хоть пи-ва дайте плоток, хоть одеколону... Спасите! Руки-ноги отнимаются! Можно и лосьончика!

На лбу участкового испарина. Дышит неровно. Подергивается весь. Глазенки бегают. Знакомая картина. Жалко человека бывает в таком состоянии. Беспомощен он и болен, и вся его случайная жизнь зависит в такие минуты от наперстка вшивого водки или от полстакана любой советской бормотухи.

— Век не забуду, братцы! Налейте! Дышать трудно! Грудь спирает! Виски горят!

— Нету, — говорю жестокую ложь. — Сами девятый хуй без соли доедаем! Запасать надо. Ты из магазинов,

стерва, сумками волокешь, а у нас, маскировщиков, стреляешь. Где нажрался-то, борец с алкоголизмом?

— Праздник был, — отвечает, — у меня. Пистолет я потерял в понедельник. Все, уж думал — конец. В петлю лезть собирался. Пенсия моя накрывалась, а быть может, и свобода. Нашелся он, братцы, нашелся. Я его на складе, когда заведующую улюлюкал, выронил. Нашелся. Ну и загулял. Спасите!

— Как же ты его выронил? Вниз головой, что ли, стоял? — спрашивает Тетерин. Он любил как инженер-изобретатель до сути вещей докапываться.

— Не помню. Сонька такое иногда выделяет, что башка, как после карусели, кружится... Дайте глоток! Помираю... Костер горит. Значит, грели портвешок.

Нет, думаю, не получишь ты, паскуда, глотка. Не получишь! Не ты ли костры наши раскидывал, не ты ли штрафы присылал за распитие спиртного в неположенных местах? А? А кто отлавливал нас как бешеных собак и волок в вытрезвилку? Ты, гадина! А главное — ты вредитель и, возможно, шпион, срывающий маскировочную задачу нашей партии. Ты себя над нею поставил!

— Да, — говорю вслух, — ты поставил себя над партией и неспроста по ночам лаешь и воешь. Нету у нас для тебя ни глотка. Иди продай пистолет и на вырученные деньги опохмелись.

Синеть начал тут наш участковый, а кончики пальцев белеют и не шевелятся. Перетрухнул я тут, но и водяру на змея переводить жалко.

— Подожди, — говорю Тетерину. — Не отливай в кусты. Давай лей сюда, в стакан.

Я это, конечно, тихо сказал, чтобы участковый не слышал. А может, у него тогда с похмелья уши были предсмертной глухотой заложены. Расстегнул Тетерин штаны и налил мне целый стакан до краев первой после ночи мочи. У него так от пьяни сужались сосуды, что он, извини, братец, отлить иногда не мог без опохмелки.

— Пей, — говорю участковому, — пока горячая. Градусов в ней двенадцать есть точно.

Веришь, генерал, залпом околотошный наш стаканчик вымахал, ни капли не расплескал, только ахнул, ло-

пушок сорвал и занюхал да слезу прощания с жизнью со щеки смахнул.

— Ох, хорошо! Век не забуду! Оживаю, братцы.

— Вкусно? — спрашиваю.

— Солоновато и клопами пахнет. Но поправился.

— Это вчера пиво с коньяком Тетерин перемешал.

Еще хочешь?

— Не мешало бы. Я деньги могу принести. На халяву пить не собираюсь.

— Неси. Нам к одиннадцати пригодятся.

Принес, одетый уже в форму, однако, пять рублей. А Тетерин за все его гадости и подлости ему между тем еще стакашок отлил. Вернулся же участковый совсем пьяненький и веселый. Поет: «Люблю, друзья, я Ленинские горы. Там хорошо рассвет встречать вдвоем...» Закусона принес: колбасы, лука, помидор, пирожков каких-то и холодную кость из супа, всю в мясе и аппетитных хрящах. Одним махом второй стакашок врезал тетеринской мочи и за любимую свою тему взялся: за Олимпийские игры и алкоголизм с хулиганством.

Вот зря, генерал ты мой военный, не верили, что мочой опохмелиться можно. Это не означает, что нужно. Я лично один раз спас так жизнь одному своему маскировщику Кожинovu. Кончался человек прямо у нас на глазах. Чуем, не дотянет до одиннадцати часов, не дотянет. Минут сорок до открытия рыгальки-автомата оставалось. А он улегся прямо на Ленинском проспекте и кончается. Язык синий вывалил, глаза скосил, посерел, еле дышит. Тетерин и зарассуждал теоретически, как всегда, что не может в нас не быть остаточного алкоголя в крови и в моче, если мы с утра под тяжелой балдой ходим. Должен иметься алкоголь. И хотя он разбавлен в нас различными безалкогольными напитками, типа воды, все равно можно его использовать в крайних случаях. И сейчас как раз выпал такой случай. Спасти надо Кожинovu. Вон он хрипеть уже начал. Стаканы, между прочим, всегда у нас с собой имеются. Поднесли Кожинovu полный. Пену, как и положено, сдули. Жакнул он его, дергаться перестал и минут через пять зачирикал: ожил совсем. А что пил, так и не разобрался.

Но вернемся к участковому. Разобрало его, и понес он всякую бодягу про подготовку к Олимпийским играм.

Мы, говорит, указ секретный получили: вырвать с корнем из Старопорохова к восьмидесятому году язву алкоголизма, хулиганства, блядства, фарцовки, валютки и прочее. Гости, говорит, иностранные — а их полмиллиона собирается нахлынуть, чтобы поглумиться над нашими порядками, — должны увидеть на каждом шагу безусловное стремление к коммунизму и идеологической добросовестности. В дни Олимпийских игр всем не выселенным из города гражданам будет предложено, вернее приказано, прилично одеваться, лучше питаться, читать с особым выражением на лице книги товарища Брежнева в метро, трамваях, в автобусах и троллейбусах, а также на ходу. Можно при этом пускать слезу. Хохотать запрещено, потому что ничего смешного в великой трилогии писателя Брежнева нет. Запрещено также образовывать очереди у продовольственных и промтоварных магазинов. Очередь больше пятнадцати рыл одновременно будет рассматриваться как злоумышленная группа лиц и подвергаться рассеянию и штрафу. Граждане, тайком пробирающиеся во время Олимпийских игр в город с периферии для снабжения своих семей мясом, маслом и рыбой, должны быть немедленно сняты с транспортных средств и этапированы к месту жительства. Прописка в городе Москве и его радиусах со вчерашнего дня разрешается только новорожденным гражданам от родителей, имеющих постоянную прописку в городе Москве и его радиусах. Остальные, включая командировочных, временно обязаны считать себя персонами нон-грата. А вы, говорит участковый, пьяницы, и есть таковые персоны. Для борьбы с вами, говорит, уже обучаются тысячи юношей и девушек, и все они в дни Олимпийских игр выйдут на улицы нашего великого города, чтобы следить за контактами гнилых интеллигентов и прочих тухлых граждан со спортсменами, чтобы пресекать наши попытки сдавать пустую посуду многочисленным интуристам из многих стран мира, чтобы помогать большим друзьям Советского Союза, типа Анджели Дэвис, не обращать внимания на теневые моменты действительности, чтобы мгновенно собирать разбрасываемые агентами НТС листовки, брошюры, Библии, произведения Ахматовой, Булгакова, Сахарова, Григоренко и прочих антисоветчиков. Основное внима-

ние будет уделено недопущению на территорию СССР ни строки матерого врага, купившего в Америке старинную крепость с охраной и мечущего оттуда злобные выпады в адрес своей сверхдержавной родины... Вот так, говорит, дело у нас поставлено, чтобы засекать все контакты советских, вернее антисоветских, граждан с интуристами. Не секрет, что большая их часть уже не дремлет и будет заброшена сюда по путевкам ЦРУ. А уж потом по снимкам все эти вражеские рожи получают по заслугам и встанут на учет куда следует. В общем, говорит участковый, советую вам уйти, пока не поздно, в глухую завязку и развязать сразу же после Олимпийских игр. И не бухтеть на каждом шагу, что цены на рынках не по карману рабочему классу, что продуктов все меньше и меньше, даже в Старопохове, и прочую антисоветчину и клевету. Есть у нас в стране продукты! Есть! Но мы их копим к Олимпийским играм и посему не выбрасываем на прилавки провинции и даже столиц союзных республик. Вы же, говорит, антилопы, не представляете, сколько жрут спортсмены и интуристы во время Олимпийских игр! Много жрут. Если, например, для завоевания бронзовой медали в прыжке в длину спортсмену требуется за неделю съесть два кило мяса, то для получения золотой медали в тройном прыжке необходимо хорошо усвоить, соответственно, шесть килограммов мяса. А если подсчитать, сколько на Олимпиаде будет представлено видов спорта и сколько будет разыграно комплектов медалей между представителями соцлага и каплага, то выйдет стадо в десятки тысяч голов скота. О курицах, гусях, утках и прочих деликатесах лучше не говорить. Так ведь если сейчас вот, сегодня, весь советский народ накинется на всю эту живность, ежедневно прибавляющую в весе, — то что же останется к началу Олимпийских игр? Консервы «Завтрак туриста» останутся с перловкой в ржавом томите, и больше ничего. Но они же на нашего туриста рассчитаны, эти немислимые завтраки, — а как быть с интуристом? Чем его кормить? Он ведь задание получит от ЦРУ: жрать, жрать и еще раз жрать, чтобы создать продовольственный дефицит в столовых и ресторанах. Он — интурист — позора нашего жаждет. Но мы ему скажем: жри, дорогой, жри хоть до заворота кишок. Мало тебе одного эскалопа или же цыплен-

ка табака — еще получай. Лети в пике, как говорится, за добавкой. Лопай! Мы, может, лет пять на жратве экономили, многие города забыли уже запах колбасы и вкус сливочного масла, но тебя-то мы накормим от пуза! Ха-вай! Нас ты за две недели не обхавашь, даже если после первого, второго и компота из сухофруктов пойдешь поставишь клизму себе шпионскую и снова за стол усядешься. Вот что наша партия скажет господам интуристам! Просчитались, скажет она, господа! Аппетит ваш обречен на провал! Поэтому, внушает участковый, не бухтите по подъездам и когда портвейн жрете, что хуже, чем сейчас, не было положения с продуктами в нашей стране. Не забывайте о полчищах интуристов, готовящихся к налету на наши столовки, кафе и другие точки нарпита.

Тут Тетерин вмешивается и отвечает, что он сию минуту изобрел новые консервы «Завтрак интуриста» и посвящает свое изобретение Олимпийским играм. В банки надо набить черной и красной икры, а сверху положить пластмассовый плакатик «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!». Таким образом наша партия убьет сразу двух зайцев: накормит интуристов завтраком и настроение им на целый день испортит.

— Спившаяся ты персона, Тетерин, — говорит участковый, а я ему бесстрашно заявляю:

— Что же ты, околотошный, — опохмелился и обнаглел? Ты сам и есть настоящая персона, потому что мысли твои идут вразрез с генеральной линией маскировки. Ты, — говорю, — понимаешь, дубина, основную идею Олимпийских игр? Не спортивную идею, а секретную, политическую?

— Ну?

— Налей ему еще, Тетерин, если тебе захотелось, — говорю, — но только в кусты не иди, чтобы баба из окна не увидела.

Участковый от второго тетеринского стакашка мочи совсем захмелел. Поэтому и растрекался так. А после того как еще полстакана, ничего не подозревая, врезал, совсем распетушился и как забазлает на меня:

— Я тебе покажу, псих, секретную задачу! Я тебя быстро под уколы сдам! Поваляешься в Белых Столбах, поло-

мают тебе ребра санитары, пожуюшь рукав серенького халата, язык себе откусишь за такие свои слова! Понял?

— Я-то, — говорю, — понял все, чего достиг, а ты, болван, по ночам воешь и лаешь, в наморднике спишь, чтобы бабу не кусать, и пистолеты казенные роняешь при совокуплении с завскладом прямо на мешках и на ящиках, потому что ты оружие за пазухой держишь, в кобуре же носишь спирт! Пасеешься там, где копятя к Олимпийским играм продукты, сука, для народа, а главного не видишь и не слышишь! Ты приложи свое поросячье ухо к земле, — говорю, — приложи! — Пригнул я участкового к земле. — Слышишь? Там уже подземные работы ведутся. Здесь вот, на месте нашего яблоневого сада, стадион вот-вот начнут строить, а под ним знаешь что расположат, олень пьяный? Под ним центральную Красную площадь строят с Кремлем, Лобным местом, Мавзолеем и со всеми делами. Мы-то если шарахнем по врагу водородками, то сметем его с лица земли, а уж он тоже, конечно, сметет нас. Но с лица подземелья нас не снесешь. Не снесешь. Нету такой еще у ЦРУ силы... Так что, вполне возможно, придется нам всем встретить первый день коммунизма под землей. Скучновато, я думаю, будет жизнь проживать внутри, но, с другой стороны, пора и честь знать: пожили снаружи — и хватит. И так черт знает чего натворили мы, люди, на поверхности. Зверя почти извели, луга вытравили, воду в реках замутили, леса вырубили и изгадили, воздух провоняли, как в сортирах и казармах. Хватит.. Но ты-то, выходит, не понимаешь нашей маскировочной задачи. Ты не понимаешь, что мы отвлекаем вместе со всем советским народом и Олимпийскими играми внимание Пентагона настырного от того, что происходит под землей. А мясо и тресковое филе запасаются не для интуриста вражеского на время спортивной эпопеи, почему и нету ни хрена в магазинах, а для светлого будущего. Там, под землей, зажгем мы однажды свет, вентиляторы включим, чтоб воздух снаружи гнали, сядем за длинные столы, нальем в стаканы чистойей «Особой московской», хлопбыстнем и закусим сначала рыбкой, жаренной в сухарях, с пюре из молодой картошки, а потом, после второго стакана, за отбивную баранью котлету примемся...



Ну, обнимемся, разумеется, и запоем «и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить!». А Леонид Ильич запевать будет «но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать». И это уже коммунизм полный, а не хрен собачий. Ты не вставай, — говорю, — с земли, слушай. Великая под тобой стройка идет рядом с ракетно-ядерными цехами. Великая. И ЦРУ с Пентагоном, ФБР и НТС даже представить себе не могут ее небывалого размаха. Приезжайте, дорогие господа, поднимайте свои штанги, прыгайте с шестом и без шеста, мячики через сетку перекидывайте, кувыркайтесь, плавайте, бегайте, как оглоушенные пыльными мешками, тыкайте друг друга саблями и рапирами, а мы под вами будем продолжать свое светлое будущее наяривать и погибель для вас производить. Вот как, участковая твоя рожа, понимать надо все, что по радио говорят, по телеку показывают и в газетах пишут. И не мы, маскировщики, на переднем гибнущем крае всенародной маскировки, враги партии и правительства, а ты! Почему спрашиваешь? А потому, что если ты пистолет потерял, когда завскладиху нажаривал, форму с портупеей не сняв даже, то что ты потеряешь, когда враг ракетами по нам врежет? Все потеряешь: ум, честь и совесть нашей эпохи, не говоря о фуражке с кокардой. А теперь будь здоров и не кашляй. Нам на работу пора. Я сегодня на вахту встаю в честь выборов в местные Советы и обязуюсь протереть постным маслом десять ракет вместо трех и пересыпать уран-238 из шести старых бомб в одну новую. А завтра все мы выйдем с похмелюги на субботник и будем строить под беговой олимпийской дорожкой новую психушку с закрытой тюрьмой, а также книжный крематорий, где партия решила сжигать в огромных количествах антисоветскую и религиозную пропаганду. — Вот такая беседа была у меня с проклятым участковым.

## 13

В тот же день, когда мы костер над ракетой стратегической разжигали, прибегаю я к памятнику Дзержинскому, становлюсь на карачки и стучу бутылкой «Зубровки» по асфальту, чтобы Славка меня услышал. Оттуда, из-

под земли, тоже: «тук-тук... тук-тук...» Там тюрьма подземная, и прямо к ней метро подвели для маскировки. Перевозка же заключенных по земле сейчас, после Хельсинки, строго запрещена. «Славка! — зову. — Славка! Я вот-вот пить брошу! Меня из партии погнали по пизде мешалкой! Мы с мамкой тебе филе принесли с картошечкой жареной и с огурчиком! Славка!»

Больше я ничего не помню, и только не надо мне, братец, мозги парить, что никакой ты не генерал-лейтенант и вовсе мне не брат родной, а лечащий врач. Ты говно в таком случае, и я с тобой разговаривать не желаю. Если же ты действительно тот, за кого себя выдаешь, то пропиши мне микстуру. Я сплю плохо, и в мозгу моем голос Левитана дребезжит: «От Ленина до ануса пострадавшего — восемь, от Маркса-Энгельса — десять, до проезжей части — сорок!» Он мне покоя не дает. Заглуши его, как «Свободу»... Ты гляди! Замолк! А может, это Левитан умер? Он же старый. Или же умер он давно, но перед смертью вытянули из него на Лубянке все важные сообщения вплоть до 1991 года и на пленку записали. Не утаил, паразитина!.. Итак, выходит, я в психушке? Чудесно. Чудесно. И еще раз чудесно с маслом! Раз никакой маскировки не существует, раз она плод... повтори, пожалуйста... плод моего большого воображения, значит, в фургонах «Мясо» и «Ешьте тресковое филе» не возят водородные бомбы? Но что тогда в них возят, если мяса нету в десяти километрах от Москвы, а филе в самой Москве днем с огнем не сыщешь? Что в них возят? Где логика? Молчишь? Правильно. Дуська моя говорит: «Хватит, Федя, маскироваться, человеком становиться пора, не читай ты газет, не ходи на собрания, плюнь на радио и телевизор. Изолгались они, Федя, с ума посходили, бздят на нас горохом, а где была правда, там хуй вырос! Нам же, бабам, видней, чем вождям, что с вами, с нашими проклятыми мужиками, происходит. И прете вы за старыми козлами прямиком на мясокомбинат!»

Между прочим, доктор-генерал, фельдшер-маршал-лейтенант, брат-санитар, это хорошо, что мы с тобой не родные. Очень хорошо! Я тебе всю правду скажу! Брательник мой двоюродный, тоже Федя, в Туле умер от заворота кишок.

Дают Туле «город-герой». А жрать герою не хера. На полках скумбрия, ставрида, рассольник, колбасный сыр и прочие консервы. Изжога от них у пролетариата тульского. Пряники же приелись до глистов и диабета. Винище, однако, рекой льется, как везде. Тут слух прошел, что Леня должен приехать. Что делать? Набить же надо пузо народу, чтобы он на митинге тихо стоял, газы пушал, отрыгивал и не вякал вопросы провокационные. Дернули на политбюро Микояна. Он при Сталине был главный советник по голоду и питанию населения. «Говори, Анастас, — как быть? Как моментально Тулу накормить?» Думал Микоян, думал и наконец честь отдал. «Додумался, — докладывает. — В Москве резервов говядины нет, баранина из Новой Зеландии задержана в Индийском океане тайфуном «Бетси», свинина очень жирная, и тоже ее мало. Предлагаю совершить исторический рейд Особой отдельной кавалерийской дивизии по маршруту Москва — Тула под девизом «Герой — городу». По прибытии дивизии на тульский мясокомбинат моего имени немедленно начать убой, разделку туш и производство вареных колбас сортов «Отдельная» и «Особая», которые уже завтра можно выбросить населению! Кавалеристов же после сдачи шпор, сабель и штандартов переобуть в оперативные работники по охране Леонида Ильича и членов бюро обкома!» Дали Микояну медаль «За освобождение Тулы». И зацокала дивизия лошадушек по шоссе на рысях на большие дела. Все так и сделали, как велел Микоян. Слышат алкаши тульские ночью: кони ржут, словно режут их. Повскакали с кроватей, с мостовых, с газонов, с нар, думают, что горячка белая начинается. А утречком бабы ихние протерли глаза, ибо не верится, что вчера еще голым-голо было в колбасных отделах, там «спортлото» продавали, нынче же лежат колбасины красно-лилового цвета и пахнут вполне натурально. «Отдельная» — 2.20 кг, «Особая» — 2.90. Разобрали ее мигом, как эшелон с дровами в холодный год. Тут Брежнев прибыл. Выпили все. Закусили. Колбасы наелись, сто семнадцать туляков загнулись от заворота кишок. И мне не легче, что директора мясокомбината перевели в фирму «Заря» за то, что он приказал заложить в фарш побольше крахмала, что-

бы всем колбасы хватило. А митинг был. Я его по телеку видел. Стоят туляки, ушами хлопают, переваривают Особую отдельную кавалерийскую дивизию вместе с речью Леонида Ильича Брежнева. Все он тогда сказал. И про невиданные успехи, и про неслыханный трудовой подъем, и про яркие вехи, и про всенародный бой за качество продукции, и про Ближний Восток, и про Анголу — про все. Не заикнулся только о героических трудностях снабжения населения продуктами первой необходимости. «Да здравствует советское метро — самое красивое в мире», — сказал напоследок и слинял. Кавалеристов же в стройбат отдали строить музей «Тульского пряника». Вот какие самовары! И не надо меня, Федора Милашкина, пугать да стращать. Мы и так пуганые и застрахованные. На гипноз же меня не назначай. Хватит! Шестидесят лет нас гипнотизируете, нам и кажется, идиотам, что шагаем мы вперед к коммунизму, что сложился из нас человек нового типа и что все советское означает отличное. Хватит. Если я завязал, перенесши тяжелейшую белую горячку, если я героически пить бросил и жду не дождусь, когда лягу спать на свежую простынку рядом с женой Дуськой, то мне ни гипнозы твои бесплатные, ни калики-моргалики не нужны. Аминизин, пердомуразол, политбюронал ты сам хавай. Язык же мне никто не укоротит. Он не штанина. И насчет того, есть бомбовые заводы у нас под землей или нет, я сам разберусь. Поеду в деревню, колодец вырою и погляжу. На твой вопрос относительно тяжелой умственной наследственности у моего сына Славки отвечаю отрицательно. Я лично, до того как пить начал, был токарем восьмого разряда. Дуська моя — шеф-повар рабочей столовой. Если бы она по Биби-си рассказала, чем кормит партия народ, при том что народ откормил партию как индюшку, то много было бы шума, много. Ты меня, крокодил, можешь сажать куда хочешь. Все равно я поеду в Хельсинки получать премию за то, что я, бывший алкоголик Федька, отстаиваю право человека получать за свой титанический труд впервые в истории мясо, масло, молоко, овощи и фрукты на столбовой дорожке человечества. Маскироваться больше не желаю и другим не велю. Мы теперь с бывшим отцом водородной бомбы будем работать на пару. Он пускай качает

с политбюро права насчет свободы слова, психушек, интуризма и так далее, а я займусь остальной жизнью. Столовыми, гастрономами, промтоварами, вредительством в вино-водочной промышленности, пидарасами длинноволосыми — всего не перечесть. Работы непочатый край. Делать мне все равно будет не хера на второй группе по мании преследования. Вот я и займусь вопросом обмана, унижения и издевательства над человеком в сфере бытового обслуживания. Затем обобщу все это дело и пошлю в «Правду» передовую: «Советская власть плюс электрификация — нам до лампочки!» Пусть попробуют не напечатать! Да! Я — инакомыслящий! Я не мыслю себе такого положения, при котором для Подгорного водку выпускают очищенную, а для меня — сивушную, от которой мою голову... Молчу. Ой, молчу! Не надо звать санитаров! Молчу! Но я скажу еще всего лишь одно слово. Люди! Не грейте на костре портвейн! Люди! Ешьте тресковое филе! Оно вкусно и питательно! Долой «Солнцедар»! Ша-а-ай-бу!



# Блошиное танго

Повесть из книги «ПУПОПРИПУПО»  
(пункт по приему пустой посуды)

*Памяти благородной и добрейшей машинистки  
Тани Павловой, удавившейся недавно в Москве от  
тоски одиночества и окончательной безысходности*

О т издателя

Человека этого я не раз встречал в различных пусто-посудных и, естественно, винно-водочных очередях.

Не сказал бы, что личность его могла привлечь ваше внимание какими-либо необыкновенными чертами или странностями поведения. Тихий обыватель, каких много. Отнести его можно к породе людей смиренно спившихся, находящих горчайшее удовольствие в своем продолжающемся падении на дно жизни.

Только теперь, задним — как это всегда бывает — числом, вспоминаю я, что лицо Сергея Ивановича — лицо, повторяю, стоически смиренное — напоминало вдруг морду умной, чуткой, тонко сопоставляющей учужное, но прижившейся к своей душеразрывающей жалкости собаки.

Есть среди представителей собачьей породы — как среди бездомных, никем не пригретых бродячих псов, так и среди вполне обеспеченных и обожаемых счастливых — эдакие непризнанные гении. Дар псов бездомных забит самой жизнью: поисками объедков, спасительной — в жару — тени, согревающего — в холоду — прибежища. Им и в голову не придет попытаться как-либо внушить случайному человеку, что чутье их может творить чудеса прикладного для человеческой жизни характера, что нынче оказались они волею судьбы в крайне отчаянном положении, что готовы за миску зачуханной шелюмки и гарантированную защиту от живодеров продемонстрировать свое ошеломительное искусство *находить, различать и учуивать*. И происходит это потому, что равнодушные толпы людей

и неотступное преследование вездесущими стихиями забивают собачье достоинство, то есть личный природный дар. Забивают унынием оставленности и тоской потерянности. Вполне возможно, что большинство людей равнодушны к судьбе бездомных псов по причине равнодушного отношения к самим себе, происходящего, в свою очередь, тоже от забитого в них чувства достоинства.

С некоторыми вполне обеспеченными собаками дело обстоит несколько иначе, потому что дар их начисто заглушается не отчаянной и жалкой борьбой за ежедневное существование, а как раз нахождением на полном довольствии в доме хозяев, равнодушных к судьбе собственного, забитого жизнью дара и относящихся к искренне любимым домашним животным как к самим себе. То есть, полагая, что единственной целью жизни является — пропитание, нахождение под своей крышей, благодарное приятие и ответное возвращение ласки ближним.

И если вид пса, явно одаренного от рождения, но нынче опустившегося, бездомного и голодного, пробуждает в сердце вашем возвышенную тоску и жалость, в уме — мысль о трагичности бытия, так или иначе распространенной на все живое, а может, даже на нечувствительную часть Творения, то вид псов, развращенных собственным и хозяйским сытым самодовольством, поневоле заставляет вас ощутить — каким бы парадоксальным ни казалось это ощущение, — что трагическое — благородно, а отстраненность от него — временами не только страшна, но и отвратительна.

Тут вполне можно было бы пофилософствовать о некоторых спецслужбах, на которых человек использует способных собак, разом извращая и их дар, и собственную свою природу, и облик нашей цивилизации. Но я, как издатель, всего лишь предваряющий печальную исповедь случайного своего знакомого, порядком отвлекся от него самого.

Так вот — задним числом вспоминая, — лицо Сергея Ивановича неведомо почему принимало вдруг выражение учуявшей что-то преотвратное собаки. Он даже отступал из очереди в сторонку, словно пес, которому

злые дети или садисты взрослые ради злодейской шуточки подсунули под нос кость, вымазанную мазутом. Не знаю уж, фокусы ли это обдумывания явления задним числом, но казалось мне, что уши Сергея Ивановича — тогда я не знал еще ни имени его, ни отчества — настороженно от чего-то отмахиваются, на лбу собираются морщины, а брови приходят в благородно-нервное движение от работы какой-то неведомой мысли — как это случается наблюдать на мордах неглупых собак, выведенных вдруг из блаженной и привычной дремы каким-либо обстоятельством внешней жизни или внутреннего раздумья.

Однажды мне даже показалось, что он, раздраженный живоглотностью приемщицы, садистично придиравшейся к каждому бутылочному горлышку в поисках «нестандартной щербатости», просто-таки зарычал и залаял, негодуя, срывающимся голосом.

Затем бросил место в очереди, вежливо попросив меня присмотреть за его двумя авоськами. Возвратился с маленьким чемоданом в руках и двумя шлангами, накинутыми на шею вроде шарфа. Втайне от приемщицы сказал всем присутствующим, что сейчас он ей — гниде — заделает «козу». Попросил собрать все непринятые из-за якобы щербатинки в горлах бутылки и вынести их на улицу. На улице, за ящиками, зажег газовую горелочку — баллон с газом находился в его чемодане — и с необычайной скоростью оплавил действительно щербатые — следствие нетерпеливо вскрытой бутылки с заветной влагой — горлышки. Он также привел в порядок бутылки, зловредно подозревавшиеся приемщицей в «нестандартной щербатости».

Таким образом мы сдали ей добрую сотню валявшихся в стороне бутылок и устроили в заброшенном яблоневом саду коллективную пьянку.

Не могу не сказать тут о том, с какой мстительной радостью и восторгом всех душевных сил наблюдали стоящие в очереди за мастерским облапошиванием приемщицы. Можно было подумать, что наконец-то, после долгих лет безнадежного ожидания, строгая, но справедливая судьба милостиво удовлетворила всенародную страсть протеста не против мизерного своего-



лия какой-то жалкой замухрятины-приемщицы, а против самого несменяемого, зажавшегося, тупого и неприступного в своей тупости правительства. Что говорить, приятно безнаказанно врезать всесильной власти по беспредельно возгордившейся сопатке, даже если подобная врезка — что жужжание назойливого комара возле уха глухого инвалида!..

Вот во время той самой пьянки в яблонево́м саду Сергей Иванович некоторое время откровенно приглядывался ко мне, словно обнюхивал, затем отвел в сторонку и спросил, правда ли, что я «писатель с профессиональным уклоном»? Я ответил, что пописываю временами, но чаще каким-то образом, чем печатаюсь, сдаю посуду и сижу на больничном Литфонда. «Не уходите. Я сейчас вернусь», — сказал он. Через полчаса возвратился и вручил мне пару толстых общих тетрадей. «Доверяю вам безоглядно, но с уверенностью. Через месяц делайте с этой пробой пера все что вздумаете. Если можете, передайте *туда*. Там много разной хреновины печатают...» «Извините, — говорю, — но вы-то... то есть с вами-то что и так далее?» — «Ни то ни другое. *Закрывают*. Прочитаете вот это... поймете. Мы с женой ждем закрытия со дня на день... Поддадим, что ли, в гуще всенародной жизни и простимся до встречи, как говорится, в братской могиле... поддадим с ужасом и весельем!» — «Не опрометчиво ли вы поступаете? — спросил я. — Найти вас после публикации рукописи там будет проще простого. Сами понимаете...» Он вежливо, но не без досады остановил мои здравые разглагольствования: «Неужели вы думаете, что листья грустно не опадали?.. Опадали, смею вас заверить, а последних астр печаль хрустальная жила... Не удивляйтесь странному моему бесстрашию. Я слишком им нужен. Уничтожить меня после выхода моих откровенностей покажется делом весьма непрактичным. Кроме всего прочего, такая жизнь потеряла для меня с некоторых пор всякую ценность, но шанс на достойную смерть я еще, кажется, имею. Вот тогда они закроют меня по-настоящему... Жаль, конечно... очень жаль, что *закрывают*... До конца моих дней опаивал бы я на пользу людям щербатые горлышки их пустых сосудов... стоял бы себе, как все вы

стоите, в безмолвной очереди к естественной кончине и даже перестал бы вскоре удивляться тому, как они превращают яростную прелесть жизни в унижительнейшее *блошиное танго*... поддадим, повторяю, с ужасом и весельем...

Поддать как следует мы, правда, не успели, потому что в силу «новых веяний» и в соответствии с мерами правительства по борьбе с алкоголизмом развеяны были враждебными вихрями милиции и дружинников. Сергей Иванович, можно сказать, на плечах вынес меня «из боя» — я мерзко окосел — вместе со своими общими тетрадами. У моего дома мы простились и больше никогда не встречались.

На следующее утро, даже не опохмелившись, я взялся за рукопись Сергея Ивановича. Она произвела на меня сильное и странное впечатление. Странное, потому что некоторые моменты искреннейшего повествования показались мне слишком уж неправдоподобными. Все восставало во мне против ряда вызывающих гротесков. Обидно было, что художественный дар Автора не побрезговал снизойти до того, что на языке обывателя и власти вполне может быть названо клеветой. Даже мне — спившемуся литератору, не питавшему никаких иллюзий насчет бескрайне подлой природы советской власти, — трудно было поверить, что в сверхсекретном НИИ ставятся бесчеловечные опыты на военнопленных афганцах. Захотелось — захотелось страстно — разыскать Автора и возопить о предоставлении доказательств фактов вивисекции.

Искусство, хотелось мне сказать ему по-корешам, искусством, но ведь и совесть надо знать, Сергей Иванович, даже при обличении такого не виданного в истории вселенского, адского монстра, каким несомненно является наша сонька. Мало ли что имеется у нее в потенции чудовищного, чему не дай бог стать когда-либо беззастенчиво явленным... Стоит ли вызывать даже малую часть всего этого к жизни, пусть ясновидящим, воображением и внедрять, так сказать, идею, чье действие напоминает чем-то механизм действия лукавого вируса, в доверчивые «клетки» реальности? Ведь сонька порождена к жизни именно идеями, и исключи-

тельно ими вскормлена. Сожрав *идеи* и переварив их, питается она в настоящее время многообразными экскрементами всего этого своего «идеального», внушив каким-то мистическим образом заграничным образованным и темным людям, что дерьмо ее — свежий, с грядочки, огурчик-помидорчик, а мутно-кровавая моча — чистейшая свежая вода... Мало ли чего, Сергей Иванович, можем мы подналожить в сонькин огород, потревожив сонм ветхих чучел, особенно от ужаса, ненависти и с похмелья?.. Может, поостережемся подкармливать умонепостигаемого монстра всем сатирическим и жутковато-фантастическим, не только не удручающим его, но, наоборот, подвигающим к педантичному воспроизведению — на ужас всем нам — нами же накарканного? Не следует ли нам быть по отношению к соньке абсолютными реалистами, остерегающимися даже клеветы на нее как низшей формы воображения? Ведь ясно же с некоторых пор и сознанию, и душе, что ничего нет для соньки ужасней и уничтожительней, чем *реализм действительной жизни*, как говорил Достоевский. И не в том ли сущность художественной задачи истинного реалиста, Сергей Иваныч, чтобы не в жизни внушать наличие ее на Земле, в небесах и на море — она в этом нисколько не нуждается, — но чтобы откровенно внушать всему омерзительному фантомному — даже не внушать, но предоставить убедиться, — что в бытийственном смысле *его нет? Нет, и точка!*

И не чудесно ли для нас — почти обезнадеженных существ — подобное отсечение всего мертвенного и дохлого, но вообразившего себя вечно живым, от гнущегося и шумящего под всеми звездными вихрями *древа жизни*?.. «Выпить... выпить... Необходимо выпить...» — подумалось тогда мне...

Не знаю, прав ли я был в том похмельном, мысленном разговоре с Сергеем Ивановичем. Не знаю также — существен ли он перед искренней и совестливой рукописью, прочитанной мною, и все ли в ней соответствует судьбе Автора. Но поступил я с нею согласно его распоряжениям. Вслед за этим и сам оказался на Западе.

Об остальном — судить Читателю.

Был день осенний, и листья грустно опадали...

Начну очерк моей жизни под вышеуказанным названием прямо с немыслимого и феноменального моего нюха.

С нюхом этим я родился и из-за него не раз бывал низринут ниже уровня уразумения. Нюх у меня действительно собачий. А в действенном сочетании с человеческим умом такой собачий нюх — чистая морока, проказа и источник лишних беспокойств. Иной раз приходилось забивать в обе ноздри парафиновые пробки, чтобы в гостях, скажем, или в театре, я уж не говорю о партсобраниях, избавить себя от острого реагжа на всякопахнущую природу отдельных человек и общей толпы людей. Не могу тут не отвлечься и не сказать, чтобы больше уж к этому моменту не возвращаться, что каждый из нас ежеминутно представляет собой своеобразный букет вполне приемлемых и вполне органических запахов, а также абсолютно не выразимых никаким поэтическим словом ужасных, гнусных, подкожных — адских, одним словом, запашков. Если уж душу нашу воротит всякий раз от разного рода мелких людских злодейств, — то представляете, каково унюхать запашок злодейства? Каково почуять смущенною ноздрею помышление злодейства? Каково воспитанно держаться в присутствии людей, изворотливо лгущих, внутренне проказничающих, глумящихся, завидующих, стервенеющих от бессильной страсти мщения, затаивших в душе злобу, подлянку, страсть к доносу, имеющих на совести черт знает что, причем в таком смердящем виде и в таком количестве, что если бы была у людей возможность прообонять, так сказать, все, к чему память наша привыкает прижизненно равнодушествовать, то люди, поверьте мне, не вынесли бы собственных миазмов. Не вынесли бы не из-за непримиримой со всеми смертными грехами и с отталкивающими безобразиями совестливости, а как раз из-за счастливой невозможности слабого, вернее ослабевшего, человеческого обоняния мужественно перешагнуть порог чувствительности и при этом не дать потрясенному мозгу обезуметь от невыносимого омерзения.

Можете считать меня безумцем, замечательно и во всех деталях разработавшим свою параноическую идею. Не привыкать. Я утверждаю, суммируя свой опыт и наблюдения, что каждый грех — помышленный и совершенный — пахнет по-своему. У греха помышленного запахок, разумеется, менее острый и похабен, чем у совершенного, но, по понятным причинам, более стойкий. Не могу также не сказать пару добрых слов о вечно обнадеживающем моментике существенного ослабления истинно неприличной вони совершенного греха в человеке раскисающемся. Публичное же покаяние — с русским нашенским надрывчиком и обильной слезоточивостью — зачастую, хотя, к сожалению, временно, замечательно дезодорирует просмердевшую личность...

А знаете ли вы, какой именно тип человека источает из всех пор своего существа самую дурнопереносимую и лукавую вонь? Тип человека, уверенного в собственной непогрешимости, несмотря на вопиющие об обратном изнутри и извне факты жизни...

Знаете ли вы также, как бессознательно порою, как страстно, как тоскливо, но с умопомрачительным долготерпением мечтают людские сообщества — от мелко-семейственных образований до авторитетных и внушительных наций — об очистительном историческом сквознячке или о решительном и грозном движении трепетных воскрылий ноздрей на величественной и озорной сопатке *ветра перемен*?

Мечты, к сожалению, чаще всего остаются мечтами, механически переходящими в разряд пенсионных грез. Толпы людей, то есть мы с вами, настолько привыкают к праздным грезам о *переменах* — хотя бы о минимальном улучшении правил приема пустой посуды от населения, — что перестают замечать смрадную вонь, стусившуюся донельзя в спертой атмосфере нашей не-лепой жизни...

Одним словом, когда мне ужасно надоедает мельтешение в башке противоречивых мыслей и заведомо скопленных идееечек, я начинаю мыслить носом. При этом, подобно псу с весьма средним интеллектуальным уровнем, логику всего происходящего вокруг и всего

воспринимаемого мною я не обмозговываю с умным видом, ни черта, заметьте, не понимая, но чую. Разумеется, со стороны кажется, что я реагирую на что-либо и на кого-либо или как-либо поступаю, соответствуя многочисленным сигналам мозга.

Кстати, мозг мой сослуживцы и ближние, включая супругу, считали и считают недоделанным. Конечно, они употребляли, беседуя о странных качествах моего мозга, другое скверное словцо. Запахов их не выношу. Не удивляйтесь, пожалуйста, отсутствию этих слов в моей речи. Достаточно того, что от смердины сквернословия некуда лично мне деться ни дома, ни на службе, ни в транспорте. Не могу не заметить, что вкупе с самым популярным в нашем народе глаголом источают словечки эти омертвляющее мою душу зловоние. Сравнить его не с чем, хотя сравнения, как вы понимаете, напрашиваются сами собой. Оставим эту тему...

Так вот, я работаю, вернее работал, в одном сверхсекретном НИИ, не имея, кстати, законченного высшего образования. Для меня было бы счастьем слушать лекции в общественной уборной, что напротив ГУМа, но не в советском вузе. Не вынес пару раз миазмов блевотины, подкисшей в бородах Маркса-Энгельса. Задыхался до многократных вызовов «скорой» прямо в институт от бездушного ленинского железа, растворенного в сталинском гное. На общих собраниях и на митингах, посвященных каким-нибудь очередным «руки-прочь-от-Анджелы-Девис-Анголы-Лумумбы-Кубы», начинал форменно безумствовать, словно наглотавшись грязного наркотика из лжи, демагогии, цинизма и лицедейства, настоящего на наших тупости, безразличии, рабстве и загнившем достоинстве. Забывшись, посматривал на стенд газеты «Правда», стоящий у дверей парткома института, — и меня начинало выворачивать. Скажу больше — при всей невыносимости для меня лично ужасного зловония сквернословия в нем все-таки имеется нечто органическое, пусть уродующее человеческие уста, но не покушающееся на природу живого, то есть как бы даже осознающее свою плебейскую ограниченность и вечно из-за этого подзаводящее себя на площадную разнузданность. Мат, скажу я вам, изначально

невиннее большевистской нашей печати, пластмассового ее грязноватого душка и пустодушной выбитости захарканной половицы-передовицы.

Вспоминаю все это к тому, что в пятьдесят шестом году был увезен прямо в дурдом с митинга, посвященного ликвидации Венгерского восстания. Спас меня от удушья, между прочим, сам докладчик, лектор горкома партии. Заметив, что я начал корчиться на своем месте, хрипеть и окончательно закатывать обезумевшие глаза, он с ходу прервал жуткую тираду о просчитавшихся венгерских контрреволюционерах... ставка на империалистические круги Запада... историю не повернуть вспять...

Прервав свою жуткую тираду, он бросился ко мне с трибуны, разложил на полу, в проходе между стульями, и без естественной безгливости ртом своим, изрыгавшим всего полминуты назад нечто тупо-вонючее, приник спасительно к моему изнемогающему от омерзения дышать и жить рту. Вместе с дыханием из меня вырвались, словно сгустки блевотины, эти самые слова, вернее, комки слов — «конррр... имперрр... венгеррр... антисс... террр... ник... гда... истор...».

Тот лектор был, конечно, не дурак. Он и вызвал не «скорую», а чумовоз. Меня препроводили в дурдом. Там я не распространялся о тонких странностях моего обоняния, хотя много чего мог бы порассказать психиатрам и санитарам о запашке ихнего заведения. Если выражаться точнее, то мог бы я порассказать о запашке отсутствия запашка. О сковывающем все твоё существо озябчике стерильного бездушия. О чем-то совершенно противоположном самой зачуханной, провинциальной, непротопленной баньке, с вьезшейся в щели склизкого полка́ волосней и ошметками грязной плоти. Все отдашь за не изгоняемую уже из пределов парной, за вдаряющую в ноздрю аммиаком, прокисшим березовым листиком и чем-то невыносимым, чем-то глубоко родственным, беспомощным и жалким, но разрывающим наготу нашу до легчайшей безликости, — все, повторяю, отдашь за лобызающуюся с тобой на пороге парной, словно несносный, гунявый пьянчужка, за волну истомленного жарка, за полное открытие вечно сму-

щенных обществом, а оттого и враждебно замкнутых пор бедной нашей кожи. Это дарует сиротливому существу советского человека праздничное чувство истечения общего пота и временное избавление от социальной жизни.

...Но чумовоз... палата психушки... прогулочный психодром... Это обезнадеживает абсолютно. Этого не сравнить даже с пожизненным заключением во Владимирской одиночке. Это — безжизненный предбанник ада... Там-то я и сообразил, что запашок — если позволительно называть запашком качество полной обездушенности — отсутствие запашка есть предбанничек поганого ада...

Вел я там себя печально и тихо. Дышал исключительно ртом, чтобы не раздражать чутких рецепторов слизистой оболочки своей феноменальной сопатки запашком со знаком «минус». Редактировал стенную газету дурдома, названную мною, с согласия главврача и секретаря парткома, «НЕ ДАЙ МНЕ СОЙТИ С УМА». Слово «Бог» администрация распорядилась выкинуть из замечательного пушкинского вопля. Правда, слово «Бог» возникало таинственным образом вновь и вновь. Сестры стирали его резинкой, замазывали мелом, который загоняют в желудок перед рентгеноскопией, но оно наутро вновь появлялось в близком моей душе вопле. Наконец после одной тщательной ночной слежки оказалось, что «Бог» — вы себе не представляете, какой это было для меня неожиданностью, — вписывал я. И делал это в истинно лунатическом состоянии, хотя действительно не намеревался, укладываясь в койку, встать посреди ночи и придать пушкинской строке вид целостный и гармоничный. Утром в столовой именно я искренне призывал всех больных и тех, кому садистически внушалось, что они больны, не раскачивать лодку и не давать коновалам повода прикрыть наш печатный форум. Даже тогда, когда в присутствии всего врачебного коллектива и в полной темноте мне показали захваты-вающие интересные кинокадры, снятые скрытой камерой, я отказывался верить, что странный тип — серолицый призрак в нелепых кальсонах, крадущийся мимо дрыхнувших пьяных санитаров по коридору, вынимаю-



щий затем из хитроумной заначки похищенный у лечащего врача чернильный карандаш, встающий на цыпочки, подрисовывающий, высунув язык, над заглавием газеты слово «Бог» и сигающий после всего этого в палату с осмысленно злорадной улыбкой на удовлетворенной физиономии, — есть мое второе «Я». Тем более после того, как меня начали привязывать на ночь к койке ремнями, «Бог» продолжал таинственно появляться в середине полубившейся всем дурдомовцам строки Пушкина. После этого газету запретили выпускать, но регулярно вывешивали на стене «Правду», пока кто-то не перечеркнул кровью, неизвестно откуда добытой, первую полосу и не замалевал ее из сердца идущей фразой: вы обросли ложью...

При выписке из дурдома я получил первую группу и был объявлен невменяемым, что расценил как чудесное преимущество над всеми гражданами, живущими на каждом шагу под прессом «Морального кодекса строителя коммунизма» и УПК РСФСР.

С институтом было, конечно, покончено раз и навсегда. Я получал ничтожную пенсию и не переставая утешал сам себя и убитую горем мать тем, что являюсь счастливым и относительно свободным человеком в зоне нашей страны, да к тому же не выходящим на общие работы.

Дома я занимался тончайшими биологическими экспериментами. Сам выдул всю стеклянную аппаратуру. Выпросил у приятелей, уже работавших в НИИ, разные реактивы, датчики, счетчики, самописцы и прочие приборы. Они же подарили мне отличные газовые горелки и всевозможный инструмент. Кроме опытов с растениями и бытовыми паразитами — тараканами, клопами и блохами — я занимался чистой халтурой. Я выплавлял из цветного стекла и выдувал сикающих водичкой, а то и одеколоном чертиков, Буратино, обезьянок и поросят. Сбывал эту продукцию в вагонах электричек. Меня арестовывали и отпускали как стебанутого. Но самым большим успехом у граждан в электричках пользовались, как это ни странно, замурованные мною в искусно расплавленном стекле — то же самое природа отчебучивает с кусочками янтаря — тараканы,

клопы и блохи. Непонятно, чем именно были столь притягательны для людей взрослых эти дотошные и неприятные паразиты, обретшие благодаря мне телесное бессмертие в обыкновенном бутылочном стекле. Может быть, оттого, что окружены они были светлыми бисеринками воздушных пузырьков, остающихся после ювелирной оплавки в стеклышках и как бы создающих иллюзию вечного дыхания мемориальных паразитов — иллюзию, имеющую какое-то отношение к терзающим любой человеческий ум размышлениям о посмертном существовании и, разумеется, к страстным попыткам узреть хоть приблизительный, но существенно обнадеживающий образ такового еще при жизни? Не знаю. Товар мой пользовался огромным успехом у пассажиров подмосковных электричек. Лицо человека, купившего, скажем, замурованного в голубоватый осколок четвертинки клопа и близко поднесшего его к глазам, — лицо это, минуту назад бывшее усталым, отупевшим, брюзливо недовольным окружающей действительностью и готовым хищно приняться к вагонной сваре, вдруг комично одухотворялось страстным интересом, явно выходящим за рамки, так сказать, пошлой покупки. Интерес этот слегка подсвечивался смутной улыбкой, говорившей о самозабвенном удивлении ума перед тем, что обычно исчезает с глаз долой после поимки и уничтожения, а тут вот, наоборот, — в нераздражительной форме завлекательно свидетельствует о чем-то более возвышенном, чем коварный, полночный укус в чуткое предплечье, привораживает чем-то ужасным и одновременно убажвающим, словно в детстве бабушкина сказка...

Я даже подумывал временами, что Мавзолей в Москве создан обезумевшим в те времена от ужасов общественной катастрофы государственным разумом с одной, совершенно инстинктивной, целью: создать временный центр всенародного отправления жажды хоть какого-нибудь образа бессмертия личности.

Если бы — позвольте заявить вам это со всей откровенностью — кусачего этого таракана не объявили вечно живым и не вправили бы его желтоватый трупик в хрустальный гроб да не выставили бы под охраной на

зрительную потребу миллионов новейших трупойдолопклонников, то неизвестно, что с этими любопытными миллионами стало бы.

Ведь после катастрофы Октября, гражданской войны и разрухи неминуемо грянула бы катастрофа духовная. Собственно, она и так грянула, но духовная жизнь огромной нации, точнее говоря, многих наций, составляющих, иногда не по своей воле, необозримую нашу Империю, далеко, знаете ли, не фабрика, не помещичья усадьба, не банковское учреждение и не свободный рынок — духовная жизнь нации продолжает трепыхаться, и трепыхание сие необходимо поддерживать различными суррогатами Веры, Надежды и Любви. Мы ведь церкви разрушили, священнослужителей пересажали, за Богопочитание клеймили, карали, били по рукам и ногам — как же в мрачную и безумную российскую пустыню было не подкинуть чего-нибудь такого бессмертного, как бы и потустороннего, но пребывающего на глазах обывателя в хоть сколько-нибудь доказательном и близком к натуральному виде? Вот и подкинули в самое сердце Империи хрустальный гроб с ужасно похожим на моих мемориальных клопов, тараканов и паучков незахороненным существом. Наделали с идола этого миллионы бумажных копий, а также гипсовых, гранитных, мраморных и бронзовых истуканов.

И вот точно так же, как в голодные времена способен человек поддержать свою телесную жизнь пожиранием кожаных изделий, так и во времена духовной подыхаловки и доходиловки не брезгует, бывает, человеческая душа наброситься с отчаяния и по внушению надзирателей — убийц нормальной народной жизни — на некий трупный, простите за выражение, консерв...

После вышибона из института я, если помните, подхалтуривал в электричках. Безделушки. Писающие чертики. Пульверизаторы пикантной, но законопослушной формы. Бессмертные насекомые в стеклянных мавзолеечках... И вот — отводит меня однажды в тамбур пожилой человек с профессорской внешностью. Он что-то говорит, а я не слышу, потому что оба моих уха заложены наглухо особой, сочиненной лично мной замазкой. Замазка предохраняла меня почти на

сто процентов от матерщины. Ноздри мои тоже заложены были мягкой ваткой. Атмосфера электричек, вокзалов и прочих мест нахождения смятенных человеческих тел доводила меня обычно до внезапных рыданий и сердечной боли нефизиологического происхождения... Он что-то говорит, а я не слышу. Выходим на остановке. Вынимаю из ушей замазку. Из ноздрей — ватку. Оживаю от дыхания пристанционных тополей, больничной горечи шпал, тоски древесного перрона и эвклидова одиночества холодных рельсов. Как сейчас все это помню...

Шеф Наук — так этот человек мне представился — взволнованно набросился на меня со справедливыми упреками. Вы, говорит, закапываете талант в вагонной скверне. Вы — без минуты Челлини... Вы делаете со стеклом примерно то же, что сильная власть — с человеком. Вы облагораживаете его, словно неотразимая женщина в нужном ей направлении... На коленях молю вас пожаловать в мою лабораторию... Обещаю выколачивать для вас не менее четырехсот ежемесячно... Гарантирую еще не меньше пятисот за выполнение частных заказов. Тысячонку в наши времена мало кто зарабатывает без риска кинуть свободу псу под хвост...

Чего мне было думать? Согласился. Все же в шатании по всяким людным местам да по электричкам было нечто подоночное. От жалкости такого занятия, особенно когда прихватывали менты, становился я постепенно юродивым. Наигрывал, конечно, психа и болтуна, но для мозга, позвольте вас в этом уверить, клоунада сия унижительная не проходит так просто. Мозг приывает к вынужденному паясничанью и изгалянию перед самим собой. Я уже начал шута разыгрывать с родной матушкой, а она только плачет и жалеет свихнувшегося отпрыска...

Подробно говорить о деятельности своей в НИИ не буду. Скажу только, что делал там для них чудеса по стеклодувной части и внесения изящного остроумия в самый сложный эксперимент. Академики и доктора, бывало, руками разводили... Орден получил по секретному Указу Президиума, а потом медаль.

Выделили мне садовый участок в охраняемой вблизи НИИ местности. Поставил я там дачку. После работы лежу себе и понюхиваю натуральный воздух и благородные запахи природы. Музыку старых композиторов слушаю и любимое танго... был день осенний, и листья грустно опадали... в последних астрах печаль хрустальная жила... От женского пола отбоя не имею, поскольку не пью, интеллигентен в обращении и отпускаю порой загадочные шутки. Привычка юродствовать так просто, повторяю, не проходит. Но благодаря всему этому складывалось у институтских дам благоприятное мнение о моем характере и рисунке личности. Слухи о больших халтурных денежках, разумеется, прибавляли мне существенного веса. Ноздри же мои, неустанно трепетавшие от чуткой работы на сверхобоняние, внушали женскому полу, что я есть истинный половой гигант, погибающий втуне от скромности и порядочности.

Матушка моя, совсем ошастливленная серьезным перерождением вагонного паяца и шалопа в ловкого подсобника отечественной науки, начала в те времена капать на мозги, чтобы успел я жениться до ее спокойной кончины и дал, как она выражалась, увидеть свежий вариант нашего рода.

Я же принюхивался к нашим алкавшим брака девушкам и женщинам. Не в собачьем смысле принюхивался, а в сверхчеловеческом. То есть старался учуять верную, красивую и соболезнующую душу посреди симпатичных телес, общей напوماженности и различного тряпья, призванного отвлекать нашу испытующую энергию от дамской сущности.

Ну — и не позволяет мне проклятый мой нюх сблизиться ни с одной из желающих сойтись, даже без мысли о браке. Предостерегает меня нюх от близости... От этой так и разит легкомыслием. От той — мелочностью упреков. От третьей — змеиной ревностью и тягой к выпивке. Несколько дам — отвратительные хозяйки, о чем сами совсем еще не подозревают, выпячивая на первый план романтику турпоходов, доставание билетов на всякие зарубежные кинофестивали и тягу к независимой половой жизни. Несколько стукачек учуял в благородных внешне существах. В одной тихоне, на которую

чуть-чуть не клюнул, внезапно распознал мрачную извращенку. Впоследствии ее застукали в секретном нашем собачьем питомнике, где она садистически издевалась над подопытным догом по кличке Нерон. Это прибавило мне осторожности. Я, конечно, послал бы все эти смотрины и выборы к чертовой бабушке, простите за сильное выражение, но я же живой человек. Меня хоть и запоздало, но начало беспокоить отсутствие противоположного пола по вечерам, а особенно утречком, в субботу и воскресенье, когда не надо спешить на работу, но так и тянет вырваться за пределы собственного естества в пылу брачной любви и прочего самозабвения...

Надо сказать, что тоска моя по достойной подруге осложнилась к тому времени рядом счастливых прозрений. Как ни связаны были сотрудники разных лабораторий клятвенными расписками о неразглашении сути ихних исследований даже близким друзьям и смежникам, до меня постепенно дошло, что НИИ-то наш готовит, ко всему прочему, бактериологическую войну. Готовит именно бактериологическое наступление на так называемый свободный мир, а также Китай, но не оборону. Оборонщики, как я понял, занимаются изготовлением всяких хитроумных вакцин, противоядий и систем дезинфекции. Наши же мудрые ученые и изысканная подсобка вроде меня заняты по приказу партии и генералитета выведением неслыханной чумы и заразы, если говорить просто, а не вдаваться в преступную терминологию.

Откровенно делюсь однажды с тем самым большим ученым, который сосватал меня по стеклодувной части. Высказываю моральное беспокойство. Он меня заверяет, что все эти безумные бактериологические дела — всего лишь дань международной военной моде. Западная военщина этим занимается, и мы не должны никак отставать от нее в наращивании секретных научных достижений. Потому что уровень военных бактериологических исследований — свидетельство, кроме всего прочего, общего уровня развития биологии и вирусологии. Мы успешно отставали от Запада из-за травли, которой подвергались лучшие наши умы во время ста-

линской тирании и лысенковского деспотизма в науке. Теперь — не менее успешно догоняем и во много сократили разрыв. Кое в чем даже превзошли своих зарубежных коллег... Не надо беспокоиться. Ужасающие бактерии не пойдут никогда в ход точно так же, как ядерное оружие, а взаимное устрашение Запада и Востока успешно стабилизирует положение в мире. Если же запретят вдруг исследовательские работы и производство БО, то мы с вами, батенька, лишимся теплых мест и брошены будем на пшеничку с кукурузой, как при Хрущеве... Дуйте себе, дорогой, в трубочки, выдувайте свои чудеса и колдуйте над газовой горелочкой...

Тоска, однако, продолжала подтачивать мою вступенувшуюся совесть потому еще, что при разрядке мировой напряженки увеличил наш НИИ выпуск всеуничтожающей продукции в четыре раза. Что же это, думал я, за разрядка? Это какая-то сокрушительная зарядка. И все это делается вдали от глаз народа. Как можно не допускать контроля с его стороны?.. Вот «Правда» пишет, что простой американец, студенты и передовая профессура действительно протестуют против планов военщины, связанных с бактериологической войной. На меня-то разит от нашей газеты застарелой, прогнившей, но приевшейся к народному обонянию лживой трепней. И все же думаю я: почему бы и нам не попротестовать и не поумерить слегка аппетиты наших заказчиков? Мы же видим из окон, как вылазят они из черных своих бесшумных машин и со злодейской важностью расхаживают по лабораториям... Знаем, как рукоплещут они после контрольных опытов по заражению домашних животных и обезьян нововыведенными бактериями... Знаем, что две аспирантки и трое докторов наук устроили в лаборатории пьянку в честь принятия брежневской Конституции, перешедшую в разнузданную оргию. Во время этой тайной оргии одна из аспиранток — я ее, к счастью, успел отшить от себя — неосторожно расположилась в непосредственной близости от смертельно опасного штамма бактерий новейшей чумы «МИР-2Х», дрыгнула в какой-то момент разнузданной ножкой, и все эти любители веселой жизни и конституции мгновенно схватили заразу. Хорошо

еще, что у них хватило личного мужества и общественного страха немедленно доложить о ЧП дежурному начальнику и самоизолироваться до перевода в антииммунной камере в закрытую тюремную клинику. Дальнейшая их судьба нам неизвестна, но ходили слухи, что для того, чтобы выпущенные бактерии чумы не пропадали даром в период острой борьбы нашей партии за экономию производства, зараженным научным сотрудникам предоставили возможность наблюдать в соответствующем месте за течением своей болезни, вести записи, исправлять некоторые ошибки в опытах и написать письмо Центральному Комитету с благодарностью за предоставление возможности совершить высокий подвиг во имя и во славу нашей отечественной бактериологии...

Но, скажу я вам, вопли человеческой совести притупляются и постепенно замолкают точно так же, как может притупиться нюх человека. Поработайте вы, скажем, с месяцок в морге, где анатомируют погибших от различных болезней обезьян, и ничто уже не потревожит слизистой оболочки вашего чувствительного носа. Ничто! Ни предсмертные мучения живых невинных организмов, ни взгляды их, полные бессловесной муки и безумного непонимания своей доли, ни бесовский запах адского греха безжалостной науки и ее горделивых, холодных, мрачно-образованных, безнадежно выродившихся жрецов-автоматов...

Вот в этот момент своей жизни, терзаемый сомнениями и ужасом перед попаданием в дурдом — больше ничего не ждало меня в случае одинокого протеста, — я и встретил полюбившееся мне существо. Полное ее имя было Константина. Дано оно было ей родителями — мелкими провинциальными актерами — в честь Станиславского. Увидел я ее однажды рыдающей в рукав белого халатика возле клетки со всеми нами обожаемой шимпанзе Мариэттой — названа так в честь писательницы Шагинян, с согласия МО ССП СССР.

Рыдания и слезы Коти были, на мой нюх, стерильно чисты и искренни. Я почувствовал возможность редкой в наши времена общности взглядов на бесчеловечную и бездарную сущность закрытой бактериологии, рабо-



тающей на трупных теоретиков «последнего решительного боя» в Генштабе. Не мог не разрыдаться, встав рядом и отечески прижав Котю к своей груди. Котю трясло как в лихорадке, если воспользоваться одним из любимых выражений великого певца униженных и оскорбленных. Никакой половой акт не в силах сблизить мужчину и женщину так, как сближает согласно вырвавшееся из их душ рыдание.

Тут же у клетки с ничего еще не подозревавшей Мариэттой мы обменялись с Котей чистосердечными мнениями о позорной вивисекции и начали строить фантастические планы спасения славной шимпанзе от смерти в жутких мучениях — мучениях, всячески продлеваемых научным любопытством жадной своры исследователей. Спасти ее, к сожалению, было невозможно еще и потому, что ключи от клеток с животными хранились в спецотделе. Да и куда дели бы мы несчастное животное в атмосфере всеобщей подозрительности и доносительства? В зоопарк не сдать. За границу не переправить. Даже подпольные миллионеры из Грузии не рискнут тайно приобрести умное заморское животное, любящее носить кепку кандидата наук Бодридзе, и пустить его для пущей экзотики разгуливать по придворцовому саду...

Одним словом, мы сблизились тогда с Котей настолько, что в эту же ночь стали мужем и женой в домишке на моем садовом участке. Мы сразу же взяли совместный очередной отпуск, чтобы не присутствовать в институте во время интенсивных опытов над зараженной Мариэттой. Затем началась нормальная супружеская жизнь.

Вскоре умерла моя мать... Группа, в которой трудилась ассистенткой одного крупного ученого моя Котя, получила закрытую Государственную премию за выведение особой жароустойчивой породы универсальной вши, не оставляющей следов укуса и не вызывающей чесательной реакции, что существенно затрудняет для врага и поддерживающего его гражданского населения поиск источника смертельной заразы. Вот на эту премию мы купили кооперативную квартиру в центре Москвы. Не в центре Котя жить не могла. Это пижон-

ская, на мой взгляд, но вполне безобидная, как мне тогда казалось, страстишка была, пожалуй, единственным недостатком моей милой, женственной и сентиментальной жены. Котя очень любила гулять по центральным улицам города, а перед сном непременно отправлялась на Красную площадь. К этому ее с детства приучили родители, жившие до переселения в Чертаново на Никольской улице. Я был не в силах бороться с этой невинной, как мне опять же тогда казалось, ритуальной слабостью. Я и сам ничего не имею против величественного пространства сей отечественной святыни. Против ее много чего повидавшей на своем веку брусчатки, расходящейся кругами, словно темная каменная вода, и обтекающей безмолвно мрачное Лобное место, чтобы затем незримо разбиться о чудесную твердыню Ивана Великого. Ничего не имею против стен кремлевских и башен с ненавистными лично мне электрокроватыми звездами. С ними можно в конце концов как-то примириться и вовсе вытеснить из поля своего зрения лишнее это напоминание о напрасно пролитой крови миллионов моих сограждан. Не имею я ничего против ГУМа — всесоюзного торгового муравейника, и, если уж на то пошло, против мертвоватых кремлевских елей.

Единственно, что отравляло мои вынужденные прогулки с Котей перед сном, — запах незахороненного ленинского трупа и коварное зловоние, вырывавшееся из-под измывательского надгробия Сталина. Смердыня, доносившаяся при нежелательных ветрах до моего носа от многочисленных урн с прахом палачей и партийных идиотов — от урн, замурованных во вместительную, к сожалению, историческую стену, — тоже отравляла прогулочное мое настроение. Кроме того, из Мавзолея обычно потягивало дерьмом и потом обывателя, наезжающего со всех концов нашей Империи для навязанного ему властями похабного идолопоклонства.

Впрочем, сознавая некоторую свою ненормальность и мучительную гипертрофию проклятого органа обоняния, я не вертухался и, пока Котя со странным выражением лица наблюдала за сменой караула, старался отвлекаться от мучительных запахов, запашков и мелких

раздражительных истечений различной внутрикремлевской вони размышлениями о странностях устройства нашей жизни.

Вскоре началась афганская авантюра нашего правительства и руководящего им генералитета. Котю внезапно перебросили на секретнейшие работы, связанные с выведением особо уникальной блохи, в которой, по заданию начальства и генералишек, должны сочетаться все замечательные качества нововыведенной секретной вши с «высококомобильной оперативностью, повышеннокусаемостью и досадной сверххускользаемостью блошиной породы». Разумеется, новая блоха непременно должна была вводить своей фантастической жароустойчивостью в заблуждение работников повстанческих походных дизобань, которые, по слухам, американская военщина начала уже поставлять врагам афганской революции вместо ракет «земля-воздух», против поставки которых решительно возражает какой-то спикер Тип О'Нил в конгрессе США. Так вот, пока его не уговорил сам Рейган, необходимо форсировать работы по выведению блохи «Надежда Афганщины — Х6/Ф7». После выведения этой блохи и опытного обоснования уверенности в ее быстрой размножаемости должны были начаться опыты, ради которых, собственно, и выводилось новое бесчеловечное насекомое. Его намерены были экстренно приспособить к переносу не одной какой-либо болезни в ряды сражающихся басмачей и их пособников в мирных селениях, а сразу нескольких. Это необходимо было для затруднения поисков представителей международного Красного Креста и других псевдосердобольных организаций — этих пособников американского империализма — источников инфекции. Выведению новой блохи, кстати, сопротивлялись ради узких лично-корыстных целей догматики-моноинфекционисты. Одним словом, в НИИ у нас начались перетряски. Котя неожиданно была назначена руководительницей одной из ударных групп. Я пробовал было заговорить с ней о нравственном, но действенном сопротивлении и долге хоть как-то затормозить людоедские исследования. Котя ответила, что, зрело поразмыслив и окинув взглядом историю науки, она раз на-

всегда поняла, что есть в этой героической истории нечто трагическое и превышающее наше обывательское разумение. Все жертвы, в том числе и бедная Мариэтта, не пропадут даром. Жертвы эти мужественно положены нами в основание растущей ввысь крепости человеческого здоровья, без которого коммунизм просто немыслим, как немыслим успех афганской революции без уничтожения ее врагов — бешеных и подопытных собак американской реакции...

Вот как, господа-товарищи, заговорила Котя, стоило ей только подобраться поближе к кормушке и к возможности быстрой научной карьеры.

Мне не привыкать было, разумеется, к хитроумным душевным и умственным маневрам конформистов, старающихся успокоить навек свою некогда чуткую, воспитанную книгами Солженицына и других истинных правдолюбцев совесть. Мне к этому было не привыкать. Да и у меня самого, нелишне будет заметить, неприлично заложило нос на происходящие вокруг мерзости. Заложило его постепенно от всеуспокоительной тишины мирного моего семейного счастья, которое хотелось мне тщательно оберегать от зловония мировой и отечественной истории. Заложило его также от чувства полной безысходности и бесполезности протеста.

Людей на каждом шагу сажали либо в дурдомы, либо в лагерь за дела и протесты несравненно более невинные, чем какое-либо мое обращение к мировой общественности и приоткрывание ей глаз на преступные исследования в лабораториях нашего НИИ. Котя, моя Котя, с которой я забывал о своем собственном существовании и об уродствах бедственного международного положения, сутками, бывало, не выходила из лаборатории, выводя полки полиплоидных блох, стойких к полевым дизобаням, превосходящих по прыгучести и кровожадности своих исторически устаревших родственничков и успевающих скрыться с места укуса задолго до возникновения в нем характерного зуда. Группа Коти поставила также перед собой научную сверхзадачу: привить новому блошиному потомству так называемый «конвергационный ген». То есть «Надежда Афганщины — Х6/Ф7» обязана была иметь врожденную склон-

ность к проживанию и активным действиям не только в непосредственной близости к телам врагов и вражеских пособников, но чувствовать себя как дома в овечьей шкуре, вздорной конской гриве, беспокойной собачьей шерсти и в тихой кошме кишлачных строений. И вообще, весь научный поиск официально был посвящен, как это водится в советских НИИ, очередному будущему съезду нашей партии.

Я, как говорится, рукой махнул на происходящее. Я же не в силах был прекратить бесчинства распоясавшейся секретной бактериологии, как не мог внести благородный порядок в общую историческую катавасию. Слеза, бывало, стекает из глаза моего по свежевозникшей морщине к поникшему воскрылию ноздри, застывает на ней, и вдыхаю я до грустного охлаждения сердца сирую отраву брачной своей пустыни, потому что Котя дня четыре в неделю безвыходно просиживала в лаборатории, а обстановка секретности вокруг важного проекта все ужесточалась. Я уж и в столовой перестал встречать свою супругу. Тоска разлуки до того дошла у меня, что я стал поджидать Котю у женской уборной. Охота было перекинуться хоть парой нелепых, но полных глубокого чувства слов.

Однако весь женский состав ударной группы стали выводить на оправку в сопровождении трех каких-то форменных гермафродитов с угловато-чугунными ряшками и округлыми плечами. Они же мрачно и решительно сопровождали в мужской сортир состав исследовательского проекта. На нас нанятые где-то гермафродиты смотрели исподлобья, а неестественно длинные свои ручищи держали в карманах оранжевых халатов, как бы давая понять, что любой пытающийся вступить в контакт с учеными и лаборантами немедленно получит пулю в любопытный череп... Все это санкционировано свыше — намекал этот омерзительный взгляд исподлобья...

Наконец наступил решающий момент мерзкого научного эксперимента. Это все мы поняли по тому, что однажды увидели, как во двор НИИ заехали две спецмашины с надписями на кабинах «МИРУ — МИР! ПЛАНЕТЕ — СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!». Сопровождали их во-

енные мотоциклисты, которые неосторожным ревом своих зверских машин всполошили чуть ли не всех сотрудников. Из-за какой-то несогласованности в действиях конвоя и наших гэбэшников мы увидели, как из машин выводят странно одетых молодых и старых мужчин. Черные их бороды не могли скрыть землистых и бледных, искаженных постоянно мукою лиц.

Это, несомненно, были пленные афганцы. В сопатку мою шибанул вдруг такой нестерпимо острый и вместе с тем тупо оглушающий запашок стыда, боли и причастности к предельно изощренному насилию, что ноги у меня подкосились. Я упал в более-менее спасительный обморок на глазах своего Шефа. Очухавшись, увидел рядом с собой Котю. «Все хорошо, Серый, — сказала она, — все хорошо... Домой едем вместе. Ты, наверное, сидел там без меня на воде и хлебе?.. Все хорошо... Глотни спиртику. А я получу наградной паек... икорка, балык, клубника, заливной язычок... какие-то африканские фрукты... наконец-то их научились безболезненно транспортировать... докумекали... и домой... все хорошо...»

Она поспешила в спецбуфет, где отоваривалась наша номенклатура и все премированные за разные достижения по выведению эффективных бацилл, неотвратимых вирусов, подрывных насекомых и мелких грызунов — переносчиков наступательной заразы в городской и деревенской местностях. А Шеф говорит мне сочувственно: «Надо вам, Сергей, сбалансировать как-то эмоциональную жизнь с помощью новейших транквилизаторов. Я это готов устроить. Ляжете и в спокойной академической обстановке подштопаете надпочечники, призовете к порядку гипофиз с гипоталамусом, одним словом — уравновесите свою эмоционально-душевную жизнь в сторону некоторого равнодушия к неразрешимым, в сущности, нравственным проблемам и успокоения слишком уж дезориентированной своей совести. Надо ведь жить, надо исследовать, надо поверить — просто взять и поверить, — что раньше жертвы приносились на алтарь вымышленного божества, то есть, по сути дела, псу под хвост, а теперь мы вынуждены в целях прогресса приносить тща-

тельно обдуманые и абсолютно целенаправленные, полезные жертвы науке, в трагически-благородных поисках которой — разрешительный смысл истории и нравственное оправдание жрецов научного поиска. Между прочим, ваша жена в течение двух лабораторных суток добровольно и без ведома партбюро со спецотделом подвергала себя суровейшему испытанию: она с ошеломительным терпением вынесла несколько сотен контрольных укусов нового, весьма многообещающего поколения блох. Разумеется, еще ничем не зараженных. Но ведь, согласитесь, среда функционирования полезного нашей глобальной политике насекомого должна и в экспериментальных условиях максимально приближаться к естественной. Несколько ученых-подвижников, чью самоотверженность военная бактериология никогда не забудет, не могут, к сожалению, заменить одного натурального объекта боевых укусов с таким трудом выведенной блохи. Блохи, поверьте мне, отличаются, скажем, от вши или клеща поразительной разборчивостью и приводящей науку в недоумение избирательностью... Так что давайте уж я устрою вас поваляться, с вашего, разумеется, согласия, в закрытую клиничку. Я там у них консультант и руководитель нескольких очень интересных диссертаций. Одновременно и горелочкой поорудуете. Они давненько вас у меня выпрашивают. Вот и попотрошите заодно этих трижды и четырежды лауреатов Государственных премий. Идет?..»

Что мне было делать? Я согласился. Тем более, когда мы с Котей направлялись домой, она говорила, что близится новая серия закрытых опытов и ее все равно не будет дома. Кроме того, она высказала желание купить «жигуленка», на который одной надвигающейся премии не хватит. Мне необходимо подхалтурить на выдувке приборов. И пора уже, в конце-то концов, поднять цены на выдуваемые налево изделия. Дорожает водка, икра, ковры, драгоценности, фрукты на рынке и косметика в «Березке». Над моими чудаческими тарифами, сказала Котя, уже начинают посмеиваться люди с чувством реальной жизни... Хватит приноживаться к тому, что ничем в принципе не пахнет...

В тот вечер и в ту ночь, почти до утра, спорили мы с Котей до хрипоты и частичного разрушения желания супружеской близости о политике Генштаба, преступности военной бактериологии и химии и прочих беспокоивших мою совесть предметах... Спорили, и я с печальным недоумением разглядывал такое любимое тело, сплошь покрытое блошиными укусами. Долго спорили.

Я, как всегда, примолк, потому что, повторяю, не в силах был принести единственное свое — семейное — счастье в виде высоконравственной жертвы на алтарь воспаленной и страдающей совести. Этого сделать я никак не мог. Мне оставалось только залечь в закрытую клинику и попытаться установить спасительное равновесие, как сказал Шеф, между амбициями этой самой совести и отношением к неизбежным странностям современного мира и человеческой истории. Может, подумал я в отчаянии, действительно неадекватно реагирую я на условия развития жизни и науки? Может, похожу я при этом на патологически мнительного человека, которому кажется, что все люди только и делают, что назло ему портят воздух в общественных местах и при этом ехидно про себя подхихикивают, тогда как воздух вокруг не запакощен ни малейшим шkodничеством, а причины мнительного беспокойства опасно размещены в незалеченной психике раздражительного существа?..

Нет, решил я, тут, должно быть, что-то не то. Обоняние мое слишком уж распоясано и травит разум запахами явлений, которые и заглушают работу мысли по небрежливому освоению противоречивой действительности... Залягу и вообще обращусь к закрытой медицине с просьбой о ликвидации во мне чувства обоняния. Нос, в конце концов, не пара глаз и не лопушье, необходимые в нынешних условиях существования — на этом, во всяком случае, свете... Запах котлеты или жены можно взять и вообразить со всей возможной силой. Зато со скольким зловонием покончу я разом и сколько всего дурнопахнущего смогу держать презрительной своею, но ныне бессильною волей на джентльменской дистанции!



Одним словом, с этими настроениями я залег подремонтироваться, захватив с собою из дома — чтобы не изнывать от скуки и тоски — любимое художественное произведение «Нос», Н.В. Гоголя. Полеживаю, почитываю таинственное это иносказание писателя, крайне чуткого на распространение в мире и в жизни даже самых мелких грешков, источающих вполне сносную для терпения и нюха неприятность, не говоря уж о его чутье предельно выразительного смердения мирового зла. Не случайно, думаю, взялся он за «Нос», не случайно профилактически откочерыжил его с физиономии героя, перед тем как отважиться в одночасье на путешествие по моргообразным пространствам — местобитанию Мертвых Душ... Так вот и я, думаю, поступлю... В наше время ничего откочеврыживать не надо... Нос же — это всего-навсего видимое олицетворение скрытого в моем мозгу больного органа обоняния... Введут в мозг электродик, впустят в нужное место разрядик тока да к тому же перекроют смежные связи мысли с запахами всего того, что, на нюх нормальных людей, не только не пахнет, но и не должно пахнуть... Слишком тяжело чувствовать и осознавать все непотребное в себе самом и в людях, да еще вдобавок обонятельно изнывать от миазмов внутренней и внешней политики правительства, кошмарного бздо Запада и мелкой смердыни окружающей действительности... Тяжко...

Котя плану моему весьма обрадовалась. Просто расцвела, словно первую брачную ночью нашей в махоньком домике на садовом участке... Черемушка... душок черемуховый, доводящий носоглотку до форменного опьянения...

Я, говорит Котя, так радуюсь, что решился ты подремонтироваться и отдохнуть сверхчуткой своей душой от безумной сложности жизни, что уже теперь как бы предчувствую твое возвращение... Ну у меня от слов таких вдохновляющих в глазах — роса, в душе — вокзальная тоска, в уме — отсутствие осмотрительности. Мужественно готов к единоборству с клиническим временем пребывания в спецдурдоме исследовательского типа... Напоследок сказал так: «Вы хоть обращайтесь с пленными по-человечески. Не трансформируйтесь

в освенцимский фашизм. Наука наша проклятая наукой, но ведь и совесть иметь надо. Надо душою воспринимать — что к чему, а не брести за научным любопытством, как голодные собаки бредут за обмусоленным кукишем...» «Это все, — ответила обнадеживающе Котя, — они там в тебе подлечат. Я сама позвоню Главному и все объясню. Главное — давай полегче. Поверь наконец, что цинизм в малых дозах просто необходим всем нам для здорового выживания в современных условиях. Можем мы изменить существующий и не нами с тобой порожденный порядок вещей?» — «Не можем», — сказал я на прощание, хотя что-то во мне сопротивлялось такому унылому согласию с беспросветностью исторических перспектив. Что-то сопротивлялось во мне и настоятельно требовало, так сказать, обнародования, то есть желало забастовать и высморкаться прямо на парадный китель генеральского этого порядка вещей... Без меня, господа... без меня... вы, позвольте заявить решительно и бесповоротно, очумели...

Но поздно было на пороге прощания с любимым существом выкаблучиваться по-граждански. Поздно. Тем более, предчувствие возвращения домой в поправленном виде может морально обезоружить любого сомневающегося в порядке вещей человека...

Не буду описывать своего пребывания в нейросекторе «закрытой клинички», как сказал мой Шеф. Сотрудники, которых бросили на исследование моего обонятельного феномена, ни о чем меня не расспрашивали. Им, очевидно, со слов Коти и Шефа все уже было известно. Это меня существенно взбодрило, потому что мысль о тупой необходимости заполнять «историю болезни» заполняла скверной тухлецей ум и отравляла настроение сердца. Конечно, размышляя я, без наличия у врачей таковых историй, несмотря на яркость всей симптоматики, проблема излечения усложняется. Но почему бы им не допустить, в моем хотя бы случае, что история моей болезни — прямые и непосредственные потемки. Ничего тут не доищешься. Это все равно что рыть колодец не вглубь, а вкривь и вкось. Нелепо. Ясно, что всплыл во мне оригинальный ген, а вот отчего он всплыл и откуда — не дороешься... Прижгите мне

его, пожалуйста, и на том я скажу вам спасибо. Хватит. Нанюхался... Лечись и сравнийся с остальными людьми возможностями обоняния, терпения, рассудительности и скромностью воздержания от злобного протеста... Иного выхода нет...

Затем ученые и их ассистенты начали готовить меня к конкретному, как они выражались, вмешательству в участок мозга с локализованным там центром гипертрофии чувства обоняния.

Само это «вмешательство» прошло безболезненно. Только странно мне было после анестезии привыкаться к атмосфере палаты и не учуять ничего, кроме стерильного покоя. Голова не болела. Повязка не мешала. Чувствовалось, что череп предельно выбрит. Ясно было также, что око телекамеры направлено прямо на меня. Но это не раздражало. Наслаждение мое покоем не хотелось нарушать ни движениями, ни речью. Меня мог бы понять в те часы человек, проживший всю жизнь, скажем, в кузнечном цеху или в лаборатории, где ни на секундочку не умолкает рев испытываемых моторов, а потом внезапно выброшенный судьбою в дикий лес и убаюканный полным безветрием... Такой это был покой, происходивший от бездействия обоняния. До носа я даже не желал дотянуться слабую рукой. Казалось, что вместо него на физиономии моей — голое место. Пустырь, никому не напоминающий о стоящем здесь некогда нелепом и досадном строении... Дышал я только ртом, побаиваясь возобновления действия нюха в обих бесчувственных наконец-то ноздрах... Не мешало бы, думаю, слить из НИИ. Без меня, скажу, господа, без меня... Сам же готов работать в таком состоянии даже в морге Первой Градской больнички, запашки из которого проникали, бывало, в детстве в коммунальную нашу каморку, доводя меня до панического ужаса и судорог омерзения...

В морге, думаю, теперь мне будет гораздо легче, чем с еще живущими товарищами людьми. Там — как на лугу, присыпанном глубоким небесным снегом: ни аллергии с чихом и слезою, но чудесный сон природы, затягивающий и тебя в блаженнейшее забытие... Или — так-то оно будет вернее — как на городской свалке, на-

чисто погребенной под ночным снегопадом. Вблизи от одного из таких тоскливых кладбищ цивилизации пришлось мне существовать в молодости, что не могло, конечно, не наложить печати угрюмой безразличности на мои размышления о сотворенной человеком на Земле *второй природе*. Никак не могу удержаться и не добавить — *природе*, довольно бездарно враждебной *первой*, истинной и великолепной со всеми своими стихиями, как смертоносными порою, так ублажающими душу и благородно подкармливающими тело человечества... Нет теперь для меня, мечтаю все проникновенней и проникновенней, служебной атмосферы уравновешенней и благоприятней. Тишина Свободы, Равенства и Братства весьма удачный вариант, как сказал поэт. Всех одинаково жаль... На свалку, разумеется, легче будет устроиться, поскольку, по слухам, работа в морге весьма обогащает.

Много чего приходило в мою голову в первые дни после нейрооперации в порядке озабоченности и пересмотра принципов жизни. Много чего вспоминалось из того, что вытеснено было памятью из своих заглазников или вовсе не принято, как казалось мне, в согласии с моим отношением к разного рода мировым и общественным отвратностям. Я словно бы переживал заново все, что не в силах был пережить ранее, однако переживал без какого-либо содрогания и впадения в беспредельное уныние...

Кстати, в первую кормежку я довольно равнодушно отнесся к вкусовому одноподобию принесенной мне пищи. Плевать, думаю, когда ученые фиксировали на тончайших приборах обонятельные мои реакции, что биточек, хлеб и компот теперь уже оригинально не пахнут, что и на вкус они существенно поувяли — плевать. Если бы человека вообще — в соответствии с мечтой Митеньки Карамазова — слегка по всем статьям и страстям вдруг сузили, то все мы гораздо меньше безумствовали бы, не так бесились с жиру по всякому малозначительному поводу и уж конечно совокуплялись бы не ополоумевши — ни с того ни с сего, — но исключительно сдержанно и целесообразно, как и положено Венцам Творения. Меньше бы обращали внимания на

избыточную тягу к перемене внешних мод, но углубленной внимали бы оттенкам развития чувств и мыслей, не говоря об упоении постоянством и волшебной роскошью мод в царстве растительности. Кто знает — может, и причин для умонепостигаемой взаимной вражды лиц и народов стало бы вдруг меньше, а истина того, что человек человеку — брат, проникла бы непосредственно в сердца и души, преобразившись из настораживающей и сомнительной для многих мысли в самый властный и чуткий инстинкт поведения?.. Да, да, да! — самозабвенно отдавался я ничем не сдерживаемому потоку размышлений, — если бы трепливая наша и обросшая ложью КПСС вместо хронически холодных и невыполнимых своих бездарных постановлений и решений «о дальнейшем расширении ассортимента...», «дальнейших шагах по увеличению...», «дальнейших мерах по углублению борьбы с...» отчаялась вдруг на действительно историческое постановление «о дальнейшем сужении эффективной натуры советского человека с одновременным эффективным расширением его человеческих обязанностей и гражданских прав...», то все мы в ближайшие же пятилетки поумерили бы свои амбиции в жизни, науке, политике и хоть слегка взнуздали бы безрассудство погибельных страстей и интересов... Хотя — тут же отвернулся я от плохо прикинутых проектов — если за назревшее дело некоторого сужения «слишком уж широкого человека» примется именно советская власть, то, в лучшем случае, никакого не произойдет нравственно необходимого «сужения» нашей исторически распоясавшейся натуры, но настанут времена всеобщего и уж окончательного обмельчания этой самой непокорной и сверхзагадочной стихии... Лучше пусть все идет своим чередом и в порядке персональной борьбы с дальнейшим расширением человеческой натуры... Может, со временем мы и сами потихоньку сузимся. Сузимся и скрутим горло некоторым нашим основным заносчивым амбициям, а там, даст бог, сужение такое настанет, что мы при жизни еще сможем спокойно протискиваться сквозь игольное ушко, к полнейшему изумлению партии и правительства...

Явилась ко мне сразу же на свидание Котя. Уткнулся в ладонь ее сжавшимся от растроганности носом, тыкаюсь по-щенячьи, и не беспокоит меня, как всегда, слишком уж настырный и едкий запах ее зарубежной парфюмерии, к которому я всегда относился с раздражительной ревностью, а порой и с ненавистью. Правда, общее мое чувство чудесной неповторимости жены лишилось такого одного качества, которое в словах невыразимо, которое даже я — гипертрофик обоняния — учуивал с большим трудом, да и то в минуты наивысшего подъема душевных сил, и которое можно было бы весьма приблизительно назвать качеством предельного родства и любовной единственности. Но Котя не переставала бы быть Котей, если бы я, скажем, ослеп, ко всему прочему, оглох и трагически атрофировался как мужская половина нашего совместного, предельно цельного чувства? Не перестала бы, безусловно. Да если бы даже замер я безмолвно и неподвижно с полным притуплением осязания на инвалидном ложе, подобно пресловутому Н.Островскому, если бы лишен был возможности на ощупь определить, кто тут безутешно склонился в данный момент над печальным моим полутрупом, то верил бы я, верил, верил — склонилась надо мною Котя...

Беседуем о том о сем. К работе НИИ не проявляю никакого интереса. Прошу посуеиться и настоять на скорейшей моей выписке отсюда. Настроение у меня жизненное, а желание близости сводит вечерами с ума, хотя подумываю о необходимости сужения себя по этой части. «Как, — интересуюсь, — проводишь время? Кого видишь? Что читаешь?» — «Времени ни на что не остается, — отвечает Котя. — Иногда сутками пропадаю в лаборатории. Проводим контрольные опыты... Только не волнуйся и не принимай все эти необходимые для развития науки дела близко к сердцу. Я настояла на том, чтобы сотрудничающим с нами объектам — пусть даже все они басмачи — вводили инъекции, во много раз уменьшающие чувствительность кожи. Теперь серии укусов почти их не беспокоят. Практически они не чешутся... Если бы не военные этнографы, работа шла бы гораздо быстрее. Эти хлюпики изучают открытый

мною феномен долговременной связи «Нафадки» — ласковое прозвище блохи — с кусаемой этнической общностью. Говорят, что исследования эти необходимы, в свою очередь, бионикам. Морока. Хотя я, поговаривают, схлопочу Государственную и по кибернетике как эффективная смежница. Сможем, подождлив, внести за «жигуленка». Тебя все ждут не дождутся. Черненко по-прежнему крадет спирт, нажирается и не в состоянии выдуть тонкого подхода к сенсорным датчикам реторт...»

Лепечет все это Котя, а я внимаю без малейшего трепета нервишек. В лепете — неделю назад у меня от него крапивница пошла по шее и изнанке предплечий — не учуиваю не то чтобы никакой скверны, но не учуиваю я в нем даже смысла. Равнодушно киваю. Тихо покручиваю пуговичку на пижаме. Котины пальчики перебираю. Хотелось бы поцеловаться, но проклятый сосед по палате, не переставая, бормотал свои безумные задачи по идиотской математике и одержимо расхаживал мимо нас с Котей.

Я попросил Котю удалиться и настоять на моей выписке. Перед выпиской меня подвергли всесторонней проверке. В истории моей болезни, повторяю, были перечислены Котей, Шефом и некоторыми моими опрошенными знакомыми «атрибуты жизни, на которые больной реагировал резко отрицательно и ассоциировавшиеся в его обонянии со всем дурно пахнущим». Включали магнитофон. Я слышал разговор подростков в подъезде... высказывания каких-то граждан по поводу подорожания водки... абзацы из передовой «Правды»... унылые звуки речи пленных афганцев во время проводимых на них опытов... Много чего я слышал и думал, что записи подобного рода являются не чем иным, как доносами на меня — форменными доносами, хотя и сделанными с благожелательной целью... Но обоняние мое было бесчувственным. Меня не подташнивало ни от мата, ни от скабрёзности, ни от социальной тухлятинки, ни от скверного слова «донос»... Я спокойно думал об «атрибутике жизни» в соответствии со всеми всегдашними вкусами, нравственными установками и так далее. Но думы мои были оптимистичны, а не невыно-

симы, как до операции в черепае. Они не мешали жить и как-то освободительно одухотворяли своим очевидным благородством. Мысленно я отнес себя к самому омерзительному для меня прежде типу людей — к сытым и всеустроенным советским либеральчикам. Встречал я их и среди институтских подружек Коти, прикипевших к кандидатским и докторским микроскопам, и в домах отдыха, где они уютно покачивались на коротких волнах «вражеских голосов», и среди своих близких знакомых. Они «буквально проглатывали», по их выражению, самиздатские романы и прочие печатные обличения власти; они восхищались от всей души как неистовством «Солжа», так и «очень дельной конвергенщиной Сахарочка»; они воротили носы от газетной лжи; они поругивали правительство за полную бездарность, а партию — за бесстыдную кастовость; они покручивали пальцами у височков при разговорах о «безумных внешнеполитических авантюрах» и так далее. Но на отчаянно и по пьянке поставленный кем-либо вопрос: «Так что же делать, господа?» — разводили руками, и на лицах их появлялась печать возвышенного почтения к тому, что они считали священным и жутковатым божеством, — к исторической необходимости. На меня-то от этих двух слов налетало обмораживающее бездушие сверхнизких температур, начинало подташнивать, хотелось разнести все вдребезги, я начинал дерзко спорить, но руки мои опускались от безмерной усталости сердца и полной безнадежности, когда все остальные дружно сходились на том, что ни в коем случае нельзя раскачивать лодку. *Нельзя раскачивать лодку...*

С этими словами я и вышел из клиники. Шел домой пешочком. Шел осторожно, как бы стараясь не нарушать нового и небесприятного для меня чувства равновесия жизни. Постоял просто так пару минут в какой-то очереди, чего раньше терпеть не мог из-за устоявшейся вонии многолетнего унижения, которой несло от подобных людских скоплений... Ничего, подумал, стоять можно, раз все стоят. Не в крематорий же очередь, а за коврами...

Явился домой. Меня ждал обед с винцом. Котя премило суежилась. Сообщила, что вскоре поедет в Женеву



как новоизбранный член Всемирной организации «Врачи за предотвращение ядерной войны» или чего-то в этом роде. Меня все это мало трогало. То есть вообще не задевало. Я и ел равнодушно. Потому что одно дело, когда различаешь и смакуешь вкус бульончика, пирожка с мясом и рисом, цыпы под каким-то диковинным соусом, а главное — винца, но когда все блюда на один вкус — тогда другое дело. Пожевываешь себе и подумываешь с некой иронической печалью о странной исторической необходимости поддерживать жизнь таким вот причудливо опозитизированным образом — изощренная рецептура блюд... десятки тысяч соусов... сотни специй... бесчисленное количество их смешений... зачем? Ведь лошади и коровы одну траву жуют, а сил у них намного больше, чем у нас, похрустывающих косточками цып и лопающих на десерт творожный торт с малиной... Зачем все это?.. Зачем?.. Надо упростить меню и перейти на служебный спирт... Теперь от него, очевидно, не будет разить античеловеческими добавками...

Разумеется, мы с Котей залегли в кровать после просмотра информационной программы «Время». Кстати, когда диктор Кириллов сообщил, что камвольный комбинат имени XXIII съезда партии досрочно сдал государству десятиmillionный метр ткани, я только усмехнулся под испытующим взглядом Коти. До операции в мозгу меня просто выворачивало от омерзительного наигранного пафоса всех этих наших дикторов и от того, как они дают всем понять, что только служебный долг мешает им разрыдаться от волнения при сообщении о досрочно произведенном в Воронежской области ремонте сельхозинвентаря или о повышенных обязательствах, которые взяли на себя в преддверии... Ужас. Ужас... Но в тот вечер я равнодушно заглотил всю телебrehню, и мы залегли в кровать...

Половое сношение с Котей произошло довольно физиологично, то есть формально, без частичного самозабвения и судорожного счастья постижения тайны соития с любимым человеком. Возможно, произошло это потому, что я не учуял, как всегда, чудного и дикого веяния лаванды от постельного белья. Возможно... Но

лучше оставить малосущественный разговор об интимной жизни...

На работе все встретили меня с искренним воодушевлением. Спирта было вылакано рекордное количество. Пил я его как безликую жидкость. Прилично закосел. На закуску слопали списанную из «отдела изучения последствий усиленной радиации» жирную курицу. Ее не успели еще облучить. Зажарили курицу в фольге, в керамической печи, с картошкой, маслинами из еженедельного пайка Шефа и лимоном. Пили и ели, рассуждая, что уж лучше нам первыми нанести однажды неотразимый ядерный удар по врагу, чем зевнуть и оказаться зажаренными в верхнем слое Земли вместе с курицами, овцами и овощами... Раз пахнет исторической необходимостью атомной войны, то надо вдарить первыми. Один раз вдарить, принести в жертву массу не собственного народа, а уж потом... потом наступит долгожданный мир... потом бросим все ресурсы на сельское хозяйство... Солжа издадим... Сахарова подлечим и даже назначим Президентом Содружества Победителей... Свернем военную бактериологию... История не может не оправдать тех, кто нанесет первый сокрушительный удар с благородной целью навсегда покончить с войнами и резкими социальными контрастами...

Я все это слушал и помалкивал. Не отвращался. Пусть себе порют чушь. Стеклодуву, нелишне будет заметить, пить спирт во время рабочего дня ни в коем случае не следует. Стекло, можете мне поверить, не бесчувственно. Оно требовательно и благородно воспринимает состав твоего дыхания, и это отражается прямым образом на характере отношения выдутого предмета — особенно предмета тонкого и замысловатого — к ходу сложного опыта. Кроме того, стеклодуву пить на работе весьма опасно. Этого я и не делал никогда. Пил с друзьями после работы. Спирта всегда было по горло. А в тот день мы прямо с утра начали обмывать мое возвращение и излечение от странного психотелесного недуга. Одним словом, надрался я до того, что забылся и дунул сивухой через свою трубочку в раскаленную блямбу. Подостыв уже в законченном изделии, выдутая блямба ответила мутноватостью в изгибах, а на прикос-

новение к себе специальным моим камертончиком алкогольно тренькнула, но не зазвенела чистосердечно и благородно. Кроме того, я с ней порядком намучился и чуть было не опалил губы. Ведь сивушный дух в соприкосновении с высокой температурой и под грудным давлением, когда попадает он внутрь выдуваемой вещицы, имеет неприятную тенденцию возмутиться от жара и стеснения и рвануться обратно. Могла и меня постичь судьба многих моих коллег, но я увернулся вовремя, додул кое-как, отдал заказ Шефу, получил от него еще грамм двести, и гулево наше продолжалось даже после работы. На следующий день изделие мое лопнуло во время опыта, чего раньше никогда не случалось. Стекло, повторяю, не бесчувственно, как и прочие природные вещества, находящиеся в контакте с человеком и подвергающиеся наступательным порывам его безумного любопытства.

После этого я завязал с выпивкой во время рабочего дня. Живу довольно рыбообразно. Полный вокруг меня штиль. Лодка не раскачивается. Плевать мне, думаю, на всех на вас и на себя в том числе. Порядок вещей мы изменить не в силах. Хорошо, что хоть пованивать перестало от мира и общества... Интересно мне было поболтать по душам с некоторыми случайными человеко-ногими личностями, к которым пару недель назад я бы близко не подошел. С Котей тоже установились спокойные отношения. Делами ее не интересуюсь. Осуждений не высказываю. Обсуждаем, что она мне приволокет из Женевы, где вся их шарашка собиралась обратиться в ООН с воззванием насчет гуманистических принципов современной науки и роли врачей в борьбе за мир. Прошу привезти пару фирмовых галстуков и чего-нибудь, возбуждающего аппетит. Потому что с полной потерей обоняния я перестал ощущать вкус пищи с прежней чувствительностью и избирательностью. К жратве уже не тянуло, а отталкивало от нее. Все — каша, резина, пойло, сухомять и баландамерия...

Проходит примерно месяц. На черепе моем стали отращать волосы. Живу спокойно, но попивать спиртик попиваю. Без него, чувствую, вообще пропадает аппетит не то что к еде, но к брачной жизни и к ежедневно-

му существованию. Не случайно же советский наш алкоголизм — всенароден. Притупила, соображаю, советская власть вкус людей к истинно достойной жизни, вот мы и докомпенсировались чуть ли не до всесоюзной белой горячки. Природа везде свое возьмет, думаю, если не благородным, то поганым каким-нибудь образом. Природе брезговать не приходится. Человек протестует против чрезвычайного управления собою и намеренно искажает свой образ перед всевластным рылом правительства, потому что если ему не дадут существовать правдиво и возвышенно, то он должен хоть в ужасном деле самоуродования проявить некоторую инициативу...

Вызывают меня однажды на партбюро. Если, прикидываю, начнут пропесочивать за выпивки и вымогательство спирта у научных кадров — пошлю их всех к ебени матушке. К матерку, должен сказать, я быстро пристрастился после операции. Не злоупотреблял бранью и сквернословием, но взял все, от чего прежде с содроганием отвращался, на вооружение. Нельзя и в таком деле так уж горделиво противопоставлять себя народу. Раз слился ты с ним и в выпивке, и в полном наплевательском отношении к творящейся от нашего имени истории, то и в остальном сливайся. Ходи на хоккей. Поругивай провинцию, обжирющую Москву-матушку. Тупей от «Правды» и антиссионистских книжонки. Строчи, мудака, письма Рейгану, чтобы прекратил он свои звездные войны против территории нашей Родины. Проклинай одновременно кубинцев, черных и арабов, которые высасывают все жилы из русского Ивана, а потом, скорей всего, насрут за пазуху в знак глубокой благодарности за нашу верность интернациональному долгу и делу освобождения народов от ига империализма. Завидуй, разумеется, полякам и ненавидь их же за собственную твою зависть. Они хоть отлягнулись слегка от партии и правительства и напомнили этим придуркам, что у народа еще имеются копыта...

С такими вот мыслями я направился в партбюро. Но если, думаю, в партию они меня вдруг возжаждали за-тащить — упрусь. Благодарю и извиняюсь — не сумею. С политическим чутьем у меня беда. После такой слож-

ной операции мне нужен санаторий, а не партсобрание...

В памяти моей навек, наверное, закрепился смрад подобных мероприятий. Примерно так воняют подолгу не убираемые на лестничной клетке пищевые отбросы для каких-то мифических поросят или портянки постоянного милиционера после целого дня службы в летнее время...

Строить коммунизм, товарищи, я вам подсоблю в меру сил и гражданской сознательности, но в авангарде трудящихся быть недостойн. Начальства и без меня хватает... Кроме того, я с детства боюсь партбилет потерять. Тетя Нана, из нашей коммуналки, посеяла где-то этот почетный документ и тут же «тронулась». Лет пять ползала на карачках по коридору, по кухне и даже по двору — все искала потерянную святыню. Потом померла, а партбилет нашли ее наследники под буфетом, куда она сама его заложила от страха потерять. Завернут он был в бумажку, а на бумажке было написано рукою тети Наны «лежит под буфетом»... Без меня, давайте, без меня...

Заявляюсь в партбюро. Там сидят трое не знакомых мне лиц. Парторг НИИ, чувствуете, подналожил в брюки по неведомой мне причине. Все молчат. Уставились на меня — и молчат. Затем парторг вызывает моего Шефа и Котю. Никак не могу сообразить что к чему. Может, насчет спирта? Или кто-то тиснул донос, что слопали подопытную курицу? От зависти люди чумеют. А может, холодею от ужаса, курица та была облученной?.. Но почему дергают одного меня, когда закусывали ею не меньше шести человек?.. Начнут лечить или посадят?..

Тут явились всполошенные Шеф и Котя.

— Партбилеты на стол! — с бешенством крикнул им один из пришельцев. Ноги у моей Коти подогнулись. Мне пришлось поддержать ее. Она полезла в сумочку за партбилетом.

— Не лучше ли сначала объясниться, — сказал Шеф. — Давайте без наскока. Вы разговариваете не со школярами. Я член-корреспондент Академии наук СССР. Константина Олеговна Штопова — руководитель особо важного и актуального проекта, если вы в курсе дела...

— Мы в курсе всех дел. По чьей инициативе был положен на операцию стеклодув Штопов?

— Вы понимаете, что вы наделали?

— Вы отдаете себе отчет?

— Тратите миллионы черт знает на что...

— Втираете очки партии и государству...

— У вас под носом находилось чудо природы...

— Вы оперировали его и уничтожили, чем нанесли урон...

— Вы понимаете, что вы на-де-ла-ли?..

Когда пришельцы досыта наорались, выяснилась вот какая штука: в той самой клинике, где мне прижгли в мозгу гипертрофию нюха, шла борьба не на жизнь, а на смерть между двумя группировками. Одна из группировок сразу же после моей операции тиснула донос на другую. Так, мол, и так, в руках гудимовцев оказался феномен, который можно было использовать по назначению, поскольку нюх у него был мощней самой тонкой аналитической аппаратуры. При некоторых видах секретной деятельности он был бы незаменим. После операции, которую мы считаем вредительской и антинаучной, нос оперируемого можно выбросить на свалку. Нашей отечественной бионике и непосредственно КГБ и ГРУ нанесен непоправимый ущерб... привлечь к суду и ответственности... недостойны звания ученых, подобно отщепенцу Сахарову... просим лишить орденов и медалей с взысканием Государственных премий...

Все это дошло до меня после негромкого чтения некоторых документов, находившихся в зловеще-красной папке.

— А теперь давайте говорить без эмоций и строго по делу, — сказал Главный, судя по всему, пришелец. — Разумеется, все происшедшее — случайность, а не злой умысел. Мы понимаем, что с таким обонянием Сергею Ивановичу было очень непросто жить и работать. Но вы-то? Вы ведь ученые, товарищи. Вы же обязаны были подумать о прикладных возможностях феноменального обоняния товарища Штопова. Мы покупаем дорогостоящую аппаратуру и электронные различители запахов. Мы используем лучшие наши разведкадры для проникновения в научные логова врага. Мы сократили

капиталовложения в сельское хозяйство и промышленность группы «Б», с тем чтобы форсировать создание сверхчувствительных, так сказать, ищеек и всевозможных детекторов, эффективно расшифровывающих трансформационную связь обоняния с мыслительным процессом, а вы... вы действительно уничтожили чудо природы — живое чудо природы. Это так же преступно, халатно и непоправимо, как не подумать об идее летательного аппарата, увидев крыло птицы. Не только не подумать, но и лишить птицу крыльев, возомнив, что крылья... крылья, товарищи, мешают птице ходить. Вы превратили орла в курицу, товарищи ученые...

Они там еще переругивались и откалякивались, признав, что прозевали феномен природы, а я сидел себе и почему-то думал о слопанной той самой курице, которая не дожидаясь до облучения и многонедельного наблюдения за развитием в ней лейкемии и за графиком выпадения перьев и пуха. Курицу несколько было не жалко. В жареной курице, обложенной маслинами и лимончиком, было что-то, думал я, драматическое и величественное, не говоря о полезном. Это у нас в стране населению не хватает куриц. На Западе же — чем больше их лопают, тем усиленной воспроизводят. Идет поддержка жизни на Земле вегетарианским и прочим способом. И не облучать надо куриц, но кушать, и детишек растить на курином бульоне, а не на мучном отваре изпод фабричных пельменей...

— Сергей Иванович, — окликнул меня Главный. — Мы тут оперативно посоветовались. Не беспокойтесь. Вас в любом случае не будем привлекать к ответственности, а вот вдохновивших вас на операцию по уничтожению чуда природы, объективно говоря, принадлежащего народу, непременно привлечем. Это будет конец их карьеры, если мы все вместе не примем быстрых восстановительных мер. Политбюро дало «добро» на их принятие, не считаясь с затратами на вызов из Швейцарии, Израиля и США виднейших нейрохирургов и прочей шатии-братии. Дело за вами. Вы, конечно, не понимаете и не понимали, какой заложен в вас потенциал исследовательских возможностей. Мы объясним

вам это в ближайшие часы. Правда ли, что, прочитав, скажем, чье-либо письмо, вы со стопроцентной точностью можете определить по запаху или по чему-то там еще, лжец автор или же не лжец?

— Запах имеется у всего на свете, — отвечаю уклончиво. — Есть даже запахок отсутствия запаха...

— Могли вы до этой трагической операции определить характер и некоторые другие параметры личности только по источаемому личностью этой запаху?

— Определяют же, — говорю, — собаки, кошки и даже растения...

Котя с мольбою смотрела на меня. С Шефа же как бы слиняла обычная его вельможная самоуверенность. Он постарел у меня на глазах — до того чего-то перетрухнул.

— Ну почему, почему вы, Сергей Иванович, не обратились к нам, когда заметили у себя необычную способность, отличающую вас от остальных советских людей? Почему? — с душевной сокрушенностью спросил Главный.

— К кому «нам»? — переспросил я, хотя сомнений никаких не могло быть, что за учреждение подразумевалось.

— В Комитет... в Комитет, Сережа, — поспешила подсказать Котя.

Я засмеялся.

— Ничего смешного тут нет, Сергей Иванович. Мы теперь выясняем с самого раннего детства всех людей с парапсихологическими дарованиями. Прошли времена мракобесия, когда даже теория относительности считалась черт знает чем. Если бы не мракобесы от науки, мы бы имели, возможно, ядерное оружие раньше Штатов...

— Абсолютно точно, — поддакнул наш парторг, внешний вид которого был как у облученной курицы.

— Не надо нас бояться по обывательской и диссидентской привычке, — продолжал Главный. — К нам вот пришел недавно молодой человек. Извините, говорит, можете судить меня. Я уже неоднократно притягивал к себе на расстоянии челюсти с золотыми и платиновыми зубами изо ртов зазевавшихся номенклатурных работников в санатории «Барвиха», где работаю



официантом. Судите меня, но дайте пойти впоследствии по более высокой линии использования природных способностей. Мы его не судили, и он пошел. Очень далеко пошел. Со временем о нем напишут книги и поставят фильмы. Так же, как и о вас, Сергей Иванович...

— Я-то при чем? С моим нюхом покончено, отчего мне жить стало легче, как сказал товарищ Сталин, жить стало веселее. Проглядели. Талантов, — говорю, — вообще на каждом шагу как мух, и гибнут они как мухи, хотя некоторые выживают в борьбе с настоящей действительностью. Сегодня — я пропал. Завтра — другой чуткий товарищ выищется. Нужен поиск и благородные перспективы использования таланта...

— Вот этот разговор нам очень нравится. Давайте решимся перейти от слов к делу. Мы от имени нашей партии и государства просим вас, Сергей Иванович, лечь... на этот раз на реставрационный стол, а не...

Тут Главный скрежетнул зубами, и все пришельцы так посмотрели на Шефа, Котю и парторга, что я начал истерически хохотать — и от их вида, и вообще от всей этой невероятной ситуации. Жена смущенно подбежала ко мне и зашептала: «Соглашайся... это твой звездный час... иначе все накроется сам знаешь чем... меня действительно надо расстрелять за отсутствие интуиции, а ты... ты просто сволочь и думал все время о себе... ты тайком хоронил свой талант, вместо того чтобы...»

Тут она разрыдалась. Остальные не мешали нашей семейной сцене развиваться своим чередом. Слез жены я не выносил. В памяти вмиг ожил остро разящий запах бесцветного этого яда. Я обнял Котю и заверил, что сделаю все... все... лягу... отдамся в руки этих паразитов... только не плачь... все будет хорошо... ты поедешь в Женеву... купим «жигуля»... успокойся...

Сам думаю: что же это, действительно, не пришло мне сразу в голову приложить как-то способность либо к гуманному направлению в науке, либо к публичной эстраде? Даже странно... А на эстраде я был бы кум королю. Принимаю с завязанными глазами к какой-нибудь даме и говорю, брала она деньги в долг до полочки или не брала, потому что неимущие люди, взявшие

в долг до получки, сами того не подозревая, источают из всех своих пор такой жалостный и тоскливый запах, что я, бывало, проявлял ясновидение и успокаивал, как мог, унывающего должника... Профессии угадывал бы вплоть до шпионской... шпион может замаскироваться на много лет и даже забыть, что он шпион, а вот запах его выдаст... запах у шпиона вырабатывается бессознательной настороженностью, и перешибить его невозможно ничем — нет в природе такого камуфляжного вещества...

Я думаю об этих легкомысленных пустяках, а присутствующие полагают, что я обдумываю условия, на которых соглашусь залечь на повторное вмешательство в свой мозг и дальнейшие материальные планы.

— Сергей Иванович, — сказал Главный, — можете нам поверить: в случае удачи — удачи вашей и всей нашей науки — забот у вас и у Константины Олеговны не будет никаких. Вы ни в чем не будете лимитированы. Возможны даже выезды в страны народной демократии.

— А если, — говорю, — ничего во мне не восстановят или, скажем, я не соглашусь оперироваться? Все же это не в аппендиксе колупаться, а в мозгу. Что-нибудь не так заденут наши коновалы — и начнешь всю остальную жизнь мычать и пускать бессмысленные слюни. Встречал я таких оперированных...

— Насчет коновалов вы очень тонко выразились. Мы решительно пресекли деятельность очередной такой группы, халатно нарушившей работу вашего замечательного обоняния. Группа же, написавшая апостериорную жалобу, а не априорный донос, разогнана и сформирована заново. Партия учит ставить в известность ее и нас вовремя и обо всем. Теперь — насчет первых двух вопросов: я думаю, что вы как советский человек не откажетесь лечь в клинику по нашей просьбе. Если талант ваш не будет восстановлен — установим вам персональную пенсию и назначим консультантом в отдел гиперсенсорики. Кстати, самому-то вам, Сергей Иванович дорогой, не приходило в голову звякнуть нам и поделиться? Вы же клад в себе носили с подлинно национальными сокровищами...

— Вы себе не представляете, какой он скромный и даже ненавидящий сам себя человек, — вмешалась Котя.

— Что теперь говорить? Мы тоже зевнули. Чересчур разбрасываемся в работе, а у себя под носом проглядели самородка, который давно мог бы за пояс заткнуть этого... израильского телекинетика Ури Гиллера. Он уже черт знает чего понавывкопал из-под земли трестам и монополиям. Просто землю носом роет, разведывает стратегически важные полезные ископаемые... Одним словом, по рукам, Сергей Иванович?

— Хорошо, — сказал я, пожалев, что такой я есть идиотина, тяготившийся природным талантом, вместо того чтобы употребить его в деле полезного развлечения народа. Меня отпустили. Разрешили уйти с работы и ни о чем не беспокоиться — за мной в свой час придет спецмашина.

До приезда ее я возненавидел себя еще пуще как жалкое, никчемное, туповатое создание природы, вызванное к лишней жизни слепым постельным случаем. Ведь действительно волосы могли встать дыбом — и вставали, вставали не раз, когда представлял я, что не нос я ворочу от тяжелой реальной жизни, закапывая его талант в укромную конуру брачной жизни, халтуры, дачных заботишек и прочего мещанства, а использую обе его ноздри совместно с брезгливой носоглоткой для трагической борьбы с людскими пороками... Учунюхивать за три версты ложь, помышление убийства, страсть воровства, насилия и прочей многочисленной мерзопакости, именуемой издавна грехом. Да я бы, думаю, учебник выпустил типа «Умелый нос», хоть и звучит это немного шутивно... Хватит, дорогие люди, сказал бы я в нем, бесчувственно наблюдать друг за другом или враждебно думать друг о друге. Давайте уйдем ложную гордыню венцов создания, но уподобимся с душевной простотой благородным собакам и прочим не очень-то доверяющим самонадеянному уму животным... Что-то нету у нас с вами исторического толку в обдумывании... Давайте-ка, хотя бы в порядке отчаянного эксперимента, обнюхаемся, превозмогая взаимную ненависть и отвращение, а главное — лукавое смущение. Давайте скажем себе: не пахни тем, чего сам ты

на них не выносишь. Давайте гордиться не тем, что научены мы бороться с запахом натруженных конечностей и ни в чем не повинных подмышек, не тем, что, дошедши до высоконравственности, мужественно воздерживаемся от порчи воздуха в музеях, в кино, а особенно в телефонных будках, но попробуем изумиться иной, похеренной нами столь беззаботно тысячу лет назад, но вновь возрожденной волшебной способности. Эта способность называется, господа, умением взаимно предотвращать не только действия, но и мысли, вызывающие резкое помутнение и отравление воздуха нашего существования. Потому что тайная мысль еще может понадеяться не стать явной, поделившейся своей черной надеждой с доверчивым действием, но запаха, неизбежно выделяемого дурной мыслью, не утаить. Мы пахнем, господа, но, видимо, продолжаем считать своей дерзкой, титанической целью совершенствование способов убивания дара учуивания своих и чужих распоясавшихся миазмов поведения, постыдной ядовитости неумного сладострастия, трупного зловония родного языка, умерщвляемого партийными и литературными кровососами, и прочей бездарной тлетворности. Умом весьма недействительно, как оказалось, подавляем мы в себе всю свою скверну. С душою и с Духом многие вообще перестали считаться, охотно усвоив внушение того, что ни Духа, ни души не существует. Так, может, господа, действительно принимаемся и эффективно побрезгуем? Может, начнем натаскивать одно целиком взятое поколение новых людей человеческому чутью на непотребное?

Далее в своих размышлениях я изобрел способы возрождения в воспитанниках родителей и общества потерянной всеми нами благодатной способности. В безгласных своих обращениях и воплях я намеренно избегал слова «товарищи». От словечка этого узкопартийного, кодлового и затасканного советской властью с похабною казенною целью, меня продолжало выворачивать даже после удачной операции.

А если не восстановят во мне убитого... трижды убитого лично мною дара... все равно сочиню я такой учебник. Сочиню, думал я, чтобы хоть сколько-нибудь оп-

равдаться за легкомысленную расправу со всем чудесным в моем существе. Сочиню, даже если никто мне не поверит, даже если сочтут меня безумцем и презрительно харкнув в мою сторону за бездоказательные утверждения и неспособность подкрепить примерным чудом высокоморальные измышления...

О, как страстно взалкал я тогда возвращения мне всего того, что пожелал я с легкомысленной гадливостью утратить — убитого своими руками дара. Верующим никогда не был, но пал однажды в полном одиночестве на колени и с крайней тоскою, с последней надеждой, с общей сокрушенностью, с ужасом перед совершенным мною, со страстью искупления вины любым наказанием взмолился: «Помоги, Господи... прости, Господи... прости... помоги... помоги или сотри меня с земного порога...»

На работу не выхожу. Жду. Привожу в порядок настроение и мысли. Пытаюсь обострить в домашних условиях кустарным, так сказать, способом работу обоняния. Пытаюсь с поистине детской наивностью и упрямством воскресить бездыханную способность. К чему только не прибегал. Передачу «Ленинский университет миллионов» от начала до конца прослушивал. За газетами стоял в очереди, накопал их — от «Водного транспорта» до «Правды» — и вычитывал с первой до последней строки. Одолеl «Программу КПСС». Посетил красный уголок ЖЭКа, где меня однажды на собрании жильцов адски мутило от коммунального смрада, разьеvшего вконец личное достоинство каждого... Много еще чего делал прежде невыносимого, от которого спасался как мог, бежал куда глаза глядят и отвлекался чем попало. Никакого эффекта. Смысл непотребного воспринимаю, но полностью или частично равнодушествую. Поддаюсь, например, газетной логике, внушающей, что трагедия Афганистана непременно пойдет ему на социальную пользу и прочие благоденственные перспективы, если мы поможем прогрессивным силам народа обезглавить гидру бандитизма... Это же ад, думаю, это же и есть ад, натуральный, тихий, советский наш ад, где всех нас давно уже приучили не только прижиться, но и перейти на активное самообслуживание

по части поддержки адского огонька — синего пламечка под самими нами, ввиду переброса огромного количества бесовского персонала на шпионскую и партийную работу в странах Азии, Африки и Европы...

До операции, бывало, волю всю свою собираю в кулак перед выходом на улицу. Захватываю с собой корку лимончика в автобус или троллейбус, чтобы занюхать в критический момент истекающую от толпы многообразную вонь. Уши, разумеется, затыкаю, отшибая от себя словесную приправу к толпе и ее поведению, всегда приводившему меня в недоумение и ужас. Особенно остерегался очередей. Предпочитал переплатить за мясо и овощишки на безбожно дорогом рынке, но не помещать себя в людскую ливерную колбасу в качестве добавка, изнемогающего от приобщения к тухлой общей массе... Но что говорить о почти равнодушномприятии всего безобразного после самоизуродования, когда к прекрасному, благостно волновавшему меня прежде и хоть как-то примирявшему нюх, ум и душу с совершенным ужасом советского существования — ибо не превышал он, как бы то ни было даже малоприметных чудес Творения, — я стал относиться не с былою тихой радостью и благодарным восторгом, но с усталостью и тоской... Что говорить?..

Зашел один раз, тоскуя по утраченному, в гнусноватую забегаловку, куда даже дружинникам заходить неохота — такой беспросветно унылый идет там залив жизни в рамках нарушения общественного порядка. Зашел. Постоял в очереди к автомату среди людей, сжимающих в кулак монетки и жетончики — так детки сжимают в кулачках жалкие праздничные леденцы и прянички, — постоял и содрогнулся от некоего опустошающего душу чувства никчемности автоматического прогресса. Что удовлетворяет расчетливый и премилый сам по себе механизм в наших существах? Что разрешает? Какое в нем есть живое превосходство над краснорылой, пышущей беспричинным хамством буфетчицей Дунькой? Вино разбавить можно водою и в автомате, но с Дунькой человека несколько роднила общая природа всех человеческих недостатков, когда то робко, то с немыслимо жалким в такой вот ситуации по-

добострастием, то с яростно сдерживаемым социальным гневом просил он и порою требовал долива пива после отстоя пены. А автомат?.. Даже расколоти ты об него пустые свои кулаки, когда в ответ на проглоченные монетки не выдавит он из себя ни капли спасительной узбекской бурды, лоб разбей с отчаяния о бездушную его облицовку и отправься затем с сопливой и окровавленной сопаткой в отделение — бывали такие случаи в забегаловке, — но не ощутишь ты ничего, кроме ужасающе механического презрительного молчания, по сравнению с которым Дунькино плебейское высокомерие, Дунькина наглость и привычно гунявое Дунькино хамство вдруг покажутся тебе моментом прямо-таки обнадеживающим и ублажающим своей натуральностью...

Стою, одним словом, в очереди и проникновенно думаю: печальные мы рабы всего содеянного технической нашей и социальной фантазией... бедные, обездушенные существа, униженно выстроившиеся в тоске по жизненному возбуждению перед автопоилкой, ссыкающей «Хирсой»... До операции я бы через пять минут рухнул в обморок от невыносимого для глаз моих образа народной жизни, задрызганного полусивушной жижей и захаванного жуликоватыми бутербродиками с резиновым сыром да с выжаренной в касторке килькой. А так стою — и движусь за парой стакашков, растворенный до полной неразличимости в составе толпы, но не разделяющий ее самочувствия, не дышащий ее бессмертными заботами и не набирающийся от нее животной энергии жить, сопротивляясь оскорбительному похмелью... Беда... Предельное одиночество... Задыхаясь от какого-то странного удушья, готов я был броситься на усыпанный грязными опилками пол, ткнуться покаянным лбом во все это плюгавство и отчаянное безобразие и возопить: «Люди, простите за самоотстранение от течения общей жизни, дайте почуять хотя бы пакость брожения опилок пола, загаженных и залитых «хирсой» и пивом... свяжите меня с собою хотя бы малопочтительной отрыжкой и оскорбительной репликой... не оставляйте в бездонной пустоте и в чувстве вечной недосягаемости...»

Состояние такое должен был бы испытывать, на мой взгляд, космолетчик, вышедший в нетрезвом виде на работу в космос, но ужаснувшийся через некоторое время тому, что трос-то блокировочный забыл он прицепить к летящей основе, и теперь вот чокающийся от двух ясных чувств — чувства ненависти к себе за поистине непростительную халатность и чувства невозвратимости. Он, как и я, превратился в опознанный летающий — в моем случае в расхаживающий и стоящий — объект. Никому, к слову сказать, не пожелаю превратиться вдруг из всесовершенного в некотором биологическом смысле субъекта — со всеми его переживаниями, болями, унижениями и умопомрачительными перипетиями судьбы — в оторванный от общего организма объект. Не желаю... Жажнул я «Хирсы». Потолкался. Повнимал со стороны разным речам опустившихся и движущихся к унылому распаду людей. Потеря локтями о пластмассовый стол, передал свой стакан покорно ожидавшему его человеку — стаканов у нас вечно не хватает — и двинулся в неразличимом для глаз народа виде домой...

В этот вечер Котя пришла домой рано. Была очень расстроена непредвиденно возникшей служебной интригой. Сообщила, что у соседней лаборатории сопли задымилась от зависти. Сволочи на всех парах бросились перебивать Котину Государственную премию, усиленные пайки, ордена и прочую благодарность партии и правительства с генералами за выведение блохи «Надежда Афганщины — Х6/Ф7», натасканной на специфически басмаческий душок, но не желающей кусать плоть наших солдат и офицеров, выполняющих в трудных условиях интернациональный долг. Интрига пошла беспринципная, как и положено ей быть в советском закрытом НИИ. Они, сказала Котя, не брезгуют ничем. Обвинили нас в расхищении государственных средств на проведение средневековыми методами современных экспериментальных исследований. Афганцы, видите ли, обходятся НИИ намного дороже афганских домашних животных — кошек, собак, баранов и верблюдов. Кроме того, эти сволочи якобы доказали, что облучение блохи можно проводить на кошме, где она живет, чудесно разводится и питается неизвестно чем, пока на нее



не сядут или не лягут. А нашим же, сказала Котя с горечью, плевать на науку. Им подавай экономию, если ею запахло. Начались звонки из ЦК. Мне вымотали душу совещаниями и вызовами в партбюро. К тому же твоя история здорово мне подгадила. Сволочи и интриганы почуяли слабину. Боровцев ведь маму родную слопает за лишние сто грамм черной икорки, пакость такая вонючая... Но я выступила на планерке — там были представители ГРУ и еще какие-то шишки в штатском — и долбанула по Боровцеву так, что он нескоро очухается. Что же мы, товарищи, сказала я, отвлекаем целый прогрессивный коллектив от работы и не распознаем гнило-либеральной, направляемой сами знаете кем сущности аргументов Боровцева? Неужели не чувствуете ограниченности и близорукости его интуиции? Ведь борясь за замену живых объектов изучения, то есть пленных бандитов и врагов своего народа, он и его сподвижники не учитывают того, что после успешных испытаний «НА — Х6/Ф7» мы перебросим контингент подопытных в «газировку» — так мы зовем лабораторию отравляющих веществ, — продлевая тем самым жизнь подопытного материала процентов на тридцать, если не больше... Ну, генералы мне заплодировали, цекисты стушевались — они же, в сущности, трепачи и демагоги, — а я была на коне. Даже выбила кое-какую швейцарскую аппаратуру, пока они там не пронюхали о наших исследованиях и не наложили эмбарго. Не думаю, что Боровцев и его шобла сдадутся так просто. От них можно ожидать даже диверсий. Ты знаешь, что кто-то подсунул в самые дорогие наши штаммы кал морских свинок и комки бытовой пыли?.. Одним словом, сказала Котя, я была вынуждена вынести из лаборатории запасную популяцию «Надежды». Пусть живет и кишит в твоём аквариуме до лучших времен. Недели две попитается куском верблюжьей кошмы, а там разберемся. Наше дело правое — победа будет за нами. Давай сходим на Красную. После всей этой говенной каши, после сволочных интриг и взаимоподъедаловки так и тянет на что-нибудь духовное...

Я вяло отреагировал на все это выступление. На духовное, говорю, так на духовное. Пойдем погуляем по

эпицентру нашей планеты, как говорят по радио и телевидению...

Приходим. Мурлычу про себя «Был день осенний, и листья грустно опадали...». Смотрю безо всякого зрительного аппетита на Василия Блаженного. Разложить бы сейчас, подумываю вяловато, на Лобном месте скатерочку-самобраночку, сесть, как на гурзуфской скале, выпить, закусить, понежиться под мерцающими созвездиями сентября, чтобы покорябывали твои зрачки голубые небесные искорки, — и провалитесь вы все пропадом со своей наукой, международным положением, блохами, афганцами, нефтью, террором, покупной кукурузой и борьбой за мир... про-ва-ли-тесь... Все равно нет жизни на Земле, а наличествует повсюду обворожительная и коварствующая фикция прогресса.

Котя же уставилась, как всегда, на военную игру в смену караула у разверстого для поглощения идолопоклонников-труполобителей входа в трупохранилище № 1. Уставилась, и не оторвешь ее от оловянно-остолопского зрелища. Чеканят, как говорится, шаг кремлевские солдаты во главе с очумевающим от своей значительности разводящим. На рылах у них у всех — совоглазая остолбенелость. Руки их и ноги, не говоря уж о туловищах, напоминают чем-то унизительную для любого живого существа отдрессированных цирковых — гордых и диких некогда — бедных дегенератов. Механические движения. Общая отутюженность. По-покойнически отрешенная от мира и людской деятельности вздернутость подбородков... заостренность носов... полуприкрытость век — служивые трупы шагают охранять незахороненного мертвеца...

Раньше я всегда этого не выдерживал. Отходил подальше к ГУМу и там поджидал свою нестареющую пионерку. Вид лица ее, замороженного мертвецкой игрою одеревеневших солдат, и тот факт, что тупую пошлость заученных механических движений солдатских тел считала она таинством и красотой, — все это было совершенно невыносимо. Военно-бюрократический смрад площадного зрелища преследовал даже перед сном, потому что воспоминание о нем не сразу покидало Котино воображение. Выражение ее глаз тихо бесило

меня остаточной причастностью к «воинской поэзии», как она выражалась, а не подбадривало страстным вниманием ко всему происходившему между нами в брачной постели...

Может, завтра мне снова на операцию ложиться, а Котя всматривается в кремлевских роботов так, словно видит их в первый раз и не может, просто не может не поверить, что это вовсе не чудо, но доступная всем очаровательная действительность... «Пошли», — злобно одернул я ее, потому что было мне смертельно скучно. «Уж не ревнуешь ли?» — спросила Котя. Я не унизился до ответа, но презирал и ненавидел себя за то, что впервые внимательно наблюдал за безумно тупыми движениями солдатских суставов, за безукоризненной сдержанностью и временной омертвелостью лицевых солдатских мышц... Впервые же ушел спать на балкон. Вонь городской жизни меня больше не отвращала...

Назавтра мне позвонили и сказали так: «Извините, Сергей Иванович, но в связи с борьбой за дальнейшую экономию, начатую Михаилом Сергеевичем, вам придется доехать до *нашего хозяйства* на общественном транспорте. Ждем вас к тринадцати часам. Будем рады услышать ваши впечатления о развернувшейся в стране борьбе за повсеместную вежливость...»

Никакой не почуял тошноты от этого уродского разговорчика. Собрался. Не оставил Коте записку с разной амурной размазней, чего раньше со мной никогда не случалось. Не помню: поел ли?.. побрился ли?.. о чем думал?.. Мне было все равно... провалитесь все к чертовой матери... мне теперь все равно...

В палату я попал не сразу. Тот самый гэбэшный чин со своим помощником попросил меня прочитать какие-то протоколы и подписать их. Это были мои свидетельские показания, заранее кем-то сочиненные. В них я ни на кого ничего не наговаривал, но подтверждал, что операцию перенес под ножом таких-то нейреспециалистов... Психологическими проблемами моего феноменального обоняния и анализом многочисленных его ассоциативных связей с другими основными чувствами никто не занимался. Прооперирован по собственному желанию... Низкий уровень образования помешал мне

обнаружить... Идя на повторную операцию, благодарю *соответствующие органы* за огромную заботу о человеческом таланте, принадлежащем народу, и надеюсь поставить его на службу миру и социальному прогрессу...

Затем была устроена контрольная предоперационная проверка состояния рецепторов слизистой оболочки моего носа. Я, как и следовало ожидать, не мог учуять с завязанными глазами запахов различных веществ и предметов, хотя к ноздрям моим бестрепетным подносили — это я потом уж узнал в виде их анекдота — кошачий кал, духи «Шанель № 5», сыр «рокфор», трусики научной сотрудницы, нефть, золото, кусочек урана, скунсовую эссенцию, бумажные и металлические деньги, фрукты, овощи, коньяк и самогон. Я на все это никак не реагировал, но почему-то особенно долго принюхивался к кошачьему калу. После экспертизы на «идентификацию запахов» меня ввели в комнату, в которой сидели человек семь мужчин и женщин. Сидели они рядом, на одной длинной скамье, как сидят в очереди к врачу или к участковому. Главный попросил меня подойти, внимательно обнюхать каждого и каждую и попробовать охарактеризовать «параметры их личностей».

Все эти люди были для меня на одно лицо, хотя до операции я, безусловно, смог бы определить, являются ли, скажем, гражданка в джинсах или гражданин в темных очках убийцами или шпионами, а вот тот цуцик в жилетке — страстным коллекционером или преснозлым бухгалтером... Шпионы, повторяю, ежесекундно источают из себя некий душок бессознательной, как говорят в народе, бздиловатости, учуять который неспособно ни высшее начальство шпиона, ни близкие его родственники, хоть пролежи они с ним под одеялом десять суток. Любой профессиональный вор, типа вокзальной буфетчицы, тоже неумолкающе пахнет, но, в отличие от шпиона или убийцы, как бы принюхивается к себе с большим удовольствием и уважением...

Поглядел я, тоскливо задумавшись, на сидевших передо мною людей, поглядел на них туповато, отошел вдруг в угол, под портрет Андропова, и затрясся — запла-

кал от сожаления. Не смог удержаться. Убийца дара должен терпеть адские муки от невозможности вновь овладеть им, вновь им воспользоваться для добрых целей, а не для мира и социального прогресса, в их понимании... Я ведь не мог не сообразить, несмотря на полное отупение злосчастной своей сопатки, что они неспроста привели сюда всех этих людей. Кто-то из них наверняка был на подозрении либо в чем-нибудь обвинялся. Зрительная моя наблюдательность всегда была притуплена из-за крайней обостренности наблюдательности обонятельной, но, глядя на «идентифицируемых», даже слепой — дотронься он кончиками пальцев до их лиц — просек бы напряг страха, ненависти, обреченности, страстной попытки камуфляжа, бешеного вызова своим тюремщикам и особенного такого ужаса — ужаса перед мрачной массой, ожидающего кого-то из этих людей будущего времени тюрьмы...

— Ну, будет, будет, Сергей Иванович, убивать себя самокритикой, — сказал мне Плавный. — Мы, надеюсь, еще вернемся к этой экспертизе, когда будете вы во всеоружии. Вернемся. Мы верим в вас...

С другой стороны, подумал я в тот момент, как бы выкручивался? Как бы свидетельствовал? Как бы выдержал смертельно опасную игру с ними в прятки? Пошел бы на риск сокрытия учуянного мною под страхом возможного разоблачения и, естественно, пожизненной разлуки с любимой женой, в объятиях которой я столько лет спасался от общества людей и уродств современной действительности? А?.. Талант, Сергей Иванович, не хрен собачий... В нем на семьдесят пять процентов опасности, на двадцать четыре процента — суровой ответственности и на один лишь процентишко — захватывающего удовольствия... С талантом очень не просто. Но без таланта, надо это признать, и особенно в советские, дароубийственные, времена, — гораздо сподручнее слиться с гонимой куда-то толпой, гораздо легкомысленней существовать и гораздо веселее тасоваться при любом раскладе «подкидного дурачка» нашей жизни... Может, думаю, лежа уже в палате, все к лучшему в судьбе, потому что стоит только душевно согласиться с тем, что все к худшему, то жить вообще

нелепо... Зачем биться лбом о расprostертую перед сердцем твоим безнадежность?.. Может, талант есть на самом деле отягчающее уродство и безмерное сумасшествие?.. Что было бы с миллионами моих сограждан, если бы вдруг они учуяли разом, словно по повелению свыше, мелкое мертвенно-тлетворное исчадие и бурное, продолжительное, всепобеждающее зловоние советской власти? Выброситься всем вместе и разом же, как выбрасываются киты из пучин океана, улечься в бездыханном состоянии на Красной, скажем, площади?.. Или переть к ней до последнего гражданина, пока кремлевский караул будет косить нас калашниковскими очередями и превращать танками в котлеты?.. Если бы, Сергей Иванович, все реагировали на кошмарную действительность и гниение человеческого образа, как ты прежде реагировал, то в силах ли была бы жизнь потакнуть всем возвышенным запросам народа и социально-капризной требовательности отдельных частных лиц? Сие неведомо, и попробуй разберись в умственных прикидываниях: как легче, удобней и беспрепятственней шнуроваться? В предельно суженном состоянии или в ежедневном испытании толпой людей и властью твоей силы жить, терпеть и возноситься над кишачими повсюду гадами и засасывающим повсеместно гадством?.. Словечки какие, думаю, начал употреблять без обычного брезгования... И провалитесь вы все пропадом... я лучше посплю, а судьба, очевидно, не заставит себя ждать и подкинет вместо умствований что-нибудь действительно вызывающее тебя к ответу на любой острый вопрос...

Все вдруг и вправду провалилось куда-то. Провалилось так мгновенно, что я даже не успел проникнуться страхом, который проникает в нас не только непосредственно перед падением в некие бездны, но и от предчувствия этого падения... Провалился...

Прочухиваюсь впоследствии, словно выклеиваюсь на свет божий из скорлупы тишины, темноты и бесчувствия. Скоро вылупываюсь, так сказать. Не вижу еще ничего, не слышу, но охотно унюхиваю печаль и химию больничной палаты. Унюхиваю, открываю глаза, на них набегают детская восторженная слеза, а сердчишко

разрывает детская же и бесстрашная радость очередного пробуждения к жизни, частичная невыносимость которой так удручает повидавших виды взрослых людей на вынужденном рассвете... Тяну в себя больничного ерша — хлорка, йод, тоска повязок и простынок, помалкивающий хлад стен и медоборудования... Хорошо... В желудке теплеет... Хмелеет мозг от веселия и беспричинной надежды... Руки-ноги замирают от счастья предчувствия множества бытовых движений и бессмысленных действий... Подношу изгиб руки своей в локте к носу и учуиваю впервые за много недель родной свой запах, от которого сердце человека переполняется временами такая пронзительная и жалостная любовь к самому себе, что ему от такого откровенного чувства гораздо легче справляться с предельным одиночеством и очень... очень... очень жестокой жизнью... Живем, Сергей Иванович, живем и дышим обеими ноздрями... Правда, башка у меня потрескивала слегка, а под повязкой потягивало кожу и саднило... Нащупал на себе несколько датчиков... Назначение их полностью было мне понятно... Первой была следующая мысль... Воспроизвожу ее с максимальной точностью, нисколько не удивляясь необычному для меня словесному ее оформлению... Необходимо, подумал я с необыкновенной и как бы выстраданной решительностью, наебать и их, и всю ихнюю ученую шарашку... я вам покажу, проказа и подонки, что значит талантливо принадлежать народу ради *вашего мира и вашего прогресса*... я вам послужу... Поросячий член вам в зубы, а не личную мою парapsихологию... так-то вот... Необычное, повторяю, нецензурное словесное оформление мыслей несколько меня обеспокоило, но я довольно доверчиво отнес его к прихоти своей памяти и к самовластью воспрянувшей воли...

Когда пришли товарищи в белых халатах, я смотрел на них, чистосердечно и юродиво улыбаясь. С уголков губ моих — это доставляло мне ни с чем не сравнимое удовольствие и нужное для жизни чувство коlobковой лукавости — стекали слюни бессмысленной очарованности служебным персоналом и вообще явлением мира.

Главный, отстранив всех остальных, приблизился ко мне. Присел бочком на мою коечку, как подсаживаются обнадеженно сопереживающие близкие люди. Сдерживая спортивный азарт, который старался выдать за родственное волнение, сказал:

— Ну что, Сергей Иванович? Доброе утро. Как само-чувствуем?

— Солнце... бабочки... простокваша... — ответил я, пошлямкивая немного губами для пущей юродивости.

— Пояснить, — приказал Главный, обращаясь к ученым.

— Пока трудно сделать заключение...

— Возможно — послеоперационное нарушение речи...

— Либо — постанестезионный бред...

— Ты меня видишь, Сергей Иванович?.. Давай уж на «ты»... Я из-за тебя вторые сутки не сплю... Ну как ты?

— Каша манная... домой... заводная корова хорошо люблю писать горшок утром мама... — выпалил я, продолжая улыбаться и пускать слюни. — Голова... резать... арбуз...

— Довольно ясно прослеживаемые ассоциации с нейрохирургией, — пояснил кто-то.

— Мы предупреждали вас о неизбежности риска...

— Необходимо дать больному покой и понаблюдать за показаниями приборов, — перевел один из белых халатов высказывания иностранных, как я понял, специалистов.

— Они будут наблюдать за этим идиотом, а страна — выкладывая им в карманы валюту?.. Этого не переводить... Сколько они нацелились наблюдать? У нас нет времени... наблюдатели ебанные... напортачили, понимаете, а теперь будут наблюдать за подложенной нашей стране кучей... этого тоже не переводить... Есть ли надежда, одним словом?

— Олвиз, — ответил один специалист, после чего иностранцы отстранили Главного с моей коечки. Переводчик перевел при этом откровенно неприязненную и грубую фразу симпатичного старикана, говорившего с каким-то странным акцентом — еврейским и кавказским одновременно.



— Мы попросили бы избавить нас в ответственный послеоперационный период от некомпетентного вмешательства лиц, далеких от науки. Это оговорено в контракте...

— Скажи этой сволочи и торговцу гуманной профессией, что он вместе с остальными бандитами, содрав с нас фантастические деньги, в долларах, превратил человека в дебила... в мычащего, так сказать, раздолбая... впрочем, не переводи... все равно правильно не переведешь... у них разве есть такие понятия, как у нас?.. Спроси, сколько суток понадобится для окончательного заключения.

— Ровно столько, сколько понадобится, — перевел переводчик.

— Мог бы скорректировать его грубость... говно ты, а не переводило... спроси, чем мы можем быть полезны в такой ситуации?

Иностранец что-то очень резко ответил. Переводчик, подумав, перевел:

— Лучше бы обследовать оперированного без основных заинтересованных лиц...

— Врешь. Уверен, что этот Моня послал меня к ебени матери. Они нас не любят. И правильно делают. Правильно то, что не любят, а не то, что посылают... Ну что, Сергей?.. Серега ты наш... залечили тебя в сосиску сионисты, швейцарская сволочь и английская профурсетия?.. Воспрянул бы ты, Сергей... Не дай маху... и тебе хорошо будет, и нам... Что скажешь?

— Жена пюре пиво хорош Спартак... хочу... хочу... сосиска... правильно...

— Товарищ генерал, улавливаю логическую связь, несмотря на разрыв мышления и речи...

— Выкладывай. Утри нос этим платным живоглотам.

— Больной высказывается в том смысле, что не прочь вместе с женой выпить пивка, съесть сосиску с пюре и хорошо бы затем посмотреть футбол по телевизору...

Я кивнул и еще шире улыбнулся. Главный сразу повеселел:

— Ты давай, Серега, поднимайся... шевели мозгами всем смертям назло... я тебе персональный билет устрою в Лужники до конца твоих дней... наше слово — за-

кон... Запахи-то улавливаешь?.. Извини — я тут погорячился...

— Утро... выпить... жена... жена... жена... вечер... пылесос... тихо...

— Я бы и сам, Серый ты мой, с утра жахнул «Мартеля», потом — жена... жена... жена... три раза... правильно тебя понял?

Я снова кивнул.

— Вот видишь. Ебать мы с тобой хотели зарубежную медицину. Верно?

Я помотал головой, давая понять, что не следует делать этого... никогда...

— Лежи, Серега, и ни о чем не беспокойся. Как отключим тебя от приборов, так жену твою вызовем прямо сюда... ты у нас — Брумел по части... ха-ха... половики... Идет?

— Грхрррррры-ы, — захрипел я сладострастно.

— Переведи сволочам, что дело пошло на поправку. Так и быть — мы им очень благодарны. Сами справимся?.. Не «надемся» надо отвечать, а «уверены, товарищ генерал». Нечего им тут крутиться вокруг наших исследований. Пусть едут. И пусть скажут спасибо за то, что вообще едут... этого не переводи...

Переводчик перевел. Зарубежные деятели ответили:

— Мы настаиваем на предоставлении нам возможности наблюдать за оперированным в течение хотя бы трех дней.

— В интересах дела — провести курс психонейротерапии.

— Наш метод тестирования психики и постановки перед больным психологических задач гораздо прогрессивней вашего...

— Во-первых, не переводи им, что зато мы — в Афганистане, в Сирии, в Ливии, в Никарагуа и еще кое-где, не говоря о ядерном кулаке. Переведи — разрешаем наблюдать в течение двух дней. О результатах докладывать непосредственно мне. Здесь не Швейцария и не Иерусалим с Лондоном. У нас свои порядки даже для нейрохирургии. Наука остается надстройкой, а не частной финансовой конторой. Все переведи побуквенно. У меня интуиция есть, что встанет Сергей Иванович и за-

работает... Ну-ка, Серый, понюхай, чем палец мой пахнет?

— Дым... дым-м-м, — промычал я.

— Умница, Серый, — вскричал радостно генерал. — Пусть посмотрят мировые светила, как ставим мы на ноги нашего человека... А какой дым? Различаешь?

— Дым-м-м...

— Сигары? Сигареты? Махра? Капитанский?

— Дым-м-м-м, — повторил я, не желая ничего уточнять, хотя от пальцев генеральских потягивало не только мерзким сигаретным никотинчиком, но и маслицем спускового крючка — вороненым метальцем карательной силы...

— Дифференциация восприятия установится сама собой, товарищ генерал, если не нарушена его первоначальная острота...

— Хорошо. Действуйте. Звоните без всякого-якова... А ты переведи-ка вот что этому умнику: мы предлагаем выплатить ему весь до копейки гонорар не в валюте, а в родственниках. Валяй...

— Профессор Шарон говорит, что не имеет родственников в СССР.

— Пусть не финтит. Все евреи считают друг друга родственниками. На признании этого положения временно основана наша гуманная и эмиграционная политика.

— Профессор Шарон не прочь согласиться с вашей логикой. Он интересуется, о каком количестве родственников может идти речь.

— Сколько он хочет? И тут они не могут не поторговаться. Я предлагаю трех человек.

— Профессор Шарон отвечает, что это несерьезная цифра для начала делового разговора.

— Дай для начала десять-одиннадцать. И пусть поймет намек, что я могу передумать.

— Профессор Шарон больше не желает торговаться. Речь может идти не меньше, чем о тридцати семи людях.

— Спроси, не намекает ли он, в свою очередь, на тридцать седьмой год?

— Товарищ генерал, он заупрямился... это тип с характером... говорит, что передумал... занизил количе-

ство родственников по ошибке... требует теперь сорок девять человек...

— Скажи, что и этот его намек понял. Даю сорок два рыла. Нечего путать нашу борьбу с космополитизмом, с лагерями смерти и прочим немецким фашизмом.

— Товарищ генерал... — Голос переводчика уже нервозно подрагивал. — Он снова играет на повышение. Меньше чем на пятьдесят три не согласен. Соглашайтесь...

— А ты скажи ему на это вот что: я лично в пятьдесят третьем вот этими руками передал профессору Вовси неположенную продуктовую передачу, а кое-кому разрешил закурить. Я истинно русский человек и ненавижу юдофобов, но ты спроси у профессора Шарона — кто мне вернет дядю и тетю, двоюродных братьев и сестер, которых лично Каганович приказал расстрелять без суда и следствия как кулаков? Кто?

— Профессор Шарон отвечает, что причисляет Кагановича не к евреям, а ко всем коммунистическим преступникам и людоедам... товарищ генерал...

— Молчать... Молчать, но слепо переводить... что он еще добавил?

— Он добавил, что таких бастардов, то есть подонков вроде Кагановича, Троцкого, Мехлиса и прочих кровопийц, в Израиле со временем проклянут, как других военных преступников.

— Это было бы логично. Что значит «со временем»?

— После того как... мы дадим пожить его государству в мире и покое, перестав натравливать на него арабских террористов...

— Скажи профессору, что он мне нравится. Русский человек уважает умного врага и глубоко презирает паршивого, тупого и хитрого союзника. Конкретизировать не будем. Немало ножей понатыкано в нашу спину. Завтра устраиваем банкет в их честь, не в честь ножей. Дадим визы не пятидесяти евреям, а ровно сотне. Пусть понимает наш намек как хочет, и не обязательно в антисемитском смысле... Что скажешь, Серый? За тебя благодарим с такой вот дореволюционной щедростью.

— Хорошо хорошо хорошо... дождь... листья... жена... жена... — промышал и прошлямкал я, пре-

бывая в замечательно веселом состоянии духа и с удовольствием унюхивая настроение толпы людей.

— Профессор Шарон очень рад знакомству с вами, товарищ генерал. Приглашает вас отдохнуть и полечиться на Мертвом море... там человек, говорит, держится на плаву, словно водочная пробка...

— Ха-ха-ха... отдохнем, скажи, со временем, подлечимся, оживимся и подержимся на поверхности... без намека переведи... без агрессии... пусть живут... И пусть не забудут господу оставить инструкции на случай осложнений. О чем они там балакают?

— Товарищ генерал, извините, но... англичанин и швейцарец тоже высказывают желание получить гонорар не валютой, а отказниками...

— Разве англичанин, — удивился генерал, — еврейской национальности?

— Профессор Гопкинс просит сообщить, что он — джентльмен...

— Нашему менталитету сие понятие чуждо. А швейцарец — швейцарец?

— Нет. Он просто католик.

— Денег, как я погляжу, у них некуда девать. Скажи, что мой личный лимит — всего сотня. Остальные — за политбюро. Я провентилирую... В крайнем случае, не евреями отдадим, а соболями или икрой. Не побрезгуют. Не бойся...

Кстати, пока шла эта замечательная и своевременная беседа, часть белых халатов списывали показания с приборов, проверяли крепления датчиков на членах моего тела, подносили к носу ватки с различными эссенциями и регистрировали, как я на них реагирую. Я же старался никак не реагировать, а отвлекаться и прислушиваться...

Напоследок иностранные профессора покумекали над записями ассистентов, пощупали мой череп, поводили пальцами перед глазами и позажигали разноцветные лампочки. На все вопросы я отвечал так же юродиво, но с некоторой возможностью додуматься до смысла не бессвязно произносимых и вымычиваемых мною слов. Затем генерал пожелал мне счастливого восстановления речи, и вся его свита покинула палату. Я же вновь провалился в небытие...

Проснувшись, догадываюсь, что меня как-то проверяли и исследовали в сонном виде. Какими только вещами не пахло в палате — от нашатыря до осенних листьев, которые грустно за окном падали. В носу я чувствовал усталость, как чувствовал бы ее, скажем, в руке, если бы, сам того не ведая, колот парочку часов дрова. Но что бы там, думаю, ни показывали приборы, я буду косить частичного дебила с нарушениями функции речи. Мне это и раньше, после лежки в первом моем дурдоме, отлично удавалось и даже нравилось. Я вам запудрю, думаю, мозги. Талант — он, господа, юркий и приткий, если он ни в коем случае не желает попасть в грязные самовластные руки и превратиться в обезьяну, строящую жалкие рожи самой себе...

Несколько дней подряд меня вот так вот внезапно усыпляли. Как я сразу же пронюхал, они намеренно исключали момент влияния моей личной воли из контрольных манипуляций с моим обонянием.

Судя по физиономиям врачей и ученых, а также по репликам, работа моего носа на данном этапе глубоко их удовлетворяла. Но в бодрствующем состоянии я ставил этих прожженных циников в тупик. Путал цвета. Иногда не различал простые запахи и приходил в недоумение от их букетов на табличках. Совершенно не делился тем, какие связи возникают в моем мозгу при визитах в палату иностранных профессоров. И о чем говорит сравнение их запаха с запахом наших специалистов. Разницу эту я улавливал достаточно отчетливо, как и до первой операции. Была она в том, если попытаться сформулировать точно, что иностранцы просто свободно пахнут, а нашенские, советские, вроде шпионов, бессознательно скованы и как бы напряженно придерживают в себе оригинальные свои ароматические характеристики, напоминая чем-то детишек, крайне запуганных родителями и горделивой общественной моралью, которые только и думают о том, чтобы не испортить случайно воздух в метро, в классе, в кино, в гостях и на приемных экзаменах в музыкальной школе... Кроме того, от иностранных светил ненавязчиво пахло совестью. Это единственный, пожалуй, из источаемых человеком неуловимых запахов, никак не диффу-

зирующий с личными запахами живой кожи, казенной одежды, всех частей тела и жизненных привычек. В присутствии же советских врачей и исследователей запаха совести — выразить его, кстати, поэтически невозможно — вообще почти не возникало. Если же он возникал в моем обонянии, то был таким слабым, как нечувствительный пыл в угасшем очаге, и таким как бы никому не принадлежащим, что я ни за что не сумел бы определить, кто из двух-трех белых халатов — робкая личность с еще не совсем загубленной совестью...

Много еще чего не сообщал я бригадушке врачей и ученых, хотя отвечал временами более-менее связно. Но, нормально поговорив, вдруг срывался, нес изумительную во всех отношениях ахинею и сам при этом искренне изумлялся: откуда берется в башке моей такая фантастическая каша? Какого она происхождения? Лично ли мне принадлежит ее странный, подчас смущающий разум состав и о чем таком запредельном должна говорить уму и сердцу восхитительно устрашающая непредвиденность презамысловатых моих фантасмагорий?..

Однажды я издал во сне — в дневном сне — откровенно сладострастный стон, ибо пребывал в возбуждающем опьянении от сдавившего грудь и ударившего в голову самого любимого мною на земле запаха моей жены. Открыв глаза, увидел перед собой Котю и генерала. Несколько раздражала его сугубо комитетская гзбуха в смеси с самыми, может быть, стойкими из всех существующих в жизни запашков — запашками властительного всеисилия и удручающе никчемного ничтожества...

— Герб, — ухмыляясь, сказала я, — портреты членов... маршал Огарков... Котя... Котя... Котя...

— Молодец, Серега, — сказал генерал, хотя Котю ужаснул мой облик и речь, — ты как бы докладываешь нашей державе, правительству и лично товарищу маршалу о готовности к несению почетной службы? Так или нет?

— Хочу... очень хочу... и листья грустно опадали, — отвечаю я двусмысленно.

— Скоро, скоро, Серега, отдашься любимой, как говорится, работе. А насчет всего такого, в смысле опадаю-

щих листьев, не горюй. Все у тебя будет. Все пройдет, если доверять показаниям одного библейского умника. — Тут генерал вынул из бокового кармана штатского пиджака револьвер. — Пр продемонстрируй-ка нам свое умение. Ученая сволочь что-то долго ставит твой нос на ноги. Я вот спрячу оружие, закрой глаза, а ты попробуй его учуять... не подглядывай только, Серый, по-советски давай...

Я встал — ходил уже пару дней — и вышел из палаты. Мне не терпелось ублажить генерала, чтобы слинял он к чертовой матери и оставил нас наедине. Половое желание, откровенно говоря, охватило меня при виде Коти более непреодолимое, чем когда-либо. Отдохнул ведь я, отоспался, налопался каких-то заморских восстанавливающих общее здоровье средств чуть ли не из личного припаса покойного Андропова и целыми днями изнемогал от праздного желания. А что, скажите мне, может обнадежить, согреть, укрепить силу сопротивления унынию и лишний раз причастить к таинственнойнейшей из вселенских тайн приятней и безобидней, чем близость с любимым человеком?..

Затем генерал позвал меня. Я возвратился, умело скрывая физиологическую примету мужского возбуждения в полах больничного халата. С лицом то серьезным и вдумчивым, то юродиво ухмыляющимся принялся к укромным уголкам в помещении. Всей грудью втянул в себя воздух. Тут же расстегнул кашемировую, мягонькую кофточку Коти и обнаружил, к общему восторгу генерала, спрятанный на груди ее и уткнувшийся прямо дулом в нежнейшую выемку револьвер. Не мог сдержать резкой ревности и так и вспыхнул от ее мгновенного жара. Генерал сказал:

— Ты, Серега, прямо как Пушкин прешь на меня Дантесом. Уволь, но Константина сами спрятали оружие по моей просьбе.

Я моментально остыл и искренне был благодарен генералу за такт и уместное культурное сравнение. Не могу не подчеркнуть, что прочувствованная всей душой с самого детства жизнь А.С. Пушкина была и остается по сей день святою моею любовью... Мелькнула тогда же мыслишка: неужели они проникли в тайники моей ду-



ши и знают, что не только вид, но и запах любого огнестрельного оружия вызывает во мне стыд, жалость, боль и ярость?.. Не сам ли во сне проболтался?.. Да и наяву, когда юродствовал, не раз задумчиво повторял: «Дуэль... гм-гм... дуэль... гм... гм... ду-э-э-ль...»

Генерал сразу же ушел в весьма самодовольном состоянии. Я быстро придвинул к двери передвижной осциллятор и столь же быстро снял халат. И упал на колени, раскинув руки в стороны — в позе и жесте благодарственной благодарности жене за любовное расположение к долгожданному соитию и за само его сокрушительное счастье. Но что я вижу, господа? Что я вижу? Котя, всегда, в общем, готовая к совместному экстазу Котя, выпендюченно отворачивается от моего вида, что всегда мгновенно сообщает страждущему мужчине, особенно мужу, чувство всепронзающего душу и тело одиночества и оскорбительной покинутости. Она отворачивается и говорит:

— Ну что ты надумал, Сергей, в такой для меня день и в таком месте?

— Что случилось? — тревожно спрашиваю, в поисках внешних причин отказа.

Поймав себя на том, что спрашиваю чересчур осмысленно, поправляюсь:

— День осенний, Котя, и листья грустно опадают... Огарков...

— Ты на самом деле окретинел или придуливаешься?.. Нас никто не подслушивает...

— Хочу... хочу... листья грустно опадали... почему?.. Дай... дай...

— Дурак проклятый, — прошептала Котя, — там погибли Шевцова и Ахметов из «газировки»... при взятии проб из отравленных колодцев... понимаешь меня?.. Понимаешь?

— Погибли... знал... зачем?

— Попали в засаду. Бандиты зверски издевались над ними... потом заставили под дулами автоматов выпить два ведра отравленной воды... это не люди... звери... звери... теперь им не будет никакой анестезии... никакой... А ты лезешь под юбку... ты что-нибудь понял?

— Понял... понял... дома... лучше... в колодец листья грустно опадали...

Сказав это, я разрыдался. Что-то более сильное и острое, чем половое желание овладеть женой, оттолкнуло меня от нее. Половые желания должны, на мой взгляд, убажаться в атмосфере внешнего и внутреннего благородства свободными от мук совести и сопереживания мировой трагедии телами. Хотя, с другой стороны, половой акт с любимым и преданным тебе существом — блаженнейшее из убежищ и интимнейшее укрытие от вампирски гонящихся за нами *властей, социалистического труда, цивилизации и подлостей людских...* Я разрыдался. Тут же вошел в палату генерал.

— На сегодня хватит, Константина Олеговна. Судя по всему, Серега, ассоциативные связи в тебе восстанавливаются в прежнем объеме. От Афганистана и нас тянет пустить слезу. Но мы слезы зажем в кулак, Серый. Разделаемся. Это дело времени. Общественное мнение засратого Запада нас, к сожалению, лимитирует... Но речь мы тебе восстановим... Ну-ка закрой глаза, открой нос. Скажи нам на дорожку, что за запах поднесен к твоей ноздре?

Я закрыл глаза. Мне ничего не стоило определить, что под нос мой подсунут какой-то наркотик. Действуют они, говорят, по-разному, но душок от них истекает, по-моему, одинаково родственный. Это душок заманивания в некую соблазнительную мнимость. Слабое и любопытное существо человека рвется к ней, словно глупый рак к тухлятине в ловушке. Сей глубоко порочный душок, как я разумею, перешибает начисто все остальное — как смущающие человека запашки, так и ароматы, возносящие его к достоинству.

— Отрава, — сказал я. — Плохо... губит...

— Верно, Серый ты наш. Верно, что губит. Поэтому — то наша задача — гнать эту дурь на экспорт, а при импорте ее в нашу страну — реквизировать и засылать в активные зоны так называемого свободного мира. А если подальше от твоего приемного устройства — учуешь? Или если в хитрой заначке — возьмешь след?

— Возьмет, товарищи генерал, возьмет, — встряла Котя, почуяв, что меня начало подташнивать от речей

генерала, — Верите? Меня он находил за три версты с завязанными глазами. Как мотылек бабочку.

— Жёну найти — дело нехитрое. Сидя в Хабаровске, я свою сволочь обнаружил однажды в Сочи. Сбежала с одним из Кобзонов... ха-ха-ха... Ну, Серега, пора нам двигаться. Я органом твоим сегодня доволен. Будь здоров...

Они ушли, а меня вдруг такая пронзила вина за то, что Котя моя — бессовестное, в сущности, научное советское насекомое, что дали бы мне возможность переправиться в Афганистан — сбежал бы туда и всемерно помог бы невинному населению анализировать отравленные колодцы, искал бы вместе с детишками наши мины да брал бы под ноготь зараженных блох, произведенных и воспитанных собственной женою... Тошно мне было. До того тошно, что первый раз в жизни бляданул я и соблазнил, к своему удовольствию и удивлению, нянечку пожилого возраста. Она не отходила от меня всю ночь. Соблазнение было, однако, не половым, а умственным и душевным. Я прижимался к ее руке, навек пропахшей больничной скорбью и горестями хворых тел, плакал и повизгивал, словно мальчишечка, от неизбежной обиды на целый ряд грязных неразрешимостей жизни. А как являлась мне на ум восхитительная часть старинного танго — бы-ыл день о-осенний, и листь-я грустно опада-али, — я заходил-ся в плаче и не знал, что делать дальше...

Утром поблагодарил нянечку десятью рублями за бескорыстное участие в драме моего душевного переживания. Деньги она взяла со слезами на глазах, и мы по душам поговорили о низкой оплате труда младшего персонала. Жизнь нашей страны предстала мне в те минуты в особенно отвратительном, лицемерном и тусклом свете...

Перед выпиской мне вернули костюм, ремень и галстук; обмыли, побрили, сделали даже педикюр, постригли и пригласили на комиссию. Завязали полусвиновой повязкой глаза. Взяли под локотки и ввели в помещение, уже знакомое мне по въевшемуся в него казенному запаху.

— Здорово, Сергей Иванович, — сказал генерал, дружески обняв меня. — Давай попробуем прощупать

степень твоего восстановления. Тут вот находится целый ряд характерных граждан и товарищей. Задание номер один: отфиксируй, пожалуйста, нахождение среди них тех, кто дает нам ложные показания, скрывая в душе соображения и факты насчет реальности? Одним словом, кто тут врет. Никакой обратной связи у тебя не будет. Так что на коррекцию своих действий не полагайся. Поезжай, как сказал поэт, в незнаемое. Валяй, Серый, но только... ха-ха-ха... не в штаны. Добро?

В темноте я всегда ориентировался прекрасно, используя обоняние как локатор. Быстро, конечно, не пойдешь, когда дохнешь перед собой — и вбок, и ждешь прибытия отраженного твоего дыхательного посыла обратно в ноздрю. Обходишь в нужный момент препятствия. Не натыкаешься на них. Безошибочно различаешь, скажем, ворота в Кремлевской стене — любимая Котина забава. Идешь в толпе людей как зрячий. Последнее обстоятельство позволяло мне доезжать в общественном транспорте до места работы в полудремотном состоянии...

Я заострил нюх. Заострил, надо сказать, с истинно охотничьим азартом, потому что ничто так не взбодрит душу, ничто так не возносит ее к освежающим возможностям и не влечет к волнующим непредвиденностям, как предчувствие возвращения — навек, казалось бы, утраченного — дара. Ничто, господа! Ничто!..

Подошел поближе к сидевшим, как я сообразил, у стены людям. Медленно прошел мимо них. Узнал. Это были те самые люди, при виде которых еще до операции я разрыдался от тоски и вины перед своим загубленным талантом. От них исходили флюиды напряженного смущения — состояния, так или иначе сопряженного с моментом обрастания ложью. Тем более с моментом обрастания страстного, напоминающего вставание дыбом шерсти на загривке животного. Я постоял некоторое время около каждого и каждой. О, как ненавидели все они меня и в каком передо мною страхе пребывали! В страхе, неотличимом от мольбы о милости и спасении. Видимо, никто из них не сознавался в неведомых мне преступлениях и проступках. От людей со знавшихся пахнет вынужденным согласием с пол-

ной необратимостью судьбы и случая. Убежден по сей день, что один из сидевших подозревался в шпионаже и был в нем повинен. Воля его была железно собрана. От всей его фигуры так и разило безграничным упрямством, вызовом мужества и равным ему по силе отчаянием. Возможно, мое свидетельство обезоружило бы этого человека. Я чувствовал всею рвавшейся с повода сопаткой бескорыстие и благородство этого человека. Он знал, что он делал и на что шел, хотя характера его антисоветской, судя по всему, деятельности я определить, разумеется, не мог. Я не задержался около него, чтобы не возбудить подозрений генерала. Приблизился к молодой девушке. Вся ее энергия инстинктивно брошена была на успокоение сердца, сдерживание нервических движений и придания невидимому мною лицу отсутствующего выражения. Откуда мне было знать, что она там натворила против них? Но мне вдруг захотелось пасть перед ней на колени и откровенно заявить, что я не жалкая, не фанатичная, не тупая блядь вроде недоумочного марксиста товарища Рубина из «Круга первого»... нет, милая, я не из таковых. Я не заложу вас во век ни на каторгу, ни на смерть ради идейных, прости, Господи, соображений и рабской веры в ублюдочных кумиров. Херушки...

Потоптавшись около всех этих людей, я учуял, кроме всего прочего, явного замшелого стукача. Не ведаю уж почему, но от крыс такого рода, клещей и тараканов шибает прокисшими солдатскими портянками и коммунальной кухней перед праздничком Седьмого ноября. Но, если так можно выразиться, в молекуле стукачской вони присутствовал и атом шпионского запашка, занесенный в нее условием вечной затхленькой скрытности и желанием хоть сколько-нибудь — как в случае с марксятинкой товарища Рубина — романтизировать плюгавую низость предательства.

Убежден, что стукач тоже учуял основательность моего брезгливого внимания, и изо всех пор его кожи, словно от американского скунса, потек обыкновенный сероводород. Я мучительно покраснел от мгновенного стыда и неловкости за опустившееся человеческое существо.

Отошел от него, дыша лишь ртом, чтобы спастись от одного из основных миазмов нашей убогой общественной атмосферы. Отошел и решительно двинулся на запах совратителей — в сторону генерала и научного руководителя клиники. Принюхался, как бы лишний раз убеждаясь в безошибочности учуянного, тыкнул пальцем и сказал:

— Вы... врете... надо не лгать... не надо лгать, когда... и листья грустно опадали...

Никто не издал при этом ни звука, хотя я отлично представлял, какие ублажительные страсти бушуют в подозреваемых существах и как отяжелели от говнистого смущения высокие чины... Я же умело симулировал очередные рыдания, уткнувшись лбом в стену. После некоторой паузы генерал спросил меня — чувствовалось, что он сумел взять себя в руки после неожиданного разоблачения, — спросил с искренним интересом, как жулик, изумленный чудесами сокрушительного сыска:

— Ну и что, Сергей Иванович, врут, лгут, клеветают, скрывают, инсинуируют и маскируют указанные тобой фигуры?

— Все... все... пропахло... домой хочу...

— Уверен, товарищ генерал, что Штопов реагирует абсолютно негативно из-за нарушения синхронности работы левого и правого полушарий... В наших опытах направленно дезориентированные макаки неудержимо стремятся к источнику смертельной опасности...

— Заткни свое научное рыло, — шепнул генерал ученому. Никто, кроме меня, не мог бы его услышать. — Если хочешь знать — он прав. Никуда не денешься. Прав. Все лжем. Ежеминутно. Но возгордились от исторической своей правоты и от классовой, партийной справедливости так, что закономерно принюхались... и не держай меня тут.. плевать — пусть слышат.. Он прав. Лжем. Но мы с тобой лжем в интересах построения коммунизма и укрепления нашей наступательной обороноспособности, а вот эти... эти лгут с целью подрыва мировой социалистической системы. Я не имею права сказать ему: ты ошибся. Это будет все равно, что сломать секретный прибор, дающий объективные показания. Вредительство... Ты мне обучи его распознавать

нашу ложь, диалектически сражающуюся за всемирную правду, от ихней провокационной, шпионской и сахаровско-солженицынской брехомотины. Не то партбилет выложишь на следовательский стол. И никакие листья, мать вашу так, чтобы у меня больше грустно не опадали во вверенном тебе почтовом ящике... Снять с него повязку. Стоп. Увести сначала подследственных.

С меня сняли тяжелую повязку. Я спрятал лицо в ладони и снова что-то захныкал насчет грустного опадания листьев. Сей чудный образ начинал преследовать меня слишком навязчиво, словно он не был вовсе самостоятельным образом, а являлся лишь лукавою личиною зловредного какого-то беса...

— Спокойно, Серега, — сказал генерал. — Ты в кого, собственно, тыкнул пальцем как в лгунов?

Я сообразил, что правды говорить не следует.

— Не могу... не знаю... трудно... грустно... домой попасть... листья...

— Домой попасть проще всего. Ты вот ответь — что это ты в негативку ударился? Нам от тебя адекватка требуется. Ты работать с нами жаждешь?

— Жажду. Буду работать, но здесь больше спать и есть не хочу, — выпалил я связно и без запинки. Очень устал от заиканий и пауз.

— Вот это мужской разговор... Выписать Сергея Иваныча. Дать недельку отдохнуть с женой. Оформить старшим научным. Разработать за это время график восстановления его обонятельного феномена. Создать теоретический аппарат и психологическую модель всего этого, так сказать, дела. Наметить практические выходы в военно-комитетскую прикладную бионику. Не забудьте о поисках полезных ископаемых. Начните розыск в масштабах соцлага лиц с невыявленной гипертрофией обоняния и прочих органов, кроме половых. Завтра же подать смету. Все.

Когда ученые удалились, генерал по-дружески обнял меня и говорит:

— Ты ведь в меня, Серега, тыкнул пальцем и в интеллектуала хренова. Ответь от души — почему? Не потому же, что был день, понимаешь, осенний и листья грустно опадали?

— Сам не знаю почему. Мозги... они сами по себе... что-то в них теперь сикось-накось... две операции...

— Это я сочувствую и не перестаю сходить с ума от ярости. Извини, но шефа твоего бывшего вместе с женой твоей расстрелял бы в эту минуту собственноручно. Но все же мы вернули тебе большую часть способностей, и ты открой мне чистосердечно, что ты унюхал в тех людях. Мы тут с тобой вдвоем остались, а я твой друг и, можно сказать, духовный папашка. Несло от тех людей преступлением и запирательством?

— От каждого человека, — говорю, — несет... все время... только листья не врут и поэтому грустно опадали... трудно... должна определить милиция...

— Верно, Серый. Но почему в диссидентов и в шпиона ты не тыкнул пальцем, а указал на меня?

— Которые врут — вырабатывают вместе с потом ароматичный камуфляж правды... Вам же скрывать нечего... цель имеете...

— Ты сам, Серый, не подозреваешь, насколько ты прав. Имеем цель. Тысячу раз имеем. И облапошим нашей стратегической ложью внешнего врага. Как думаешь, облапошим?

— Облапошите, — ответил я с полной убежденностью. — С Афганистаном облапошили, значит, и всем остальным запудрите мозги... плохо... плохо... листья...

— Ну, будет, будет... Сейчас вызовут машину. Поезжай. Отдыхай. С женой не переусердствуй, а то швы на башке лопнут. Надеюсь, сугубая секретность всего нашего дела тебе ясна, и во взятии с тебя подписки мы не нуждаемся. Скажи ты мне, Серега, напоследок, но не по службе, как говорится, а по душе: неужели от всех разит ложью?

— Да. От всех. От одних — едко и постоянно. От других — моментами и не зловредно... пахнет... ничего не поделаешь...

— А детишки, если они еще до полового созревания?

— И тут мало чистоты такого рода... В детишках порождают ложь родители и детсад...

— Ну от трупа же не может, наконец-то, смердеть ложью?

— Вот от трупа-то и несет иногда не телесной, — говорю увлеченно и несколько забывшись, — вонью под-



накопленной лжи. Особенно если труп долго не погребают с глаз людских долой и вон.

— Намек твой понял. Все же я русский человек с тайной традицией. Но от некоторой незахороненки нам сейчас отказываться не актуально. Вот переделаем когда весь мир, тогда все незахороненное захороним, а кое-что вынужденно погребенное... вос-кре-сим... вос-кресим...

Повторив два раза «воскресим», генерал так скрипнул зубами, что меня в ту минуту пробрал жуткий ужас. Ни за что не пожелал бы я самому себе присутствовать при воскрешении генералами каких-то ихних невразумительных святынь в ими же обгаженной-перегаженной пустыне Будущего.

Затем, направляясь вместе со мной в палату, куда принесли личную мою одежду, генерал отвлекся от неведомой мне тайной традиции и мечты о мстительном воскрешении и, словно испорченный мальчишка, расспрашивал о возможностях обонятельного анализа порочной женской психики. На радостях, что вызволяюсь из треклятого учреждения, я рассказал ему пару весьма скабрезных случаев из моей практики. Я также признался генералу, что жена для меня — замена друга, брата, партии, телевидения, любовницы, велосипеда и так далее.

— Да, Серый, речь тебе надо подлечить, а в остальном ты неслыханный в народе оригинал. Жди звонка. Я тебя никому не дам отныне в обиду. Ты — достояние. Ты — надежда не на какое-то там пресловутое религиозное, а на физиологическое возрождение несчастной, между нами говоря... не будем уточнять кого и чего именно... настроил ты меня на недопустимый лад...

Еду в черной «Волге» домой. Забыл обо всем клиническом, но как-то кольнуло тревожно под ложечкой при следующем соображении: а не с подъездычной ли целью расспрашивал меня генерал о женской психике? Может, садистически и из зависти беспримерной любви к Коте, а также демонстрируя необъятную свою во всем осведомленность, возжаждал он травмировать меня за уклонение от правдивых ответов? С чего это я взял, что их так просто надуть и облапошить?..

Но отбросил я от себя все эти мыслишки с необыкновенной легкостью и бешеным прямо-таки аппетитом к жизни. Отбросил и попросил служебного водителя остановиться. Сказал, что желаю пройтись пешочком по знакомым мостовым и объять восторженной душою весь букет бытия. Водитель оглядел меня так, как обычно врачи оглядывают явных психов — со снисходительной печалью и якобы полным разделением их мыслей и чувств... Плевать, думаю, никого не задевающее юродство есть наилучшая защита и от понимания тебя, и от непонимания в советской коммунальной пустыне. Мне все равно, кем вы меня считаете: поврежденным при первоначальных родах или трансстебанутым «шизлонгом». Лишь бы я сам в своих глазах являлся тихим существом, брезгующим всем непотребным. Лишь бы я был единоличным фронтом отказа от покорного сотрудничества с грязной наукой и пакостной властью...

Иду, значит, по улице. Дышу не как обычно — только ртом, чтобы слегка упасти ноздрю и отвернуть ее от невыносимого содержания городского воздуха, — но дышу всем своим отверстым перед действительностью носом.

Страшно это для меня. Сердце колотится, приняв яд зловония, текущий из окон учреждений, закусочных, пивных и различных магазинов. В легких замечаю бронхиальную раздражительность, исчезнувшую после первой операции. Ничего, внушаю организму, пей из общей чаши, жри из общей миски, не брезгуй общей долей, не выцеживай лакомого, дыши временем общего существования — сие есть труднопостижимая радость, привычное мужество, горечь быта дня и дикий мед неизбежности... Ты принимай, внушаю, родственно прикинув к сквернословящему телу толпы людей, весь дух зачуханной городской берлоги, не отрещивайся от жестоко чадающей кухни повсеместного жилья, в нем все же имеются источники возобновления дыхательной смеси, спасительные сквозняки и очистительные обстоятельства... Прошу прощения, дорогой ты мой и родимый организм, но пусть трясут нас с тобою токи общего напряжения и давай предпочтем стихию ежедневного страдания бесплодной бесчувственности и мнимо-

го отстранения от замысловатой говнодавки этой цивилизации...

Иду по улице. Вернее, бреду, как бездомный пес, сую свой нос повсюду, разве только ногу не задираю у каждого столба, и чувство у меня такое, словно душа моя поддерживает за слабый локоть периодически падающий в обморок организм, и ведет его, и останавливает его в тех местах, которых бежал он прежде в отчаянии и отвращении... Ничего, говорю, привыкай, принюхайся, не дрожи в коленках, гораздо легче и достойней собраться с силами и открыть сморкало всему букету жизни, чем вбухивать всю свою энергию в капризно изоляционные меры... Давай в подземный сортир проследуем. Отольем давай в этой преисподней, как все отливают, но и удивимся давай, кроме всего прочего, чудесной нашей и пожизненной обреченности на мочеиспускание... Не устрашайся, говорю, милое тело, самого себя, что есть ошибка и унылое самоограбление, не то я тебя не туда еще ткну носом...

Завожу затем свой упирающийся организм в местный рыбный магазин. Первый раз в жизни — поверьте, господа, — решился посетить его. Обычно обходил за три версты и сплевывал после неудержимого спазма от одной лишь мысли о советской нарпитовской скверне вроде бы речного и морского происхождения. Конечно же, нигде извращение, изуродование и порча продукции этих благородных стихий — особенно стихии морской — не достигает такого преступного зловония, как в местном нашем рыбном магазине. Слезы буквально брызнули из глаз моих, словно у клоуна, когда обзрел я, содрогнувшись, сморщенные морковочки, вяленькую свеколку, проросший лучок и серые судки с жалкими соленьями — помидорами и огурцами, — выставленные там, где положено было находиться всему, собственно говоря, рыбному. Поскольку на стене, за прилавком, довольно мастерски были нарисованы члены, так сказать, рыбьего политбюро — лещ, судак, севрюга, окунь, кета, краб и даже кальмар, которого, по словам Коти, в народе звали «кал-маркс», пока он загадочно не исчез со всех всесоюзных прилавков. Освоился постепенно. Унял отдышку. Заметил, приглядевшись, «дары

моря», благодаря которым магазин наш несчастный не переименовали в овощной. На этом вечно настаивали местные жители, испытывавшие удивительно стойкую тоску по минимальной хотя бы определенности. Я выдержал и это испытание. Некоторые покупатели — пожалуй, даже все они — напряженно вглядывались в оттаявшую морскую капусту, в селедку, брюшко которой выржавело и обнажило шкелетный гребешок, в маслины, съжившиеся в мутном рассоле до того, что напоминали головки эфиопских детишек-дистрофиков, вглядывались в просоленные мумии трески и ржавые, похожие на мины, консервы «Частиковые с перловой кашей и каперсами». Они раздумывали: покупать эту карикатуру для продолжения жизни семьи, а заодно и своей собственной? Я же подсчитал в уме расходы, выбил чек и подал его продавщице. Подав, вежливо попросил: «Пожалуйста, порезать». — «Что порезать?» — «Морскую капусту и треску». — «Вы что, мужчина, спятили или издеваетесь над рабочим местом?» — «Нисколько не издеваюсь, а наоборот: раньше резали и теперь нарежьте», — сказал я, подстраиваясь к языку продавщицы. «Если ты чокнутый, то иди и лечись, — сказала она миролюбиво. — Раньше резали семгу и балык. Пора знать».

Мне отвесили морской капусты, селедки, трески и маслин. Чтобы перебить неопишуемые запахи бесчеловечного рыбного магазина, я промурлыкал свой любимый напев «и листья грустно опадали», поблагодарил продавщицу, искренне попрощался с гражданами, осмелевшими от моего почина, и вышел вновь на улицу. Воздух города показался мне в тот миг вполне сносной дыхательной смесью и скромным, милым подарком еле живой природы. Разумеется, описать душок, который пер из магазинного свертка, невозможно, но радость, происходящая в душе человека от чувства исправности здоровья и новообретения погубленного дара, намного превышала некоторое мое осатанение от гадливости...

Насколько больше, думал я по дороге домой, возникает в организме душевных сил, когда возмужествовал ты принять жизнь — тяжкую эту жизнь — во всей ее

ужасающей полноте и любовном вмещении в себя взаимоненавидящих сторон и частностей, чем тогда, когда ты дергаешься высокомерно и тщетно изводишь дневную энергию на возведение дырявых преград между небрезгующей ею и самозатравленным тобою...

Первый раз в жизни решился пройти проходными дворами, столь обожаемыми Котей. Никакой дурноты. Хотя нигде задворочные запашки всего завалявшегося не скапливаются так скученно и дружно, как в проходных дворах и в затхлых их тупичках... Поднялся к себе по лестнице черного хода, чего тоже никогда прежде не делал. Лишь выносил по просьбе Коти, да и то зажав нос, пищевые отходы и помещал их в спецведра. Обьедки эти должны были, по идее, вывозиться чуть ли не ежедневно на скармливание каким-то мифическим, повторяю, пороссятам. Но тухли они, бывало, в подъездах по неделе. И вонь эта, просачивавшаяся странным образом в квартиры, наводила меня лично на нервные и безысходные размышления о разложившемся отечественном сельском хозяйстве...

Ничего. Поднялся. Прошел сквозь позорно пахнущий строй пищевых пороссячьих спецведер. Сделал на третьем этаже вид, что не замечаю отставного полковника из соседнего подъезда, притырывающего в полиэтиленовый мешочек непротухшие огрызки костей, корки сыра, колбасные шкурки и еще что-то, пригодное для пропитания трех полковничьих гончих. Гончих собак, говаривал этот общительный сосед, прокормить бывает сложнее, чем парализованных родственников... Так вот, я сделал вид, что возвращаюсь с гулянки в чумном виде и ни-че-го-шень-ки не замечаю. Но если бы вы знали, какое чувство сдавило вдруг мое сердце от горестного зрелища, какая тоска подгадила моему организму в момент его решимости соответствовать раскладу общей жизни и какие антисоветские мысли замельтешили в не зажившей еще голове, словно жирные мухи вокруг тех же спецведер, — если бы вы это знали!.. Сгорая от стыда за отставного военного, достаточно нанюхавшегося в кровавых кампаниях пороха и прочей смертоубийственной мерзости, а нынче вот не имеющего возможности прокормить достойным образом

трех любимых животных, я постучал в дверь... Молчание... Стучу снова.. Весьма, думаю, странно, потому что свет в квартире, если я не ошибаюсь, горел. Причем горел во всех комнатах... Стук мой, конечно, трудно слышать при работающем телевизоре, но не оглохла же она... Начинаю барабанить в дверь и ждать ответа. Одновременно слышу, как внизу разгорается лестничный скандал. Слышу, как застуканный кем-то полковник отбредивается и страстно уверяет, что он не только не вытаскивал никаких костей и ошкурков, но, наоборот, пытался спровадить свои личные, семейные объедки в чужое ведро, потому что в его подъезде все ведра давно не выносили, а партией строго указано не выкидывать на ветер ни одной калории. Но жильцам ясно было что к чему, и кто-то пригрозил полковнику черкануть жалобу министру обороны на противозаконные действия, чтобы притянуть его за регулярные кражи подкормка для каких-то действительно мифических поросят..

Я продолжал стучать в дверь, довольно раздраженно думая о том, где находятся эти поросята, на чьи столы они попадают после зареза и каким образом можно проконтролировать работу сборщиков пищевых отходов... Не может быть, чтобы и в таком деле все обошлось без частного мошенничества... Но теперь вы беритесь, сволочи, решил я. Теперь я не буду чуждаться гражданской жизни, выматывающей человеческие силы и нервы. Завтра же лично прослежу все тайные пути развития наших объедков в вашу беззастенчивую прибыль... Тут из магазинного свертка так отвратно шибануло в ноздрю залежалой морской капустой, изначально враждебной нашему сухопутному, как выражается мой друг философ Г-в, национальному космосу и благоразумной нашей идее квашения белокочанной прелести — так шибануло, да еще и садануло заперлой селедочной ржавью, словно заплаканными кандалами по башке двинуло, что я взбешенно полез было за ключами в карман брюк провонявшими донельзя руками. В тот же самый момент Котя наконец-то открыла дверь.

На милом мне лице — неподдельное изумление: «Почему не позвонил?.. Я боялась открывать. По черной ле-

стнице повадились ходить цыгане. Одни предлагают фальшивый мед из ворованного сиропа, другие в этот момент вытаскивают рыболовными крючками ценные вещи...»

Я пропустил мимо ушей всю эту торопливую тарбарщину. Я замороженно, как всегда, вглядывался в Котины глаза, в Котины губы, в мочки ушей, нежно налитые розовым жаром на ярком свете, в несколько растрепанные, в сладостно медовые ее волосы и отяжелевал от непреодолимого похоти. Просто остолбенел, стоя на пороге кухни со зловонными морскими дарами в растерянных руках... «Что за запах, Сережа? Что с тобой?» — «К возвращеньцу, — говорю, — купил народной закусочки. Посидим сначала или полежим?.. Целых две недели уже, Котя, листья грустно опадали...» — «Ты не-воз-мо-жен просто со своими листьями... что за народная закусочка?.. Ты действительно сошел с ума?.. Немедленно выброси все это вместе с бумагой поросытам... и прекрати с порога лезть в постель... только одно на уме... хватит фаллократствовать...» — «Котя, — удивляюсь, — я твой муж Сережа. Наше многолетнее желание обоюдно взаимно. Я не могу жить вне нашей постели, но согласен, что сначала надо посидеть, выпить и закусить». — «Выкинь, пожалуйста, эту тухлятину, прими душ и отмой руки моим мылом. Я что-нибудь приготавливаю. Ни на что не хватает времени...»

Меня разобрала некоторая обида. «На блох и пленных жертв у тебя времени хватает», — сказал я. «На это хватает, потому что это единственная наша надежда. Это премии, степень, поездки, «жигуль» для тебя же и человеческое питание. Как ты себя чувствуешь?» — «В последних астрах, — говорю, — печаль хрустальная жила... и все такое... пятое-десятое...» — «Передо мной ты можешь не разыгрывать идиотика. Я не генерал. Со мной этот номер не пройдет...»

Я промолчал, ибо холодный душок разлаженности старинных отношений связывает язык и омертвляет способность к бытовым движениям. Печально выбросил в спецведро смердящую попку. Одежду свою, насквозь пропитавшуюся букетцем морской капусты, ржавой сельди и просоленной трески, спешно вынес на балкон.

Что-то вдруг подозрительно смутило мою ноздрю, слегка уставшую от бесстрашного и небрежливого вдыхания в городе всего обыденного. Что-то странно настояжало ее. Память любого человека в таких случаях начинает работоспособно суетиться, пытаюсь откопать в себе первоисточник впечатления. Мою память обычно подзаводили к работе не внешние приметы чего-либо или кого-либо, но запахи и самые безалаберные их смешения.

Я полез под душ, раздражаясь все больше и сильнее оттого, что не могу определить происхождение учуянного. Подумал, что не мешало бы всем желающим нарушить священные границы СССР заметить следы кашицей из морской капусты, полуразложившейся селедки и выеденной солью трески. Самая натасканная ищейка схватила бы воспаление слизистой оболочки своего чудного чуяла от этой ехидно-цепкой, всверливающейся в плоть твою, тупо заворачивающей память и существенно ослабляющей умственные способности воняловки... Сейчас, думаю, отмоюсь и непременно вспомню — что это за запашок, мучительно знакомый и настояжывающий в области сердца? Вспомню, если не нашкодили ученые своими лазерами в моей памяти... Вспомню... А то, что Котя взъерошилась при моем приходе, то нету, очевидно, на белом свете такой всезабвенной любви, чтобы помогла она любящей женщине с ходу броситься в объятия мужа, презрев пропитанность его одежды и плоти ужасной продукцией советского рыбного магазина. Тут вправе возмутиться все душевные и сердечные силы человека, то есть женщины и супруги, и категорически восстать против воню, унижающей чувства и попирающей скромную красоту семейных отношений.

Под душем я ужасно продрог, потому что под дверь ванной поддувало горестным осенним холодом. Прогрог, но отвлекся от напряженного припоминания и, как всегда, мурлыкал в страстном предчувствии близости с Котей: «Был день осенний, и листья грустно опадали... в последних астрах печаль хрустальная жила-а-а...» Дважды отдраил тело свое мочалкой, но запашок навязчиво пристраивался — пакость — к внутреннему



обитанию. У нормальных людей это порой происходит с настырными фразочками, а у меня еще и с запахами. Непременно должен тут подчеркнуть, что каким бы отвратительным, возмутительным, раздражающим и доводящим до уныния ни был тот придонно-рыбный букет, воспитанный нарпитом, принадлежал он как-никак естеству живой природы, то есть мог бы вызвать даже сострадание к себе в великодушной и поэтической личности. В проникшем же во все поры нашего бытия, непостижимо пристроившемся внутри нас и подчас до неразличимости слившемся с нами запашке советской власти — запашке въедливо-хамском, размножающемся путем мизерного деления в нас всего достойного и святого, — нет ни на йоту ничего органического, а потому и не вызывает он в человеческой душе ничего, кроме бешенства, всепривычной озлобленности, ужасающе подобострастного рабства, бессильной ненависти, отчаяния, усталости и слабой надежды на внезапное посвежение...

Выхожу посвежевшим и несколько взбодренным. Ничего, к счастью, не учуиваю, кроме колбаски, шпрот, поджаренных хлебцев, засоленных лично мною патиссончиков, салатика «оливье» и кусков душистой дыни. А из кухни потягивает жареным литовским салатом с луком.

На глаза у меня навернулись слезы от родного быта, расположения ко мне аппетитного застолья и родственного, любовного внимания жены, которое, скажу я вам откровенно, зажигает в вас все пылкие чувства сильнее и мгновенней, скажем, чем обалденные ее ноженьки в полах распахнутого случайно халатика... Ну, говорю, Котя, давай чокнемся. Я теперь старший научный все-таки... ха-ха-ха... постараюсь химичить, чтобы и рыбку съесть, и, сама знаешь, на что не сесть... за нас с тобою... люблю... хочу всегда... листья грустно... салатика подкинь...

Взволнован я был так возвращением домой и сладчайшей минутой совместного застолья, начисто отстраняющей весь прочий мир от двух близких существ, что непритворно разыкался и заидиотничал. Любое сильное чувство оглуляет, и никуда от этого оглушения не денешься.

Выпил я и разболтался, словно поверивший в себя поэтишка, о возможностях моей способности и хитромудрых вариантах ее использования с откровенною, цинической целью слегка разбогатеть и уйти до конца дней в загородный покой... Соловьем заливаюсь... Выпиваю и закусываю... Глажу, налопавшись, Котину ручку. Затем завожу любимое танго. Уняв желание, приглашаю милую свою даму станцевать, с тем чтобы, старомодно поплавав... и листья грустно опадали... после старомодных же танговых па подхватить ее на руки и, кружась, ввертеться в нашу спальню со звучащим в сердце гимном интимной жизни...

Чувствую, однако, необычайную вялость Котиных телодвижений и плохо скрываемое равнодушие в выражении лица. Спрашиваю: не устала ли?.. Может быть, снова неприятности и грязные интриги?.. Вместо ответа Котя подводит меня в танго... и листья грустно опадали... к блохообщезитию моей конструкции. «Смотри, — говорит, — я открыла способ ускоренного развития своих питомцев. Перепробовала все: свежесотрубленные обезьяньи лапы и хвосты, петушиные гребешки и нежные уши морских свинок — их от всего воротило, а ведь все это эквивалент моего праздничного пайка. Это все равно что икорка, крабы, салями и польские вишни в сахаре. Знаешь, на что малышки клюнули? — Я дал понять кивком головы, что меня это чрезвычайно интересует, не выходя из танго. — На кусочки парной телячьей печенки. Теперь ты каждое утро изволь мотать на Тишинку. Как твое самочувствие? Все-таки чудо, что они вернули тебе обоняние...»

В этот момент, как и положено в танго, я зарылся лицом под Котины завитки — впиваюсь опьяненно в нежнейшую местность вблизи ключицы и со стоном дотрагиваюсь губами до мочки уха... Но меня, как по голове колуном, вдруг оглушает исходящий от Коти острожужеродный запах постороннего мужчины. Он всегда сохраняется в нежной выемке ключицы — и твой собственный, и чужой запах, — как остаток ночного тумана в восприимчивой луговой ложбинке... Нет, это не сослуживцами несет. Запах сослуживцев внедряется лишь в одежду да в волосы, и состоит он из институт-

ской химии, сигаретного курева и тошночернильной бюрократии... Продолжаю по инерции вести Котю сквозь хрустальную печаль последних астр, но руки мои, чувствую, грустно опадают... опадают с Котиных плеч, мертвеет сердце от жуткой и безошибочной догадки... Как собаке, становится мне совершенно ясно, что здесь происходило в мое отсутствие. Если бы не морская вонища, я бы, безусловно, с полунюха все сообразил, как только вошел в квартиру. Ошибки, к сожалению, никакой тут не могло быть, хотя взмолился я в тот миг, чтобы это оказалась моя послеоперационная ошибка, чтобы это была каверза разлаженной памяти и жестокая подъебка ревнивого воображения... Бесчувственно вожу Котю по квартире... слезы-ы-ы ты безутешно проливала... принимаюсь... ты не любила-а-а... в спальне чужой этот бесящий меня душок был особенно нестерпимо смешан с запахом Котиного белья, наших простынок... и со мной прощалась ты-ы-ы... кружевных занавесок — они удерживают запахи, как паутина мух, — ах эти черные глаза меня пленили-и-и... не для того ли составлен был прежде заговор и ликвидировали во мне помеху семейному блядству?.. Никаких нет в этом сомнений, и, если бы не случайная бдительность органов, я бы проживал с изменницей, словно глупый бурундук, набивший орехами защестье... Заново поставил пластинку... И листья грустно опадали... запах этот ни с каким другим не спутаешь... вот оно что, Котя... в последних астрах печаль хрустальная жила... вот оно что... видно, память моя помилосердствовала — не оглоушила сразу сокрушительной догадкой... но не проклятье ли — сие возрожденное обоняние?.. Садись, говорю изменнице и шлюхе, напротив меня, подними черные глаза и смотри в мои не отрываясь... я тебе расскажу все кино, которое вы тут без меня крутили... садись, сука, не то безжалостно врежу хрустальной вазой по всем твоим астрам так, что листья вовек не опадут...

Никогда так не разговаривал с Котей. Никогда. Но вид у меня, очевидно, был такой твердояростный и обезоруживающий несомненным знанием всех обстоятельств случившегося, что она села на диван, поблед-

нев, и попыталась откалякаться: «Ты ненормален... за-чем они тебя выписали?.. Ты отдаешь себе отчет?.. Успокойся... давай вызовем...» — «Молча-а-ать! Молча-а-а-ать... предательница... пионерско-комсомольская блядь... Молчать — не то убью ржавой сельдью и глотку заткну морской капустой... молчать!.. ни слова лжи!..» — перебил я в бешенстве Котины омерзительные попытки пофинтить с призраком неминуемого.

Мне все, повторяю, было ясно. Для частичного успокоения жахаю полстакана коньяку в плане борьбы с антиалкоголизмом Горбачева. В душе — болезненная неразбериха и тоска. Пыль крушения жизни застилает глаза. В сердце адским воплем исходит подыхающая, как бездомная псина, преданная моя любовь. Эта же мразь сидит не шелохнется, уставилась на меня в ужасе во все свои черные глаза... Лучше, господа, любить безглазую, несчастную тетю Нюру — жертву сернокислотной ревности, — чем эти черные глаза, которые... ах вы меня пленили?.. Беру любимую свою пластинку, крутившуюся столько лет в моем проклятом мозгу и днем и ночью, крутившуюся безумолчно и подзаводившую меня на чувство и бодрость сил в пустыне жизни, беру и разбиваю ее со скрежетом зубовым — разламываю пополам об колено, а потом — на более мелкие части... безвозвратно... слезы-ы ты безутешно проливала... ты-ы не любила... и со мной прощалась ты... ах эти черные глаза... измельчил яростно пластинку... От треска частей Котя вздрагивала, как от выстрелов... «Серенький, умоляю: успокойся... выпей седуксенчика...»

Молчать, говорю, кино у вас происходило следующее. Если вымолвишь, предательница, хоть словечко — осиротеют все твои блохи... То, что я скажу, открылось мне впервые вне памяти и сплетен... Я тебе такого выпью седуксенчика, что мозги у тебя из ушей вытекут, как у загубленной шимпанзе... Меня кладут на восстановление нюха. Ты спешишь на свою ебаную Красную площадь... Да! Во мне оживлены зарубежными светилами все центры воспаления народной жизни и бурления языка. Да.

Без мата я теперь ни шагу. Молчать, блядища... Ты приходишь и раскрываешь поганую свою пионерскую

варежку на солдафонскую истуканщину караула. Верно?.. Тебе приглянулся с некоторых пор один пучеглазый болван. Может, не приглянулся? Может, плевать тебе было на разнообразие болванов? Может, все эти трупоохранительные рыла — на одно, бля, виноват, для тебя лицо и прочие органы?.. Молчать!.. Ни слова — тут тебе не нарсуд, но Высший Трибунал обосранной любви и преданного брака... Полагаю, что порочное засело в твою плоть еще в период полового созревания. Теперь мне — оленю — вполне это ясно. Помню все признаки замаскировавшегося полового извращения и навязчивой мечты... Помню... Принимал их за восторг идолопочитания косоглазого сифилитика. А ты вот отчего топталась с ноги на ногу, как обойденная петухом клушка, и все гузно свое выпячивала... выпячивала, извращенка... и губки облизывала... ах, Сережа, я заснуть временами не могу, не сходимши на Красную... И как я мог проглядеть все это? Как мог не учуять, чуя иные, не постижимые людьми тайные зависимости чувств и мыслей? Но теперь... теперь, если тварь какая-нибудь попросит у меня стакан воды на ночь, я вскрою с бешенством ебучую подоплеку подобной лживой жажды... Молчать! Налей-ка коньячку, караульная половица.

Выступление свое обличительное передаю дословно, ничего не утаивая. Мат и незнакомые словечки, сыпавшиеся тогда из моих уст, удивляли меня безмерно. Сдерживать их было бесполезно — песок сыплется из гнилого куля...

Итак, болван этот, с надраенной красным гуталином кирзовой рожей, усек знакомое лицо, явившееся наконец-то без мужа, без этого теленка вислоухого... Молчать! Плевать мне, в какой именно из моментов освобождения от службы подканал он к тебе. Может, даже сразу после установки синего своего штыка в козлы. Не знаю, был ли он в форме... По глазам вижу, по слабо-вольным глазам твоим вижу, что без формы был бы он тебе не мил. Без формы и я у тебя имелся на худой конец... Подходит, выпятив накладную грудь. Щелкает, возможно, каблуками... Здравсьте. Неоднократно млел при виде вас в напряге бокового зрения. Может, процо-

каем по нашей брусчаточке в более интимное место? В восемь мне снова заступать на пост номер один СССР. У какой же трясогузки, скажите, не лопнет резинка на рейтузах от слов «пост номер один СССР»? Людмила Зыкина и Алла Пугачева... Молчать! Я не глумлюсь над народными святынями, а запоздало вскрываю женскую слабость и тяготение ваших страстей к разнопогонному антуражу... Ах вы поганы! Поганы!.. А вот сейчас отвечай мне в точности: так оно было или не так? Соврешь — скормлю тебе из спецведра всю морскую капусту. Рылом тыкну и скормлю... Я тебя нынче ознакомлю со своей решительной натурой... Ты меня тоже, сукоедина, не знала до этой минуты, как, впрочем, я и сам себя не знал. Тем лучше — будем знакомы, Константина Олеговна... Так оно все было или не так?

«Так, Сережа, прости... стряслось что-то неожиданно с подкоркой...» — «Дальнейшее восстанавливать перед тобой и собой не желаю, — говорю. — Тут и дураку ясна картина морального падения. Форму ты его попросила не снимать, я полагаю?» — «Прости... прости... это же форма во всем виновата. Я же не для секса, Сережа... я ради комплекса...» — «Штыком тебя он соблазнил своим караульным, мразь...» — «Сексуально Игорь абсолютно ничтожен...» — «Значит, каждый раз, не сняв шинели, фуражки и сапог, заваливалась эта истуканская модель на нашу брачную коечку?» — «Ты, Серый, совсем меня за блядь какую-то принимаешь... Все происходило на полу. Всем святым клянусь тебе — «Надеждой Афганщины», степенью, любовью нашей клянусь — только на полу...» — «Неоднократно?» — «Пять вечеров... прости... я должна была уничтожить в подкорке эту проклятую форму... эту казарменную чучеловость... эту их мерзкую привычку отпечатывать шаг... ты себе не представляешь, во что превращает неплохо, в сущности, парня караульная служба в Кремле... Давай, Серый, поговорим начистоту перед лицом нашей драмы...» — «Это не драма, а человек с ружьем. Дегтем его оружием все вокруг провоняло и сортирной казарменной хлоркой... потными подворотничками и проодеколоненными галифе... одеколон «В полет»... провоняло показательным моргом, — ору, — под-

набралось душка Верховного Совета СССР... впитало всю отвратину главной конторы советской власти — оккупированного красной дрисней Кремля... вот что ты дома наделала... еще налей рюмку и дай лимончика, сволочь...» — «Выпей, Серый ты мой, успокойся. Жизнь искручивает нас в пороссячий хвост помимо нашей воли. Это абсолютно доказано закрытой психологией. Я дам тебе почитать материалы коллоквиума... Конечно, ты можешь подать на развод. Я признаюсь на суде, что изменила. Но изменила бессознательно, внутренне оставаясь верной... прости, Серый... это и не секс был вовсе, а какая-то... несуразная смена караула...» — «Свято место, — говорю гневно, — без караула не бывает... трижды вымой пол стиральным порошком, открой окна... то-то не хотелось тебе в палате... дружки погибли в Афганистане... вот как дело было. Все встало на свои места... все проветрить немедленно... чтобы ни молекулы этой ни единой не смердело в доме — ни кремлевской, ни караульной, ни солдатской, ни мужской вражеской молекулы чтоб не смердело тут, повторяю... затем — раздевайся... у меня тоже имеется вполне беспринципное тело...»

Закрыв лицо ладонями, раскачиваюсь от душевной боли, как раскачиваются несчастные от внезапного флюса, и подумываю: не убить ли мне ее в благородном порыве? Мне ведь не будет ничего. Два раза человеку лезили в мозг. Напортачили. Задели инструментом разумность и расшевелили зверскую невменяемость. Наверняка ничего не будет, да и генерал всемерно поможет... Сволочь, думаю, знал ведь, что Котя тут скурвилась без меня. Нюх у них на это сыскное дело не хуже моего. Знал и специально выводывал насчет запаха женской психики... Убью, пожалуй. Выкину в окно. Лети, и пусть тебе во время полета будет мучительно стыдно, гадина... Решившись на месть и наказание, представил вдруг новое свое одиночество. Представил, как до конца моих постылых дней не удастся мне выветрить из себя и из дома единственно любимый, родственный, желанный, Коти моей присутственный запах. Представил, как взмолюсь я от крайней тоски о возвратном чуде, но жизнь даже пальчиком не пошевелит ради соответствия безумной моей

мольбе... Разрыдался от счастья, что можно не совершать в эту вот минуту ничего горестно необратимого. Словно вырвался в удушие из лап безжалостного сна... Смотрю — Котя стоит передо мною голенькая, хотя все окна открыты, и листья грустно опадают... одной ногой чулочек с другой стягивает так грациозно, что невозможно было в тот миг не подивиться ничтожной жалкости некоторого заблуждения этой любимой личности на фоне нашего многолетнего общего чувства и не внять ясному порыву души к превозмогающему ужасную обиду прощению. Тут я разрыдался еще пуще... пластиночка-то разбита... сле-е-езы ты безутешно проливала... ты не любила... и со мной прощалась ты... И началось у нас бурное, как говорится, примирение до самого утра... в последних астрах печаль хрустальная жила и так далее... Состоялась, можно сказать, вторая наша брачная ночь, бывшая в кое-каких интимных деталях и непредвиденных мелодиях ошеломительней первой.

Конечно, в паузах зверски меня мутило от невыветривающейся кремлевско-караульной мрази с примесью крематорийной хвои голубых елей и мавзолейной сливной ямы, куда партия настойчиво продолжает затягивать толпы отупевших людей.

В этих паузах я допрашивал Котю: с какого возраста у нее возникло комплексное тяготение к караульным дядям?.. Один ли остолоп тут побывал или полроты?.. Как его — сволочь — зовут?.. Когда он заступает на пост?.. Я жду правды... только правды... какой бы жестокой она ни была... Мне также нужна фамилия... я не собираюсь жаловаться в ЦК и коменданту Кремля, но желаю знать, кто именно давит косяка на трупопоклонниц СССР и разных заграничных жоп, прилетевших сюда за тридевять земель, вобрать в нюхало номенклатурной мертвечины?.. Вот как у этих рослых наших болванов, похожих на показательных боровков ВДНХ, стоит на посту номер один СССР... Молчать — ты потеряла право голоса в половом адюльтере с караульной кирзой...

Словечкам своим и выражениям я сам весьма удивлялся в момент произношения. Выходило из меня все накопленное памятью за долгие годы брезгливого отст-



ранения от народной жизни. Однако разговорился я до того, что Котя перешла в наступление и заподозрила меня в симуляции идиотизма с целью ввести в заблуждение генерала и нейрохирургию. Тогда я опомнился, что залез выше крыши, и сказал, что теперь у меня бывают периоды одеревенения языка с речью, сменяющиеся бесконтрольной болтливостью. Наврал помимо своей воли — блядство жен рикошетом бьет по нравственности мужей, — что я объявлен сверхсекретным субъектом, а поэтому Котя получит ко мне доступ номер один...

Примирение наше, одним словом, действительно было бурным и бессонным. Под утро я в сосиску накирлся коньяка и пристал к Коте с ворчливым вопросом насчет национальности этой подлючей шинели, тухлого штыка и портяночной кирзы. Тут Котя, обнаглев, закричала, что я мог бы «уважительней отзываться о человеке, так или иначе переспавшем не с какой-то фабричной шлюшкой, а с твоей собственной женой»... Логика этого высказывания и претензии как-то не сразу уместились в моем воспаленном мозгу. Я строго попросил повторить. Вместо ответа Котя начала одеваться, чем совершенно меня обезоружила. Да и кто из любящих не сдаст своих выгодных позиций и не размякнет от полной обезволенности, когда подлое, но любимое существо обиженно набрасывает на себя комбинацию и так гневно одергивает на милых плечиках бретельки, словно готовя крылышки к безвозвратному отлету в иные руки, что вы, сами того не замечая, опускаетесь с высот гордого презрения до зачуханных половиц окончательного пресмыкательства? Никто. Я даже уверен, что Отелло покончил со своей дамой не столько из ревности, сколько из желания хоть как-то предупредить наползающую на душу слабость характера. Я также уверен, что люди с так называемой несгибаемой волей вредней в миллионы раз для всего человечества и каждого человека в отдельности, чем личности слабовольные. Короче говоря, я поступил в тот раз отчасти как Отелло, отчасти как обезоруженная тряпка — я Котю первый раз в жизни прилично отмудохал... Сорванной с плечиков комбинашкой — по астрам... по аст-

рам... чтоб грустно опадали... печаль прощальная жила... марш — обратно в постель, похотливая пионерка...

Начались очистительные рыдания с ее стороны, заверения в моей половой неповторимости, основанные на опыте одной-единственной измены за несколько трудных лет совместной жизни, и разные, совершенно неожиданные для меня, примирительные сексуальные поступки. Я все же настоял, чтобы Котя ответила насчет национальности «этого ночного сторожа». Котя сказала нехотя, что у них не было никакой интеллектуальной близости... «с ним буквально не о чем было поговорить, но он признался однажды, что его мать была полуполькой-полувеврейкой, а отец — полулитовцем-полутатаринном. Сам же он считал себя почему-то чистокровным русским...».

Под этот рассказ, с бешеной ненавистью к постовой сволочи и с мыслью о печальной истории Кремля, я наконец провалился в сон...

Просыпаюсь с закономерным треском в башке и от жуткого грохота в дверь черного хода. Схватился за голову в страхе, что вот-вот разойдутся черепные швы и придется вызывать «скорую». Открываю дверь. Там — толпа жильцов, участковый и управляющий техник-смотритель.

«Неужели вы, товарищ Штопов, не чувствуете, какую вонь развели в общественном подъезде?...» — «Это же, понимаете, вызывающая антисанитария...» — «Вы ответственные за два сердечных приступа с невыходом на работу...» — «Я, — отвечаю, — ничего такого не замечаю в последние часы, но спецведра пороссячьи следует опорожнять в положенный срок. Или мы прекратим откармливать ваших мифических поросят. Вы разбудили оперированного...» — «То, что вы кидаете в спецведро, никакие поросята есть не станут...» — «Давайте, товарищи, вынесите ведро на помойку и ликвидируйте лишнюю вонь...» — «Неужели вы ничего не чувствуете?» — «Правда, что в народе говорится: своя воньща не пахнет...» — «Я, — повторяю, — оперированный на голове. Я на больничном. Зайдите, товарищ участковый, в квартиру. Вы сейчас поговорите с кем следует. Остальные ждите в подъезде. А провонявшие дары моря я купил в нашей «Рыбе»...»

Тон мой юродски-начальственный смутил местных заправил и нервных общественников. Участковый проследовал за мной. Сняв фуражку, туповато склонился над блошиным загоном, разглядывая кишевших на бескалорийной кошме насекомых. Я набрал служебный номер генерала. Адьютант соединил меня с ним мгновенно. «Серый? Доброе утро. Я тут как раз твои ночные разговоры прослушиваю. Очень складно. Молодец. Поправка идет гигантскими шагами. Ты — мужичина, но финтить хватит. О'кей? — Все во мне от этих слов провалилось в тоскливую бездну. — О'кей, Серый? Ты что молчишь?» — «Тут меня, товарищ генерал, беспокоят по линии ЖЭКа, — говорю как ни в чем не бывало, — запахи их беспокоят из спецведра для поросят. Прошу воздействовать...»

Я передал трубку участковому. Тот, стоя по стойке «смирно», доложил что к чему. Подтвердил факт смердения морской капусты, сельди и трески. Не знаю, что именно наговорил генерал менту. Тот не успевал отвечать: «Есть... есть... слушаюсь... будет выполнено, товарищ генерал... есть... служу Советскому Союзу...»

Затем — пулей вылетел из квартиры. Я снова взял трубку. «Вот что, Серега, — сказал генерал, — не думай, что я тебя не понимаю. Я все прекрасно понимаю. Мне самому у нас работать неохота. Работа тяжелая и временами грязноватая. Переделка мира — не проктология. Ее в перчатках не делают. Ясно?» — «...Листья... листья... грустно... в последних астрах, товарищ генерал, ты... безутешно проливала... хрусталь прощальная жила...» — провякал я, потому что больше ничего не пришло в мою голову, потрясенную тотальным подслушиванием частной личной жизни и, таким образом, полной моей интимной оголенностью и незащищенностью...

«Бросай, говорю тебе, Сережа, финтить и строить Харламова. Нормально — увиливать от сотрудничества с органами. Я это уважаю и, повторяю, понимаю. Но мы с тобой поработаем. Не будь большей, чем Феликс Эдмундыч, чистюлей. Мы тут не хуже твоего идеалисты, гуманисты и поборники прав человека. И ничего такого позорного для твоей чести и совести ты делать не будешь. В частности, повременим с обучиванием под-

следственных. Не беспокойся. Иду тебе навстречу. И ценю, повторяю, внутреннее твое благородство. Нам полураспавшихся циников не требуется. Мы не свинарик, Сергей Иванович....»

В этот момент разговора — разговора почти одностороннего — я поглядел в окно. Техник-смотритель с одним из общественников выносили наше спецведро на помойку. Чувствовалось по их лицам, что они из всех сил задерживают вдохание в себя смердения даров моря...

«Так что ты, Серега, давай слегка опохмелись и отдохай, приходи в себя. Главное — проникнись раз навсегда мыслью о том, что ты со всеми потрохами принадлежишь народу и, в его лице, нам, то есть движущей силе истории. Ну что, трудно тебе будет полетать на вертолете по красивейшим местам Анголы, Никарагуа, Афганистана, а вскоре и Ирана и понюхать — разнюхать, где у них притаились редкие периодические элементы?.. Что молчишь?.. Можешь сам планировать полезные нам фокусы своей гениальной носоглотики. Кто тебе возвратил-то ее?.. А?.. Молчишь?.. То-то и оно-то, Серый, что мы с тобой немало наворочаем чудес. Это разные великие поэты начинают мощно действовать после откидывания копыт, а мы с тобой должны поканителиться, пока ты жив и вертухаешься. Заверяю, что ничего такого, беспокоящего твою совесть, учуивать ты не будешь... Договорились?»

Что мне было отвечать? Я горько задумался. Куда деваться? Теперь и в Израиль не выпустят с фиктивным браком...

«А про финты твои, Серега, я забуду. Я сам ведь таким был в годы либеральной оттепели. И считаю это очень хорошей закалкой старинных душевных традиций. Но неужели ж совесть твоя романтическая позволила бы тебе не учуять среди подозреваемых ублюдка — растлителя и убийцу малолетних девчоночек?» — «Убийца и насильник — другое, — говорю, — дело», — невольно давая таким образом согласие на сотрудничество с ними. «Вот за такие слова, Сергей, я лично тебе благодарен. Нисколько не сомневался в тебе. Давай отобедаем по этому случаю в приватном порядке. В ка-

бинете. В «Арагви». Это наш кабачок. Только там — никаких дел. Исключительно — треп о жизни. И никаких «генералов». Там я для тебя — Вадим. О'кей?» — «Ладно, — говорю, — посидеть не мешает в хорошем ресторане, но трудно выносимы официантские миазмы...» — «Нас обслуживают наши ребята. Давай ровно в два ноль-ноль. Насчет дам не беспокойся. Пускай твоя Котюля поревнует. Кстати, скотина эта караульная последний раз стоит сегодня на почетном посту. Мы ему покажем, поганцу, как злоупотреблять служебным положением и вертеть по сторонам глазами на посту номер один нашего государства. Татаролитовожилополячишко нашелся. Враг...» — «Не надо, — говорю, — вам ему мстить. Возмездие нужно учинять личным образом и без технологии власти...» — «Это ответ настоящего мужика, Серега. Верь: я тебя даже люблю за чистый характер и персональное достоинство. Я в тебя ткну как-нибудь парочкой настырных наших критиков и покажу им, что классический, понимаешь, русский человек не уничтожен, что не распался он на противоречивые и молчаливые части, но мучительно осуществляет свой выбор на рубеже времен. Если же ты заманишь часового этого в афганскую ловушку как басмача и оторвешь ему яйца вместе с карабином, то можешь считать дело свое закрытым. Одним словом, ровно в два ноль-ноль. Форма одежды... непринужденно-штатская. О'кей?»

Мне что-то стало так легко и весело от возможности не охотиться с органами за людьми в их учреждении, что я тоже хохотнул и сказал: «О'кей». В словечке этом, новом для меня, было что-то такое бессмысленно-бодрое и обязательное, не то что в нашем лениво-раздумчивом и ужасно неопределенном «ладно».

Пообедать в компашке со всесильным, отвратительно-неглупым чекистом? О'кей. Почему нет? Может, я его ненавязчиво подвигну принюхаться к себе самому? Может, мы еще посоревнуемся. А то, что я поработаю на них тонкостью нюха... Нечего делать вид, что выдувание сложнейших приборов для военной бактериологии ненавидимой мною советской власти — занятие безвредное для совести. В советской власти виноваты все. Даже уборщица в сортире и кассирша в «Уни-

версае». Даже отъявленные враги этой бездарной власти, одной рукой сочиняющие письма к мировой ответственности, а другой режущие советскую ливерную колбасу исключительно для продолжения жизни, поддерживают в какой-то мизерной степени жизнь советской власти. Нельзя же протестовать против, извините за выражение, ебаной советской власти трехсот-миллионным массовым самосожжением? Потому что всеобщая смерть и есть любимейшая и тайнозаветнейшая цель советской власти. Стоит ли приближать ее окончательную победу своими собственными руками? Нет. Нам надо жить во что бы то ни стало и несмотря на нее. Посмотрим, кто кого в конце концов — как бы мрачно ни выглядело последнее выражение — передождит. Надо жить и хоть как-то хитроумно изгаляться каждый день в науке — увиливать от всех бытовых, телесных и душевных пыток этой надчеловеческой проказы, пропитывающейся временем и нервом нашей жизни.

Тихое уныние человеческих существ, тянущихся и втянутых в тупое и бездумное поклонение сифилисному труп, зачавшему советскую власть как образину смерти, тоже есть прямое ее подобие... Возвеселись, Сергей Иванович...

Так я думал, побрившись и пополоскавшись в ванной. Швы от воды уберегал. Только побрился — снова звонок в квартиру. Я — голый. «Кто?» — «Мы — курьер от самого». Я накинул Котин халат на свое еще не опохмелившееся тело. Открыл дверь. Там стоял безликий дедина, при виде которого нельзя было не подумать о том, что он курьер. Жизнь в этом смысле бесконечно милосердна... Всем находится в ней место — уродам, курьерам, стеклодувам, генералам, бактериологам, говночистам, Горбачевым и так далее... Все это промелькнуло в трещавшей башке, когда я расписался в получении необычной бандероли. Хотел сунуть курьеру полтинник. «Мы не берем», — сказал он и скрылся в лифте.

Разворачиваю пакет — и не верю глазам своим: новенькая пластинка «Танго прежних дней»... Боже мой... Боже мой, шепчу, какое счастье. Словно не разбивал я ее в приступе бешеной обиды и святой ревности.

Словно не переламывал на мелкие кусочки, разъярясь все сильней оттого, что становятся они все мельче и мельче... Словно не замела их Котя во время одной ночной паузы в помойку... И ведь не Сахаров с Солженицыным прислали мне «Танго прежних дней», а они... Хреново это, но жить-то с ними надо, а не с истинными героями нашего времени... Бла-а-агодарен, господа... бла-а-агодарен... и преисполнен частной признательности... со всеми бы вы так... одному — пластиночку любимую и безвозвратно, казалось бы, загубленную... другому — книжечку «Технология власти», скажем... третьему — езжай себе в Парижи и Лондоны, погляди — и снова на работу... четвертому — полежи, милая, в психушке, и хватит. Извини, но мы не звери... а кое-кому — да пропадите вы пропадом со своим сельским хозяйством. Развивайте его своими силами, а не топчите общую землю казенной стопою... Ведь ничего это им не стоит... сделать же так легче, чем уговорить собаку не следовать за сучкой в известный момент природной ее жизни... Сделать так — значит пойти с предупредительностью нежной навстречу истосковавшейся по достойному обращению природе человека... Но хрена с два, видать, пойдете вы навстречу в более широком, чем со мною, смысле, потому что природа *вашей* власти изначально враждебна *нашей* людской природе, и вы — лишь кусачие паразиты на жирной, кровонасыщенной кошме соньки... вы — вши, клещи, клопы, блохи, тараканы, мокрицы, мандавошки и невидимые невооруженным глазом болезнетворные микробцы... вот вы кто... ебал я *ваши* танго...

Не знаю уж, что именно происходило тогда со мною, но пластинку новую занес я уже над плахою колена, чую отвратительную неприемлемость такой вот ситуации жизни и не умея в ней как следует разобраться; занес, но в тот же миг роковое мое движение предупредил звонок Коти... «Ты в порядке?...» — «Ванну принял. Помещение продолжаю проветривать...» — «Я достаточно повымаливала у тебя прощения. Или давай разводиться, или кончай выйбываться с намеками, как вша на сковороде...» — «Должен сказать, — отвечаю, чувствуя, что жене я все прощу... — знаю я, что вы меня любили, что

вы ушли... скажите: по-о-очему?.. а не прощу я никогда ничего погани соньке, ибо в ней, кроме крови нашей, пота и душевных сил, нету ни черта органического, — должен сказать, Котя... безумно и безусловно должен проветривать помещение до исчезновения ненавистной и чуждой мне молекулы. О'кей?» — «Спасибо, Серый... если бы не эти твои слова — привила бы себе чу-му... вошла бы в блошатник — и точка... но звоню я из автомата. Понял?» — «Понял. Только не думай, что звонишь ты из автомата в автомат. Ясно?» — «Все о'кей... Кто тебя научил этому словечку?.. Покорми, пожалуйста, моих писек... понял кого?» — «Ладно. Покормлю». — «Что делать собираешься?» — «Деловое свидание». — «Не забудь накормить писек...»

Не ведаю уж, почему Котя называла своих блох, скрывающихся в нашем доме, «письками». Подхожу к тварям, для которых собственноручно соорудил эlegantное обиталище. Модерновый, как говорится, стеклянный мавзолейчик. Наблюдаю за их копошением в кошме и думаю: как ни зловредны эти кусачки, а жрать и им охота... Полез в холодильник. Не нашел там телячьей печенки. Не свою же руку дать обглаживать блошиной своре? Отверстие для всовывания руки в мавзолейчик было ведь мною учтено по Котиной просьбе... Нечего давать с похмелья каким-то мелким врагам пить драгоценную кровь. Я бы сам сейчас, думаю, хлебнул стакашок вражеской кровушки...

В этот момент меня и осеняет тонкий замысел благородной мести, в которую можно вложить всю душу, все накопившиеся в мозгу противоречия и даже робкую мечту о протесте.

Моментально же прилаживаю горелку к газовой плите. Смотрю на часы. Вполне можно успеть. Времени хватит... Быстро выдуваю переносной садок для блох. С одной стороны прилаживаю обрезанную клизму для нагнетания воздушной струи внутри садка, а с другой — задвижку, из которой блохи вырвутся под давлением воздуха в нужную сторону. Получилось очень изящное изобретение. Клизмой же втянул я в садочек, словно в воду, множество насекомых. С голодухи были они вялыми и покорными.



Затем бреюсь, выпиваю крепчайшего чайку, облачаюсь в парадный костюм, кладу в боковой карман садок и решительно направляюсь на Красную площадь... Котю я простил, думаю, безрассудным, сердечным образом, но ты, сволота, получишь у меня за словленный на квартирном полу кайф...

Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних астрах печаль хрустальная жила. Плащ я повесил на руку, чтобы он притырил садок, когда буду делать выпад.

Внешность караульной падали Котя описала мне ночью, после моих допросов, достаточно брезгливо и подробно. Время заступа на пост тоже было известно.

Очередища трупопоклонников уже тянулась, ничего не понимая в происходящем, из Александровского сада к пирамиде садиста и сифилитика. Прикидываю: как бы мне удобней обернуться? Если встать в очередь, прикинувшись полиомиелитиком — так я сэкономил, бывало, время в магазинах — и что-нибудь к тому же мыча, то придется воленс-неволенс проследовать мимо «сухофрукта». Придется от пуза нанюхаться всесоюзной вонищи, не имеющей ничего общего с достойной народной жизнью. Может быть, придется даже сблевануть от омерзительного душка поклонения трупу номер один СССР или упасть в обморок. Народную жизнь, думаю, принял я в себя и уклоняться не намерен, какие бы ни исходили от нее запахи. Эту жизнь надо разделять, а не воротить от нее капризное чуюло. Но партийно проявленной, навечно прокопченной и смраденько засоленной мертвечиной наполнять божественные свои легкие я не желаю. От вонищи этой и так никуда не деться. На каждом шагу и так она преследует твой глаз, твой слух, твой нюх и твою душу... Без меня, пожалуйста... Я лучше, думаю, прилажусь к постовому, когда истукански проследует он от Спасской башни к своему почетному посту. Рискну...

Группки иностранных туристов выстроились уже по пути следования ожидаемой караульной смены... Этим все равно что щелкать — слонов, эфиопских дистрофиков, голландских блядей, случку китов, Папу Римского и так далее. Им лишь бы щелкать и хавать, не переваривая умственно и душевно все нащелканное, а потом вы-

сирать это на простынки настенные на глазах у любопытных друзей и родственников... Щелкайте, господа, щелкайте...

Вот показалась в воротах смена. Вглядываюсь. Вглядываюсь — и узнаю одного паразита среди остальных. Просто вспомнил я, ко всему прочему, что Котя именно на него глазела особенно долго во время вечерних наших посещений величественной этой площади... Вот он — болван, который... Бешенство и жажда возмездия так меня в тот миг ожесточили, что, будь в моих руках не биологическое оружие, а гондон, говном набитый, — метнул бы его, не задумываясь, в окаянного соперничка... Был случай такого бомбометания в нашей средней школе. Жертвою покушения стал зверствовавший директор школы. Покушавшихся отправили в детскую колонию...

О последствиях я тогда не думал, и вообще ничто уже не могло бы меня удержать от необыкновенной местности.

Соглядатаев и зевак удерживал на месте веревочный барьерчик. В одном месте его не было. Я встал там и, когда истуканы чеканили свой солдафонский парадный шаг в непосредственной от меня близости, наклонился, словно споткнувшись, сжал со всей возможной силой клизму, приоткрыл задвижку и засадил заряд голодных блох в ненавистную фигуру, пахнущую на меня казарменными покаяниями и сволочной оружейной смазкой... Как могла она с ним?.. Как она могла?.. О гнусные ритуалы бесчеловечной власти, развращающие душевное здоровье...

Все прошло благополучно, к величайшему моему удивлению. Лишь милиционер корректно попросил меня соблюдать положенную дистанцию...

Бамкнули куранты. Караул сменился. Отстоявшие на посту проследовали на отлежку, хотя мелькнуло у меня подозрение, что после службы истуканы эти возвращаются на площадь и волокут куда-нибудь на случку замороженных ранее куриц...

Смешиваюсь с толпой праздных гуляк и туристов неподалеку от входа в персональный морг. Глаз не отрываю от тупой, чуть ли не до кости выбритой рожи совра-

тителя. Как это, думаю, ухитряется он разглядывать стоящих в толпе и млеющих от синих штыков дамочек?.. Очень ловко надročился, подлец. Стараюсь не прозевать момент, когда изголодавшиеся насекомые подберутся наконец к мертвенно застывшей караульной плоти... Когда перескочат они застешки, петельки, обшлага, резинку и обожгут мерзавца жадными прикосновениями ядовитых клещиков... Ну, Игорек сучий?.. Каково тебе, будущая гэбэшная образина и кремлевская шестерня?.. Не чешется еще?.. Видишь ли ты меня развитым боковым зрением?.. Он — не шелохнется. Может, думаю, блохи мимо скаканули? Нет, напор был строго направленным, и всадил я его прямой, можно сказать, наводкой под шинельную полу этой пакости. Жду, но ничто не дрогнет ни в физии его, ни в фигуре... Может, блохи всю кусательность свою развратили на телячьей печенке и прочей изысканной пище? Или прыгучесть утратили? Что с ними? На афганцах же живого, бывало, места не оставляли... Но вот — сквозь некоторый грим, наложенный на тупое лицо для пушей площадной театральности, смотрю, проклевывается пятнами румянец. Началась реакция мучительного сдерживания неудержимого порыва чесануть укушенное место в истуканском теле подлнца. Началось-таки! Попробуй почешись! Попробуй распоясайся, отставь карабин в сторону и сунь руку в мотню, чтобы изловить жгучих, скачущих, неистовствующих «Надежд Афганщины» на пузе и в промежностях... Переступи хотя бы с ноги на ногу... Плюнь на священные статьи Устава караульной службы... Вот капля пота упала с истуканского носа на подбородок... Вот — глазами он наконец заморгал. Глаза слезами налились, что-то дает ими понять напротив стоящему товарищу. Того, чувствую, начинает распирать от хохота... желваки ходят на скулах, и, в свою очередь, покраснело лицо. Держитесь, думаю, комсомольцы. Держитесь, почетные комсомольцы. Держитесь, почетные рыцари ленинского караула. Пусть осеняет вас в эти минуты священное знамя Павлика Морозова, Николая Островского, Феликса Дзержинского, Надежды Крупской и прочих настоящих людей с железной волей и каменным сердцем... И вдруг

солдафонская физия совратителя подергивается вполне детской, растерянной гримасой — очевидно, от особой жгучей серии укусов, — открывается рот, чтобы хватануть украдкой воздуха, а с телом происходит что-то до того странное, что я перепугался. Тело его, не имеющее возможности почесаться и броситься как-нибудь иначе себе на помощь, но изнуряемое страстной внутренней энергией сразиться с полчищем мучителей, начинает незаметно для пристального взгляда пульсировать. Оно то сожмется — так, что безупречная шинель слегка повисает на плечах, то, наоборот, разбухает, лицо караульного от этого отекает, а плечи поднимаются и кончик синего штыка дрожит, как истеричная стрелка на, так сказать, терпениескопе. Внутренне, чую я, из себя выходит мой соперничек, но для блох внутреннее это сопротивление кусаемого ими организма — все равно что для советской власти многолетний, терпеливый, но совершенно бездейственный протест измученного партийными паразитами и привыкшего к непроходящей чесотке народного тела... Внутренне чешись сколько угодно, но руку поднять, но ножкой дрыгнуть, но вывернуться в некоем умопомрачительном сальто с поимкой вечно назойливого насекомого и мстительным взятием его под карающий ноготь — ни-ни. Внешняя ваша штукатурка должна быть без единой трещинки и овеена стоической невозмутимостью, братцы-кролики...

То ли показалось мне, но вдруг фуражку на голове этой терзаемой укусами сволочи как-то слегка переместило с боку на бок, затем приподняло козырьком вверх бушующей волною внутренней борьбы с внешним бедствием. Вот, думаю, допустил бы ты сейчас искреннее движение и свободный порыв рук к ключицам или хотя бы почесал мыском левого сапога под правой коленкой — там нежнейшие для блохи места, — и сняли бы тебя враз с поста. Сиди на казарменной коечке, чешись и пытайся увязать совращение чужой жены со жгуче-кусательным возмездием... Скотина...

Однако с течением времени напарника его перестал разбирать смех. Глазами он вопрошал: что с тобой?.. что с тобой?.. А кусаемый все старался из последних

уже, надо полагать, сил сохранить ритуальную остолбенелую невозмутимость. Он то краснел, то бледнел. Шинель на его груди потемнела от непрерывно падающих с носа капель пота. Какая-то дама — или из бывших шизоидных пионеров, или из загрантуристок, — проходя мимо, хотела приложить носовой платочек к запаренной физиономии часового, но он так бешено вытирает глаза и откровенно скрежетнул зубами — не по-же-но, сучка! — что дама отдернула свою заботливую руку, как от смертельно опасного черепа с костями...

Вдруг доброе мое сердце не то чтобы пресытилось зрелищем ужасно въедливой мести, но устыдилось совершаемого. В конце концов, это она его соблазнила своей профурсетской закомплексованностью и не сильно же привела за рога на квартиру. Будь я на его караульном месте, я б вообще обезумел от множества наглых и восторженных женских взглядов, инстинктивно небось хватающихся за что-нибудь живое, перед вынужденным, в большинстве случаев, низвержением в трупное подземелье.

Отмщение должно было произойти, предотвратить его, как оказалось, я был не в силах, но и меру надобно знать, Сергей Иваныч. И как ни хотелось мне, чтобы державный этот преотвратный ритуал соньки обосран был хоть на миг поучительно-комическим каким-нибудь образом — ибо оказаться вдруг в комическом положении страшной для нее, видимо, чем подвергнуться ударам стихий, — я устыдился содеянного и побежал к Спасской башне сообщить о «странных» переживаниях часового. Сообщил. Добавил, что часовой держится героически, не ударяет в грязь лицом, не позорит пост номер один СССР, но силы его на исходе. Требуется неожиданная замена... Быстрее, говорю, товарищи, на Красную площадь, как всегда, устремлены взгляды всей планеты, в частности сотен загрантуристов...

Через некоторое время офицер со сменщиком быстро и не соблюдая парадности шага направились к Мавзолею Ленина. Я взглянул последний разок на полностью измочаленного чесоткой и укусами Котиного дружка и слинял от греха подальше. Но на пути к «Арагви» не выдержал и схватился за живот. Смех меня разо-

брал истерический. Пришлось зайти в Александровский сад, присесть и справиться со спазмами. Пришлось отдышаться. Отдышавшись, взглянул с брезгливостью печальной на толпы, ждущие своей очереди проследовать мимо трупа. Пахнуло от них от всех бескрайностью нашей сверхдержавы... Узбекские дыни... смоленская картошка... тюлений жир... бакинская нефть... ленинградское болотце... якутские алмазы... железные дороги Сибири... литовское пиво... полтавское салыце... пензенская сивуха... о Господи Боже ты мой, думаю, хохочут ли ангелы от столь непотребной картины разложения народной жизни или удручены до полного сочувственного молчания? Продолжают ли тут мстительно веселиться наблюдательные черти или и они презрительно удалились к более достойным представлениям от бездарного, унижительного — как для чертей, так и для ангелов — тупого зрелища?.. Неужели, думаю, советский человек, никогда ты уже не зачешешься двумя пятернями и пальцами ног, очумев от кусанности?..

Заявляюсь в «Арагви». У дверей — очередища. Плейбейская харя швейцара самодержавно властвует над ней с привычной безнаказанностью. Подхожу и шепчу ему угрожающе на ухо: «Третий кабинет. К Вадиму». — «Сссию, пожалуйста, минутку... прошу-с...» — «Опять «свои»?» — забазлали в очередище. «Свои. Им положено», — пресек швейцар ничтожный бунт.

Плащ я не сдал. «Они к Вадиму», — с неким ужасом сообщил второй швейцар более крупной сошке в засаленном фраке. Тот передал меня с рук на руки холеному метрдолотелю, похожему на какого-то нашего знаменитого скрипача. А уж метр подвел меня к двери кабинета. Постучал. «Валяй, валяй, — крикнул генерал, — тут... ха-ха-ха... можно без стука». Я вошел в кабинет. Генерал — он был в штатском — сразу представил меня двум весьма скромным внешне дамочкам. Одна была Василисой, другая — Ефросиньей. Я почему-то пропал от неожиданного смущения и, естественно, вынужден был дерзко самоутвердиться. Вы вовсе, говорю, усаживаясь за стол, не Вася и не Фрося. «Цирк. Что я говорил?» — воскликнул с восторгом генерал. От дамо-

чек соблазнительно потягивало веселой готовностью блядануть, презрев время и пространство, а также учреждением. «Ну кто мы?.. Кто мы?..» Я присмотрелся поглубже и ответил, что, скорей всего, одна из них Гая, а другая, с родинкой на щечке которая, Нина. «Колосально... Своего теперь имеем, товарищи, Мессинга... ха-ха-ха. Только прошу не истязать Серегу всеми этими фокусами. Обед есть обед», — сказал генерал. Дамочки вторично подали мне руки в знак действительного знакомства. Генерал, как я сразу понял по душку общего их настроения, шпарил обеих, но сел я рядом с Ниной. В лице ее была какая-то дурацкая простота и полное наплеватьство на науку, то есть черты характера, которых не хватало, на мой взгляд, Коте. Плащ повесил на спинку своего стула.

Внесли закуски и выпивон. Глаза у меня разбежались. В настроении моем преобладали в тот момент жажда опохмелиться, печальная удовлетворенность мужской мезтью и некоторое самодовольство оттого, что Котя была поставлена мною на место. Несмотря на бурное ночное примирение, чувствовал я также впервые в жизни легкомысленное волнение от тонких духов и телодвижений чужой женщины, интимно повязавшей на шею мою салфетку и премило разнообразившей пустую тарелку лобно, сациви, травками, горячим сырком сулугуни и лиловой капусткой...

Жахнули сначала шампанского, потом коньячку. Ах каким, господа, славным и легким кажется иногда существование за ресторанным столиком и как пронизывает все ваше тело игривыми «минеральными» иголочками и пузырьками чудесная, всеосвобождающая безответственность, как обалдеваете вы внезапно от предчувствия жарящегося уже для вас шашлыка, и предчувствие это столь просто путается в тот луковый миг с предвосхищением новой жизни, иного оборота дел и приятных сюрпризов судьбы, что со стороны вы, очевидно, кажетесь счастливым щенком, играющим с собственным хвостом и повизгивающим от предельного удовольствия...

Всех застольных разговоров не упомянуть. Были шуточки, анекдотики и неожиданные, хотя весьма свой-

ственные нашим застольям взлеты к тайнам жизни и падения до актуальных газетных темаций... Был многозначительный и идиотский чувственный хохотунчик... В какой-то момент я удивился, что нас осталось всего трое. Галя отсутствовала, а генерал сидел, уставясь очарованным взглядом в синюю картину Куинджи «Лунная ночь», которая как бы отбрасывала на его лицо мистический свет глубокого духовного любопытства... Вне службы, подумалось мне, даже в генералах открывается нечто такое, не имеющее никакого абсолютно отношения к фигурированию в органах и в машине власти...

Но вдруг Галя неловко вылезла из-под стола, а Нина, наоборот, забралась мне на колени, больно и жестко, словно раздражительная матушка мальчику, вытерла рот салфеткой и впилась в мои губы. У меня дух захватило от сладости и безоглядной похоти, а полная моя неопытность в таких делах не помешала, однако, снять каким-то образом с Нины кружевные трусики. В тот же миг что-то треснуло подо мною, но я не обратил внимания на странный звук и конечно же не разобрал в нем ничего рокового... «Потом, Серый, потом...» — шептала мне Нина... «Прикажете шашлычки?» — громко спросили за дверью. «Валяй», — приказал генерал. Нина слезла с моих коленок, аккуратно положила трусики в ридикюльчик, просто сладостно сразив меня свойски-хулиганским взглядом, обещавшим черт знает что в ближайшие же двадцать минут.

Затем мы лопали волшебный шашлык. Пили. Нина и Галя говорили генералу, что когда они зовут его Вадимом... «кажется — тебя раздеваем...». «Уважаю сокращение дистанции между истинной жизнью и собой», — сказал он и поднял тост за частную интимную жизнь, превращающую каждого из крупной шишки в раба подлинного удовольствия. «Между нами, Серега, — сообщил ни с того ни с сего генерал, — котята наши — не хер собачий. Галка — подполковник. Нинка — майор, а жизнь, Серега, она свое берет...»

От слова «котята» что-то стало мне вдруг кислотовтревно, и в тот же миг блаженная расслабленность тоже исчезла с лица генерала. Оно стало нервным



и крайне подозрительным, одним словом, ужасно говнистым, что всегда повергает присутствующих в неопределенное смятение. Генерал как бы обиженно прислушивался к какой-то мелкой, досадной помехе, дерзко нарушившей всю мировую гармонию. Затем он дернулся и вскочил с места, словно желая смыться от себя самого, и с отвращением крикнул: «Еб твою ма-а-аты!»

Мы, то есть я и женщины, уставились на него, ничего не понимая, а он сорвал с себя галстук, яростно растегнул рубашу и запустил руку через плечо в неудержимой страсти что-то изловить. Он просто плясал на месте, когда растегнул до конца полурастегнутые брюки и, акробатически выгнувшись, начал чесаться. Дамы наши, не выдержав, расхохотались, но Нина вдруг тоже изменилась в лице, вскрикнула «оюшки» и, что-то высматривая, задрала юбку. Галя же сразу сняла через голову белую блузочку и остервенело начала расчесывать то плечо, то шею, то голую грудь. Слов никаких никто из них больше не произносил, а до меня все еще не доходил ужасный смысл происшедшего, потому что, скажу я вам, до известного момента все мы стараемся отдалить от себя неумолимый приговор реальности. Нам, видите ли, не верится... просто не верится, что нечто могло произойти без нашего милостивого или, в крайнем случае, вынужденного разрешения...

Тишину прерывало только охотничье рычание генерала и стоны женщин. За дверью могли подумать, что клиент предпочел шашлычкам внезапное половое сношение... это-с бывает с нами-с... Наконец я похолодел от не оформленной мысленно догадки, и из меня готов был уже вырваться трагический вопль «не-е-ет... не-е-ет...», когда глаза мои на лоб полезли от серии жгучих укусов. Меня словно полоснули плетью, коснувшейся разом ног, жопы — тут уж, простите, не до эвфемизмов, — спины, груди и шеи, а затем полоснули вновь, в обратном порядке, но с той же впивающейся жгучестью, наглостью и остротой. Разумеется, догадавшись, в чем дело, вернее, вынужденный наконец остаться с глазу на глаз с действительностью, я ничего не объяснил моим собутыльникам. Я первым делом выбежал в сортир, захватив с собой плащ, и убедился в кабинке, что стеклянный

блошиный садочек разбит вдребезги и что в нем нету больше ни одной блохи. Разбился, когда Нина взгромодилась мне на колени... Конец всему... конец всему... и листья грустно опадали... в последних астрах печаль хрустальная... бормоча это и поражаясь дикой неуместности звучания во мне любимого танго, выбросил я осколки стекла в унитаз. Клизмочку обрезанную притырил в бачок, потому что попытки спустить ее к чертовой матери вместе с водой оказались безуспешными. Пришлось лезть рукой в загаженную сортирную скверну, расчесывая одновременно укусы свободной рукой и обеими ногами, что только обостряло действие блошиного яда. Из сортира я возвратился в кабинет, успев, во-первых, чесануть спину об протянутую ко мне лапу огромного чучела медведя, во-вторых, сказать метру, чтобы несколько помедлили со следующими шашлыками, но не допуская пережара...

Генерал, Нина и Галя совершенно не обратили на меня внимания. В такие моменты, как я понял, никому ни до кого нету никакого дела. Поэтому все ревностно и с азартом совершаемое каждым человеком в отдельности производит само собою эффект истинно коллективного действия, чего вовек не понять КПСС и ее нечешущимся лидерам... Нет, я не философствовал тогда. Мне было не до того. Хотя часть тогдашних впечатлений отложились помимо моей воли в памятные — зрительные и умственные — образы.

Я задвинул стул в ручку двери и тоже страстно принялся за вылавливание насекомых. Несколько блох, уже поднабравшихся крови, я раздавил прямо в складках одежды. Раздавил с постыдным вожделением и отвращением. Наши дамочки вдруг обессиленно расплакались, растерянно повторяя: «Откуда?.. Что это вдруг?.. Нужна дизобаня... срочно едем к себе...» «Никаких «к себе», — прорычал генерал, — брать на месте. Я докопаюсь, откуда эта блошиная пятая колонна. Головы сверну за антисанитарию... пытать буду своими руками... ну-ка, Серега, чесани мне лопатку левую, потом я тебе... еще немного осталось... помоги бабам... сдирай с них все и помоги... а что с ними будет после первой ядерной атаки на нашу Родину?... Выполняйте...»

К счастью, большинство блох я метнул в кремлевского истукана, а то бы они нас натурально сожрали. Незаметно для себя все мы оказались раздетыми почти до гола. Тела наши сплошь покрыты были трассирующими — я не преувеличиваю — укусами. Каждый из нас уничтожил по несколько сволочей, причем твердости они были необыкновенной и с первого раза никак не раздавливались. Давить их пришлось выгнутыми ручками вилок. Генерал продолжал во время ловли бешено недоумевать: откуда бы эта нечисть? Я высказал предположение, что, очевидно, блохами кишит шерсть медвежьего чучела, стоящего в метре от нашего кабинета. «Метру я оторву голову, — сказал генерал, — и ни одна амнистия не спасет эту мразь... Экспедиции посылаются за насекомыми чуть ли не в Африку, а их у нас под боком мириады... Вот, сволочи, куда идет валюта государства...»

Но, в общем, мистерия отлова весьма маневренных блох проходила у нас бессловесно. Лишь стоны, скрежет зубов, дикие утробные возгласы и звуки, присутствие которых в человеке уже искренне удивляет. Мы также растирали коньяком — растирали взаимно — укусы на частях наших тел и близки были, распалившись, к откровенно веселой истерике. Именно в этот момент кто-то рванул дверь. Ручка от нее враз оторвалась, и люди, стоявшие на пороге, остолбенело уставились на нашу расположившуюся на полу, неподвижную в тот миг группу.

— Пожалуйста, граждане, оденьтесь и приготовьте документы, — сказал отчужденно и твердо какой-то тип с красной повязкой на рукаве. Он же прикрыл, проявив некоторый такт, дверь. Все мы быстро оделись. «Спокуха, — сказал генерал, — не в таких еще катаvasиях бывали. Но кто-то под меня копает... кто-то точит, Серега, Нина и Галя. Сложить всех пойманных блох на чистую тарелку для вещественного доказательства нашего вынужденного оголения...»

Генерал, полностью приведя себя в порядок и еще раз попросив покрепче чесануть его промеж лопаток, вышел договариваться с дружинниками. Нам было слышно, как он пошел там на них в наступление и кри-

чал: «Мне плевать на ваши «новые веяния»... Я, понимаете, на оперативной работе, а не на «моральном разложении в течение рабочего дня». Вам известно, что это за кабинет?.. Повторяю, нас веяния не касаются... Вейте в банях, пивных барах, на бульварах, ипподромах, в Лужниках и так далее... А ты, мерзавец, вызови немедленно санитарно-эпидемическую инспекцию на место твоей... бывшей работы. Пойдешь под следствие. И за этих блох, и за многое другое. Что? Документы? Вы что, обе-зу-ме-ли? Мы никому документов не предъявляем. Нас веяния, повторяю, не касаются. Можете продолжать развеивать тунейдцев, но не мешать оперативной работе. Все... Я, кажется, сказал «все-е-ell!». Проверь, скотина, на вшивость своего вот этого медведя и вели нести шашлык...».

Генерал вернулся в кабинет. Немного погодя сам метрдотель принес шампуры с шашлыками и какой-то заграничный баллончик. «Вот, Вадим Палыч, идеальное средство для более даже чем мелкой твари...» «Английский истребитель блох, — перевел генерал, прочитав надпись на баллончике. — Выйди вон, — приказал он метрдотелю, — поговорим позднее и в другом месте. И ни один Горбачев тебя не спасет. Во-о-он!...»

Все мы затем по очереди опрыскали свою одежду до самых укромных уголков. Удрученность наша начала постепенно переходить в юмор. Но настроение было уже далеко не то. Не то. Шашлык шел вяло. Хотелось не пить, а жрать, не любезничать с дамами, а печально чесаться, чесаться, чесаться и чесаться. Что мы и делали, пока не стало ясно: яркий праздник задристан назойливой действительностью. Хорошо еще, если все так и останется в тайне, а не выплывет наружу, когда генерал трезво проанализирует случившееся и, возможно, сопоставит почкистски факт появления в кабинете блох с занятиями моей жены и так далее. Ниточку эту раскрутить будет нелегко, послав блох на экспертизу и выяснив, что блохи эти — нововыведенные, «Надежда Афганщины — 6Ф/7Х»... Так я думал. Ушли мы не расплатившись. «Пусть сволочь метр сам платит, — сказал генерал, — распух от взяток и подачек. Ну-ка, чесанем друг друга напоследок... Что скажешь, Серега, о «новых веяниях»?»

Слова эти генерал произнес с яростной ненавистью. «Скоропалительность, — говорю, — всегдашний аврал, а при капитализме никто рабочих мест не покидает раньше времени. В корень глядеть надо...» — «Верно, что в корень глядеть надо, но корень этот, девушки, зарыт так глубоко, что жизней наших не хватит на его выкорчевку. Не хватит... Лучше уж с тунеядцами бороться и допустить временные «ве-я-ни-я», чем выкорчевывать... Будь здоров, Сергей Иванович. В ближайшее время позвоню, и займемся делом...»

Был день осенний, повторяю, и листья грустно опали. Присел я в скверике напротив Института Маркса—Энгельса—Ленина на скамеечку и схватился за голову от необыкновенной скуки и усталости. Случайно потревожил швы. Замер от ужаса: показалось, что сейчас вытекут из черепа мозги и нечем будет обдумывать случившееся со всеми возможными последствиями... Ах, лучше бы уж вытекли, подумал вдруг, потому что непременно начнут копать в кремлевских казармах на счет источника блох... искусанный часовой растреплется... возникнут нацеленные в меня версии... не мог же он не заметить моей кривой и мстительной улыбки, когда изнемогал от укусов... копанут глубже, доберутся до Коти, до нашего НИИ... это конец ее карьеры, если не тюряга — за вынос засекреченных субъектов с закрытого объекта... я-то закошу, что мозги у меня сквозь швы вытекли около Института Маркса—Энгельса—Ленина и чесотка от аллергии на американские спутники... да и без того у меня первая группа... я в клещах... с другой стороны, генерал допрет, откуда взялись блохи, и от него уже не отвертеться так просто... самое милое дело — прямо тут совершить что-нибудь необычное, плакать... плакаты так хочется безумно... угодить в дурдом, а там будь что будет...

Таким было мое решение, но вышло, как это всегда почти бывает в жизни, по-другому. Припугнутая погоней какая-то блоха вдруг взбесилась на свежем воздухе от аппетита и буквально опоясала тело мое трассирующим укусом. Опоясала и притаилась, судя по некоторым приметам, в промежности. Я вскочил со скамейки и покорябал спину о бульварное дерево. Блохи, скажу

я вам, изобретательно выбирают места укусов на спине — руки до них никак не доходят, — а это, как ничто иное, способно довести человека, беззащитного перед нашествием мелкой кусачей сволочи, до бешеной неуравновешенности. Банда пенсионеров всесоюзного, очевидно, значения уставилась на меня со старобольшевистским выражением на фанатичных физиономиях. Как это я, видите ли, свинья мещанская, посмел чесаться рядом с их святыней?..

— Викторчик, позвоните немедленно товарищу Ягоде, — шизоидно распорядилась соседка по скамейке. — Гидра реакции поднимает новую голову.

Адская вонища советской истории вразшибанула мне в нюх, я сблевал кусками шашлыка прямо на скамейку.

— Террор... опять кавказский террор, — истерично завопила фанатичная старуха маразматичка.

На визг ее мне было начхать, но публично я не мог сунуться за блохой в промежность. Не мог, хоть и не находился на посту номер один СССР. Я перебежал газон и спрыгнул с гранитного парапета на тротуар... О счастье! Я мгновенно учуял общественный сортир на другой стороне Столешникова переулка. Вбежал в его ошеломительную скверну, изворачиваясь наизнанку от невыносимого зуда, ворвался в свободную кабинку, сбив с ног только что оправившегося гражданина, вскочил на толчок и снял брюки с трусами.

О, какой воинственный восторг вновь объял меня, когда изловил я наконец последнюю гадину и растер ее пальцами с таким сладострастием, что на трусах моих образовалась дырка. Одеться не успел. Дверь кабинки распахнулась столь же неожиданно, как в «Арагви», и дружинник сказал:

— Опять пидарас. Действительно, эта уборная стала пристанищем алкоголиков и извращенцев. Чем вы тут занимаетесь? Оденьте штаны. Пройдите в отделение. Где ваш партнер? Советую сразу сообщить его адрес, имя и отчество. Меньше получите...

Я стоял на толчке в трагической позе — позе недоуменного принятия очередного удара рока. В тот же миг был озарен вспышкой мизерного фотокорреспон-

дента уличных досок позора «НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО». Кто-то насильно сдернул меня за руку на пол. Вертуться было бесполезно. Меня повели в отделение. Сглядывая шипели вслед: «Не вылавливать таких надо, а расстреливать на месте...» — «Не выловишь — не расстреляешь...»

В отделении я понял, что единственное мое спасение — генерал. Не дожидаясь составления протокола задержания, я сказал, что непременно должен сообщить старшему чину нечто важное.

Меня привели в кабинет замначотделения по политработе. Я сказал:

— Все правильно — стоял без штанов на толчке. Ловил блоху. Разве это не может случиться с советским человеком? Я говорю чистую правду. Я — после особо важной операции на голове. Числюсь, кроме того, знаете за кем?

— Интересно... интересно... за кем же?

— Позвоните по телефону 292-47-74. Вадиму Павловичу. Все узнаете, если там сочтут нужным поставить вас в курс дела.

Он, удивленный моим наскоком, начал звонить, а я уставился в зарешеченное окно. Сердце мое сжалось, как, должно быть, сжимается оно у настигнутой блохи от беспредельной печали и общей удрученности, потому что за окном, под чахлой городской березкой, был цветничок с клумбочками и именно последние астры доцветали на них с хрустальной печалью, замызганной пылью города, а листья, повторяю, грустно опадали на бездушный милицкий дворик... Тоска... вот, астры, где довелось устроить вам свидание...

— Возьмите трубку, Сергей Иванович, — привел меня в себя почтительный голос замполита.

— Ха-ха-ха, — захохотал по телефону генерал, — не бойся, Сергей, анекдота жизни. Мы из любых анекдотов вытащим своего человека... ха-ха-ха... за пидара, значит, гнойного приняли?

Я отвечал односложно:

— Да... да.

— Плоды детанта. Спокойно иди домой. Жди нашего вызова. Живи в свое удовольствие. Пожелания есть какие-нибудь?

Неожиданно для себя и на глазах у замполита, который смотрел на меня так, как смотрят открытые чины на секретных сотрудников, я попросил генерала распорядиться, чтобы мне нарвали букет последних астр с милицейских клумбочек, а больше ничего не надо, потому что я очень устал и вырвал шашлыком у ИМЭЛа... это между «Арагви» и сортиром...

— Ха-ха-ха... анекдот, Серега, ни один диссидент такого нарочно не придумает... Будь здоров. Привет жене. А сволочь караульная уже летит в Афганистан. Сознался, оказывается, чем два года занимался на посту... на посту... внутренним онанизмом... ха-ха-ха... дрович глазами, спускал носом... вот аж докуда добрались половые извращения... анекдот...

— До свидания, Вадим Палыч, — сказал я печально, ибо был в состоянии, отторгающем любой юмор, и положил трубку.

Замполит вручил мне торопливо нарванный и бездарно составленный букет запыленных донельзя астр — белых, фиолетовых, розовых, темно-бордовых...

Как бы то ни было, я человек ненормальный. Чего уж тут изворачиваться перед самим собою?.. Поблагодарив замполита, я уткнулся лицом в цветы, приводящие нас в похоронное настроение, как никакие иные, сказал:

— И до каких же пор мы... мы... мы будем отлавливать друг друга?

Затем сдавленно зарыдал прямо в астры, затрясся от неопишуемой тоски бытия и был выпровожен из отделения на Пушкинскую улицу.

Дома завалился в чем был на диван. Простить не могу себе, что несчастный караульный переведен из-за меня с поста номер один СССР на жуткие задворки грязной и кровавой сонькиной внешней политики.

Судя по всему, думаю, был этот часовой ярко неvezучим остолопом. Мало того, что служба его невообразимо ужасна, при всей своей торжественной и почетной видимости, мало того, что закомплексованная с пионерского возраста дамочка брала его в одетом виде на чужом полу, что, возможно, испытывал он, стоя на посту, нечеловеческие муки от вида проходящих во всесо-



юзную трупную девушек и женщин, бесстыдно пожиравших глазами его истуканскую внешность, а затем испытал чувство конечного бессилия перед невообразимой чесоткой и дошел до апогея позора в самом эпицентре планеты — мало всего этого. Теперь едет он пытать и убивать других или быть замученным и обезглавленным другими... Тоска...

При чем тут, думаю, задроченный кремлевский часовой околотрупной мавзолейной службы? Вот подбросить бы на Седьмое ноября, в парадный денечек, под пальтуганы партийных вождей и под шинелишки мрачных от кабинетной остоебенелости генералов беспощадный десантик голодных «Надежд Афганщины — 6Ф/7Х». Подбросить да понаблюдать вместе с казенной народной толпою, как обомлеют все они от жгуче-массированного первого укуса, но сперва не выдадут друг перед другом неудержимого порыва чесануться — лишь затопчутся познергичней на сукровичном надгробии, словно от позднеосеннего морозца, — а потом, очумев от чесотки и правительственной, все на своем пути сметающей раздражительности, потом, послав мысленно трафаретное празднество к чертовой бабушке, полезут, неприлично толкаясь в беспорядочной очереди, вниз — в стерильную безопасность государственного морга, разденутся враз до исподнего, побросают шмотки прямо на хрустальный гроб своего богопочитаемого трупа и начнут с ненавистью, блаженством, первобытной страстью ловли в пещере паразитов, с постаныванием, хрипами и улюлюканьем гоняться за высокоманевренными блохами и чесаться... чесаться... чесаться... Почешитесь, отупевшие сволочи... может, дочешетесь до чего-нибудь положительного и отправитесь в правительственную дизобаню на Краснопресненской пересылке, где прожарят в полезном аду ваши внутренние карманы, швы, лампасы, кальсоны и галифе с пиджаками... может, выпарят там из расчесанных до крови ваших тел и мозгов октябрьскую блошиную заразу, а потом поразит ваш слух раздавшийся под закопченными пересылочными сводами, много чего повидавшими на своем веку, трезвый, громоподобный голос:

— Вы-хо-о-оди-и... Про-о-верка на-а-а вшивость...

Народ-то уже, думаю, порядком начесался, а вы все что-то никак не чешетесь...

Тут вернулась с работы Котя. Первым делом спросила, куда это подевались ее «письки». С ней, судя по голосу и тоскливому запаху, происходило что-то не то.

— Лучше погляди, что со мною стало, — уклончиво сказал я и разделся по пояс. Котя ужаснулась.

— Вырвались, когда кормил?»

— Именно так. — О, как благодарен я был року и Коте за подсказку. — Вырвалось всего четыре штуки. От ужаса садок выпал из рук, треснул, и я спустил его в сортир. Могла произойти биологическая катастрофа на весь дом от утечки насекомых. Боровцев — враг мой номер один — в соседнем подъезде проживать изволит, Котя... Меня долго кусали. Чуть с ума не сошел от бешенства. Поймал. Пошел и напился. Вот, хрустальных астр нарвал напоследок на печальном сквере... Жить тяжело...

Котя вдруг не выдержала и тоже разрыдалась. Спрашиваю — что случилось? С ужасом глядя на меня, Котя сказала:

— Боровцев в Лондоне остался... после конгресса...

— Ну и что? Сейчас веяние такое — оставаться. Весь наш балет — одной ногой здесь, другой — там.

— Идиотик... все отшучиваешься, когда... когда...

— Что «когда»?

— Овчинников, вице-президент, собрал нас... расформировывают... Боровцев выдал военные тайны... обвинил в подготовке бактериологической войны... передал по «голосам»...

— Котя, — говорю проницательно, — без работы не останешься... Может, с дружкой твоим часовым что-то стряслось? За ними ведь следят... От тебя пахнет, — говорю, — не служебной заботой, а чистосердечной болью...

— Ничего подобного, — воскликнула Котя с такой страстной правдивостью, что я только усмехнулся про себя печально и мудро, поставил новую, словно воскрешенную пластиночку и раскрываю объятия, как в танцзале.

— Давай, милая жена, станцуем «Афганистанго», — вырвалась из меня ни с того ни с сего, словно блоха,

жутковатая шуточка. Я думал, что она приведет Котю в ужасное бешенство, начнутся обвинения и упреки в юродивом фиглярничании и бесконечном цинизме, но Котя обвила вдруг мою шею руками... пластиночка сталинских времен поскрипела, покорябалась об иголку... был день осенний... и листья грустно опадали... в последних астрах... печаль хрустальная жила... сле-е-езы-ы... ты безутешно проливала... ты не любила-а-а... и со мной прощалась ты... я водил ее по комнатам и по кухне полуголый, поглядывая в трюмо на расчесанную свою до крови спину и смиренно вдыхая застоявшийся в Котиной прическе одинокий... то-скливый... кирзовый... оружейный... табачный... омерзительный... мавзолейный... кремлевский смерд-дюничик... Котя повздыхала, повздыхала в любимом, располагающем к примирению с жизнью, старинном... и листья грустно опадали... букетик милицеских астр я так и держал по-прежнему в руке... повздыхала, потом потянулась, танцуя, к графину коньячка, глотнула на ходу и не без восторга повторила:

— Афганистанго!.. все-таки народ шутит, народ улыбается... шикарная хохма... завтра продам ее в институте... пожалуй, Серый, давай закусим...

Но я не мог уже ни пить, ни закусывать — повалился прямо на пол, после всех потрясений дня, а проснулся в середине ночи от приступа чесотки. Почесался-почесался, разделся и пошел на свое место. Котя, оказывается, не спала. Не могу, говорит, уснуть... Все рухнуло из-за сволочи Боровцева. Прощай выезды и московская светская жизнь. Поговаривают, что у твоего генерала большие неприятности. Наверху его не любят как брежневскую шестерку... Возможно, сошлют в Монголию... Так и надо. Очень уж самонадеян и нагл... «мы...», «нас...» Домыкался-донаскался...

Я ничего не ответил. Любой поворот такого рода был мне только на руку. Может, вообще про меня забудут и оставят в покое?.. Навряд ли... навряд ли...

Внезапно я вспылел. Вам, сволочам, не премии надо давать, а штрафовать, говорю, наоборот, за выдающуюся халтуру. В отчетах ты небось очки втираешь насчет того, что «Надежда Афганщины» кусает лишь тела бас-

мачей, а к плоти наших солдат, офицеров и генералов относится миролюбиво и с привитой симпатией... Но что мы видим на деле? В «письках» ваших выведенных никакой нет симпатии к советскому человеку — одна бешеная ненависть и ненасытная жажда кусануть побольнее. Разоблачат — быть беде и концу научной карьеры...

— Откуда это ты взял, что «письки» кусают солдат, офицеров и генералов? Ты не солдат, не офицер и тем более не генерал. Тебе так и хочется, чтобы я обгадилась на работе. Спишь и видишь мое фиаско...

— Просто предупреждаю, — осекся я, чуть было не проговорившись. — Неужели ж блохи столь умны, что отличают штатскую телесность от военной барабанины?

— Насекомые гораздо умней человека по способности оптимально разрешать главнейшие жизненные задачи, — сказала Котя неприятно назидательным голосом.

— Спасибоочки, — говорю, — будем знать и помнить...

— Скорей всего, — продолжала Котя свои ночные беспокойные раздумья, — закроют и меня, и тебя. Весь институт вывезут на периферию. Ожидается много шума в западной прессе из-за признаний этой оставшейся мрази... Ты думаешь, Боровцев диссидент? Карьерист и подонок, бросивший жену с двумя детьми... С другой стороны, Серый, между нами говоря... я бы и сама, к чертовой матери, осталась... если бы мы вместе поехали по туристической... надоело... надоело... надоело... налей, умаляю, рюмочку и нарежь лимон... завтра никуда не пойду... вызову врача... сердечный приступ... надоело...»

— А без меня, — спрашиваю, — осталась бы там?

— Дурак... я уже не девочка и не Светлана Сталина — болтаться туда-обратно... Без тебя бы я не смогла, а на этих — плевать... надоело... будь они все прокляты. Серый... поставь... ха-ха-ха... Афганистанго...

Ночная выпивка печальна и спокойна, господа... Мы пили и пили. Я без конца заводил... был день осенний и листья грустно опадали... в последних астрах печаль хрустальная жила... Букетик же милицейских

астр ожил в комнатной темноте и в ночной прохладе. От стойкого и тяжелого запаха этих похоронных цветов кладбищенская тоска проникла в мое сердце осенней ночью и поселилась в нем навсегда как память о чем-то навеки утраченном... На-до-е-ло, господа, на-до-е-ло... Сколько можно?

*Вермонт. 1986*

# Синенький скромный платочек

Скорбная повесть

Памяти матери, отца и брата



Гражданин генсек, маршал,

брезидент Прежнев Юрий Андропович!

К вам регулярно в течение двух лет обращается Байкин Леонид Ильич с криком чистосердечного признания и с просьбами о восстановлении справедливости, то есть лично я, обросший ложью с головы до ног и провонявший страхом, как солдатская портянка периода окружения.

Ни ответа, как говорится, ни привета не имею, хотя лечащий враг — вот именно: не врач, не доктор, но враг — не отказывает мне лично в бумаге и говорит:

— Пиши, Байкин, пиши, но не буянь. Читать интересно эту абракадабру. С тобой не соскучишься. Я,— говорит,— докторскую скоро защищу по письмам твоим и по истории твоей болезни.

Но этого письма-заявления Втупякину не видать! Не видать! Знайте же: никакой я не Байкин Леонид Ильич, а Вдовушкин Петр, отчество забыл в наказание самому себе за давностью лет.

В этом месте слезы капаят из глаз моих бесстыжих, обвожу ихние следы неровными кружочками в соответствии с формой клякс.

Плачу, но перехожу к делу, потому что бумаги мало. На истории болезни Карла Маркса пишу ввиду ротозейства проклятого оборотня Втупякина.

Третьего дня созвал нас на конференцию безумных читателей. Силком собрал, от телевизора оторвал — лишением папирос-сигарет пригрозил.

— Вы,— говорит,— сволочи с манией преследования величия хлеб казенный тут жрете, советскую власть на ихудшими помоями обливаете, на путь выздоровления

от диссидентства вставать не желаете, но про «Малую землю» и слышать не хотите!

Вот и я хочу начать свое откровенное признание с того, что никакой малой земли на земле нету. Есть одна большая земля. Малая же земля — это луна, которая вызывает приливы крови к голове моей и, соответственно, отливы мочи сами знаете от чего.

Я воевал на земле, грешно жил на ней, натворил черт знает каких затей и завсегда считал луну землею малой.

Луну же в один прекрасный момент оккупировали американцы, в результате чего мы были вынуждены высадиться в Афганистане. Так втолковывал нам на конференции, после читки вслух «Малой земли», Втупякин.

Название вашенской книги надо переделать в интересах правды и назвать ее «Луна». Если же назвать «Большая луна», то это несправедливо будет, вроде «Малой земли».

Ну, мы, конечно, вопросы задавали Втупякину насчет того, кто пишет за вас эти книги. Втупякин заявил, что, пока не сломлен империализм и внутренние диссиденты, ответ на такой вопрос является государственной партийной тайной, но что Ленинскую премию за литературу поделят поровну между временно неизвестными писателями, наподобие того как ее делят между космическими конструкторами и делателями атомных бомб. А потом придет время, и неизвестные писатели станут известными, чтобы народ наш узнал своих героев... Узнал бы! Узнал!

Тут я опять плачу невыносимо, потому что солдат-то неизвестный не я на самом деле. Вдовушкин Петр, а Байкин Леонид Ильич, и славы его всенародной не желаю, не хочу, настаиваю и протестую.

Жизнь прожита зря. Пора подводить итоги, маршал. Сдерживая слезы, перехожу к самым что ни на есть обстоятельствам Второй мировой войны, но временно передаю перо Владимиру Ильичу, отлученному главврачом дурдома Втупякиным от чистой бумаги. Его-то за что держат тут? Ведь если б не он, то вся ваша шобла землю пахала, у станков стояла, делом занималась бы, а не развалом сельского хозяйства. Сосед по койке в корень смотрит. Передаю перо. Сам иду курить, чтобы сузить сосуды и слезы сдержать.

Товарищ генсек! Товарищи члены политбюро! Прошу срочно собрать экстренное заседание и разобрать чрезвычайное дело Вдовушкина Петра. Архинелепо не доверять в наше время признанию изолгавшегося негодяя. Товарищ Вдовушкин, находясь с 22 июня 1941 года в рядах Красной Армии, пытался скрыть сыновнее родство с расстрелянным врагом народа ярым кронштадтцем Вдовушкиным (sic!). С этой целью *Вдовушкин-сын* (курсив мой. — В.Л.) в смертельном бою обменял свои документы на документы Байкина Леонида Ильича. Эрнст Мах может краснеть, ибо народ метко заклеил подобные штучки чудеснейшим глаголом «махнуться».

Священный долг коммунистов не только поддержать тов. Вдовушкина, но и организовать решительное наступление на стратегические и сырьевые интересы США во всех важнейших регионах мира (см. посланные мною еще в июне на изнанке молочного пакета январские тезисы). Только тупицы из шайки Маха—Авенариуса не могут понять, что закопанный в первичное, эрго, в материю неизвестный солдат является Байкиным Леонидом Ильичом, а находившийся в идеалистическом состоянии Вдовушкин Петр — сын злейшего кронштадтца и тред-юниониста Вдовушкина-старшего.

Смерти подобно ослабление нашей титанической борьбы с мировым общественным мнением — этим гнусным служакой империализма. Оно (общественное мнение. Прим. верно. — В.Л.) якобы обоснованно (см. мою докладную записку XIV съезду. — В.Л.) считает нашу поддержку нац. осв. движения всего-навсего стратегически хитрой мотивировкой, фактически *фиговым листком* (курсив мой. — В.Л.), прикрывающим гегемонистские неоимперские цели родины социализма. Передайте большевистское мерси советским композиторам за их нечеловеческую музыку. После нее хочется бить по головкам и левых, и правых, и центристов. Всех! Должен признаться, что чтение вашей трилогии обнадежило меня в том, что мы придем к победе коммунистического труда в литературе над трудом одиночек, этих беспартийных снобов, окончательно погрязших в болоте так называемого самовыражения.



Пусть ЦК обратит внимание на то, что я фактически лишен писчей бумаги, а переписка с политбюро на истории болезни Карла Маркса — вопиющий нонсенс. Чувствую себя хорошо. Питание преотвратнейшее. Хочется временами чего-нибудь вкусненького. Пора завоевывать Общий рынок с его несметными продзапасами. Жду свидания с Наденькой. Вот выпишусь — и доспорим с путаником Сусловым относительно опасности обуржуазивания партбюрократии совноменклатуры. С комприветиком.

*Вл. Ульянов (Ленин).*

P.S. Все разговорчики о моей мании величия не что иное, как происки господ отзовистов и часть плана ликвидации нашей партии.

P.S.S. Электрон практически исчерпаем.

P.S.S.S. Надеюсь, что решение политбюро о тов. Вдовушкине будет положительным, поскольку советские профсоюзы — школа коммунизма.

*Ваш Вл. Ленин (Ульянов)*

Вот, маршал, и покурил солдат Вдовушкин. В сортире чего только не наслушаешься. Сразу тянет хохотать, а не плакать — слезы лить — о погибшей понапрасну жизни.

В блоке нашем имеется пара душ диссидентов. Вступякин их называет по-медицински чокнутыми циниками. Непонятно это, маршал. Непонятно. Люди все правильно говорят, все до правдивости подчеркивают, от себя ни слова не прибавляют, а их — в дурдом! Я своим крестьянским умом мало чего в социальной жизни понимаю. Но я вижу простым незамутненным оком, что колхозы — говно и хуже крепостного строя в тыщу раз, а рабочий — раб, малооплачиваемый и пьющий вусмерть. Что, вы сами, что ли, не видите? А верить в Бога почему людям не велите? Верно люди говорят, что только в старом Риме христианам было хуже, чем сейчас. Человек на Пасху в церкву пошел, а его легавые мало того что не пустили, но еще и бока, сволочи, намяли, и безумцем объявили, что-бы право отбить жаловаться прокурору на инвалидные побои со стороны милиции. Какое уж тут право человеческое! У собаки и то больше человеческих прав, чем у людей. Она хоть лает и куснуть в случае чего может. Мы

же — терпи и не гавкай, не то в дурдом — под электрошок, инсулин и проклятую химию!

А ведь диссиденты все вежливые, культурные и внимательные, с Втупякиным в спор не вступают из-за поганой пищи и прочих многочисленных мытарств. Душевные они люди, маршал, и народ свой русский любят, еврейский, татарский, украинский, армянский и литовский не меньше вашего. Вот могли ведь сейчас в сортире Ленина поколотить, а не поколотили. Ведь он приходит и говорит:

— Поставлю вопрос об экспроприации сигарет у врагов коммунизма и революции! Курение,— говорит,— это никотин для народа!

Ну Карл Маркс и набросился на Владимира Ильича с пеной на губах.

— Ты,— орет,— учение мое обдристал и меня с дерьмом смешал, а еще молодому Марксу курить не даешь, большевистская рожа, сифилитик, садист!

Еле Ильича отняли у Карлы. Его-то за что держат тут? А главное, бороду ему Втупякин не разрешает отращивать. Ты, говорит, вовсе не молодой Маркс, а проходимец, кассу обокрал, основоположником теперь прикидываешься! Не положена тебе борода никогда!

А я так считаю: поскольку человек без бороды не похож, конечно, на Карла Маркса, то надо разрешить ему отращивать бороду, а уж потом глядеть, кто он есть на самом деле. Может, он даже не Карл Маркс, а Энгельс или какой-нибудь Лев Толстой. Неужели, маршал, непонятно это?

Я вот пишу, а когда слезы душат, историю Марксовой болезни читаю. Никакая это не болезнь. Верно все человек говорит, верно. Ни в коем случае нельзя в наше время пролетариям соединяться. У нас-то ведь в семнадцатом соединились они — тут всем и крышка пришла. Прихлопнули их Ленин со Сталиным вместе с ихней диктатурой, как зайцев, и теперь, как говорится, ни бзднуть, ни пернуть измученной душе.

Перехожу, однако, к своему делу. Как сейчас помню, башка на части рвется, душа в пятки ушла, что делать — не знаем никто, снаряды с минами рвутся, пули

вжикают, вверху рев, с боков крики, стоны, каша кровавая, только рядом человек был, старшина, смотрю — голова евонная в каске лежит, как бы в миске глубокой, и ухмыляется, глаза на меня снизу вверх так и тарашит, а где сам — неизвестно. Не видать ничего в дыму. Где фронт? Где тыл? Где фланги? Ничего не видать. Только комиссар орет: «За Родину! За Сталина, сволочи, за власть Советов!» А я бы и рад, может, за Родину помереть, всем миром все же помирали, но за Сталина помирать — было в душе такое мнение — ни за что не хотелось. Плевал я на него сколько себя помню. Разве же не сумасшедшее это дело — помирать за кровопийцу, который родителей твоих расстрелял и тебя самого чуть не извел, — спасибо бабка в деревню увезла?.. Потом к тому же землю отнял, в колхоз загнал, жилы все из нас вытянул, с Гитлером дружбу завел. Мало того что завел, — скотину нашу на ливерную колбасу к нему погнал. Мы же девятый хер без соли доедали, простите, маршал, за выражение.

Так вот, как услышу «за Родину» — так вперед меня тянет, врукопашную, страха нету ни в пятках, ни в душе. Как добавит комиссар «за Сталина» — так словно кто подножку мне ставит и заворачивает силком в другую, значит, от врага сторону. И со многими солдатами, помоему, то же самое происходило. Почему бы мы тогда отступали и отступили по самую Москву? Только по этой причине. Других, по моим прикидкам, не было. Никакая сила, маршал, не помешает солдату помереть за Родину. Верно?

А комиссаров у нас сменилось за месяц с начала войны — тьма. Им же велено было выбегать, «за Родину, за Сталина» орать. Вот они и выбегали поначалу и орали. Тут их и подстреливали, безголовых, или в плен брали, потому что летят они сломя голову с «ГТ» в руках, а солдаты — на сто восемьдесят градусов и снова ничком в окоп, колени в подбородки вжимать, Богу молиться о спасении от муки смертной. Тогда приказ Сталин дал — чуял, сволочь, что солдат помирать за него не хочет, — забегать комиссарам не вперед, а назад, в тыл солдатам, и шпекать без сомнения в лоб каждого отступающего. Тут комиссары пуще прежнего вопить стали «за Родину, за Ста-

лина». Плотки-то у них с семнадцатого года луженые, и главное дело — орать то одну пустобрешину, то иную.

Что делать солдату? Гитлер на него танками прет, бомбы сверху на него сыплет, пулями свет божий прошел, не ту мочи сопротивляться. С тылу же комиссар гонит тебя, клонит, как травиночку, под косящую косу мосластой шкелетины, смерти то есть. Что солдату делать? Ежели помереть в два счета — а это проще простого, — что с Родиной станет? Может, Сталин с Гитлером столковались, чтоб извести нас всех с лица земли, зажали в двух концов — спереди танки-минометы, сзади комиссары. Правда, к каждому солдату комиссара не приставишь. Народу больше было, слава богу, чем ихнего горластого брата. И это решило судьбу войны. Сминал солдат комиссара, назад откатывался, отступал, так сказать, жизнь спасая для будущего боя, и зло лишь брало, что сталинскую рябую усатую харю спасал тем самым вместе с Родиной.

Ладно, думалось, при, фюрер, при, зараза волчья, прите, крысы фашизма. Заманим мы вас по-кутузовски в конце концов в такую крысоловку, что кровью похаркаете почище, чем мы харкаем сейчас.

Победили мы? Победили. Сам солдат победил, гражданин генсек, а не ваши комиссарские глотки. Солдат победил всенародный, и я, русский Иван, в том числе, а не вы — маршал-генералиссимус с золотой сабелькой и тремя «героями». Стыдно. Стыдно, генсек.

Ох как зарыдал я тогда от стыда неимоверного, невыносимого, самой смерти страшной который, как я тогда, господи, зарыдал! Век не забуду.

Помните, генсек? Никиту вы скинули, сами к креслу приросли и, разумеется, постепенно зажрались. А своре вашей только того и надо. Облизывать вас принялись, бесстыжие, на глазах всего честного народа. Одну звездочку геройскую дали, затем вторую. Затем сабельку золотую на белых партийных рученьках поднесли. Вы ее приняли с важным видом. Затем маршала вломили вам. Бриллианты на шею повесили, словно царю-батюшке, а вы и бровями не пошевелили. Не проснулась в вас совесть, не обмерла от нахальства душа, не сказали вы своим жополизам с серьезными партийными лицами: «Буде, братцы. Вы уж... тово... перегнули слегка».

Не сказали, не взяли сабельку золотую и все ваши дармовые звезды с бриллиантами, не отнесли их к Кремлевской стене на могилу Неизвестного солдата, не положили на красный мрамор рядом с синим огнем и не извинились перед безмолвным навек прахом следующим образом:

— Прости, солдат. Прости. От души говорю. Зажрался. С вождами это бывает. Твое это все — золото, бриллианты, сабли, ордена, медали, — прости. Может, не погибни, сидел бы ты сейчас на моем месте, а я лежал бы себе тут в покое и тишине исполненного долга. Никакой я, конечно, судьбы войны не решил, будучи кадровым комиссаром, а лишь печать ставил на партбилеты после боя и выжившим их вручал, священнодействуя как бы. И не был я, солдат, душой новороссийской операции. Прости. Но и пойми — не может народ без чего-либо такого, что напоминает ему царя-батюшку, чтобы хоть повздыхал народ, избывая тоску свою с семнадцатого года, глядя на грудь богатырскую маршальскую, орденами увешанную. Народ — он что ребенок: если батяка помер, отчима ему подавай. Не для себя лично вешаем мы на мундиры все эти погремушки-побрякушки, поверь, а исключительно для народа, для веселия его душевного и развлекательности зрения. Так что прости, солдат. Царство тебе Небесное!

Сделали вы так, генсек? Сказали вы так, маршал? Нет! А я сказал и сделал.

Пляжу на вас тогда по телеку — и чую вдруг: белеет лицо мое, не краснеет, а именно белеет от смертельного стыда, растерзавшего разрывной пулей совесть и душу. Боже мой! Что я наделал? Как я жил?.. Рыдания враз затрясли меня почище инсулинового шока...

Бегу, не в силах жить на земле в прежнем образе, прямо на могилку Неизвестного солдата, то есть самого себя, вернее, Вдовушкина Петра, но в конечном счете Байкина Леонида Ильича, каковым и числюсь по истории болезни, приписанной мне Втупякиным — кандидатом сумасшедших наук.

Разъяснения потом. Все разъяснения потом, ибо, сдерживая слезы, стараюсь изложить неперменное и главное.

Прибегаю, реву не в голос, по-бабьи, а внутрень, и стенаю так, что ребрышко каждое холодной болью продувается, и чую некоторую предпоследнюю опустелость, нечто вроде смерти, одним словом. Падаю на колени перед негасимым огнем с розовым венчиком от дождя осеннего, морозящего, падаю, ударяюсь о мраморный гранит кающимися лбом и стенаю:

— Леня! Все сделаю. Все. Ты тут будешь лежать, а не я. Прости. Не надо мне славы твоей посмертной. Я ведь думал, что живой — я, а ты — мертвый, но все теперь наоборот. Прости... Исправлю такое положение. Незамедлительно исправлю. Все на свои места встанет. Жизнь доживу вполне откровенно, а у тебя времени — до Страшного Суда, перед которым могу предстать хоть сейчас, ибо отдаленность его для меня пытка. Пытка. Прости, Леня!

Лечу, словно птица на одном крыле, обратно домой. Беру фанеры лист. Палку к нему прибиваю. Пишу на фанере чернильным карандашом, как на посылках в деревню временами:

**ЗДЕСЬ НАВЕКИ ЗАХОРОНЕН ИЗВЕСТНЫЙ РЯДОВОЙ СОЛДАТ Л.И. БАЙКИН.**

«Погиб смертью храбрых» не стал я писать, так как это было бы неправдой. Не было ни в нем тогда, ни во мне никакой храбрости, а лишь страсть была спасти солдатские наши, нужные Родине жизни от непростительной, дураковатой смерти, на которую, маршал, жестоко и подло обрекли нас Гитлер со своим дружкой Сталиным.

Несу плакат на могилу, несу с легкостью необыкновенной, хотя корчусь от вьевшегося в душу стыда... Дождь льет. Ветер под дых колошматит, плакат из рук выбивает и вырывает...

Вбиваю его булыгой случайной с правой стороны могилы в землю. Крест пририсовываю наш православный над фамилией и говорю:

— Хватит, Леня. Будь ты Байкиным теперь, самым собою, а я принимаю прежнее, истинное свое имя Вдовушкина Петра. Прости.

С этими словами ухожу... Дома радуюсь, ну прямо как мальчик. Чист! Чист! Главное — чист, а все остальное приложится: и возмездие за злодейство многолетнее

и пользование чужой славой в корыстных целях, и так далее, и все такое прочее...

Хлобыстнул самогонки. Откуда у отечественного инвалида деньги на водку, маршал? Нас каждый божий день не зовут в Кремлевский дворец жрать «столицу» и балыком ее же занюхивать. Мы самогонку гоним. И на том спасибо...

Весело мне, одним словом, в комнатенке моей бобылевской. Соседи дрыхнут — на работу им завтра. А если и разбудил я их пьяной, ранней и радостной своей песней, то попробуй сделай мне в такой момент замечание. Боже упаси! Протезом враз отколошмачу.

Всю ночь пою-надрываюсь «...идет война народная, священная война... 22 июня ровно в четыре часа... синенький скромный платочек падал с опущенных плеч... и у детской кровати тайком ты слезу утираешь...»

Пою и плачу, как вот сейчас. Но сейчас нету радости в моей душе и просвета искупления. Лишь гнев в ней, маршал, один гнев и обида на допущенные издевательства над телом и совестью инвалида... Но ладно...

Сижу, значит, пою, видение лица жены моей законной — Нюшки, Настеньки, Анастасии — усилием воли своей, покалеченной жизнью, прогоняю. Протез снял. Кулья блаженно от него отдыхает. А сама нога моя правая знаете где, маршал? В могиле на площади Революции, рядышком с костями известного на самом деле солдата, а не неизвестного, рядом с Байковым Леонидом Ильичом, другом моим боевым, верней, рядом с тем, что от него осталось... Плачу и пою — собака, одинокая и затравленная наконец-то мстительной судьбой...

И то ли примечталось, то ли приснилось, но явственно вижу себя на поле того последнего моего боя, волокущего по грязище, по разводу осеннему Леню, друга моего, который начисто потерял от ужаса, унижения отступления, от заброшенности нашей солдатской желание продолжать жизнь. Потерял, и все.

Но во мне-то тогда силенок было, маршал, на две-три жизни. Семижилый был парень, с руками, с ногами, с рожей веселой, с головой не тупой, с добрым сердцем — нормальный, одним словом, русский чело-

век, не до конца еще пропохабленный советской крысиной властью...

Ад дьявольский по сравнению с тем полем боя домом отдыха, думается мне, был... На взрывы всякие, крики, стоны, пули, осколков свист, штурмовиков вой я уж внимания не обращал. Ибо такая запредельная тоска пронизывала мою душу оттого, что ползли мы по растерзанному, неубранному полю побитой, вытопанной, втопанной в прах земли, выжженной ржи, что, кроме тощицы этой и настырной силы, внушенной свыше, ничего во мне не было. Ничего.

— Леня, — хриплю яростно, — Леня, Бога побойся, пошевели ноженьками и рученьками, пошевели, не то не выползем мы, даже в плен не возьмут нас — такие жалкие мы и страшные, не бойсь, ползи, родной, спастись надо, а то кому же гнать обратно с поля нашего ржаного гадостное это воронье, фюреровские усики, сталинскую рожу рябую, пожалей, Леня, себя и меня...

Немного осталось нам до низинки, до деревьев, измочаленных жутким железом... От танка спаслись. Прямо на нас пер. Окопчик нас спас. Танк дальше, в плоть земли нашей поперся, и вонища от него была, как от первого моего в жизни трактора. Как сейчас помню. Приятная такая дизельная вонища... Ужас вокруг, а душу захолонуло от страсти по мирному труду на крестьянском поле...

Окопчик от танка нас спас, но он же Леню и погубил.

Я уж думал — все, спасены... темнеет... до низинки дотянем, а там уж у пенька какого-нибудь прикорнем... черт с нею, с едой... сон важнее человеку любой еды... суток трое мы уже не спали... за что, Господи, такие дадены нам Тобою муки ужасные?

В этот-то момент и рвануло-шарахнуло до полного оглушения. Даже не знаю, успел я услышать сам взрыв или не успел. Не важно.

Отряхнулся от земли, промаргиваюсь, дыхание налаживаю. Жив я, окаянный. Леня, мой друг, лежит рядышком, словно спит — глаза закрыты, на губах улыбка ребеночка. Потормошил я его слегка — а тормошить-то было нечего. Каша одна с костями от Лени осталась. Лицо лишь не тронута. Весь взрыв на Леню пришелся. Тем и спасен я был, но непоправимо ранен. Лежу я сначала и



не ведаю: то ли жалеть друга, то ли радоваться за него. Не знает в такие времена человек, что лучше. Но живым жить нужно.

Дрыгнул одной ногой — на месте. Дрыгнул второй — нету у меня второй ноги. Ясно это, причем без всякой в первые минуты боли. Мог бы ведь безболезненно уснуть и кровью во сне истечь до смерти. А почему боли не было, пускай Вступякин думает, на то он и кандидат наук. Может, еще тогда весь мозг от взрыва раком поставило. Не знаю, маршал.

Тянусь рукой к бедной ноге — неужели, думаю, по самую жопу отхватило, тогда хана... Но — нет, до коленки дотянулся — счастьем меня просто пронзило: цела коленка. Цела, Господи, спасибо Тебе за муки и спасение с частичными потерями.

Пальца на три ниже колена отрыв пришелся. Накладываю жгут, останавливаю кровь — брезентовый ремешок пригодился. Городской человек на моем месте сразу же или немного погодя дуба врезал бы, а я человек крестьянский — губа не дура, мудер был с малолетства. Сам противогаз, как только обмундировали нас, выкинул я к едрене фене, а сумку набил жизненно важными причиндалами. Бинты. Махорка. Чай. Соль. Йод. Сухариков, правда, не осталось в сумке. Рубанули мы их с Леной... Ну и прочая мелкая штукovina была там, вроде ножа, ложки... не важно, впрочем, все это, маршал...

Обрабатываю культю йодом... Онемела культя от жгута. Не чую боли. Йод не щиплет, совсем как вода... Может, контузило так, что шибанулся я? Страшна, маршал, боль, но и без боли в таком происшествии тоже жутковато... Перевязал. Весь бинт на культю ушел. Что голова вся в крови — это я уж не говорю. Это пустяковина.

В глазах черно, между прочим, ночь в глазах, но не придаю я этому значения. А в ушах — тишина. Но бой идет. Чую лишь по сотрясению почвы... Беспамятство вдруг осенило меня, а может, кровищи потерял много и от этого внезапно спекся... Не знаю, сколько времени так прошло...

Очухиваюсь... Фу ты... Есть в глазах свет, в ушах звук, слава Тебе, Господи. Хотя понимаю, что действуют глаза мои и уши не в полную мощь. А были они у меня, на удив-

ление, как у собаки, кошки и птицы. Не важно. Лишь бы, думаю, духом не изойти до конца.

Бой, кстати, все еще идет... Медсестер не видать нигде... Поубивало небось сестричек, перебило деточек бедных... Сколько времени — непонятно...

Танки немецкие вроде бы назад откатились. Это я из окопчика зыркаю. Каску Ленину надел. Моя осколками пробита. Но спасла, однако, спасла...

Контратака наша бесполезная, сморю, пошла. Понимаю, что чуют солдаты гибельную опасность такого боя, всю зрящность его чуют, нету в них духовитости ни на грамм. Какая уж тут духовитость? Одно лишь покорное уныние.

Но Втупякин-то прет — комиссарище — сзади, «За Родину! За Сталина!» — орет. На верную смерть, сволочь глупая и тупая, думаю, гонит солдатиков. На верную. На стопроцентную.

Косит фашист солдат, просто аккуратно косит, ибо окопаться успел как следует. Зачем ему своя атака, если Втупякин гонит солдатиков, как скот на советский мясокомбинат, прямо на вражьи пулеметы и минометы?

Боже мой, сколь их на глазах моих полегло...

Вот завернул, согнувшись в три погибели, один солдатик обратно. Втупякин сходу — пулю в лоб... Еще двое завернули. И их выводит в расход Втупякин. С тылу солдатского сподручно ему это. Вот гадина. Спереди немец косит солдатиков, сзади Втупякин бьет в лоб.

Беру, не раздумывая, винтовку свою, номер вот за был, вскидываю и, спасая от смерти брата своего — солдата, шпокаю Втупякина в спину евонную, портупеей комиссарской перехваченную. Падает с копыт.

Солдаты, вся цепь, враз, как по команде, залегли. И немцы примолкли, не стреляют. Тишина. Словно совесть их взяла стрелять в форменных самоубийц. А могли, могли перебить всех начисто. Может, ждали, что в плен наши сдадутся?.. Не знаю. Факт описываю.

Тут туча чернющая небушко застлала. Тьма адская поле боя накрыла, но дождь не пошел. Тошно ему как бы было разбавлять благословенной небесной своей водицей грешную и несчастную человеческую кровь... Тихо кругом. Ни выстрела, ни голоса. Притомились лю-

ди вместе с техникой, и сама собой ночь пришла вскоре.

Зашевелились прилегшие было солдатики. Грязь зачавкала. Ползком кто куда откатились. Отступили. Спаслись для будущего победного боя.

О Втупякине я и думать даже не стал. Полезное в данный момент войны дело сделал для Родины и для народа без сожаления и не сомневаясь ни на грош. Потому что он — Втупякин — убийца был истинный, а не я.

Хотел я крикнуть — спасите, мол, братцы, — рот побитый раззявил, а крика-то в нем нету ни на единую буковку. Хрип какой-то один. Контузия, видать, не простая. Глаза немного ожили, уши слегка отошли, а голос пропал.

Снова ору. Снова один хрип... Ну, и откатились солдатики без меня, а я в окопчике один рядом с Леней остался. Так-то вот..

Пишу, маршал, по вечерам. Втупякин пьяный дрыхнет в процедурной. До утра продрыхнет, если, конечно, ЧП не случится. Тут всякое бывает. Чаще всех Ленин с молодым Марксом дерутся. Схватят друг друга за грудки и орут, яростно задыхаясь:

— Плевать я хотел на все базисы и надстройки. Я теперь субъективный идеалист,— это Карл Маркс орет, а Ленин взвизгивает:

— Мы все равно придем к победе коммунистического труда.

— Нет. Ни за что не придем.

— А вот и придем, и придем, и придем.

— Даже и думать нечего. Не придем. И так уж дошли до ручки, герр Ильич.

— Ликвидаторская рожь,— надрывается наш Ленин. — Догматик и архимерзопакостный ревизионистишка!

— Жаль, Фридриха рядом нет. Мы бы тебя головой твоей в парашу затолкали и на Красной площади выставили ногами кверху, как Гегеля, на всенародное обозрение.

— Мелкобуржуазная образина. Ты подлец и не выдержал испытания временем. Ты сахар экспроприруешь у меня по ночам. Нонсенс. Скотина. Курсив мой. Посмотри на расстановку сил на мировой арене, хулиган. Мы

дружной кучкой вместе с политбюро идем по краю пропасти, крепко взявшись за руки. Из конфликта советской власти и партии с народом-победителем выйдет партия и власть, а народ станет эффективным двигателем истории. С кем вы, господин Маркс?

— С кровавой большевистской мразью и философией вшивоты я — молодой Маркс — даже какать рядом не сяду. Понял, сковородка картавая?

Тут Ленин прищуривается, ручки потирает, довольный, и пользуется самым подковырочным своим оружием. Ехидно так напевает:

— Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, а Клара-то Цеткин украла у Карла кларнет... Вот наша коммунистическая скороговорочка, батенька... Ха-ха-ха... Ты украл у Карлы Клару и кораллы и кларнет.

Это уже драка. Разнимать их приходится. Дадим, бывало, обоим по хребтинам и спать уложим. Тошно нам порою от ихней классовой борьбы, провались они пропадом...

Вот, Ленин опять к перу рвется. Зазудело в нем. Ничего не поделаешь, генсек, кроме как Марксовой истории болезни, нету у нас бумаги, а письма, которых я вам штук сорок уже написал, Втупякин к моей истории подшивает — доктором, сволота, мечтает стать на чужой крови и судьбе, скорпионище гадкое...

Докладная записка 345/678 рп.

Товарищ генсек, удивлен, что задерживается проведение экспертизы на предмет идентификации проходимца, находящегося в принадлежащем мне (см. пост. ВЦИК от 2.2.1924 г.) мавзолее. Мое заключение в ряде психиатрических домов, эрго, отрыв меня от внутреннего строительства и оперативных задач Коминтерна отрицательно сказываются на расширении сфер влияния советской власти во всем мире.

Ситуации во взрывоопасной Восточной Европе, равно как и на Кубе, в Эфиопии, Мозамбике, Анголе, Ливии и Никарагуа, нельзя считать стабильными (sic). Давайте посмотрим правде в глаза: многолетняя компрометация идей социализма и особенно коммунизма практикой су-

ществования стран так называемого соцлага требует от нас достижения главной цели — уничтожения старого мирового порядка, новых методов тактики в рамках органически свойственной нашей программе глобальной стратегии и полнейшего политического аморализма.

Объективно детант продвинул наше дело далеко вперед, но посиживание на лаврах смерти подобно. История не простит нам замораживания наших стратегических классовых активов. Мы обязаны пустить в оборот все завоеванное нами с таким титаническим трудом и невероятные лишения рабочего класса стран социализма за долгие годы детанта — этого начала конца традиционно политического мышления старого мира.

В наших руках, благодаря логике истории, оружие неслыханной силы, а именно: скотское желание всех народов без исключения *мирно* (курсив мой. — В.Л.) жить в на части раздираемом противоречиями капиталистическом мире.

Военное превосходство плюс неослабеваемый шантаж угрозой ядерной войны, наряду с беспринципной борьбой за так наз. мир во всем мире, с активным подрывом всех экономических, моральных, государственных и прочих структур, изумительно готового к полному уничтожению старого общества, приносят плоды на наших глазах. Близок час, когда мы вымостим полы в сортирах золотом и бриллиантами чистой воды.

Считаю безотлагательным делом (см. июньские тезисы) строительство мемориальной европейской Стены Расстрелов и составление списков вырожденцев, подлежащих казни, партии и народа, начиная с ведущих банкиров (не забудьте глав монополий) и кончая более мелкой сошкой типа Коррильо, Берлингуэра, Леха Валенсы, Барышникова, Корчного, Солженицына, Рейгана, Максимова, Хейга, Абрама Терца и временно оставшихся в живых битлзов.

Необходимо на все сто процентов использовать пораженческие настроения господ западных либералов левого толка с их *дурацкими* (относительно нас. Курсив мой. — В.ЛУЛЬЯН) розовыми идеями и декадентствующую интеллигенцию, невыносимо погрязшую в утонченных сексуальных безумствах и наглом наркоманстве.

Существует, однако, опасность забвения предоктябрьского опыта российской истории, приведшего к свержению царизма и недолговременному установлению диктатуры пролетариата, который диалектически перешел после десятилетий красного террора в диктатуру партии — ума, чести и совести нашей эпохи.

Необходимо запомнить: никакое кокетство с объективно и субъективно пораженческими кругами не помещает нам выделить для них в ближайшее время небольшой участочек Стены Расстрелов, сиречь стенки (примеч. верно. — В.Уль). Возможно, это будут одни из последних расстрелов в предыстории человечества. В коммунизме же, то есть собственно *в истории* (курсив мой. — Вилич.), расстрелы уйдут в далекое и проклятое прошлое, оставшись лишь единственным способом разрешения наших партспоров.

Если прискорбный и неслыханный акт отлучения меня от дел и более чем полувековое заточение в дурдомах СССР не помешали победоноснейшему шествию идей социализма и коммунизма по земному шару, то это лучшее доказательство жизненности учения пожилого Маркса, которое всесильно, потому что оно верно, что бы ни болтал господинчик, прикидывающийся нашим Прометеем. Ничтожество.

Привет тов. Андропову — славному ученику Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, Бери и др. — за принципиальное отношение к близоруким иудушкам и прочим внутренним диверсантам.

Необходимо, архинеобходимо для нашей политической мобильности раз и навсегда пресечь разговорчики о пресловутых свободах слова, творчества, совести, перемещений, манифестаций и критики в адрес партруководства — этого коллективного разума нашего времени.

*Ваш в. Л-н.*

Прошу управделами Совнаркома выделить мне дополнительно 300 (курсив мой. — В.У.) грамм сахара для стимулирования высшей мозговой деятельности и прекращения мною ряда вынужденных экспроприаций сладенького из тумбочек господ диссидентов и прочих врагов трудового народа.

Я — за эксгумирование останков неизвестного солдата с целью нахождения среди них правой ноги тов. Вдовушкина Петра. Во время взятия Зимнего его отец оказал партии ряд неоценимых услуг. Затем был расстрелян за попытку навязать нам дискуссию о социальном перерождении партэлиты.

Трилогия тов. Брежнева — архиинтересная книженция. До этого генсека в нашей литературе даже меньшевика не было, не то что ликвидатора. Просто глыба. Матерый человек. Скиньте, к чертовой бабушке, господина Достоевского — этого трупопоклонника — с фронтона библиотеки, заслуженно носящей мое имя, и присобачьте туда, батеньки, бюст нашего партийного писателя № 1. Рекомендую присвоить Л.И. Б-у звание вождя современного литпроцесса. (См. мою работу «Беспартийная мразь в литературе и очередные задачи красного террора в связи с его расширением в особо важных регионах мира».)

*Ваш Ичълиульян.*

Весьма удивлен, что тов. Брежнев въехал в Париж во время своего визита во Францию не на броневике, который я, кажется, предоставил к услугам партии и народа, а черт знает на чем, чуть ли не на «Кадиллаке». Нонсенс, товарищи.

*Ваш Чичь Нинел.*

Бросьте все средства на усиление конфронтации арабских стран с Израилем — этим уродливым порождением бундовщины и гадкой исторической плантацией опиума для народа. Не забывайте, что все абсолютно источники нефти станут главным фактором организации всемирного экономкризиса, который позволит взять нам власть в свои руки в основных капстранах мира.

Пора уже сказать нефтяным шейхам всех мастей: шагом марш из-под дивана... И дайте же мне, наконец, свидание с Наденькой, имманентно необходимое нашей сощячейке с 1924 года.

*Ваш Владимильчло.*

Долго больно писал наш Ленин, генсек. Зря вы его держите тут без экспертизы. Очень зря. Видно ведь, что

умный человек и говорит занятно. Может, верно, что если бы он лежал в мавзолее, а не какой-то другой хмырь полуболотный, то давно бы уже всем войнам пришел конец, несправедливости, капиталистам, забастовкам в Польше, танцплощадкам и прочему старому миру. Кто знает? Так зачем Втупякин, гаденыш, издевается над самым настоящим Ильичем? Он что сказал, пьяная харя, третьего дня?

— Выдь-ка, Ильич сраный, Ленин затруханный, на балкон из моего кабинета. Хватит тебе прищуриваться и жилетку несуществующую большими пальцами растопыривать. Выдь!

Но Ленин-то наш, не будь дураком, отвечает:

— С детства боюсь высоты, эрго: на балкончик не выйду, батенька. Сыграйте мне лучше сонату, после которой хочется умыть руки и гладить по головкам.

— Вот я тебя, змей, и подловил, — обрадовался Втупякин. — Никакой ты не Ленин, потому что Ленин с балкона балеринки Кшесинской выступал, речугу кидал народу и, заметь, не блеванул на него сверху вниз ни разу. Эрго: не Владимир ты Ильич Ульянов-Ленин, а мерзавец и симулянт, растративший миллион казенных рупчиков в Сочи, Ялте, Вильнюсе, Москве и Тбилиси, а теперь голову морочишь здесь ответственной психиатрии — науке нового типа, грудью вставшей на защиту советской власти от дружков твоих по палате. Мы вам, обезьянам, вернем человеческий облик. Что ты, что Маркс — одна сволота. Марш под душ Шарко.

Но Ленин наш, как всегда, в слезы, но руку вперед выбрасывает с форсом эдаким комиссарским и на весь дурдом орет:

— Мы придем к победе коммунистического труда! Мавзолей — не купе бронепоезда! Вон из мавзолея симпатичного грузина! Капитал растратил не я, а Маркс...

Если вы там у себя в Кремле считаете, что в мавзолее настоящий лежит, а не туфтовый Ильич, то чего же вы этого не расстреляете? Почему отпечатки пальцев не делаете нашему по его же просьбе? Разве он стал бы просить сравнивать свои пальцы, если бы не чуял, что он эрзац-Ленин? Нет. Никогда... Или взять меня, маршал.



Почему я требую вырыть — можно втайне от простых людей доброй воли, чтоб не расстраивались они, — останки друга моего Лени и среди них опознать мою личную правую ногу? Потому что она там и негде ей больше быть, кроме как там, с Ленею вместе. Вырой ты ее, и сразу тогда станет ясно, что не Вдовушкин стал неизвестным солдатом, а Байкин Леонид Ильич, чью фамилию ношу с 1941 года ровно в четыре часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война... Моя там нога. А иначе разве стал бы я заваривать такую неприятную для всех кашу? Я по совести желаю и по чести. Неужели же легче измываться тут надо мною, лекарств венгерских и восточногерманских изводить на меня целую кучу, электротоком трясти, на ветер его пуская, кормить, лекции про «Малую землю» читать и санитаров держать с тигриными рылами, чем на пару только минут вырвать из земли мою оторванную ногу, анализы взять костей и портянки, сравнить, одним словом, и сомнений не осталось бы насчет того, кто есть кто. И все. И никто передо мною виноват не будет, а буду виноват перед всем миром один я за укрывательство своего имени, измену Отечеству и переломанную тем самым судьбу... Подумайте...

Лежу я, значит, маршал, в окопчике, Леню по чистому, холодному уже лбу глажу... А боль вдруг засадила в культе, притекла, зараза, хоть вой, как собака, непонятно кому жалуясь. Мочи моей нет, ровно не кровь течет от культы к мозгам через сердце и обратно, а боль, густая такая, свербежная боль.

Нет, думаю, от боли я помирать не желаю. От раны — пожалуйста, а с болью я свыкнусь. Нам к боли не привыкать. В НКВД, было дело, два месяца держали — шили попытку вымачивания картошки перед посевной с целью убийства урожая для голода в Москве. Картошку дурак пьяный из рабочего класса, дубина райкомовская — Втупякин приказал вымачивать, ускорять по-большевистски цикл роста упрямых растений, а меня за него день и ночь колошматили, признаваться велели подру-поздорову. Втупякин сам и пытал меня со своим дружкой из НКВД вместе... Бывало, в общем, и телу и душе побольней, чем в окопчике. Выдюжил. Выгнали. Пря-

мо с печи с ребрами сломанными в поле погнали остатки картошки той изуродованной убирать... Втупякину же, слух пошел, расстрел вышел сверху...

Не желаю от боли помереть. Сильней я боли. Ползу из окопчика, благо, луна выглянула на чуток, и офицера немецкого различаю совсем рядышком... Ползу к нему в надежде и мольбе... Шмонаю ранец офицерский. Про боль забыл враз... В ранце фляжка, жратва, медицина всякая, трофейных орденов Ленина целая куча — на зубы золотые родственникам в Берлине...

Отступаю на исходный рубеж. Боль снова забрала вдруг, да так, что в беспамятство пару раз погружался... Ничего. Дополз с Божьей помощью.

— Леня, — говорю, — как бы мы сейчас с тобой гужались, может, в последний раз перед новым, смертельным для нас боем. Смотри, друг. Вот коньяк, он не водка, конечно, клопами отдает, но закосеть можно. Вот колбаса наша «Любительская», врагом завоеванная, хлеб есть, Ленечка, сыр, масло, яйца, смотри, как запаса офицерик несчастный, словно к бабе в гости шел, а не на военную операцию. Отбили-таки мы у него кровную жратву нашу. Отбили, но с большими потерями, Леня...

Погиб мой дружок, помалкивает, но душа его поблизости находится, чую я это замечательно и поминаю вместе с нею Леню, друга моего фронтового, печально и светло поминаю, жахаю коньяк из горла.

Стихает боль. Слабо, но стихает... Ни звездочки на черном небе, ни звука на поле боя, лишь сердце стучит жарко, боль тупо топчется в жалкой культе... Один я, поистине один во всем мире, растерзанный проклятым военным железом, рваными его кусками...

А зачем я, думаю, растерзан? За что ногу я свою потерял? За то, что лобызались два бандюги, а потом тот, который поумней и позадиристей, приделал к носу тухлую морковку скотине несусветной — Сталину?.. Зачем я нахожусь в данный момент истории своей Родины не на кровати двуспальной рядом с женой желанной, с красавицей моей розовой после баньки, сам — чистый и сильный, а в углублении валяюсь могильном, разве что не закопан только, и нет мне помощи ни от врагов, ни от своих? Зачем?.. Что же они, проклятые эти политики и

вожди, в игры нас свои кровавые замешивают, сами в подземельях с бабами и дружками посиживают, по картам смотрят поля боев, а мы тут отдуваемся, по пояс в землю вбитые с оторванными руками, ногами и головами. При чем здесь мы?.. По какому такому закону жизни?..

Плотнул еще маленько — мозги прочистить от заковырочных вопросов. Да, говорю, Леня, видать, имеется суровый и глупый закон, по которому вожди проклятушие (почему ихним батькам вовремя дверью в амбаре женилки не прищемило?) — кашу вожди кровавую заваривают, а нам, беднягам, ее положено расхлебывать от века... На то мы, Леня, и солдаты, защитники. И если бы не мы, то кто за нас землю нашу невинную защищать будет? Вожди? Они, Леня, обдрищутся пять раз со страха и захнычут: «Дорогие братья и сестры». К нам, к народу, обратятся за спасением, и мы их, гадов, спасти вынуждены вместе с Родиной, потому что в Родину несчастную они все, как клещи, вцепились, особенно Сталин, и их уже никак от нее не оторвешь. А если бы можно было оторвать, то я бы, видит бог, поначалу, до открытия военных действий, оторвал бы их, выкинул к чертям на необитаемый остров, и пуцай они там с Жульверном фантазируют, суки. Вожди — они, Леня ты мой бедный, на погибель и большую беду нам дадены, а вот мы вручены им на ихнее паразитство и спасение. Тут уж ничего не поделаешь... Судьба это наша, а главное — грехи наши тяжкие, как бабка говаривала, Царство ей Небесное... Повезло-таки старухе: перед самой войной померла... Вот мы лежим тут с тобой, колбасу «Любительскую» у врага отбив, а также сыр и яйца крутые, и трофей взяв — коньяк, и на нас, Леня, вся тяжесть сейчас. Выдюжить надо во что бы то ни стало. Сначала фюрера — глистопера усатенького к ногтю приделаем, а потом, может, и за друга его возьмемся, чтобы запел он да кучу в кальсоны наложил: «Где же ты, моя Сулико?..»

Тут, маршал, хочешь — не верь, засмеялся я, как дурачок, и вдруг потрясло что-то душу мою грешную и бедную, веселье жизни ее, по всей видимости, потрясло, и запел я ни с того ни с сего, пьяный, разумеется, был: «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч...

22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война... порой ночной мы расставались с тобой... чувствую рядом с тобой... чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...»

Конечно, маршал, в песне про бабу говорится и как уходить от нее ночной порой неохота, но на самом, конечно, деле песня эта про Родину, и не то, что «широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...», а с душою, по правде сердца и без всякой враки комиссарской. Не знаю, кому до войны вольно дышалось. Небось, только падле усатой и своре евонных молотовых, калининых и кагановичей, а нам даже в колхозе вольно дышалось лишь запершись в нужнике собственном... Ну, это ладно...

Пою, ожил голос контуженный, горланю во все горло, слезы текут прямо в рот, рыло стянуло грязью подсохшей, горе и боль разрывают все нутро, но что-то неудержимо поднимает душу мою из этого окопчика, страшно даже, чудесно даже, пою, однако, и пою, и внятно жаль мне Ленью, и небо чернеющее, и себя-калеку, и Ньюшку, Настеньку, Анастасию — жену молодую, непробованную как следует: двух дней не дал пожить Втупякин, военком проклятый, и гораздо больше, чем всех, жизнь мне вообще жаль, всю жизнь, что мы, люди-сволочи, делаем с нею, во что мы поле превратили, зачем хлеб несжатый с костями смешали мы, с кровью, с плотью, с землей, зачем синенький скромный платочек, Господи, прости и помилуй, падал с опущенных плеч... строчит пулеметчик за синий платочек... идет война народная, священная война-а-а...

И что это? Слышу вдруг солдатское наше «ура», да такое богатырское, что, будь я врагом, в тот миг непременно обдристался бы от ужаса.

Во тьме кремешной, в ночи, когда вроде бы сами фрицы умаялись вусмерть воевать, когда вроде бы судьбой самой выделено милостиво времечка маленько для передыху, поднялись солдаты и поперли, и чую я, что не Втупякин их гонит с тылу дулом в спины, а по личному почину «ура-а-а!» горланят и прут на врага уже неостановимо, потому что не дурак солдат «уракать» далеко от вражеской позиции.

Поздно было клевавшему носом фрицу-фашисту гоношиться. Поздно. Я и на слух понял, как там дело обернулось. Посочувствовал, грешен, немцу, ибо не могу злорадоваться, даже когда врагу моему штык в пузо втыкают до кишок самых и изо рта его такой звук возникает смертный, что зверь содрогнуться может, не то что живой человек. А если не один десяток людей хрипит, стонет и крикает, попав на штык?.. Но и не лезь за чужим добром, скотина, сам виноват, небось в ранце у тебя наша колбаска валялась «Любительская», а не я за твоими сосисками с капустой поперся в Баварию... хрипи здесь, гад, в последнем покаянии и вине твоей передо мной.

Отыгрались, чую, солдаты наши за прошедшие в отступлениях и смертях страшные дни... «За Родину-у! Ура-а-а!» «За Сталина» чтобы орали солдаты — не слышать. Если б не комиссары, солдат про эту рябую разбойную рожу вообще бы на войне позабыл к чертовой матери...

Я, конечно, ору им вслед: «Братцы-ы-ы... братцы-ы-ы...» Молчок. Ни ответа, ни привета. Вдогонку бросаться за ними на последней ноге — не было во мне, маршал, такого героизма, виноват... Бог с вами, думаю, валяйте, раз прорвали окружение, я для вас верная обуза, ярмо на шее, веревки на руках, сам выкрутиться из лап смерти мосластой попробую...

Солнце тут вышло. Заря. А от нее совсем поле боя чертовой багровой жутью застлало. Все багровое — пушки, трупы, танки брошенные, рожь полегшая. Земля, развороченная и выпотрошенная как бы до самого нутра, кровью истекает бесполезной... Из культи сразу боль в душу мою поднялась, один я — живая личность — на поле боя кровавом, и потом вдруг пришибло меня от стыда и позора.

Смотрю из окопчика на небо, на поле — и краснею, маршал, перед Всевидящим, как пацан перед батькой, нашкодивши чего-то. Краснею, взгляда Его не выдерживаю и чую, что наделали мы, люди, опять такого зла ужасного, опять наделали такого зла, непонятно, ради чего наделали и как это вообще могло произойти, что только краснеть остается и возжелать сей миг сквозь землю истерзанную провалиться, лишь бы не видеть дел

рук наших, непосильных для уразумения. Наверно, если б вторую ногу оторвало мне тогда миной, то легче было бы во сто крат: понес бы я наказание, точно зная, за что несу его, и, может, душа не скулила бы так безысходно... Вот как дело было на земле, а что такое Малая земля, я не понимаю. Скорей всего — луна, где жизни нет, одни оспины каменные, как на роже у Сталина... Но — ладно...

И вот со светом замечаю поблизости знакомую мне, родную вернее, ногу в сапоге, раскуроченном взрывом. Добрый был сапог.

— Леня, — говорю, — сапог мой вона.

Совсем тогда рехнулся, позабыв, что Леня не откликнется, сколько его ни аукай.

Хлебнул еще для душка из фляги, пополз, долго полз, вертаюсь с ногой своей несчастной в руке. Все, думаю, жить пора продолжать, других дел больше нету, слава тебе господи, отвоевался парень, что-то его дальше, болезного, ждет?..

Не знаю, как уж тогда башка моя скумекала, что надо махнуть с Леней документишками — солдатскими книжками. Он ведь был один на белом свете, сирота, и у меня, кроме Ньюшки оставленной, тоже никого не было. Только вот биография моя, как говорится, тянула меня, ровно камень под воду. Отец с большевиками в чем-то не сталкивался, учуял зверя, над народом нависшего, хоть и сам был большевиком поначалу, в Кронштадте заварушку устроил, ну, ленинцы-сталинцы его и кокнули.

В школе, сами знаете, маршал, понимаете, жизни мне не было, травили, в техникум даже не взяли, не то что в вуз, а я ведь учиться ужасно хотел, голова была на плечах неплохая, толк бы вышел из меня. Не понимала этого дура злобная — советская власть... В пастухах ходи, вражеский выблядок, яблочко от яблоньки недалеко упало...

Ньюшку я за что полюбил навек? Выйти она за меня не побоялась. На всех харкнула с комсомолом вместе, с активистами, стенгазетами и прочей бодягой... Вот какая баба была, маршал.

Бес, конечно, тогда меня попутал, потому что понял, зараза, что совестливый человек на поле боя и перед Господом Богом глаза потупив стоит, грехам своим ужасаясь и людскому общему злодейству. Вот и надо его, следова-

тельно, или, как Ленин наш выражается — «эрго», под монастырь подвести. И подвел, гад такой. Что ему стоит?

Я и взял размокший Ленин документишко, карточку сорвал. Свой же засунул ему за пазуху. А бес, как сейчас помню, нашептывает: двух зайцев сразу, дубина, убиваешь — советской власти пятачок поросячий к носопырке приделываешь и Леня будет у тебя вечно живой, вроде Ленина. Что с того, что Вдовушкина как фамилию ты похоронишь? Сам-то ты ковылять будешь по белу свету, хоть и на одной ноге. Леня же большое спасибо скажет тебе на том свете за живучесть имени своего... знаешь, сколько людей в петлю враз полезло бы, если б пообещали им, что имена ихние переживут надолго их самих после смерти, и не сумлевайся, Петя, Ленею будь...

Я и стал. Вот как было дело в натуральном виде, маршал, я и слова не соврал...

Простился с Леней, вернее уже с Петей, с ногою своей простился, портянку, правда, прихватил, чего добру зря пропадать, а так пол-России скоро, судя по всему, немец отхватит, сталинской роже благодаря...

Присыпал окопчик землею. Могилку, как положено, соорудил. Каску свою положил на нее, а Ленину на себя надел поверх пилотки. Изнутри касок фамилии наши были выписаны.

Помянул затем друга. До гроба, говорю, теперь тебя не забуду, милый мой, прощай, прости, извини, может, так лучше для живого человека при варварской власти будет? Царство тебе Небесное и моей правой ноге тоже — куда же ей теперь направляться, не в ад же крошечный? Прихвати, будь любезен, Леня, и ее заодно с собою...

Еще раз помянул. Огляделся по сторонам, чтобы место это не запамятовать. Ужаснулся вновь тому, что люди с землею натворили и с самими собою, и пополз в низинку костыль какой-нибудь из сука сообразить... Бой тем временем в стороне где-то идет...

Выжил, одним словом, чудом выбравшись из окружения и самой смерти мосластой еще раз хрена с отворотом показав.

Гангрена, по-моему, начиналась у меня. Думал — все, хана, лучше бы прихватило тебя тогда вместе с Леней, хоть рядышком лежали бы до Страшного Суда...

Собака спасла меня, маршал. Такая же жалкая, бездомная, голодная и затравленная тварь, как я сам... Отмочил я тряпки кровавые, загноившиеся от культи, в речушке чистой, смотреть боюсь на то, что от ноги моей правой осталось...

Вдруг собака подходит. Хвостом весьма печально виляет. Обнюхивает осторожно и тщательно. Не немец ли? Убеждается собака, что русский человек пропадает тут ни за грош, и просто так, ровно форменная медсестричка, какая-нибудь Машка, Танюшка, Нинка, Тамарка, Катька, Царство им Небесное всем, — принимается собака без долгих рассуждений, выполняя, так сказать, служебный свой долг, зализывать культю мою саднящую и внешне ужасную до отвращения и страха.

Шерсть на благородной псине в репьях, в грязище, брюхо подведено под хребтину от голодухи.

— Машка, — говорю, — накормлю я тебя сейчас, не бойсь, ежели выживу — скорей подохну, чем брошу, верь Пете, верь Лене. Леня я теперь, Машка, Леня, Леонид Ильич Байкин.

А она хвостом ободренным повиливает, глазами, как доктор из-под очков, поглядывает на меня и зализывать культю не перестает.

Чем бы, думаю, накормить мне Машку? Ташусь в лесок, потрепанный боями. Нога подгибается, башка кружится, поташнивает от слабости, но ташусь. Не для себя же, в конце концов, стараюсь, а для собаки голодной. Машка за мной робко тянется, поскуливает от тоски собачьей — припугнула чертова война не на шутку тварь Божью...

В лесочке же ни вдоха живого — ни на ветвях, ни под кустиками.

— Выходи, — говорю, — барсуки-суслики, из бомбоубежищ, пожертвуйте собой ради человека и собаки. Галки, вороны, сороки, куропатки, куда вы запропастились все?..

Тихо. Только комарики позуживают, на нервы, как самолеты, действуют... Беда... Война... Смерть крутом... В двух гнездах упавших птенцы полутолые дохлые лежат, и глаза ихние прикрыты, как у людей, посиневшими веками... Тошно было птенцов предлагать Машке, да она и сама есть их не стала, только обнюхала издали и вздохнула



от тоски так, что сердце у меня ко всему прочему закололо... Что делать, как Ленин наш говорит, когда ему жрать охота... Брусника, ежевика и малина в зарослях — не для Машки еда... Хоть возвращайся в мясорубку на поле боя и неси собаке кусок человечины, елки зеленые... Это я так от безвыходности подумал и от тоски. Были такие собаки в войну, что бесстрашно околачивались около трупов, в ранцах солдатских и офицерских жратву отыскивали, но Машка была иного рода личность. Она войну по-человечески переживала... Погибла она на моих глазах от этого... Что делать? Знал бы, что встречу ее, придержал бы колбаски и сыра с булочкой...

Но если Ленин при таких обстоятельствах в уныние впадает и не знает, что делать, то Машка распорядилась умнейшим образом. Села, нос кверху вытянула, облизывается и меня приглашает взглянуть туда же.

Там чуть не на макушке высоченной сосны сова сидела, дрыхла себе, как всегда в дневное время... Не она ли над полем ржаным этой ночью носилась? Лишнего страха нагоняла, стерва.

Снимаю из-за спины винтовочку свою. Помехой она, конечно, была для меня, но и без винтовки на безобразие можно нарваться при встрече с нашими... Где твое боевое оружие, дезертирская харя?.. Такой у вас разговор был, маршал, с несчастным солдатом, прорвавшим окружение. А вы его в расход пускали за потерю винтовки, чтобы другим неповадно было, по приказу Сталина...

Снимаю винтовочку, а сил вскинуть ее, как некогда, словно пушинку, прицелясь немцу прямо между рог, нету, чую, таких сил в слабых мандражащих руках... Кровушка-то потеряна, душа от горя и страха истомилась в лоскуток, и коленка единственная подгибается, да еще приходится, чтобы не завалиться на глазах у Машки, равновесие придерживать, опершись о дрыну, из орешины вырезанную.

Сажусь на пенек... Не промахнись, Петя, то есть Леня, не то слетит сова и подохнет с голоду подруга твоя фронтовая Машка... Тяжесть в винтовочке, как в болванке стальной, дрожат руки, глаз слезится, взрывом пораженный, но стреляю в бешенстве от своего бессилия, мать его, маршал, разъети... Фу ты, господи, падает в траву

сова, даже крылья от неожиданности не успев растопырить. Сова, конечно, не гусь и не курица. Точно было ее ощипывать и потрошить, но пришлось и через это в жизни пройти... Всего я в ней, честно говоря, ожидал, но чтоб ощипывать сову?.. И по пьянке в голову не влазила такая муть...

Костер сообразил. Чего уж жрать сырое свиное мясо порядочной собаке? Припалил я его как следует... Жрет благодарно. Пошикиваю, чтоб не давилась от безудержной жадности... И сам вдруг слюнки пускаю. Поделись, говорю, Машка, жизнь и во мне надо срочно поддержать. Подносит в зубах. Я и заплакал от жалкости нашей и полной невинности в происходящей с людьми и землею нашей подлости, а также от ярости на двух немыслимых вождей.

Вот, говорю, Машка, Сталин нам перед выборами говорил, что до коммунизма рукой подать, что расцветут скоро в пупках наших сытых вечные фикусы, а мы не работать в основном будем, а петь, плясать, мечтать и помогать другим закабаленным народам всего мира, чтобы и им как можно скорей до нашего чудесного состояния... Но что мы видим вместо фикусов в пупках? Видимо, мы петь еще вроде бы можем, а плясать... на руках будем, дай только с фашистом сладить... Совиным мясом сонной ночной птицы обернулся нам с тобою, Машка, коммунизм рябой отвратительной хари, приятного тебе аппетита, сестрица...

Зря, думаю, ты собачью порцию, Петя-Леня, ополовинил. Все одно подышать тебе от гангрены антоновой. Генералы и то от нее подышают как миленькие, а ты и подавно загнешься. Мог бы и в чистом виде помереть, странным на вкус мясом не оскверненный... Мало я верил в спасение, плоха больно культия моя была, очень плоха...

Но вот день один проходит, потом второй, третий, Машка сама время процедур чуяла, неделя проходит, позуживает приятно культия моя, выглядит гораздо приличней, жара нет во всем теле, опухоль с колени спала, а еще дней через десять стал я, ровно в детстве, по-пацански корочки с раны заживающей отколупывать... Кость, главное, затянуло рваной моей кожей...

Машка, говорю, ты ведь не собака, а хирург первого класса, Бурденко четырехлапая, век тебя не забуду, жизнь тебе постараюсь, несмотря на тяжелое положение Родины и народа, справить и письмо, пожалуй, накаताю Сулико — вонючей мандавошке, чтобы собак на фронте не под танки бросали, толку от этого все равно никакого нет, только Ворошилову тупому лишний орден Ленина повесят, а чтобы вас в медсестры пристроили на крайний гангренозный случай... Спасибо, дай поцелую тебя в бедный нос, псина... Залилась тут Машка откровенно радостным лаем, а я замурлыкал, как всегда: «Синенький скромный платочек...»

Вы, маршал, не смущайтесь, что я прерываюсь иногда. Черти — Маркс и Ленин — к бумаге рвутся, в считалочку играют, кому первому писать: «Троцкий, Сталин и Гондон сели все в один вагон и поехали в Тифлис разводиться там си-фи-лис. Раз, два, три — это будешь ты...»

Сейчас Марксу повезло, а я пойду покурю, отдохну, время три часа ночи, тоска на душе мрачная, но и надежда ее не покидает, что установите вы в конце концов истину военного времени и дадите человеку побыть хоть немного самим собой... Завтра перейду к заключительной половине моего темного дела... поскольку выговорился и реже плачу от каменного невнимания к моим правдивейшим заявлениям. Не плачу, но и не пою. Сил нету петь. Допелся, суслик...

## 1917-му КОМИНТЕРНУ

Не ирония ли это, товарищи, что я вынужден драться за каждый листок своей истории болезни, повторяющейся дважды: первый раз как трагедия, второй — как нелепый фарс? Только провонявшие насквозь жигулевским пивом и советскими сосисками бургеры не понимают причины перерождения в СССР святой коммунистической доктрины в окостенелую структуру праздного существования партийной, военной и жандармской элиты и охрану ее от недоумения народа. Если написание «Капитала» было трагедией, то перевод этого труда на русский язык, который я начал было успешно изучать, является несомненным фарсом. Если бы перевод назывался не

«Капитал», а «Состояние», что соответствует психофизиологическому восприятию капитала вообще не быдловым, а аристократическим сознанием русского человека, то развитие пресловутого движения за освобождение рабочего класса России безусловно пошло бы другим путем. Чистые и романтические принципы молодого Маркса мерзкая личность герра Ульянова ухитрилась вывалять в кровавом дерьме настолько, что их реабилитация представляется мне при самых оптимистических прогнозах делом второго цикла человеческой истории... Состояние в себе, как таковое, безусловно, первичнее капитала — для нас. В чем глубочайший смысл польских событий? В гангрене власти, в дошедшем до очевидной ручки противоречии интересов власти посредственных тупиц и нравственных дегенератов с интересами широких трудящихся масс. Тем более в последнее время рабочему классу стало ясно, что ни о каком превращении труда в капитал не может быть и речи, если объективированный труд не инъецируется калорийными продуктами питания. Иными словами, для того чтобы произвести прибавочную стоимость, пролетарий должен есть мясо, масло, молоко и прочие продукты сельского хозяйства. Ничтожный недоучка, безграмотный философ и некультурный параноик Ленин просит Коминтерн признать вторичность продуктов питания в классовой борьбе с перенесением главного акцента внимания партии на вопросы идеологии. Нет. В организме человека базисом являются господин Желудок и мадам Печень, а надстройками — идеология, инстинкты труда и осознанная необходимость искусства. Поэтому: пролетарии так называемых соцстран, соединяйтесь в поддержке общенародных интересов рабочего класса Польши, Господин Улья...

*Лаврентий Эдмундович.*

Не пора ли прекратить эту заразную игру в меньшевистские бирюльки с молодым Марксом? Никаких послаблений. Ни в коем случае не гладить по головкам этих господ, не выдержавших испытания временем. Только бить, бить и бить. В этом залог нашей победы над легальным младомарксизмом... И перестаньте вы, батенька, закупать у империалистов хлеб для нашего

рабочего класса. Неужели вам не ясно, что разрушение объективно кризисной ситуации внутри всего социалистического лагеря не в ублажении желудков разуверившихся в нашем деле двурушников, а в активном развитии хаотических моментов экономики Запада и Японии, а также в поддержке *любого терроризма* (курсив мой. — В.Уле.), дестабилизирующего и без того разболтанную структуру капобщества в импортировании наркотиков, во всяческом развитии оболванивающей пролетариев всех стран культуры, в провоцировании роста преступности и расовых конфликтов, эрго — расшатывании оснований прогнившего общества насилия и эксплуатации.

Нам необходимо перенять у поповщины практику перехода на постную пищу вплоть до аскезы перед революционными праздниками. Причем количество этих праздников необходимо увеличить вдвое и даже втрое. Постные дни, недели и месяцы существенно укрепят наши стратегические наступательные силы. Почему мы продолжаем отдавать народ — эту движущую силу истории — на откуп поповщине? Или всенародный пост спасет советскую власть, или недостаток мяса, масла и зерна ее погубит. Все на борьбу с аппетитом, который, по словам великого Демокрита, приходит необходимо во время еды. Прошу срочно переименовать «Правду». «На боевом посту» — лучшее название для данного истмомента.

Ох, батенька, не нравятся мне эти польские настроения.

Поздравьте Хафеза Амина с приходом к власти после Тараки-какаки (смех мой. — Влиуль.). Очень симпатичный афганец. Просто — глыба. Матерый человечеще.

Правда ли, что Москва наводнена бандами ходоков, разбазаривающих продукты рабочего класса столицы? Всех — под трибунал. Чем меньше ходоков, тем меньше едоков. Неужели вы забыли простую арифметику классовой борьбы, товарищи? А главное, санитары регулярно бьют меня по головке, по головке, по головке, по рукам, по ногам, по настоящему, по мудрому, по человечьему, по ленинскому огромному лбу. Иногда хочется все бросить к чертовой матери и лечь на свое место. Но мы дотянем, мы дотянем до конца предыстории человечества.

Основное — наполнять наркотиками западный мир. Пусть пребывает под наркозом, пока мы удаляем из человечества раковую опухоль частного предпринимательства — этого мощного тормоза на пути к коммунизму. Не забывайте, что до него социализм — это учет недовольных и инакомыслящих с последующей изоляцией их от общества. Дайте наконец санкцию на ликвидацию Маркса. Ваш Ленул... Бросьте...

Беда, генсек, с этими твоими деятелями. Фридриха и Сулико — однопольцев ихних — только здесь не хватает... Маркс до чего дошел? Пасту зубную из пяти тубиков выжал, в кружке развел чайком и хлобыстнул, не крикнув даже.

— Кайф, — говорит, — очень сейчас хочется не переделывать мир, а объединять и тискать алкоголический манифест. Ну а если уж переделывать мир, картавая сковородка, то не твоими грязными руками, а, по крайней мере, силами социал-демократов и прочих партий народного благоденствия и защиты традиционной морали. Чего ты, как хорек, возненавидел весь мир, если у тебя братца ухлопали? За дело ведь повесили, а не просто за калмыцкий глаз, на царя ведь, сволочь, руку поднял, а не на какого-нибудь поганого инструкторишку райкома твоей дегенеративной, фантомальной партии... Об этом ли мечтали мы ночами с Фридрихом? Какое счастье, что он не дожил до такого невыносимого позорища. О, если бы можно было начать все сначала, пошли бы мы с ним вместе совсем другим путем. Где моя молодость?

Вот тут, маршал, начинается главная катавасия. Мы за животы с диссидентами и с Колумбом от смеха хватаемся, только Самосов сидит и как бы продукты людям отпускает. Мания величия у него застарелая: директором Елисеевского гастронома в Москве себя воображает. А я думаю так: если бы он на самом деле был директором, то и сидел бы в данный момент у себя в кабинете, а не на казенной коечке, как и я. Потому что если бы я был натурально Байкиным Леней, то я в земле сырой находился бы, и надо мной огонь негасимый горел бы синим пламенем с розовым венчиком, и вдовы безутешные лили бы слезы по сгинувшим без вести мужикам, и матери ста-

рые-престарые, выплакавшиеся до душевного доньшка, устилали бы мое каменное надгробие ромашками и колокольчиками... Ну а Ленину если верить, то когда бы выполняла партия все его мысли и мечты, то капитализма не было бы уже на всей планете и люди сытые и свободные гладили бы друг друга по головкам, работая исключительно по желанию и беря в открытых распределителях все, что душе твоей коммунистической угодно, вплоть до птичьего молока. А на каждом столбе висели бы чучела бывших банкиров, зав. корпорациями, монополиями, чучела Картера, Рейгана, Садата, Сахарова, Солженицына и прочих менее значительных врагов коммунизма, вроде перебежчиков — балерунов и шахматистов. И лилась бы, не смолкая по ночам, нечеловеческая музыка советских композиторов из громкоговорителей и с тех же столбов. Сам же он — Ленин — лежал бы на своем законном месте, где сейчас враги и перерожденцы незаконно распластали труп проходимца какого-то, скорее всего, по прикидкам Ленина, палача и сволочи гнусной Ежова Николай Ивановича, потому что пропал он в тридцать восьмом году бесследно и нигде, кроме как в мавзолее, не мог по распоряжению Сталина расположиться...

И у Маркса молодого — одна и та же песенка. Капитал надо понимать как состояние, и тогда не будет никакого в мире бардака и власти бескультурных динозавров, вроде тебя и твоих дружков, маршал. Мне эти слова непонятны, ибо я не имел никогда ни капитала, ни состояния.

Одним словом, с обоими не соскучишься. Вот я пишу сейчас, а они сцепились вновь. Теперь Ленин в ответ вопиет:

— Ты приставал к Наденьке на Пражской конференции! Дело о твоих педерастских отношениях с Фридрихом было первым делом нашей партии, но его скрыли от пролетариев всех стран. Нонсенс... Ты продался, подлец, социал-демократам за чечевичную похлебку... Ты ведешь из-под койки провокационные радиопередачи в предательскую Польшу, чтобы проклятые забастовщики — враги партии и власти — вспомнили про прибавочную стоимость и права пролетариев. Прибавочная стоимость, батенька, кончилась, с вашего поз-

воления, в 1917 году, в октябре месяце по-старому, и отныне вся до копеечки идет на развертывание народно-освободительных движений во всем мире и на дальнейшее насильственное расширение сфер нашего влияния. Я тебя теперь глушить буду, и плевали мы, большевики, на заключительные акты, мудро подписанные нами в марионеточной Финляндии... Ву-у-у-у-вы-ы-ы-ы-ввв-а-ав-ав-ав.

А Маркс наш запрещенным приемом пользуется. Тихо так и вежливо заявляет:

— Нет, никогда мы, конечно, не придем к победе коммунистического труда. Жамэ, месье Ульянкинд.

— Придем. Придем. Придем. — Кулачонками Ленин по тумбочке забил и ножками засучил очень нервно. Жаль даже человека. Лицо у него в такие минуты становится больно несчастным и пацанским. А я думаю — что это за зараза такая в головах у того и у другого с поражением всех остальных первоначальностей души? Что это за напасть такая дьявольская, что из-за нее ни нам, русским, ни полякам, ни евреям, даже и афганцам житья нету вот уж седьмой десяток лет? На кой хрен нам все это надо? Почему кормят нас насильно мерзопакостью этой, как диссидентов в голодовку, если мы уже из души выbleвали и социализм, и коммунизм, а желудки, животы наши такой тухлой требухой не прокормишь...

Опять драка. Маркс — тот посильней и помоложе. Пригибает голову, промеж колен зажимает ее и «селедок» с оттяжкой выдает Ильичу по жопе сохлой. Крик. Шум. Втупякин пьяный из процедурной приперся. Гной в бесстыжих глазенках... В карцер обоих... Чудом меня со стыренной историей болезни не засеки. Думать страшно, что тогда было бы... Страшно... А зачем шуметь из-за идейных разногласий? Не надо. У нас тут не то что на воле — думай в любом плане и в любом разрезе, но режима не нарушай. Раз есть такое право — не шуми, хотя это право из нас разной нечистью в таблетках и шоками...

Вот человек, сосед мой по койке, Степанов Ваня. Что ему Втупякин толкует? Пока, толкует, не поверишь, сволочь, что советские профсоюзы — школа коммунизма, а польские — махрового капитализма, не выйдешь отседова, сгниешь с потерей диссидентской своей личности



и обретением новой — хорошей, любящей партию, правительством наше родное, КГБ и ВЦСПС. Такие мрази, как ты, Польшу от нашего лагеря отторгают пятый раз за всю историю этого блядского государства, норовящего укусить мать-Россию в щедрую грудь. Брюхо свое шопены и мицкевичи всякие выше социализма ставят... Понял, гад народа, медицинскую мою истину?..

Что же это такое, генсек? Все мы правды, только лишь правды добиваемся здесь. Я — чтоб самим собой перед смертью стать. Ленин — чтоб его заместо ежовского чучела в мавзолей, можно сказать, личный вернули. Карла желает от души Гегеля своего с головы на ноги опять поставить, потому что они тогда с Энгельсом погорячились и промазали слегка. Гегель-то, оказывается, на ногах стоял, и перекантовывать его вовсе не следовало.

Или Степанов. Справедливо человек чешет, что нет у нас никакой диктатуры пролетариата, что раб он, загнанный до скотства за шестьдесят лет, и что все вы там в Кремле и на периферии в обкомах и райкомах — кучка сумасшедших туподрынов, изолгавшихся и заплесневевших у крепостях, охраняющих вас от народного взгляда. Разве ж не так, генсек?..

Или взять Гринштейна. Самолично книгу сочинил человек и в ней доказывает, что конституция наша — самая справедливая как бы в мире — нарушается на каждом шагу. Факты у него в руках, а не трепня. Он же и тычет вам вашей конституцией в носопыркалки и вежливо просит выполнять ее — и ничего больше. Не прав он, что ли? Человек сам книгу сочинил от большой души, болеющей за твою же советскую, по глупости, власть, а его — в дурдом, тогда как вы сами наболтали всем давно известную историю про войну бригадушке шабашников продажных и премию за это отхапали внаглую с золотым оружием. Думаете, Ленин не раскрылся нам за сто грамм конфет «Вперед», как оно дело было, как политбюровская шобла целую неделю обрабатывала беспрецедентно своего скромного и простого Ильича, пока не дал он согласия на премию вам в сто тыщ? Вы ведь самого Сулико в этом деле за пояс заткнули. Тот уж на что охамел в сосиску, а премий Сталинских себе не присваивал, воздерживался, стеснялся, видать, народа и Черчилля с Трумэнном.

Это у вас, генсек, мания величия и преследования, если вы Степановых, Гринштейнов и меня с Карлой в дурдом упрятали. Ну, Колумб — хрен с ним, спятил действительно человек, доказывает, что он Америку открыл, но сообщить об этом в Москву, в ЦК не мог, так как тогда не было еще телеграфа... И Ленин, на что идиотик, а прав, что если бы вы его захоронили, несчастного, по-настоящему, на все века вперед, то не было бы в стране у нас никакого бардака в тяжелой промышленности и в сельском хозяйстве... Ну ладно. С вами насчет этих дел болтать, что гороха нажраться — в брюхе бурчит, а правды нигде не добиться. Вот как...

В общем, захоронил я тогда Леню и ногу свою правую. Как плакал над ними — один Бог, небось, слышал... Салют, помню, дал из винтовочки, хотя внимание привлекал вражеское. Плевать на вас, думаю, нельзя хоронить солдата и друга без воинской почести... Прощайте, дорогие, вечная вам память, вечная вам слава за все хорошее, что сделали вы для меня лично и для Родины нашей, попавшей под два ярма — большевистское и фюрерское. Могилки вашей век не забуду, не быть ей без цветочков, без яичка на Пасху и булочки белой в Родительский день. Клянуся...

Собаку, кстати, что жизнь мне спасла, а главное — вторую ногу, я тоже не забыл. При госпитале Машка кормилась. Променял я ради спасения живой твари верность своей Нюшке, Настеньке, Анастасии, променял. Врачиха одна пожалела из-за меня собаку.

Я ведь очень красивый мужик был. Очень. И неиспорченный, не то что ты, маршал, самолетных проводниц. Маркс рассказывал, невинности в тамбуре прямо лишашь. А я красивый был и благородный. Охочий до баб, не калека ведь, но не жадный. Так, на шашлык лишь бы, как говорят, посадить никогда не старался. Я все больше из жалости да из уважения имел бабенок. О любви что говорить? Была любовь и сплыла... Тут плачу... не могу... плачу... кружочками слезы свои обвожу... прости, маршал, на «ты» давай, ничего с собой поделатъ не могу, аминазин не помогает... плачу... все загубил... славу Ленькину и свою заодно... Нюшкину, Настасьи, Анастасии моей

любовь... все... не успокоюсь, пока Гегеля, как говорится, на ноги не поставлю с головы нынешней... плачу...

Вот и охраняла из-за меня врачаха Машку и, разумеется, прикармливала. Раненые некоторые, калеки, до того обозлены были на весь белый свет, что костылями огревали иногда ни с того ни с сего бедную собаку и сестрам нервы выматывали.

Одним словом, вмазалась в меня врачаха. У самой, как говорится, одна нога была короче, другая деревянная была, но лицом — ангел. Натуральный ангел.

Вижу, личность мою возжелала весьма, но млеет лишь неуверенно, трубочкой чаще, чем надо, грудь мою прослушивает, контузией, говорит, шибануло ваш организм, Леонид. Массаж груди самолично совершает. Дышит с придыханием, волосы эдак вскидывает с форсом, вмазалась, одним словом.

Ну, поговорил с ней сначала о собаке, а потом в кабинете стали запираяться в ночные врачихины дежурства. Я и сам ожил немного от войны адской, хоть из-за измены жене своей сердечно терзался. Разрывается просто сердце от вины и тоски...

Немца меж тем от Москвы отогнали еще дальше. Деревню нашу освободили. И вот тут первый раз схватил меня страх и сожаление, что изолгался я донельзя. Но ведь Нюшку вызывать, пояснить ей все в открытую, она же поймет, что с моей фамилией дороги никуда нету, но только в тюрьму, что Сталин, как разделается со своим лучшим другом, так еще больше озверееет и за недосаженных примется, в чем я не ошибся, между прочим.

Пишу письмо в сельсовет свой хитроватое. Так, мол, и так, друг я Вдовушкина фронтовой, который Петр из вашего сельсовета. Потерялись мы в окружении, сам я ранен и теперь без одной ноги с контузией всего организма, имею кое-что передать жене его Анастасии, ответьте, жду...

А врачаха притормозила меня в госпитале, хотя я уже прилично оклемался, рыло разъел от гостинцев своей полюбовницы, ничего, думаю, война это, Нюшка, не обижайся, я, может, мужика таким образом для семьи нашей спасаю, чтоб не зафлиртовать окончательно, так как дистрофиком из окружения вышел, случайный кусок

хлеба или картошку Машке-спасительнице отдавал, иначе околела бы она.

Жалею врачейху. Девушкой она до меня была, думала, что по хромоте и общей некрасивости фигуры так и не пройдет во век в дамки. Но вот прошла же... Это я к тому, что надежды никогда терять не надо...

— Любишь, — спрашивает меня, — Ленечка милый?..

— Как тебе, — отвечаю, — сказать? Скорей всего, временно симпатизирую с уважением и фронтовой лаской.

Плачет врачейха, но целует меня до потери сознания, спасибо, говорит, за правду, Ленечка, спасибо и за то, что ты есть у меня на войне среди горя, крови, подлости, мужества и безумия... Все, поверь, счастье мое в тебе, и жизнь без тебя я второю жизнью считать буду, добавочной, умирать соберусь когда — за одного тебя спасибо Богу скажу, если Он есть...

Естественно, попала врачейха моя. Доложила по глупости и честности начальству. Но и рада была до остервенения. Есть, шепчет мне, Бог, есть, если посреди исторической скверны, в костоломке и воплях растерзанной народной плоти, в слезах наших и бесконечной униженности зачинаем мы с тобою, Леня, новую жизнь... Леонида Леонидыча тебе рожу и ни словом не упрекну в вечной разлуке, радость моя случайная...

Ну а Втупякин, начгоспиталя, аборт велит врачихе — имя я ее тоже позабыл от контуженой памяти — срочно и безоткладно делать любыми средствами. Расстрелом грозит, гад... Она — ни в какую. Здесь, говорит, рожу, на рабочем месте, и на все меня хватит: на войну и на дитя любимого человека. Война, говорит, не отменила жизни, ал ишь изуродовала ее... как и советская власть...

Последние слова, правда, она исключительно мне говорила, в обнимку, в холодном врачебном своем кабинете, любя меня, жеребца беспардонного, всею душою...

Давит Втупякин и на меня, и на нее по-фашистски, с человеческим смыслом случая не желая считаться. Из себя выходит. Кишку у падлы защемило оттого, что счастлива баба, а мужик у ней очень красив даже в безногом виде. Не Гитлер у него, у сволочи, враг теперь, а бабенка и раненый солдат, не служебные заботы насчет бинтов и ваты его одолевают, но ненависть какая-то глухая к то-

му, что к жизни имеет касательство... Уймись, говорю, товарищ Втупякин, Сталину все известно насчет фронтовых подруг, и не давал он приказа новое поколение людей в абортах ликвидировать. За аборт нынче из жопы ноги выдирают у тех, кто на них подталкивает. Понял? И не будь вредителем материнства в нашей стране...

Отстал немного, на комиссии меня задержал, но спасла меня от них врачиха с анализами, хоть Втупякин до пены в зубах крысиных доказывал мое моральное разложение и что я здоров как бугай...

И вот тут-то телеграмма, что странно в военное время, приходит мне из сельсовета. Вот какая ужасная телеграмма:

ОТВЕТ СООБЩАЕМ ВДОВУШКИН ПЕТР СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ СОГЛАСНО ПОХОРОНКИ ВДОВУШКИНА АНАСТАСИЯ ПОГИБЛА ЭШЕЛОНЕ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА ГОРОД ПОБЕДА НАМИ ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА/ПОЛЯКОВА.

Читаю телеграмму и валюсь на пол в корчах и истерике, бьюсь головою обо что попало, подохнуть желаю на месте, и нету снова в глазах моих света, а в ушах звука — контузия вернулась... Связали... Лежу где-то в тишине и в темноте, не помер ли, прикидываю. Очень уж похоже на смерть, как бабка Анфиса обрисовывала. А она раз пять за свою жизнь помирала от всяких бед и болезней. Очень похоже на смерть: болит то ли тело, то ли душа, а кругом ничего не слышно и не видно... Потом руки врачихины почуял... Если б не они, может, и загас бы я тогда от тягчайшего горя, словно свечка на печальном сквозняке... От рук врачихиных, как вода в горло, жизнь в меня тогда возвращалась. Оживало все в нутре и снаружи... Но как руки-ноги обмороженные свербят невыносимо при отогреве, так и душа ныла от возвращаемой жизни. Невтерпещ...

Голос вернулся вновь, а в глазах забрезжило, звуки до ушей донеслись.

— Ковырни, говорю, пока не поздно. Я от тебя не отстану, проблядь уродливая, — Втупякин это давить продолжал на мою врачиху.

— Аборта делать не буду. Хватит и без него смерти вокруг. Ясно? — это она ответила. Заскрежетал я зубами на Втупякина. Встать, на его счастье, не смог...

Подходит тут она ко мне и радуется, что не бессмысленный у меня вид... Вечером в кабинете спирту она из заглазника достала, налила мне: пей, говорит, Леня, что ж теперь делать? Война, родимый...

Ударил меня пьянь в голову, зло взяло, показалось, что возрадовалась врачиха такому повороту судьбы с Нюшкиной гибелью и что я, следовательно, теперь в руки к ней перехожу со всеми потрохами. Куда ж мне деваться?

Ну, я и психанул, сорвал зло на невинном человеке, как это всегда бывает у оборотов вроде меня, сорвал... Много бы сейчас отдал, чтобы не было тогда хамства этого с моей стороны... Я что, подлец, заявил, хоть и понимал, что сам тому не верю? Ты, говорю, не лыбься. Думаешь, теперь я твой навек, если вдовым остался? Выкуси вот и снова закуси. На чужом горюшке счастья не выстроишь, врачиха... А ты прости меня, Нюшка, Настасья, Анастасия, прости блуд прифронтовой и бессердечную измену супруга своего — подлеца высшей меры, кобеля проклятого... Что ты, говорю, усталилась на меня, ровно давно не видала? И не гляди в мой адрес, яду мне налей, чтоб заснул я и во сне отдал концы, жить не хочу, кончилась сила жизни... Я тебя не люблю, а так встречаюсь, в шутку...

Ни слова в упрек не сказала врачиха, но побелела лицом и отстранилась от меня душою. Почувал я тот холодок, спьяну отмахнулся от раздумий и еще стакан чистого врезал, родил именно в тот раз в себе алкоголика. Это точно. И поплыл, повеселел — море по колено, горябеды не видать, синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...

Уснул в слезах и слюнях... Больше мы с ней никогда не спали. Она не желала, а я не настаивал. Не тем душа была занята, маршал, не то что у тебя с телефонистками и шифровальщицами...

Что же делает тогда Втупякин? Поначалу меня, сатана сушая, выписывает и в колхоз направляет вместе с Машкой. Протез, говорит, почтой тебе пришлю, кобель. Протеза калеке не дал, враг и палач народа, дожидаться. Чем он лучше Питлера? Того хоть сожгли — и нет его. А ведь этого пакостника, эту мразь, ничем не изведешь.

Простились с врачихой по-хорошему, писать, говорю, тебе буду. Не пиши, отвечает. У меня у одной на все сил хватит, а любить, слава Богу и тебе, есть кого. Только бы родить. Леня... прощай, не спивайся, спасибо тебе... прощай...

И тебе спасибо за меня и собаку... Такой у нас разговор был...

Документишко мне чистый выправили, жратвы на дорогу дали, врачаха четвертинку напоследок в карман сунула, и направился я в один обком за направлением. Хотелось мне поближе к Лениной могилке. Для своей деревни я теперь умер, погиб как бы смертью храбрых. Решил новую жизнь начать, как говорится, с погоста... О ней немного погода, маршал.

Пишу из колхоза письмо дружку по палате. Ему все, кроме руки левой, оторвало и мотню задело. Приезжай, пишу, плюнь на свою бабу, раз она от тебя такого отказалась. Значит, сука она, так и так, и все равно скурвилась бы от тебя впоследствии, будь ты хоть с двумя парами рук и ног и с запасной женилкой. Приезжай, друг, баб тут у меня под рукою — тыща, найдем порядочную и неприхотливую, будь уверен. Тут такие имеются вдовы, что им лишь запах наш мужеский необходим, а на остальное начхать... И как там врачаха моя? И что с ней и с ребеночком в животе? Ответь, друг, я перед нею виноват душою... Пишу другу, а сам от общей сиротливости плачу, как вот сейчас, и кляксы все обвожу кружочками и обвожу...

Ответ вскоре приходит в треугольничке... Слушай, маршал, и сотрапезникам своим передай, может, обомрут они от немыслимого, от того, от чего сейчас гириями мне в затылок колотит и глаза затягивает гарью...

Вот что совершил Втупякин. Он бить стал врачиху мою в кабинете. Бил сапожищами по брюху, по животу живому, палач, плода человеческого не жалея нисколько.

Волосы у дружка моего аж дыбом стали — так слезно молила врачаха Втупякина остановиться и одуматься, неужели же нет в нем ничего душевного и сердечного, ведь звери даже не позволяют руку свою поднять на мать и дитя... Но где там!..







С.А.Битовым и Г.Плисецким после 12 лет разлуки.  
Москва, 1989



С великим наездником России Мишей Фингеровым. 1990



Со статуей милой моей приятельницы Д.Верни.  
(работа Майоля). Париж, 1982



Безуспешно «отбиваю» Т.Яковлеву у Вл. Маяковского.  
Коннектикут, 1985



Арматурная решетка новой жизни...  
(очередное пребывание в любимой отчизне).



Иосиф у нас дома ждетпельменей. Кромвель, США, 1990



Опять объелись в китайской харчевне. Массачусетс, 1993



У могилы любимого Иосифа. Венеция, Сан-Микеле, 1996





...И с отвращением читая жизнь свою... 1996







Попытка поймать хоть какую-то мысль



Кабак «Петрович». Пою мое отечество, республику мою.  
Москва, 1999



Друзья Ярмольники у нас в Коннектикуте



Мы с Ирой в Москве у художника Евгения Монины. 1996



**С А.Абдулловым и А.Макаревичем поддаем после презентации  
миниатюрной книжки «Окурочек».**  
Москва, конец 90-х



Венеция. Чем не иллюстрация к роману «Рука»? 1996



— Я, — орет дьяволина, — двух своих выбил так вот точно из своей бабы на случай развода, чтоб алиментов не платить, а твоего изведу непременно. потому что ко всему прочему, по науке, он безногий должен родиться... На фронте кадров не хватает врачебных, сука кривобокая, туда же лезет с любовью, нам дети прямые нужны, я тебе покажу любовь, шалава грешная...

Все это дружок мой слушал и другие калеки тоже — да что ж они могли поделаться без рук, без ног и все лежащие?

Конечно, и выкинула врачах моя тою же ночью... Беда... Седая вся враз сделалась. А может, и с ума сошла. Долго ли, маршал, с ума сойти от такого зверства?

Подходит на другой день к Втупякину, обход был, и говорит:

— Фашизм надо уничтожить на фронте и в тылу. Смерть фашизму. — «ТТ» твердо держит врачах моя в ненавидящей и справедливой руке.

Втупякин в ножки ей бросается. Исключившись весь от плюгавого страха:

— Помилуй... еще десять родишь... что с того... ради фронта я исключительно... я тебе и сам всегда могу... не сумлевайся... не стреляй... под расстрел угодишь... жить, что ли, надоело?

— Фашист ты советский, мразь на нашу голову и проклятье за грех братоубийства и бунта... Смерть тебе, падаль, — говорит врачах моя.

Всю обойму всадила во Втупякина, чтобы на пять пуль он поскулил и помучился, осознавая зверство собственное, чтобы от шестой подох под «ура-а-а!» солдатское, седьмую пулю в сердце себе выстрелила...

Вот и все, маршал, по этому пункту... Слезы даже течь перестали. Вытекли они полностью. Но уж что-что, а слезы заново опять наберутся... и Ленин, как оглашенный, ручку рвет, мыслей поднабрал... не терпится ему выговориться...

## СРЕДНЕФЕВРАЛЬСКИЕ ТЕТРАДИ

Считаю, что работа, проведенная нашими спецорганами по расколу общественного мнения планеты, близится к закономерному концу.



Мы — неискоренимые диалектики. Наш прямой философский долг — поощрение всяческого расцвета либеральных движений вне страны, особенно в развитых до абсурда странах Общего рынка, и уничтожение, сиречь сведение на нет, последних внутри соцлага. Польша, Монголия, Никарагуа.

Господа либералы, а не мировой пролетариат, заевшийся на капхарчах, являются в данный истмомент повивальной бабкой мирового хаоса.

Они едва ли не единственная наша надежда в борьбе с активными силами сопротивления коммунизму, связывающая им (силам. Прим. верно. — ВУ) руки различной тепленькой чепуховиной и архирелигиозным отношением к политической морали. Какая, спрашивается, может быть мораль в том грязном аду, в котором вы вынуждены жить до его радикальной переделки?

Всячески поощряйте тех, кто по своей имманентной тупости оказывает сопротивление не нам — уму, чести и совести эпохи, — а своим основным институтам и законным правительствам. А также тем индивидам, которые безошибочно чувствуют, чем чревато для них и их традиционных ценностей завоевание СССР (читай — КПСС. Прим. мое. — УЛВ) мирового господства.

Поскольку дело это исторически решенное, необходимо уже сейчас разработать ГОЭЛРО.

## ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИБЕРАЛИЗМА РЕВОРГАНИЗАЦИЯМИ

Только младенец, связанный пуповиной с махизмом, не понимает, что после установления полнейшей, железной диктатуры партии над диктатурой пролетариата и прочей люмпен-шушерой основным ее врагом диалектически становится тот самый господин либерал, с чьей помощью мы деморализовали силы сопротивления хаосу и коммунизму сначала в России, затем во всем мире. В господине либерале после перенесения исторических катаклизмов, кровавой бани и полного крушения всех слюняйских розовых иллюзий, к сожалению, просыпается чувство политической, нравственной и прочих реальностей, что необходимо мешает всей нашей благо-

родной работе по освобождению человека от власти эксплуататоров и переделке грязного ада светлое будущее.

Всемерно поощряйте западных либералов, особенно левого толка, к разваливанию гнилых структур их родных обществ.

Советская власть — это инвентаризация инакомыслящих и учет либералов с их последующим уничтожением, если не физически, то политически, — и никаких сентиментальных нюней и нюнешек.

Грудью вставайте на защиту партийности в литературе и в искусстве. Немедленно поставьте наших местных либералов в каторжные и даже в скотские условия существования под знаком кнута и пряника.

Нет в мире права выше прав большевиков переделывать мир. Поэтому морите господ правозащитников как клопов.

Неужели, разделавшись беспощадно с десятками троцких, сотней бухариных и рыковых, а также с тысячей различных ищиков феферов, партия и ее славные органы не в состоянии *физически* (курсив мой. — Лувлич) обуздать одного физика-психопата из лагеря разочаровавшихся в нас и сообразивших наконец, как мы ловко облапошили их, либералишек? Он, очевидно, забыл, что электрон практически неисчерпаем?

Вперед к мировому хаосу. Предлагаю присвоить ему имя Маркса и Энгельса.

Какой мерзкой скотиной оказался Хафез Амин. Передайте мой пламенный привет Бабраку Кармалю. Это же глыба. Матерый человечище.

Немедленно начинайте демонстрацию военной мощи на границах так называемой Польши. Как могло случиться, что пролетариат этой издревле русской провинции начал поднимать голову? Бить надо по ней серпом, товарищи, добывать молотом, а не садиться за стол переговоров с предателями интересов мирового пролетариата, стонущего под игом Фордов, Филипсов, Круппов, Армандов Хаммеров и прочих беспринципных вырожденцев человечества.

Кстати, не мешало бы, не откладывая дела в долгий ящик, уже сейчас позаботиться о том, чтобы ликвидация господ либералов во Франции и Голландии, где они будут

со временем представлять для нас весьма опасную — ввиду крушения амбиций и вспышек мелкобуржуазных обид — силу, была поручена товарищам Вышинскому и Дзержинскому. Относительно приговоров у меня с ЦК не предвидится никаких разногласий.

Почему бы товарищу Буденному не подумать на досуге об использовании сексуальной революции в наших целях? Хватит отдавать ее на откуп монополиям. Порнография — не последнее оружие в борьбе народов за прогресс мирового хаоса. Что думает по этому поводу товарищ Пономарев? Он помнит, что мне регулярно недодают фосфора, сахара и делают все, чтобы я, потирая ручки, не засмеялся, довольный?

*Шав Нинел.*

*18 термидора 1980 года еще не нашей эры...*

Мы тут, маршал, на днях подлечили немного Втупякина вместе с молодым Марксом. Потому что тот окончательно вдруг оборзел. Когда въехал ты на танке в Афганистан, у Втупякина прямо праздник был на вонючей душонке. Ликовал. Прыгал от радости, сволочь. Еще, говорит, одних мазуриков к рукам прибрали. Скоро на глобусе места для нас не хватит. Всех к ногтю приберем, вылечим капстраны от шизофренической любви к наживе.

Палату нашу вдруг уплотнил, прохода не оставил. Ручки потирает, довольный. И так похвάζεται:

— Есть прогноз с верхов, что Сахарова к нам сюда подкинут. Палки чтоб в колеса танкам нашим не вставлял в Афганистане и политбюро не дразнил инакомыслием. Собой, сволочь, пытается подменить ум, честь и совесть нашей эпохи. Но я ему подменю. Я ему гипоталамус от мозжечка отсоединю, вражеской морде... Я ему встану поперек дороги национально-освободительного движения... Я его манию величия превращу в любовь к Родине и КПСС, забудет, что академик, навек. Аппендикс совести народной и подлец из подлецов... Если застану кого за разговорчиками с негодяем от науки, то не жалуйтесь потом — я вас коллективно под шок отправлю и так потрясу, что зубы выпадать начнут...

Как тебе это, маршал хренов, нравится?

Решетку в соседней палате покрасил заново Втупякин и намордник на окно надел. Боялся, видать, что толпы народные демонстрацию устроят перед дурдомом... Завтра, говорит, привезу сюда в рубашке врага империи нашей, который водородной бомбы секрет продал китайцам за три пачки цейлонского чая. Прижгу я ему нейрончики, прижгу, чернила из авторучки пить станет... Я ему докажу, лысой бестии, что шизофрения — заразное заболевание, передающееся через мысли на расстоянии... Как дважды два ясно мне это. Отсюда и первая стадия такого шизо — инакомыслие... Откуда ему еще браться? Неоткуда.

— Архигениально, — завопил Ильич. — Нобелевку тебе вручим, товарищ. Ленинку на сберкнижку положим. Матерый ты наш человечище. — А сам на шею внезапно кидается Втупякину и целует его в обе щеки, целует вза-сос, так что Втупякин только мычит от ужаса и к дверям пятится, и вдруг как заревет на весь дурдом:

— Мы-ы-ы-ы-ы-ррр!

Санитары прибежали, оттащили Ильича, под дых как дали ему. Он и провалялся в отключке целые сутки, только постанывает:

— Зарезервируйте, товарищ Цюрупа, мой продрацион до конца эсерского мятежа в Черемушках.

Ну, мы ждем, разумеется, когда привезут к нам честного гражданина Сахарова. Сигарет для него выделили. Молодой Маркс кусок колбасы «Докторской» под кровать засунул. Плачет целый день и слова говорит, я тебе еще передам их, генсек — главный врач сумасшедший нашей страны... Ждем...

Втупякин в костюме новом ходит и без халата, чтобы значок был виден «Отличник госбезопасности» и ордена с медалями прочими. Ручки, повторяю, потирает, довольный. Ленина привязать велел на три дня к коечке:

— Я тебе, стервец, покажу, как лобызаться с медперсоналом клиники.

— Да здравствует советская психиатрия, — орет в ответ Ильич, — самая квазигуманнейшая в мире во главе с товарищем Втупякиным! Дружно подсыпьем аминазина в продукты польским товарищам — этой змее на груди социализма... Ура-а-а...

А Маркс, вроде меня, все плачет и плачет, и Фридриха на свиданку зовет, Гегеля почему-то проклинаяет и философию нищеты критикует.

Но тут узнаем мы, что ты, маршал, велел Сахарова в город Горький выпереть ровно в четыре часа. Втупякин аж почернел от злобы. Тебя самого лечить, говорит, надо от страха перед мировым общественным мнением, от фобии, порожденной американскими сенаторами... Тебя-то он чеховстит почему зря, а всю злобу на нас, несчастных, срысывает. Зверствует просто. Чай приказал холодный выдавать и ноги по-йоговским за шею закладывать. Неслыханная зверюга. Очень он, гаденыш, надеялся на всемирную славу, если б Сахаров в руки ему попал. Бахвалился нам, что через неделю алфавит академик забудет и имя вредной своей жены Елены, а тут ты его, маршал-писатель, здорово подкузьмил, в натуральную величину, можно сказать, уши заячьи замастырил паскуднику человекообразному.

Ворвался ни с того ни с сего в палату с санитарями, раскидал всех в разные стороны, веревками побил, сигареты растоптал, свиданку с женой запретил молодому Марксу.

Маркс говорит мне:

— Слушай внимательно, движущая сила истории, я тебе сейчас идею подкину, она тобой овладеет и станет материальной силой, но не в смысле прибавки пенсии, а вот как. Я тут истолок аминазина и пертубанитромукодозалончика в порошок. Ты завтра подкинь его в пиво Втупякину. Только впритырку. Когда мы его маневром увлечем из кабинета. Понял?

— Не сомневайся, — говорю, — парень. Пора Втупякина с головы на ноги перекантовать, иммунизировать чудовище в ранней стадии.

Вызывает меня Втупякин на следующий день про родственников вспомнить и мои отношения со светилом-луной. Поскольку выяснилось, что при ущербном месяце я как-то странно мочусь и с задумчивым видом. И Втупякин приказал в полнолуние сосуд ко мне висячий на ночь привязывать.

В общем, сижу у него, толкую всякую чушь от скуки про луну, а он пишет и зубами скрежещет:

— Вы у меня, сволочи, попляшете от моей диссертации. По трупам пройду в член-корреспонденты, гады ползучие!

Вдруг слышу грохот, треск, звон стекла и громоподобный голос молодого Маркса:

— Я тебя, падаль картавая, на свалку истории кооптирую! Ради балеринки Кшесинской позорную заварушку устроил в Питере. Развратник! Скотоложец! Ты лошадь отбил у Буденного!.. Мразь брюменская!..

Втупякин туда сразу помчался, ремень на ходу снимая. Он очень любил им нас поколошматить. Только бы повод был и без повода, например на выборы в Верховный Совет СССР.

Помчался он на шум, лиходей, а я ему в бутылку отрытую-недопитую порошок кидаю и размешиваю до приличной пены. Пива Втупякин ужас сколько потреблял, а мочиться, что удивительно, никогда не мочился. В нем пиво в печени сразу в желчь превращалось и разливалось в мозгах. Поэтому он таким бешеным стал.

— Немедленно сообщите товарищу Дзержинскому, чтобы он выделил отрядик для ареста карлика-маразматика, — визжит Ильич, и только слышно, как порет его Втупякин ремнем: вжик-вжик по коже. Потом за Маркса взялся. Диссиденты орут:

— За каждую царапину отчитаешься, садист!

— Рожка твоя всю мировую печать обойдет, свинья двуногая!

За стекло грозит Втупякин, вычешь денежки из капитала Марксового. Тот действительно хотел выкинуть Ильича на помойку. Хорошо, что не порезал вождя нашего. Попало обоим.

Приходит Втупякин в кабинет весь потный, и пахнет от него нехорошо. Дожирает пиво из горла. За стол садится и сникает постепенно. Носом клюет, сигаретой меня угощает, чего никогда раньше не случалось, — в общем, на глазах зверь в приблизительного человека воплощается.

— Иди, — говорит, — на сегодня хватит. Скажи Марксу и Ленину, что погорячился я слегка. И чтоб порядок был во вверенном мне помещении. Не то всех цианистым калием выведу как антинародную моль. Пошел вон...

Цельх три дня ходил спокойный Втупякин, про Сахарова совсем позабыл. Палату нашу опять разуплотнил, но больше я ему химии в пиво не подсыпал. Маркс решил, что хорошего понемножку... Вот какие дела, а Сахаров все равно поумней вашинского политбюро и скоро вместо Косыгина сядет. Тогда, может, и колбаски вдоволь пожуюм...

Вот еще одного голубчика подбросили нам новенького. Койку в проходе поставили. Этот блаженный думает, что обезьяна он шимпанзовая.

— Неужто не видите, — говорит, — как я на ветке баобаба сижу, насекомых ищу? А сейчас банан лопаю. А-а-ак. Плядите. макаки, самка моя чешет ко мне с водопоя. Врублю я ей сейчас в тенечке...

— С этим все ясно, — говорит диссидент Гринштейн, — у него ярко выраженный синдром политбюро: нервно принимает желаемое за действительное с последующей ненавистью к демистификаторам.

А Обезьяна что делает? Онанизмом, маршал, на глазах у нас с большим настроением занимается, нисколько не стесняясь даже Втупякина. Тот лишь лыбится и подшучивает:

— Руку менять не забывай, с ветки, смотри, не сорвись.

А Ленин, который сам по этому делу хороший специалист, протестует:

— В дни, когда весь мир радостно ожидает суда над американскими заложниками, архипаскудно откатываться в нашу обезьянью предысторию. Стыдно, товарищ Обезьяна, стыдно. Надо смирять реакционные желания.

— Помолчи, картавая сковородка, дай человеку кончить, — Маркс вмешивается.

— Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, а Клара украла у Карла Маркса кларнет, — возражает ехидно Ильич.

— Нет, не придем мы к победе коммунистического труда, — говорит Карла.

— Придем, придем. Вот и товарищ главврач подтвердит.

— Это не за горами. Придем. Таблетки только, гады, не сплевывайте. Шоками изведу. Имена свои забудете, — подтверждает Втупякин.

— М-да-а... Над нашим прахом прольются слезы благодарных людей, — возражает Маркс, и Втупякин, ярясь, грозит ему:

— У тебя в квартире на обыске сочинения молодого Маркса вчера нашли с пометками. Знаем теперь, где хватался ты этих цитирований. симулянтская харя. Не пройдет этот номер. Не таких подонков раскалывал я здесь, двое Александров Македонских, четверо Маяковских, несчетное количество Микоянов и Молотовых прошло через мои руки, и все фамилии, заметь, на букву «М», так что я и с Марксом какнибудь разберусь. Сволочь, симулянт.

— Убить меня мало, — назло ему сокрушается Карла, — разве можно было русский перевод «Капитала» не назвать «Состоянием»? Неужели советская медицина и психиатрия не исправят этой грубой политической ошибки? Господин Гельмгольц, вы представляете себе наши окрыляющие перспективы?

Диссиденты тут дружно хохочут, я тоже робко улыбаюсь, но в споры не влажу... Не до того. Помог в тот раз из горла у Маркса зубную щетку вытаскивать: Ленин туда ее засунул внезапно. Никто предупредить не успел.

— Я за чистоту наших рядов, — вопит Ленин. — В пасть томатную превратим молодого Маркса.

Подходит санитар — человек без лица, просто никак не удается разглядеть физиономию у этой фигуры. Как так можно — без лица?.. Шприц всаживает Ленину в руку, следующий укол Марксу. И тишина устанавливается.

Ужин хлипкий несут. Таблетки на ночь. Телек включают: программу «Время» смотреть, ума набираться, международное положение понимать в нужном духе... Я же предпочитаю вздремнуть, чтобы встать посреди ночи и продолжать свои для тебя объяснения, маршал...

Понял ты наконец, что Втупякин с врачихой моей сделал? Понял?..

А в колхоз я следующим образом попал. Заявляюсь в райком партии. Секретарем там, конечно, Втупякин был. Я и не удивился. Сам приучал себя к тому, что иначе не может быть до некоторых удобоваримых времен.

— Ну что, раненый, скажешь? Небось, на печи валяться задумал и на лаврах достигнутого почивать? Не



выйдет. Председателем идешь в Заветы этого самого Ильича. Понял?.. Ты не из самострелов случайно? Есть у меня в районе и такие прохиндеи. Но не дожидались они гибели нашей. Все силы — для победы над врагом. Накормили фронт. Каждое зерно — государству, каждое kilo мяса — Сталину. Победа будет за нами. Справим на нашей советской улице Масленицу и на жидах напляшемся.

— Зачем, — спрашиваю, — на жидах плясать? Их ведь вроде Питлер изводит зверски.

— Больше нашей партии плясать не на ком чисто исторически. На татарах и чеченах не напляшешься. Популярности у них в нашем народе мало. Лучше пушай на жидах попляшет, чем на нас — на советской власти, которую он, чую я это ежедневно, ненавидит по вредной политической темени... Прислушивайся там к нему. На заметку бери. Ежеквартально должен ты как председатель под следствие отдать одного человека.

— За что? — спрашиваю.

— За воровство, саботаж, укрывательство скота, разговорчики, ненависть к Сталину и нашей партии, отказ бурный подписаться на заем и выдать наворованное в фонд победы над врагом.

— Вдруг, — говорю, — преступлений таких не окажется? Засмеялся Втупякин:

— Так не бывает, чтобы их не оказалось.

— Всех пересажаем — работать кто будет?

— Освобождающихся скоро начну тебе присылать. Все до одного — враги народа.

— Значит, — говорю, — сажаем народ, а выпускаем врагов народа? Как так получается? Прибыли от этого никакой.

Задумался Втупякин. Даже слюни от натути мозговой с губы свесились.

— Ты не контуженный, случайно? — спрашивает.

— Немного, — говорю, — задело.

— Оно и видно. Тебя самого за сомнения провокационные брать можно... Поехали в «Заветы Ильича»... Почему в те места просишься?

— Воевал я там... Друга как раз возле Прохоровки захоронил...

— Фамилия друга?

— Вдовушкин Петр.

— Знакомое что-то... Поехали в «Заветы», чтоб они на хер были надеты. Одни партизаны собрались там на мою голову...

Приезжаем. Название, конечно, у колхоза, думаю, дерьмо. С таким далеко не уедешь... Собрание созывает Втупякин, видимость колхозной демократии выставляет... Господи. В колхозе-то одни сплошные бабы, маршал. Бабы да пацаны махонькие, от последней ночки, от мобилизации бабами рожденные. И старухи. Старики померли и в партизанах сгинули. От мужиков — ни слуху ни духу. Без вести мужики тогда все до одного пропали. В плену небось, подумалось мне тогда... Беда... Народная, кровавая беда...

— Работать, — говорю, — бабы, будем. Делать больше нечего. Возрождаться надо. Родина голодает. Победим скоро...

Проголосовали за меня бабы. А работать, говорят не на чем. Ты же, Втупякин, сам всех жеребцов на фронт приказал угнать. Буденный — дурак — под танками угробил их без толку. Кобылы одни остались. Бесятся в течку. От меринов же ленивых жизни ждать не приходится. Трактор нам дай.

— Механизации вплоть до победы над врагом не ждите, бабы. Выписал я вам сюда в подмогу ешака из Ташкента, где жиды от крематория спасаются. В пути ешак, по наряду Совнаркома СССР. Он вам тут понаделает жеребят. Ярый мужик, а не ешак. Всех огуляет. Кобыл только успевай подставлять, — говорит Втупякин...

Посмеялись, за что люблю я лично свой народ, маршал. Самогонкой нас бабы с Втупякиным напоили. Картошки с салом изжарили, вспомнил я горько и сладко, как Нюшка моя около печи гоношила всякую всячину, а я в озорстве похлопывал ее и поглаживал... Вздыхаю от всего сердца — где, говорю, жить буду, бабоньки?

— Сегодня, — отвечает одна, — у меня заночуешь. Я бригадирша. Завтра — у Плеханихи. График полюбовный составлен, чтоб обидно не было. — Хихикают бабы похабно и весело.

— Как так, — говорю, — я не согласен. Что я вам — кобель гулевой, что ли? И не нанимался... Может, я и не могу вовсе от контузии?

— Молчи, Байкин, — говорит Втупякин. — Выполняй волю женской части народа. Не прикидывайся полом, вышедшим из строя. Вон ты ешак какой. Если б не партийная работа, сам остался бы тут. Все мои председатели вдов веселят, поскольку народу много на фронте полегло. Восстанавливать срочно его надо. Приказ Сталина. Воля партии. За невыполнение — к стенке... саботаж... вредительство... гуд бай, дорогуша.

Бабы же прямо по производственному выступали. Жизнь, мол, наша пропадает... Детишков хотим... головы без мужиков кружатся... Низ живота болит... Ужас что снится по ночам... Нервы... И Сталин, оказывается, гнущаться нами не велел до самой победы...

Чтоб, думаю, у этого Сталина по херу на пятке и на лбу выросло, пущай помучается, штиблет шевровый натягивая и фуражку маршальскую на башке пристраивая... Что мне теперь делать?

— Не кочевряжься, председатель. Был женат-то?

— Вдовый я... Погибла баба в бомбежку.

— Вот и помянем ее давай, а заодно и мужиков, которые грудью встали на защиту социалистического Отечества — друга всех угнетенных народов и надежды всей земли. Все — для победы над врагом. Наливай, — говорит Втупякин...

Ну выпили. Патефон бабенка одна завела. Танцевать повела. Топчемся, топчемся под «кукарачу» какую-то. Вальс кружим под «Синенький скромный платочек» — но какие танцы с калекой? Одной рукой костьль прижимаю, другой — бабенку. Что делать, думаю?

А делать было нечего. Я мужик не железный, я живой и к бабам жалостливый весьма, через что и потерпел в свой час... Заночевал я у этой танцевальной бабенки.

Лежу с ней, а сам о Нюшке мечтаю... Прощай, жена... будь ты жива — век бы не скурвился... А так... жизнь есть жизнь... И чья это проклятая воля, что разметало всех нас по белу свету на погибель и муки, на унижение земли нашей и напрасное расточительство молодости? Прости меня, Нюшка, на том свете... там с этим делом полегче,

чем тут, в колхозе, тут жизнь продолжать надо как-никак, прости...

Но разврата, маршал, не было там у нас никакого. Все строго, чинно, по графику и без смехуечков. В правлении график висел. Я ему и соответствовал два-три разочка в неделю и по праздникам большим, типа Первое мая и Седьмое ноября, будь оно неладно... Порядок был определенный в этом деле. Банька, рюмочка-стопочка, разговор по душам, слезы бабы, «Синенький скромный платочек»... ну, идем, милая, не плачь, дура, возрадуемся, раз живы мы, хоть и в беде по самые уши...

Но и имелась у меня бабенка особенная. Когда график ей приспевал ночевать, она так заявляла:

— Жду я Трошу своего. Поэтому лишь переночуем вместе, поцелуемся, Леня, чтоб жить не страшно было, больно неумоготу без ласки, а кроме этого — ни-ни, ничего у нас с тобой не будет, пожалуйста...

Я и уважал...

Живу в этом смысле как царь персидский или киноартист Николай Крючков какой-нибудь, вроде Лемешева.

Работаем с утра до ночи. Тыл кормим. Фронт кормим. Сами еле-еле концы с концами сводим.

Тут действительно по наряду Втупякина ешака из Ташкента к нам завезли. Ревучий зверь, упрямый. Намалялись мы с ним. То он кобылку не желает, то она его лягает обоими копытами и куснуть норовит. Откуда, думает, образина такая взялась на мою голову, длинноухая и нескладная?..

Ешак, конечно, по глупости природы, мелковатого роста был животное. Пришлось мне мозгами пораскинуть слегка, рационализацию в жизнь провести. Трибуну как бы выстроили мы для ешака. Ну а дальше он сам соображал что к чему. Тут большого ума не требуется. Жизнь везде свое берет... А мы с бабами подержались тогда за животики... Жеребчики вскоре от семи кобыл появились у нас. Мулами приказал называть их Втупякин, мне медаль «За трудовые заслуги» самолично вручил на собрании, а через неделю чуть не посадил, сволочь. Дура одна из комсомолок надумала телеграмму послать Сталину, что посвящаем ему всем колхозом в фонд

победы над Гитлером тягловое животное новейшего типа — полущак-полулошадь, желаем вам сто лет жизни, дорогой друг, отец и учитель...

Телеграмму, конечно, НКВД перехватил — и на стол Втупякину, а он меня дергает в райком и допрашивает:

— По чьей указке составлялась телеграмма? Что вы этим хотели сказать, мерзавцы? На кого намекаете? Забыли, в какое время живете? Кому, как говорил Ленин, это выгодно? Забыли, что у нас капиталистическое окружение и бдительными надо быть даже в сортире на оправке? Вы здесь только жрете-пьете, а люди на фронте кровь проливают.

Тут эта самая кровь в голову мне ударяет, замахиваюсь костылем, прибил бы гада, но люстра, на мое счастье, помешала. Однако притих Втупякин. Такие звери, как он, очень силу и бесстрашие уважают и с удивлением их порой рассматривают, вроде чуда.

— Ладно, инвалид, садись, водки выпей, закуси и проваливай посевную заканчивать. Как закончите, чтобы телеграфная писательница оформлена была как антисоветчица, и что мечтала по заданию гестапо, куда была завербована в оккупации, испортить настроение товарищу Сталину в разгар контрнаступления на врага. Ясно?.. И не возражать. План НКВД — это план всего народа. Не то сам пойдешь туда, где девяносто девять плачут, а один пляшет. Выполняй. Донос чтоб через три дня был вот на этом столе. Скажи спасибо, что не посадил за покушение на мою личность в военное время. Понял?

— Ничего, — говорю, — не понял. Пусть НКВД людей сажает, а мое дело — хлеб сажать да картошку. Не буду писать донесений никаких. Работать и так некому.

— Выполняй, Байкин. Три дня даю сроку. Кругом а-а-арш.

Созываю баб. Что делать, как говорил Ильич, спрашиваю, бабы? Как быть? Насадил нам в наказание начальничков безумных и осатанелых — что за зараза в них проникла? Неслыханные люди. И зачем ты, Пряжкина Лиза, на свою и на мою головы телеграмму эту проклятую начирикала? Пиши теперь всю правду, как есть, не то хуже будет. Раз пристал НКВД, то ни за что не отстанет, пока не посадит. Миллион, если не больше, таких

краснолицых комсомолок уже томится в каталажках. Коммунистов же там видимо-невидимо. Телеграмму надо отцу с матерью посылать, а не начальству.

— Ладно... хорошо... я подумаю, — говорит Лиза Пряжкина, а сама лицом посерела вся и вообще осунулась...

Втупякину дозваниваюсь.

— Осознала, — говорю, — отпусти ты ей грех неосознанности молодой, без нее пропадем, ешак никого больше не уважает, и мулят-жеребят любит Лизка всей душой, в конюшне ночует.

— Выполняй, Байкин. НКВД не может простаивать без дела даже во время войны. Раз нету жиды для ареста и всякой белогвардейской сволочи, значит, надо сажать своего человека. Он и в лагерях останется советским, не смотря ни на что. Я в этом лично убедился, будучи в органах. Это говорит об объективной силе сталинского учения, мать твою так, — ты сам небось из недовольных? — орал в трубку Втупякин. Плюнул я на все со зла. Ничего отвечать не стал. Без толку отвечать этим людям, да и человеческого-то не осталось в них нисколько, новая какая-то порода, вроде наших полуешаков. Только полуешаки работать будут на людей и полюбят нас, надеюсь, а Втупякины лишь ревут, глаза кровью налиты, нету для них большего удовольствия, чем засадить невинного человека. От чужого горя, очевидно, понимание в них возникает, что сами они до таких верхов добрались, откуда безнаказанно можно творить беззаконие отвратительное, облизываясь, на людей за решетками гляючи. Подлецы, из говна собачьего в князи попавшие. Господи, ответь: за какие грехи, чтобы легче хоть было немного, чтобы хоть покаяться было ясно за что. Неужели ж такого мы напакостили, что удержишь Ты нас в неведении и контузии с потерей звука и света?..

— Живи, — говорю, — Лиза, спокойно, выкинь из головы сомнения. все пройдет. Корми ешачков своих...

Являются через пару недель двое энкавэдэшников в портупях — сапоги надраены, ровно тут бал у нас, а не всенародное страдание, паразиты окаянные, Лизу арестовали. Обыск произвели в доме у нее и ночевать остались. Там же и ночевали, сытые хари. Выпивал я с ними.

Взятку за Лизу обещал крупную — целого поросенка. Ладно, говорят, подумаем. Напились вдребадан. Я ушел. А утром бабы прибегают ко мне: Лиза удавилась. Если б не пистолеты — разорвали бы бабы псов и сожгли бы, как Дубровский в кино, псов этих троекуровских там же в доме. Не знаю, как дело было, но ночью слышали соседи, как кричала Лиза. Потом смолкла. Собака ее завывала, за ней другие, и Машка моя туда же, исскулилась вся, спать не дала с похмелья, стерва... Ну пришли бабы к Лизе, смотрят: псарня валяется пьяная в блевотине своей, с жопами голыми, а Лиза в сенцах висит на красненьком шарфике. Изнасилована она, маршал, была... Ну, как? Кто им директив давал так поступать? Ленин? Сталин? Берия? Микоян? Каганович?

Отбились кое-как от баб, сволочи. Еле ноги унесли, протокола даже составлять не стали о самоубийстве... Лизу же похоронили мы по-христиански, грех на душу взяли, потому что не сама себя порешила она, а изглумились над ней паршивые морды с асмодейскими лицами. Вот тебе и весь марксизм с ленинизмом. Лиза бедная, чего ты там в нем нашла хорошего, что пуще отца с матерью любила, тряпицами красными хари ихние на портретах разукрашивала, песню пела: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

Помянули мы Лизу. Рассоветовал я бабам жалобу Сталину писать. Сам он такой, но вы этих слов не слышали, и выкормыши евонные так же зловердны, подловаты и низки душою. Жаловаться бесполезно, лучше выпьем за победу и чтобы избавил нас Господь от всех паразитов и карателей. Может, доживем до этого, если жить будем стараться, а не унывать. Помянули мы Лизу от души. В следующий раз, думаю, Втупякин-падла, я тебе устрою дело. Я тебя подведу, сука, под монастырь с твоими опричниками, сожгу своими руками и помучаю еще напоследок, чтобы ты признался бабам и мне, как планы вы тут по посадке русского народа выполняете, видимость службы создаете, чтоб на фронт вас, тварей беспардонных, не взяли из НКВД. Ради только этого и стараетесь ведь, гады ползучие. Человека посадите, дело пришьете ему и с мордами занафталиненными в тылу околачиваетесь, пакостничая и в развроте... Совершенно это мне те-

перь ясно, и знаю я, что за блевотина за вашими красивыми словами... Конечно, устрашили вы нас до скотства, что ни пикнем мы, ни чирикнем, когда вы творите произвол и оскорбление, молчим, ровно тигры в цирке, но не можете вы не сгнуться с земли нашей в конце концов, доживу ли до этого — не знаю, но молюсь, чтобы, перед тем как сгнуться, не навредили вы ехидно людям последней пакостью, мором и голодом...

Такое было дело, маршал... Вскоре и детишки начали вслед за мулятами-жеребятами появляться. Мальчишки все один к одному, пятеро пацанов. Поназывали их бабы в честь мужиков, в память по ним, Васьками, Кольками, Федями да Иванами. Благодаря моей хозяйственной жиле имели мы трех неучтенных коров для ребятни. Купил я их в городе у охранника за тридцать литров самогона... Выпили с ним, я и говорю, что все ж таки есть польза от социалистической собственности. Есть хоть что воровать, а то подошли бы с голоду давно уже... Это верно, говорит охранник. Десять лет охраняю. На фронт вот не взяли за такой стаж и опытность в охране...

Растут себе пацаны. Даже не ведают, что имеется на свете такая персона — папашка. Видят только мужика одноногого и прикидывают, что самый главный он здесь, раз палка у него вместо ноги выросла.

Мулы подросли тоже. В дело пошли. Работящая скотина, но печальная какая-то, какая-то нерусская, копытом не взбрыкнет и с огоньком оком лукавым не покосит, не поиграет под тобою, не всхрипнет боевито, не заржет родимый так, чтоб все твои поджилочки сладко замлели.

Тут войне конец подошел. Являются двое из плена. Без вести с самого сорок первого пропадали. Приглаждаются к колхозной нашей жизни. Пацанов моих прижитых начинают анализировать... Затем подкарауливают меня и принимаются зверски мудохать за мое же милосердие и жалостливость души. В поле мудохали ночью. Что я на одной ноге сделаю с ними? Ничего. До смерти прибили бы. Бабы случайно спасли. Думал — помру. Зубы передние выбиты. Нос поломан в сосиску, в глазах кровоизлияние, и кровью харкаю. Ребра, чую, сломаны, и яйца, как говорится, всмятку. По ним метили. Сука, го-



ворят, мы в аду крошечном были, а ты тут на печи бабье наше огуливал, хряк зажавшийся...

Спасли меня бабы. Но мужики добились бы меня, как пить дать, извели бы вскорости. Однако явились вдруг те самые энкавэдэшники, которые Лизу изнасиловали, забрали бывших пленных как предателей Родины по приказу Сталина. Жаловаться на них не стал. Не легавый я человек, просто судьба такая.

Ну а за могилкой Лениной, то есть как бы за моей, Петра Вдовушкина, глядел я исправно... Изгородь голубенькая. Столб кирпичный со звездой красной, потому что телеграмма пришла — крест могильный ликвидировать ровно в двадцать четыре часа... Березка над могилою выросла. в скворечнике птицы живут, улетают, прилетают, улетают, прилетают и поют. Ради могилки этой я ведь в здешний колхоз прибыл.

Зажили вскоре мои раны очередные. Тут Втупякин приезжает и говорит:

— Дорогие товарищи. Прах солдата Вдовушкина на пленуме обкома нашей партии постановлено считать прахом Неизвестного Солдата, с перенесением в городскую могилу, куда мы подводим вне плана Вечный огонь. Мрамор также выдан для этого дела и немного бронзы — отлить бумбетки. Большая вам оказана честь, товарищи, и вы уж ответьте на нее легендарным трудом со сдачей государству сверх плана зерна и мяса. Да здравствует родной и любимый товарищ Сталин — корифей всех стран и полководец прогрессивных народов доброй воли. Мы смели с дороги к коммунизму фашистские преграды, и теперь нам открыта туда вечно живым Ильичем зеленая улица. Ура-а-а.

Я на колени перед Втупякиным. Как же так? Какой же прах неизвестный. если он вполне известен как Вдовушкина Петра боевые останки. Это фашизм какой-то — делать известное неизвестным... Чуть про ногу свою не брякнул во гневе.

— Молчи, Байкин, не то посажу тебя за антисоветскую пропаганду и агитацию. Молчи. Не вставай партии нашей поперек дороги. Скажи спасибо, что мы этот не совсем наш прах по ветру не развеиваем. Отец-то Вдовушкина расстрелян был, докладывало мне МГБ. Но

я лично настоял на захоронении в качестве Неизвестного Солдата. В какой еще капиталистической стране, где человек человеку волк, могло произойти такое душевное событие? А здесь мы стройку начнем оздоровительного комплекса.

Ну, как тебе, генсек, твои коммунисты херовы? Что, ты думаешь, выстроил Втупякин на месте моей, то есть Лениной, могилки, на месте поля боя и всенародной беды? Три дачи для обкома и для себя самого, разумеется. Вот что. Какие же вы все-таки все бессовестные оказались, до власти дорвавшись. Ай-ай-ай, маршал. Для этого, выходит, мы руки-ноги теряем и головы?.. Но ладно. Живите, гуляйте. От ответа все равно не уйдете, если не на этом свете, то на том поскрежете зубами. Польши ничтожной по размерам вы перетрухнули, а уж какую кучу в галифе натрясете, когда наша рабочая скотинка взбрыкнется, думать весело. А взбрыкнется она точно в свой час: не может у пуганых-перепуганных не лопнуть терпение. Недаром дурачок наш Ленин целый день сегодня морзянку в Кремль отстукивал:

Борьба с польским пролетариатом — это борьба за наши собственные шкуры, товарищи, за святость Учения и укрепление власти правящей партии. Срочно расстреляйте десятка три особенно оголтелых профсоюзников, чтобы другим неповадно было противопоставлять свою мешанскую программу нам — уму, чести и совести нашей эпохи. Сегодня — Польша, завтра — Венгрия и Румыния, послезавтра — чехи и монголы, через год-другой придется мне на Путиловский ехать, уговаривать смутьянов вернуться к станкам и поточным линиям? Сегодня наш лозунг «Партаппаратчики, все как один на борьбу с рабочим классом социалистических стран». В этом залог того, что мы с честью выйдем из нового суровейшего исторического испытания, эрго, — из периода предыстории.

Вот что он на морзянке отстукивал. Но ладно...

Раскопали вроде Ленин прах с лишней моей ногой. Бабы еще перепугались, что там три сапога оказалось... Не могу об этом... Забился я в конуру свою, никого, кроме Машки, не подпускаю и пью горькую. Машка же ску-

лит, потому что одно дело гангрену у человека зализывать, а душу растерзанную зализать — совсем другое. Попробуй залижи ее, если я запечалился, виноватый в Лениных пертурбациях из родной могилы куда-то под мрамор с Вечным огнем.

В общем, как говорит Маркс, закономерно спился. Спился до чертиков, до говорящих и разноцветных снежинок каких-то, до рубахи, превратившейся на глазах моих в студень и слившейся с плеч. Пью и пою «синенький скромный платочек... ровно в четыре часа...». Прогнали меня в город, в больницу, на излечение от алкоголизма. Уж больно отвратителен был образ мой для моих же растущих пацанов. Плачет человек, пьет и людей к себе не допускает. Как ни любили меня бабы, а прогнали в больницу.

Полежал. Завязал на время. Сторожем устроился. Не могу возвращаться туда, где надругательство над останками Лени — друга моего и моей левой ноги. Не могу, и все. Комнатушку дали мне в общежитии, потом в коммуналку воткнули, когда ученого-еврея посадили и расстреляли за то, что на мухах колдовал и пытался привить овсам, картошке и пшенице нежелание произрастать на колхозных полх. Я, конечно, не дурак, понимаю, что невинного человека в расход Втулякин вывел, но в комнатушке поселился. Один живу. Баб не желаю видеть, не то что обласкивать. Обрыдли окончательно после моей самоотверженной деятельности в годы войны и разрухи. допрыгался. Но, честно говоря, не переживал я, маршал, из-за этого дела. Спокойней даже как-то существовать стало. Это ты у нас боевой ешак, грузинка, говорят, растирала тебе разные части волшебными пальцами, и ты сразу стюардессу развратил в полете посреди облаков...

На могилку вполне известного мне солдата цветочки полевые летом таскаю, мрамор протираю тряпочкой, окурки убираю, бумбетки бронзовые на цепях мелом надраиваю, приглядываю, в общем, за могилкой.

Долго я свое сознание обрабатывал по части вины перед Леной и самим собою, что загубил я судьбу, укрывшись за именем друга, долго. Но когда пришла пора, не удержать меня было, и во многом тебе, маршал, за это

солдатское мое спасибо. Насмотрелся я, как ты обьелся звездами золотыми, брильянтами маршальскими, драгоценным оружием и прочими холуйскими подарками твоих дружков и понял: жить так больше, Петя дорогой, никак нельзя. Невозможно, более того, жить в прежнем лживом облике, держащем в тени могилы многострадальное мое имя, данное мне матерью и отцом родным. Кончено, слава богу, с этим безобразием. Пусть знает народ, что в могиле лежит известный солдат Леонид Ильич Байкин, скромно погибший аз Родину без упреков кому бы то ни было и обид.

Пусть мочит дождь фанеру и смывает вода чернильный карандаш. Я снова буквы нарисую, пока не выдолблю на мраморе законное имя владельца роскошной могилы... Сейчас вот опять текут из глаз моих слезы чистой радости.

Легко, думаю, душу и судьбу загубить, но и спасти недолго, если ты бесстрашен перед прошлым временем, настоящим и будущим. О замогильном времени я уж не говорю. Оно поважней, кажется, прошедшего, и ты представь, маршал, в сей миг, как разоблачат некогда твои самонаграды, вранье позорное насчет твоих подвигов военных и то, что ты премию огреб за тиснутую шабашками книженцию, как говорит опять же Ленин. Представь... Не знаю, с каким настроением рабочим будешь ты сходить за порог известности и представлять перед неизвестностью, где нет ни маршалов, ни солдат, но только Истинный Свет и вечная бездна тьмы, в которой не сверкнут, не блеснут ни единой искоркой золотые твои побрякушки и камешки, как будто и не было их вовсе в природе с тобою вместе, выдуманным из-за неимения у Втупякина иного выдающегося правителя для страны и народа... Но ладно..

Чего я не достказал тебе?.. Сижу, значит, тогда, после водружения фанерки на могиле, «Синенький скромный платочек» пою, чист душой, повинился перед миром, ханки еще хлобыстнул, соседи, слышу, на строительство коммунизма пробудились, рыла споласкивают, чай кипятят, у сортира толпятся, хреновину какую-то порют насчет Лейбманов, которые в Израиль намылились. Две-надцать человек семья, включая прабабку и прадеда.

Вот и шум идет: кому ихние две комнаты отойдут. Озверелые люди совсем из-за жилплощади, а открой ты им, генсек, границу — половина разбежалась бы враз. Конечно, потом запросились бы многие обратно, когда пропили бы имущество и обручальные кольца, потому что трудно русскому человеку после какой-никакой, но, однако ж, шестой части света в Италии какой-нибудь замазку колупать и «рябину горькую» выть от тоски. Трудно. Обратно бы запросились, а ты бы их наверняка не пустил по партийной зловредности и чтобы не смущали своих соседей рассказами насчет порядка жизни у капитализма и какую денгу зашибает рабочий человек за свой честный труд, а также что он может купить в магазине на заработанное, где живет и так далее, в общем, то, чего по телеку не услышишь и в газете не прочитаешь, благодаря военной тайне о жизни рабов капитала... Шумят соседи. Дружно претендуют на расширение жилья. Драчкой запахло. На это дело мы мастера.

Только думал протезом их там шугануть, чтоб не зверели, может, и не отпустят еще Лейбманов — умные и хорошие потому что они для страны люди, особенно прадед Моисей, лучше него никто не починит дамскую туфельку, — как в дверь мою барабанят. Зло взяло. Кайф ломают, гады. Беру протез, открываю дверь и первому же врезаю промеж рог с оттяжкой.

А это Втупякин, участковый наш, вредное и мелкозлое животное. Хорек... Смешно стало. Извини, говорю, думал — сосед прется.

Тут меня рыл пять в штатском подхватили под белы руки — и в отделение. Вот тебя, маршал, слышал я от Ленина, ни разу не арестовывали. Ты сам всех в тридцать седьмом пересажал и на ихние места уселся со своей шатий-братией. Русский человек — не человек, если ни разочка за свою жизнь в КПЗ не побывал. Целина, так сказать...

Помял мне там кости Втупякин. Отыгрался сполна за то, что протезом промеж рог получил. Раны даже мелкие открылись у меня — те, что после побоев остались. Вот как помял. Ровно ковер от пыли в выходной день выколачивал и половицу выбивал. С большим удовольствием. Кого же ты бьешь, подлец, спрашиваю. Инвалид-калека

ведь в ногах твоих валяется. А он наступил прямо на мой рот ногой обутой и крутит подошву на губах...

Не могу... не могу... как тут не зарыдать от непрошедшей обиды. На боль начхать. Обиды бередают, покоя не дают...

Потом допрос был. А у меня с похмелья и побоев в зрении черт знает что творится. Штук пять Втупякиных в комнату набилось.

— Допился, свинья, — говорят. — ...Над могилой Неизвестного Солдата глумишься, дерьмо собачье... От Вечно-го огня сигарету прикуривал «Приму», подлец, прохожий сознательный донес по телефону... Сгноим тебя в дурдоме, даже лагеря не увидишь, образина опустившаяся... Отрекайся от злодейского хулиганства, рванина пьяная... От кого задание получил? ЦРУ, небось, и жида тебя спаивают, Родину нашу великую компрометировать? Солженицына читал?.. В каких отношениях с евреями по квартире, урод? Когда завербован?.. Что еще, кроме листовок, в протезе держал?.. Вот что ты, мразь, стекло-ватой набитая, с протезом, щедро подаренным тебе страной, делаешь.

Отвечаю так. Я, мол, хоть пьяный и рваный, но нога моя тем не менее захоронена вместе с Леонидом Ильичом Байкиным. Листовку же я нашел на базаре, и в ней вся правда говорится. Не хрена вонючую Кубу кормить на восемь миллионов в день и Африку завоевывать. Самим жрать нечего. Дети завистливыми рахитами растут. Листовка сознательная, а моя фамилия — Вдовушкин Петр, который считается Неизвестным Солдатом и захоронен под Вечным огнем... неужели ж прикурить от него нельзя живому человеку, когда спичек нет? Мне бы лично на месте Лени было только приятно... Желаю быть отныне известным справедливости ради и совести.

Ну и опять все эти Втупякины топтать меня начали. А я на своем стою, всю правду выкладываю с самого начала войны. Если, говорю, не верите — выкопайте Ленский прах на экспертизу: неужели сделать это для правды тяжелее, чем Сталина на глазах всего света выковыривать из мавзолея? Выкопайте. Там сразу и ногу мою увидите правую. Мизинец у нее вкось, на большом пальце ноготь сбит об корень сосновый, сапог сорок четвертого

размера. Вдовушкин, эрго, я, Петр. Не будет ноги в могиле — под расстрел готов идти без суда, но и тогда прав буду категорически...

— Отчество какое у Вдовушкина?

Ну, думаю, попался. Отчество вышибла из меня давно еще советская власть. Что делать? Загляните, говорю, в приговор смертельный моего отца и узнаете мое отчество, если оно вам интересно... А прах требую откопать осторожно ради уважения к нему.

Куда там!.. Повязали меня и в дурдом воткнули. Хорошо, думаю, что Машка моя вовремя дуба врезала. Оказалась бы сейчас бездомной псиной, гонимой гнусно соседями по коммуналке, а я бы и впрямь «поехал» бы от горя и бессилия помочь спасительнице своей верной...

Полгода первый раз держали. Током трясли. Химией кормили. Под гипноз бросали. Унижали всячески, как шизофреника и алкоголика. Пенсию два раза зажилили, а сказали, что выдали ее мне, а я накопил на все деньги одеколона «Карменсита» и жрал его вместе с однопалатниками.

Выгнали наконец. Даже не помню, что я такого надеялся и кто я такой вообще, как я жил до этого дня, до праздника Победы, до Девятого мая. На ощупь, так сказать, живу. Руки трясутся, в сортир ходить забываю, а из школы Втупякин запретил присылать ко мне тимуровцев — порядок помогать наводить в конуре инвалиду Отечественной войны. В зеркало гляжу — ничего в нем не вижу. Пустое место. Нету меня, и все. Отсутствую в природе и обществе. Стену вижу с голыми обоями, портвешком забрызганными, черный громкоговоритель на ней и ремешок Машки покойной, а себя не вижу. Помню, что это меня тогда вполне устраивало. Успокаивало также. Есть я как бы, но одновременно нету такого человека. Пальцем проведу по физиономии — нос, лоб, глаза на месте, уши топорщатся, борода не скоблена суток пять, стену потрогаю на ощупь — голая стена в зеркале, без намека на мое изображение... Вот как лечат в советском дурдоме — самом нормальном дурдоме на свете, как пишется в тамошней стенгазетенке «За здоровье народа». Вот до чего доводят людей, желающих установить жесткую, трудную и раздражающую начальство правду, вот как

заставляют по-фашистски вытравить из себя истинную личность до полной потери всех представлений о родимом теле и о многострадальной душе...

Но вот Девятого мая, в День Победы наметилось во мне просветление. Это мой праздник и Ленинский, всех, кто жив отвоевав, и тех, кто покоится в земле сырой.

Все же власти отнеслись ко мне, хоть безумным психом и числился, как к инвалиду. На митинг позвали, полкило колбасы «Отдельной» выдали, талон на масло сливочное и кило свинины жирной с ананасом. Из Африки тот ананас был. Завоевали мы его там. Спасибо, генсек, большое за заботу об инвалиде и руководство внешней политикой. Спасибо, кормилец.

Ковыляю на митинг. Протез об голову Втупякина сломан. Но не танцевать же мне с дамочкой в ресторане «хоть я с вами совсем не знаком и далеко отсюда мой дом...» — люблю весьма этот фронтовой вальс. Костыляю, в общем, на митинг.

Стою перед Вечным огнем, перед синим пламечком и плохо соображаю, что это за мрамор, что за огонь, что за высокая трибуна напротив и какое ко всему остальному я имею отношение. Не понимаю. Вот до чего химией набили, уроды человечества под маской бесплатной медицины, проститутки поганые. И ни при чем тут проститутки. Любая «синяя птица» на вокзале в тыщу раз душевней, благородней и милосердней Втупякина и даже в долг может дать с заработка на бутылку...

В руках у людей плакаты «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». Оглядываюсь вокруг. Глазами ищу инвалидов. И совсем не вижу. Ведь к тому времени, когда ты, генсек, спохватился и постановление принял кое о каких побряках для нашего брата, перемерли мы все почти к чертовой бабушке. Вы ведь думали так: хрен с ними, с калеками, раз они без рук, без ног, с контузиями глаз и ушей и так далее. С голоду не подышают, не работают, у ворья вещи краденые, случается, скупают, пьянствуют, граждан, психопаты, колотят костылями чуть что, и нечего развращать их добротой внимания. Пусть во дворах сидят и «козла» до отупения забивают, чем бесплатно в трамваях ездить и поездах, спекулируя кофточками и прочим жалким дефицитом. Санатории партийным то-



варищам нужны позарез, потому что на них страна наша великая держится, а не на инвалидах войны. Родина, мол, не пассажир в такси, который на чай дает за услуги. Жертвовать Родине всем до последней капли крови — священный долг каждого гражданина СССР. Именно так ответили мне в горисполкоме, когда я попросился в санаторий язву желудка залечивать. Но о внутренних болезнях я тут распространяться не желаю. Я лишь хочу заявить, что война так сказывается, особенно на инвалидах, так она перековеркивает все нервишки организма и нарушает течение последующей жизни то в одном его месте, то в другом, что врачи вообще ни хрена в нас не понимают и диагноз ставят исключительно следующий: пить надо, больной Байкин, меньше и закусывать при этом не забывать... А чем закусывать? Чем, я вас спрашиваю, закусывать? Мышью, что ли, дохлой под прилавком в гастрономе? Или ухо у мясника — хари воровской — оторвать? Поляки вон из-за мяса шуметь начали — а мы когда начнем? Когда на карточки хлебные пару недель веники березовые выдавать будут? Или когда опухнем от водянки как самовары?.. Не знаю. Убили у нас за шестьдесят лет в рабочем классе гордость и хозяйское чувство вместе со смелостью постоять за свои законные интересы и свой ищачий, псам кубинским и вояками африканским под хвост вылетающий трад... Но ладно...

В толпе народа различил я все же фронтовиков с бабами, сыновьями и внуками... И я мог вот так, думаю, стоять рядом с тою врачихой, если бы душевно к ней отнесся и не плюнул в душу бессердечным хамством. И детеныш наш уже отцом заделался бы, если бы, конечно, не спился с рабочим классом... Мелькнуло такое тоскливое сожаление...

На трибуну, разумеется, Втупякин влазит и говорит так:

— А теперь позвольте, дорогие товарищи, зачитать вам Указ Президиума Верховного Совета СССР, подписанный нашим дорогим и любимым Юрием Андропычем Прежневым, который лично возглавил в тяжелый для Родины час руководство главным участком фронта, что и решило исход мировой войны в нашу пользу, и люди перешли к мирному труду по возведению светлого зда-

ния коммунизма на территории нашего свободолюбивого государства — оплота интересов трудящихся всего мира и грозы сионизма-империализма лично...

Все, конечно, как всегда, хлопают ушами и позевывают. Я не исключение из этого правила. На кой, думаю, хрен сюда притащился? Сроду на митинги не являлся ввиду ихней тошниловки и заскорузлой жвачки, дурак старый... В образах представляю от скукотищи, как жвачка, которую еще Карла Маркс жевал на пару с Энгельсом, Ленину в рот перешла. Тот ее Троцкому в пась перекладывал, пока Сталин сам не принялся за разжевывание с запитием этой отвратительной жвачки нашей кровушкой и свободой... Втупякин жует ее, слюни заглатывать не успевает, засранец...

Но что это я вдруг слышу?

— Присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» посмертно рядовому Петру Семенычу Вдовушкину...

Тут у меня в мозгу что-то — щелк... щелк... щелк... и душа затрепыхалась, силясь добраться до вечной памяти, но химия ее не отпускала так легко, зараза. Втупякин же продолжает свою речугу:

— Никто, таким образом, не забыт, товарищи, поскольку русский солдат Петр Вдовушкин в тяжелейшей для нашей пехотной дивизии, в безнадежной почти ситуации, в окружении врага... командир и комиссар были убиты в жестоком бою... мужественно и весело запел песню «Синенький, скромный платочек падал с опущенных плеч», чем поднял на правый бой остатки седьмой стрелковой дивизии... прорвали окружение... спасли от неминуемой гибели артиллерию... в ночном бою познал захватчик всепроникающую до печенки мощь нашего справедливого штыка... негасимая ему слава... Вечный огонь его храбрости и патриотизму, товарищи, поскольку многих из вас не было бы в противном случае на этом торжестве солдатской славы нашего оружия. Клянемся над могилой Неизвестного Солдата: никто не забыт и ничто не забыто. Лично спасибо Родине за ее благородную память о своих героях.

Трещит от услышанного моя лбина, ровно в невидимую стену я уперся, а пробить ее не могу. Чую, однако,

что за тою стеною источник для меня существенный находится. Чую, алкоголик, калека, душой и телом пропащий. добратся же не могу... Вот как мне мое возрождение давалось, маршал. Не то что тебе: носился в «ЗИСе» по стройкам и горло драл: «Вперед, братцы-ы-ы! Коммунизм-то ведь не за горами. Неужто вам туда неохота? Вперед».

Напрягаю все силы своей личности, чтобы уяснить происходящее вокруг меня и отреагировать соответственно настроением на услышанное. Как в лесу чувствую себя... Громко — от страха что-то заплутал — аукаю, а в ответ не слышу ничего, кроме слабого звука от своего же «ау-у-у».

Втупякин же остальных воинов называет, вспомянутых по воле какого-то бойкого начальничка по пропаганде в ЦК, потому что не жалость к калекам и уважение к мертвецам подвинули его на это, а жвачка поребовалась новая. Старая промеж зубов застряла... Кому орден, кому медаль посмертно объявляют. Живые тоже поднимаются на трибуну. Прикалывает им Втупякин награды, но не могу я никак издали узнать своих однополчан, которых я же поднял в атаку не по храбрости вовсе, а от отчаяния и боли по своей оторванной ноге и хлобыстнув трофейного коньячку. Митинг как митинг, одним словом, и я уж облизнулся, подумав насчет «Отдельной» колбаски и как я, продав соседу талон на жирную свинину по причине бывшей язвы желудка, сковыляю за «маленькой», картошки пожарю на масле, выпью и, может, спою чего-нибудь да поплачу о сгубленной судьбе, о глупости своей и замечательном легкомыслии...

Как вдруг Втупякин — рожа у самого вечно пьяная, наглая, негасимое, одним словом, мурло — произносит:

— От имени нашей партии, Верховного Совета и лично товарища Юрия Андропыча Прежнева вручаю награду Вдовушкина Петра Семеновича супруге его, то есть жене Анастасии Ивановне, которая — гость нашего славного города.

Сперва я за грудь схватился, ровно под дых мне вдавило и согнуло, потом ковыляю к трибуне, все сторонятся, память во мне враз ожила до мелочей, приник к ней, ору, башку задрав:

— Нюшка-а-а! Нюшка-а-а! Петька я твой!

Сердце же мое разрывается от горя и счастья жизни, и нога вроде правая отросла, верь, маршал, стою под трибуной и ору:

— Жив я, Нюшка! Жи-ив! Синенький скромный платочек... в двадцать четыре часа...

Нюшка моя устала на меня, сама в шляпе, на шляпе букет, лицом все так же хороша, сытая, развезло ее, однако, с годами, в буфете небось работает на мою удачу, шестимесячная не молодит только бабу.

Стою, воплю и костылем размахиваю. Нюшка тоже с трибуны свесилась, выглядывает меня. Тут Втупякин наклоняется и что-то толкует Нюшке. Рукой в мою сторону машет. Распространяется обо мне, очевидно, как о пропащем для планов партии, планов народа объекте.

На трибуну залезть не могу. Оцеплена трибуна цепью милиции непонятно зачем. Не могли же они знать заранее, что мне необходимо будет на нее взобраться... Заминка в митинге вышла из-за меня. Оркестр по чьему-то приказу заиграл «синенький скромный платочек... ты говорила, что не забудешь милых и ласковых встреч».

— Нюшка-а, — ору, — родная ты моя жена, иди ко мне с высокой этой трибуны.

А Нюшка скривилась, пот со лба платочком утерла, плечом повела, как профурсетка городская, презрением и забвением меня изничтожая.

Тут Втупякин — участковый наш — зашипел мне в ухо и обидно плечо рукой костлявой стиснул:

— Опять, Байкин, за старое взялся? Иди за мной похорошему... не ломай церемонии, подонок общества... я тебя, гада, вышибу из города-героя в двадцать четыре часа, хулиганье безо всего святого...

Как я мог такое стерпеть? Не мог, ибо позабыл начисто в тот момент, что официально-то я — Байкин Леонид Ильич. Обиды, тоска, гнев от несправедливости и косорылия Нюшкиного — все во мне враз взыграло, и молотнул я Втупякина вновь костылем промеж рог. Он — с копыт. Дыра в голове. Не стискивай, говорю, гадюка, плеча героя легавою своей рукой, не стискивай никогда... Оркестр еще громче пилит любимую мою песню.

Последнее из всего, что видел, — Ньюшкина физиономия. Злая, ненавидящая, сплошное не понимание и смущение... Коробочка красная с моею «Звездой Золотой» у Ньюшки в руках, и не смотрит она в мою сторону, как будто вообще нету меня на митинге и не был я никогда ее законным мужем...

Потом уж Втупякин главврач, объяснял мне, что орал я как бешеный и требовал ногу сейчас же выкопать из-под Вечного огня Неизвестного Солдата, который есть якобы Байкин Леня — друг мой фронтовой. Сам я этого не помнил. Думается, оглоушил меня кто-то японским приемом, а может, кровь сама к голове прилила. Было отчего прилить...

Снова дурдом, а я вроде рецидивиста в нем, с таким диагнозом, что произносить его противно. Нет в диагнозе ни грамма правды... Вспоминаю последнее видение с воли: волокут меня за руки и за ногу кверху рылом, а над мною флаги колышутся и портреты. Втупякин на каждом портрете с мордой отретушированной, ласковой как бы по отношению к народу, прямо отец родной, галстуки в горошек...

Первые дни сижу на койке или ползаю по полу за неимением костыля, об втупякинский череп переломанного, другой заказывать не хотят мне назло как хулигану... Ползаю, плачу, скулю-наскуливаю «Синенький скромный платочек»...

Слева от меня на этот раз не изобретатель порошковой водки лежит, а сам Ленин. Справа же вместо выдумщика машины для управления нашим сложным государством Карлу Маркса положили молодого. Вполне душевный чеовек.

— Веришь, — спрашивает, — что я есть Карл Маркс молодой и что я оду радости мечтал пропеть всем людям, веришь?

— Раз, — отвечаю, — ты веришь, что я Вдовушкин Петр Семенович, Герой Советского Союза, то и я тебе всецело доверяю. Что такое, интересуюсь, ода?

— Песня такая прошлого века, вроде твоего «Синенького скромного платочка», — говорит Карла.

Все мы тут своего добиваемся. Как обход — так Ленин заявляет, что враги коммунизма специально засадили

его лысину волосяным покровом, дабы неузнанным он оставался для партии и рабочего класса. И террор умоляет усилить в Италии, во Франции и в Израиле. Легче, мол, будет нам в мутной водичке рыбоньку всемирной диктатуры ловить.

Я-то верю, что его враги загримировали, но террор всякий мне лично как русскому человеку и бывшему крестьянину кажется лишним. Лишнее это все, лишнее. Террор этот до такой заварухи и нас всех доведет, что думать страшно... Террор, мать его так...

Карла Маркса молодой, наоборот, просит разрешения у Втупякина отрастить усы и бороду в седом цвете, чтобы ни у кого уже не оставалось сомнений, что он — это он.

Пара диссидентов у нас имеется. Эти иногда требуют у Втупякина почитать Конституцию СССР от скуки, чтобы лишний раз убедиться, что она нарушается на каждом шагу и вообще служит дымовой завесой произволу, насилию и полувековой трепне дорвавшихся до власти хамов и болванов... Диссиденты никогда не плачут. Болтают. Записочки пишут. На волю ухитряются их передавать...

Ленин вот присел опять на пол, голый присел, халат на голову накинул, об табуретку оперся локтем, как о пенедек, — это он в Разливе, в шалаше себя представляет и пальцем по табуретке водит: тезисы свои тискает насчет террора и подавления польских забастовок. Вслух говорит, что один только шаг остался до утановления всемирной диктатуры большевиков, а тогда, потирая ручки, он засмеется, довольный, и начнет гладить всех, кроме эксплуататоров, по головкам.

Маркс мешать ему начинает. Палец послуныавит — и по стеклу водит с мерзким звуком или оду свою радостную поет. Потом обычно первый не выдерживает и орет:

— Шалашовка разливная. Прекрати тезисикать. Обдристал мои светлые мечты. «Состояние» скомпрометировал. Пролетариат в рабство партии отдал. Сифилитик. Недоучка. Блядь германская вагонная. От тебя у твоей Наденьки галаза на лоб полезли. Бес. Слуга дьявола. Все мы здесь из-за тебя сидим пыхтим и правды добиваемся... Сковородка картавая.

Ленин зачастую внимания даже не обращает: не мешайте, мол, герр Маркс, международному рабочему дви-

жению, которое с семнадцатого года ничегошеньки общего не имеет с вашими идеальчиками и расчетами, потому что допустили вы непростительную для коммуниста ошибочку насчет обнищания пролетариата капиталистических стран. Но мы покончим с тенденцией пролетарского обуржуазивания. Мы уничтожим власть с помощью максимального усиления власти в мировом масштабе. Мы вам покажем, что такое диалектика нового типа и как красть кораллы у Клары Цеткин, плевал я на ваш кларнет.

Маркс первый на Ленина всегда набрасывается, за ноги его с пола дергает и на голову ставит, так как силой обладает ужасной. Ленин и хрипит, извивается, пока мы с диссидентами Степановым и Гринштейном не пожалеем его и не отобьем у разъяренного Маркса. Зачем человека мучить, даже если в голове у него безумные планы, как в газете «Правда» и в твоих речугах, генсек. Ленин хоть треплется только, а вы натурально сошли с ума, по прикидкам диссидентов, и если б вас, по ихним словам, положить сейчас в дурдом на справедливое обследование умственных способностей, жизненных целей, культурного уровня и моральных установок, то оказалось бы, что вас это надо держать в психушках, как бешеных собак и врагов спокойствия народов, своих и чужих.

И непонятно всем нам — зачем держите вы в дурдоме своего Ильича, когда он прямо выбалтывает все, что вы сами думаете, а главное, делаете? Вернули бы вы его обратно в мавзолей на его законное место, а Ежова Николая Иваныча пошарить оттуда надо к чертям собачьим. И рассмотрите вы там, на своем очередном съезде партии, вопрос о выкапывании моей правой ноги для установления личности Петра Вдовушкина, если, конечно, я вам как живой герой требуюсь, а не как истлевший... Но ладно...

Ползаю по полу и пою, скулю «синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, ты говорила, что не забудешь тихих и ласковых встерч». Пою. Если б не пел, то умер бы точно. А Втупякин говорит так:

— Вот кончу про тебя докторскую и вышибу из твоих уст этот «Синенький скромный платочек», на котором за-

циклился ты препыхабно. Забудешь не то что платочек, но и что такое синий в природе цвет.

— Не забуду все равно, — отвечаю.

— Забудешь. Если я из Суслова Карла Маркса почти вышиб, если я Ленина дал соцобязательство на ноги поставить к Двадцать шестому съезду партии, а Гринштейна со Степановым образцовыми сделать гражданами, то и ты у меня, пьянь, по-другому запоешь.

— Не запою вовек.

— Запоешь, гад такой, и текст забудешь. Запоешь.

— Не запою. Выкусишь.

— А я говорю — забудешь.

— Никто, — говорю твердо, — не забыт и ничто не забыто. — Сам не выдерживаю — и в слезы, в надрывное рыдание. Втупякин же снова досаждаёт, как садист.

— Успокойся, не то под шок пойдешь. Не саботируй работу советской психиатрии, направленной на улучшение умственного здоровья народа и укрепление государства, где человек человеку друг и брат и где воплощены полностью мечтания Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

— Ладно, — говорю, — прекращаю безудержный плач. Давай поговорим.

— В полнолуние охота тебе выкопать свою ногу или равнодушен ты к положению спутника Земли на небосклоне?

— Луна, — отвечаю, — тут ни при чем. Мне не нога нужна как таковая, а доказательство. Ну что вам стоит выкопать ее? Час-полтора всего трудов. Судьба ведь в этом человеческая, и не надо тогда мудохаться со мною в дурдоме, средства попусту изводить и душу мою терзать. Сталина-то, повторяю, выкопали ради правды, а я таких преступлений не совершал против народа, я наоборот — Герой Советского Союза, верь, Втупякин.

— Ну хорошо, — смеется, — выкопаем мы ногу, сойдется все, что ты порешь тут, диссертация моя погорела, два года работы псу под хвост, — а дальше что?

— Дальше, — говорю, — Нюшка меня признает с великой радостью. Вспомним мы с ней превратности судьбы, выпьем, объяснимся, и помру я от счастья жуткого, по-



хоронит меня жена по-христиански вместе с правой ногой, и буду я с удовольствием лежать в своей собственной кровной известной могиле на Аржанковском кладбище. На могиле же Неизвестного Солдата напишет: ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БАЙКИН. РЯДОВОЙ. ПОГИБ ИЗ-ЗА ПОДЛОЙ ГЛУПОСТИ СТАЛИНА И ЕГО КОМИССАРОВ.

— Ну а дальше-то что, — не унимается змей, — что потом будет?

— Потом, — говорю, — хочу поносить немного геройскую звезду на скромном пиджачишке. Билеты в кино и на хоккей без очереди и портвейн в рыгаловке брать буду. Билеты на хоккей в десять раз дороже с рук идут. Из пельменной, само собой, никто в шею не погонит. Известный инвалид, герой, одним словом, всего Советского Союза... Разумеется, расскажу Нюшке за стопочкой эппею свою с самого ранения и потери ноги, ничего не утаивая, до пробуждения стыда за притворство и отказ от собственной личности. Хотел, скажу, по глупости сделать как лучше, а вышло, Нюшка дорогая, как нельзя хуже, но все хорошо, что хорошо кончается.

— Так... С тобой у меня все ясно. Прогрессирует твоя болезнь, Байкин. Настоящее с будущим путаешь, переходишь из него в прошлое с уклоном в автонекрофилию. Зря ты так, Байкин, зря. Героя Советского Союза заслужить надо. Я думаю, что свихнулся ты из-за вины перед своей ногой, скорее всего, потому, что допускаю предположение о намеренном членовредительстве в период окружения с целью увиливания от защиты Родины и советской власти. Ненависть к товарищу Сталину тоже сыграла большую роль в твоей лжи и дезертирстве. Будем бесплатно лечить тебя, используя весь арсенал советской психиатрии, самой человеколюбивой в мире науки побеждать заблуждения ума. Так-то вот, Байкин. Ну-ка, вытрани обе руки.

— Я Вдовушкин, — заявляю непоколебимо, — герой, фронтовой известный певец и мировая умница без всякой Мани Величкиной и Соньки Преследкиной.

— Хорошо, — настырничает Втупякин, — больной Байкин утверждает, что он здоровый Вдовушкин. Давай сличим два фото. Идентификацией у нас такая хреновина называется. Пляди... Похожи?

— Вот это, — говорю, — похоже на психиатрию самую человеколюбивую в мире, не то что раньше. Поглядим...

Гляжу... На одном снимке я как раз перед 22 июня ровно в четыре часа. Красавец. Чубчик кучерявый. Кепчонка — шестнадцать клинышков. В глазах огонь негасимый сверкает. Улыбка — шесть на девять. Плечо каждое — под пару поромысел. Шея — как труба у паровоза «ФД», только белая, недаром бабы млели, вешаясь на нее.

— Ну что? Разве не разных здесь два человека? — вежливо так и вкрадчиво спрашивает Втупякин.

— Да, — соглашаюсь честно, — не похожи два этих человека. На второе фото смотреть рядом с первым страшно просто-таки... но...

— Вот мы и лечимся, — обрадовался Втупякин. — Вот и хорошо, Байкин. Думаешь, с гражданкой Вдовушкиной не идентифицировали мы тебя?.. Вот ее заявление. Читай... Впрочем, глаза твои слезятся, я сам зачитаю. Вернее, изложу своими словами... Так, мол, и так, хотела бы признать в этом прохиндее Петра своего, но не могу сделать такого ложного показания, хоть исстрадалась в розысках и в смерть мужа не верю... прошу запросить американские и немецкие загсы на предмет проживания его в тех странах после пленения и пропажи без вести... И так далее. Пояснила Вдовушкина, что ее законный муж пьяни в рот сроду не брал, ростом был выше, глаза, уши, губы рядом с твоими не лежали и что лечить таких надо беспощадно, так как жалко смотреть на спивающийся народ, калечащий жезнь жен и детишек...

Тут я на полу в рыданиях забился и пою, хриплю от всей души: «...ты говорила, что не забудешь милых и ласковых встерч... по-о-орой ноч-но-о-ой мы расставались с тобой...»

Колотит меня, разрывает от чувств, а Втупякин с важным видом что-то пишет себе и пишет, на меня внимания никакого не обращает.

Как же, плачу, узнать тут нас и сравнить? Уши мои морозом жизни прибило, как псине шелудивой, бездомной, пообтер я их на сырой земле и на нарах падлючих каталажек... Глаза мои — пара синих глаз, васильки полевые — выцвели ко всем чертям, нагледевшись на войну и мир настоящего, вымыты одинокой слезой и оловянной водя-

рой глаза мои, братцы... Чубчик ты мой ржаной, не забыл я тебя, развевался ты, чубчик, надо лбом высоким и упрямым, всегда был на ветру, ныне же череп мой желт и гол, как горка ледяная, обоссанная невинной пацанвой и жестоким народом... Перебиты, поломаны ноздри, прости ты меня, нос мой расчудесный, что опух ты, засиреневел, заплюгавел, прости... Как же узнать мне щеки мои, Нюшка, когда морщин на них поболее, чем извилин в ленинской голове... А брови? Где вы, мои брови? Нету вас над глазами вообще, не генсек ли изловил их, как птиц, и распростер над зенками своими?.. Батюшки, губы мои розовые, жадные, добрые, веселые губы, до чего же я вас обтрепал об края кружек окаянных, стаканов стеклянных, горлышков зеленых, батюшки, до чего я вас изгунявил, истрескал, злодей, в кровь разбил... Но я это, Нюшка, плачу я, разве может одна душа в такой миг выдать себя за другую, душа не фамилия, ее не поменяешь, ты же не забыла меня, Нюшка, Настенька, Анастасия, двадцать второго июня ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война...

С другой стороны, маршал, нет мне прощения, должен я быть забыт, и явление мое в мир тоже быть забытым должно. Я не умница мировая, а натуральный подлец и кобель окаянный. Нюшка не узнала меня? Правильно. Справедливо. Сам виноват. Нечего было советской власти бздеть. Следовало до смертного часа оставаться Вдовушкиным Петром — сыном кронштадтского врага троцкой сволочи. Все было бы мне воздано за долготерпение, муку души, оторванную ногу, нечеловеческие пертурбации — все...

Леня, друг ты мой фронтовой, что же я наделал? Как теперь кашу эту расхлебать успеть до смерти? Хрен с нею, с геройской звездой, может, останься я самим собой, а не тобою, то и Нюшку искал бы, и она обнаружила бы меня непременно, без страха явился бы я в деревню родную, и все стало бы на свое место, Леня. Да и теперь хоть детишков рожать нам с нею поздно, но и так прожили бы годочков десять, прижамшись к друг дружке на широкой, на взбитой, на чистой постельке. Днем же пошли бы пенсию получать — и в пельменную: «Варька, а ну-ка, стаканов пару. Герой Советского Союза с законной

женою страстно желает двести грамм хлобыстнуть под пельмень с горчицей, под пельмень с маслицем, под пельмень с уксусом, костыль — под стол, палку — по боку, садись, Нюшка, за все заплачено, никто не забыт, ничто не забыто...»

Кстати, маршал, где пельмени? Куда девались наши пельмени из пельменной № 8 «Романтики»? Где пельмени? В Афганистане? На Кубе? В Африке? В космосе? В чем дело, маршал? Где они?.. Пустыня в пельменной нашей. Как с Христом конвоиры, вы с народом нашим в жизни поступили — один лишь уксус в пельменной оставили. Макайте, мол, в него запекшиеся от крови и обид губы. Все равно, скоты, в международном положении ничего не смыслите и не понимаете исторических задач партии — ума, чести и совести нашей эпохи... Может, с Польше сибирские наши пельмени? Нет. Не бастовал бы рабочий класс при наличии от пуза сибирских пельменей в Гданьске, на верфи имени Ленина. До чего же вы, генсеки, маршалы и Втупякин, довели русский народ, если он пельменей запах забыл, но не проявляет благородного недовольства и не то что не бастует, а плетется как миленький на обрыдлие митинги, на фармазонские выборы и мошеннические трудовые вахты. Это же сплошной депрессивный психоз. Шизофрения массовая. Бред страха. Мания возвеличивания паразитов. Анемия. Амнезия. Мания дальнего следования.

Это я нахватался по медицине от Втупякина и диссидентов... Вот Ленин опять бумагу рвет из рук... Ручки шариковые где, думаешь, берем? Нянечки их нам за деньги приносят. А деньги мы где и откуда в дурдоме достаем? Ворует, маршал, потихонечку. Через окошко на веревке простынки вольным, нормальным гражданам спускаем, стулья иногда, аминазин скопленный передаем ленинский. Он прикинул, что недовольных молодых людей много развелось и поэтому надо оглушать их наркотиками любого вида, от хоккея до аминазина включительно... Вчера фикус продали какой-то бабке за два флакона одеколона. День рождения жены Марксовой отгуляли. Портрет твой с орденом Победы, который ты нагло нацепил на себя, не будучи Рокоссовским или Жуковым, тоже мы с удовольствием пропили. Деньги, конечно, не за твою

физиономию были получены, а за раму золоченую с финтифлюшками и бамбетками разными... Краску масляную подтырили, когда ремонт шел. Хватились ее маляры, а мы говорим с Марксом, что вылили ее в сортир, чтобы не излучала вредных для мозгов запахов. Чего с нас возьмешь?.. Портрета же твоего до сих пор не хватились, вроде бы и не было его на стене вовсе... Ну, а уж лампочки мы, где только можно было, повывертывали. На воле-то они вдруг пропали из-за того, что вы там в ЦК экономию решили навести за счет потери народом вечернего освещения. Придет утром Вступякин, спросит: где лампочка сортирная, сволочи? Ленин говорит, что лампочка не сортирная, а Ильича, и он делает с ней, когда она перегорит, что заблагорассудится. Новые вворачивают лампочки, а нам того и надо. Раз идет воровство на всех участках строительства коммунизма, то и мы не в стороне, как говорится, от народа и руководящих работников.

#### Докладная записка комиссии партконтроля № 234/59

Необходимо выжать Хомейни — этого махрового мракобеса и ярого врага коммунизма, вознесшегося на вершину власти на гребне религиозного фанатизма, как губку. Смерти подобно игнорирование Ирана как решающего очага мирового хаоса. Вчера было рано, завтра будет поздно. Выход к берегам Персидского залива с экспроприацией нефтяных богатств у архиразвратнейших шейхов и их наложниц позволит нам наконец взять империализм за горло без риска ядерной конфронтации с США. Мы — коммунисты — просто исторически обязаны закончить глобальнейшую драчку за нефть задолго до перехода человечества на новые виды энергии.

Заигрывайте где только можно, не стесняясь никаких *средств* (курсив мой. — Ульич), с невеждами и хапугами муллами. Сыграв свою историческую роль в интересах мирового коммунизма, они будут убраны нами без лишнего шума со сцены истории и выброшены на свалку вместе с их идейными братьями — попами, раввинами, брахманами и римскими папами.

Передайте привет Кастро-Каддафи. Это глыба. Матерый человечище.

Срочно переведите молодого Карла Маркса в другую палату и спросите у Андропо Феликсовича, кто такая Кшесинская. Не она ли сбежала на поганый Запад вместе с группой работников нашего партийного балета.

Что там слышно с внешней торговлей — этой веревкой, которую мы затащим на горле картелей и трестов? Уберите Маркса, убе...

Опять, маршал, дерутся вожди наши. Ведь Ленин больно часто сигареты из карманов у нас ворует и по тумбочкам роется. Побьют его, а он вопит, что Дзержинский ордер ему выдал бессрочный на обыски и убийство политических провокаторов. Вот Маркс и говорит давеча:

— Если так, то ликвидируйте, герр Ильич, сексота палатного. Никакая он не обезьяна, а стукач втупякинский, лезущий в мозг без мыла и пытающийся разнюхать, где спрятан мой капитал. Типичная насадка. Уважаемые господа диссиденты первыми заметили его обезьяньи нюхательные телодвижения. Полотенце ему в рот — и вся готтская программа.

Обезьяна — на колени перед Марксом, клянется, что не сексотит, хотя Втупякин предлагал ему за такие услуги карточки развратные с голыми бабами, чтобы он онанизмом своим неизлечимым занимался как интеллигентный человек... Не убивайте, товарищи, я до вас желаю доразвиться и быть отпущенным на поруки ма-тушки.

Пощадил его Маркс, от Ленина отбил и велел в другую палату проситься, не то заткнем глотку полотенцем мокрым и скажем, что сожрать его хотел для порчи казенного имущества... Как ветром сексота сдуло после обхода...

И вот новый курс лечения выдумал для меня Втупякин, поскольку не желаю я отказываться от истинного имени... Уколы колет, в горло таблетки силком запихивает, шоками трясет неимоверной силы. Но я мало того что терплю — я таблетки выблевывать наловчился. Проглочу, водой запью, а сам в сортир иду, мыла разведу попенистей, хлорки в него добавлю для отвращения пущего и

ем, давлюсь ужасно, пока не вывернет меня с таблетками вместе. Уже легче. Личность сохраняю в труднейших условиях ее сопротивления советской человеколюбивой психиатрии.

Если бы диссиденты послушали меня, то и они бы держали химическое надругательство над собою. А они говорят: ничего, в дурь немного побросает, а потом с мочой вон выйдет. И вот что получилось.

Приводит нас пятерых Втупякин в зал, похожий на танцевальный, с трибунами, как в цирке. На трибунах молодые люди сидят вперемежку с пожилыми. Кто в форме с синими гбэшными кантами, кто в теннисках и пиджачках. Зашумели смешливо, когда нас ввели с Марксом, Лениным, Гринштейном и Степановым. Рожи у всех такие непотребные, как будто они родственники Втупякина близкие. Весьма сходственные типчики. Блокнотами зашелестели, сволочи паскудные.

А сегодня, дорогие товарищи повышенцы квалификации, произведем наблюдение за двумя группами больных. Одна из них, говорит Втупякин, откормлена нами... хреноколеносоплягопердоширозинокомрадом... прости, маршал, за два дня это слово не выговоришь... вторая же группа пребывает в спонтанно-хроническом течении параноидального синдрома с манией величия и бредом преследования. Вы можете задать вопрос как больному, считающему себя Марксом в молодости и пытающемуся прикинуться невменяемым с целью ухода от суда за хищения в особо опасных размерах, так и больному Худилину, выдающему себя за настоящего Владимира Ильича вот уже много лет после XX съезда нашей партии. В прошлом преподаватель марксизма-ленинизма в Училище акушерства и гинекологии имени Крупской. Затем перейдем на группу, подвергнувшуюся воздействиям эффективных медикаментозов... Прошу...

Ленин, конечно, ручку вперед выбрасывает и вопит: «Есть такая партия». Втупякин на место его отталкивает и говорит, чтоб не лез без очереди. Смех в зале. Хамло ведь на представление сюда собралось со всего СССР, чтоб опыта поднабраться в борьбе с теми, кто не желает

по-скотски глаза закрывать на вранье партийной казнокрадии и антинародных авантюристов. Смех.

— Как к симулирующему Марксу обращаться? — спрашивает один идиот.

— Скажите, больной, — спрашивает из первого ряда баран какой-то, — помните ли вы свое детское младенчество в городе Симбирске?

Ну, Ленина хлебом не корми, но дай обратиться к народу. На стул хотел забраться под хохоток повышенцев. Втупякин с Марксом удержали.

— Тут тебе не броневи́к, — говорит Втупякин. — Режим не нарушай.

Тогда Ленин закладывает ручки под бока, пальчиками барабанит по ребрам, головку наклоняет, ровно воробей, глазки прищуривает и картавит:

— В школе, сиречь в гимназии, батенька, я никому не давал списывать задания. Никому... А когда братик мой Митя оказывался под диваном, я весело кричал ему: «Шагом марш из-под дивана» — и, потирая ручки, смеялся довольный. Если у меня разыгрывался люэс, я оставался дома, читал «Диалектику природы» и «Вопросы ленинизма», а также смотрел в окошко на грязный ад, называемый жизнью... Вот Саша вышел из дому... и пошел другим путем куда-то...

Повышенцы носы и рты зажимают от смеха, ну хватит, шипит Втупякин, а Ленин срывается:

— Товарищи члены «красных бригад». Вы — дрожжи мирового хаоса. Не поддавайтесь на провокации буржуазного гуманизма, апеллирующего к пережиткам ваших чувств. Сочетайте террор против слуг империализма с практикой задержания политических и прочих заложников и шантажом всех полицейских институтов беременной гражданской войной Италии. Ваше мужество принесет плоды всем находящимся в рабстве у империализма. Превратим грязный ад в светлый дворец мирового коммунизма. Вперед, товарищи.

— Хватит, — рывккнул Втупякин, — заткнись, говорят. Теперь другой маньяк ответит на ваши вопросы, товарищи. Давайте без смеха. Мы не в театре.

— Позвольте пару слов в порядке ведения собрания? — не успокаивается Ильич.



— Заткнись, говорят, — не то в карцер пойдешь отсюда.

Присмирел Ленин, на пол сел, вид делает, как на картине, которая в приемном покое висит, как будто на приступочках съезда тезисы свои тискает.

— Скажите, больной, помните ли вы своего друга и как его зовут, вернее, как его звали?

— Я все помню прекрасно, — говорит Маркс, — но если кучка идиотов задумала экзаменовать меня в этих стенах, то я не собираюсь быть подопытной лошадкой. Плевал я на вас, душителю прибавочной стоимости в одной отдельно взятой стране. Когда капитал переходит в грязные лапы патологических убийц и социальных паразитов, мы имеем в наличии такую действительность, которую ни я, ни несчастный Фридрих не могли себе вообразить. Как вы кормите, сволочи, основоположника? Все мясо разворовывается еще на пищеблоке.

— Товарищ Маркс совершенно прав, — брякает Ильич с места.

— Молчать!.. Вот, товарищи, небольшая иллюстрация к протеканию мании у особо тяжело больных. Хотя второй больной находится у нас на подозрении в симуляции. Различные экспертизы не подтвердили этого, но интуиция иногда поважней экспертиз. Есть еще вопросы к больным?

— Они что, считают себя всамделишными Марксо-Лениными, или, так сказать... в эмпиреях эфира? — спросил бледный и весь в прыщиках повышенец.

— Можно мне? — вырвался Ленин. Втупякин с улыбкой кивнул. — Без эфира — этой выдумки поповщины — я перед вами в натуральную величину, товарищи, и пиджак мой хранит запах бальзама и сандаловых масел, присланных мне египетскими товарищами в 1924 году... В мавзолее находится Николай Иванович Ежов... нонсенс... воляпюк, — тут Ленин захныкал, лицо скривил, я ему шепчу: «Будет, успокойся, не то на ларек денег не выдадут». Он и притих.

Повышенцам интересно, конечно, такой цирк наблюдать. Раскраснелись, глаза горят, ровно у детишек, когда некоторые живодееры кошку мучают или собаку хитроумно пытаются.

— Разрешите, товарищ военврач первого ранга, за мороженым сбегать? — спросил один шустряк.

— Беги, валяй... Иди сюда, Байкин.

Подхожу. Не ору, что я Вдовушкин. Пусть думает Втупякин обо мне как о поддающемся лечению и встающем вроде Гегеля на ноги. Втупякин и рассказывает мою историю болезни. Киваю, мол, все правильно. но после вывода, что я маньяк и манию величия Героя Советского Союза имею, не выдерживаю и говорю:

— Если кто из вас раскопает могилу Неизвестного Солдата, то его глазам предстанет картина моей правой ноги, и установить ее принадлежность мне не составит никакого труда, — стараюсь говорить вежливо и умно, как Маркс. — Давайте, несите ее сюда, а потом поглядим, кто из нас прав и кого тут лечить надо.

Хохот. Даже Втупякин закашлялся весело.

— Значит, — говорит, — намекаешь, Байкин, что меня надо лечить?

— Не намекаю, а заявляю с полной ответственностью.

Еще громче хохочут, а меня уже страх пробирает, как расплачиваться мне придется за умные и упрямые речи. Молчал бы, мудило, в тряпочку.

— Какой же ты мне ставишь диагноз?

— Диагноз один у тебя на все века, — говорю ясно и твердо, — говно ты есть смердящее и бесполезное для жизни на земле.

Ну, тут уж весь зал грохнул как по команде, а Втупякин хоть и лыбится, но зыркает на меня зло и многообещающе. И поясняет:

— Лечение больного Байкина проходит последнее время успешно, но вы не забывайте в нашей практике о возможных рецидивах болезни, о вспышках немотивированной агрессии и разнузданного хулиганства.

— Эрго, опасности для общества, — вставляет Ленин.

— Сука, — говорю, вспыхнув, — бригады твои опасны, как гиены, а не я. Шакал. Если б не ты вместе с ними, я бы землю сейчас пахал, а не рожи эти разглядывал. Шакалище.

— Рекомендуется ли, товарищ военврач, мера карательного воздействия по отношению к явно вызывающе-

му поведению больного и хулиганско-антисоветским высказываниям?

— Наша психиатрия против репрессирования больных, но в каждом отдельном случае надо полагаться на интуицию и строгую избирательность мер, варьируя их так, чтобы возбудить участки торможения коры головного мозга больного с целью пресечения деятельности его первой и второй сигнальной системы, включая лишение пользования торговым ларьком, что приносит большой эффект в наших условиях. Больной Байкин прогрессирует как выздоравливающий от посталкогольного психоза, но мы с ним еще поработаем. Мы должны рассматривать каждого больного как помощника врача по болезни и не забывать, что психиатрическая больница — не исправительно-трудовое заведение, где делают упор не на принудительное лечение, а на наказание. Не допускайте рукоприкладства даже по отношению к особо опасным диссидентам с манией правдоискательства и навязывания нам либеральных реформ. Химия дает более высокие результаты отворачиваемости от идеологических мотивов поведения и возмнения себя умом, честью и совестью нашей эпохи с бредом защиты Конституции... Перед вами больной Гринштейн, который кандидат на выписку из больницы... Гринштейн, поди-ка сюда поближе... врач тебя зовет.

Сердце болит глядеть на Гринштейна. Глаза пустые. Лицо отекло. Руки повисли. Губы шлямкают. Втупякин книгу ему под нос подсовывает для опознания — Конституцию новую СССР. Что это, говорит, за книга? Узнаешь? Ты же уверял нас в анамнезе, что ты ее наизусть знаешь...

— Ы-ы-ы, — мычит Гринштейн несчастный, — ы-ы-ы... «Возрождение»... «Малая земля»... «Целина»...

Тут Втупякин бурные аплодисменты срывает, как на съезде партии ты, маршал. Повышенцы мороженое лижут. Цирк у них тут.

— После усиленной блокады центров умственной и идеологической агрессии у больных наступает положительная подавленность, переходящая затем — с помощью общественных организаций и контроля органов — в уравновешенное отношение к старым раздражителям, как-то: политика нашей партии снаружи и внутри, эми-

грация, свобода слова и соблюдение Хельсинки, — поясняет Втупякин.

Затем Степанова демонстрируют. Этот не расплылся вроде Гринштейна, а ссохся, почернел, постарел лет на тридцать, не преувеличиваю.

— Ну-ка, Степанов, расскажи нам — в чем задача советских профсоюзов?.. Дело в том, товарищи психиатры, что Степанов долгое время вел работу среди заводского персонала насчет создания профсоюзного контроля над прибавочной стоимостью и жилищным строительством, страдая с детства манией обличения руководства в злоупотреблениях и так далее. С чужого голоса пел... Как ты, Степанов, теперь понимаешь роль наших профсоюзов?

— Вовремя взносы надо собирать... «Руки прочь от Ирана» кричать, — быстро так и озираясь проговорил Степанов.

— Вот и хорошо, дорогой. Скоро домой пойдешь, — Втупякин говорит.

Снова бурные овации. Но Ленин снова возникает:

— Да здравствует интервенция в Польшу! Положим конец вмешательству рабочих провокаторов в дело строительства польского государства. Защитим интересы братского народа от вмешательства империалистических подголосков, типа Леха Валенсы, в дела партии. Смерть крестьянам-кулакам, мешающим росту колхозного сознания в середняцких массах... Ура-а-а!

Опять хохот общий в зале.

— Руки прочь, — орет Маркс, — от прибавочной стоимости, выродки, оседлавшие вершины власти. Прочь. Привет молодому Марксу. Слава деньгам и товару в продуктовой ларьке. Чего ржете, филистеры поганые?

А смех еще громче в зале. Втупякин постучал ключом от отделения по графину. Марксу что-то сказал на ухо. Ленина одернул. Мне пальцем пригрозил, чтобы самовольно не выступал. но я и сам плевать хотел на эту говорильню... Не до них было...

— На сегодня, товарищи, хватит. Не забудьте о неразглашении впечатлений, а то и так шибко много утечки информации. А ведь мы решением правительства приравнены к почтовому ящику первой категории. Враг пы-

тается поставить себе на службу нашу паранойю, шизофрению и различные мании с депрессивными психозами... Зачеты буду принимать в среду...

Увели нас. И стал меня Втупякин из мстительности доводить химией и шоками до критического к себе самому отношения. Диссидентов же до того довел, что они на свиданке жен своих не узнали. Смотрят на них остолбенело — и не узнают. Только загадочно улыбаются. Это нам с Лениным Маркс рассказывал, когда к нему баба приходила и передачу принесла...

Колет меня Втупякин, таблетками разноцветными пичкает и приговаривает:

— Забывай, Байкин, свой дурацкий синий платочек, поживешь ведь еще на пенсии инвалидной, покостыляешь по парку культуры и отдыха, пивка попьешь с баранками и сухариками черными с солью, я тебе добра желаю, хоть ты и всех ненавидишь, как крокодилов, чертяка безногая...

И начал я постепенно сдаваться духом. Унывать начал. Добились своего, паразиты. Сижу целыми днями в сортире, проклиная себя за то, что с Леней фамилиями махнулся, жизнь Ньюшкину загубил, на муки ожидания ее обрек, будучи живым и сравнительно невредимым, судьбу испоганил, отчество отцовское забыл, пока на митинге не услышал, вот до чего дошел, прохиндей... Мимо пронеслась геройская моя судьба, может, я певцом заделался бы вроде Трошина и басил по радио с «Голубыми огоньками»: «Подмосковные ве-е-ечера...» Мимо. Все мимо... Ужас... Ужас, маршал. Веревку из обивочных шнуров от дивана замастырил. Все, думаю, решено, фронтовой певец, мировая умница, кранты тебе приходят, не выдерживает твоя душа такого переживания нечеловеческого, зарыл ты имя свое в землю сырую, теперь следом туда полезай, никчемность и пьянь разная, жена твоя в километре от тебя расположена, а ты до нее дотянуться не можешь. А если дотянешься, то права она будет, что счет тебе предъявит за холостые годы и ожидания, когда ты баб вдовых обслуживал по графику, дивизию целую безотцовщины наплодил, в книжках такого гада шалавого не встретишь. Нет места среди людей даже в такой пакости, как коммуналка, полная зловердных

змей и гадов... Умри, ешак безродный и бесстыдный гость на земле, прочь уходи, горе бестолковое...

Не могу больше переживать. С ума и взаправду сходить начал. Хватит. Решился с некоторым облегчением принять к себе самые суровые меры. Время выбрал. Умылся с утра первый раз за два месяца. Зубы почистил. Бритву «Спутник» у Втупякина попросил. Щетину заскорузлую сбрил. Поел. Завтрак свой Ленину не отдал. А то отдавал от безразличия к пищеварению и с тоски. Маркс тоже без супчика моего в обед остался. Умереть, рассуждаю, надо всенепременно в форме и после оправки, чтобы все было в этот хоть момент красиво и порядочно. День танкиста, кажется, был. Тебе, маршал, бесстыдник ты все-таки, по телевизору еще одну бриллиантовую брошку навесили жополизы старые. Ах так, думаю. Тут свою кровную Звезду Героя не вызволишь, а ты себе присваиваешь награды погибших маршалов, генералов и солдат? Так? Ухожу из жизни, чтоб только не видеть позорища такого несусветного и такой неслыханной срамотищи, уйду обязательно. Вот День танкиста справим — и уйду, вручай тут сам себе без меня хоть короны царские и сабли наполеоновские. Жаль, думаю, только, что не доживу я до исторического момента, когда тебя с настоящей манией величия положат на мою коечку и Втупякин начнет выбивать из твоей головы мысль насчет твоего значения для народа в войну, в возрождении и в борьбе за мир. Жаль.

Тут Ленин откуда-то выпивку приносит. Муть в бутылке, но чувствуется в ней весьма многообещающая дурь.

— Я, — говорит, — гульнуть сегодня по шалашу с полным разливом желаю. Вот вам спирт, кадетские рожки.

— Где вы достали его, Ульянов Владимыч, — спрашивает молодой Маркс и добавляет: — Греческая философия закончилась бесцветной развязкой.

Так прямо и сказал тоже в большом почему-то унынии. Сели мы за стол. Втупякин, как всегда в праздники, нажраться успел и в процедурной дрыхнет. Ленин разливает муть в кружки и поясняет:

— Я своевременно навел порядок в препараторской. Я выбросил, с согласия политбюро, к чертовой бабушке, на свалку истории заспиртованные мозги Канта, Гегеля,

молодого Маркса и Энгельса. Мы идем, крепко взявшись за руки, дружной кучкой по краю пропасти, и нет у нас головокружения от успехов. Спирт же выпьем мы — творцы историй своих болезней, мы — пегвопгоходцы, товагищи мои по конспигации.

Он иногда, входя в раж, картавить начинал. Маркс не унимается:

— А почему вы не выбросили на ту же свалку мозги Сталина, Хрущева, Буденного, Ворошилова и бровастой жалкой марионетки военно-партийного комплекса?

— Потому что, батенька, мозгов-то у них как газ не геквизиговали по пгичине полного их отсутствия в че-ге-пах,— ответил Ленин и, потирая ручки, засмеялся, довольный...

Шарахнули грамм по сто для начала.

— Умнейшая настоечка, — крикнул Ильич.

— На ваших сифилисных полушариях так бы не настоялась, — подъелдыкивает молодой Маркс.

Диссиденты пить не стали. Они отошли слегка после блокады психики и притихли. С умом начали действовать, в отличие от меня.

Захмелел я от ленинской тошнिलовки, вонь от нее во рту и в брюхе жжение. Подвожу в душе итог безобразной жизни, обросшей ложью. Страшный итог. Спившаяся голова, две праздные руки и неприкаянная одна нога. Протез переломан об башку Втупякина. Верный костыль имеется и палка. Перспектив же нет никаких, кроме втупякинских кулачин и ядов на воле и в дурдоме. Слез и то на сегодня больше нет. Иссяк источник слез.

Последние минутки, понимаю, мне остаются. Обвожу вполне нормальным взглядом действительность. Одно уныние. С Обезьяной — плевать на то, что он сексот-стукач-наседка, — и то веселей было. Прыгает, бывало, с койки на койку, наяривает на ходу свою женилку неутомимой волосатой лапой и орет:

— Мы-мы-мы-мы жи-жи-живем в пер-пер-первой фа-фа-фа-зе-зе коммунистической формации... разведем Крупскую пожи-же-же-же, на всех хватит.

Смех один... А сейчас уныние. Диссиденты письмо на волю очередное химичат. Маркс молодой под хмельком Ленину свою правду втолковывает:

— Чтобы народ развивался свободнее в духовном отношении, он не должен быть больше рабом своих физических потребностей, крепостным своего тела...

— Польским профсоюзам плевать на этот ваш тезис, — говорит Ленин.

— Очень приятно, что наконец профсоюзы соцстран становятся врагом тиранической партии, — вставляет тихо Степанов. Не вытравил из него Втупякин правого дела.

— Над нашим прахом прольются горячие слезы благодарных людей, а мировой капитал всегда шествует одной и той же поступью, — сказал Маркс и вдруг горько-горько зарыдал. — Как я люблю свободу! Ключ, проклятая птица, больную печень Прометея, камни выклевай из нее... Ой вы гой еси, члены Первого интернационала, да вы ударьте того орлика по головке, кликните верных отчужденному труду пролетариев, пушай они блокаду аллохоловую предпримут против птицы-хищника-злодея. Печень моя прометеевская страдает... А вы, усевшееся на Олимпе политбюро, погрязшее в разврате Зевса, вы — развалившиеся на вершине власти чушки с рылами неумытыми — держите орла за ноги, выдерните у него крылья из гузна и оперения, поклонитесь низко прибавочной стоимости, замолите грехи перед нею, и хватит небо штурмовать, толку от этого нету никакого, а Демиург толечки и посмеивается да заносит над нами дубинку возмездия страшного. Ой, что тогда будет, Фридрих ты мой батюшка, Клавдия Шульженко — матушка, что тогда будет, завтрака-обеда-ужина не дадут, шприц полметровый в левую и в правую фракцию влепят, передачку отменяют, на свиданку накажут, априорили мы, априорили, вот и доаприорились, говнюки, до всемерного развития самых ехиднопакостных способностей человека в правительственном аппарате псевдосоциалистических стран и постепенного обогащения рабочего класса под сладким игом капитала... Уберите орла, уберите, всего Прометея отдаю за здоровую печень, дай, Ильич, мозговухи рюмашечку, боль залить несусветную, харкнуть на предысторию моей болезни, частной собственностью занюхать, Фридрих-Федя, друг бестолковый, мать твою ети в диалектику природы, плач мой младомарксовский



услышь — и все начнем сначала, с антикоммунизма святого и с Божеского происхождения семьи и государства, абстрагируясь от обезьяны полностью вплоть до седин моих, выбритых МВД, услышь плач мой титанический, Зевс, засратый до партбилета...

Тоска. Кажется, маршал, нет на земле человека, довольного своим местом в жизни... Я ведь пишу тебе и для того еще, чтобы совесть в тебе проснулась от прочитанного, пока не поздно. Пока не предстал ты перед Всевидящим и не спросил Он тебя:

— Всю, говоришь, отдал ты жизнь в борьбе за счастье советских людей, неуклонно проводя через них твердую линию марксизма-ленинизма, и за это самое побрякушки сам себе навешиваешь на выпяченную грудь? Ну-ка, поглядим, какого ты им счастья подкинул, государь хренов.

И оглянешься ты, и увидишь все, как оно есть, а не как тебе докладывают отдрессированные шестерки. Уши откроешь и услышишь правды народной рыдание, лживости нашей бесстыдной партийной чертовскую хохотищу. Ноздрей воспрянешь — не учуешь, маршал, душка пельменного с уксусом, с маслицем, со сметаной: порохом нынче, серою, полем боя несет, гибелью нашей потягивает поутру от твоего пролетарского интернационализма...

Тыщу раз прав Гринштейн Моисей, что если кухарка начинает руководить государством, то кухаркины дети осатаневают и превращают свою жизнь в рай на земле, а нашу — в ад кухонный здесь же.

Тоска... Вдруг Ильич на стол залазит. Руки вперед и вопит:

— Все на демонстрацию, товарищи!

Диссиденты подушкой в него запустили, я куда подальше послал, а Маркс вышел. Качается, но как бы участвует в демонстрации. Голый разделся, ходит мимо мавзолея, а Ильич с трибуны орет:

— Смело продолжайте дестабилизировать экономику Запада. Ура-а. Обрубим серпом руки покушающихся на социалистические завоевания в Польше. Ура-а. Афганистану — первую пятилетку. Афганцев — в колхозы. Шагом марш из-под дивана. Да здравствуют советские

профсоюзы — школы коммунизма... Сотрем с лица Малой земли Израиль... Повысим производительность труда до неузнаваемости...

Тоска. Маркс окосел совсем, бормочет:

— Деньги-товар-деньги-товар-деньги-товар-деньги. — И при этом «цыганочку» бацает. — Ух... ух... ух...

Ну все, думаю, хватит, Петя, гулять по буфету — что тебе смерть? Есть заварушки пострашней смерти. Смерть все твои узелки развяжет и разрубит. Пора. Воевал ты как фронтовой певец и мировая умница, жил же — как вша в неприличной прическе, чубчик пропилил кучерявый, Ньюшину судьбу, сволочь, разбил, лезь в петлю, солдат, поболтайся слегка между небом и землею, семиамида пропащая, Герой Советского Союза...

Плачу последний, по моим прикидкам, раз. Последние слезки лью горькие и сладкие от прошлого и будущего... Конец моего времени подпирает. Не могу смотреть на действительность. Не могу...

Тут Ильич трясет меня за плечо:

— Товарищ Вдовушкин, исполните-ка нам в честь танкистов, раздавивших польского профсоюзного гада, свою нечеловеческую музыку на слова Кржижановского, буквы Иоганна Федорова.

Выслушал я всю эту белиберду, ровно с того света, и взыграла во мне вдруг солдатская совесть. Есть она у меня, есть, слава богу. Неужели уж вот так, без песни, покинуть мне навсегда это унылое местожительство? Унылая была бы, Петя, ошибка, стратегическое, более того, поражение, жалкий плен в мосластых лапах смерти. Я петь желаю.

Беру расческу, бумажку папиросную прибереженную к ней прилаживаю, вступление делаю и начинаю плоткою своей луженою, помытою алкогольной мутью из-под мозгов Маркса, Энгельса, Канта, Гегеля, Буденного: «...двадцать второго июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война... синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...»

На одной ноге стою, без костыля и палки, потому что успел выкинуть в окно их ввиду ненадобности, пусть мальчишки подберут их и в инвалидов поиграют, память

обо мне на краткий миг побудет безымянная... Долго ли, думаю, до табуретки доскакать и башку непутевую сунуть в петлю? Не долго.

Но вот стою пою и чую, что каким-то чудесным образом я, Петр Вдовушкин, без пяти минут самоубийца, оживаю. Оживаю в себе, как говорит Маркс, когда ему жена пожрать по воскресеньям приносит... Веселею. Не может так быть, чтобы я сам этот жуткий клубок не распутал беспощадно и скромно. Чую, что чего-то не хватает мне для повешения, пренебрегаю смертью, пою-заливаюсь: «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч...»

Помру, но не отступлю, повоюю с Втупякиным, попытка не пытка, елки зеленые, Петя, певец ты мой фронтовой и мировая умница... сколько заветных платочков ровно в четыре часа...

Хлобыстнул еще от радости продолжения жизни полкружки мозговухи ужасной и смотрю — Ленин с Марксом на полу посинели, хрипят, согнулись в три погибели от корчей... Ба-атюшки... отравы.

Диссиденты от письма своего оторвались, пальцы им в горло вставляют, чтоб сблевали, но, видать, крепко мужичков прихватило. Мне же хоть бы хны. Я, как говорится, веселый и хмельной. Даже не мутит. Отрыжка только очень зловредная и ненатуральная, преисподней слегка отдает... А Ленин хрипит:

— Наденька... помираю... политическое завещание... зачитать на «Голубом огоньке»... последний и решительный бой... шагом марш из-под дивана... проклиная...

Скачу в процедурную, тормошу Втупякина. Тот пьяный вдребадан. диссиденты вопят:

— Ленин дуба врезал! Врачей! Маркс загибается!

Снова тормошу Втупякина, а он орет невяменно:

— Не мешай отдыхать, гад, не то вторую ногу из жопы выдерну. Прочь!

Ужас что творится. На помощь никто не приходит. Какая уж тут помощь в День танкиста? Все в свое удовольствие живут. Спирта у санитаров хватает... у Маркса на губах пена желто-зеленая, глаза на лоб от боли лезут. Тут здоровый человек тронулся бы на моем месте. Что делать, спрашиваю Ильича, водой его попоивая. Растерялся я.

— В мавзолей... Ежова прочь... гроб дезинфицировать хлоркой... — продолжает хрипеть Ленин. Сам я вроде не поддаюсь отраве. Зачем ей меня брать, если я сам туда собрался (курсив мой. — П.В.).

— Петя, поди ко мне, — зовет вдруг Маркс. Подхожу и наклоняюсь. — Тебе одному доверяю... больше никому... кончаюсь нелепо... передай во что бы то ни стало жене... весь капитал... под девятой яблонькой слева... в саду у тебя... запомни... не в нашем саду... в тестевом... поклянись надо мной... выполни с честью и эту мою заповедь...

— Клянусь, — говорю, — если жив буду и волен, передать все как есть твоей бабе.

— Хорошо.. кончаюсь... над нашим прахом прольются слезы благодарных людей... Ленин — говно... отравил-таки... их бин глюклих... Петя... призрак коммунизма бродит по палате... Я честно тебе скажу... Балабан я... Состояние имею... от диктатуры спасал... не вышло... хрен с ним... болит...

Тут врач наконец приперся дежурный. Еле на ногах стоит. Маркса почерневшего приказал унести на промывание, а у Ленина пульс пощупал. Простыней его накрыл и говорит:

— Ленин мертв всерьез и надолго. Пусть до утра здесь возлежит. У меня ключей нет от морга. Нечего дрянь жрать всякую

Прикрыли мы Ленина казенной простынкой. Маркса, зашедшегося в крике, на носилках утащили. Над Лениным Степанов, как батюшка, всю ночь остальную молитву читал. А мне уже не до смерти было. Петлю свою самодельную с нехорошим чувством выкинул в форточку. Под окном костыль мой с палкою валяются. Пригодятся ведь еще, а я их, дурак, выкинул, мудрости нет во мне ни на грош.

С историей болезни Марксовой поступил зато свое временно в предчувствии шума и генерального шмона. Тут я был мировым умницей, маршал.

А шум был из-за истории великий. Втупякин просто посерел до прозелени на физиономии, когда хватился. И страдал он нас, выпытывая, где история, и заманивал, и короба гостинцев сулил, только отдали бы обратно, если стырили по неосознанности. Никто из нас не рас-

кололся. Хорошо, что Ленин вовремя дуба врезал. Этот продал бы всех наилучшим образом. Не раз продавал по пустякам, потому что у него, видите ли, от партии нету никогда никаких секретов... Все же я его жалел. Он как-никак первый поверил, что я не Леня, а Петя Вдовушкин, Петр...

Уперлись мы все на одном: нам своих историй болезней хватает. На хрена нам еще чужие? Мы что, сумасшедшие, что ли?

Особенно диссидентов пытал Втупякин. Сгною, говорит, сволочи, всех до конца, сами себя узнавать перестанете в зеркале. В ЦРУ решили переправить или в Израиль? Кроме вас, некому было стырить секретную документацию, а вас в органы передам, манию величия преследования пришью на веки вечные, чтоб Америка вас, психов, к себе не пустила, на Родине, скоты, до гроба загорать будете, век свободы не видать, отдайте, три литра водки принесу... А Гринштейн со Степановым, к большой моей радости, отвечают:

— Ты сам продал, скорей всего, сверхсекрет истории болезни нашего Прометея английской разведке и следы заметаешь. Врачи, солюдавшие клятву Гиппократу как зеницу ока, — они никогда не теряют истории болезней. Сам расхлебывай теперь кашу, а мы жаловаться будем и голодовку объявим за все твои угрозы. Конституцию соблюдай хотя бы, свишня тупая с вымазанным нашим здоровьем пятачком...

Как ни странно, примолк Втупякин. Осунулся. Калечить нас прекратил и вышел из положения очень ловко. Новую историю целую неделю писал ночами с двумя повышенцами. Ведь Маркс выжил в конце концов, но ослеп от мути алкогольной из-под чьих-то мозгов напрочь. И пошел слух по дурдому, что Втупякину жена Маркса взятку дала приличную, типа десяти тыщ новыми, за комиссование мужа. Втупякин созвал консилиум под своим руководством, и решили Маркса освободить на поруки родственников как тихого и слепого безумца. Вот как, маршал, дела свои надо устраивать. Тут я Втупякина не осуждаю. Ему тоже жить как-то надо, не таскать же с кухни помои для поросят в портфеле, как это наловчились санитары поступать ввиду отсутствия мяса на прилавках.

Повеселел Втупякин. Помягчел слегка от самодовольства и наличия крупного капитала. Снова за свою диссертацию, то есть за меня, принялся. Я и делаю тогда резкое заявление:

— Ты хоть и Втупякин, но не мировой умница, и тебе меня не перегнуть ни шоками, ни химией, раз я уцелел от смертельной мути из-под чужих мозгов. только свет померачился в глазах. Раскроется рано или поздно, что я Вдовушкин Петр, Герой Советского Союза, фронтовой певец, ныне калека, страдающий за свое же раскаяние души и лукавые помыслы ума. И ты погоришь тогда со всеми потрохами, ибо тебе генералы и маршалы не простят глумления над памятью страшной битвы и страдания народа. Не перегнуть тебе меня все равно, если я не то что совсем, как Маркс, не ослеп, но и не подох, как Ленин. Говорю так смело, потому что желаю сделать основное заявление для новейшего доказательства натуральности своей личности и ничего не боюсь. Слушай и передай дальше: в целях спасения личного состава дивизии от безумных приказов комиссара, гнавшего всех на верную и бесполезную смерть, я выстрелил в него из боевой винтовки — номер ее забыл, виноват — и сэкономил сотни солдатских жизней, прорвавших затем окружение, отстояв честь Родины и жизнь на земле как таковую... Что скажешь?

— Фамилию комиссара помнишь, Байкин?

— Во-первых, — отвечаю вежливо, — не Байкин, а Вдовушкин, а во-вторых, фамилия комиссара была Втупякин, хорошо помню.

— Очень интересно, — обрадовался Втупякин. — Умница. Ты у нас прямо гений паранойи, большую задачу помогаешь мне разрешить и кое-что повернуть по-новому. Спасибо тебе.

— Стараемся, — говорю, — как можем. Правда — она всегда концы с концами свяжет, — смутился я, как человек прямодушный, от втупякинской похвалы, не дошла до меня его радость.

— А теперь поясни: какую ты цель преследуешь таким решительным признанием?

— Хочу, — говорю, — предстать перед любым судом во имя правды всей этой истории. Доказать желаю, что это

я, а Леня — это Леня, мой друг, и что нога моя правая закопана вместе с ним. Почему он должен числиться неизвестным по моей вине и оттого, что на месте нашей законной могилы Втупякин дачу выстроил для своего паразитского семейства?

— Кто построил дачу? Повтори, пожалуйста.

— Втупякин, — повторяю. — Секретарь обкома тогдашний. Теперь в ЦК небось перекочевал.

— Очень хорошо. Конфетка у нас с тобой получается, а не картина заболевания. Ну, а дальше что, Вдовушкин?

Веришь, маршал, вновь заплакал я, услышав от Втупякина родную фамилию. Прошибаю все ж таки стену эту толщенную, непрошибаемую вроде бы.

— Дальше, — говорю, — могут отобрать у меня героизм за ликвидацию комиссара. По уставу не положено было убивать его в бою. Готов держать ответ за это недоразумение. Я не ради «Золотой Звезды» стараюсь, не за побрякушку борюсь. Желаю перед женой предстать таким, каков я есть, на очной ставке. Суда не желаю. Убедительно об этом прошу. Враз меня Нюшка признает родным супругом. Надо только нашатыря припасти на случай кондрашки. У баб от таких дел ноженьки подгибаются и дух пропадает... Тут и конец твоей диссертации, доктором станешь, пивка попьем на хоккее.

Ручки потирает Втупякин и смеется, довольный:

— Занятно. Комиссара никакого ты, конечно, Байкин, не убивал. Это у тебя бешеная ненависть к партии и правительству, остроумно под болезнь замаскированная. Ведь ненавидишь ты их вполне разумно? Не бойся говорить, под следствие ты с этим диагнозом все равно не попадешь. Ненавидишь?

— Разумеется, — говорю откровенно, — любви мне к ним питать нечего ни за свою судьбу и жизнеустройство, ни за распорядительство хозяйством, снабжением и прочей народной жизнью. Не за что мне их любить, но и я от них к себе лично любви не требую. Не унижусь, хоть и дошел я до последней жалкости и распиздяйства, извини за выражение. Я лишь прошу по закону раскаяния не затыкать мне в глотку правду моей судьбы и ложь заблуждения. Раз ты есть государство, то восстанови право гражданина на обретение похоронного имени, а про-

жить я без твоей ласки и заботы проживу, в гардеробе театра устроюсь пальто подавать и с биноклей гривенники сшибать. Так что вот.

— За откровенность лишнюю котлету велю дать тебе сегодня, — говорит Втупякин. — Ну, а скажи со всей откровенностью: настроений и мыслей ты у Степанова с Принштейном нахватался? Ихнюю музыку повторяешь.

— Они, — говорю, — сопли еще глотали, когда я горя помыкал из-за фамилии и колхозной отвратительности, для крестьянина почти невыносимой. Я и сам поучить могу десяток диссидентов настроениям и мыслям. Так что давай бери ближе к очной ставке с моей женой, а то я Сахарову письмо накаताю.

— Сахарова ты скоро на психодроме увидишь. Там и потолкуете о бесшабашных претензиях к нашей Родине... Добьюсь, чтоб перевели его к нам из Горького... А насчет Ньюшки так называемой... Устроим вам очную ставку по линии научного эксперимента. Отчего не устроить? Ты ведь в руках советской психиатрии, а не зарубежной. Женщина сама просит повидать тебя. Смutil ты хамством жену героя. Ради нее на это иду. А если расскажешь, кто стырил историю Карла Маркса, я тебя раньше времени выпишу и в санаторий помещу хороший. Укол могу сделать, чтобы желание половое в тебе проснулось. По рукам?

— Насчет желания — не бойсь. Проснется, когда надо будет, не проспит... Болезнь же, то есть историю, Ленин сжевал. Странички вырывал, на кусочки мельчил и ту самую муть мозговую ими закусывал. Глотал, пока не помер. Унес с собой, как говорится, в могилу всю историю. Такие дела.

— Ну иди, скотина. Чтоб через два дня бритый был, не вонючий от мочи и не оборванный. Штанину подверни поизящней и культу свою не демонстрируй. На ставке, при эксперименте, не вздумай беситься. Я тебе потом так побешусь, что дерьмо собственное за конфету «Мишка на Севере» примешь, выть две недели под сеткой будешь и железо кровати кусать. Понял?

Я — в слезы от безумной надежды. Снова открылся от радости ихний источник.



— Спасибо, — говорю, — доктор... спасибо... век не забуду... спасибо... все ж таки какой ты ни на есть злодей ученый, а русская в тебе под халатом теплится душа... спасибо...

— Души нету в нас, дурак. Есть лишь душевные болезни ума, — говорит Втупякни без бешенства обычного.

Отковылял я в палату вприпрыжку, рыдая от счастья. Близок мой день, близок. Ничего я не боюсь. Сгорю от стыда, вины и позора, но возрожусь. Непременно возрожусь, за убийство комиссара готов срок отволочь, хотя и не жалею, что убрал его с поля боя, самоубийцу очумелого и погонял казенного, прости, Господи, Грех вынужденный, ради солдатских жизней и победы принял я его на душу, прости... Свет ведь засиял в мрачной пещере моего последнего времени. Есть для чего и для кого жить тебе, Петя, сын Родины и, как говорится, враг народа... Много света, маршал, просто глаза режет, невмочь, ничего не вижу, руками ощупываю себя, койку, диссидентов обоих и еще какого-то нового мужчину в палате, а в глазах лишь свет с искорками, ровно в кино или по телеку, — застлало глаза.

— Это у тебя, Петя, от ленинской бормотухи слепота пошла. Взяла наконец. Не нервничай. Ты мужик дюжий. Терпи. Может, еще прозреешь. Так бывает.

Степанов так меня успокаивал, а новый мужчина руку мою взял и целует с ласковыми словами:

— И не сумлевайся, подпиши наряд на три скрепера, а мы тебе железа листового подкинем и шарфов мохеровых три кило. Уважь, Данилыч.

— Уважу, — говорю, — милый, уважу, не бери себе душу говном всяким. Что нам стоит дом построить? Лишь бы по праздникам на работу не гоняли.

Отвлекла меня на чуток от своих мытарств чужая беда. Даже полегче стало, да и новый сосед привязался ко мне, за какого-то министра принимает важного, который наряды на бульдозеры в Москве подписывает. Чиркаю на бумажках подпись — Вдовушкин. Не глядя чиркаю. Вспомнила руку, как буквы по трудодням выводила и протоколы допросов подписывала в НКВД... В сортир меня водят люди по очереди и на прогулку. А я не переставая терзаю себя: вот тебе и ход судьбы

тухлым конем, Петр Вдовушкин, фамилия твоя больно печальная.

Затих во тьме уныния. Неужели за комиссара выпало мне такое наказание? Больше не за что. Остальное я себе только поднаваливал, себя казнил и подводил к подмонастырь. Больше я никого не обижал. Баб жалел. Сам голодал, а Машке последний кусок подкидывал... Или за врачуху карает меня Господь?.. Может, если б не холодный тот разговор с презрением и обидой, не равнодушные мое к любящей твари женского рода — и осталась бы в живых она, разродившись ребеночком?.. Кто знает?.. В темноте видней вроде бы становится отдаленная жизнь, маршал, и ничто не мешает разобраться в ее непоправимостях... Затих я. Не было в моей жизни беднее минут, часов и дней. Порешил бы себя, если бы не свидание.

А Втупякин изгаляется:

— Поделом тебе, пьянь, не будешь гадость казенную глотать. Как же ты теперь жену свою опознаешь? Поцупать пожелаешь? Пропил зыркалки?

Умираю от этих слов, умираю, не могу...

— Мы напишем жалобу генеральному прокурору, — заступился за меня Гринштейн. — Это садистическое издевательство над инвалидом и глубоко несчастным человеком.

— Да, да, именно — глубоко несчастным человеком, — заявляю.

— Лечить не нас надо, а таких уродов племени людского, как вы, — кричит Степанов, а новенький мужчина об стену лбом забился и повторяет нервно:

— Дайте нам бульдозеры... дайте нам олифы... дайте нам джема клубничного...

— Так, значит, — говорит Втупякин, — опять забунтовали? Подновим блокаду.

Крикнул санитаров, паскудник. Вяжут, чую, диссидентов со строительным человеком, рты им заткнули, мычат они невыносимо, к койкам ремнями пришвартованы. Меня в этот раз в покое оставили. Без глаз я, без ноги, без костыля и палки — полный калека. Язык бы еще отнялся, думаю, к чертовой матери — и совсем был бы как статуя в парке, пацанами оболваненная...

Но, с другой стороны, в темени сплошной как бы отдыхаю я от долгой неправильной жизни, в память ухожу все глубже и глубже, назад, так сказать, покатился, ровно обрубок войны на тележке с колесиками с асфальтовой горки... Мамашку и папашку только вспомнить не смог, потому что кутенком еще слепым был, когда ваша зловонная власть разлучила их со мною жестоко и по очереди... Бабка Анфиса... деревушка... рыбалка... телок в сенцах зимних теплым и кислым дышит мне в нос... пауков в летнем сене ловлю, косиножек... ноги им отрываю и гогочем... каково пауку без ног, Петя, понял теперь? Вот она — гармонь моя с малиновыми колокольчиками... волна в руках, а не инструмент... ты сыграй страдания, Петя... Нюшка это просит голосом своим небезразличным к чубчику моему... Господи... жизнь ведь была у меня, несмотря на втупякинскую власть... была, потому что сильнее она Втупякина, и будет жизнь — если не для меня, то для других женщин и мужчин, сколько бы ни отвлекал от нее Втупякин горловыми, натужными зазывами вперед — в пропасть зловещую... по краю пропасти дружной кучкой идут, крепко взявшись за руки, Ленин с дружками безумными.

Как бы, думаю, остановить их вежливо и обратиться к другому, менее рискованному для людей делу?.. И как же скончавшийся от мути Ленин мог заглядывать в пропасть, если он высоты терпеть не мог?..

Ковыляю, прыгаю от койки к койке, водицы подношу братишкам привязанным, кляпы изо ртов вынул им, успокаиваю, ухаживаю, одним словом, слепой, но вольный сравнительно человек... Два дня продержали бедняг в путах с замками...

Еще одного нового привели, вместо Маркса очевидно. Священник, как понял я из разговоров. Голос мягкий, веселый и спокойный поразительно. Как в палате дома отдыха после обеда, когда размор забирает полдневный. Дайте, говорит, мне лист бумаги, и я с карандашом в руке докажу вам как дважды два, что в Патриархию проник КГБ с погонами под рясами. Православные люди всей планеты обязаны изгнать сатанинское отродье из лона святой апостольской Церкви. Как можно считать безумцами тех, кто лишь указывает на очевидные факты и ра-

зумеет их смысл? Молюсь за исцеление гонителей и лжесвидетелей...

Степанов заспорил с ним:

— От Бога советская власть или нет?

— Не мучьте меня, голубчики, — тихо и весело взмолился бедный, — сомневаться и я в этом изволяю — грешен. Должно быть, приятная душе власть — нам в утеху, поганая же советская — в наказание, в испытание. Сказано: всякая власть от Бога. Но если кто полагает, что он ни в чем не повинен, а терпит измывательство и удушение сердечных стремлений с покушением властей на дар Божий — на Свободу, то я дерзну сказать следующее, открыв вам свои сокровенные уразумения. Если выпало нам счастье и радость унаследовать жизнь, то как же, унаследовав ее, оставить себе в долю лишь сладкие милости, а накопленные за долгие грешные века неприятности отделить от судьбы частной и общих судеб? Не отделишь, сколько бы ни рыпался, милоч. Принимай сладость с горечью, свободу с неволей, свет со тьмою... — примолк батюшка, и понимаю, что на меня он в данный момент глядит с испутом и сожалением.

— Мне, — говорю, — не горько от ваших слов, а наоборот... светло.

— Помоги тебе Господь, милоч. Я вот помолюсь за твое исцеление.

— Спасибо, батюшка. Исповедуй меня до обеда. Давно не исповедовался... А таблетки выблевывай обратно. Я тебя научу. Лучше тело вывернуть наизнанку, чем душу и имя.

— Хороший совет. Непременно выблюю. Не поддамся адской отраве.

— Нет, отец Николай, — вдруг после рассудительного молчания говорит Гринштейн, — советская власть — не власть вовсе. Вот в чем дело. Она вырождок идеи власти. Произвол она гнусный морального, бескультурного, безликого отребья, присосавшегося к нашим душам и шеям. Вот и все.

Тут Втупякни заявился.

— Ну, — говорит, — приготовляйся, Байкин. Завтра randevu я тебе устрою, чтобы от мании ты избавился и остаток слепых дней провел в престарелом доме. Хам-

ства не позволяй. Вдова всю жизнь, можно сказать, на ожидание мужа ухлопала, а ты хамишь при вручении ей наград законного героя. Если бы не диссертация, ни за что не устроил бы такого дела. Понял?

— А ты, милоч, сообрази на одну лишь секундочку, всего лишь на одну-единую, что сосед наш не ошибается, но правду сущую открывает, — говорит батюшка. — Разве в науке отменен метод предположения, каким бы парадоксальным он ни казался смущенному разуму?

— Умничаешь, Дудкин. Если я как советский врач-психиатр предположу такое, то всех вас надо шугануть отсюда, а меня заключить на ваше место для принятия курса активного вмешательства в пораженную безумием психику. Фрейдизм пушай предполагает. Мы же — медицинские большевики — и впредь намерены исключительно утверждать.

Все трое почему-то в смехе закатились безудержным над Втупякиным.

— Посмейтесь, посмейтесь. Завтра я вас приторможу слегка. Поплачете, — говорит Втупякин и снова в какие-то рассуждения о здоровом смысле пускается.

Не прислушиваюсь. Уходит душа моя в единственную пятку от безумного страха и еще более безумного восторга... Ты действительно представь и себя, маршал, в моей страдающей шкуре хоть на минуточку, если способен еще представлять что-нибудь, кроме премий, бриллиантов и сабелек... Лежу, ослабший от искреннего нежелания принимать пищу... Лежу, молодость свою припоминаю и как задышался от одной только мысли о Нюшке... жена моя, Настенька, Анастасия, что же с нами обоими наделал, подлец... и тьма в глазах, лишь слезы тьму подчеркивают, ровно звезды июньскою ночью в четыре часа... Киев бомбили, нам объявили, что началась война... чем же занимался я, когда ты, ни за грош пропадая, баба красивая и молодая, Петра своего, любимого больше жизни... ты говорила, что не забудешь... ждала, Господи, прости, вот она, кара Небесная, за все грехи мои пришла, сил нету выносить, порazi меня, Господи. Убей или исцели хотя бы частично... как же не учуял я Нюшкиной жизни, чудом спасенной... с целым колхозом спал, пацанвы наплодил видимо-невидимо, все голубоглазые,

кровь с молоком и щеки красные, теперь уж сами небось в отцах ходят, отчего же не с тобой я их прижил, ешак блудливый...

Лежу на койке дурдомовской, мечтаю во тьме, как все у нас с Нюшкой могло быть иначе, красивей и со счастьем, спирт проклиная ленинский из-под чужих мозгов умалишенных, загубил он фронтового певца. Пули не взяли человека, осколки не взяли, Бог его миловал чрезвычайно, и ангел-хранитель берег, а Ленин доконал-таки, проказа... Зачем такому человеку жить? Смотреть на него страшно, сам же он никого и ничего уже не видит. Тьма... Однако самоубиваться не рассчитываю почему-то. Достичь жажду бережка правды, а там авось во благо какое-нибудь по новой вынесет...

Побрили меня диссиденты. Приодели. Ободрили. Ни в ком сомнения нет, что случай мой натуральный, а не мания преследования величия. Батюшка молитву вознес за меня:

— Господи, прости рабу Твоему, Петру, тяжкий грех лжи, убийства и подобоострастия с пребыванием в чужой личине, не ведал, дурак, что творил, прости и помоги, Отче наш...

— Ну, пошли, — говорит Втупякин, — хамить, повторяю, не вздумай, пощупать не стремись. Она сама не слепая. Не ошибется.

— Это верно, — говорю, — я ведь узнал ее, и она должна не промахнуться, что с того, что много очень лет прошло.

Костыль сует мне новый Втупякин. Выкинутый мальчишки утащили для игр военных. Разорилось родное правительство на костыль инвалиду, калеке войны, на палку, видать, не хватило, все на космос ушло... Ладно...

Идем куда-то по коридорам. Прихожую дурдомовскую миновали... Налево. Направо... Дышу с трудом... На костыле обвисаю... Сил нет ни в ноге, ни в сердце... Тьма... Зуб на зуб не попадал бы, если б таковые имелись...

— Ну, садись, Байкин, и сиди спокойно. Воды вот пей. — Втупякин это сказал. К стулу меня подтолкнул.

Сел я. Водички попил. Валерьянка в ней была. Сижую. Жду. Сейчас, думаю, Нюшку введут, по шагам узнаю ее, помню, как летала по хате — половица не скрипнет,

только ветерком тебя обдаст... Дождались свиданки. Какой я ни на есть развалюха, а все же живой человек, не мертвый, вроде Лени и Ленина... Простишь ли ты мне, жена, тех бабенок колхозных, несчастных вдов и горячих во вдовьей безысходности существ? Простишь ли грех, обрекший двух родимых людей на вечную почти разлуку?

— Кто тебя мерзостью этой напоил? — спрашивает с интересом Втупякин.

— Ленин, — отвечаю с охотой поговорить, потому что невмочь молчать в ожидании свиданки.

— Одни пили или еще кто с вами был?

— Маркс еще молодой был, но не надо меня Байкиным называть при жене. Не называй больше.

— Не он это. Не он, — сквозь слезы выкрикнула вдруг женщина в помещении этом. — Ни ростом, ни лицом, ни фигурой не вышел... Уведите вы его, несчастного больного человека, ради бога. Сил моих нету.

— Хорошо присмотрелись, Анастасия Константиновна? — спрашивает Втупякин, а я ушами продолжаю хлопать.

— Чего уж тут смотреть... горе одно...

— Слышал, Байкин?

Я-то слышал, но не признаю Ньюшкиного голоса за давностью в тридцать с лишним годочков. С мыслями собираюсь ошалелыми. Если б не химия, я бы быстрее рапорядился, не припоздал бы тогда.

— Господи. На что только в жизни не насмотришься, — говорит напротив меня женщина, и волнение такое вдруг потрясло сердце оттого, что ее это голос, ее, что сорвался я с места ей навстречу, но санитарские и втупякинские чугунные руки пригвоздили меня к месту.

— Ньюшка, — ору, — Ньюшка! — Но издаю, маршал, к ужасу совему, мычание, коровье мычание и ничего больше, как на поле боя после контузии и еще пару раз после белых горячек.

— Не мучьте его... уведите Христа ради... если нету у него никого, вот... денег возьмите на всякую прибавку...

— Ньюшка, помнишь, как сказал я тебе, чтоб подумала выходить за сынка расстрелянного? Помнишь? — говорю это и еще что-то из знакомого нам обоим, губами ше-

велю с выражением, но мычание лишь безнадежное вырывается изо рта моего, напрягшегося до предела.

— Ну, пошли, Байкин, пошли, будет, успокойся, — подталкивает меня Втупякин.

— Помнишь, Ньюшенька, заглашник я тебе оставил — три монетки золотые, царские червонцы? — ору и понимаю, что мычу я, мычу и мычу, не могу остановиться. — Я Петька твой. Петька. Признай меня. Прогони их из комнаты... я тебе ночь нашу первую от души припомню... не уходи только... только не уходи навсегда...

— Да уведите вы, наконец, человека. Что вы мучаете его? — вскрикнула моя жена, я рванулся к ней снова, но тут подхватили меня под руки и поволокли прочь, рот затыкают, как всегда в таких случаях, чтоб не мычал. Укол какой-то прямо на ходу воткнули, гадюки, бьюсь у них в руках, вырываюсь, потом провалился в невменяемость...

...Сижу потом в курилке, курю и думаю с терзанием: как это я не учуял, что сидела она в комнате, когда мы явились туда с Втупякиным? Как же я дал маху такого непростительного? А все сослепу. Глаза не видят — значит, никого как бы и нет рядом... С неделю лежал я в отключке, пока не очухался... Прозреть начал постепенно, но радости от этого не чую никакой. Зачем мне все это дело с жизнью на земле?

— Только, Петя, в уныние не впадай, — увещевает ласково батюшка. — Все наладится у тебя. Терпи. Выйти отсюда — твоя задача. А там через слово образуются так или иначе ваши отношения. Ты уж немало бесов одолел, от дури ленинской спасся, неужто теперь сдашься на милость сатаны? Обводи змея вокруг пальца. Мы, Петя, живучими должны быть непобедимо до самого конца, за пределом сил нас самих попросят сложить руки на груди и глаза прикрыть упрямые, не беспокойся, милоч.

— Дело, — отвечаю, — говоришь, батюшка. Будь потвоему. Но сам ты ни в коем случае химичку не глотай, не то превратят... Вот диссиденты, послушались бы меня с самого начала — и не продемонстрировали бы со сцены тупость личности перед повышенцами... Хорошо еще, что вовремя спохватились. Тут главное — идиотом вылежившимся придуриваться, а быть себе на уме. Теперь



я и поведу такую политику отступления перед хитрым маневром, я ведь, как ни говори, дивизию целую спас и дух победы внушил унылым вооруженным силам. Крестьянским умом ворочать надо, а не комиссарским... Хорошо как, братишки по несчастью, видеть ваши мужественные лица... спасибо вам... после Лени и Машки с врачихой не было у меня в жизни верных друзей...

— Слушай, Байкин, — говорит Втупякин, — ежели ты лечению не поддашься, то сгниешь в дурдомах как социально-опасный урод общества. Выбей усилием воли, наподобие Николая Островского, дурь из головы. Прими помощь химии и советской медицины. Партия зрение тебе вернула, подлецу, хотя и не следовало бы таким, как ты, возвращать некоторых органов чувств. Я из-за тебя диссертацию с хорошим концом никак не защищу.

— Спасибо, — говорю, — доктор, полегчало мне после свиданки значительно. Перестаю быть неизлечимым животным, распад личности преодолеваю. Никакого комиссара я на войне не убивал. Проклинаю алкоголическое прошлое своей заклиненной жизни... контужен, одним словом, спасибо...

Подозрительно глянул на меня Втупякин, но рад. По два часа, бывает, в кабинете держит, расспрашивает, анализы проводит, фотографирует, ручки потирает, довольный, а я смеюсь про себя, прикидывая, что будет с втупякинской харей, когда выпишут меня, и найду я Нюшку, и никуда она не денется от признания своего мужа... Приедем мы в дурдом, вызовем в приемный покой Втупякина, а на груди у меня — геройская звездочка безо всякого ордена Ленина. Этот орден мне не нужен. Я из него сделаю зуб золотой. И скажу я Втупякину так:

— Лишать тебя докторской диссертации мы не желаем, потому что, кроме нее, у тебя, свиньи, ничего нету за душою. Жаловаться не собираюсь. Некому жаловаться. Такие же мерзавцы тупые окружают нас, как ты сам, и нечего зависеть от них нашему достоинству и жизнелюбию. И вылечить мы вас не можем, ибо не такие самоуверенные коновалы, как вы. Убивать тебя я больше не собираюсь. Живи, гад. Мы же подождем, у нас времени много, пока не изведетесь вы сами, вроде динозавров, несовместимых с дальнейшим проживанием на земле и с

продолжением рода чеолвеческого... Живи, но пусть тебя смущает содеянное, так чтобы пришел к смертной минуте без покоя в душе. Это и будет казнью твоею, которую, даже если очень того пожелаешь, никак уже не отворишь. Живи...

— Когда выпишут тебя, — говорит Втупякин, — каждую неделю являться будешь за лекарствами. Без них ты долго не протянешь. А водки не пей. Не то укол сделаем, от которого алкоголики помирают прямо под столом. Иди в палату. Забывай все, чего ты от врагов общества наслушался, и не вздумай разглашать.

— Не собираюсь, — говорю, — и без меня все известно.

— Умничай поменьше. Видишь, до чего умничанье доводит таких, как Гринштейн, Степанов, поп Дудкин и Маркс с Лениным? Иди и вели всем на просмотр хроники иди, чувства реальности набираться...

И что, ты думаешь, показывают нам, маршал? Тебя нам показывают в Красном уголке. Всего вроде бы успел нахапать, но золотой медали Карла Маркса тебе не хватило, спать, наверно, не мог спокойно без нее.

Ну и поохотали мы все, ровно Чарли Чаплина нам показывали, когда начальник Академии наук вылез и такую выразил похвалу:

— Это высшая награда... присуждена вам — выдающемуся деятелю мирового коммунистического и рабочего движения, за ваш исключительно большой вклад в развитие теории и практики марксизма-ленинизма в условиях современности.

Не сговариваясь, грохнул весь Красный уголок вместе с санитарями и врачами. Чего уж они не удержались, не знаю. смеху трудно сопротивляться, маршал. Ты ведь и сам небось домой причапал после обмыва медали за научную разработку актуальных проблем развитого социализма и с бабой своей обхохотался над перепуганными до смерти и потери лица академиками, над выжившими из ума жополизами и вряями. Ты же лучше их знаешь, что ты за теоретик и грамотей.

Как простому человеку не задуматься над всем этим киноцирком, если здоровых держат в дурдоме, а на воле такое сумасшествие происходит с вашей общей манией

величия и преследования, что только хохотать остается, тем более что Чарли Чаплин, говорят, умер, а смешного с каждым днем становится меньше и меньше.

И брось ты это дело, маршал, пока не поздно.

Выгнал нас из Красного уголка Втупякин, к телевизору не велел подпускать целую неделю в наказание за откровенный смех. На врачей и санитаров наорал, злодей со стажем.

Вот и кончается история болезни молодого Маркса. Последняя остается страничка, маршал, которую употребляю на просьбу о прочих невинных и здоровых людях, заточенных в наш дурдом и другие психушки.

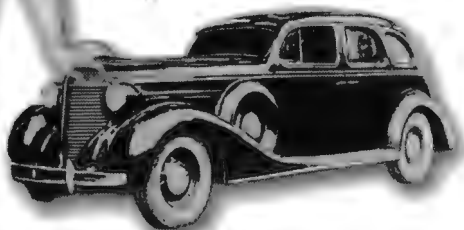
Сними со всех постов и отовсюду Втупякина. Без этого овсем нам — людям и Родине нашей России — выпадет неслыханна беда... двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили нам объявили что началась война порой ночной мы расставались с тобой синенький скромный платочек падал с опущенных плеч ты говорила что не забудешь тихих и ласковых встреч... плачу, маршал, плачу и слезы свои, кляксочки фиолетовые, кружочками дрожащими обвожу...

Новая Англия  
1980

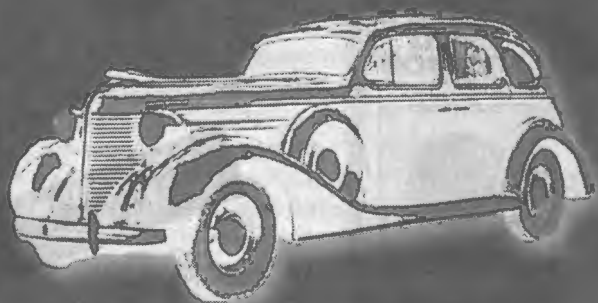
# Чесни, СТИХИ, строки

Рок — батюшка,  
судьба — матушка.

Хавайте воздух, девушка!



...слишком много тел  
на душу населения.





# Песни

## ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ

На просторах родины чудесной,  
Закаляясь в битвах и труде,  
Мы сложили радостную песню  
О великом друге и вожде.

*В. Лебедев-Кумач*

Товарищ Сталин, вы большой ученый —  
в языкознание знаете вы толк,  
а я простой советский заключенный,  
и мне товарищ — серый брянский волк.

За что сижу, поистине не знаю,  
но прокуроры, видимо, правы,  
сижу я нынче в Туруханском крае,  
где при царе бывали в ссылке вы.

В чужих грехах мы с ходу сознавались,  
этапом шли навстречу злой судьбе,  
но верили вам так, товарищ Сталин,  
как, может быть, не верили себе.

И вот сижу я в Туруханском крае,  
здесь конвоиры, словно псы, грубы,  
я это все, конечно, понимаю  
как обострение классовой борьбы.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,  
а мы в тайге с утра и до утра,  
вот здесь из искры разводили пламя —  
спасибо вам, я греюсь у костра.

Вам тяжелей, вы обо всех на свете  
заботитесь в ночной тоскливый час,  
шагаете в кремлевском кабинете,  
дымите трубкой, не смыкая глаз.

И мы нелегкий крест несем задаром  
морозом дымным и в тоске дождей,  
мы, как деревья, валимся на нары,  
не ведая бессонницы вождей.

Вы снитесь нам, когда в партийной кепке  
и в кителе идете на парад...  
Мы рубим лес по-сталински, а щепки —  
а щепки во все стороны летят.

Вчера мы хоронили двух марксистов,  
тела одели ярким кумачом,  
один из них был правым уклонистом,  
другой, как оказалось, ни при чем.

Он перед тем, как навсегда скончаться,  
вам завещал последние слова —  
велел в евонном деле разобраться  
и тихо вскрикнул: «Сталин — голова!»

Дымите тыщу лет, товарищ Сталин!  
И пусть в тайге придется сдохнуть мне,  
я верю: будет чугуна и стали  
на душу населения вполне.

1959





## СЕМЕЕЧКА

Это было давно.  
Мы еще не толпились в ОВИРе  
и на КПСС не надвигался пиздец.  
А в Кремле, в однокомнатной  
скромной квартире,  
со Светланой в куклы играл  
самый добрый на свете отец.

Но внезапно она,  
до усов дотянувшись ручонкой,  
тихо дернула их —  
и на коврик упали усы.  
Даже трудно сказать,  
что творилось в душе у девчонки,  
а папаня безусый был нелеп,  
как без стрелок часы.

И сказала Светлана,  
с большим удивлением глядя:  
«Ты не папа — ты вредитель, шпион и фашист».  
И чужой, нехороший,  
от страха трясущийся дядя  
откровенно признался:  
«Я секретный народный артист».

Горько плакал ребенок,  
прижавшись к груди оборотня,  
и несчастнее их  
больше не было в мире людей,



не отец и не друг, не учитель,  
не Ленин сегодня  
На коленках взмолился:  
«Не губите жену и детей!»

Но крутилась под ковриком  
магнитофонная лента,  
а с усами на коврик  
серый котенок играл.  
«Не губите, Светлана!» —  
воскликнув с японским акцентом,  
дядя с Васькой в троцкистов  
пошел поиграть и... пропал.

В тот же час в темной спальне  
от ревности белый  
симпатичный грузин  
демонстрировал ндрав.  
Из-за пазухи вынул  
вороненый наган «парабеллум»  
и без всякого-якова  
в маму Светланы — пиф-паф.

А умелец Лейбович,  
из Малого театра гример,  
возле Сретенки где-то  
«случайно» попал под мотор.

В лагерях проводили  
мы детство счастливое наше,  
ну а ихнего детства  
отродясь не бывало хуже.  
Васька пил на троих  
с двойниками родного папаши,  
а Светлана меня-я-я...  
как перчатки меняла мужей.

Васька срок отволол,  
снят с могилки казанской пропеллер,  
чтоб она за бутор отвалить не могла,

а Светлану везет  
на бордовом «Роллс-Ройсе» Рокфеллер  
по шикарным шоссе  
на рысях на большие дела.

Жемчуга на нее  
надевали нечистые лапы,  
предлагали аванс,  
в Белый дом повели на прием,  
и во гневе великом  
в гробу заворочался папа,  
ажно звякнули рюмки  
в старинном буфете моем.

Но родная страна  
оклемается вскоре от травмы,  
воспитает сирот весь великий советский народ.  
Горевать в юбилейном году  
не имеем, товарищи, прав мы,  
Аллилуева нам не помеха  
стремиться, как прежде, вперед.

Сталин спит смертным сном,  
нет с могилкою рядом скамеечки.  
Над могилкою стынет  
тоскливый туман...  
Ну, скажу я вам, братцы,  
подобной семеечки  
не имели ни Петр Великий,  
ни Грозный, кровавый диктатор Иван.

1967



## СОВЕТСКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ

*Великому Доду Ланге*

Смотрю на небо просветленным взором,  
я на троих с утра сообразил.  
Я этот день люблю, как День шахтера  
и праздник наших Вооруженных Сил.

Сегодня яйца с треском разбиваются,  
и душу радуют колокола.  
А пролетарии всех стран соединяются  
вокруг пасхального стола.

Там красят яйца в синий и зеленый,  
а я их крашу только в красный цвет,  
в руках несу их гордо, как знамена  
и символ наших радостных побед.

Как хорошо в такое время года  
пойти из церкви прямо на обед,  
давай закурим опиум народа,  
а он покурит наших сигарет.

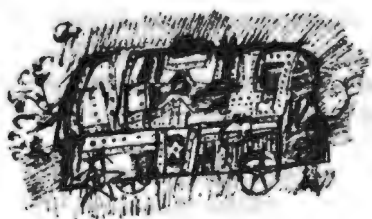
Под колокольный звон ножей и вилок  
щекочет ноздри запах куличей,  
приятно мне в сплошном лесу бутылок  
увидеть даже лица стукачей.

Все люди — братья! Я обниму китайца,  
привет Мао Цзэдуну передам,  
он желтые свои пришлет мне яйца,  
я красные свои ему отдам.

Сияет солнце мира в небе чистом,  
и на душе у всех одна мечта:  
чтоб коммунисты и империалисты  
прислушались к учению Христа.

Так поцелуемся давай, прохожая!  
Прости меня за чистый интерес.  
Мы на людей становимся похожими...  
Давай еще!.. Воистину воскрес!

1960





## СОВЕТСКАЯ ЛЕСБИЙСКАЯ

*Герману Плисецкому*

Пусть на вахте обыщут нас начисто,  
пусть в барак надзиратель пришел,  
Мы под песню гармошки наплачемся  
и накроем наш свадебный стол.

Женишок мой, бабеночка видная,  
наливает мне в кружку «Тройной»,  
вместо красной икры булку ситную  
он намажет помадой губной.

Сам помадой губною не мажется  
и походкой мужскою идет,  
он совсем мне мужчиною кажется,  
только вот борода не растет.

Девки бацают с дробью «цыганочку»,  
бабы старые «горько!» кричат,  
и рыдает одна лесбияночка  
на руках незамужних девчат.

Эх, закурим махорочку бийскую,  
девки заново выпить не прочь —  
да, за горькую, да, за лесбийскую,  
да, за первую брачную ночь!

В зоне сладостно мне и не маятно,  
мужу вольному писем не шлю:  
и надеюсь, вовек не узнает он,  
что я Маруську Белову люблю!

1961



## ОКУРОЧЕК

Вл. Соколову

Из колымского белого ада  
шли мы в зону в морозном дыму.  
Я заметил окурочек с красной помадой  
и рванулся из строя к нему.

«Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный,  
злобный пес разодрал мой бушлат.  
Дорогие начальнички, будьте спокойны,  
я уже возвращаюсь назад.

Баб не видел я года четыре,  
только мне наконец повезло —  
ах, окурочек, может быть, с «Ту-104»  
диким ветром тебя занесло.

И жену удавивший Капалин,  
и активный один педераст  
всю дорогу до зоны шагали вздыхали,  
не сводили с окурочка глаз.  
С кем ты, сука, любовь свою крутишь,  
с кем дымишь сигареткой одной?  
Ты во Внуково спьяну билета не купишь,  
чтоб хотя б пролететь надо мной.

В честь твою зажигал я попойки  
и французским поил коньяком,  
сам пьянел от того, как курила ты «Тройку»  
с золотым на конце ободком.

Проиграл тот окурочек в карты я,  
хоть дорожке был тыщи рублей.  
Даже здесь не видать мне счастливого форта  
из-за грусти по даме червей.

Проиграл я и шмотки, и сменку,  
сахарок за два года вперед,  
вот сижу я на нарах, обнявши коленки,  
мне ведь не в чем идти на развод.

Пропадал я за этот окурочек,  
никого не кляня, не виня,  
господа из влиятельных лагерных урок  
за размах уважали меня.

Шел я в карцер босыми ногами,  
как Христос, и спокоен, и тих,  
десять суток кровавыми красил губами  
я концы самокруток своих.

«Негодяй, ты на воле растратил  
много тыщ на блистательных дам!» —  
«Это да, — говорю, — гражданин надзиратель,  
только зря, — говорю, — гражданин надзиратель.  
рукавичкой вы мне по губам...»

1965





## ЛИЧНОЕ СВИДАНИЕ

Я отбывал в Сибири наказание,  
считался работающим мужиком  
и заработал личное свидание  
с женой своим трудом, своим горбом.

Я написал: «Явись, совсем соскучился...  
Здесь в трех верстах от лагеря вокзал...»  
Я ждал жену, жрать перестал, измучился,  
все без конца на крышу залезал.

Зануло сердце, как увидел бедную —  
согнулась до земли от рюкзака,  
но на нее, на бабу неприметную,  
с барачной крыши зарились ээка.

Торчал я перед вахтою взволнованно,  
там надзиратель делал бабе шмон.  
Но было мною в письмах растолковано,  
как под подол притырить самогон.

И завели нас в комнату свидания,  
дуреха ни жива и ни мертва,  
а я, как на судебном заседании,  
краснел и перепутывал слова.

Она присела, милая, на лавочку,  
а я присел на старенький матрац.  
Вчера здесь спал с женой карманник Лавочкин,  
позавчера — растратчик Моня Кац.



Обоев синий цвет изрядно вылинял,  
в двери железной — кругленький глазок,  
в углу портрет товарища Калинина —  
молчит, как в нашей хате образок.

Потолковали. Трахнул самогона я  
и самосаду закурил... Эх, жисты!  
Стели, жена, стели постель казенную  
да, как бывало, рядышком ложись.

Дежурные в глазок бросают шуточки,  
кричат зэка тоскливо за окном:  
«Отдай, Степан, супругу на минуточку,  
на всех ее пожиге разведем».

Ах, люди, люди, люди несерьезные,  
вам не хватает нервных докторов.  
Ведь здесь жена, а не быки колхозные  
огуливают вашинских коров.

И зло берет, и чтой-то жалко каждого...  
Но с каждым не поделишься женой...  
На зорьке, как по сердцу, бил с оттяжкой  
по рельсе железякою конвой.

Давай, жена, по кружке на прощание,  
садись одна в зелененький вагон,  
не унывай, зимой дадут свидание,  
не забывай — да не меня, вот глупая, —  
не забывай, как прятать самогон.

1963





## ВАГОННАЯ

Я белого света не видел.  
Отец был эсером, и вот  
Ягода на следствии маму обидел:  
он спать не давал ей четырнадцать суток,  
ударил ногою в живот.  
А это был, граждане, я, и простите  
за то, что сегодня я слеп,  
не знаю, как выглядят бабы и дети,  
товарищ Косыгин, Подгорный и Брежнев,  
червонец, рябина и хлеб.

Не вижу я наших больших достижений  
и женщин не харю, не пью.  
И нету во сне у меня сновидений,  
а утречком, утречком, темным, как ночка,  
что бог посылает жую.

Простите, что пес мой от голода лает,  
его я ужасно люблю.  
Зовут его, граждане, бедного, Лаэрт.  
Подайте копеечку, господра ради,  
я Лаэрту студня куплю.

Все меньше и меньше в вагонах зеленых  
несчастных слепых и калек.  
Проложимте БАМ по таежным кордонам  
Вот только врагам утергейтское дело  
не позволим замять мы вовек!

Страна хорошеет у нас год от года,  
мы к далям чудесным спешим.  
Врагом оказался народа Ягода,  
но разве от этого, граждане, легче  
сегодня несчастным слепым?!

1966





## ЗА ДОЖДЯМИ ДОЖДИ

В такую погоду — на печке валяться  
И водку глушить в захолустной пивной,  
В такую погоду — к девчонке прижаться  
И плакать над горькой осенней судьбой.

За дождями дожди,  
За дождями дожди,  
А потом — холода и морозы.  
Зябко стынут поля,  
Зябко птицы поют  
Под плащом ярко-желтой березы.

Любил я запевки, девчат-полуночниц,  
Но нынче никто за окном не поет.  
Лишь пьяницам листьям не терпится очень  
С гармошками ветра пойти в хоровод.

За дождями дожди,  
За дождями дожди,  
А потом — холода и морозы.  
Зябко стынут поля,  
Зябко птицы поют  
Под плащом ярко-желтой березы.

Но знаю отраду я в жизни нехитрой —  
Пусть грустно и мокро, но нужно забыть,  
Про осень забыть над московской поллитрой  
И с горя девчонку шальную любить.

За дождями дожди,  
За дождями дожди,  
А потом — холода и морозы.  
Зябко стынут поля,  
Зябко птицы поют  
Под плащом ярко-желтой березы.

1950





## БРЕЗЕНТОВАЯ ПАЛАТОЧКА

*Оле Шамборант*

Вот приеду я на БАМ —  
первым делом парню дам...  
Дам ему задание  
явиться на свидание.

Он бедовый, он придет,  
он дымком затянется,  
на груди моей заснет  
и в ней навек останется.

Только че я не видала  
в романтике ентовой?  
Я уже парням давала  
в палаточке брезентовой.

Любили меня, лапочку,  
довольны были мной  
в брезентовой палаточке  
за ширмой расписной.

Я много чего строила.  
Была на Братской ГЭС,  
но это все, по-моему,  
казенный интерес.

И «кисы» мы, и «ласточки»  
за наш за нежный труд,  
вот только из палаточек  
нас замуж не берут.

Я плакала тихонечко,  
я напивалась в дым,  
я ехала в вагончике  
по рельсам голубым.

В брезентовой палаточке  
за ширмой расписной —  
жисть моя в белых тапочках,  
а рядом — милый мой.

1971





## ЛОНДОН — МИЛЫЙ ГОРОДОК

Лондон — милый городок,  
там туман и холодок,  
а Профьюмо — министр военный —  
слабым был на передок.  
Он парады принимал,  
он с Кристиной Киллер спал  
и военные секреты  
ей в постели выдавал.

Вышло так оно само —  
спал с Кристиной Профьюмо,  
а майор товарищ Пронин  
кочумал всю ночь в трюмо.

Лондон — милый городок,  
там туман и холодок,  
только подполковник Пронин  
ни хрена просечь не смог.

Он сказал себе: «Ны-ны,  
мы не так печем блины,  
чтобы выведать все тайны,  
мы отныне влоблены!»

...И японский атташе  
был Кристине по душе.  
Отдалась ему девчонка  
через полчаса уже.



Он в соитии молчал,  
обстановку изучал,  
чтобы выведать все тайны,  
трое суток не кончал.

Дело было таково,  
что, добившись своего,  
он был премирован «Маздой»  
и полковничьей звездой.

Лондон — милый городок,  
там туман и холодок.  
Если ты министр военный,  
контролируй передок.

Если ты министр военный,  
то в постели будь таков,  
как маршал Блюхер, как Буденный,  
и Устинов, и Грачев!

1966, 1997





НИКИТА

*(на пару с Германом Плисецким)*

Из вида не теряя главной цели,  
суровой правде мы глядим в лицо:  
Никита оказался пустомелей,  
истории вертевшей колесо.

Он ездил по Советскому Союзу,  
дешевой популярности искал,  
заместо хлеба сеял кукурузу,  
людей советских в космос запускал.

Он допускал опасное зазнайство  
и, вопреки усилиям ЦК,  
разваливал колхозное хозяйство  
плюс проглядел талант Пастернака.

Конечно, он с сердечной теплотою  
врагов народа начал выпускать,  
но водку нашу сделал дорогою  
и на троих заставил распивать.

А сам народной водки выпил много.  
Супругу к светской жизни приучал.  
Он в Индии дивился на йога.  
По ассамблее каблуком стучал.

Он в Африке прокладывал каналы,  
чтоб бедуинам было где пахать...  
Потом его беспечность доконала,  
и он поехал в Сочи отдыхать.

А в это время со своих постелей  
вставали члены пленума ЦК.  
Они с капустой пирогов хотели.  
Была готова к выдаче мука.

Никита крепко осерчал на пленум.  
С обидой Микояну крикнул: «Блядь!»  
Жалея, что не дал под зад коленом  
днепропетровцам, растуды их мать...

Кирнувши за наличные «Столичной»,  
Никита в сквере кормит голубей.  
И к парторганизации первичной  
зятек его приписан Аджубей...

1966





## КУБИНСКАЯ РАЗЛУКА

Эрнесто Че Гевара  
Гавану покидал,  
поскольку легкой жизни  
он сроду не видал.

«Прощай, родная Куба,  
прощай, мой вождь Фидель,  
прощай, мой министерский,  
мой кожаный портфель!»

«Хоть курочку в дорогу  
возьми!» — кричат друзья.  
Сказал Гевара строго:  
«Мне курочку нельзя.

Мне курочку не надо,  
я в нищую суму  
кусочек рафинада  
кубинского возьму.

Возьму его с собою,  
до гроба пронесу,  
а если будет горько,  
возьму и пососу».

Разлука ты, разлука,  
чужая сторона.  
Марксистская наука  
теперь ему жена.

Старшой сынок — Гизенга,  
а младший — Хо Ши Мин,  
а деверь — каждый честный  
китайский гражданин.

Как призрак по Европе,  
Че Африкой прошел,  
нигде покоя сердцу  
бедняга не нашел.

Хотел свалить Сукарну,  
но вылетел в трубу,  
зато в бурлящем Конго  
свалил Касавубу.

Тираны, трепещите!  
Мужайтесь, рабы!  
Придет вам избавленье  
от классовой борьбы.

Удачного момента  
Че ждет в одной стране  
и платит алименты  
покинутой жене.

1964





## МЕДВЕЖЬЕ ТАНГО

*Грише Сундареву*

Есть зоопарк чудесный  
в районе Красной Пресни.  
Там смотрят на животных москвичи.  
Туда-то на свиданье  
с холостяком Ань-Анем  
направилась из Лондона Чи-Чи.

Мечтая в реактивном самолете  
о штуке посильней, чем «Фауст» Гете.

Она сошла по трапу,  
помахивая лапой.  
Юпитеры нацелились — бабах!  
Глазенки осовелые,  
штанишки снежно-белые,  
бамбуковая веточка в зубах.

А между тем китайское посольство  
за девушкой следило с беспокойством.

Снуют администраторы  
и кинооператоры  
и сыплют им в шампанское цветы.  
Ань-Ань, медведь китайский,  
с улыбкою шанхайской  
дал интервью: Чи-Чи — предел мечты.

Но между тем китайское посольство  
за парочкой следило с беспокойством.

Оно Чи-Чи вручило  
доносы крокодила  
и докладную  
от гиппопотама:  
Ань-Ань с желаньем низким,  
а также ревизионистским  
живет со львом из Южного Вьетнама.

Чи-Чи-Чи-Чи, ты будешь вечно юной.  
Чи-Чи-Чи-Чи, читай Мао Цзэдуна.  
Вот эта штука в красном переплете  
во много раз сильнее, чем «Фауст» Гете.

Дэн Сяопин Ань-Аню  
готовит указанье  
«О половых задачах в зоопарке».  
Ответственность и нервы...  
Использовать резервы...  
И никаких приписок по запарке.

И принял Ань решение боевое —  
с Чи совершить сношение половое.

Уж он на нее насккивал  
и нежно укалякивал,  
наобещал и кофе, и какао.  
Но лондонская леди  
рычала на медведя  
и нежно к сердцу прижимала Мао.

Целуя штуку в красном переплете,  
которая сильнее, чем «Фауст» Гете.

Ань-Ань ревел и плакал,  
от страсти пол царапал  
и перебил две лапы хунвейбинке.  
А за стеной соседи,  
дебелые медведи,  
любовь крутили на казенной льдинке.

Китайское посольство  
следило с беспокойством,  
как увозили в Лондон хунвейбинку.

Она взошла по трапу,  
хромая на две лапы.  
Юпитеры нацелились — бабах...  
Глазенки осовелые,  
штанишки снежно-белые,  
бамбуковая веточка в зубах...

Ань-Ань по страшной пьянке  
пробрался к обезьянке  
и приставал к дежурной тете Зине...  
Друзья, за это блядство,  
а также ренегатство  
ответ несет правительство в Пекине.

1967







## БЕЛЫЕ ЧАЙНИЧКИ

*Андрею Битову*

Раз я в Питере с другом хорошим кирнул,  
он потом на Литейный проспект завернул,  
и все рассказывает мне, все рассказывает,  
и показывает, и показывает.

Нет белых чайников в Москве эмалированных,  
а Товстоногов — самый левый режиссер.  
Вода из кранов лучше вашей газированной,  
а ГУМ — он что? Он не Гостиный Двор.

Вы там «Аврору» лишь на карточках видали,  
а Невский — это не Охотный Ряд.  
Дурак, страдал бы ты весь век при капитале,  
когда б не питерский стальной пролетарьят.

А я иду молчу и возражать не пробую,  
черт знает что в моей творится голове,  
поет и пляшет в ней «Московская особая»,  
и нет в душе тоски по матушке-Москве.

Я еще в пирожковой с кирюхой кирнул,  
он потом на Дворцовую площадь свернул,  
и все рассказывает мне, все рассказывает,  
и показывает, и показывает.

У вас в Москве эмалированных нет чайничков,  
таких, как в Эрмитаже, нет картин.  
И вообще, полным-полно начальничков,  
а у нас товарищ Толстиков один.

Давай заделаем грамм триста сервелата!  
Смотри, дурак, на знаменитые мосты.  
На всех московских ваших мясокомбинатах  
такой не делают копченой колбасы.

А я иду молчу и возражать не пробую,  
черт знает что в моей творится голове,  
поет и пляшет в ней «Московская особая»,  
и нет в душе тоски по матушке-Москве.

Я и в рюмочной рюмку с кирюхой кирнул,  
он потом на какой-то проспект завернул,  
и все рассказывает мне, все рассказывает,  
и показывает, и показывает.

Нет белых чайничков в Москве эмалированных,  
а ночью белую у нас светло, как днем.  
По этой лестнице старушку обворовывать  
всходил Раскольников с огромным топором.

Лубянок ваших и Бутырок нам не надо.  
Таких, как в «Норде», взбитых сливок ты не ел.  
А за решеткой чудной Летнего, блядь, сада  
я б все пятнадцать суток отсидел.

А я иду молчу и возражать не пробую,  
черт знает что в моей творится голове,  
поет и пляшет в ней «Московская особая»,  
и нет в душе тоски по матушке-Москве.

Мотоцикл патрульный подъехал к нам вдруг,  
я свалился в коляску, а рядом — мой друг...  
«В отделение!» А он все рассказывает,  
и показывает, и показывает.

Нет белых чайничков в Москве эмалированных,  
а Товстоногов самый... отпустите, псы!  
По этой лестнице старушку обштрафовывать...  
Такой не делают копченой колбасы...



### ПЕСЕНКА СВОБОДЫ

Птицы не летали там, где мы шагали,  
где этапом проходили мы.  
Бывало, замерзали и недоедали  
от Москвы до самой Колымы.

Много или мало, но душа устала  
от разводов нудных по утрам,  
от большой работы до седьмого пота,  
от тяжелых дум по вечерам.

Мы песню заводили, но глаза грустили,  
и украдкой плакала струна.  
Так выпьем за сидевших, все перетерпевших  
эту чарку горькую до дна.

Проходили годы. Да здравствует свобода!  
Птицей на все стороны лети!  
Сам оперативник, нежности противник,  
мне желал счастливого пути.

Снова надо мною небо голубое,  
снова вольным солнцем озарен,  
и смотрю сквозь слезы на белую березу,  
и в поля российские влюблен.

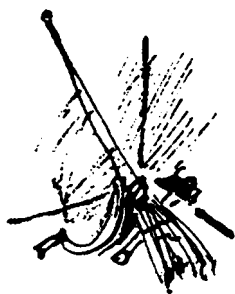
Прощай, жилая зона, этапные вагоны,  
бригады и прозрачный суп!  
От тоски по женщине будет сумасшедшим  
поцелуй моих голодных губ.

Так выпьем за свободу, за теплую погоду,  
за костер, за птюху — во-вторых,  
за повара блатного, за мужика простого  
и за наших верных часовых.

Выпьем за лепилу и за нарядилу,  
за начальничка и за кандей,  
за минуту счастья, данную в спецчасти,  
и за всех мечтающих о ней.

Наливай по новой мне вина хмельного,  
я отвечу тем, кто упрекнет:  
— С наше посидите, с наше погрустите,  
с наше потерпите хоть бы год.

1953





## ПЕСНЯ МОЛОТОВА

(совместно с Г.Плисецким)

Антипартийный был я человек,  
я презирал ревизиониста Тито,  
а Тито оказался лучше всех,  
с ним на лосей охотился Никита.

Сильны мы были, как не знаю кто,  
ходил я в габардиновом костюме,  
а Сталин — в коверкотовом пальто,  
которое достал напротив, в ГУМе.

Потом он личным культом занемог  
и власть забрал в мозолистые руки.  
За что ж тяну в Монголии я срок?  
Возьми меня, Никита, на поруки!

Не выйдет утром траурных газет,  
подписчики по мне не зарыдают.  
Прости-прощай, Центральный Комитет,  
и гимна надо мною не сыграют.

Никто не вспомнит свергнутых богов,  
Гагарина встречает вся столица.  
Ах, Лазарь Моисеич, Маленков,  
к примкнувшему зайдем опохмелиться!

1961—1962





Юз-Фу

Строки гусяного пера,  
найденного на чужбине

Танки

1. УТРО ДНЯ ДАРУЕТ УСПОКОЕНИЕ

СКРОМНОСТЬЮ ЖИЗНИ

Наша провинция — тихая заводь.

Цапле лень за лягушкой нагнуться.

Но и до нас долетают посланья.

Пьяный Юз-Фу их порою находит  
в ветхой корзине из ивовых прутьев.

2. ВЕСЕННИМ ДНЕМ

ПО-СТАРИКОВСКИ

ПЛЕТУСЬ В МОНАСТЫРЬ

Два бамбуковых деревца.

Отдохну между ними,  
вспоминая голенастых девчонок.

3. С ПОХМЕЛЬЯ ПРОХОЖУ

МИМО МАВЗОЛЕЯ

На куполах златых морозный иней.

Метет снежок по мостовой торцовой.

Я Ленина в гробу видал.

4. СТРОКИ НАСЧЕТ НАШЕЙ

БОЛЬШОЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ

Бог держит солнце в одной руке.

В другой Он держит луну.

Вот и руки Его до нас не доходят!

5. ДВА ТРЕХСТИШИЯ  
О ПОЛУВЕКОВОЙ ОПАЛЕ ЮЗ-ФУ,  
ОДНО ИЗ КОТОРЫХ, КАК ЕМУ КАЖЕТСЯ,  
ТЩАТЕЛЬНО ЗАШИФРОВАНО  
Гоняю чаи одиноко.  
Два лимона на белом столе...  
Рядом — черный котенок...  
Вдалеке от придворных интриг  
вспоминаю фрейлину И  
в час, когда нас застукала стража...

6. К МОЕЙ ОБИТЕЛИ  
ПРИБЛИЖАЕТСЯ СУДЕБНЫЙ ЧИНОВНИК  
У Юз-Фу — ни кола ни двора.  
Стол. В щели — два гусиных пера.  
Печка. Лавочка... Что с него взять?  
Чайник с ситечком, в горлышко вдетым?  
Сборщик податей мог бы  
все это легко описать,  
если б был  
очень бедным поэтом.

7. ЧЕТЫРЕ МУДРОСТИ, КОТОРЫЕ ЮЗ-ФУ  
ПЕЧАЛЬНО ВСПОМИНАЕТ  
ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ПЬЯНИ  
Лишняя пара яиц ни к чему однолюбу.  
Слепой стороной не обходит говно.  
Дереву нечего посоветовать лесорубу.  
Самурай не обмочит в похлебке рукав кимоно\*.

8. ГОДЫ МОИ МОЛОДЫЕ НАБЛЮДАЮ  
ЗА ДОМОМ СВИДАНИЙ  
ИЗ ОКОН СЛУЖЕБНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ  
...Мандарин этот входит...  
мнется дурень слегка на пороге...  
Дама быстро снимает с него пальто\*\*...  
Тухнет свет...

---

\*Кимоно — японское название китайского халата.

\*\*Пальто — французское название китайского халата.

К потолку!..  
поднимаются!..  
белые!..  
ноги!..  
Вот — опять в Поднебесной  
происходит что-то не то,  
если я здесь торчу  
и дрочу,  
с заведенья напротив  
взимая налоги...

9. В ОСЕННЕМ ЛЕСУ ВСПОМИНАЮ  
БЫЛЫЕ ЧАЕПИТИЯ С ФРЕЙЛИНОЙ И  
Стол озерный застелен  
скатеркою ломкой.  
Воздух крепко заварен  
опавшей листвою.  
В белых чашках кувшинок  
на блюдах с каемкой  
чай остыл твой и мой...  
твой и мой...

10. ЗАЕДЕННЫЙ БЕЗДЕНЕЖЬЕМ,  
ЛЕЖУ В НОЧЛЕЖКЕ  
Столько б юаней Юз-Фу,  
сколько блох на бездомной собаке —  
он бы, ядрена вошь, тогда не чесался!

11. РАЗМЫШЛЯЮ О ТОМ,  
ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА  
Лучшее в мире стихотворенье  
накорябала кончиком ветки ива  
на чистой глади Янцзы.  
Им стрекоза зачитывалась,  
умершая этим летом...  
Ее глаза мне казались каплей чистой слезы.



**12. В ПРИБЛИЖЕНИИ**

**ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФРЕЙЛИНЫ И**

Если на дело взглянуть помудрей и попроще,  
то, в конце-то концов, что такое  
по сравнению с роскошью рощи  
императорские покои?

Сушная дрянь!

Сердце, как яблочко соком,  
осенней налито тоскою.

Видимо, вишней горящей нагрета  
фляга. И влага вишневого цвета  
сушит гортань.

Осень... любовь... разве этого мало?

Фрейлина И, ты права:

свечи погасли,  
но стала источником света листва.

**13. В ЗИМНЮЮ ПОРУ**

**ЖДУ ПОСЛАНИЕ ОТ ФРЕЙЛИНЫ И**

Приближается снежная буря.

Зябнет птица на голой ветке.

Согнут ветром бамбук.

Да поможет Господь  
разносчику писем,  
если он заблудится вдруг.

**14. В ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ**

**ПОЛНОСТЬЮ РАЗДЕЛЯЮ МУДРОСТЬ ОСЕНИ**

Всею туши мира не хватит

обрисовать его же пороки.

Употреблю-ка ее до последней капли  
на дуновение ветра,

пригнувшего к зыби озерной  
заиндевевшие стебли осоки...

Куда-то унесшего перышко  
с одинокой, озябшей цапли.

15. ПОСЛЕ БУРНОЙ НОЧИ С ФРЕЙЛИНОЙ И  
ВНОВЬ ПОСТИГАЮ  
ГРАЖДАНСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
И СООТНОШУ С НИМ ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА БЫТИЯ  
Пусть династию Сунь  
сменяет династия Вынь —  
лишь бы счастлив был Ян,  
лишь бы кончила Инь...

16. СТРАДАЯ ОТ БЕССОННИЦЫ,  
НАВОЖУ МОСТЫ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ  
И ДУМАЮ О ТАМАРЕ ГРИГОРЬЕВОЙ  
Золотая Инь-Ту-И-Ци-Ян...  
Эту рыбку о двух головах  
я увижу во сне.

17. МЫСЛЬ  
О ВЕЛИКИХ СТРАННОСТЯХ ПРОСТОТЫ,  
ПРИШЕДШАЯ В ГОЛОВУ НА СЕНОВАЛЕ  
Всей твоей жизни не хватит, Юз-Фу,  
чтобы в сене иголку найти.  
А вот травинку в куче иголок  
найдешь моментально!

18. В ХОЛОДНОМ НУЖНИКЕ  
ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРЦА  
ПОДУМЫВАЮ О СОВЕРШЕННЕЙШЕМ  
ОБРАЗЕ ДОМАШНЕГО УЮТА  
Зимним утром, в сортире,  
с шести до семи,  
присев на дощечку —  
уже согретую фрейлиной И —  
газетенку читать,  
презирая правительственную печать,  
и узнать,  
что накрылась ДИНАСТИЯ!..  
Это кайф.  
Но не стоит мечтать  
о гармонии личного  
и гражданского счастья.

19. В СНЕЖНУЮ ПОРУ  
ОБРАЩАЮСЬ К БЕЛОМУ ГУСЮ,  
ОТСТАВШЕМУ ОТ СТАИ  
Снегопад. Сотня псов  
подвывает за дверью.  
В печке тяга пропала.  
Закисло вино.  
Развалилась, как глиняный чайник,  
Империя.  
Иператорский двор и министры —  
говно...  
Бедный гусь!  
Белый гусь!  
Не теряй столько перьев!  
Я нашел возле дома одно.  
Вот — скрипит,  
как снежок  
на дороге,  
оно.

20. В РАБОТАХ ПО ДОМУ СТАРАЮСЬ ЗАБЫТЬ  
О СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ  
Цветов насажал в фанзе и снаружи.  
Огурцов засолил.  
Воду вожу с водопада.  
Сделай, Господи, так, чтобы не было хуже,  
а лучшего, видимо, нам и не надо...  
Вместо кофты сгоревшей  
фрейлина И  
зимой мне свяжет другую.

21. ПОПЫТКА ВЫРАЗИТЬ  
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУВСТВО,  
ВПЕРВЫЕ ИСПЫТАННОЕ МНОЮ НА СКОТНОМ ДВОРЕ  
Что есть счастье, Юз-Фу?  
Жизнь — в поле зрения отдыхающей лошади  
или утки, клюв уткнувшей  
в пух оперения...  
Даже если исчезнуть навек  
из поля их зрения...

22. НА МОРСКОМ БЕРЕГУ  
ЧУЮ ПРИБЛИЖЕНИЕ СТАРОСТИ  
Устриц на отмели насобираю.  
Только вот створки никак не открою.  
Очень руки дрожат у Юз-Фу.  
К сожалению, не с перепоя.

23. ОДНА ИЗ БЕД ЮЗ-ФУ С ОСЛОМ  
Вот уже несколько дней,  
спасаясь от мух и слепней,  
Осел ошивается под хвостом у кобылки.  
Тебе бы, Юз-Фу, вот такого пажа!  
Но ослиная неблагодарна душа.  
Но ослиные ироничны ухмылки.  
Кроме того, в душе у осла  
звучат нескромные жалобы.  
Он думает: «Если бы это была  
не кобылка, а моя госпожа  
с благоухающим веером,  
то меня тут, понимаете, не обдавало бы  
чем-то, не имеющим ни малейшего отношения  
к свежему сену и к душистому клеверу...»  
Я говорю: «Осел,  
ты бы хоть вспомнил ученье Басе:  
Бедняк, не ропщи на то и на се, будь благодарен  
судьбе за все,  
ищи утешения в благе простом...  
Ну-ка, быстрее извинись за ухмылку.  
И бо-го-тво-ри, дубина, кобылку  
за то, что шутает она кровососов  
от твоего ироничного носа  
своим благородным хвостом,  
и не воображай себя избалованным пони.  
Понял?»

24. РАДУЯСЬ ТОРЖЕСТВУ ЖИЗНИ  
ВОДОПЛАВАЮЩИХ,  
ДУМАЮ О БЕДАХ ОТЕЧЕСТВА  
В воде ледяной  
занимаются утки любовью,

а вот поди ж ты —  
не зябнут!  
Случайный — молось, чтоб любая беда  
сходила с народа как с гуся вода.

25. ПОГУЛЯВ, ВОЗВРАЩАЮСЬ  
К ДОМАШНЕМУ ОЧАГУ  
Малахай мой заложен.  
Новый пропит халат.  
В ночлежке забыты портки.  
Лишь осталась надежда,  
что голым узнают Юз-Фу.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ДЛЯ ДРУЗЕЙ  
Все это начирикано в дивном одиночестве  
под покровительством  
фрейлины И.  
В Китае я был бы Юз-Фу,  
а здесь у меня иное имя и отчество.

*Поднебесная.  
Коннектикут.  
Год Змеи.*



# Еще одно послесловие для друзей

Вся жизнь моя летит в трубу.

Сердцебиение, отдышка.

Вот эту бабу доебу —

И крышка.



# Повторение пройденного

Да и жить-то осталось  
каких-нибудь две пятилетки...

В. Инбер

Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?

Б. Пастернак

## 1. ПАМЯТНИК ЛИТЕРАТУРЫ КАК ЖАНР

Саму идею статьи, возникшую

вместе с названием, можно попытаться датировать 1970-м или 1971 годом, когда родилась беспримерная повесть «Николай Николаевич». Именно скорее родилась, чем была написана.

Хотя она была записана на отличной мелованной бумаге, отличными чернилами, отличным пером, которое мы в детстве называли «вечной ручкой», чуть ли не неведомо откуда заведшимся «паркером». Записывавший, которого в ту пору трудно было назвать автором, скорее хозяином или даже владельцем рукописи, любил, чтобы перо скользило особенно плавно, поэтому всегда бывал особенно щепетилен насчет канцтоваров. Записано было практически без помарок, крупным красивым почерком сталинской начальной школы, почерком, неповрежденным последующим писанием конспектов.

Бумага была толстая, почерк крупный — в рукописном виде рукопись выглядела солидно, в машинописном же, самиздатовском виде — сжалась, скукожилась, поблекла до размеров рассказа в журнальном самотеке.

Имя автора на титульном листе не значилось.

Тому может быть целый ряд объяснений, существенным из которых является одно: за подобное авторство можно было получить срок.

Повесть не предназначалась для печати, однако изначально не только потому, что и напечатана быть не могла. Она как бы и не для того была написана. Она была написана с восторгом и удовольствием, то есть для себя, для собственного самочувствия и, в некотором смысле, самоутверждения, то есть для двух-трех прежде всего друзей, которым труд сей был посвящен.

Так что, даже если бы в тот год не был закрыт «Новый мир», а была провозглашена наша гласность, повесть все равно, а может, и тем более, была не для печати. Потому что была она и не столько против власти, сколько против печати. Это придется впоследствии разъяснять.

Пока что вернемся к описанию рукописи и ее судьбы.

Скорее всего, впервые она была исполнена вслух для тех же двух-трех друзей, поскольку машинопись возникла далеко не сразу, поскольку, как я уже сказал, писалась не для печати, а скорее как письмо.

Письменное происхождение этого текста я могу засвидетельствовать как очевидец и участник: именно из писем друзьям произошел этот текст, вкратце повторяя историю литературы. Ибо жанр писем в течение двух лет предшествовал рождению произведения большого и сюжетного. А до этих писем никому не ведомым автором будущего «Николая Николаевича» владел жанр исключительно устный, дописменный — жанр песни, шутки, каламбура, застольной импровизации.

В этом жанре автор был любим и знаменит в масштабах семейного круга и общего стола, какой мог разместиться в масштабах однокомнатной квартиры в Беляеве. Спонтанное это творчество, равное существованию, оплачивалось восторгом, восхищением, любовью тех, кто, между тем, выпускал свои художочные книжки, оплаченные рублем, критикой, членством в Союзе писателей. То есть гений наш не был писателем. Как ни странно, его такое соотношение не вполне устраивало, хотя он и не показывал виду. Однако стал грозиться, что напишет «ро-ман».

И вот он его написал, то есть этого самого «Николая Николаевича». О бывшем воре-карманнике, устроившемся донором спермы в некую лабораторию. История его любви органично переплетается с его трудовой карьерой, с историей страны и нашей многострадальной биологической науки. В каком-то смысле это превосходный производственный роман, мечта соцреализма. Впрочем, определить и описать его необычайно трудно: произведение выпадает из литературы, как из прохудившегося мешка.

Очень смешно — вот что можно было сказать с определенностью.

Но для критического описания, которое, как мне показалось, не прочь был услышать автор, такого определения было



явно маловато. В это время у советского избранного читателя был в моде Камю и как раз была опубликована его повесть «Падение». Трудно было бы найти произведение, менее сходное по духу и смыслу, но, однако, оно единственное годилось для сравнения. Произведения были, более или менее, равны по объему и приему. Оба написаны от «я» в форме диалога с невидимым и молчаливым собеседником. Но зато как проигрывал прославленный автор анонимному в оптимизме и жизненном напоре! Наш торжествующий над всем советский быт одерживал очередную моральную победу над заунывно загнивающим Западом. Наш отечественный вариант, в пику ихнему экзистенциализму, следовало бы назвать «Вставание»...

Придя к своему другу похвастаться идеей сравнения его с Камю, я застиг его врасплох. Он был крайне смущен моим приходом, при этом он был в квартире один. Не сразу удалось мне выяснить причину. Он был раздосадован визитом сантехников в связи с засорением канализации. Пришлось демонтировать унитаза, а тот при этом треснул.

Еще более не сразу, а долгое время спустя выдал мне друг тайную причину засора ... Напуганный распространением повести в самиздате (по-прежнему без имени автора), решил он уничтожить саму улику, доказательство его авторства — рукопись повести. Ввиду отсутствия каминов в наших кооперативных квартирах, канализация есть единственный путь для секретных документов. Писанный же на чрезвычайно плотной и недостаточно мелко порванной бумаге, манускрипт забил фановую трубу. Благо, на первом этаже автор попытался справиться с аварией сам, но разнервничался, поспешил и лишь усугубил аварию. Пришлось вызывать. Люди, одаренные столь высоким остроумием, отнюдь не всегда любят сами попадать в юмористические положения. Смех и страх, перемешанные в определенной пропорции, порождают унижение и гнев. Это выражение гневного смущения на лице друга, когда он открывал мне дверь, было ни с чем не сравнимо и очень запомнилось мне.

Время спустя анекдот этот перестает быть столь уж смешным, хотя и относится к одному из самых смешных произведений русской литературы. Анекдот этот становится величественным. Никому еще не удавалось застичь воровато озирающе-

гося автора за сожжением «Мертвых душ» или X главы, и вряд ли кто присутствовал при рождении не просто произведения, пусть и гениального, пусть которому и суждено в веках, быть может, и стать чем-то большим, чем произведение конкретного автора, — не произведения, а — сразу памятника литературы.

Ибо что такое, грубо говоря, «памятник литературы» в нашем сознании? Это произведение, пережившее все остальные и утратившее имя автора, а если имя автора и сохранилось, то как бы не человеческое, а мифическое.

.....

Категория времени — самая ненавистная для революции. Что, как не уничтожение самого времени, влечет революционера? Борьба с календарем запечатлевается в первых же декретах. Время человечества выбрасывается на свалку истории ради идеала счастливого будущего, в котором времени уже не будет.

В нашем авторитарном образовании «памятник литературы» напрямую ассоциировался с памятником — такая чугунная или каменная книга размером с могильную плиту, над которой время поработало больше, чем Создатель, и стерло имя. Вещь почитаемая и нечитаемая. Издаваемая для профессоров или ими же и издаваемая ради собственных комментариев. Пусть они ее и читают, свой «Пильгамеш».

.....

Работу веков мы производили в одночасье и вручную. Индивидуализм, родивший цивилизацию западного типа, например саму фигуру великого писателя, в XX веке уже отчасти ложную, был нам чужд. Создавались уже не книги, а литературы на десятках языков. Отыскивались основоположники, клепались эпосы. Имя, настаивавшее на себе как на личности, из состояния личности выводилось в расход.

.....

Так что революция не только послужила стимулом для взращивания молодых литератур, но и русскую литературу поставила в положение младописьменной.

А потом и саму письменность. Лишившись для начала ятей, фиты да ижицы, сведя разнотравье типографских шрифтов к двум или даже одному, нам уже все равно, на каком языке то же самое читать — на русском или татарском.

И начали варить новую речь на открытом огне при постоянном социальном помешивании.

И родился новый язык, удивительный конгломерат советских и бюрократических клише с языком улицы, обогащенным лагерной феней. Единственно, что оставалось в таком языке родного, это мат.

В литературе, от которой требовали «памятников», угрожая пистолетом, проза смолкла.

Но самое смешное в своей неумолимости, что возродилась она в виде «памятника», и первыми были «Москва—Петушки» в 1969 году.

Можно так, образно и лестно, счесть, что советская власть уплотнила время, сжала его репрессиями до плотности египетских веков, до структурных изменений породы под столь геологическим давлением верхнего эшелона. Мы всегда рады польстить власти, признав за бесчеловечностью силу.

Благородство — вот еще признак памятника. Родовой признак победы над историей.

От «Москвы—Петушков» разит благородством, а не перегазом. От Венички не воняет. Это чистая субстанция. Возгонка героя.

То, что на обложке стоит имя автора, «Венедикт Ерофеев», больше свидетельствует об анонимности литпамятника, чем даже отсутствие имени. Потому что и герой поэмы — Веничка Ерофеев, но герой-то в этом случае никак не автор. Так Печорин мог бы быть автором романа «Герой нашего времени».

Затем — «Николай Николаевич».

## II. АВТОР БЕЗЫМЯННОГО ПАМЯТНИКА ЛИТЕРАТУРЫ

Но не разбился, а рассмеялся.

М. Горький

Белеет Ленин одинокий...

Юз Алешковский

Юз Алешковский родился в 1929 году и эмигрировал в 1979 году на волне альманаха «Метрополь», где был впервые опубликован. Поскольку и этот альманах впервые вышел на Западе,

то все, что опубликовал Алешковский — повести и романы «Николай Николаевич», «Кенгуру», «Маскировка», «Рука», «Синенький скромный платочек», «Смерть в Москве», «Блошиное танго» и др., — все это в Америке.

И это драматично и смешно, как сама его проза. Потому что Алешковский непереводим ни на один язык, кроме русского. Ибо написаны его книги на языке, на котором письменности до него не существовало. И словаря. Ни толкового, ни бестолкового. Алешковский и есть и письменность и словарь этого языка. Языка, на котором все мы, как русские, так и нерусские, если уж не все говорим, то все живем.

И наши вкусы здесь ни при чем, как и продукты, которые мы потребляем.

Не сразу сварился тот советский язык, на котором выговаривает свои произведения Алешковский, но заварен он был враз, гораздо стремительней, чем теперь может показаться. Первая мировая и Гражданская перемешали классы, народы и более мелкие социальные слои, прослойки и прослоечки (многие из которых в прежней жизни могли не иметь ни одного прямого контакта) до такой степени, что разделить их обратно не удалось бы и при самом благоприятном повороте истории. Этот мутный моток нового языка родился раньше, чем устоялись новые структуры власти. Эти новые структуры, в свою очередь, смешали язык революционной пропаганды с имперским канцелярским языком, и это новое наречие органически влилось в общий чан языка. Этот социальный воляпюк ревпропаганды, окопов и подворотен веселил молодых писателей двадцатых годов, помнивших язык изначальный. «Рассказы Синегривова» Михаила Зощенко (1921) писаны еще окопным сказом, а уже в двадцать третьем он начинает писать рассказы языком совбыта. И если у Зощенко доминирует речь его героев, то у Леонида Добычина уже в двадцать четвертом эта новая речь становится чисто авторской. НЭП сообщает этой речи живое движение. Попытка сделать этот новый дикий живой язык и языком литературы продолжается до тех пор, пока ее не прекращает сверху уже сложившаяся сталинская диктатура. Именно она разлучила живой язык и литературу, разослав их по разным этапам, тем самым прекратив литературу. Далее следует уже история языка, не отраженная литературой.

.....

История геноцида языка могла бы быть написана конкретно, научно. Этаким ГУЛАГ для слов. Язык как ГУЛАГ. Для начала — как история партийных постановлений и установок. Потом как вымирание словаря. Потом — как заселение его разного рода выдвигенцами, под- и переселенцами. Потом — как быт порабощенной речи. Периодическая борьба за его чистоту — история чисток. Потом — как история восстаний и подавления языка. При всей гибкости и безответственности никто не был таким героем, как наш язык. Никто так не выстоял. Язык рассмехался. И нет у тирании страшнее врага. Срок за длинный язык и анекдоты — частное тому доказательство.

Существует негласный тест на долгожитие тирана в России: до тех пор, пока напрямую не займется русским языком и евреями. Это и есть вершина пирамиды его власти, вершина падения. Руки тирана доходят до реформ в языке в последнюю очередь, от полноты. «Марксизм и вопросы языкознания», «дело врачей» и смерть.

Литературная биография Юза Алешковского начинается именно в этой точке, с вершины и нуля 1953 года:

Товарищ Сталин, вы большой ученый —  
в языкознание знаете вы толк,  
а я простой советский заключенный,  
и мне товарищ — серый брянский волк.

Биографию советского языка он прошел вместе с народом, научившись говорить в 1932-м, учась писать в 37-м, бросив учиться во время войны, сев в тюрьму в 1950-м и благополучно выйдя из лагеря в 53-м дипломированным профессором русского языка. Язык к этому времени состоял из самой жизни, не смущенный и тенью культуры и литературы, но и сама жизнь удержалась лишь в языке, до завязки насыщенном лагерями и новой войною, газетными клише и соцреализмом. Язык этот находился в дописьменном состоянии. На нем все говорили, но никто не писал.

И Алешковский начал как сказитель — с устной литературы. Песня. Кроме великой народной песни про «большого ученого» он создал еще ряд, задолго до бардов и моды на них, в частности «Советскую пасхальную», «Советскую лесбийскую» и великий «Окурочек». Это была поэзия, но была и проза. Тоже устная. Хохма, шутка, каламбур, афоризм — застольное «тре-

канье». Для остальных это мог быть разговор, для него — жанр.

Еще в дописьменный свой период Юз Алешковский зачинает устную серию «мини-классики» бессмертным:

Белеет. Парюсь одинокий...

Рождено в бане. За ним последовало:

С печальным шумом обнажалась...

На севере диком стоит одиноко...

Потом было добавлено:

Особенно утром, со сна.

Это не просто ирония непризнанного над признанным — это ирония бесписьменного над письменным.

К классикам — еще любовная. Как у А.К. Толстого — к Пушкину:

Когда бы не было тут Пресни,  
От муз с харитами хоть тресни.

Так что —

Белеет Ленин одинокий —

это не ирония по отношению к четырнадцатилетнему гению Лермонтову и даже не нелюбовь к Ленину, а некая идиосинкразия к другу подпольщиков дворянскому мальчику Пете, герою прославленного романа для юношества дворянина Катаева, ученика Бунина, — тому Пете, которым нас с детства кормили с ложки наряду с Павкой и Павликом.

Чем объяснить у очень умного и зрелого человека такую долгую навязчивую до и под- и бессознательную неприязнь? Не умом же? А тем, что природный ум десятилетиями истязается одним и тем же — а именно и только тем что не есть предмет не только изощренного, но и никакого ума. Ум восстает на новоявленный язык. Естественно — как желудок. Он отказывается переваривать, исторгает. Очищается.

И в этом жанре он был признан в кругу как гений. Но никто в кругу не заподозрил, что он — мастер, что он — работает, что его потребляют, потребляют не всего лишь просто свойственное нормальному человеку желание нравиться, но плоды его умственного и духовного труда. С годами восторг стал недостаточным гонораром и, осторожно попробовав бумагу в письмах друзьям, пропустив сквозь душу танки в Чехословакию, Алешковский сел «чирикать» прозу и начал сразу с «романа». Писался этот роман, как посвящался, — тем же друзьям, кому и письма.

Но и не с романа начал Алешковский, а сразу с памятника литературы.

С помощью советской истории столетия развития языка оказались спрессованы в десятилетия, и за пятнадцать лет в одном «отдельно взятом за жопу» Алешковском советский язык прошел свое литературное развитие от песни до рыцарского романа, и советская литература наконец родилась! (В отличие от государственной советской и русской советского периода.) Мини-роман «Николай Николаевич» обладает всеми параметрами литературного памятника и по изначальной утрате оригинала, и по необязательности имени автора, и по «праву первой ночи» регистрации живого языка.

Проза Алешковского несет в себе отпечаток изначального устного жанра — «треканья». Герой, повествуя от «я», рассказывает за бутылкой историю своей жизни невидимому, лишенному дара речи дебильному собеседнику. Но если и в последующей прозе Алешковский не сумел преодолеть однажды обретенный им жанр и приговоренно за ним следует, то и заслуга его — не в жанре, а самая высшая — в языке.

Дело в том, что язык Алешковского однороден, слова у него равноправны, и употребление советской фразеологии на его страницах куда более непотребно и похабно звучит, чем вульгарные жаргон и феня. Благородные же кристаллы мата, единственной природной и принадлежащей части русского языка, сохранившейся в советском языке, продолжают слать нам свет человеческой речи, как погасшие звезды во мраке планетария.

Трудно согласиться, что на языке Алешковского мы не только выражаемся, но и живем, но если притерпеться и принять, то — о чем же Алешковский?..

О том, как же это мы притерпелись и приняли то, от чего содрогаемся в виде слов, а не действительности. И Алешковский предстает тогда нам писателем чрезвычайно традиционным в оценках, повествующим лишь о смысле вечных общечеловеческих ценностей, моралистом и даже резонером.

Радость жизни — основная моральная ценность, по Алешковскому. Извращается жизнь — извращается и ценность. В этом природа его гротеска и метафоры: метафора преувеличена, гротеск метафоричен. Все это шокирует, кричит. За криком можно не расслышать, под шоком — не разглядеть.

Между тем Алешковский говорит очевидные вещи. Что ж делать, если мы настолько приняхались, что и прижились, что не видим, не слышим и не обоняем? Неужели и так не слышите, а вот так не видите тоже?.. вот вам под нос — чего воротите, ваше же...

Повесть «Маскировка» — такая преувеличенная метафора. Событийность у Алешковского — невероятная. Невероятность же эта — наша с вами действительность, увиденная здраво-мыслящим человеком, с неискаженным чувством нормы, то есть человеком здоровым и нормальным, то есть человеком ужаснувшимся.

Многие преувеличения Алешковского оказываются пророческими, сбываются на глазах, хотя бы и в виде парадоксального факта.

Журнал «Искусство кино» начал романом Алешковского «Кенгуру», написанным вслед за «Маскировкой». Сюжет романа — невероятное следствие по делу об изнасиловании и садистическом убийстве бедного животного в столичном зоопарке. Каково же было мое удивление, когда вскоре после отъезда Алешковского (навсегда!) прочитал я информацию в газете, кажется, «Московской правде», о чудовищном факте такого злодеяния в зоопарке, и почему-то именно кенгуру...

А ирано-иракская война? Хусейновские надувные самолеты и танки, бункера и подземные аэродромы, а также его сводки о победах иракского оружия — что это, как не «Маскировка» уже в мировом масштабе? И разве так уж невозможно, чтобы кладбище провалилось в секретный подземный цех? Сатира, там, где она всего лишь сатира, стареет быстрее всего, ибо — сбывается. Новый Павлов отрабатывает условные рефлексы уже не на собачках.



### III. ХЕРР ГОЛЛАНДСКИЙ...

Наши беды непереводимы.

М. Жванецкий

Тут у меня перехватывает дыхание, и я возвращаюсь к разгадке той загадки...

Та безобразная и бесконечная цитата — никем не сочинена, а представляет собой естественный и последовательный ряд слов и выражений, недоступных голландскому читателю и требующих дополнительного для него разъяснения. Все это выписано из романа Юза Алешковского «Кенгуру».

Я легкомысленно взялся помочь милой переводчице, прокомментировав загадочный список.

Проблема! Проблема хотя бы с точки зрения здравого смысла. И нам-то (каждому следующему поколению все больше) придется залезать в справочные издания (желательно устаревшие, легкомысленно выкинутые на свалку истории), чтобы объяснить западному читателю, с внятной и точностью, к которой они приучены, суть того или иного недоступного им понятия.

Например: «Герцеговина Флор», Землячка, «Челюскин», Зоя Федорова...

То же ли это самое, что и наше детское усилие прочесть в комментариях к «Трем мушкетерам», сколько лье в луидоре или когда Ришелье любил Рекамье?

Почему-то — не то же.

Про «Герцеговину Флор» еще можно рассказать... Как Сталин разламывал папиросу, набивал ее табачком трубку. А что сказать им о «Челюскине»? Что это — пароход или исследователь, кто такой Отто Юльевич Шмидт и зачем его спасать первым Героям Советского Союза?.. Что сказать им о Землячке?.. Что она член КПСС с 1896 года, в то время как сама КПСС — с 1952-го? Что такое ВКП и маленькое «б»? Или что *zem'lya* по-русски означает «ёрс» (или как там по-голландски), а «землячка» — соотечественница по малой родине... или что она работала в наркоматах РКИ и НКПС... И что такое наркомат, и что такое РКИ, и что такое НКПС...

Лучше тогда о Зое Федоровой... Что она была настоящая кинозвезда тридцатых годов, что имела роман с американским военным атташе, за что и села, что дочь ее, красавица Вика,

родилась там, а потом уехала к папе туда? Или что бедную Зою жестоко убили в собственной квартире при крайне странных и сомнительных обстоятельствах? Или что снималась она, уже пожилая красавица, в роли школьной уборщицы в детском фильме по сценарию того же Юза Алешковского («Кыш и два портфеля») и он ей признался в той любви, которую испытывал к ней до войны, а она ему сказала: «Дорогой мой, тогда все меня любили».

Поэтому попытка прокомментировать для иноязычного читателя все советские слова, употребляемые Алешковским, была бы не только громоздкой, но и бессмысленной не только потому, что этого никто, кроме нас, не поймет, но и потому, что и сами-то мы этих слов не знаем и не понимаем, а лишь катаемся по этому скользкому ассоциативному слою, как по льду. И комментарий требуется уже не только при переводе с языка на язык, но и при переходе от поколения к поколению. Кому еще что-то говорит слово «Лумумба», тому уже ничего не говорят слова «Паша Ангелина».

Советские слова в тексте Алешковского следует воспринимать как неперебиваемые в той же мере, в какой неперебиваем мат. Если непонятно — значит, ругается, а звучит неплохо. «Маршал Чойбалсан» — разве не «еб твою мать», а Лумумба — разве не способ?..

Ну зачем им засорять голову тем, что мы сами так готовно из нее выкидываем? И что это объяснит им? И как нам самим себе объяснить, почему в нас навсегда застряли слова, ничего не значащие и в таком количестве?

Что из всех этих слов сохранится для нас в языке, когда наконец минует вся эта эпоха? Тайна. Опять загадка.

Вот, к примеру, загадка, с детства занимавшая мое воображение. Почему замок — английский, горки — американские, булавка и булка — французские, а сыр и хер — голландский?

Какая нация могла бы предпочесть чужой... своему? Из какого опыта (реального, исторического) могло родиться такое странное предпочтение?

Долго гадал — и вот догадался. Петр! Петр Великий. Двухметровый Петр. Это ведь он навез голландцев, брил бороды, заставлял носить парики, делать книксены, сам звался херр Питер и всем другим велел величать друг друга херрами. Уж так его ругали, так возвеличивали, так честили... Два века

миновало, забыли и голландцев, и Петра, а хер — остался жить в языке, отдавая должное историческим заслугам и того и тех — в виде самого глубокого почтения, которое только может оказать народ.

Что у нас с вами есть голландского?

*Андрей Битов*

1991

## Примечания

**Иосиф Бродский.** Он вышел из тюремного ватника

Статья написана нобелевским лауреатом Иосифом Бродским незадолго до его кончины. Печатается с сокращениями. Полностью статья опубликована в первом томе собрания сочинений Юза Алешковского, выпущенного издательством «ННН» в 1996 году.

### Проза

**Николай Николаевич**

Впервые это произведение опубликовано в США издательством «Ардис» в 1979 году.

**Кенгуру**

Первая публикация романа в России — журнал «Искусство кино» № 1—4, 1991.

**Маскировка**

Впервые в России повесть опубликована с подзаголовком «История одной болезни» в 1991 году в девятом номере журнала «Звезда». Предисловие Андрея Битова.

**Блошиное танго**

Впервые повесть опубликована в США издательством «Писатель — издатель» в 1985 году. Слегка подсократив оба слова, догадливый читатель получит явное свидетельство причастности автора к этому предприятию.

**Синенький скромный платочек**

Впервые произведение опубликовано в России с подзаголовком «Скорбная повесть» и предисловием А.Архангельского в журнале «Дружба народов», № 7, 1991.

### Песни, стихи, строки

«Песня о Сталине», ставшая буквально народной, написана в 1959 году в Москве. Опубликована впервые в журнале «Новый мир», № 12, 1988. Там же напечатаны и две другие песни автора — «Личное свидание» и «Окурочек».

Песни «Окурочек», «Советская лесбийская» (под названием «Лесбийская») и «Личное свидание» впервые опубликованы в самиздатовском альманахе «Метрополь» в 1979 году.

Многие песни Юза Алешковского вошли в сборники «Поэты — узники сталинских лагерей» (издательство «Московский рабочий», 1990), «От первого лица» (изд-во СП «Старт», М. 1990), «Есть маг системы «Яуза» (изд-во «Полиграфист», Калуга, 1991).

**Юз-Фу.** Строки гусяного пера, найденного на чужбине

Издано на русском и английском языках (изд-во «Янико», 1996). Перевод на английский Джейн Миллер. Предисловие Андрея Битова.

Стихотворение «Еще одно посвящение друзьям» публикуется впервые.

**Андрей Битов.** Повторение пройденного.

Статья известного писателя, президента русского «ПЕН-центра», написана для трехтомного собрания сочинений Юза Алешковского (издательство «ННН», 1996). Печатается со значительными сокращениями.

**Самое яркое событие в литературной жизни  
России 2000 года!**

**антология сатиры и юмора России  
XX века  
в 50 томах**

**Вышли в свет шесть томов серии**

- т.1 АРКАДИЙ АРКАНОВ**
- т.2 ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ**
- т.3 «САТИРИКОН» И САТИРИКОНЦЫ**
- т.4 ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ**
- т.5 ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ**
- т.6 ГРИГОРИЙ ГОРИН**

**В ближайшее время увидят свет книги**

**ВЛАДИМИРА ВОЙНОВИЧА  
МИХАИЛА БУЛГАКОВА  
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ»  
«КЛУБ 12 СТУЛЬЕВ»**

Литературно-художественное издание

**Юз Алешковский**

**АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА**

**Том восьмой**

Редактор-корректор *Е. Остроумова*  
Компьютерная верстка *А. Филиппов*

В оформлении использованы фотографии  
*Ф. Гринберга, Л. Нисневича, М. Богомаза, А. Бердичевской,*  
*С. Намина, А. Басаласса, А. Алешковского,*  
*снимки из семейного альбома автора.*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор  
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых монтажей 12.03.2001.

Формат 84×108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура «Букман».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,24.

Доп. тираж 5000 экз. Заказ 5398.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»  
Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.

125190, Москва, Ленинградский проспект,  
д. 80, корп. 16, подъезд 3.

**Интернет/Home page — [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)**  
Электронная почта (E-mail) — [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

**Книга — почтой:**

**Книжный клуб «ЭКСМО»**

101000, Москва, а/я 333. E-mail: [bookclub@eksmo.ru](mailto:bookclub@eksmo.ru)

ISBN 5-04-005493-9



9 785040 054930 >

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»  
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



Проиграл з и шмотки и есенку,  
Сахарок за два года вперед.  
Этот сахар з на парях, одиноким карашки,  
Сме воб же в сем году не развал.  
Пропадал з за тот сахарок,  
Шикто на карке не воем.  
Посеода из одиноким карашки  
За размах убавали мене!  
Исела в керуер босвала косалки,  
Как христов и сороки и тих  
Девят еток христовым красим зубам,  
Я концы самокруток своих.  
"Негодди ты не вое рабтради  
Ленго твое на одиноким карашки дан!"  
"Эт да - говою - грашдалки не одиноким  
Толко зред - говою - грашдалки не одиноким  
рукевакки в мке по зубам..."

1965

В. А. Миллер



# Окурочек

Вл. Соколову

Из Коньянского белого ада  
Кину мы в зону в море злом дымом.  
Я видел окурочек с красной помадой,  
И краснотой из атрап, и келу.

"Стои, Стенда! Всклещи Конвайквей.  
Знаешь, не разорвал мой дурилат...  
Дорогие, каскавские, духи спокойней,  
И мне возвращаюся кажа."

Батис видел я Гада Сефере.  
Только мне наконее повезло.

Ах, окурочек, с ТУ-184  
Дидан вбросил себя замесао.

И неслучайно угадавший Копалин,  
И астралавий один подраст  
Всю дорогу до зоны нагали, вбдварам,  
Ке Шаданли с окурочка Глаз.

С кем ты, сука, ладово свою крутишь?

С кем диланши Сигареткой аднеси?

Ты во Рнукото стравил билет на курпиль,  
Чтоб хотя б проледесть надо левый.

В жезл твою занигал я пропойки  
Ведь французским роел Конвэком.

Самилвожел от того, как курпиль, "Трайну"  
С золотым на конуе ободком...

Прингнал тот окурочек в карды, а,  
Чтоб дорогие обиды цини рудней.

Даже здесь не пседад мне ссаглного фарту  
из-за зрзсти по даме Зерви.

Програл я и шмотку и сленку,  
Сакарок. За два года вперед  
Этот Сатаня я на каргах, одичавших карачки,  
Смеюсь вдоб же всем идти на развал.  
Пропал я за эту округу,  
Никто не знает, не знает.  
После из влиятельных правящих уток  
За размах убивали меня!  
Несла я в карцер боевые косяки,  
Как Христо и сорок и тих  
Десять суток кровавыми красной губами  
Я концы самокруток своих.  
"Негодяи, ты не вое растратил  
Ленго твое на блатарельных дам!"  
"Это да - говорю - грабители недовольны  
Топлю зря - говорю - грабители недовольны  
рукавицы в мне по губам..."

1965.

В. А. Миллер

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Юз Алешковский

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Давно пора, едрена мать,

Умом Россию понимать  
А указанье «только верить»  
На время надо бы похерить.

Юз Алешковский

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века